

А.С.СЕРАФИМОВИЧ

Александр Серафимович Серафимович

Том 3. Рассказы 1906–1910 (Собрание сочинений в семи томах #3)

В третий том вошли произведения Серафимовича 1906–1910 гг. Это были годы, трудные для русской литературы. Революция шла на убыль. Царское правительство жестоко расправлялось с рабочими и крестьянами – участниками революционных событий. Серафимович не был в революции случайным спутником, ни тем более равнодушным наблюдателем. Революция пришла к нему, выстрадавшая всей его трудной жизнью, в грядущую победу революции продолжал он верить несмотря ни на что. Герои рассказов Серафимовича – рабочие, крестьяне, интеллигенты – несут частицы этой веры.

<http://ruslit.traumlibrary.net>

Содержание

Рассказы	0006
У обрыва	0006
Стена *	0044
Настоящая жизнь *	0080
Оцененная голова *	0120
Мертвые на улицах *	0146
В редакции *	0161
Зарева	0178
Сопка с крестами	0209
Пески *	0247
Лесная жизнь *	0304
Дочь *	0318
Человек в скуфейке *	0363
Колечко *	0394
По следам *	0421
Как вешали *	0433
Отрезанный ломоть *	0442
Мишка-упырь *	0471
В винограднике *	0574
Утро *	0596
Ясным утром *	0611
У холодного моря	0641
Качающийся фонарь	0717
Ветер *	0728
Паровоз № 314-Б *	0764

На реке *	.0789
Старуха *	.0827
Любовь *	.0850
Напоминание *	.0884
На Белой горе *	.0903
Вылечился *	.0927
Старое *	.0973
Морской кот *	.0999
В номере	.1039
Счастливец *	.1068
Одинокий двор *	.1086
Ночной дождь *	.1123
Холодная равнина *	.1140
Комментарии	.1157

**Александр Серафимович
Серафимович
Собрание сочинений в семи
томах
Том 3. Рассказы 1906–1910**

Рассказы

У обрыва

1

Уже посинело под далеким поворотом реки, над желтеющими песками, над обрывистым берегом, над примолкшим на той стороне лесом.

Тускнели звуки, меркли краски, и лицо земли тихонько затягивалось дымкой покоя, усталости под спокойным, глубоко синевшим, с редкими белыми звездами небом.

Баржа и лодка возле нее, понемногу терявшие очертания, неясно и темно рисовались у берега. Отражаясь и дробясь багровым отблеском, у самой воды горел костер, и поплескивал на шипевшие уголья сбегавшей пеной подвешенный котелок, ползали и шевелились, ища чего-то по узкой полосе прибрежного песка, длинные тени, и задумчиво возвышался обрыв, смутно краснея глиной.

Было тихо, и эту тишину наполняло немолчное роптание бегущей воды, непрерыв-

вающийся шепот, беспокойный и торопливый, то сонный и затихающий, то задорный и насмешливый, но река была спокойна, и светлеющая поверхность не оскорблялась ни одной морщиной.

Всплеск рыбы, или крики ночной птицы, или шорох осыпающегося песку, или едва уловимый шум пароходного колеса, или почудилось – и снова дремотное, невнятное шептание, то замирающее и сонное, то встрепенувшееся и торопливое, и светлый, ничем не нарушимый покой реки под все густеющей синевой надвигающейся ночи.

– «Ермак», никак, идет.

– Где ему!.. Теперича небось на Собачьих Песках сидит...

И человеческие слова, такие простые и ясные, прозвучали и погасли в этом непонятно-беспокойном шепоте спокойно-недвижной реки.

Короткая, притаившаяся у колебавшегося огня тень разом вытянулась, побежала от костра; уродливо перегнулась через обрыв и пропала в степном сумраке, откуда неслись крики перепелов и запахи скошенных трав, а

над костром поднялся высокий, здоровенный, с длинными руками и ногами, в пестрядинной рубахе человек и, скинув ложкой сбегавшую через края пену, всыпал в бившую ключом воду пригоршню пшена. Вода мгновенно успокоилась, а тень скользнула по обрыву, вернулась из степи и опять притаилась у огня. Длинный человек сидел, неподвижно обняв колени, глядя на светлеющую реку, на пропадающий в сумеречной дымке лес, дальний берег.

Поодаль на песке, протянувшись, неподвижно и мертво чернела человеческая фигура.

Не было видно лица.

Спал ли он, или думал, или был болен, или уже не дышал – нельзя было разобрать.

Уже потонул в темнеющей синеве и не стал видим лес, и поворот реки, и дальние пески, только вода по-прежнему поблескивала, но уже черным, вороным блеском, и звезды в ней бездонно повисли, яркие и бесчисленные.

И казалось, так и нужно, чтоб в эту синюю ночь у дремотно-шепчущей воды возле обрыва

ва горел костер, и красный отсвет трепетал, неверно озаряя багровым светом костра высокую, нескладную, но точно выкованную фигуру человека, могуче охватившего руками колени, и неподвижную темную фигуру на песке, и третьего – с широкой бородой старика, со спокойным и строгим лицом, отлитым из бронзы.

Как будто кто-то задумчиво, без слов пел, и не было слышно голоса, и только представлялась потонувшая в ночной синеве река, и костер, и смутный обрыв, и в темной глубине чуть зыблемые звезды.

– Пришло время... Жисть-то она человеческая, как трава полезла...

Голос был ровный, спокойный, медлительный, и так было спокойно кругом, что нельзя было сказать, кому принадлежит голос.

И среди ни на секунду не прерывающегося, немолчного, дремотного шепота голос, казалось, принадлежал синей ночи, как и угрюмо стоящий обрыв, как ропот воды, как костер с беззвучно ползающими по песку тенями.

– ...как трава молодая на провесень из чер-

ной земли...

– Нда-а... Теперича полезла, ничем ее не уторкаешь.

И кто-то на том берегу смутно и неясно отозвался, слабая: «...да-а-а!»

Сидевший, обняв колени, замолчал. Молчал и тот, чей темно простертый силуэт смутно рисовался на песке. Молчал старик с бронзово-багровым шевелившимся лицом, изредка лениво вбрасывая в костер голыми руками выскакивающие оттуда раскаленные угольки, и в этом молчании чудилась недоконченная дума, – думала сама синяя ночь.

Тонкий, щемящий крик пронесся над рекой.

Опять тихо, задумчиво-сумрачно, снова непрерывающийся беспокойно-торопливый шорох-шепот бегущей воды. Молчал в наступившей со всех сторон темноте смутно поднимающийся обрыв, молчала степь за ним. Котелок лениво вскипал, сонно подергиваясь пеной.

Тонкий крик повторился против, над рекой. Водяной играл. А может быть, летела над самой водой невидимая птица, – нельзя было

сказать. Ночь теснилась со всех сторон, молчаливая и темная.

– По реке далече слышать... Хошь у самого Кривого Колена, и то будет слышно...

И оба наклонили головы, чутко ловя смутный, неясный звук. Ухо хотело поймать приближающийся шум пароходных колес, но звуки ночи, тихие, неясные, тысячу раз слышанные и все-таки особенные и странные, говорили об отсутствии человека.

Горел костер, у костра сидели двое; третий недвижимо чернел на песке.

2

Длинный поднялся, снял котелок. Тени засуетились, и одна опять скользнула вверх по обрыву и пропала в степи.

– Упрела.

Он поставил котелок и покрутил в песке.

– Часов девять есть... Охо-хо-хо...

И за рекой кто-то: «О-о-о-о...»

– Скажи парню, нехай садится с нами, вишь, отощал.

Старик достал из кармана ложку и вытер заскорузлым пальцем.

– Эй, паря!.. Хошь, поешь с нами. – Длин-

ный наклонился над неподвижно черневшей фигурой.

– А?.. а?.. а?.. Куда... Постой!.. Братцы, держитесь!.. – закричал тот, вскакивая, трясясь.

– Что ты... что ты, парень... Говорю, поешь с нами...

Тот обвел вокруг удивленным взглядом, не понимая этой темноты, смутно рисующихся контуров, этого ночного молчания, заполненного немолчно шепчущим ропотом, этого трепещущего, красноватого, поблескивающего в воде отсвета, и провел рукой, как будто снимал с лица паутину. Он точно весь обмяк и улыбнулся бессильной, измученной улыбкой.

– Ишь ты... опять попритчилось.

При свете костра поражали исхудалость и измученность, завалившиеся щеки, черные круги, горячечно блиставшие, беспокойные, как будто глядящие мимо предметов глаза.

Сели кругом котелка, поджав на песке ноги, и стали есть и громко дули на кашу. И, повторяя движения, суетились по песку тени.

Долго и молча ели, и долго в дремотно шепчущий ночной ропот чуждо вторгался звук усердно работающих человеческих че-

люстей.

Первая острота голода притупилась; парень, на лице которого землисто отпечатался призрак смерти, вздохнул.

– У-ух-х!.. Маленько отошел.

И, опять улыбнувшись бессильной и измученной улыбкой, добавил:

– Два дня не ел.

– Да ты откуда?

– Из города. – И снова усталая и теперь доверчивая улыбка. – Из самого из пекла вырвался. Как и вырвался, сам не знаю...

– Да мы это догадались, как ты еще шел по берегу, – усмехнулся длинный, – да не стали спрашивать, что человека зря беспокоить.

– Не бойсь, ничего... По степи патрули разъезжают, хватают, которые успели из города убежать. Ну схватят, разговор короткий – пуля либо петля. Мы не одного переправили... Артель-то на баржах, да и команда на пароходе свой народ... К нам вот не догадаются на баржу заглянуть, а... то бы была им пожива. Да ты в городу-то чем был?

– Наборщиком. – И он повел плечами, точно ему холодно было, и боязливо оглянулся.

Длинный черпнул, подул на ложку и, вытянув губы, с шумом втянул воздух вместе с кашей.

На реке завозился водяной или ночная птица. Всплеснула рыба, но в темноте не было видно расходящихся кругов. Старик ел молча.

– Все по реке шел, как чуть чего – в воду... Вчерашний день до самой ночи в воде сидел, закопался в грязь, а голова в камыше, так и сидел.

Он отложил ложку и сидел, осунувшись, и мысли, далекие от теплой ночи, от костра, бродили в голове, туманя глаза.

– Что было – страшно вспомнить... Кро-ви-то, крови!.. Народу сколько легло!

И опять боязливо огляделся и передернул, как от холода, плечами.

– Устал я... устал, замучился, и... и не то что руками или ногами, душой замучился. Все у меня подалось, как обвисло...

И он опять обвел кругом, глядя куда-то мимо этой темноты, мимо костра, реки, мимо товарищей, – точно заслоняя все, стояли призраки разрушения, развалины, и некуда было

идти.

– Главное что!.. – вспыхивая, заговорил он. – Трудов, сколько трудов убито. Нашего брата разве легко поднять да вбить в башку?.. Ему долби да долби, его учи да учи, а он себе тянется, как кляча под кнутом, с голоду сдыхает да водку хлещет... Покуда все наладилось, да сгрудились, сбились в кружки, да читать, да думать стали, да расчухали, ой-ей-ей, сколько времени, сколько трудов стоило!.. А сколько народу пропало по тюрьмам, да в ссылке, да на каторге, – да какого народу!.. Кирпич за кирпичом выводили, и вот тррах-хх!.. Готово! Все кончено!.. Шабаш!..

И он отвернулся и опять глядел, не замечая, мимо синеющей ночи, мимо шепчущих звуков, мимо тихого покоя, которым веял дремлющий берег.

– А-а-а-а... – И он мерно качался над костром, сдавливая обеими руками голову, точно опасаясь, что она лопнет и разлетится вдребезги. И качалась тень, уродливая, изогнувшаяся, так же держась обеими руками за голову, тоже уродливую и нелепо вытянутую.

Но, обходя развалины, разбитые надежды

и отчаяние, о чем-то о своем немолчно и дремотно журчали струи, чуть-чуть глубоко колебалось во влажной тьме звездное небо. Несколько хворостинок, подкинутых в костер, никак не могли загореться, и едва уловимый дымок, не колеблемый, как тень, скользил вверх.

И этот покой и тишина, погруженные в ночную темноту, были величаво полны чего-то иного, глубокого, еще не раскрытого, недосказанного.

– Глянь-ко, паря, вишь ты: ночь, спокой, все спит, все отдыхает, – и голос старика был глубоко спокоен, – все: и зверь, и человек, и гад, трава и та примялась, а утресь опять подыметя, опять в рост... Все спокой, тишь... да-а!..

Над водой удалялись тонкие тилиликающие звуки, – должно быть, летели на ночлег кулички.

– Да-а, спокой... Потому намотались за день, намаялись, натрудили плечи, руки, лапы... во-о... И заснула вся земля, а наутресь опять каждый за свое, – птица за свое, зверь за свое, человек за свое. Только солнушко

проглянет, а тут готово, начинай снаизнова. Так-тось, паренек...

Долго стояла тишина. Рабочий, сутулясь и подняв голову, глядел на дымчатую дорогу на небе. Длинный уписывал кашу.

– Дедушка, – болезненно раздался надтреснутый голос, – да ведь все наутро проснутся, а энти, которые в городе лежат, ведь они-то уже не подымутся.

– А ты ешь, паренек, ешь, – говорил старик, вытирая ладонью усы и бороду. – Да-а... мужичок, хрестьянин вышел пахать... Вспахал. Вспахал, взял лукошко и зачал сеять. Высеял, заскородил, дождичек прошел, и погнало из земли зелена, погнало, словно те выпирает. Да-а, радуется хрестьянин. Нашему брату что: вспахал, посеял, собрал и сыт. Да-а. Колоситься зачало. И вот откуда ни возьмись туча, черная-пречерная. Вдарила грозой, градом, все дочиста сровняла, где хлеб был – одна чернота. Вдарил об полы сердяга! Что же, думаешь, бросил, руки опустил? Не-ет, ребята-то бесперечь есть хотят. Пошел на чугунку, на чугунке стал зарабатывать. И отрежь ему колесами ноги. Поболел, поболел и богу душу отдал. Что

же, думаешь, тем дело кончилось? Не, слухай, парень. Нивка его не осталась сиротой, зачали ее пахать да сеять братаны да зятъя. Опять пробились зелены, опять стал наливаться колос. И сколько ни изводили мужика, – и на войну-то его гнали, и по тюрьмам гноили, и нищета давила, и с голоду пух и помирал, а каждую весну зеленели нивы, да-а...

Он помолчал.

Стояла сама себя слушавшая тишина.

А?

И кто-то, внимательный, полувопросом, полуутвердительно отозвался из-за реки: «А-а-а!..» Наборщик молча стал носить из котелка.

– Ишь звезда покатила, – проговорил длинный и рыгнул.

– Так-тось, братику... Сколь ни топчи траву, она все распрямляется, все тянется кверху. И народ, сколь его ни дави, сколь ни тирань, а он, братику, помаленечку распрямляется. Пуцай жгут, пуцай бьют, ноне город разорят, завтра деревню сожгут, а наместо того приходится громить пять городов, приходится жечь сто деревень – народ распрямляется, как при-

топанная трава. Глядим мы на тебя давеча, идешь ты, ковыляешь, глядишь исподлобья, и кажут тебе вокруг только вороги, и к нам ты подошел – и нас боишься. А мы сметили давно, что ты за птица, да я Митюхе говорю: «Не трожь его, пуцай обойдется». Ан вот теперь и оказалось, дело-то одно делаем. Бона у нас, – старик мотнул головой на баржу, – чего хошь, в каждой деревне выгружаем. Пуцай народ любопытствует, пуцай трава выпрямляется... Охо-хо-хо!..

И за рекой: «Хо-хо-хо-о!..»

3

– Да вы чего тут стоите, дядя?

– На перекатах, вишь, не проходят баржи, глубоко сидят, а река нонче рано обмелела, так пароход часть отгрузил и пошел через перекаты. Потом вернется, с этой баржи снимет часть грузу и поволокет.

Наборщик лениво лазил в котелок. И вдруг мягко, с улыбкой огляделся кругом. И впервые увидел тихую, молчаливую, задумчиво-спокойную ночь, тонко дрожащие в глубине звезды, дремотный шепот невидимо бегущей воды. Глубоко вздохнул и проговорил:

– Ночка-то...

Усталость, дикая, зовущая ко сну и отдыху, овладевала.

– Теперь хоть и вздремнуть бы, – две ночи глаз не смыкал.

– Погодь трошки, махотка с кислым молоком еще есть.

И длинный лениво поднялся, вместе со своей тенью прошел к лодке, покопался и, держа в руках небольшую миску, вернулся и сел. Тень тоже подобралась на свое место.

– Ну, ешьте. Доброе молочко.

В неумолкаемый ропот бегущей воды, который забывался, сливаясь со стоявшей вокруг тишиной, грубо и непрошенно ворвался чуждый звук. Был неясный, смутный, неопределенный, но разрастался, становился отчетливее и наполнял ночь чем-то, чего до сих пор не было.

Трое повернули к обрыву головы и стали слушать.

И костер, дрожа и колеблясь отсветом, спокойно взглядывал красными очами на выступивший на секунду из темноты обрыв. Тени торопливо и испуганно сновали по песку,

ища чего-то и не находя, с усилием вытянулись, перегнулись и заглянули через обрыв в степь. Оттуда, все приближаясь, неслись дробные, мерно топочущие звуки.

Ближе, ближе... Чувствовалось, что там наверху иссохшая, крепкая и звонкая земля.

Костер, истратив последние усилия и догадавшись, в чем дело, стал погасать, засыпая и подергиваясь пеплом, и тени разочарованно расплылись, сливаясь со стоявшей вокруг чернотой, но головы все так же были обращены к обрыву.

Топот оборвался. Над ровно обрезанным по звездному небу краем обрыва темно вырисовывался уродливый силуэт чудовища. Оно неподвижно вздымалось, широкое и неровное, как глыба, оторвавшаяся от горы, загораживая ярко игравшие звезды.

Несколько секунд стояло молчание, поглотившее все звуки ночи.

– Эй... Что за люди?

Голос сорвался оттуда хриплый грубый, и за рекой нехотя и глухо повторило его.

– А тебе что?.. – лениво и небрежно бросил длинный, таская ложкой молоко.

– Что за люди?! Мать... – И грубая ругань оскорбила насторожившуюся ночную тишину.

Длинный по-медвежьи, неповоротливо поднялся.

– Чего надо?.. Ступай... отчаливай... Неположенного ищешь...

Костер осторожно глянул из-под полуспущенного красневшего века, и на минуту можно было различить над самым обрывом в красноватом отблеске конскую голову и над ней человеческую и рядом еще конскую голову и над ней человеческую. В ту же секунду блеснул длинный огонь, и грянул выстрел, и, негодую, понеслись по реке, по лесу, будя ночную тишь, рокочущие отголоски, долго перекликаясь и угрюмо замирая.

И уже не было тихой ночи, ни темной реки с дрожащими звездами, ни дремотного шепота, ни обрыва, ни смутной степи, откуда неслись крики перепелов и медвяные запахи скошенных трав. Стояло тяжелое и жестокое в своей бессмысленности.

– Казаки!.. – шептал наборщик, поднявшись. – Прощайте, побегу...

Старик придержал за руку:

– Погодь...

– Ничего...

– Не пужай... не из пужливых... А вот только кого-нибудь зацепишь версты за три, за четыре позадь леса, неповинного, – так это верно... Пуля-то куда летит... Сволочи!.. – Длинный тяжело и злобно погрозил кулаком.

Костер снова подернулся пеплом, и темные силуэты над чернотой обрыва шевельнулись, стали делаться меньше, понижаясь и прячась за край.

Звезды снова играли небеспокоимые, из степи неся удаляющийся, замирающий топот, оставляя в молчании и темноте неосязаемый след угрозы и предчувствия. Напрасно торопливый, бегущий шепот воды старался по-прежнему заполнить тишину и темноту дремой и наплывающим забвением, – молчание замершего вдали топота, полное зловещей угрозы, пересиливало дремотно шепчущий покой.

Снова сели.

– Поисть не дадут, стервы!

– Подлый народ!.. Земли у него сколь хошь,

хочь обожрись, ну и измываются над народом...

Было тихо, но ночь все не могла успокоиться, и тихий покой и сонную дрему, которыми все было подернуто, точно сдунуло; стояла только темнота, с беспокойной чуткостью ждущая чего-то. И, как бы оправдывая это напряженное ожидание, среди тьмы металлически звякнуло... Через минуту опять. Головы снова повернулись, но теперь они внимательно глядели низом в темь вдоль берега.

Снова звякнуло, и стал доноситься влажный, торопливо размеренный хруст прибрежного песка. И в темноте под обрывом над самой рекой зачернело, выделяясь чернотой даже среди темноты ночи. Ближе, ближе. Уже можно различить темные силуэты потряхивающих головами лошадей и черные фигуры всадников.

Они подъехали вплотную к костру, сдерживая мотающих головами, сторожко похрапывающих лошадей, сидя прямо и крепко в седлах, и концы винтовок поблескивали из-за спин.

– Что за люди?

– А тебе что?

Все трое поднялись.

Сыпалась отборная ругань.

– Шашки захотели отведать? Так это можно... Две половинки из тебя сделаю... Что за люди, спрашиваю?

– Ослеп, что ль?.. Сторожа при барже.

– Рябов, вяжи их, дьяволов, да погоним к командиру.

Молодой казак, с серым лицом, выпятившимися челюстями, спрыгнул с коня и, держа его в поводу и звякая оружием, подошел.

– Знаем мы этих сторожов. Поворачивайся-ка...

– А тебя, сволочь длинная, всю дорогу нагайкой буду гнать, чтоб ты не огрызался, погань проклятая.

– Связать недолго, – спокойно заговорил старик, – и угнать можно, самое ваша занятя, но только кто кашу-то потом расхлебывать будет? Нас-то угонят, а баржа доверху товаром набита, к утру ее ловко обчистят. Пароход-то придет, голо будет, как за пазухой... нда-а! Пожалуй, смекнет народ, – казачки и обчистили, для того и сторожов угнали, они

на этот счет мастаки...

– Бреши больше, старый черт, – и в голосе бородатого казака послышалась неуверенность, – погоди, Рябов... Покажь пачпорт, ты, сиволдай.

– Да ты что, али только родился, мокренский... – усмехнулся длинный, – пачпорта обыкновенно у хозяина, ступай к капитану, он те и пачпорта даст.

Казаки в нерешительности натягивали поводы.

– А этот?

– И этот сторож... водоливом на барже...

– Брешешь, сучий подхвостник... Не видеть, что ль, – из городу побег. Ага!.. Его-то нам и надо... Погляди, Рябов, може, которые разбежались. Погляди, нет ли следов от костра в эту сторону.

Молодой сунул в уголья хворостинку, подержал, пока вспыхнул конец, и, наклонившись и освещая, прошел несколько шагов, внимательно вглядываясь в песок, по которому судорожно трепетали тени.

– Нету, оттуда следы, как раз из города шел.

– А-а, сиволапые, отбрехаться хотели, люцинеров укрывать. Погодите, будет и вам, не увернетесь! А между прочим, Рябов, обратай-ка этого.

– Веревки-то нету.

– А ты чумбуром [чумбур – длинный ремень к уздечке], чумбуром округ шеи. Погоним, как собаку.

Молодой взял свободный конец свешивающегося от уздечки длинного ремня, за который водят лошадь, и подошел к наборщику.

– Ну ты, паскуда, повернись, что ль.

Тот оттолкнул его, пятясь назад.

– Пошел ты к черту...

Металлически звякнул затвор. Наборщик невольно поднял глаза: на него глядело дуло винтовки, целился с лошади бородач.

– Ежели еще шаг, на месте положу!..

Рябов накинул на шею чумбур и стал завязывать петлей, бородач закинул винтовку за плечи. Рабочий равнодушно и устало глядел во мглу над рекой. Ночь стояла густая, мрачная, и давила со всех сторон, и нечем было дышать.

Старик и длинный как-то особенно пере-

глянулись и продолжали спокойно глядеть на совершающееся.

– Завязал? Ну, садись, и айда! Да гони нагайкой перед конем.

Молодой, вдев одну ногу в стремя, взялся за луку и напряжился, чтоб разом вскочить в седло, и в темноте чернел чумбур от морды лошади к шее человека.

Дед подошел к молодому, и в тот момент, как тот заносил ногу в седло, наклонился к нему, что-то сообщая по секрету, потом тот, отвалившись от коня, прильнул к дедову плечу и крикнул перервавшимся голосом.

В ту же самую минуту длинный подошел к бородатому казаку, сидевшему на лошади, и, протягивая с чем-то ладонь, проговорил:

– Никак, потерял, ваше благородие?

Казак перегнулся с седла, разглядывая, и вдруг почувствовал, как с железной силой толстая змея обвила шею. Он мгновенно толкнул ногами лошадь, чтобы заставить ее вынести, но другая змея, такая же толстая, с такой же железной силой обвилась вокруг поясицы, и огромная лапа из-за спины сгребла поводья и так натянула, что лошадь, закинув

голову и приседая на задние ноги, пятилась и уперлась задом в обрыв.

– О-го-го!.. Ссво...о...лочь!.. Ря...бов...
ссу...ды...

– Нни...чего... дя...дя...

– По...го...ди, я... тте ша...шшкой!

– Го...жу... Ва...лись...ка!..

Они тяжело, прерывисто и хрипло обдавали друг друга горячим обжигающим дыханием, лошадь билась под тяжестью двух людей, и с обрыва на них сыпались глина и ссохшиеся комья.

– Ого-го-го... Рря...бов...

Казак изо всех сил старался выпростать руку и все искал головку шашки, но облапивший его дьявол с нечеловеческой силой ломал спинной хребет, и, несмотря на отчаянное нечеловеческое напряжение, бородач тяжело, грузно гнулся с седла. Уже поднялись тускло поблескивавшие стремяна на раскорячившихся ногах, уже под брюхо бьющейся лошади лезет взмокшая от пота голова. Что-то хрустнуло, и под вздыбившейся лошадей ухнула земля от тяжело свалившихся тел.

Ночь невозмутимо и мрачно стояла над

ними, дожидаясь, и в ее тяжелой тишине лишь слышалось хриплое дыхание да задавленные стоны, а проклятья и брань застревали в бешено стиснутых зубах.

Лошадь почувствовала свободу и, наступая на конец волочившегося по песку поводка и низко кланяясь каждый раз головой, пугливо побежала прочь от того места, где тяжело ворочался черный ком.

Дед с освободившимся наборщиком туго вязали молодого, беспомощно лежавшего на песке.

– Эй, давай-ка чумбур!.. – хрипел длинный, наступив коленом на грудь задыхающегося казака.

Дед с наборщиком поймали лошадь, подбежали к лежавшему на песке хозяину, и в захрустевшие в суставах руки жестко впился ремень.

– Фу-у, дьявол, насилу стащил, еще бы трошки, вырвался бы, лошадь увезла бы. Ну, давай же молоко доедать, никак не дают по-вечерять... Возжакайся тут с ними, с иродами.

4

Они сели в кружок, веселые, торопливо

дышащие, отирая потные лица, и снова принялись за ужин.

– Ну, этот молодой и крякнуть не успел, как дедушка его зараз на песок.

– А этот – здоровый, откормился кабан...

– Ишь, а то за шею... ах ты моченая голова!..

Подбросили хворосту, и костер, совсем было задремавший, снова глянул, и снова засуетились по песку тени. Неподвижно лежали связанные казаки, и неподвижно стояли над ними лошади, понутив головы.

– В прошлом году стояли тут на перекате, – заговорил длинный и, отложив ложку и отвернувшись, шумно высморкался, придавив ноздрю пальцем, – так гроза сделалась, н-но и гроза! Мимо шар си-иний пролетел, так и отнесло меня духом сажени на две. И вдарился этот шар в дерево сажень в пятидесяти по берегу, – от дерева лишь пенек остался, ей-богу.

– Пршное лето грозное было, в городе два дома спалило.

Бородатый казак понемногу приходил в себя от изумления, от неожиданности всего со-

вершившегося и, сам себе не доверяя и скашивая глаза, оглядывал, что мог, в своем положении. Да, он лежал, туго связанный чумбуром, над ним стояла лошадь, а те преспокойно таскали кислое молоко, белевшее у них в ложках. Рябова не было видно, он лежал у него за спиной.

– Да вы что же это, пропойцы сиволапые, али головы вам своей не жалко, али обтрескались?

– Как не жалко – жалко, – усмехнулся длинный, – потому и связали вас.

– Да вы что же думаете, нас двое, что ли? Там целая сотня стоит, патрули везде ездят... Завернут сюда, тут уж вам беспременно расстрел... Развязывай зараз!

– Да за что же нам расстрел, ежели никаких казаков у нас не будет?

– А ты бреши, да не забрехивайся. Слышь, зараз развязывай!.. Мать вашу...

– За что же расстрел, ежели казаков у нас не будет? – невинно продолжал длинный. – Ты трошки потерпи, зараз поедим, коней ваших расседлаем, в штаны вам и за пазуху песку насыпем, да и в реку обоих.

Воцарилось гробовое молчание. У казака глаза сделались круглыми, и даже в темноте белели белки. Он стал часто и трудно дышать и, пересиливая себя, проговорил глухо:

– Не пужай, не испугаюсь... Казак – не иголка, все одно дознаются... Лошадей не утопите, по лошадям и до вас доберутся.

Длинный весело загоготал, и так же весело откликнулось ему из-за реки.

– Мели, Емеля, твоя неделя... Об нас не тужи, станишничек... Лошадей мы расседлаем, седла вам на шею для верности; они чижолые, не всплывете, а лошадей выведем в степь, сымем уздечки, ухнем, только их и видали, так и пойдут писать по степи. А в степи им, брат, хозяева зараз найдутся. К хутору прибьются, каждый с превеликим удовольствием прибудную лошадь возьмет для хозяйства. А нет, так конокрады бесперечь по степи ездют, обрадуются дареному коню, зараз обратают. Так-тося, станишничек...

Замолчали. Ночь над казаками стояла густая, черная, полная предсмертного ожидания и не ждущая пощады... И вдруг среди неподвижной, грозно молчащей мглы разда-

лись хлюпающие, переливающиеся, прерывистые, воющие звуки, как будто выл молодой волк, подняв морду. Бородач насупился и, скосив глаза, следил, как носили ложки с молоком. Делали это не спеша, умирать ведь не им, и страшно было спокойствие этих людей. А волчьи прерывистые ноты раздирали ночную тишь, испуганные носились над рекой и горькими, рыдающе-воющими отголосками пропадали в сумрачно и неподвижно раскинувшейся степи.

– А-а, жидок на расправу, а людей неповинных, беззащитных убить али искалечить – это ты можешь. Как с-собаку за шею привязал. Не то что там за руку али за пояс, а за шею, а-а!..

Бородач стиснул зубы и процедил:

– Не вой, сволочь!..

Но волчий вой все носился у него за спиной и над рекой и над степью. И бородач с напряжением следил за спокойно ужинавшими людьми и одного только мучительно, с замирающим трепетом хотел, чтоб никогда не кончилось это молоко, – но глубже опускались ложки.

– Братцы, – заговорил он глухо, – отпусти-те...

– Вишь, паренек, – заговорил спокойно старик, – ехал ты убивать и калечить людей, ни об чем не думал, а теперича сам лежишь и ждешь. – И, забрав с ложки губами и вытерев усы, продолжал: – Да-а, придет время, так-то и народ нежданно-негаданно подыметя, и будете вы лежать и ждать, и будете удивляться, и душа у вас смертно заскорбит и возопиет: эх, кабы воротить, по-иному бы жили.

– Служба наша такая, разве мы от себе... У меня дома хозяйство, семья, тоже скучаешь, сладко ли по степи шаландаться...

– Что служба!.. Ежели тебя служба заставит образа рубить, али будешь?

– А как же! Потому присяга престол-отечеству... – И ему чудилось, как проворно убегает время на этом пустынном, темном, молчаливо ожидающем берегу, и уже с самого дна берут опускающиеся ложки.

– Присяга!.. – Голос старика зазвучал желчью. – Присяга!.. Вот она, присяга, – и старик вдохновенно поднял руку, – перед святыми звездами, перед ясным месяцем, перед тем-

ным лесом, перед чистой водой, перед зверем лесным, перед птицей полевой, перед человеком, потому жисть она – человеческая, а не перед попом волосатым, ему абы хабары. Вот она, присяга истинная! Вот кому присягали мученики. Вот кому должен присягать всякий, у кого душа не в мозолях... А вы, несчастненькие, замозолилась у вас душа, тыкаетесь, как слепые щенята... Жисть, вот она кругом, – он широко повел рукой, – ей присягать надо, а не попу, а вы ее топчете конями да колете пиками, да рубите шашками, да бьете из ружей... Ишь пустил пулю, куда она полетела!..

Темно и неподвижно было кругом. Не было ни живой говорящей смутным говором в темноте воды, ни смутно прислушивающегося леса за рекой, ни пропадающего в двух шагах берега. Зато с отчетливостью меди краснели в темноте озаренные профили лиц сидевших вокруг костра, – только это и было.

Казак не мог оторвать от них глаз. И чем больше глядел, тем большей силой наполнялись они. Сидели они, как будто отлитые из меди, неведомые богатыри темноты и ночи.

– Охо-хо! Жисть она человеческая! – прого-

ворил старик, положил ложку, отер залезавшие в рот усы, потом опять взял и стал неторопливо носить от горшочка к волосатому, заросшему рту, и казак, не отрываясь, следил за ней, белевшей. – Как она выходит... К примеру, по хозяйству сколько заботы примешь: с плугом ходишь, землю месишь-месишь... Потом сердце изболится, покуда щетинкой зеленой пробьется, да все на небо поглядаешь, дожжичка просишь. А там перышко выгонит, да пойдет в трубку, да в колосок, да нальется, а ты все ходишь округ нее, округ пшенички, округ травки-то...

– Звезда покатила, – проговорил длинный и рыгнул.

Казак повел глазом и увидел темную реку, без счета полную дрожащих звезд, услышал смутное лепетание сонной воды, но все это точно отодвинулось от него, словно это прошлое стояло перед памятью, прошлое, в котором и семья, и хозяйство, и привычная, вросшая в самое сердце степная работа, – все это в прошлом, а настоящее – это темь, и в темноте у костра медно озаренные профили людей.

Лошадь стояла, горестно опустив голову, с

печально отвернутыми ушами. По реке удалялось тилиликанье невидимой, махавшей над водой ночной птицы.

Старик помолчал, глядя из-под седых насупленных бровей за реку, где смутно, чудился лес.

– Травка растет, ты ее побереги, прут гонит из земли, ты его обойди, не сломи... Человек – нешто он дешевле пшеницы, подумай-ка, живой ведь он, и вон звезды-то, звезды-то всем одинаково светят, а ты приехал тиранить, да убивать, да в тюрьму сажать. Присяга!! Нет больше присяги, как жисть человеческая, самая дорогая, братику, присяга. Вот ты ехал, думал: сила – ты, ан теперя сам лежишь и ждешь...

Казак, закусив губы, с нечеловеческим напряжением напрягся, но сыромятные ремни только глубже въелись.

– Братцы! – заговорил он, отдаваясь бессилию. – Братцы, али я...

Лица ужинавших зашевелились, и костер полностью озарил их, и столько было в них спокойной решимости, что казак отвел глаза. Вытерли ложки, спрятали... и подошли.

Весь сегодняшний день промелькнул перед казаком, и с поразительной отчетливостью все встало в том роковом порядке, в каком привело его сюда, к гибели, к бессмысленной смерти. С тоской прислушался: тревожно металась за спиной воюющие причитания, из степи не доносилось ни звука. Да и кто мог подъехать? Не было спасения, не было пощады, да и не могло быть, потому что он сам их не щадил.

И это молчание было страшнее смерти. Он вслушивался – вслушивался, болезненно напрягаясь. И вдруг услышал: неслось бесчисленное треньканье кузнечиков, то самое треньканье, что всегда наполняло живую степь и теперь звучало последним прощанием.

Должно быть, к Рябову уже приступили, потому что воюющие причитания торопливее и тревожнее неслись оттуда и вдруг смолкли.

У бородача екнуло сердце. Над ним нагнулся длинный и стал возиться с ремнем. И ремень ослаб и выдернулся. Казак быстро поднялся. Рябов, прыгая на одной ноге и звеня оружием, сел в седло. Наконец вскочил,

лошадь пошла карьером и скрылась в темноте.

– Ого-го-го!.. Ноги в зубы взял, – засмеялся длинный. – Вали, дядя, и ты!

Казак, сдерживаясь и едва справляясь с охватившей его радостью жизни, наружно спокойно подошел к лошади, попробовал подпруги, потом сел и тронул поводья.

– Прощайте, ребята!

– Прощай, паря...

Лошадь не спеша пошла рысцой, хрустя влажным песком, и ночная мгла постепенно поглотила ее.

По-прежнему сонно колебалось дремотное шептание струи, и из темной воды глядело бесчисленными звездами ночное небо.

– Ну, теперя хоша и спать.

– Котелок надо побанить.

И длинный усердно стал оттирать песком, нагнувшись над водой, внутренность котелка.

– Одначе они тягу дали.

– Помирать никому не хочется.

– Исажары как высоко. Поздно... О-о-ха-ха-ха!..

И по реке кто-то сонно и замирая много раз зевнул. Тишина стояла в степи, над рекой, над чудившимся во тьме лесом, навевая чувство покоя, отдыха.

– Тебя как звать-то?

– Алексей.

– А по отцу?

– Николаич.

– Ну, вот что, Миколаич: полезем на баржу спать, там у нас и солома есть. Нешто искупаться перед сном?

– Доброе дело.

Они подошли к самой воде, чуть колебавшейся темным густым отблеском масла и живой изменчивой линией; отделявшейся от неподвижно темневшего берега. Стали раздеваться, и разом руки застыли у поясов, а головы повернулись к обрыву.

– А?

– Неужто?.. – коротко и подавленной тревогой прозвучало.

И головы все так же напряженно были обращены к степи: оттуда, все делаясь отчетливее и нарастая, неся приближающийся топот. И опять слышно было, что там земля ис-

сохшая, крепкая и звонкая, и это почему-то вселяло особенное беспокойство. Тревога, как невидимая черная птица, реяла в нахмурившейся ночи. Только старик, не обращая внимания, по-прежнему копался в лодке.

– Эхх!.. – досадливо крякнул длинный, завязывая пояс. – Сказывал, не выпускать... Теперь расхлебывай... Ишь карьером лупят, спешат, кабы не упустить.

– На ту бы сторону, что ли, переехать, – проговорил Алексей, и тоска зазвучала в его голосе.

– Ничего, ребята, ничего, – спокойно проговорил старик, продолжая копать.

Вот уже близко, уже над самым обрывом, потом звуки помягчели и пошли влево – в объезд поехали к спуску. Несколько минут стояла ненарушимая тишина. Потом стал доноситься, приближаясь, мокрый хруст песка. Двое, не отрываясь, глядели в ту сторону.

– Эхх!.. – все досадно чмокал длинный. – Зря отпустили.

Вырисовался среди темноты силуэт лошади. Рысью подъехал бородач и, сдержав разгоряченного коня, заговорил:

– Вот что, ребята... Перегоните зараз баржу на ту сторону, а парень нехай уходит через лес. Энта стерва поехал докладывать командиру сотни... Хотел перестрелять вас отсюда, с обрыва, насилиу уговорил... Сказываю, дескать, живьем надо взять их. А тоже мне наседать-то на него не приходится: зараз доложит, что люцинеров покрываю... Смотрите, к утру взвод пришлют, туго вам придется...

– Ххо-о!.. Часа через два пароход придет, к утру нас и след простынет.

– А-а, ну так... То-то, я думаю, ворочусь, скажу... Ну, прощайте!

– Счастливого, дядя... Спасибо тебе...

– Спасибо и вам... – Он придержал немного коня. – Тоже и у нас – не пар, ну, положение такое. А старик у вас – правильный человек.

Лошадь ходко пошла. Некоторое время из степи доносился удаляющийся топот, потом смолкло. Над чертой обрыва свободно, незатеняемые, играли звезды, играли по всему небу, играли в темной глубине реки...

Стена*

I

Он шел, осунувшись, глядя в землю, а те двое шли тяжело и прямо, позвякивая шпорами, и ярко-голубые пятна их мундиров двигались перед глазами, хотя он не глядел на них.

В последний раз мелькнули громадные многоэтажные дома, огромная площадь, как муравьи, кишевшие на ней люди, лошади, Конки, экипажи, голубовато-дымчатый весенний воздух, и над всем несмолкаемо колыхающийся гул и торжественно поднимающееся солнце.

Загремела со звоном калитка в огромных железных воротах, приоткрылась, и когда он шагнул, снова с звенящим металлическим грохотом захлопнулась, придавив и отрезав многоголосую уличную жизнь. Придушенные, смятенные звуки воровски поползли сквозь железо ворот, упорно напоминая о той ни на минуту не устающей жизни, поползли в этот немой, пустой дворик, звонко звучащий асфальтом. И со всех сторон так же немо,

неподвижно, недостижимо высились стены, и с них бесчисленно чернели решетчатые окна.

В конторе писали люди. У них были свои семьи, свои дела, своя жизнь, и они даже не взглянули на приведенного, одного из многих тысяч здесь перебивавших. Обыскали. Произвели измерения. Записали приметы.

Когда пошли по коридору, было пусто и звонко, и коридор терялся в сумеречной дали. Стена, немая и белая, давя колоссальностью, отвесно высилась, и бесчисленное множество железных дверей молчаливо темнело по ней под самую крышу, и железные сквозные балкончики лепились, как гнезда ласточек.

Мягко ступая войлочными подошвами, спереди и сзади шли люди в темно-синей форме с голубыми кантами. Его поразили неподвижные, как маска, лица и опущенные мертвые глаза этих людей.

Он мучительно хотел заглянуть в их опущенные очи, поймать живой взор, светлые точки, которые живут в глазу живого человека, но мертвы были неподвижные маски, не дрогнули опущенные веки.

Охватило непреодолимое желание остано-

виться, закричать: «А-а-а-а!» – и кричать долго, безостановочно ровным, одинаковым голосом;

Его шаги по асфальту звонко и крикливо носились в пустоте, и прыгавшее по стенам эхо тонуло в немых, беззвучных шагах шедших с ним людей.

Тогда все уплыло и отступило, и пара голубей, сверкая белыми крыльями, пролетела над песчаной косой и, описав полукруг, села к воде, тихо и ласково сверкавшей на полуденном солнце, и стала пить ее, сверкавшую, подымая сизые головки. На белевшем над рекой обрыве стояли дома, золотились главы.

Здесь прошло детство, ранняя юность, здесь заронился первый яд понимания ужаса рабьей жизни, здесь робко постучалась первая любовь, но изо всего перед глазами с поразительной яркостью стояла только тихо сверкающая река, белеющий обрыв, домики, золотившиеся главы да пара голубей у воды, подымавших сизые головки.

Звук шагов по асфальту звонко и крикливо носился в молчаливой пустоте, прыгавшее по стенам эхо тонуло в беззвучных, немых шагах

шедших рядом людей, и лица их были неподвижны, как маска, и мертвые веки опущены.

II

Дни в этой тесной, узкой, задавленной молчаливыми стенами камере тянулись безумно медленно, но когда он оглядывался, время уносилось с безумной быстротой.

И он торопливо просыпался утром, торопливо умывался, брал кипяток, пил чай, торопливо кормил голубей, торопливо и бесконечно ходил из угла в угол, спеша жить.

Жизнь уходила, молодая, прекрасная жизнь, та жизнь, о которой он никогда не думал, к которой небрежно, так расточительно, не ценя, относился. И он хватался теперь за каждый день, за каждый час, за каждую минуту и с горем, с отчаянием глядел, как они невозвратно уносились.

И опять наступала ночь, мертвая, неподвижная, немая, но полная вокруг тысячей таких же уходящих жизней, тысячей неслышных вздохов, тысячей бесплодно гаснущих мыслей, гложущих чувств.

Стояла могильная тишина, но полная странного шепота-шороха, точно невидимые

мышы бесчисленно грызли толстые стены, точно любовь и надежда, отчаяние и неумирающая ненависть точили могильный склеп, точно уходящая, ускользающая жизнь все же неудержимо совершалась.

Он жадно читал без отдыха, пока проби- вался сверху скудный свет сквозь тесное, чер- неющее решетками окно, торопясь жить вы- мыслом, картинами минувшего, сложной иг- рой художественной выдумки. А когда прихо- дили долгие печальные серые сумерки, опять ходил без перерыва, без отдыха, все с одной и той же неотвязной думой, все с одним и тем же неотвязным ощущением. Холодным и влажным клубком свивалось оно в груди, вы- тесняя другие ощущения, другие чувства, без- надежно заполняя душу.

И он останавливался, прислушивался к то- му, что творилось в душе. Тогда отовсюду в сумрачной мгле, сверху, снизу, с боков, нес- лись воровски шуршащие, шепчущие, таин- ственные и страшные своей бесчисленно- стью шаги. Точно в эти медленные печаль- ные сумерки оживало все огромное здание, оживали холодные, тяжелые, перепутанные

железом, залитые цементом, украшенные решетками камни. Множество людей ходили в бесчисленных клетках, как и он, и каждый думал свою думу, и каждый торопился жить. И эти шуршащие бесчисленные шаги говорили об усталых, разбитых и измученных, вычеркнутых из жизни, говорили о сильных, гордых и смелых, надменно хранящих в груди неугасимую ненависть, говорили об испытанных, спокойно и упорно ждущих своей очереди борьбы или своего конца. А там опять приходила ночь, немая, безмолвная и неустанно шепчущая в этом могильном безмолвии.

Однажды, разыскивая по стенам надписи тех, чьи жаркие сердца бились тут до него, чьи очи гасли в этих вечных сумерках, он наткнулся на нацарапанное булавкой на стене:

*Скучно, товарищи, мне одиноко-
му*

*В душной камерке моей,
Скучно по родине, краю далекому,
Скучно, товарищи, здесь одиноко-
му*

Мне без родных, без друзей.

С полной надеждой на общее счастье

С юга за тысячи верст
Я прилетел, чтоб принять мне участие

В трудной борьбе за народное счастье,

Был я, товарищи, прост.
Нет, не придется мне песню победную

Слышать. Да все ведь равно,
Кто за толпу эту, голую, бедную,
Не пропоет песню славе победную,
Что всеми ждется давно.

Буду же смело идти на распятие.

Верный идее своей,
К вам же, друзья, простираю объятия,

А на врагов призываю проклятия

Братьев и света друзей.
Я же привык и к несчастью жестокому.

Только б в дорогу скорей,
Хоть по сибирскому снегу глубокому.

Все же бы лучше, чем здесь одинокому

В душной каморке моей.

А внизу чьей-то украинской рукой было написано карандашом: «Та нема ему конца, и краю нема!»

Он насупился и отошел от стены. С тех пор бросил читать, перестал кормить голубей, перестал торопиться жить и только ходил, ходил, ходил, и время беззвучно и неумолимо проносилось.

– Вы обвиняетесь в принадлежности к тайному сообществу...

Он смотрит на этот мундир, на лежащую на столе в синем рукаве руку, смотрит, не мигая, в лицо, и одно чувство, одно ощущение заливаает, бьется в висках, стучит в сердце – ненависть жгучая, ни на минуту не теряющая своей остроты.

– Вам знаком? – И рука в синем сукне быстро открывает фотографическую карточку.

– Нет, – говорит он, взглядывая на знакомое милое лицо товарища и взвешивая, как выгоднее отвечать.

«Но ведь этот в синем сукне – такой же человек, как и ты, – говорит чей-то странный голос, – как и у тебя, у него – мать, у него – се-

мья, дети, он их любит, воспитывает... спит после обеда...»

– А скажите, пожалуйста, за месяц до вашего ареста не квартировали вы у Некогого...

«Нет, неправда, – твердит другой голос упрямо, с мрачной убедительностью, – неправда, у него нет друзей, знакомых, нет своего жилища, нет семьи, нет детей... он их не любит и не может воспитывать, у него нет и никогда не было матери... у него никогда не было матери, и после обеда он никогда не спит...»

– Мой билет у вас, и по отметкам в участках вы...

Он на полуслове смолкает. Человек в синем мундире продолжает изысканно любезно и настойчиво задавать вопросы, но встречает то же молчание, то же спокойное лицо, на котором написаны совсем другие мысли, слегка бледнеет, потом густо краснеет, зовет людей и приказывает увести.

III

Он шел, осунувшись и глядя в землю, а те двое шли тяжело и прямо, позвякивая шпорами, и ярко-голубые пятна их мундиров двига-

лись перед глазами.

Неслась трескотня непрерывно подъезжавших извозчиков. Торопливо пробегали носильщики с оттягивавшими руки чемоданами, узлами, картонками.

Было тесно. Отъезжающие, провожающие, приехавшие толклись с озабоченными, или равнодушными, или рассеянными лицами. Стоял неясный, смутный говор, гул, наполняя огромное здание по самый купол, сквозь стекла которого пробивались синевшие полосы яркого света, и тонкая пыль весело играла в них.

Трое чуждо и обособленно шли в толпе – двое по бокам, один в середине, шли строго, как будто знали нечто, чего не знала эта колеблющаяся, переливающаяся, меняющаяся толпа.

– Нет, сюда пожалуйста... – вежливо проговорил молодой в синем, с гладкими щеками и тоненькими крысиными белобрысыми хвостиками над губой, – сюда пожалуйста... – усиленно вежливо проговорил он, напирая плечом и хмуря брови, как будто хотел сказать: «Убью при малейшей попытке...»

– А-а... – торопливо проговорил человек в длинном, бившем его по коленам пальто, и все трое, такие же чуждые и враждебные окружающей толпе, прошли через багажное отделение и пошли по платформе.

Поезд, длинный и странный своей неподвижностью, тая могучую силу бега, покорно стоял, темнея окнами.

– Ах, прелесть!.. Мама пишет: «Горы, море, чудные виды...» Я вам завидую...

– А я вам завидую или лучше завидую всем, кто будет у князя и будет любоваться вами. Вы будете царицей праздника...

Стройная, молодая, она не взглянула из-под длинных черных ресниц на троих проходивших. Он – гвардеец, с красным, отъевшимся лицом, почти с женской огромной грудью, затянутый, стоял у вагона первого класса с той преувеличенной почтительностью, с которой обращаются к женщине, когда ценят только ее тело.

– Ты же пиши... ты пиши...

Старушка, слабая, маленькая, положив голову на грудь сына в потертой, поношенной шинели врача, тихонько и жалобно, как ребен-

нок, всхлипывала.

– Пи...ши...

– Ванькя-а!.. Куды, песья голова, мяшок с хлебом засунул... Ванькя-а!

– Позвольте... позвольте...

Гул по асфальту тележки, удаляясь, бежал.

– Сюда пожалуйста, – проговорил молодой, решительно заступая дорогу и показывая на оторванную дверь вагонной площадки. – Селиванов, ступай вперед, – злобно и строго добавил он.

Селиванов, высокий и рябой, с огромным безволосым, нескладным лицом, звякая шпорами, прошел вперед и, поминутно оглядываясь, стал в проходе.

Поместились в маленьком купе третьего класса...

Солнце не проникало сюда, было сумрачно, ничего не слышно, что делалось за стенами вагона на платформе.

Изредка за стеклом проплывала голова в шапке или платке, часть плеча, и опять неподвижно и смутно глядели под навесом станционные окна и в них над аппаратами склонившиеся фигуры телеграфистов.

Далеко и слабо едва уловимым звуком долетел третий звонок. Так же слабо и глухо отозвался паровоз. Вагон дрогнул, мягко качнулся, кто-то угрюмо и равнодушно стукнул и стал мерно постукивать под полом, чуть потряхивая. Ускоряя, побежали окна, склонившиеся телеграфисты, красная голова начальника и вся платформа с стоящими на ней людьми.

Разом сделалось светло, и солнце, горячее, веселое, радостное, залило скамьи и синие одежды сидящих.

Один из них, с большим нескладным лицом, приподняв синюю фуражку, перекрестился два раза и проговорил:

– Тронулись.

Пролетели последние дома, последние вагоны на запасных путях. Поля, веселые, радостные, залитые солнцем поля развернулись широким, зеленеющим, позабытым за два года простором и побежали в необузданном диком радостном танце, кружась в огромном сияющем горизонте, открывая на смену деревни, дальние пашни, перелески, покосы, красные овраги.

Улыбалось ласково-голубое небо, ласково улыбались проносившиеся домики путевых сторожей уютom, бегающими ребятишками, роющимися в навозе курами, грядками картофеля.

И человек в длинном пальто улыбнулся. И чтобы скрыть радость, он закрыл глаза, но и сквозь закрытые веки радостно пробивался красный свет.

Из-под пола угрюмый и равнодушный бесстрастно и торопливо выговаривал:

«Мы – тут... мы – тут... мы – тут...»

Человек поднял веки, – лак стенок и стекла окон отражали синий цвет.

Опять закрыл. Вот – дом. Как все знакомо, близко, дорого. Стоят акации. Лениво скрипит водовоз. Пыль золотится, долго виснет в воздухе...

«Мы – тут... мы – тут... мы – тут...»

На телеграфных проволоках беспомощно повис змей. Извозчик дремлет на козлах, клюет. Дремлет, закрыв глаза, лошадь, покачивается и, очнувшись, вскидывает головой, сонно открывая глаза, и опять дремлет... Воробы оглушительно...

«Мы – тут... мы – тут... мы – тут...»

«Да... так о чем это я... лет семь мне, должно быть, было, с покойным отцом поехали в Ново-Александровскую станицу... Далеко за Медведицей синели прибрежные меловые горы... Сколько ни ехали, они стояли все такие же синие, таинственные. Мне страшно хотелось побывать и посмотреть, что там. Так и стояла в душе их далекая недоступная таинственность до тех пор, пока... побывал. Белели обыкновенные меловые обрывы, размытые и неровные... под монастырским лесом хорошо ловились на удочку стерляди... монашенички-послушницы, бледные, робкие... а ведь молодость раз дается...»

«Мы – тут... мы – тут... мы тут...»

Дремота набегала затемняющей сладкой волной.

«Если б уснуть... спать... спать... спать... до самого места... спать годы... проснуться и...»

– Ежели угодно, господин, можно с чайничком за кипятком сбегать. Тут долго стоит.

Он очнулся, вскинув головой. Неподвижная тишина. Под полом молчали,

– Не нужно, – и опять закрыл веки.

Но дрема, вспугнутая, улетела, и воспоминания и представления, злые и непрощенные, назойливо лезли в голову.

Свиваясь холодным клубком, шевельнулось в груди знакомое злое чувство. И снова встала кругом холодная, бесстрастная тюрьма, но не из камня и железа, не с беззвучными шагами надсмотрщиков, не со страшными ночами, полными безмолвного шепота, а тюрьма живых людей, которые кругом жили, плодились, разговаривали, смеялись, ездили по улицам, читали книги, ходили по театрам.

И у каждого было неподвижное лицо и потухшие зрачки, и каждый как бы хотел сказать: «Мы – сами по себе, ты – сам по себе».

И эта живая тюремная стена была в тысячу крат страшнее и беспощаднее тюремного камня холодных и неподвижных стен...

«Мы – тут... мы – тут... мы – тут...»

IV

В колонии первое время было оживленно и весело. Встречали новых членов, знакомились, и было радостное настроение впервые очутиться среди живых людей, среди живых мыслей, языка и понятий. Поваяло живой

жизнью, хотя кругом угрюмо белели туманы, стояли леса, болота и тундры.

Женщины были нежны и непринужденно, по-товарищески просты. И среди угрюмой мглы, день и ночь облежавшей серый горизонт, уже веяло дыханием любви. Как-то так случилось, что во время жарких споров по самым принципиальным вопросам понемногу разбивались на пары, и в полутьме блестели молодые глаза и слышался радостный смех. А кругом, угрюмо дожидаясь, стояла глухая осенняя тьма и мертвые зимние ночи.

И они дождались своего. Потухли глаза, потускнели первые радости, все узнали друг друга, исчезла новизна, и угрюмое одиночество, отрезанность, отсутствие настоящей работы и деятельности стало давить людей. И заползали мелкие недоразумения, мелкие споры и ничем не сдерживаемое раздражение.

Собирались каждый вечер вместе, читали, просматривали газеты и почти всегда кончали мелкой пикировкой и нападками.

За зиму один застрелился в лесу, и когда пришли, он сидел, прислонившись спиной к

дереву, твердый, хрупкий и звонкий от мороза, а кругом алел снег. Другую вытащили из петли, и долго все ходили, подозрительно глядя друг другу в глаза, молчаливо спрашивая, чья очередь.

А полярная ночь неподвижно смотрела слепыми, белесыми, невидящими очами.

– А когда на этой земле, удобренной нашей кровью, нашими слезами, нашей жизнью и молодостью, раскинется широкое дерево свободы, – говорил Варуков, заложив за спину руки, опустив голову и меряя большими шагами из угла в угол комнату, – о-о!.. тогда все придут под тень его, все – и мужик, и купец, и чиновник, и адвокат, и женщины, и дети, – и все будут любить его и дорожить им, а самые имена наши будут смыты забвением, как смывает дождь с аспидной доски написанное беглой рукой.

– Они, эти мужики, женщины и дети, так же страдают, как вы, – сумрачно бросил черноволосый, глядя блестящими глазами, и на его ввалившихся щеках лихорадочно пробибался румянец, а позади мертво глядел промерзший угол сруба, тихо дыша морозною

мглой.

Двое, наклонившись над столом, освещенным лампой, шуршали толстыми лексиконами, – изучали туркестанские наречия. Хрупкая, прозрачная девушка, склонившись, мерно взмахивала иглой, далекая от этой обстановки, от товарищей, от разговоров. Быть может, ей снились тополя, хаты цод лунным светом, дивчата и парубки милой Украины, и сама она чудилась песней без слов, печальной и грустной, как малороссийские напевы, странно заброшенной в снежную пустыню, где носятся только темные напевы метелей, глухих ночей да угрюмые стоны одиночества.

– Не только, как вы, а тысячу раз больше, чем вы, – бросил на минуту оторвавшийся от туркестанских наречий.

– Вы в ссылке барином живете, а они вымирают.

– Каждый из них с наслаждением променяет ужас своего существования на вашу барскую ссылку.

– Ах, какое мне дело до них, до их страданий. – И Варуков чувствовал, как вскипает в нем раздражение. – Я знаю только одно: когда

меня не будет, все они выползут, чтобы пользоваться добытым мною. И я их ненавижу... понимаете ли, не-на-ви-жу!

– Странно слышать... поговорим, пожалуй, и не до того договоримся, – едко усмехнулся черноволосый, – в этих случаях не останавливаются и катятся под гору.

– Да-а, тут уж надо быть последовательным и на полдороге не задерживаться.

Водворилось обычное, плохо сдерживаемое злое раздражение. Жалили друг друга колкостями, мало слушая. Угрюмо замолкали.

Тени недвижно темнели. Тихо дышали холодом стены. Мертво глядел морозный угол. В окнах все та же белесая ночь.

Варуков прошел в соседнюю комнату и ходил тут в полумраке большими шагами, стараясь не ступать на протянувшуюся из двери полосу света.

«Благородные люди!., черт бы вас взял...» И он подбирал язвительные и злые слова.

– А по-моему... уж не знаю, будет ли это на полдороге или не на полдороге, – говорил он, входя опять в освещенную комнату, – по-моему, с вашей стороны это просто...

Девушка оторвалась от тополей, уронила руки на колени и улыбнулась. И эта улыбка, такая же прозрачная, печально-ласковая, как она сама, была как последний аккорд молчаливо отзвучавшей песни.

– А почему это до сих пор остальные не собираются? Скажите, Евгений Александрович, правда – вы пишете?

Варуков хмуро прошелся, стараясь удержать расплывавшееся раздражение:

– Ну-ну... – Он махнул рукой.

В комнате невольно повеселело, точно угрюмое и тяжелое сползло.

– Да, он говорит, как пишет, – улыбнулся черноволосый.

– Как, как вы сказали: «Смыты дождем забвения»?

– Он сказал: «Самые имена наши будут смыты, как прах на могильных плитах смывается слезами склонившейся прекрасной женщины с распущенными волосами».

– Почему женщины, а не девушки?

– Потому, что девушка на пороге жизни, а женщина извела ее и оплакивает прошлое.

– Да ну, ну, будет, – добродушно отмахивал-

ся Варуков.

– А ей-богу, господа, он – писатель.

– Ну?

– Честное слово! Я видел... под заглавием...

– Да будет, будет вам...

– Товарищи, а что скажете насчет галушек?

– Браво!..

– Идет!..

– Очень рады... просим!..

– Вы, Иван Иваныч, бегите за компанией, ты, Карась, валяй за дровами, а вы, Марусенько, до галушків.

Через час весело пылал огонь, а вокруг большого стола с дымящимися галушками сидела многочисленная и оживленная компания.

V

Тянулись полярные ночи, как сумерки в огромной тюрьме.

«Почему это, – думал Варуков, – когда говоришь, выходит неубедительно, смешно и странно, подчас цинично и отвратительно, а когда думаешь, это – страшная правда».

И каждый раз он заводил старые разгово-

ры:

– Когда я работал до тюрьмы, я был как поглощен самой техникой работы, что ни на что больше не обращал внимания. Кругом меня волновался холодный, равнодушный океан, а я его не видел. Я не видел этого удивительного тупого и мертвого равнодушия к судьбе горсти людей, которые бились и истекали кровью. И вот меня арестовали. Пришли на квартиру и арестовали. Моя хозяйка равнодушно глядела на совершающееся в ее квартире. Когда меня вели по лестнице, квартиранты провожали глазами. Внизу мужичок-извозчик добродушно повез меня в участок, как будто я был тюк старой газетной бумаги. Из участка два мужичка Рязанской и Калужской губернии в синих мундирах повезли меня в тюрьму. По дороге во все стороны шли и ехали мужчины, женщины, дети. Торговали магазины, выкрикивали газетчики, ребятишки играли на бульваре в серсо. И опять так было, как будто ровным счетом ничего не случилось, как будто не обрывалась моя жизнь, как будто не была оборвана жизнь тысяч таких, как я.

– Да чего же вы, собственно, хотели?

– В тюрьме то же самое, – продолжал, не слушая, Варуков, – мужички, одетые в форму, повели меня, беззвучно ступая войлочными подошвами, в камеру и неукоснительно караулили. В окно мне видно было, как другие мужички выводили новый корпус для таких, как я. Я сидел в клетке, а кругом меня шумела жизнь. И однажды я с ужасом понял, что попал в тюрьму не тогда, когда меня схватили жандармы, а гораздо раньше, когда начал работать. Крутом меня стояла живая людская тюремная стена, гораздо прочнее, гораздо страшнее жандармов и каменных тюремных стен. Что жандармы! что каменные тюрьмы!.. игрушка по сравнению с ужасом и беспощадностью людской тюрьмы. А я, наивный, с энтузиазмом, с молодым увлечением бился в этой страшной тюрьме, стараясь пробить брешь в тупых и жестоких стенах.

– Ну что ж, теперь самая пора самому встать в стену этой тюрьмы...

Варуков презрительно передернул плечами.

– Вы меня... не уязвите, но позвольте мне...

– Тогда я вас совершенно не понимаю. Ну да, кругом вас непонимание, невежество, тьма, тупость, своекорыстие, ну, что ж из этого? В обществе происходит определенный, вполне закономерный процесс, и мы должны иметь дело только с этим процессом, а не с людьми как таковыми. И процесс этот заключается в расслаивании всего народа на классы, и по мере того как развивается классовая борьба в своем чистом виде, нарождается материал для нашего воздействия, нарождается понимание, проходит тьма, рушатся стены живой тюрьмы.

– Ах, оставьте меня с этой классовой борьбой, с этим идиотским...

– Извозчики тоже ругаются.

– Хорошо, я беру назад свои слова, но факт остается фактом... Печка горяча, я отлично знаю, что теплота – только молекулярное движение, но позвольте же, разрешите же и поймите закономерность моих ощущений... позвольте же мне ощущать теплоту ванны, нежную теплоту женской руки, наивную теплоту ребенка, которого я держу на руках... позвольте же мне ощущать эту теплоту как

таковую, а не высказывать поминутно с заявлением, что она не больше как движение молекул.

– Ну, так теперь вам остается только опустить руки.

– Нет, я буду бороться, я буду бороться. Но тогда, когда я отдавал свою юность, отдавал первые впечатления бытия, отдавал лучшее, что было заложено во мне, я боролся с энтузиазмом, я боролся с восторгом, с любовью, я бился в живую стену, ожидая, что вот-вот она дрогнет и расступится. Теперь я буду биться мрачно, безнадежно, с постоянной глухой злобой, буду биться с мыслью, что мне-то никогда не увидеть результатов моей борьбы... Почему буду все-таки биться? Да потому, что встать в ряды обывателей я уже не могу, я отравлен, потому же не могу, почему не могу по году носить вонючего белья, почему не могу жить без книг, без газет, без мыслей, без общения с себе подобными.

И снова в комнате, в которой лежали неподвижно темные тени, и за столом, желто освещенным из-под абажура, сидели, наклонившись над лексиконами, слышалось вспых-

нувшее раздражение.

Прозрачная девушка поднялась, подошла к Варукову и положила ему на плечи руки:

– Евгений Александрович.

Он опустил голову и тихонько снял ее руки. Она стала ходить по комнате с морщинкой важности и думы, заложив руки назад.

– В тысяча шестьсот шестьдесят седьмом году, – заговорила она сосредоточенно, – в городе Нюренберге произошло событие... – голос ее запнулся, дрогнул, она насильственной болезненной улыбкой хотела подавить судорожное трепетание губ, – в шесть... сот ты-ся-ча... шесть-сот а-а-а... – Тонкий заячий вопль, в котором билось рыдание и судорожный истерический хохот, затрепетал и заметался по комнате.

Бросились, подхватили ее с запрокинутой головой, уложили. Холодная вода, снег, лед. Все ходили на цыпочках, говорили шепотом. Потом придвинули стол к кровати и сидели возле нее, занимаясь каждый своим делом.

– Фу, какая я! – заговорила она, стараясь улыбнуться сквозь непросохшие на глазах слезы. – Сама не знаю, с чего это со мной.

Грицко, милый, достаньте «Кобзаря», вот там налево на полке, да почитайте нам.

Грицко, угрюмый украинец в широчайших штанах, достал «Кобзаря» и раскрыл:

*Мынають дни, мынають ночі,
Мынає літо, шелестять
Пожовкле листя; гаснуть очі...*

Тихо дышат холодом стены, мертво и бело
глядит прокаленный морозом угол.

VI

Как гром, прокатилось от края до края:
«Свобода!» – и докатилось отголосками до сумрачных лесов и пустынных тундр.

Колония оживленно и радостно собиралась в дорогу, оставались только те, кто лежал за околицей в вечной мерзлоте.

Солнце каждый день низко и подолгу ходило над начавшим синеть снежным горизонтом. Зачернели проталины, и под снегом хлюпала вода. Тянулись откуда-то гагары, утки, дикие гуси, лебеди, и в безоблачном небе целый день стояли говор, и гомон, и птичий стон.

Варуков тоже собирался, но угрюмо и мол-

ча.

В дороге не раз ворочалась зима, крутились и гудели метели, но чем дальше ехал, тем сильнее припекало солнце, сбегал снег, по рекам шумел ледоход.

И города и деревни он не узнавал, – там шумел людской ледоход.

Отражаясь, далеко огибает залив гранитная набережная. Позади амфитеатром подымается веселый городок. За ним, загораживая небосклон, стоят изрытые морщинистые горы, и верхушки их еще белеют, запорошенные снегом.

Вдали по светлому лицу моря узко и серо тянется мол, и возле утрюмо дымят пароходы, чернеют суда, весело белеют паруса лодок.

Море неподвижно-зеркальное.

Косо печет солнце.

Но это – не тяжелый расслабляющий зной, это – радостный блеск, все заливающий: и тихий залив, и белизну снега на вершинах, и дома, белые, желтые, серые, с красными, коричневыми, зелеными крышами, которые так ярко выступают, точно видишь все в панораме.

От солнечного блеска, от яркости красок невольно смежаются веки и веет дремой, сладкой, похожей на полузабытье, с не сходящей с лица улыбкой.

Усиливая блеск и яркость, простирается вдаль море. Оно по горизонту даже не круглое, а неправильной растянутой формы.

Больно смотреть.

На краю сквозит полупрозрачная молочная дымка, неясная, без очертаний, без границ! Не знаешь, где кончается эта водная гладь.

Едва уловимо идут стекловидные мягкие отлогие волны, идут издалека, но замечаешь их только у берега. Дальше море не дает смотреть – оно слепит, отражая, как зеркало.

Где-нибудь далеко, далеко оно колышется.

Приближаясь к берегу, медленно ползет лодка с повисшим парусом, ленивая от зноя, от ослепительного света, и весла, поблескивая, как будто с усилием медленно и редко опускаются в воду.

Залитая светом, теплом, ласковым блеском чуть плещущегося моря публика, разнеженная, в ленивой истоме расположилась по

набережной на скамьях. Белеют раскрытые кружевные зонтики, сереют весенние шляпы, сверкают стекла моноклей, звякают шпоры офицеров.

Варуков сидит на скамье и весь отдается солнцу, и морю, и блеску, и весенней истоме, и неге. Ни о чем не думает, ничего не вспоминает.

«Остался бы здесь дышать, смотреть и слушать век!..»

Как будто ничего нет позади, как будто расплылись в тумане прошлого тюремные годы, пропали дымившие холодной мглой стены, тихонько растаяли вычеркнутые годы, и на душе тихо и дремотно.

– Евгений Александрович, пора, собираются, – говорит, подходя, с озабоченным лицом юноша.

Варуков поднялся, и они пошли прочь от набережной, и толпы народа шли в одном с ними направлении.

Солнце заливает тополя и кипарисы, зеленые лужайки и синеющую сирень, сизые горы и веселое, яркое сверканье бегущей между камнями воды.

Море человеческих голов разливается по всему пространству между редкими деревьями, на которых, как груши, густо висят ребятишки. Все головы повернуты в одну сторону, тысячи глаз обращены на небольшую кучку людей, фигуры которых четко вырисовываются по синему небу высоко, на парапете стены. Поверх стены пролегает улица, идут прохожие, течет будничная жизнь.

– Свобода слова, печати, сходов, собраний... без этого людям нельзя жить... это вот что значит... – слышится оттуда, сверху, куда устремлены все глаза, молодой голос.

Он объясняет эти понятия, доказывает, что без этого жить нельзя и что только одно народное представительство освободит всех.

Варуков вмешивается в толпу. Мужичок в теплой рваной шапке, с сизым носом и потным лицом, охваченный этой необычной обстановкой, не слушая оратора, поминутно сморкается и всхлипывает:

– Во, во... это самое... в аккурате... ах, намочи тебя дождем... за самое за сердце!..

Барыни обмахиваются платками, не стесняясь сомнительного для них соседства пот-

ного, попахивающего рабочего люда.

– Как красиво он говорит...

– И сам красивый...

– Это – адвокат...

– За самое за сердце...

– Бог-то сверху глядит, до поры до времени терпит.

– Опасный народ скубенты...

– Пройда-народ...

– Они теперича в чижолом положении, умножение народонаселения ихнего сильно пошло, а местов не хватает, вот и бунтуют...

– Правление, свобода печати, а мы с голодудохнем.

Варуков проталкивается из толпы, подымается на парапет, и в глазах его бегают злые огоньки. Легкое движение.

– Варуков, Варуков...

– Евгений Александрович, может быть, вы скажете?.. Я отказываюсь от записи в пользу товарища Варукова.

– И я.

– И я.

Варуков подходит к самому краю парапета. У ног волнуется человеческое море. Как

степные тюльпаны, пестреют красными пятнами раскрытые зонтики. Колеблются цветы на шляпах. Чернеют цилиндры, котелки. По сторонам жмутся картузы. Блестят в толпе офицерские перевязи и португалии.

Варуков подымает руку, и по толпе перекачивается из конца в конец:

– Да здра-а-авствует сво-бо-да-а-а!..

Он набирает побольше воздуха, и голос над смолкшей толпой добегают до самого края:

– Зачем вы собрались сюда? Зачем?

Воцарилась мертвая тишина,

– Почему? Почему вы бросили ваши обязанности тюремщиков? Почему колыхнулись стены живой тюрьмы и вы пришли сюда слушать ваших узников?.. Светит солнце, вы, как тараканы, высыпали на тепло, на свет, на солнце.

– Товарищ, это не годится, – слышится сзади него растерянный, удивленный шепот.

– ...где же вы были, когда бились ваши дети? И не вы ли сторожили их, как заклятые враги, как жестокие тюремщики!.. Нет, не жандармы стояли по обеим сторонам торной

широкой дороги, густо устланной костями борцов, торной дороги в Сибирь, на каторгу, на эшафот, а вы!

– Что он говорит.

– Это возмутительно.

– Зачем таких выпускают?

– ...светит солнце, но через час, быть может, подует ветер с гор, нахмурится море, а вы трусливо побежите исполнять обязанности тюремщиков. И скатертью дорога. Ваше место там. Не стоило бы жить, если бы у толпы было только ваше лицо. Но я вижу измученные лица, которые умирали и будут умирать... пусть с голоду, пусть от непосильного скотского труда, пусть тупые, бредущие во тьме, нагнув голову в землю, в рабьей покорности, но эта тьма жадно ждет искры, чтобы забушевал пожар, и он уже никогда не потухнет, его не залить...

Торопливо складываются зонтики, в разные стороны разбредаются мелькающие цветные фигуры. Толпа все больше и больше чернеет, теряет краски и плотно придвигается к парапету, и Варуков чувствует, на него глядят тысячи глаз, тысячи живых челове-

ских глаз, скорбных, переполненных мукой и болью... И он с любовью, с жгучей, щемящей нежностью еще раз глянул в эти бесчисленные скорбные очи.

– Я, братцы, десять лет в Сибири провел... в лесу среди зверей, без человеческого слова, а у вас... а у вас тут Сибирь была, всегда была, есть и будет, пока вы не поймете, не подымете...

И разом над толпой поднялся лес рук, и, как буря, пронеслось над ней:

– С голодудохнем, мы, дети наши... и нету этому конца и краю нету!..

И, подхваченный этими голосами, Варуков крикнул, точно помолодевший, точно скинувший с себя десяток лет:

– Так освободитесь и вы от своей Сибири. Скиньте с себя цепи рабства и угнетения, что въелись вам до самых костей. Скиньте с себя помещиков, что насосались вашего пота. Скиньте капиталистов, кулаков, мироедов и тогда дневной свет увидите.

И опять поднялся над толпой лес рук, и до самых последних рядов пронеслось:

– Жисть свою положим!.. Кровь свою отда-

дим!..

И пересиливая их, крикнул Варуков:
– Теперь будете свободны!..

Настоящая жизнь*

I

– **Ч**^{то-с?..} Он приподнялся с улыбкой уважения, предупредительности, готовый слушать, готовый лететь, все исполнить. Крохотные губки, розовые, полненькие, как будто припухлые, торопливо мелькали, говорили что-то, что было для него вовсе не важно; влажно поблескивали мелкие, ровные, шаловливые зубки, а за спиной у него выстукивали аппараты, и перед глазами направо, налево тянулась металлическая сетка с окошечками.

В полутемном, пропитанном табаком, дышанием, испарениями казенном воздухе еще звучало «что-с?» и все держалась улыбка уважения, готовности, и хотелось, чтоб это «что-с?» звучало долго, бесконечно и чтоб нескончаемо лежала на лице, на губах, светилась в глазах эта улыбка.

– Будьте добры... могу ли я?.. Если я пошлю

телеграмму...

Он, все так же приподнявшись, все так же готовый лететь, слушал не слова и фразы, а музыку голоса, а кто-то другой его губами говорил совсем ненужное ему деловитым тоном:

– Видите ли, можно-с... Но вам придется отсюда эстафетой...

Когда она ушла, Ментиков с минуту сидел перед аппаратом, уставившись в одну точку и внутренне прислушиваясь к тому «что-с», которое он ей сказал, которое заключало в себе какой-то особенный, значительный смысл и с которым невольно связывалось представление о ней.

– Так-та-та-та... та-та... так-та-та... высылайте... партию... та-та-та... юфтового товара... та-та-та... та-та...

Рука быстро, неуловимо выбивала ключом торопливую дробь о юфтовом товаре, о смерти отца, поздравление с ангелом, просьбу выслать деньги, извещение о выезде новобрачных; шурша, выбиралась, белея и ложась кольцами, лента, и отовсюду неслись такие же короткие, приостанавливающиеся высту-

кивания, точно в тяжелом казенном воздухе носились звуковые точки, черточки, знаки. Несколько человек в мундирах с желтыми кантами и с желтыми лицами, согнувшись, выстукивали на аппаратах.

«Кто бы она была?..»

– Та-та-та... так... та-та...

«Гимназистка?.. Так не в форме...»

– Я вас попрошу не хватать с моего стола гуммиарабик.

– Да не ваш ведь... казенный... что распоряжаетесь...

– Извините... для меня приготовлен, и вы не хватайте... это бессовестно.

К окошечкам подходят старики, Старухи, мальчики, молодые женщины, молодцы из магазинов, подают синие бланки и деньги, получают сдачи и квитанции и уходят. А металлическая сетка равнодушно отделяет их от согнувшихся за аппаратами людей, придавая вид особого значения и важности этому отделенному месту.

«Городишь... ничего не понимаю... на каждом шагу: что-с... что-с... – передай сызнова», – читает на бесконечно выбирающейся, шур-

шашей ленте Ментиков запрос товарища с соседней станции, улыбается, вспоминает милые светившиеся, как две свечки, глазки, слегка потягивается, запрокинув голову и вытянув руки, и потом быстро, сосредоточенно наклонившись над аппаратом, снова передаст требование на партию голландского еыра, и в воздухе все так же неумоимо, без перерыва, точно горох из прорвавшегося мешка, сыплется:

– Та-та-та... так... та-та... та-та-та...

А к металлической сетке подходят подаватели и уходят, и на их место новые, и так без перерыва, и только молодые девушки веселыми пятнами выделяются из этой нескончаемо тянущейся серой вереницы, выделяются милостью, грациозностью и беспричинной радостью жизни, и под темными закоптелыми казенными сводами тогда становится светлей, просторней.

– На юго-восточной опять катастрофа.

Все поворачивают головы, но руки так же механически выбивают, и горох из прорвавшегося мешка без усталости сыплется.

– Много?

– Двое наповал, пять тяжело, трое легко...

– Господа, эта Огурчиха-то, которая сбежала с павловским приказчиком, опять к благоверному... денег просит выслать...

Здесь, за этой проволочной сеткой, сосредоточивались все тайны города. Какая фирма, какие ведет обороты, какие кому предстоят платежи, кто близок к банкротству, у кого есть любовница, кого переводят на лучшее место, – все сходилось сюда за сетку, точно тысячи невидимых нитей чужих разнообразных жизней тянулись под эти тяжелые закопченные своды, но жизнь под ними в пряном, тусклом воздухе, заполненном прерывистыми выстукиваниями, от этого нисколько не делалась разнообразнее.

II

С дежурства Ментиков ворочался домой поздно, часу в первом.

Горели фонари, и над домами стояла луна. От фонарных столбов тянулись по две тени. Ментиков торопливо шел, и рядом также шли две тени, одна спокойная и одинаковая, другая то коротко трепетавшая у самых ног, то вдруг выраставшая, когда он удалялся от

фонаря, громадная и черная, через всю улицу. Идти было очень далеко: тротуар, палисадники, дома, подъезды нескончаемо отходили назад, в голове беспорядочно, как комары-толкачи, толклись мысли.

Ему было двадцать два года, и он уже четыре года служил на телеграфе.

Хотелось любви, женской ласки, физической траты молодого, здорового тела, пуститься бегом или поднять что-нибудь тяжелое. Хорошо бы написать корреспонденцию про начальника конторы, устроить угощение товарищам, купить лакированные штиблеты и жениться на той, которой он сегодня говорил «что-с»... Раздражающим воспоминанием встают ярко освещенные комнаты, треньканье разбитого рояля, запах духов и потного тела, накрашенные женские лица с хриплыми голосами, сквернословящие и все-таки манящие и раздражающие.

Неподвижно, как изваяние, вырисовывается фигура городского на перекрестке.

Осенний воздух сыро и холодно вливается в грудь, и над домами такая же холодная, сырая дымка, голубовато озаренная, говорит о

чем-то, что не имеет никакого отношения к аппаратам, к начальству, к публике, к дежурствам, к сетке, отгораживающей от остального мира, к мыслям, которые толкутся в голове.

Плиты тротуара непрерывно уходят назад и темнеют влажной сыростью, вызывая представление смоченной гуттаперчи, которую он по целым дням жевал в гимназии, пока его не выгнали.

– Эх, братец, и чего тебе нужно?

Ментиков засовывает руки в рукава за спиной и, немного согнувшись и нагнув голову, так же монотонно шагает, не поднимая глаз с уходящего под ногами тротуара.

III

Ментиков сел на скрипучую кровать и стал стаскивать с усталых, прозябших ног сапоги. Кровать от движений шаталась и скрипела, а за дощатой перегородкой стояли говор, смех, звон стаканов. Двигали стульями, ходили; кто-то начинал насвистывать или вдруг запевал рыкающим голосом:

*Вы-ыпье-ээм мы-ы-ы
За то-оого-оо...*

Но сейчас же обрывался и слышалось:

– Гм! Ваня, плесни, – и звенела чайная ложечка.

Говоривший представлялся Ментикову высоким, черным, взлохмаченным, с нависшими над глазами бровями.

– Нет, врешь... что называется богом, нравственностью, долгом, то так же развилось органически и внедрилось в мою нервную массу, как... как, например, отвращение к трупу...

Дощатая переборка разошлась, обои потрескались, и казалось, что все, что там говорили и делали, говорили и делали в комнате Ментикова.

– Да, но отвращение к трупу можно подавить, – работают в анатомических кабинетах...

– Бога, долг и нравственность тоже можно подавить и работать в анатомических...

Ментиков разделся совсем, потом перегнулся с постели, достал с подоконника бутылку водки, выпил рюмку и стал жевать колбасу, чувствуя, как приятно расплывается по телу тепло.

– Разве еще махонькую? – сощурился он,

сам себе улыбаясь.

Мысли, приятные, смутные, неясные, расплывались в голове, как расплывалась теплота по телу. Дунул на свечу. Пламя, пугливо вытянувшись, кинулось в сторону с почерневшей светильни и погасло. Черное до этого окно теперь мягко проступило сероватым четырехугольником, и на перегородке извилисто зазолотились тонкие трещины. Кровать неистово закрипела, пока Ментиков укладывался. Потом смолкло.

«Что-с?..» – говорили милые глазки и смотрели на Ментикова ласково, тихонько замыкаясь навевающим сном, и тускло отсвечивавший серый четырехугольник где-то далеко безнадежно чернел переплетом. Тонкие, извилисто золотившиеся нити тускнели, растворяясь в наплывающее мраке. Все удалялось от него мягко, незаметно, бесконечно – стены, потолок, двери, окна, голоса и звуки, – и все это чуть брезжило в смутной дали, готовое потухнуть. Ментиков лежал один среди молчания и мрака на возвышении, похожем на подставку для гроба.

– Ха-ха-ха-ха-ха!..

Со звоном что-то уронили или разбилось, раздались голоса, смех, тонкие трещины отчетливо и извилисто зазолотились; серый четырехугольник мягко проступил совсем возле спинкой стула, через которую были перекинута брюки с подтяжками.

– Черти!.. Хуже нет – эти студенты... женятся, что ли... ни днем, ни ночью покою нет...

Он сердито повернулся, и кровать заскрипела, напоминая, что ночь, что он устал и что вокруг него все то же.

Ментиков с негодованием откашлялся и завел веки.

IV

– Аглая Митрофановна, студенты, что ли? – спрашивал на другое утро, умываясь в кухне, фыркая и разбрызгивая воду под краном, Ментиков хозяйку, лет за сорок, суетливую вдову-чиновницу.

– Студе-енты!.. – шипящим шепотом проговорила она, махнув головой. – Трое... будут ли платить, нет ли... книжищ натащили, ужась... Народ-то все неимуций, все чай пьют...

– Зато образованный.

И Ментиков изо всех сил стал тереть покрасневшее лицо и взлохмаченную голову полотенцем.

– Что ж с него, с образования, как пальцы глядят из сапог? Вон Макарьиха поймала студентика, дочку свою всучила, так ведь то хорошо, богатенький попался, а ведь тоже ежели одним чаем, проку-то с них...

Ментиков ушел на службу, забыл о студентах, и опять татаакали аппараты, опять поздравляли со днем ангела, требовали юфтового товара, извещали о выезде, сообщали о смерти, и серый воздух казенного здания, казенной работы охватил. Рябила в глазах решетка; белея, шуршали выползавшие из аппарата ленты. И сквозь серый туман привычной работы и усталости, привычной обстановки что-то пробивалось беспокойным, смутным воспоминанием. «Ах да, студенты», – торопливо вспоминал Ментиков и сам удивлялся, почему он о них вспоминает.

Ментиков ничего не читал, – некогда было. После дежурства мучительно хотелось отоспаться, а в редкие свободные минуты днем он бродил по улицам, полным шума, оживле-

ния, трескотни извозчичьих пролетов и того особенного несмолкающего шороха, который постоянно висит над непрестанно идущими людьми, которые, как живой поток, текли по обеим сторонам улицы. Ментиков останавливался перед витринами, выставками и подолгу стоял перед картинами и открытыми карточками с голыми и купающимися женщинами, с закатами солнца, перед охотничьими принадлежностями, перед машинами, оптическими приборами, велосипедами, автомобилями.

И он стоял с забытой на лице улыбкой. Какая-то огромная жизнь касалась его, глядела из-за этих огромных зеркальных стекол, глядела из молчаливых окон многоэтажных домов, неслась мимо в каретах, экипажах, трусила на извозчиках. Где-то там, быть может, за этими молчаливыми окнами, в роскошных апартаментах были прекрасные женщины, снимки с которых глядели с открыток, с фотографических карточек, – прекрасные женщины, за один взгляд, за улыбку которых можно было отдать и молодость, и радость, и жизнь. И они смеялись или грустили, плакали или

задумчиво читали о других людях, быть может, о нем, о Ментикове, телеграфисте, который и днем и ночью, согнувшись, выстукивал на аппарате.

А улица по-прежнему дрожала, гремела, шуршала непрерывным людским шорохом и неслась мимо Ментикова, как поток, бурливый и мутный, всегда чуждый и таящий что-то свое, многозначительное.

С этим бурно несущимся потоком он соприкасался только через газетку, которую пробегал каждое утро на службе.

Бывал Ментиков и в гостях у, сослуживцев на именинах, крестинах, устраивали попойки, но казалось ему, что было это продолжением серого казенного здания, серой казенной обстановки, серой казенной атмосферы. Те же разговоры, тот же смех, те же заморенные лица. А за стенами, за окнами неслась жизнь, огромная, сложная, веселая и непонятная, и Ментиков не принимал в ней никакого участия.

У Ментикова не было честолюбивых и даже просто чиновничьих мыслей о прибавках, повышениях. День за днем проводил он, ни о

чем не думая, с тем легкомыслием расточительности, которую позволяет себе только юность, ибо кажется, что этих дней еще без счета.

И если иногда он воображал себя начальником учреждения, так это был особенный начальник: он раздавал наградные двенадцать раз в год, причем высшие по размерам наградные получали самые мелкие служащие, а высшие служащие получали наименьшие. Он отвел бы в своей квартире большой зал, украсил бы его картинами, поставил бы рояль и каждый праздник приглашал бы чиновников, и все бы танцевали, пели, ухаживали за барышнями, а на столах горы закусок и батареи вин.

Иногда Ментиков начинал фантазировать на эту тему вслух, и его слушали, а потом, махнув рукой, отходили:

– С вами, батенька, еще влопаешься... вот услышит *сам*, влетит вам...

С тех пор как рядом с ним поселились студенты, что-то новое прибавилось у него. На службе он о них забывал, но когда приходил домой и в темноте извиристо-тонко золоти-

лись щели, он разом чувствовал, что там своей особенной жизнью живут люди, с которыми он непонятно для себя как-то отдаленно, но осязаемо связан. И ложась на скрипучую кровать, чутко прислушивался.

– А-а... то-то и есть... – слышался чей-то тонкий голос, как будто в комнате самого Ментикова, – то-то и есть, объективизм... Слова одни... Вот вам, большинство думает, и Спенсер думал, что тени всегда черные, а оказалось, что они цветные, а не черные...

Голос был тонкий, певучий, и, вслушиваясь, казалось, что суть вовсе не в том, что он сейчас говорил, а в чем-то совсем другом, печальном и грустном, – и Ментикову представлялось бледное грустное лицо, белокурые, гладко лежащие волосы и больная вдавленная грудь, из которой выходили эти грустные, тихие слова. – Да-а, а он годы целые ходил и думал, что тени черные, а они оказались цветные, – стало быть, они, тени-то эти, в нем сидели. Понимаешь ты...

– Ну, так в чем же дело? Субъективно он обманывался, а объективно...

Этот говорил рыкающим басом, представ-

лялся высоким, черным, взлохмаченным. Это он, должно быть, запевал: «Выпьем мы...»

Ментиков лежал калачиком под одеялом и усиленно жевал резиновую колбасу.

«И чудной народ, – думал он и, повеселев почему-то, сел на кровать, смутно белея сорочкой, и стал крутить папиросу. – Какого же она может цвета быть, ежели она черная... А студенточки не слышать... стало быть, не приходила сегодня... Башковитый народ, веселый, главное – никого не боятся, сами себе господа...»

Он затянулся, подержал в себе дым и медленно выпустил, ощущая едкий запах.

«Познакомиться бы надо... Только народ они опасный... влопаешься с ними...»

И натянул одеяло, укрылся с головой, стал дышать в тесном и душном пространстве и в то же время думал, что не страх попасться со студентами удерживает от знакомства, а отделяет его от них черта иных интересов, иных мыслей, иного понимания мира.

«Бог внедрился в нервную систему, как... как отвращение к трупу...»

Ментиков не представлял себе ясно всего

содержания фразы, но она неотступно всплывала в мозгу, огромная, многозначительная.

V

В учреждении все было то же – изведано, старо, неподвижно, тяжело, как каменное, изо дня в день, из месяца в месяц; вечерами же, когда ворочался домой, золотившаяся сквозными, просвечивающими извилинами перегородка всегда давала что-нибудь новое.

– Да потому, что люди отдают себя, отдают жизнь, свободу, личное счастье, отдают все, что есть дорогого на свете... – отрывочно несло оттуда.

– При чем тут эгоизм?..

– Да ни эгоизм, ни альтруизм... Оставьте слова... Просто эволюционный этап человеческой мысли, чувства, совести...

В другой раз Ментиков услышал:

– Я хочу... – раздавался мелодичный женский голосок, – я хочу жить полной жизнью, я хочу дышать полной грудью, я хочу наслаждаться... А если меня сошлют, засадят в тюрьму, повесят, мне трудно будет... Как же я буду жить полной жизнью?

– Да, мудроно, – подтвердил бас. – А только

помните вы калмыцкую сказку из «Капитанской дочки»? Клюет ворон падаль, а орел спрашивает: «Отчего ты триста лет живешь, а я тридцать?» – «А оттого, говорят, я клюю падаль, ты живую кровь пьешь». Клюнул и орел с ним раза два, взмахнул крыльями и поднялся: «Нет, говорит, лучше тридцать лет прожить да живую кровь пить, чем триста да мертвечину клевать». Так-то, хорошая моя Анна Васильевна.

Для Ментикова были непонятны эти обрывки разговоров без начала и конца, недоговоренные, предоставляющие собеседнику самому догадываться и выводить заключение, но подымали они что-то новое, неиспытанное, тревожное и беспокойное.

Да, он знал, что многих арестовывают, ссылают, сажают в тюрьмы, что «бунтуют» студенты, но прежде это было где-то далеко, чуждо и неизвестно, из-за чего это делалось. Теперь, хотя оно было так же мало понятно, но речь об этом вложена в уста живых людей, и этим самым этому придавалось живое, близкое, всех касающееся значение.

«Лучше тридцать лет да жизнь, значит, на-

стоящая, чем триста да дохлятина...» – думал он, шагая на службу.

И постепенно отделяла его от службы, от казенного здания, от товарищей, от привычных интересов холодная, серая, казенная стена, и из мглы проступала так же постепенно такая же серая, невидимая прежде, но непреходимая, зыблющаяся стена, которая отделяла его от всей огромной, кругом разворачивающейся, кипящей жизни, от красоты ее, от знания, от деятельности, от наслаждения.

И все, о чем говорилось там, за этой тонкой перегородкой, все это родило не столько понимание, сколько ощущение своей отделенности, заброшенности, ощущение норы, в которой он копался и в которой суждено копать до конца дней.

Было что-то в этом глубоко правдивое. Перед ним вставали зеленоватый лунный свет и сияющий электрический и две тени – коричневая и синеватая, цветные тени, так поразившие его когда-то. И это воспоминание всегда служило как бы неопровержимым доказательством истинности того непонятного, но большого, сложного, полного значения и

освещающего как-то по-своему жизнь, что говорилось за перегородкой.

Иногда там читали. Ментиков слушал и ничего не понимал. Но порой западала отдельная фраза, выражение. Ментиков подхватывал их, вкладывая свое собственное содержание.

«...Оболочка старого общества не выдерживает, лопается, рождается новое общество...»

«Ага, – думал Ментиков, – лопается... Разумеется, лопнешь от тоски и скуки, от серых дней, от серых стен, от вечно униженного собачьего дрожания перед начальством, от бессмыслицы этой непрерывной, без отдыху и сроку, работы».

VI

Кругом шла обычная трудовая жизнь. В сторонке один из чиновников считал деньги для сдачи в казначейство. Носилось: та-та-та... та-та... Ментиков, веселый, оживленный, делал свое дело, перекидываясь шуткой, остротами.

– Господа, к Ивану Ивановичу сваха приходила!

– Ну-у? Посватала?

– Нет, напились вместе, и все.

– К нему не подойдешь, – водкой, как пулеметом, шибанет.

– Господа, а вы знаете, как он одну свадьбу разбил?

– Как?

– Да приезжает из Саратова купчик по делам фирмы, папаша прислал, ну, приехал, первое дело к певичкам, кутнул, да так, не просыпаясь, неделю... размяк, по уши в одну. Честь честью приглашает к венцу. Пошли приготовления, папашины денежки плакали, все пустил в ход сынок, невесту роскошно одел, бриллиантов подарил, завтра – свадьба... Дешешу папаше: «Благословите... на дочери дворянина... двести тысяч приданого». Папаша с мамашей в восторг пришли, телеграфируют: «Мы все в восторге поздравляем». Иван Иванович с мухой был, в глазах двоилось, и передал: «Мы все в остроге пропадем...» У купчика хмель вышибло, в ужасе бросил невесту, приготовления и кинулся в первый попавшийся поезд.

– Ай да Иван Иванович! Ха-ха-ха!..

– Ха-ха-ха-ха....

Серый казенный туман дрогнул от здорового веселого смеха. Смеялся чиновник, считавший деньги, на минуту полуобернувшись к смеявшимся товарищам. Хохотал Ментиков, хохотал и... быстро протянул руку, взял и опустил в карман пачку уже отсчитанных перевязанных кредиток.

– Так, так – «мы все в остроге»? Ха-ха-ха! – говорил он, никак не в состоянии справиться с душившим его смехом, – «в остроге»...

«Сейчас... сейчас вот!» И все. у него внутри было до того напряжено, что, казалось, со звоном рассыплется при первом окрике, при первом движении заметивших.

Чиновник, продолжая смеяться, запер деньги, и звон замкнувшегося замка болезненно отдался во всех углах огромного помещения.

– Макар Иванович, дайте-ка папиросочку, – проговорил чиновник с еще не успокоившимся от смеха лицом, опуская ключ в карман.

– Да вот не угодно ли? – торопливо протянул порттабак Ментиков, чувствуя в правом кармане мягкое давление пачки, которая как

будто стала уже теплой.

«Сейчас... вот сейчас!»

– «В остроге», ха-ха-ха... придумать же надо!..

И все то же звонко-чуткое, почти радостное, полное никогда не испытанного напряжения состояние наполняло его, нечеловечески напрягая мышцы, нервы, мозг, каждую секунду готовое с оглушительным звоном оборваться. И каждую секунду готова была разинуться пасть, черная, молчаливая, как тьма ночи.

– Всего интересней, какая рожа была у купчика после депеши... Ха-ха-ха!..

И вдруг стала клонить сонливость, охватила неодолимая усталость. Бормоча странные несвязные слова, бессильно улыбаясь, он опустился на стул, выронил папиросу; на секунду голова свесилась, и все, как мгла, задернуло спокойствие, убаюкала сладкая, полная уюта тишина, безмолвие, глубокий, давно жданный, неиспытанный покой, напоминавший детство, игры, сладкий сон в кроватке, синее небо, дальние лески... поблескивавшие тихие воды....

Но через мгновение быстро поднялся, тряхнул головой и, со смехом и ненужно повторяя: «Мы в остроге... все в остроге», подал по очереди чиновникам руку. У него кончилось дежурство. Неся за спиной все то же безумно острое ожидание крика: «Вернитесь-ка!» – и неизгладимое впечатление наклоненных лиц, измороженных неустанной работой, печальных и бледных, прошел коридор, надел пальто, насвистывая марш из «Кармен» «То-ре-а-дор, ссме-ле-е... то-ре-а...», сунул изумленному сторожу полтинник и пошел к двери, слыша за спиной беспорядочный торопливый топот бегущих без крика в страшном, поражающем молчании чиновников.

Дверь, визжа и захлебываясь, отворилась и затворилась, отрезав топот, и улица, радостная, оживленная, залитая солнцем, блестящая красками домов, стекол, металла, человеческих лиц и одежды, охватила, как родная, жгучими объятиями любящей, давно ждущей женщины, охватила звуками, шорохом, говором идущей толпы, свежими, сложными многообразными уличными запахами.

«Бежать... бежать... бежать, во что бы то

ни стало!.. То-ре-а-дор, сме...»

А сзади неся приближающийся топот задыхавшегося, запыхавшегося сторожа.....

И Ментиков остановился и, глубоко набрав нехватавшего воздуха и не оборачиваясь назад, лениво глянул в один и в другой уходящий в синеющую мглу конец улицы, откуда трещали извозчичьи пролетки, неслись, сыпля синие искры, трамваи, стремились тысячи людей.

Пошел не спеша, все так же подняв голову, готовый отдаться этому немолкнущему, колеблющемуся говору улиц, неуловимому, неопределяемому, но постоянному шуму этой недоступной до сегодняшнего дня, приглашавшей, бесконечно разлитой жизни.

«То-ре-а-дор... сме...»

Зашел в магазин.

– Что угодно?

– Дайте-ка трость.

– Пожалуйста.

Разложили целую кучу палок, тростей, тросточек. Ментиков взял первую попавшуюся: тонкую, гибкую, тяжелую, из черного дерева, не удерживаясь и все насвистывая сквозь

зубы.

– Сколько?

– Три рубля-с.

– О-отлично-с.

У приказчика было собачье, вытянутое наперед, чисто выбритое, с зачесами от ушей, лицо. Ментиков засмеялся:

– У вас, знаете, удивительно любопытствующее лицо.

И стал вытаскивать не вылезавшую из кармана пачку, и когда вытаскивал, думал, что нужно сделать что-то не то, не так; но не успел выяснить этого себе, как пачка вылезла, большая, аккуратно перевязанная, и все на нее смотрели, не спуская глаз.

Ментиков засмеялся, выдергивая упрямо не дававшуюся двадцатипятирублевку.

– Да вот случай такой... со мной... Недавно вот, – на телеграфе... ха-ха-ха... Купчик, знаете, один совсем уже жениться приготовился. Знаете ли, того... невеста и все такое... Хе-хе-хе... телеграфирует родителям... те благословение... дескать, в восторге. На телеграфе натурально перепутали: «все в остроге»... Да... Хе-хе-хе... Можете себе представить?

Ментиков смеялся, а у всех приказчиков сделались такие же длинные, вытянутые собачьи лица, как и у того первого, и они глядели, не моргая, как будто старались заглянуть позади нелепого, ненужного, бессмысленного смеха.

Ментиков опустил в карман сдачу, повернулся и пошел, помахивая тросточкой, все так же насвистывая, не оглядываясь, к дверям; они беззвучно, на цыпочках пошли за ним, балансируя руками, и в дверях *тот* первый, с собачьим лицом, стал махать и делать знаки городовому.

Городовой с минутку пристально глядел на них, видимо, не понимая знаков, потом медленно пошел к дверям, все так же не спуская глаз. Ментиков дожидался на панели, глядя прямо на него прищуренными глазами, улыбаясь и насвистывая сквозь зубы. Городовой, сделав шагов пять, повернулся и так же медленно пошел назад, и спина у него была широкая и перетянутая у пояса черным ремнем.

«То-ре-а-дор...»

Ментиков пошел по панели, чувствуя у се-

бя позади городского с широкой спиной, и приказчиков с собачьими мордами, и сторожа, и чиновников, беспорядочно, тупо и нелепо мечущихся по учреждению. И словно тяжело стало нести тяжесть всех этих людей, охватила знакомая, мгновенная усталость, глубокое равнодушие, точно улица вдруг отодвинулась, и где-то далеко-далеко в мутной дымке неся ослабленный, заглушённый грохотом экипажей и шепчущий, едва слышный шорох идущей толпы. Захотелось закрыть глаза с улыбкой, тихой и ясной, улыбкой далекого милого детства... Голубое небо, голубая глубина речки, шепчущие камыши... нависшие над водой ветлы... Милые детские глазки... коса с вплетенной ленточкой, скользившая по тоненькой спинке, как змея... Ах!..

– Пардон!..

– А вы не толкайтесь...

– Телеграммы!.. Телеграммы свежие!..

– Эй, поберегись!..

– Извозчика надоть?

– Господин, на резинах...

– То-ре-ад... тьфу, будь ты проклят с твоим тореадором, навязался...

А улица опять гремела, бешено неслась мимо, бурливая, огромная, захватывающая, полная клокочущей жизни, полная красок и звуков. Она уже обступала со всех сторон, заглядывая в глаза, надоедливо и ярко крича всеми богатствами, всеми наслаждениями и уже несколько обесцененная доступностью для него.

И он шел опять с поднятой головой, с обнаженными зубами, сквозь которые посвистывал, с презрительной усмешкой, помахивая тросточкой.

– Ну, ты... резина!

Медвежеобразный, широкозадый детина, сидевший на козлах новеньких дрожек с обтянутыми резиной колесами, торопливо и услужливо обернулся, но, увидев молоденького, с только что пробивающимися усиками телеграфиста, нагло смерил с головы до ног и, отвернувшись с нескрываемым презрением, процедил:

– Куда?

Ментиков вспыхнул.

– На скачки... Что морду-то воротишь!..

– Трешница, – с тем, же невозмутимым

презрением процедил тот, не желая без толку тратить слова на бесполезный торг.

– Дурррак!.. Значит, ни к черту с твоей клячей не годишься... Красную!..

Тот обернулся удивленный, потом моментально соскочил, путаясь в длиннейшем армяке.

– Пожалте... духом донесу... Пожалте... садитесь...

Торопливо сорвал с длиннотелой, длинноногой, костистой, с сухой головой лошади небольшую попону, торопливо снова сел, подобрал вожжи, и лошадь с места пошла крупной, размашистой рысью. Дрожки, мягко прыгая, беззвучно покатались, и все побежало назад, а в лицо потянул ветер.

Ментиков покачивался. Городовой, приказчики с длинными мордами – все уносились и оставалось позади. А навстречу угрюмо, зловеще и сосредоточенно бежало большое желтое здание, в котором теперь был страшный переполох. Вот запыленные окна, визжащие парадные двери и... тоже позади.

– Трогай, трогай... Что спишь!..

«Теперь там догадались, видели в окно...

трещат звонки телефона, все участки, весь город на ногах».

– Трогай же, тебе говорят!.. – иступленно кричит Ментиков и тычет в спину кучера тросточкой.

Тот подбирает вожжи и вытягивает лошадь кнутом. С треском, точно разлетаются булыжники, сыплются снопы искр, – и среди шума, грохота и звона слышно, как чеканят по мостовой кованые копыта. Лошадь, вытянувшись в нитку, несется, раздувая кровавые ноздри и роняя уносимую быстро бегущим навстречу воздухом белеющую пену, и молча несется позади, мягко прыгая, пролетка.

Дома, фонари, извозчики, пешеходы – все, как ветерок, уносится назад. Каждую секунду можно кого-нибудь раздавить.

– Побргись!.. – по-звериному ревет лихач, – которого пьянит эта бешеная езда.

– Зй... куда на людей!

«Что, давить нар...» – точно сорванное, пропадает в грохоте и шуме несущейся назад улицы.

У Ментикова бьется сердце и холодный пот выступает на лбу. Он ни на секунду не со-

мневаются, что за ним изо всех сил спешат и что городские не в состоянии перехватить на перекрестках только из-за бешеной езды.

– А-а... – говорит он, качаясь и стискивая хрустящие пальцы.

Дома редуют. Тянутся пустыри. Вот и скачки, поле, синееет лес.

Лошадь останавливается, нося боками. Грудь, шея, ноги – все забито белой клочковатой пеной.

На скачках море народу. Возбужденные лица, то бледные, то пунцовые; нервные, то ропливые жесты. Алчные или потухшие глаза, дрожащие руки. Ментиков вмешался в эту толпу, и у него стали дрожать руки, стало красным лицо. Деньги быстро поплыли из кармана. Потом он выиграл, потом опять стал проигрывать и, вероятно, все спустил бы, если бы не кончились скачки.

Когда он ехал назад, странное ощущение, что забыл что-то и чего-то не взял, или нужно было что-то вспомнить, мучило. И он лазил по карманам, поминутно смотрел на часы и тер лоб.

«Ах, да... скачки!.. Нет, не то... Но что же?..»

И с этой угрюмой, сосущей неудовлетворенностью вернулся в город и пообедал в лучшем ресторане.

Еще оставалось время, еще оставались деньги, и то и другое надо было убить.

VII

Отовсюду тяжело ложилась на город, на здания, на площади, на улицы ночь, густая, черная, без звезд и молчаливая. Но огни, зажженные людьми, упруго и упорно отодвигали мрак, и звуки людских голосов и треск экипажных колес так же упорно старались нарушить величавое молчание ночи. И над городом стояли зарево и гул. А над ними простирался океан мрака и безмолвия.

Ментиков медленно шел по ярко освещенной улице и чувствовал, какая неизмеримая бездна мрака простирается над этими ничтожными огнями. Выделяясь среди их голубого сияния крикливой яркостью багрового зарева, нагло горели огромные, розовато-красные фонари. И все вокруг было красно: площадь, экипажи, лошади, стены домов, лица людей и мрак наверху. Что-то продажное и нечистое чудилось в этом ярко-красном тре-

петавшем освещении. Точно румяна на по-
блеклом, наглом лице, точно яркие куски ма-
терий на грязном теле. И мальчишки были
пунцово-красные, грязные, оборванные, ис-
пытые и дрожащие, а некоторые пьяные – с
циничной бранью на устах и нежными, ду-
шистыми и тоже ярко-красными цветами в
грязных руках.

Они бежали за экипажами, хватались и
кричали хриплыми голосами:

– Барин, купите пукетик!..

– Ба-арыня, купите пукетик!..

И в этом фантастически-багровом свете
подымалось фантастическое здание изломан-
ной, странной архитектуры. Невидящие, сле-
пые окна глядели на кишевший по площади
в кровавом освещении муравейник.

В изломанных линиях не было украше-
ний, орнаментов, зато вся сила художествен-
ного творчества была положена на вести-
бюль.

Широкая, искривленная такими же стран-
ными линиями, разверзалась изнутри здания
пасть, вся залитая тем же розовато-багровым
заревом. Поражала роскошь болезненно ори-

гинальной орнаментики. И этот странный, всегда открытый зев далеко выступал из здания, уверенно и неподвижно глядя на площадь, на улицы, на город, на маленьких, суетливо кишевших людей.

Экипажи беспрерывно, нескончаемой вереницей подъезжали, и толпы красиво и богато одетых женщин и мужчин с лицами, залитыми багрянцем, без перерыва вливались в разверстый зев, и он поглощал их, всегда алчно раскрытый, всегда ожидающий новых, окрашивая всех одинаково.

Ментиков подошел сюда. Но когда очутился в этом затопленном розоватым светом пространстве, когда увидел беспрерывно подъезжающие экипажи и молодеватых городских, движением руки устанавливающих порядок, толпы разодетой публики, – волнение охватило его. В своей форменной тужурке он мозолил всем глаза.

«Сию же минуту взять извозчика, поехать, пока не закрылись магазины, и одеться в штатское...»

И повинувшись странному противоречивому чувству, он прошел в вестибюль, поднялся по

роскошной, уставленной тропическими растениями лестнице и потонул в нарядной, оживленной, где сверкали обнаженные женские руки и плечи, толпе. Прошел к буфету и приобрел смелость и уверенность движений.

Потом все плыло, как в чаду, красивое, захватывающее, с той красотой и страстью, которые ранее недоступно смотрели на него из витрин, с картин, таились за окнами громадных домов, которые дразнили и мучили воображение. Лилось шампанское, сияли огни, плыла музыка, сверкало женское тело.

А потом это женское тело, такое доступное, отдавалось ему, и от вина и чувственности плыла кругом комната с китайским фонариком, с огромной кроватью, с красноватым полумраком, разлитым по мебели, по стенам.

И когда глубокой ночью, опершись на локоть, глядел в лицо спавшей женщины, оно было неприятно, потно, со слезающими с помятой кожи румянами. Открытый рот чернел, и дыхание пахло вином. И он, не отрываясь, глядел, и тонкая щемящая боль неудовлетворенности кольнула. А когда вышел на улицу, первое, что бросилось в глаза, две тени: одна

голубоватая, другая коричневая. Одна ровно шла с ним, другая то трепетала у ног, то вырастала через улицу.

И по странной ассоциации перед ним встали витрины, магазины, окна многоэтажных домов и дощатая перегородка, тонко золотившаяся щелями. И первое мертво и пусто чернело, а за второй чудилась какая-то своя, живая, непознанная жизнь. И он с тоской шел домой по пустынным улицам, и молчаливые, глядевшие слепыми окнами дома немо и неподвижно провожали его.

VIII

Снял пиджак, жилет, галстук, туго накрахмаленной воротничок и аккуратно все сложил на стуле. Снял сапоги. Долго стоял босой, не видя комнаты, обстановки, потеряв время, не чувствуя усталости. Потом глянул на свои босые ноги, на них набегали оказавшиеся теперь необыкновенно длинными штаны. — А... это потому, что на сапогах каблуки, а теперь без каблуков, вот и длинные.

И он, стараясь поравнять обе штанины, подтянул одну, потом другую подтяжку, потом заложил над головою руки и долго и судо-

рожно зевал.

Охватила знакомая усталость, истома, хотелось забраться под одеяло, свернуться калачиком и, жуя резиновую колбасу, прислушаться, о чем там говорят, что читают. Боже мой! Быть может, и было настоящее – эта маленькая комнатка, эта скрипучая кровать, эта лампа, тонко светившаяся щелями перегородка, откуда шли такие странные, непонятные слова и мысли, – странные и непонятные, и такие дорогие и близкие в своей непонятности, будящие что-то глубоко залегающее в душе и раскрывающее иной – огромный, скрытый от него смысл.

О, он отдал бы половину жизни, отдал бы правую руку, глаз, отдал бы десять лет своего здоровья, только бы его пустили заглянуть за эту перегородку, тонкую и сквозившую, откуда доходили обрывки мыслей и понимания, кусочки того огромного мира, которого он был лишен.

Жгучая, острая тоска, от которой сохнут просящиеся на глаза слезы, холодно и спокойно свернулась клубком и спокойно глядела ему в глаза, – тоска не потому, что погиб, что

нет возврата, что оказался подлецом, что товарищ несет свою неповинную голову, а потому, что целый мир, огромный мир прошел для него недоступным, потому что – он чувствует – никогда не узнает всю важность цветных теней, никогда не поймет, что общего между богом и трупом, никогда не осмыслит, о чем говорили ворон и орел.

Он прислушался. Там было тихо. Щели не золотились. Было тихо в комнате, в доме; стояла тишина на улице, неподвижна и молчалива была ночь.

И отдаваясь щемящей, хватающей за сердце боли и тоске, он хрустнул пальцами, потом вдруг потух, опустился, под глазами проступили синяки. Усталость, непобедимая и давящая, отнимающая волю, сознание, способность сопротивляться, охватила всего. Сел к столу и набросал несколько строк. Порвал. Снова набросал и Опять порвал, положил ручку. Прислушался к молчанию, к тупой и неподвижной тишине, полной всюду разлитой, неодолимой усталости.

Потом взял табурет, приставил к перегородке, влез на него, попробовал руками тор-

чавший крюк, захлестнул за него шнурком от занавеси, сделал петлю, надел на шею, поправил и, придерживаясь за стенку руками, стал сталкивать ногами табурет. Когда табурет, наклонившись, стал падать, Ментиков с нечеловеческими усилиями и безумным ужасом попытался его удержать.

«Ведь вся жизнь, прекрасная жизнь впереди... Все можно поправить!..»

Но табурет со стуком опрокинулся, Ментиков тяжело повис, подёргался немного, высунул вздувшийся язык, широко и изумленно раскрыл глаза, тихо перекрутился и успокоился.

Чуть подрагивая, горела свеча. На черных стеклах изредка появлялись капли дождя.

Утром власти, делая осмотр, подняли разрозненные клочки бумаги и, подобрав, сложили на столе:

*«...т... л...сп... тать... стоящую ж...
ЗН...»...*

Оцененная голова*

I

— Так едешь?
— Еду.

Они курили, в промежутках прихлебывая густой застывший чай. Лампа из-под абажура низко и желто освещала разбросанные газеты, рукописи, книги, перевесившиеся через стул штаны, а выше абажура ровная пепельная тень поглощала незатейливую обстановку полустуденческой комнаты.

Молчал потухший самовар.

— Тебя всюду ищут.

— Знаю.

— Твоя голова оценена.

— Знаю.

Хозяин с рыжей бородкой, в синей суконной, без пояса, рубахе, прошелся из угла в угол, сильно затягиваясь. Подошел к столу и ткнул в зашуршавший листок:

— «...Из достоверных источников мы получили сведение, что за поимку товарища Богун на правительство назначило три тысячи рублей...»

Гость усмехнулся и погладил небольшую, но густую и окладистую черную бороду:

– Дешево... Я думал, дороже стою.

Ничего не было замечательного в этой трехтысяче-рублевой фигуре, но все в нем было удивительно пропорционально. Грудь, плечи, руки, ноги – все было в меру, все было полно живой, упругой, сдержанно сквозившей в каждом движении силой. Лицо некрасивое; но злое добродушие, державшееся постоянной улыбкой в углах глаз, смягчало его.

– На юге снова провалы, – заговорил он деловым тоном, как бы желая сказать, что разговор на прежнюю тему исчерпан, – одного не понимаю, зачем эта кислятина, эти студни лезут в дело?.. Для того, чтоб фигурировать в статистике арестов?

– Милый мой, точно высчитано: средняя продолжительность работы – два месяца.

Богун быстро, упруго поднялся.

– А я тебе говорю, а я тебе говорю, – смягчавшая его лицо постоянная скептическая улыбка в углах глаз пропала, и жестокостью, холодной и непреклонной, веяло от этих резко определенных черт, – я тебе говорю: «Через

шесть месяцев правительство назначит за мою голову шесть тысяч».

Хозяин покачал головой. В соседней комнате укачивали ребенка, и мерно и неясно доносилось: «Аа-аа-аа»... и поскрипывали кольца колыбели. Не отводя глаз, черно глядела темнота в стекла.

Богун ходил, заложив руки за спину, и думал...

– Наконец, если ты так скучаешь по семье, – проговорил хозяин, вертя над лампой потухшую папиросу, – так лучше выписать ее в какое-нибудь укромное место, куда и ты приедешь и поживешь. Ведь уж за твоей квартирой неослабно следят.

– То-то, что не скучаю, – усмехнулся Богун, продолжая ходить, – я уехал от них два года назад... Жена... Жену я... люблю, – проговорил он с расстановкой, как бы решая сам для себя этот вопрос и приглядываясь к воспоминаниям прошлого, – да... откровенно сказать, меня и не тянет туда... Жена как жена, хорошая женщина... Девочку я оставил крохотной, ей было около трех лет... я даже себе не представляю, что она теперь такое, ну... Нашему

брату насчет семейной жизни... не до того... некогда, брат...

Помолчали. Все поскрипывали кольца, и мерно, как маятник, усыпляюще доносилось: «Аа-аа-аа»...

– Тогда! я тебя не понимаю...

– И все-таки я поеду, – проговорил Богун, и добродушно-злая усмешка сбежала с лица, и было оно жестко, сурово и непреклонно. – Не понимаешь? Ну, просто... просто встряхнуться хочу...

– Ну-у, голубчик, – протянул хозяин, – имеешь ли ты право распоряжаться так собой? Ты принадлежишь партии, а не себе, ты должен считаться только с интересами парттаи, а не с своими капризами, и во имя партийной этики тебя всегда осудят.

Надменно зазвучал голос Богуна;

– У меня петля на шее, и рано или поздно я в ней повисну, а этого для удовольствия не делают, но никому никогда я не принадлежал, никому никогда я никаких обязательств не давал...

И, вдруг остановившись, насмешливо-злобно бросил:

– Этика... партийная этика!.. Я сам себе этика!..

II

Богун всегда спал крепким, глубоким и в то же время чутким в одном направлении сном, каким спят моряки. Грохот и шум, стоявшие кругом, его нисколько не беспокоили и не нарушали безмятежности сна, но присутствие нового человека, хотя бы он сидел тихо, не шевелясь, пробегало моментально, как электрическая искра...

И сейчас Богун вдруг почувствовал знакомое беспокойство, и первое, что он ощутил, среди гула и тряски вагона, это – присутствие человека, которого раньше тут не было; Сквозь слегка приоткрытые ресницы, при začínющемся утре, он увидел большие красные руки на коленях, огромное тело, большое, лошадиное лицо и внимательные бесцветно-водяные глаза. Из-под белобрысых бровей они неподвижно глядели на Богуна, не моргая голыми, без ресниц, веками. И было в этом внимательном взгляде водяных глаз что-то холодное и непредотвратимое.

Богун, медленно позевывая, открыл глаза,

как бы не замечая визави. И сейчас же голые, без ресниц, веки сомкнулись под белобрысыми бровями, и большое тело колыхалось от тряски на скамье сонно и лениво.

«А-а, голубчик!»

Богун почесал переносицу, как бы соображая, спать ему еще или довольно, глянул на мелькающую в окне сырую, осеннюю черную землю и оглядел вагон: все так же в пыльном табачном дыму покачивались все те же фигуры пассажиров.

– Али женился? – слышалось сквозь дым и гул качающегося вагона.

– Женился... высокая да длинная...

– Вот не люблю, как высокая да тонкая.

– Тонкая да уши большие, страсть не люблю.

– А по мне абы баба, в хозяйстве все одно.

– Дозвольте чайничек...

Богун бегло взглянул на него: все та же покачивающаяся массивная фигура, огромные руки на коленях и неподвижно затянутые облезлыми веками глаза. Но и сквозь веки, казалось, он глядел все тем же внимательным, бесцветным, водяным взглядом.

Богун захотел проверить: прислонился в угол и, чувствуя тряску вагонной стенки, закрыл глаза, осторожно глядя сквозь ресницы. И тогда тихонько поднялись голые веки, и бесцветные, водяные глаза снова, не моргая, неподвижно глядели на него, упорно, внимательно, разглядывая каждую линию, каждую черту лица.

«Да, это – *он...* Сомнений нет», – думал Богун, и ощущение злой усмешки проползло у него в душе. И тогда Богун смело и прямо глянул в глаза. *Тот* было закрыл, но сейчас же поднял веки и тоже глянул прямо и упорно, – нечего было скрывать, они поняли друг друга. Так с секунду глядели друг на друга два человека, потом спокойно перевели глаза и стали смотреть в окно на убегающую влажную землю, постоянно чувствуя друг друга, постоянно чувствуя завязавшийся узел жизни и смерти.

«Сколько нужно наблюдательности, сметки, характера, сколько потрачено выдержки, нервного напряжения, – думал Богун, – чтоб среди ежеминутно меняющегося людского моря открыть затерянную песчинку. И теперь этот, с водяными глазами, огромный, массив-

ный, спокойно везет жертву, зная, что некуда деться, не ускользнуть, не вырваться из огромных красных рук».

И нет у него злобы, нет у него ненависти к преследуемому и открытому им человеку. Быть может, в глубине души он думает, — прав человек, которого он ни за что теперь не выпустит из рук, которого предаст на виселицу. Только особенное чувство озлобленной любви, так знакомое охотнику, к не дающемуся в руки, ускользающему и манящему зверю наполняло его.

Настоящая жгучая ненависть загоралась в этих водяных глазах, когда вставала личная опасность, когда преследуемый оборачивался, оскаливал зубы и мог укусить. Но были страшной силы огромные красные руки, в боковом кармане топорщился револьвер, и всегда бросятся на помощь все эти мирно разговаривающие о женитьбе, о чайниках, о дороге люди.

Богун опустил глаза. Он почувствовал спокойствие, холодное и жесткое, и такую же холодную, спокойную решимость. Кончится перегон, войдут жандармы, и бесполезна будет

самая мысль о сопротивлении. Перевел глаза на сидящие на скамьях, покачивающиеся среди вагонного гула и говора в пыльном дыму фигуры. В простоте душевной, эти картузники, эти мужички с изборожденными лицами, черные от черной земли, будут помогать вязать жандармам и человеку с водяными глазами.

А в окне все летела назад сырая осенней сыростью земля, и воронье над ней, и низкое бегущее серое небо. И два человека сидели друг против друга, и каждый делал неизбежное для него.

III

Богун поднялся и пошел из вагона. В дверях оглянулся. *Тот* тоже поднялся и пошел за ним.

Богун вышел в коридорчик. Тут стояло несколько человек. Рассказывали анекдоты, и сквозь гул поезда раздавались взрывы хохота. Богун быстро перешел через двигавшиеся, качавшиеся между вагонами чугунные площадки, из-под которых бешено рвался с удесятенной силой грохот мчавшегося поезда, и быстро, чтоб разгорячить *того*, пошел по

душному, переполненному сизым дымом другому вагону, цепляя торчавшие отовсюду узлы и чемоданы. *Тот* следовал по пятам.

Так они прошли два вагона. Богун перебрался в коридорчик третьего, присев за открытой с площадки дверью.

Никого не было. Показался *тот*. Он быстро глянул наверх, опасаясь, чтоб преследуемый не взобрался на крышу, и торопливо и осторожно перебрался между вагонами. В ту же секунду что-то со страшной силой толкнуло его. Богун, упершись в стенку коридорчика, изо всех сил хлопнул дверью и почувствовал, как под его напряженными руками тяжелая дубовая, окованная железом дверь глухо и массивно плюхнула во что-то мягкое. На секунду взмахнули в воздухе красные руки, и потом сквозь стекла, покачиваясь, ходила из стороны в сторону только зеленая стенка противоположного вагона.

Богун рванул дверь и наклонился между колыхавшимися в грохоте из стороны в сторону вагонами. Снизу, между ходившими ходуном площадками, на него глядело изуродованное ужасом окровавленное лицо. Все тело

волоклось под буферами по шпалам, и огромная рука последним судорожным зажатием впилась в край чугунной площадки.

Окровавленный рот, круглый и темный, кричал о чем-то. Он не молил о спасении, – тут не могло быть речи о пощаде, – он просто кричал о животном ужасе смерти, но для Богуна был нем этот круглый, черный, исковерканный, судорожно меняющийся на окровавленном лице рот. В безумном грохоте железа и стали бурно крутившийся ураган пожирал все звуки. Только глаза, огромные, бесцветные, водяные, выкатившиеся из-под белобрысых бровей глаза глядели на него взглядом издышающей собаки, которая не видит смысла своей гибели, и тоже кричали о последнем ужасе ничем не смягчаемой, ничем не искупаемой смерти.

Держась за железную скобу, Богун быстро нагнулся и с размаху ударил между этими глазами, чтоб потушить их страшный немой крик. Окровавленное лицо мелькнуло, и внизу уже никого не было, только с неукротимой быстротой, сливаясь, неслись шпалы, и неслись злобно, упорно, торжествующе грохочущий

говор колес.

Богун вошел в коридорчик и отер капли холодного пота со лба. Постоял. Никого не было. Прошел в свой вагон, сел и долго глядел на уносящуюся сырую, черную, немую землю, с вьющимся над ней вороньем и низко бежавшим серым небом, – и против него была пустая скамейка.

На скрещении пересел в другой поезд и снова потерялся, как иголка, среди миллиона людей.

IV

Комната была небольшая, но в ней было светло и уютно, а на дворе из темноты кто-то кланялся, заглядывал и стучал голыми, прилипавшими к стеклам ветвями, и в трубе возились, слышался непонятный разговор, чудилось пение без слов, без мотива.

Как засветившаяся искорка, среди темных звуков прозвенел тоненький голосок:

– Мама, кто в трубе разговаривает, он – живой?

– Нет, дружок, это – ветер.

Девочка лет четырех сидела в кроватке и пересматривала тысячу раз пересмотренные

картинки в книжке. На стене темная тень мерно взмахивала черной рукой, и казалось, ее плоские движения по стене имели загадочное отношение ко всем спутанным, неясным, разбросанным в доме звукам осенней ночи.

– Мамочка, ты сегодня не будешь плакать?

– Нет, дружок.

Кто-то плакал, стучал и просился в окна, в стены, в двери, у кого-то не было счастья и ласки, или ему не нужно их было, и он смеялся, издеваясь над теплом, уютom, над светлой комнатой, над тоненьким голоском ребенка.

– Мама, отчего козерог – козерог?

– Так называли, детка.

– Смешной козерог.

Тень перестала двигаться, черная рука слилась с общим контуром, и было неподвижно, задумчиво, точно тонкий налет грусти подергивал предметы. Молодая женщина сидела неподвижно, как и тень на стене, неподвижно лежало на коленях шитье, не поблескивала игла. Бледное лицо говорило застывшим выражением: «Что бы я ни делала, куда бы ни шла, как бы ни были сухи глаза, – слезы, слезы всегда стоят в горле... Дни уходят,

молодость уходит, жизнь уходит...»

А за окном снова кто-то кланяется, заглядывает и шуршит мокрыми ветвями, кто-то плачет, кто-то стонет, не то смеется и издевается. И по-прежнему в этом черном мраке ведется свой собственный особенный разговор, в котором нет человеческого смысла. И среди мертвых мятущихся ночных звуков раздался живой человеческий звук, точно кто стукнул под окном.

– Ай!..

В комнате все наполнилось чутким напряжением внимания. Девочка глядела широко раскрытыми глазами.

– Мама, это – он?

– Да нет, моя крошка... не выдумывай, моя птичка.

– У него белые зубы, лохматые ноги...

– Будет, будет... рассматривай свои картинки.

– Он разговаривает в трубе и стучит в окна...

– Да это ветер веткой. Успокойся, дружок.

– Мама, у волка, который съел Красную

Шапочку, длинные зубы?

Снова тень на стене, наклонившись, плоско взмахивает черной рукой, тянется вечер, бродят по дому смятенные ночные звуки.

Стук, стук!

Да, ясно, кто-то стучит. Как жутко вдвоем с ребенком! Девочка торопливо слезает с кровати босыми ножками на пол.

– Кто там?.. Ах, боже мой, Киса, разве можно на холодный пол, – торопливо берет девочку на руки, – у тебя и без того головка горячая... Но кто там?.. Что вам нужно?.. Что?.. не разберу... что?.. Но я ведь не знаю, что вы за человек... Нет, не узнаю голоса, приходите днем...

Но там настойчивы, – стучат под окном, стучат у дверей, и этот живой стук в тысячу раз страшнее мертвых звуков ночи. Снышны шаги от дверей к окну, и к черному стеклу приникает белое пятно лица с темными пятнами глаз.

Девочка в ужасе охватывает мать за шею ручонками и прячет личико. Женщина вскрикивает, отрывает от себя ребенка, сажает в постельку и через минуту с плачем, с су-

дорожным смехом, с рыданием обнимает человека с черной окладистой бородой.

V

– Нет, ты не мой папа.

– А кто же я?

Девочка деловито смотрит на мать, потом в черное окно.

– У того, который в трубе разговаривает, ноги лохматые, а ты ведь добрей его?

Ее глазки светятся лукавством. Они сидят вдвоем, – мать хлопчет с чаем, – но девочка держит своего гостя на почтительном расстоянии.

– Но ведь и мама говорит, что я – твой папа.

– Подожди, не спеши, – раздумчиво заявляет маленькая женщина, нахмуривая крохотные бровки, – мама мне рассказывала, какой мой папа.

– Какой же?

– Он большо-ой, большой... с нашу крышу, и сильный, такой сильный, такой сильный, льва поборет, у него нога с мамину кровать, а глаз... – девочка поискала глазками по стене, – с окно...

Человек с черной бородой смеется.

– Ты знаешь козерога?

– Я знаю не только козерога, но и мою милую крошку, мою дочурку, которая будет любить своего папу.

Та качает головкой.

– Когда мама мне рассказывала про моего папу, всегда плакала, а теперь смеется... Нет, ты – не мой папа.

Но на другой день они были друзьями. Она сидела на кровати со своими игрушками и книжками, а он в простенке между окнами, плотно прислонившись к стене, совсем избегая ходить по комнате, чтоб не было видно со двора, и держал крохотную тепленькую ручку в своей сильной руке. Они говорили о самых разнообразных вещах и выясняли друг другу свое мирозерцание.

– Знаешь, меня начинает ревность глотать, – говорила молодая женщина, оторвавшись на минуту от хозяйских хлопот и смеясь счастливым смехом, – то тебя революция отнимает у меня, а теперь дочка забрала. Павлуша, милый, надень, тебе будет очень удобно... это я папаше вышивала к именинам, все рав-

но, надень.

Богун просунул руки в рукава и запахнул мягкие теплые полы расшитого халата. Жена любовно завязала концы шнура с болтающимися кистями.

– Вот те раз!.. – проговорил Богун, оглядывая себя, – не угодно ли!.. Недостает ермолки с кисточкой. От вис... – но вовремя прикусил язык.

«От виселицы до халата – один шаг», – мелькнуло у него.

Начались странные дни, странные дни тайного семейного счастья, скрытого от людских глаз. Когда просыпались, уже день загорался звенящим детским голоском, искрился милый смех, и наполнял комнату детский лепет, наивный и полный своеобразного и неожиданного для взрослых смысла.

Пили чай с коврижками, говорили, беспричинно смеялись, играли в лото, рассказывали длинные сказки, чудесные истории. И чудилась ленивая река, желтеющие пески, дремлющий лес, и опрокинутые в дремлющей воде белые облака, и истома, и зной сонного летнего дня. Как будто не нужно было

усилий, как будто не было резких звуков, красок, как будто дремотно клонился весь мир, и кругом было тихо, спокойно и легко.

VI

Как-то вечером Богун сбросил халат, надел свой пиджак, шляпу.

– Я иду.

Женщина затрепетала.

– Куда?

– В комитет... Нет ли чего, кстати поручения дать на юг.

Она обвинила его, спрятала голову на груди, неудержимо рыдая.

– Я знаю... я... знаю... тебя... у... меня... отнимут!..

Он гладил ее голову, но глаза смотрели жестко и холодно, и она знала: никакими силами нельзя было его удержать. Он ушел и поздно ночью вернулся. На другой день опять ушел и стал уходить каждый день и возвращаться ночью.

Стали и к нему приходить.

Все это был молодой народ, плохо одетый, с худыми лицами и беспокойно горевшими глазами.

Целыми часами, понизив голос, говорили о делах, о выступлениях партий, о готовящихся покушениях, расшифровывали и зашифровывали письма.

Ребенок внимательно вглядывался в этих людей, надевал маленькие туфельки, тихонько слезал с кровати и, забрав все свое имущество, карабкался к отцу. Тот брал к себе на колени, и по суровым чертам проходило выражение внутренней мягкости и ласки, так не вязавшееся с этими чертами и так неожиданно присущее им.

А голос его все так же деловито звучал:

– Так говорите, есть народ, а денег не хватает? Да ведь в местном комитете у них же есть средства. Наконец можно снестись с центральным...

– Папочка, если нет денег, я своего козерога могу подарить. Вот.

Все смеются, а она смотрит на них не по-детски внимательными глазками, и черточка напряжения и мысли хмурит ее лобик. Что в отце теперь что-то новое и не весь он принадлежит ей, это она отчетливо понимает. И ей опять хочется забрать своего папу.

В окна по-прежнему черно смотрит ночь, но она давно перестала быть живой. Уже никто там не кланяется, не плачет. не стучит, не заглядывает, а если и стучит, так это просто мокрые ветви о холодное стекло. Никто не воится и не разговаривает в трубе, а если и воится и воеет, так это просто ветер.

Зато целое море новых понятий хлынуло в ее маленькую головку, и она хлопотливо их сортирует. И она хочет опять забрать себе своего папу, обвивает его шею и целует:

– Я тебя крепко, крепко люблю, папочка.

И, бессознательно ища слабого места в его сердце, говорит:

– А мама опять стала плакать.

А они ласково гладят ее головку, и их суровые речи о делах, спаянных с жизнью и смертью, перевиваются смехом, шуткою, и лаской, и маленькой сказочкой.

Отец прижимает к губам эту головку с мягкими льняными волосами, и странное ощущение нарастающего в этом теплом комочке сознания проникает его каким-то новым, незнакомым, не испытанным дотопе чувством.

– Ой!.. Какая твоя борода!.. Щечочет... Отчего она такая черная? Ты ее красишь?

VII

Как-то вечером в комнату ворвался запылавшийся бледный человек и, с трудом переводя дыхание, крикнул:

– Дом оцепляют!..

Богун выпрямился, спокойный и холодный.

– Где?

– В Кривом переулке... возле фабрики... Скорее... иначе поздно!..

Женщина, захлебываясь, с безумными глазами, обнимая одной рукой и толкая другой к двери, шептала побелевшими губами:

– Павлуша... уходи... сию минуту... уезжай... не ворочайся больше, не медли... уходи... ради всего...

Он обнял жену, легонько отстранил и наклонился над девочкой. Та лежала, с блестящими глазами и горящим личиком, и сосредоточенно перебирала края простынки.

– Ну, девочка, прощай... будь здорова, весела, не забывай своего папу...

Он крепко поцеловал ее. Девочка, равно-

душно относившаяся ко всему, что происходило, занятая своей простынкой, вдруг обвинила отца и улыбнулась:

– Нет, ты мой.

– Скорее... уже в воротах...

– Павлуша, уходи...

– Уходите же!..

– Крошка моя... но ведь мне надо ехать далеко... Мне очень надо ехать...

Она нахмурила бровки, как хмурил их Богун.

– Хорошо, папочка, только... – губки ее дрогнули, – приди ко мне еще разочек... мамочка ждала, плакала... теперь я буду ждать... буду пла...кать... буду... дол...го пла...кать...

Губки ее опять задрожали.

– Павлуша... Павлуша... ты погиб...

Женщина металась, ломая руки.

Богун взял девочку, посадил на колени, обнял и, чувствуя ее горячее тельце, потерявшееся в его сильных руках, стал говорить, удерживая трепетание голоса, сам не узнавая себя, сам удивляясь неиссякаемому источнику бывшей в нем нежности:

– Мой дружок... мой милый, мой ласко-

вый дружочек... моя крошка, моя ненаглядная... папа придет... папа твой придет... папа твой во что бы то ни стало придет... будь покойна, моя ласточка, и жди своего папу... только будь здорова, у тебя что-то горячая головка...

– Двор наполнен людьми... теперь только через крышу сарая...

Еще раз поцеловал, положил в кроватку и бросился к двери.

Ворвалась орда, но нашла рыдавшую женщину и ребенка.

VIII

И он пришел.

Он пришел в глухую, темную, ветреную осеннюю ночь.

Ветер бился в воротах и крышах, бегал по улицам, по двору, рвал и путал клочками темноту, колебал пламя газовых рожков, заглядывал во все углы, где особенно густо лежала ночная темь.

Из-за забора фонарь, колеблясь и моргая желтым глазом, то смеясь, то хмуро заглядывал во двор, и трепетные тени суетно и торопливо сновали по всему двору, беспокойно

ища кого-то.

Было пусто, немо и неподвижно, хотя ночь была заполнена шумом, суетой и мельканием, и чудилось напряженное внимание враждебного и скрытого. Кто-то пытливо вслушивался и, не отрываясь, всматривался в темноту.

И ветер, не находя покоя, опять пустился на поиски, и, трепетно мелькая, засновали тени. Сторожко пробрался вдоль забора, где особенно подозрительно густели колеблющиеся деревья, и устремился к маленькому домику, тихо и уютно глядевшему освещенными окнами в глубине двора. И вместо того, чтобы петь в трубе скверным голосом и греметь листьями крыши, приник к окнам.

Должно быть, он увидел там неожиданное, потому что воровски, низом побежал назад, забрался в самую глушь и притаился. А вместо него к освещенным окнам прилипли десятки жадных глаз.

И тени перестали сновать по двору, и фонарь уже не заглядывал через забор, а горел ровно, спокойно и строго выполняя свое прямое назначение освещать улицу, ибо теперь

начиналось человеческое.

Глаза, жадно прилипшие к окнам, увидели небольшую комнату, освещенную лампой, кроватку посередине. У кровати на коленях, уронив голову на руки, рыдала женщина. Возле стоял чернобородый мужчина. В кроватке, разметавшись, спал ребенок.

С треском сорвались с петель двери, раздались выстрелы, крики, брань... Чернобородый мужчина моментально исчез, а в другой комнате зазвенели стекла. По двору тяжело затопотали, и опять крики, блеск, выстрелы, брань...

– Дьяволы!.. Да ведь это – Миколка!.. Сволочи, свово душите, а энтот убёг!..

– Го-го... дяржи... дяржи... в угол!..

– Бей!!.

Снова выстрелы, снова крики и брань, тяжелое сопение, хрип...

Ветер по-прежнему воровски таился. Только фонарь из-за забора искоса повел желтым глазом, и все тени, узкие и длинные, повело в угол, где тяжело и трудно ворочался черный клубок.

Клубок притих, развернулся, выпрямился

и распался на отдельные фигуры. В темноте слышалось сморкание, смех, радостный говор.

– С благополучием!.. Опять, думал, убежёт... каждый день караулили... Ну и, сволочь, здоровый, чистый кабан... будет теперь помнить, проклятый... Слава те, господи, царица небесная, заработали ребятишкам на молочишко... – И, сняв поблескивавшую бляхой в темноте фуражку, перекрестился.

Мертвые на улицах*

I

Над улицами, над домами белеет морозная мгла. Телеграфные столбы, проволоки, заборы, деревья густо запустились, и, как прокаленное, обжигает белое железо.

Снег визжит и плачет.

Низкое зимнее солнце багрово-тускло пробивается сквозь холодную мглу.

Не вызывая ничего тревожного, где-то весело лопаются щелкающие звуки, сухие, короткие, без отзвука вязнущие в густом воздухе. Или угрюмо-одинокое бухает тяжелое, глухое, без раската и откликов.

Потом смолкает. Стоит мгла, седые деревья, толсто белеют протянутые в вышине проволоки. А в холодно-неподвижном молчании из смолкших звуков щемя вырастает тревога и истинный смысл их.

Уже чудится под этим низким негреющим солнцем огромный испуганно-примолкший город. Простираются в пустынном молчании безлюдные улицы, площади; незрячими, ничего не говорящими очами белесо глядят дома, мертво и черно дымятся развалины.

Ухо испуганно-жадно ловит роковые, последние для кого-то, страшные звуки, ибо молчание невыносимо.

Снова лопаются щелкающие звуки. Кто-то умирает. Где-то дымитя снег, впитывая красную кровь.

В странном соответствии с щемящим молчанием, прерываемым этими звуками смерти, некоторые улицы полны болезненного, ни на минуту не ослабевающего оживления. Снуют фигуры, мелькают лица, скрипит снег, фыркают клубами пара лошадиные морды.

Мужики с заиндевевшими бородами поспешно тянут ручные санки, нагруженные

скарбом. Бабы в тяжелых неуклюжих овчинных тулупах, широко запахнув полы, торопливо дыша, несут, оттягиваясь назад, кричащих ребятишек. Детишки побольше, с накрученными на головах платками, бегут в отцовских валенках, хватаясь иззябшими ручонками за тулупы матерей. Кто побогаче – едет в извозчичьих санях, а на санях высятся узлы, сундуки, коробка. Улицы, как живые, шевелятся до самого конца, теряясь в мгlistой дымке, и стынувший пар дыхания тяжело садится.

Кишит огромный муравейник, на который наступили, или справляют странный, всех захвативший от мала до велика праздник.

Это самый большой человеческий праздник, праздник паники и ужаса. Тысячи людей стремятся к заставам и растекаются по дорогам среди снежных полей, среди угрюмо молчащих в зимнем уборе лесов.

Кто-то умирает за них в пустынных улицах, а они бегут, об одном думая – о жизни в подвалах, в грязи, в нищете, в неустанной бычьей работе, в беспросветном рабстве. Они бегут, ненавидя тех, кто умирает за них в пустынно-молчаливых улицах, ибо бьется в них

великая любовь к жизни, постылой, проклятой, а теперь ставшей вдруг прекрасной жизни.

Я брожу между этими бегущими в одном направлении толпами. На углу у фонарного столба лежит мальчик с застывающим восковым лицом, с синею дырочкой над глазом от неведомо откуда залетевшей шальной пули. К фонарному столбу испуганно подбегают люди и разбегаются, оставляя вокруг воскового белеющего лица пустое и мертвое пространство.

Я вхожу на широкий, весь заставленный лошадьми, санями, ручными санками двор.

Торопливо выносят сундуки, узлы, грузят и спешно выезжают со двора. На всех улицах испуганное, торопливое оживление. Визг ползьев, фыркание лошадей, восклицания – все имеет не прямой свой смысл, а странно говорит о чем-то, что стоит молча и грозно над всеми.

Выделяясь равнодушной фигурой, с большой белой бородой, согнувшись, сидит на бревне старик, расставив колени, глядя красными слезящимися глазами на истоптанный

снег.

– Ты что же, дедушка?

– Ась?

Он на минуту подымает на меня красные веки, тусклые глаза и опять в снег.

– Эй, што дорогу загородил, ломовой!..

– Матрешка, бяги скорей в горницу, за божницей паспорт... забыли, головушка ты моя бедная!..

Кто-то ругается отборными словами. Плачет ребенок жалобно и слабо в захватывающем дыхании морозном воздухе.

– Остаешься, что ль, дедушка?

Его равнодушная, безучастная фигура странно выделяется на этом тревожном, беспокойно мечущемся оживлении.

Он опять глядит на меня, жует губами и вяло говорит тусклым, старческим голосом:

– Стыть, аж дерево дерет.

И снова глядит в снег, равнодушно пожевывая,

– Кха-а!.. господин хороший!..

Этот странный хриповатый голос, казалось, не имеющий никакого отношения к старику, выделяется изо всех звуков, неесте-

ственно-неожиданно проносится, как крик ворона, среди скрипа полозьев, среди частого дыхания, среди испуганных восклицаний, призывов, нетерпеливой брани.

Я оборачиваюсь.

Старик, с трясущейся головой, неестественно расширенными глазами, удивленно собравшимися на лбу, морщинами, делает шаг ко мне, неверно колеблющимися движениями цепляясь за мое платье.

– Што я изделал?!. А?..

Я отстраняюсь.

– Ты что, дедушка?

Не то злобная, не то страдальческая усмешка тянет сухую кожу.

– Что изделал?!

И вдруг потух, пожеывая, опустился, уставился между коленями. Снова странно выделяется на общем испуганно-тревожном оживлении его равнодушно-неподвижная, согбенная фигура.

– Как зачали стрелять, все у погреб полезли, все, и господа опустились, шутка ли!

Он говорит, но не видит меня, не слышит скрипа полозьев, фырканья лошадей, тревож-

ных восклицаний. Может быть, набирая морщины на лбу, он старается найти смысл чего-то, что за всю его долгую жизнь никогда не открывалось. Мороз скрючивает старые руки, стягивает в кулак изжитое лицо. Губы плохо слушаются.

– Гы-ы... сладко, што ль... не сладко... кому хошь... не знаешь, откеда придет... Все полезли... господа – нежные, руки бе-елые... А?.. Все тут... в погребу сыро, холодно... мы привычны, весь век там прожили, нам што, нам все одно, а?.. Потому в погребу и спишь, в погребу и родишь, и работаешь, и помрешь... никуда не уйдешь... Кому што представлено... господа нежные, руки – белые и... с нами... легко ли!.. чайком их по-всякому ублажали, да разим наш чай?.. жестью воняет... тоскуют об своем, об своей жисти... Нам што, нам абы прикорнул, с зарей опять за работу, наше дело привышное... А?..

Он грет старые, заскорузные, морщинистые руки.

– Стыть... дерево ажнык дерет... до турецкой канпании к холере такая стыть стояла.

Я присаживаюсь возле. Он видит меня,

глядит широкими глазами.

– Тебе, дедушка, сколько лет?

– Бегить... Бегить... всякий, который в силах, бегать...

Двор пустеет. По белому снегу темнеет мерзлый конский навоз.

– Зачали стрелять, у нас верхи занялись... дым, плач, второй этаж полыхает, в погребу уж не усидишь, тепло стало, дымком заворачивает... сынок и говорит... сынок у меня кормилец... по сапожному мастерству сызмальства... возле него кормился... бобыль я, никого в свете... один сынок... кормилец...

Лицо подергивается усталостью, глаза тускнеют, уходят в провалившиеся черные впадины, и снова усталое равнодушие в согнутой осунувшейся фигуре.

– Так что, дедушка?

– Вылезли все из погреба-то... дом-то полыхает... господа плачут, все роскошество погибает... Сынок-то, кормилец мой... восемнадцать годов на Миколин день... «Батюня, грит, подь в сарайчик... Може, чего осталось?» Пошел я, а он вяжет посередь двора на салазки сапоги, голенища, подметки, всякий товар,

тем и живем, тем и кормимся... нагнулся, вяжет... Вышел я, вышел из сарайчика, бегить из ворот городской, пузо толстое, глаза страшные, бегить, в руке ружье со штыком... добеж до Ванюши, добеж, ды... штыком, штыком ево... весь по самый по ствол... Я... я... кинулся... добеж, ды как... – Старик захлебывается и, трясясь и наклоняясь к самому моему лицу, стучит костлявыми старческими кулаками, грозит мне, и лицо его дергается злобной не то усмешкой, не то судорогой: – ...ды как закричу-у: «Бей!., бе-ей ево!!. бей ево, забастовщика!.. бей ево, забастовщика!.. А-а-а!!.» А он ево штыком порет, штыком... весь снег окровавился... «Бей ево, забастовщика!.. Не дают нашей жисти покою... кабы не они, покой был бы нашей жисти!..» Гляжу, лежит Ванюша, руки раскинул... – И старик глядит на меня изумленными, полными муки и ужаса глазами. – А?.. Што я изделал... што я изделал, господин?!

Двор опустел. Я ухожу. Старик остается один.

II

Я снова брожу по пустынным улицам, по

молчаливым площадям, по улицам и площадям, залитым бегущим народом.

На углах серые шинели, наивно-тупые лица, штыки, приклады.

– Руки вверх!

Я подымаю руки, стою, меня обшаривают.

– Покурим, што ли, – гостеприимно предлагает солдатик, вытаскивает из моего бокового кармана портсигар, неуклюже берет иззябшими пальцами папиросу, подает товарищам и мне возвращает портсигар.

Мы закуриваем. Дымок синими струйками мирно вьется над серыми шинелями. Из-за домов, холодных и спокойных, доносится одиночный выстрел.

Лавки, ворота, калитки заперты. Медленно догорают черные дымящиеся развалины.

Бродить по улицам опасно, но нет сил сидеть дома.

На площади вокзалов бушует огромный пожар. С гарью и дымом несется торопливый треск, шепот и шорох, и свистящее пламя позмеиному качается острыми головами, мечется и лижет быстро тающий снег, обнажая черную дымящуюся землю.

Орудия молча и длинно глядят хоботами вдоль площади. Серые фигуры часовых мерно прохаживаются вдоль лафетов.

На площади в разных местах, черно выделяясь на снегу, лежат убитые. Возле них собираются кучки народа. Подъезжают широкие с брезентом сани, похожие на те, на которых возят с бойни мясо, на них валят застывшие, раскорячившиеся, упрямо не влезающие трупы, покрывают брезентом и развозят по участкам.

Я подхожу к одной кучке. Стоят молча, угрюмо смотрят. У ног в пустом кругу лежит парень. В застывших скрюченных руках – смерть, но лицо полно молодой энергии, отваги и воодушевления. Рот раскрыт, должно быть, кричал товарищам, и пуля в сердце мгновенно захватила и не дала сбежать с лица живому выражению.

На него смотрят тупо и неподвижно, как смотрят, опустив рога, быки на кровавое место, где только что свеживали тушу. И я стою и смотрю.

С некоторого времени что-то странное, тяжелое стоит у меня за плечами. Несознанное,

смутное беспокойство давит, и я шарю по карманам, не потерял ли, не забыл ли чего. Люди уходят, приходят, а тревога моя растет. Я не могу одолеть этого неприятного, давящего, не определившегося беспокойства.

Наконец не выдерживаю и оборачиваюсь: два глаза, два круглых расширенных глаза острым блеском глядят, не моргнув, из-за плеч стоящих людей. И в этом взгляде столько остроты, столько дикого и поражающего, что я отворачиваюсь, но сейчас, словно меня тянет, опять поднимаю глаза и слежу за ним. Он смотрит мимо меня, мимо людей, туда, в тот пустой и мертвый круг, где видны скрюченные руки.

Что-то болезненно поражает меня, и я перевожу глаза то на молодое мертвое лицо, то на чернобородое лицо, на котором видны одни только дикие глаза.

И вдруг схватываю сходство: сын!

С болезненным любопытством всматриваюсь в бородатого человека, у которого одни только дикие глаза, — да ведь это Михайло Иваныч, маляр, часто работавший на даче у моего хозяина!

Но что-то не позволяет мне заговорить с ним, а он, не отрываясь, смотрит на юное мертвое лицо.

Он не подходит к убитому сыну, не наклоняется, не плачет, не рассказывает своего горя.

Среди нас глухо и отрывочно перебрасываются:

- Совсем молодой...
- Крови не видать...
- Должно, в сердце...
- Много их тут легло.
- Гляди, и отец и мать есть...

Я тоже не могу оторваться и уйти, хотя стоять тут долго небезопасно – кругом шныряют шпионы, полиция и тех, в ком признают знакомых или родных убитого, уводят в участок, но неизвестно, доводят ли их туда и не лежат ли они так же где-нибудь на снегу.

Подъезжают сани. Взваливают мертвеца со скрюченными руками. Я не гляжу, но чувствую сзади остроту диких, безумных глаз. Сани уезжают. Я ухожу. Несколько раз меня обыскивают патрули.

Чьи-то тяжелые, торопливые измученные

шаги догоняют. Он идет рядом со мной.

– Во... сын.

Я не спрашиваю, идем молча.

Его степенное бородатое лицо, лицо артельного старосты или подрядчика, строгие под нависшими бровями глаза, неторопливые движения глубоко сосредоточенны и покойны. Он идет с опущенными глазами, и от этого лицо тяжело и неподвижно, как каменное. И говорит глухо:

– Ничего... ничего!..

Хрустит снег под тяжелыми одинокими шагами.

– Не признался к нему... это ничего... ничего, еще будет дело...

Улицы пусты. Одиноко стоят дома. Я по-прежнему иду молча; к тому непоправимо-огромному, роковому, что в этом человеке, я ничего не могу прибавить.

– Руки вверх!.. Есть оружие?

Обшаривают.

И вдруг он засмеялся, засмеялся им в лицо, засмеялся ртом, щеками, личными мускулами, но глаза не смеются, а глядят с тем же безумным блеском, как на мертвеца, глядят

пылающей, неугасимой, нечеловеческой ненавистью, и из-за этих страшных глаз не видно и не слышно смеха.

– Ха-ха!.. ведь какая это сволочь!.. Вот вы наколошматили их, как тараканы дохлые лежат... ха-ха! лежат дохлые... а ведь которые остались... разве их узнаешь... которые остались?.. Ведь теперича они вас день и ночь караулить будут... ползе-ет... ползе-ет... на брюхе... из-за забора... из-за угла... с крыши бац! и готов ваш брат!.. Разве от него, от идола, убежишь, ежели ему все одно, сам себя к петле присудил. А? Хе-хе!.. каждую минуту готов будь...

Лица пасмурно темнеют.

– Ну, ну, ну... ступай... ступай, ладно.

С исковерканным злобой лицом к нему подскакивает плюгавенький солдатик, стуча прикладом о хрустящий снег:

– Сволочь!.. Али захотел... зараз тебя на месте... – и осекается на полуслове: на него глядят дикке глаза.

Они стоят друг перед другом, потом солдатик отворачивается, отходит. Мы идем дальше.

– Ну, прощайте.

– Прощайте... ничего!..

Я иду один по пустынной улице, сзади снова догоняют хрустящие шаги.

– Помните, на даче у вас работали... маляр, маляр-то какой был... другого такого мастера не найти.

Лицо его дернулось судорогой, но глаза были сухи и блестящи.

В редакции*

I

Когда Опалов вошел в редакцию, первое, что поразило, это – отсутствие всего, что он представлял себе раньше. Точно он не мог сказать, чего, собственно, ждал, но эти неудобные, с запыленными портретами, голые комнаты, в которых плавал сизый табачный дым, озаренный двумя лампами под зелеными абажурами, производили странное впечатление разочарования.

Заведующий, невысокий, лет под сорок, с мясистым, угреватым, геморроидальным лицом и темно-рыжей бородкой, пожал ему руку и продолжал, сердито и строго поправляя

на широком, распухшем носу золотые очки, говорить молодому человеку с черными усами, в жабо до ушей, нового золота пенсне, в лакированных башмаках:

– Никаких отговорок, никаких болезней... Что-с?.. Умираете?.. Не имеете права-с или поставьте за себя другого, но доставьте материал... Газета – это помните, – механизм, ни одна гайка не должна быть ослаблена... Акционерам не видна внутренняя работа, но как только заметят, что слабеет способность конкурировать с противником, сейчас же предъявят требования редакции, то есть мне... вы-то все в стороне будете.

– Но поймите же, Павел Игнатыч, поймите же, что и мы – люди... – волновался молодой человек с усиками, торопливо и нервно куря папиросу, – чего же вы хотите?.. ну, отлично, сегодня я уйду, завтра такой же случай с другим, с третьим...

– А, да, знаю... знаю... – И заведующий повернулся и стал разбирать стоя рукописи, как бы говоря своей дряблой геморроидальной фигурой, что он тысячу раз слышал, что и сам тысячу раз говорил, что это – не довод перед

железной, беспощадной необходимостью.

Опалов оглядывал голую комнату, неуклюжие шкафы со справочниками, энциклопедическими словарями, ободранное кожаное кресло с провалившимся сиденьем и слушал, как распекают взрослого человека, ощущая на всем отпечаток обыденности и скуки ежедневной, непрерывающейся, будничной работы. Тоненько пела лампа, и глухой, едва уловимый гул бежал по стенам.

«Что это за гул?.. – думал Опалов. – Неужели и со мной так?.. Нет, не может быть, у меня будет как-то иначе, по-иному...»

– Третьего дня приглашает меня к себе Кандауров, – начал заведующий, делая мягкое лицо, чтобы не напрягать чрезмерно раздражения, подходя вплотную и фамильярно обдавая сотрудника дурным запахом изо рта, – и говорит: «Павел Игнатыч, что это у нас фельетон слаб стал?» – «Почему же, говорю, думаете, слаб?» – «А как же, говорит, всегда по средам у нас был научный фельетон, а сегодня вместо него о каком-то Гейне». – «А потому, говорю, что чествуется годовщина дня смерти Гейне». Он посмотрел на меня: «Вое-

начальник?..» – «Нет, говорю, поэт немецкий...» – «Как, говорит, стихотворец, да еще немецкий, и вы нарушаете порядок газеты!..» А? как вам покажется?.. Этого им мало, что огребают ежегодно двадцать шесть тысяч чистеньких, понимаете ли, чистеньких!.. – говорил заведующий, сняв очки и глядя странным лицом, которому недоставало чего-то привычного и всегдашнего. – Они еще хотят вмешиваться во внутреннюю часть, в содержание газеты, а?.. да вот не угодно ли, вот его записка...

Молодой человек боком, все еще сердясь, пробежал:

«Павел Игнатыч, переходите сиводнѣ к семи вечера...»

– А?... как букву ять-то любит. Ну вот тут и целуйтесь с ними.

«Однако ж ты целуешься», – подумал репортер и сказал!

– Ну, да чего же и ждать-то: в лаптях ведь пришел.

Но заведующему показалось, что лишнее сказал относительно члена правления и излишне был мягок с сотрудником. Он сердито

поправил очки.

– Вообще я должен вам сказать, Сергей Александрович... Кстати, вы незнакомы? – наш новый сотрудник Опалов.

– Очень приятно, Ртутнев. – И молодой человек, пожимая руку, сделал улыбку, которую делают, когда знакомятся.

Дззндззндзз!!!

– Что угодно? – сердито и строго проговорил заведующий, нахмурившись и приставляя к мясистому уху телефонную трубку.

– Вы давно к нам? – полушепотом, чтобы не мешать, и изысканно вежливо и приятно, как говорят с совершенно чужим человеком, с которым не знают, какие установятся отношения, обратился к Опалову Ртутнев.

– Редакция «Облачного дня», – недовольно проговорил заведующий, все так же прижимая трубку к уху.

– Нет, я недавно... недели полторы... даже нет, две... – опасаясь помешать, также полушепотом ответил Опалов.

– Редакция «Облачного дня», – повысив голос и уже раздраженно повторил заведующий.

– Какое впечатление оставил наш город? Не правда ли, по внешнему виду это – чуть не столица: электричество, трамвай, здания, магазины, газеты, но это так на первый: взгляд, а как заглянете в самую сущность, руками разведете... да вот поживете, увидите...

– Это я, ваше превосходительство, Кородов, заведующий редакцией, – мягко и с достоинством проговорил заведующий в телефон.

Лицо разом разгладилось, и свободною рукою он скромно придерживал бородку.

Все трое замолчали, и гул, бежавший по стенам, стал отчетлив и ясен. Лампа тоненько пела. Ртутнев выжидательно поднял брови.

– Так точно, ваше превосходительство.

Молчание.

– Будет исполнено, ваше превосходительство.

Молчание.

– Всего лучшего... будьте здоровы, ваше превосходительство.

И заведующий слегка поклонился, положил трубку, три раза не особенно громко и торопливо, чтобы не показалось, что желает

поскорее отделаться, дал отбой, и лицо сразу же стало желчным и злым.

– Вот и ведите после этого газету, – проговорил он, зло глядя на Ртутнева и Опалова, точно это они были виноваты во всем, и придавил пуговку звонка.

– Чего изволите?

– Позвать метранпажа.

Маленький, живой, с мышинными бегающими глазками, человечек стоял через минуту перед заведующим.

– Разберите статью Ненадова о гомеопате... да... Иван, скажи Александру Иосифовичу, чтоб немедленно выезжал на Степную – сейчас дали знать, крушение.

– Я ее уж начал верстать, – осторожно заметил человек с мышинными глазками.

– Выньте и разберите.

– Заменить чем прикажете?

Заведующий поднял глаза к потолку и покопался в голове.

– Пустите «Провалившийся мост» Омикрона... мм... на два номера... примерно пополам... покажите секретарю, разметить...

Метранпаж ушел.

– Так вот, Сергей Александрович, я вас в другой раз попрошу... – снова сурово обратился заведующий к Ртутневу.

Дзздззддззнзз!

– Что угодно? – раздраженно проговорил заведующий, прижимая трубку.

– Павел Игнатыч, так нельзя!.. – еще с порога, не успев притворить за собою дверь, торопливо, захлебываясь, брызжа слюной и глотая слова, проговорил человек с лошадиным, костлявым лицом на длинной шее и с короткими ногами.

– ...Что же вам, собственно, угодно? – кричал заведующий в телефон. – Сейчас... сию минуту... – отмахнулся он от костлявого лица. – Если недовольны статьей, – кричал он, – пришлите опровержение; не хотите, привлекайте к ответственности... что-о?.. привлекайте к ответственности... привлекайте к ответственности, говорю... что-о?

– Слушайте, батюшка, – говорил он, не отнимая трубки, человеку с костлявым лицом, – сейчас только по телефону говорил с самим... понимаете, этот прохвост гомеопат генеральшу лечит, ну, она в восторге... он, конечно,

воспользовался случаем, преподнес ей вашу статью, вот, дескать, нападки, травля... Она возмутилась... Я вам говорю, – закричал он опять, – привлекайте нас к ответственности, меня, сотрудников, редактора, сторожей, кого хотите, только... что?.. только ради бога оставьте нас в покое, не могу же я целые дни торчать у телефона... как хотите...

– Павел Игнатыч, сколько прикажете оставлять места для ночных телеграмм?

Короедов торопливо, чтоб не дослушивать, положил трубку и дал сердитый отбой.

– Да какое мне дело до генеральши?

– Я же вам говорю, сам, понимаете ли, сам по телефону со мной говорил. Он несколько раз подчеркивал, что не настаивает, а просит, понимаете ли, просит спокойно и объективно отнестись в газете к новому методу лечения. Он настаивает на критике и на свободе газеты высказывать свое мнение, но просит о беспристрастии, понимаете ли, просит, – отчеканил заведующий, выпятив на сотрудника рачьи глаза.

– Да куда же беспристрастнее, ведь я же его прямо называю проходимцем, шарлатаном,

просто опасным для обывателя... ведь оно так же и есть, вы сами это отлично знаете...

– Метранпаж спрашивает, сколько места...

– Но поймите же, вас просят честью, просят... – стучал в грудь заведующий.

– Что же это, наконец, такое: фабрики табачной мы не можем трогать – хозяин крупный наш акционер, железной дороги не трогаем – дает крупные объявления газете и заказы типографии, шарлатанов и прохвостов, заведомо морочащих публику, не трогаем – нас просят, да когда же это конец?

Багровая краска поползла по ушам, по короткой шее, и мясистый нос зарделся, как слива. Похоже было, что заведующего грохнет удар.

– Вы что же думаете, я для себя?.. или хотите поскорее прихлопнуть газету, работать надоело?.. Ну, чего вам?

– Метранпаж приказывают спросить, сколько места под ночные?

– Оставьте полтора.

– Во всяком деле бывают чрезвычайно сложные и запутанные обстоятельства, – вставил Ртутнев.

– Да уж лучше пусть прихлопнут, чем вести такую позорную газету.

Дздззздзз!!

– А-а... знаем мы: сегодня приостановят, завтра мы начнем унижаться, кланяться, обивать пороги, чтоб опять разрешили, чтоб дозволили вести это же позорное существование.

– Я по крайней мере не буду хлопотать и унижаться.

– Вы не будете... да ваших хоть полушка вложена в дело?

– Что угодно?.. Что?.. Какая икра!.. Это редакция «Облачного дня»... Что-о?.. А, черт вас возьми!.. (Отбой.) Ведь в газету, батюшка мой, двести тысяч без малого вложено, да-с, и этот огромный капитал нам вверен...

– Знаете что, пойдете отсюда... познакомьтесь с сотрудниками, – предложил тихонько Ртутнев.

– С удовольствием, с большим удовольствием. – И Опалов пошел за ним в соседнюю комнату с чувством чего-то неуклюжего, угловатого и тяжелого на душе.

– Павел Игнатыч – прекрасный человек, но... – осторожно, боясь высказаться до конца перед новым человеком, начал Ртутнев, – но, понимаете, ему приходится постоянно лавировать между двух лагерей: с одной стороны – акционеры, с другой – сотрудники. Конечно, от акционеров зависит его судьба, а нашего брата голодного пропасть болтается, есть из чего выбирать!

В двух не особенно больших с голыми стенами комнатах густо синел табачный дым, несколько человек писали, курили, шуршали газетами, вороха которых, скомканые, изрезанные и брошенные, горой лежали на столах, валялись на полу, и слышался звук ножиц, торопливо резавших газетную бумагу.

Опалов познакомился со всеми, но сейчас же перепутал все лица и фамилии; каждый подал ему руку с таким видом, как будто хотел сказать: «Видишь, я занят, а тебя пока совершенно не знаю».

Соглашаясь с этим и чувствуя себя чужим, Опалов сел к сторонке и потянул наудачу из вороха какую-то газету. В нескольких местах она зияла прорезанными дырами.

«Безводие – постоянный больной вопрос нашего города...» Потом шла речь о свалках, о постройке нового собора, о театре, о беспризорных свиньях, о благотворителях, о мостовой, – потом он оторвался и стал наблюдать сотрудников.

В первый момент они все показались на одно лицо.

– Что же вы сегодня не на думском?

– Не состоялось, гласные не собрались.

– Рубликов двадцать улыбнулось?

– Натяну на очередном...

– А я повторю: ваш голова – ростовщик и мерзавец.

– Зато дело отлично ведет. По-моему, пей, да дело разумеи...

– Иван, в наборную.

Юркий, испитой, видимо прошедший «огни и воды» мальчишка проворно похватывал узкие длинные листки с вырезками и исчезал из комнаты.

Стоял говор, и звук ножниц, и шелест бумаги, и звук перьев.

Опалов взглядывал то на одного, то на другого и поймал на себе внимательный взгляд

серых, жестко и холодно смотревших глаз.

– Как вы к нам попали? – проговорил, медленно походя, с рыжей бородкой и постоянной улыбкой, обнажавшей гнилые зубы, молодой человек; его серые, холодно-жесткие, внимательные глаза не улыбались.

– Я ведь на севере был... с первого курса угодил, – проговорил Опалов, как всегда боясь сказать прямо, что он давно жаждал прилепиться к большому, важному делу литературного труда, боясь громких благородных слов, – ну кончился срок... делать нечего... уроки... не в канцелярию же поступать... готовиться оканчивать университет, отяжелел... устал... да и...

Он помолчал, потом прибавил:

– Я поместил несколько очерков из жизни на Севере в «Ежемесячнике».

– Читал, – проговорил Иван Николаевич со своей прежней улыбкой, по которой нельзя было сказать, одобряет он или смеется. И как бы догадавшись, что, собственно, хотел и боялся сказать собеседник, добавил: – Издали кажется, печать, газета – нечто благородное, возвышенное, а это просто мастерская.

– Ну... как же так... – запинаясь и с удивлением сказал Опалов.

– А знаете что, – и Иван Николаевич дернул плечом, глядя в упор маленькими, с беглым злым огоньком, щупающими глазами и показывая редкие, гнилые желтые зубы, – ведь вы приглашены вытеснить меня из газеты.

Опалов растерялся.

– То есть как это?

– А очень просто. Короедов работает в газете на следующих условиях: он – фактический редактор, ведет газету и, кроме того, обязан давать два раза в неделю фельетоны по текущим злобам дня. Разумеется, ему важно и в глазах читающей публики и в глазах акционеров играть первую скрипку. И он очень ревниво относится к каждому, кого более или менее усиленно начинает читать публика... Меня читатель дарит вниманием, и я становлюсь неудобным для Короедова. Он старается пригласить нового человека. Новый пока осмотрится, освоится, пока приспособится, Короедов будет царить, будет играть первую скрипку, пройдет год, два, опять та же исто-

рия...

Опалов насупился.

– Я никого не намерен вытеснять...

– Пожалуйста, не думайте... я к вам не предъявляю никаких обвинений...

Он перестал улыбаться, и на Опалова на секунду глянуло холодное, жесткое лицо, потом улыбка опять забегала, и от глаз лучились смеющиеся тоненькие морщинки.

«Этот человек ни перед чем не остановится...» – мелькнуло в голове, и Опалов прислушался. Гул так же смутно и неясно бежал по стене, как бы говоря, что это не все, что есть еще что-то. Наклоненные лица в зеленоватом свете абажуров были также бледны и болезненны.

– Я Короедова нисколько не обвиняю, нисколько. Каждый из нас на его месте поступил бы так же. Он борется за себя, за семью, за положение. Работник – прекрасный, газету в тех пределах, которые ей поставлены, ведет прекрасно... Каждый, кто работает в газете, в свою очередь хочет устроить свое положение, занять его место не интригами, заметьте, не подлостью, нет, а талантливостью, работой,

трудом. Каждый рассуждает, чем он хуже Короедова, а Короедов рассуждает, чем он хуже других.

Опалов чувствовал горький осадок на языке, сидел, скосив брови, и ненавидел Ивана Николаевича.

– Раз Короедов ведет прекрасно газету, что же ему может угрожать?

– Но другой не хуже может вести, да, может быть, плюс больший литературный талант... Вы еще посидите тут?

– Да мне, собственно, делать нечего... так просто, сажу...

– Так пойдёмте.

Они вышли и пошли по освещённым улицам, враждебно и сторожко чувствуя друг в друге недруга, и в голове Опалова назойливо стояло:

«Да, газета – это мастерская или большая фабрика, не больше...»

Зарева

Песчаная отмель далеко золотилась, протянувшись от темного обрывистого, с нависшими деревьями берега в тихо сверкающую, дремотно светлеющую реку, ленивым поворотом пропавшую за дальним смутным лесом.

Вода живым серебром простиралась до другого берега, который весь отражался высокими белыми меловыми обрывами гор. И белым облачкам находилось место в глубине, и синевшим пятнам неба, только солнце не могло отразиться четко и ярко и плавилось серебром по всей живой, играющей поверхности.

В синем просвете расступившихся гор золотились кресты издали белевшего монастыря. Но и монастырь отсюда кажется спокойным, молчаливым, без звучащих колоколов. Только светлые, прозрачно набегающие морщины моют золотистый песок, да чуть приметно шевелятся темные листья задумчиво свесившихся над обрывом с размытыми весеннею водою корнями деревьев.

Ясная, светлая, задумчивая улыбка, улыбка тихого созерцания лежит на облаках, на белых отражениях гор, на синеве неба, на серебряно-светлой, лениво-ласковой реке.

И эта тихая улыбка, эта задумчивость созерцания не нарушается присутствием человека. Даже наполовину вытащенный на отмель каюк, выдолбленная из дерева лодка кажется не делом человеческих рук, а почернелым от времени, свалившимся с родного берега лесным гигантом, много лет лежащим наполовину в воде и ласково омываемым веселыми струйками.

И рыбацья избушка, приютившаяся под самым темным, с нависшими деревьями обрывом, скорей напоминает старый-престарый, почернелый от дряхлости и дождей гриб с наклонившейся шляпкой.

Все заморожено тихой, ласковой незнаемой таинственной жизнью, которою живет природа вне человеческого сознания.

Далекий слабый удар колокола донесся оттуда, где торопливо, растерянно и с ненужной тревогой блистали в воздухе мелькаю-

щим блистанием золоченые кресты. Он приплыл оттуда, слабо колебаясь, стирая эту особенную таинственную улыбку, эту задумчивость созерцания, и поплыл над водой, все слабея, теряя жизнь и вместе с рекой пропадая за поворотом.

Пропала улыбка дня, – просто белели облака, меловые обрывы, сверкала под солнцем река, и было видно, что около каюка песок, был истоптан человеческими ногами, валялись чешуя, кости и рыбы объедки.

Из избушки вышел человек, старый, но крепкий, с сивой бородой, крепкими морщинами, с сердито взлохмаченными бровями. Приложил козырьком черную, просмоленную ладонь и поглядел туда, где беспокойным трепетом сверкали кресты и откуда плыли все те же слабые, обессиленные расстоянием, едва гудящие удары колокола.

Шершавые усы сердито шевельнулись.

– Ну, завыли!

И, двигая бровями, как наежившийся кот шерстью, повернулся, и, тяжело ступая по хрустящему песку, подошел к разостланной бечеве с навязанными крючьями, и стал под-

тачивать их напильником и протирать сальной тряпкой, чтобы не ржавели в воде.

Рыбу он держал в плетенках, спущенных на веревке в реку, и два-три раза в неделю к нему приезжали скупщики закупать.

В праздники, когда отойдет в монастыре обедня, на той стороне, под белыми горами, зачернеют люди, забелеют бабьи платки и юбки и доплывет:

– Афиногены-ыч!..

А у него только шевелятся брови, и спокойно доделывает свое: спускает рыбу в плетенки, или перебирает крючки, насаживая наживу, или нарацивает оборвавшийся конец бечевы.

– Афиноге-е-ны-ы-ыч! По-да-ва-а-ай!..

Откликаются белые горы, доносит зеркало реки, шепчут нависшие деревья.

Долго сидят крохотные игрушечные люди под белыми горами у самой воды, а у деда шевелятся сердитые брови, шершавые усы.

Покончив с последним крючком, аккуратно распустив и свернув пальцами бечеву, Афиногеныч берет прислоненное к избушке длинное узкое весло, идет к каюку и, напру-

жившись и навалившись могучими плечами, сталкивает его со скрипучего песка на весело колеблющуюся, ждущую воду. И каюк, освободившись от неподвижной тяжести, тоже начинает шевелиться, покачиваться и легко поворачиваться, точно заражаясь вольным, веселым задором.

Весло мерно и сильно проходит, изламываясь, в прозрачной воде, и под круглым, тупым черным носом бежит стекловидный вал, далеко разбегаясь двумя морщинами.

А солнце уже высоко, и нет расплавленного серебра, – синяя река, синее небо, – и только в одном месте безумно-ослепительно играет и колеблется нестерпимый блеск.

Уже слышны голоса, говор и смех, но люди еще маленькие, еще не отчетливы промоины, расщелины обрывов, – по воде далеко слышно. Вот и белые отражения гор задрожали под каюком, заволновались, запрыгали, уродливо вытягиваясь и расплываясь. Ближе и ближе...

Каюк мягко насовывается на берег. Люди толпятся, торопясь поскорее забраться в колышущуюся под ногами, живую, вертучую лодку, а Афиногеныч сердито подымает вес-

ло.

– Куды-ы? За перевоз подавай... Не пущу... Куды лезете? Перевернете, идолы березовые!

Развязывают затянутые узелками уголки платочков, достают кисеты.

– Афиногеныч, я те отдам после... Вот как перед господом, отдам.

– Ну, после и перевезу.

– Да что ты, зверь лютый, утроба ненасытная, пропасти на тебя нету. Никогда копейки не поверит... Жри, чтоб ты подавился!

Старуха нищенка низко кланяется и причитает:

– Смилуйся, государь ты батюшка, пожалей старуху ледащую!.. [ледащая – худая, плохая, слабая] Только и подали на паперти три копеечки... на цельную на неделю.

– Подавай, сказываю! А нет, так отчаливай... Неколи мне тут с вами тары-бары растабарывать.

Нищенка торопливо роется, моргая красными, слезящимися глазами, подает деньги и лезет в колышущуюся, зыбкую лодку. Афиногеныч суров и неумолим. И только когда все отдали по копейке с рыла, он наваливается

на весло, отталкивается от берега, и опять впереди бежит, разбиваясь, стекловидный вал, и зыблются отражения.

В лодке стоит говор, Афиногеныча ругают и живодером и сквалыгой [сквалыга – скарעד, скупец, скряга], но добродушно, – и он, как будто речь не о нем, сосредоточенно бурлит живую, игристую воду веслом. Вода у самых бортов бежит мимо, лодка загружена, и все сидят смирно, цепко держась за влажные, скользкие края, – при малейшем движении вода хлынет и наружу вывернется круглое черное дно. Белые горы позади все ниже, а навстречу бежит золотистая отмель, свесившиеся деревья, почернелая избушка.

На другом берегу все весело выбирают на песчаную отмель и гурьбой направляются в деревню. Выбирается и старушонка со слезящимися глазами. Афиногеныч аккуратно прилаживает на берегу каюк, ставит весло и, обернувшись, неодобрительно и сурово смотрит вслед плетущейся нищенке. И говорит:

– Ну, куда пошла? Не успеешь с голоду сдохнуть?.. Поспеешь.

Та в недоумении останавливается. Он на-

гибается над плетенкой и начинает выбрасывать на облипающий ее песок трепещущую рыбу.

– А?.. – растерянно говорит старушонка.

– Сулка... [рыба, судак] Уха из нее добрая... Ребятишки-то знают, как выхлебать... Вот те карасиков, тоже хорошо в уху... Стерлядок...

Старуха, по-прежнему растерянная и радостная, набирает полон подол живой, ворочающейся рыбы и униженно кланяется.

– Спасет те Христос, касатик, мать пресвятая богородица...

– Ну, ну, ступай, ступай! Всем одинаково кланяетесь – и кто дает, и кто в шею бьет.

Афиногеныча недолюбливают и сторонятся, но, когда собираются в монастырь, идут к нему, чтобы не делать большого крюка на паром. Хмурый и молчаливый, он перевозит.

Иногда усядутся у обрыва под деревьями посидеть и передохнуть.

– Привел господь, сподобился отстоять утреню и обедню. Дюже хорошо отец Паисий ноне говорил, до слезы даже: любите, грит, друг друга...

– Пели нонче уж хорошо.

– Чисто андельскими голосами.

– Энто, как сдекает чернявенький: о-о-о... у-у... а-о-о...

Мужик перекошил лицо, сделал рот круглым и заскрипел на всю реку. Низко летевшие чайки шарахнулись. А Афиногеныч:

– Это ангелы так поют?.. А потом, вчерась, вечером, – хмуро говорит он, ни к кому в особенности не обращаясь, – пятерых бабенок перевозил... для монахов... на святое дело... Ядреные бабенки...

Все хмуро замолкали. И как-то иначе глядели горы, отмель, иначе золотились кресты. Но потом вскипало раздражение, и с слегка вспотевшими лицами ему кидали злобно:

– Глядим мы на тебя, Афиногеныч, не то ты богопротивник, не то ты беспоповник, не то бусурман, – лба не перекрестит, так бесперечь и живет, ни ему праздники, ни ему воскресный день.

Старик хмуро копается и говорит:

– Рыба вон ходит в воде, тоже праздников нету... – И перебивая самого себя и усмехаясь: – Был я молодой и крепкий, были у меня товарищи. Знали мы праздники. Бывалыча,

как праздник, народ перепьется, как свиньи, в грязь рылом тыкаются, потому в праздники полагается скотиной ходить, – перепьются, ну нам праздник: заберем в церкву да кружку-то и опорожним... Праздник!

На него сыплются ругательства:

– Нехристь!

– Святотатец!

– Иуда-предатель!

– Известно, ты – конокрад, вор и душегубец. Удивление, как господь тебя терпел! Одного тебе надо было – кнутовище в зад. Рыба!.. Да ты хуже рыбы, хуже скота бессловесного! Богопротивник. Церкви даже божий не жалел, что же уже после того... Одно слово – животная!

Было что-то, что упруго сдерживало раздражение. Ведь его надо было избить, изувечить, спустить связанного в воду... Его ругали, а он рассказывал:

– Верно, промышлял лошадьми, с товарищами... Жрать надо было, не святой Антоний, утроба требовала хлеба и протчего... Промышлял.

И, опять рассмеявшись каким-то своим

мыслям, продолжал:

– Под весеннего Миколу к помещику забрались. Конюшня каменная, крепкая. Замок никак не свернем... Ах, ешь ты мухи с комарами! Зачали возле притолоки стену разбирать. Разобрали, – ан в стене железный болт заложен, лошадь-то не пройдет, не подогнется. Что тут делать? Скоро светать... А конь – аглицкий жеребец, для приплоду, тысяч десять, а то и больше стоит. Влезли в конюшню, наклали досок на тарантас, с тарантаса – на сеновал, завязали коню глаза, ввели на сеновал, а в барское окно – трах! – камнем. Выскочили с ружьями, с револьверами к конюшне, – стена разобрана. Отомкнули двери, отворили, коня нету. Хлопают об полы, дивуются, как лошадь могла под болт пролезть, – стало быть, на коленки стала. А мы лежим на сеновале да слушаем. Зараз нарядили погоню человек десять с ружьями, и пан с ними, и залились в степь, – больше, дескать, некуда. Ну, мы подождали трошки, наклали опять досок, свели коня, вывели через двери, прихватили с базу двух меринов да помаленечку и уехали в другую сторону.

Шершавые усы и брови шевелятся.

– Гореть тебе в печи огненной!

– Го-о-о!.. Ничего, проживу, еще вспоминать будете.

Они хмуро и раздраженно уходили, ругая его, но с странным ощущением, что – да, будут вспоминать, будут его вспоминать. Чем? И мешались в душе неприязнь и раздражение со странным чувством глухого и смутного удивления перед этим человеком.

По-прежнему каждый день загоралась зорька над лесом, загорались кресты в монастыре, а вечером за поворотом, отражаясь, потухал красный закат, но долго в сумерках белели стены монастыря.

Уютно чувствовалось Афиногенычу на его пустом, безлюдном берегу. Одни у него были разговоры – с немymi рыбами, которые его хорошо понимали, и он их отлично понимал. Да чайки вели с ним деловые сношения, постоянно летая и подбирая остатки рыб. Для них у него находилась добродушная шутка, улыбка из-под жестких усов; для людей оставались колкие, язвительные, насмешливые слова. И ничто его не связывало с людьми.

– Афиногеныч, – говорили ему, – и живешь-то ты не по-людски: ни у тебя роду, ни племени, ни семьи, ни у тебя детей...

У него шевелились усы и брови.

– Будет того, что вы щенков плодите... перво-наперво, чтоб половину с голоду уморить, а которая остатняя половина подыметя, будет заместо вас скотиной в ярме ходить.

И было все одно и то же: река, лес, дальний поворот и в синей расщелине белый монастырь. Старик в тени обрыва плетет сети, и тихо моет вода отмель, тихо шепчутся нависшие деревья, беззаботно реют ослепительно-белые чайки. Точно все отодвинулось кругом – и города, и деревни, и людское горе, и прошлое, и молодость. Тихо, спокойно, задумчиво. И сеть, ложась на песок тонкой сквозной тенью, шевелится, непрерывно растет новыми кольцами.

Думает ли Афиногеныч о далекой молодости, рвущейся неизбытыми еще силами, о борьбе одного против всех, рад ли ласковому солнцу, воде, безлюдному берегу, таким же старым, как и он, деревьям, тоже с подмытыми, свисшими корнями, или просто внима-

тельно следит, чтобы правильнее цеплялись друг за дружку новые глазки?

Ночи приходили такие же ласковые, тихие и задумчивые. И не то маячили на той стороне горы, не то это только казалось. Неподвижной темнотой темнела река, или совсем ее не было, и был провал, бездонный и разверстый, и будто стояла вдоль реки густая караулящая таинственная тень.

У потонувшей избушки слабо краснеет, шевелится костер, такой же древний от века, как эта ночь, и в ней невидимая река, такой же одиноко брошенный, как этот старик, у которого сердито шевелятся брови и усы на красном, отсвечивающем лице.

Потом костер засыпает – и нет старика, нет гор, нет реки.

Из города приезжали скупщики. Они были проворные, ловкие, плутоватые, расчетливые. Торговались, били о полы, по рукам, и пахло от них уснувшей рыбой, лавками и городским духом. Но Афиногеныч был с ними угрюм, малоречив и упорен, как заноровившийся конь. Назначал цену и уже не сдвигался, как глинистая глыба у обрыва. А раз, когда

особенно настойчиво предлагали низкую цену, вывалил на их глазах в реку целую лодку живой, трепещущей рыбы.

И долго они грозили ему кулаками, и разносилась скверная крикливая брань по реке, по берегу.

Раз пришел сюда кучками измученный оборванный, исхудалый, с ввалившимися щеками деревенский народ. Шли в город – либо на суд, либо садиться в тюрьму, либо хлопотать о пропитании. Садись, выставляя под жгучее солнце костлявые, босые, потрескавшиеся ноги, почернелую, ввалившуюся грудь, сидели и ковыряли горячий рассыпчатый песок.

– Мочи нету! Край – больше некуда. Скотина попадала, избы раскрыты, ребятишки мрут.

Старик шевелил усами и как бы нехотя бросал:

– А вы бы того... к Паисию... он убогочинит: стало быть, любите ближнего и прочее.

– Край пришел! Все одно – ложись помирай.

– У него теперь брюхо-то понадбавилось.

Землицы-то они подкупили округ вашей деревни вплоть до Ольхового Рогу... Свечечку подите поставьте.

Белел монастырь.

А деревенские ныли.

– Больше некуда. Край. Нету мочи!.. – заунывно стояло над тихой рекой, как припев вековой, никогда не смолкавшей песни.

А старик говорил, накидывая слова, как новые петли в сети, которую вязал:

– Было нас трое о ту пору, молодые. Вывели мы у богатея, – всю округу держал в кулаке, – вывели тройку: дорогая тройка. Да не успели, – нагнали у реки. Я успел в камыши, сижу в воде по горло, а товарищей сцапали. Сбежалась вся деревня. Богатей кровью весь налился, лютый ходит, зверь зверем. «А-а!.. Бейте в мою голову!..» Подступились мужики. Товарищ стоит, руки скручены назад, по лицу кровь. И поднял голову и говорит: «Братцы, сами знаете, никогда ни одного мужика не тронули, жеребенка не взяли, заимствовали мы только у богатеев. Сосут они из вас кровь... Ужли ж за них заступитесь, сами себя по ногам бить будете?..» Насупился народ,

глядят в землю, чешут в затылках. Екнуло у меня сердце. Уже совсем поднялся я из камыша, к ним, то есть к мужикам-то: «Дескать, братцы, вместе страдаем, одна у нас чаша горькая». Да мироед как заревет: «Али не видите, – конокрады, душегубы!.. Бейте в мою голову! Три ведра водки ставлю!..» Зашатался народ, зашумел. Вдарил кто-то товарища колом, свалили и зачали... Цельную ночь сидел я и глядел, не отрывая глаз, а они били, они измывались, они мучили. Не признаешь за человека, а они все молотят по мясу, по красному мясу, во тут, передо мной, рукой подать...

Старик передохнул и глянул красными глазами.

– Цельную ночь глядел... Ушли. Вылез, постоял над товарищем, – говядина красная, боле ничего. Пошел, как пьяный... А после того восемь раз сжег деревню. Из тюрьмы, из Сибири бегал. Прибегу и сожгу... Все разорились. В восьмой раз как сжег, разбрелась вся деревня, одни головни остались... А теперича и место то запахали, ничего нет.

Все так же белел монастырь, стояли горы и

за лесом пропал поворот реки. Оборванные люди сидели, подняв острые колени и раскапывая горячий песок.

Лохматые, нависшие брови грозили кому-то, приподнялись. И старик вдруг злобно бросил:

– Мало с вас шкуру спускают!

У тех тоже блестят озлоблением воспаленные глаза.

– По две дерут с каждого.

– Мало!.. По три, по десятку надо, мясо с вас спускать, в плуги запрягать, да чтоб тут же, на меже, падали и дохли, – может, тогда хоть за ум возьметесь...

– Не лайся, не собака.

– Может, морду от земли подымете.

– Ты лучше перевези нас, Афиногеныч.

Старик разом успокаивается и брезгливо обегает их из-под насупленных бровей.

– По копейке с рыла.

– Побойся бога! Не емши целый день, падем нето где на дороге... Десять верст крюку на паром-то, не дойдем.

– Даром не повезу.

– Христа ради!.. Сделай божецкую ми-

лость... Ни гроша за душой ни у кого.

Старик молча отворачивается и спокойно принимается за работу, как будто он один. Те обступают, униженно кланяются, просят, голоса становятся хриплее, крикливее.

– Чего на него смотреть! Спихивай каюк!..

Они берутся за лодку, озлобленные, кричащие. Старик, как гигант, размахивает веслом; удары сыплются на головы, на обожженные костлявые плечи. Весло раскалывается, и куски летят, сверкая свежей древесиной. Старик схватывает небольшой якорь с растопыренными лапами, и он гудит в воздухе в дюжих руках.

Все кидаются в разные стороны.

– Тю... Объелся белены!.. Зверь бешеный!..

Он смотрит на них, как на побитую собаку.

– Сволочи! Дохлое мясо! Вонь от вас стоит, мир только гноите...

А они идут вялой, шатающейся походкой. Идут, и солнце жжет сквозь рваное тряпье по черное тело, и накаленный песок палит истрескавшиеся ноги, и река нестерпимым блеском слепит воспаленные, ввалившиеся глаза.

Реже и реже перевозил Афиногеныч богомольцев. Придут бабы с изборожденными, вековой усталостью лицами, с покорными глазами, в которых стоит один и тот же, непонятный для них самих, от века безответный вопрос. По целым неделям – никого. Редко когда приплетутся мужики.

По большим праздникам приваливала молодежь. Но они не переезжали на ту сторону, а приносили с собой водки, лузгали семечки, играли на гармонике, пели песни, и над тихой рекой неслись крики, смех, крепкие слова и брань.

Собственно, Афиногеныч ничего не мог им дать и не обращал внимания на их шумную компанию, но его отрывочные, несвязные рассказы о прошлом, о буйной, непокорной молодости, едко и зло оброненные замечания собирали около него кружок.

Из толпы вытягивающих вокруг него шеи парней слышалось:

– Двоих наших лесники убили... порубщиков.

– Десятин сто его, лесу-то...

И все глядели на сумрачный монастырский лес, темной густотой выделявшийся у светлой реки.

– Придет черед...

– Погреем руки...

– Все одно это – не жисть... Одинаково пропадать – тут или на каторге.

– Из каторги каторга не страшна.

– И-и, милые мои, – говорил старик, – чего ерепенитесь? Али плохо овце, как с нее шерсть стригут?..

...Побывал как-то у Афиногеныча и никогда не бывавший дотоле гость – монах, черный, с бородой, с светящимися маленькими пронизывающими глазками, в скуфье.

Старик тесал новое весло, а монах стоял и глядел подозрительно и враждебно.

– Ты что же это, али басурман?

– А что?

– Ни тебе благословения, ни тебе креста не надо?

– Замучились вы и без того, сколько наблагословляли кругом. Надо и вас пожалеть, – вишь, жиру-то у тебя от благословения наперло.

Монах пододвинул обрубок, сел, опустил глаза и молчал, и лицо его было холодно и жестко. Потом заговорил:

– Напрямик тебе скажу: все знаю.

– Тебе так и полагается – во святом месте живешь.

– Все знаю, и давно. Отец игумен велел доложить полиции в городе, чтоб убрали, а я упросил: пуцай грехи замаливает, пуцай живет. А ты что же это делаешь? В благодарность народ мутишь?

– Мутного не замутишь.

– Ну так вот тебе сказ: ежели еще хоть раз дойдет, что ты смутьянишь народ басурманскими речами, – сейчас же позовем полицию, и крышка тебе!

Топор, тихонько тюкая, заворачивал тоненькую стружку. Старик молчал. Потом опустил топор, усы шевельнулись.

– Кто же бабьят вам будет перевозить? Тоже на паром округ не всякая захочет киселя хлебать...

И опять топор затюкал, заворачивая тоненькую стружку.

Маленькие глазки монаха забежали огонь-

ком, потом опять глядели холодно-враждебно, и лицо было спокойное и жесткое.

– Хулу возводят на ангелов господних, не токмо на иноков, а только ежели ты...

– А... самим вам заводить перевоз не покажется зазорно? Вишь, я вам и пригожаюсь. Ну, полиция-то станет брать, что ж, придется обсказать, как Марьянку-то вытащили из воды, бросилась топиться... Чай, знаешь?

Чернец побагровел и ринулся к деду:

– Т-ты... старик! – Потом сдержался и холодно проговорил: – Язык-то попридержи, старика, попридержи. Даром-то тебе не пройдет...

И пошел, черный и грузный, тяжело вытаскивая ноги из песка, пошел к лесу.

Лето было сухое и жаркое, и, должно быть, от суши по ночам стояли зарева.

С вечера небо бывало бархатно-черное, а к полуночи начинало занимать, сначала смутно и неясно, а потом разрасталось, и из-за леса глядело зарево, багровое и колеблющееся. Было молчаливо-зловещее в его мертвом шевелящемся взгляде.

А потом понемногу тускнела чернота в

другом месте, и смутно нарождался красневший отсвет, и разрастался, и глядел из-за черного края, багровый, мертвый и шевелящийся.

И потонувшие среди ночи горы, и невидимая река, и глухой лес, и монастырь, который стоял во мгле, и слабо плывшие по темной воде глухие темные звуки колокола – все казалось слабым, маленьким и ничтожным перед этим немым, багровым, стоявшим на небе ужасом.

Черное небо пылало в разных местах, но здесь, внизу, по-прежнему было немо, неподвижно, молчаливо, темно и жутко.

Старик много раз вылезал за ночь из избушки, и его темная фигура долго чернела среди молчаливой ночи перед молчаливо, зловеще, ничего не освещающая глядевшим заревом.

Вставала ночь далекого прошлого... Бушевал ураган огня, носились освещенные галки, голуби, дико ревела, задыхаясь в дыму, скотина, метался обезумевший народ. Огонь пожирал, извилисто облизывая, избы ласково-проворными светящимися языками, и зарево

охватывало полнеба, но в овраге, где он сидел, глядя из-под насупившихся бровей приподнятыми очами, было темно и немо, как здесь.

Старик глядел на эти неподвижно стоявшие багровые зарева из-под насупленных старых бровей и приговаривал:

– Ага, монастырские экономии полыхают...
Добре, добре, ребятки! «Тогда не осталось камня на камне, и самое место вспахано...» Добре, ребятки!..

Раз старик спал чутким сном, и кто-то сквозь сон толкнул: «Скорее!..»

Он вскочил, выбрался. Насторожившаяся ночь темна и тиха, в разных местах зловеще стоят зарева. Он нагнул голову, прислушался – никого. Смутно темнел обрыв, над ним деревья.

И, отвечая предчувствию и темному ожиданию, хрустнул одинокий звук наверху, в лесу. Упала ли веточка, прокрался ли заяц, или шарахнулась неуклюжая сова... Опять повторился. Захрустело, затопало. Кто-то бежал, приближаясь торопливо. Посыпалась глина. Мелькнули фигуры – один, другой... Скати-

лись с обрыва – и в темноте перед Афиногенычем стоят два парня, тяжело, быстро и прерывисто дыша:

– Вези скорей!

– Откеда?

– Из монастырской экономии.

Слова падают коротко, быстро, отрывисто, с особенным, помимо формального, значением. И старик не спрашивает, идет к избушке, берет весло, и они спихивают и садятся в каяк. Берег темно расплывается. В носу говорливо бьется вода, бурлит весло. Лодка неподвижна среди ночи, среди реки. И кажется – это продолжается долго, и кажется – только отошли, а над головами черно нависли уже невидимые, но осязаемые громады. Лодка ткнулась о другой берег.

– Прощай, дядя!..

Опять говорит в носу говорливая вода, а лодка стоит среди темной ночи, среди темной реки, в виду молчаливого багрового зарева. Чудится – все затаилось, примолкло, потонуло в густой мгле, в чутком напряжении ожидания развертывающейся огромной немой драмы. Точно гигантская завеса кроваво

вздрагивает и шевелится, охватив полнебосклона, и вот разверзнется, и понесутся крики, и звон, и вопли, и смятение ужаса караемых. Так было в ту последнюю ужасную ночь, когда бушующее пламя пожирало избы, скот, людей...

И была тиха темная река, темная ночь, только темное небо багрово светилось.

Вернулся Афиногеныч, вылез из каюка, вытащил его до половины, прислонил весло и забрался в избушку на сухое душистое сено.

Не спалось. Поминутно прислушивался. За плетеными стенами кто-то шуршал, ходил и хрустел сучьями над обрывом. Но когда выставлял голову наружу, по-прежнему было темно, тихо, невозмутимо.

...Раз почудился как бы выстрел, далекий, глухой и зловещий, и снова тихо. Старик опять послушал: может быть, свалилось подгнившее дерево или плеснула большая рыба? Звуки, тонувшие прежде в ночной тишине, теперь странно и чутко выступали, и ухо жадно ловило.

Опять в лесу захрустело отчетливо и ясно. Слышно было – громко, смело и не таясь хру-

стели и ломались сухие ветви, и чьи-то тяжелые спешащие шаги отдавались по сухой, крепкой земле. Старик хмуро улегся и не подымал головы.

Уже слышны голоса, крики и переговариванья нескольких человек.

– Да тут голову сломишь!

– Спускаться тут никак нельзя.

– В объезд.

– Да куда в объезд... Темень, зги не видать, бездорожно.

Раздалось фыркание лошадей.

– Лошадей оставим наверху. Спускайтесь сами.

Посыпалась глина, захрустел песок. В стенку раздался удар, – вся избушка затряслась.

– Эй, ты! Выходи... Выходи, что ль...

– Ась?.. Кто там?

– А вот я тебе покажу.

Двери сорвались, и темное отверстие кто-то загородил. Чиркнула спичка, на секунду осветив развешанные сети, сено, старика... И опять глянуло темное четырехугольное отверстие дверей. А за стенкой голос:

– Один, никого нет.

– Эй, вылазь!

Старик выбрался и стоял перед ними угрюмой темной фигурой. Их было пятеро.

– Ну-ка, старый хрен, давай лодку, вези на ту сторону. Тебе говорят...

– Кого зараз перевозил?

– Никого.

– Бреешь. Ну-ка, свети, Миколай.

Вспыхнул пучок сухого хвороста. Пламя трепетало, и трепетали и скользили живые тени. Казаки, нагнувшись, шаг за шагом рассматривали истоптанный песок.

– Вишь, следы, прошли только.

– Что же ты бреешь, сучий сын?

– Мало ли народу утром в монастырь к обедне переправлялось.

– Ну, ну, заговаривай зубы. Садись, ребята.

– А лошади?

– С лошадьми нехай Иван на перевоз скачет. – И, обернувшись к обрыву и приложив ладони ко рту, зычно крикнул: – Ива-ан! Выезжай на дорогу да лупи к парому. А там выедешь, валяй к Сухой Балке, там жди.

Шарахнулась во тьме ночная птица, а с обрыва донеслось:

– Слушаю!

И стал доноситься удаляющийся ночной топот.

– Ну, ты, чертова кукла, вези!..

Они все подошли к лодке...

– Далече не уйдут... тут деться некуда.

Старик положил в каюк весло, попробовал ногой, крепко уперся в песок, навалился плечом и сделал огромное усилие разом спихнуть и далеко оттолкнуть лодку в глубокое место, вскочить и уехать. Каюк скрипнул о песок и всплыл, тихонько покачиваясь у самого берега. Нет, старик, прошла молодость, прошло время, прошла сила... Он вздохнул, угрюмо придерживая колыхающуюся лодку.

Сели. Весло бурлило в темной воде.

Афиногеныч все посматривал в темноту, в ту сторону, где был монастырь. И стало ему чудиться, что среди тьмы мутно проступают его очертания.

Пятеро тихо сидели, крепко держась за мокрые борта, у самого края которых влажно чувствовалась колеблющаяся вода.

– Ну, ты, сыч, греби, что ль... заснул!..

И в ответ над рекой пронесся хищный

крик:

– Проснулся!!

В ту же секунду темная фигура старика метнулась в сторону. С шумом бурно устремившейся через борт воды слился крик отчаяния пятерых людей. С минуту слышались всплески нечеловеческой борьбы, потом стихло.

Старик с усилием плыл. Одежда все больше намокала и тянула ко дну. Вода влажно и настойчиво вливалась в рот, руки с трудом подымались. В глазах замотались огненные мухи. С нечеловеческим напряжением, глотая страшно вливавшуюся воду, взмахнул раз... два... и перестал грести.

Река по-прежнему была тиха и спокойна. Но среди ночи, среди неподвижной тьмы стали выступать залитые розоватым отсветом монастырские стены, башенки, колокольни. Стали выступать розоватые верхи прибрежных гор, как розовым шелком, чуть подернулась река, – небо пылало от черной угрюмой линии горизонта до зенита, все было залито багровым заревом.

Сопка с крестами

1

Что бы ни делала, смеялась ли, или шла по улицам, болтала в гостях, читала, или открывала щурящиеся от утреннего света глаза, всегда один и тот же постоянный, не теряющий своей болезненной остроты, не ослабляемый временем вопрос вставал: а он?

Покрывалась земля снегом, белели крыши, верхушки фонарей... а он? Стояли в цвету яблони, пахло зацветающей сиренью, дымилась черная отдохнувшая земля... что-то с ним? Жгло полуденное солнце желтеющие поля, блестела знойным блеском река. Но над ним такое ли солнце?

Годы проходили неумолимо и безжалостно, все менялось, но все то же оставалось: «А он?»

Для других она была высокая, стройная девушка, со спокойными глазами, с большим, оттягивавшим головку узлом каштановых волос, себя она чувствовала упруго сжатой вокруг одной мысли, одного представления.

Но никогда не могла она представить его

себе таким, каким он должен был быть теперь: выбритая наполовину голова, серый халат, тупо и мертво звучащее железо... Представлялся он, как тогда, стройным и подвижным, открытое, смелое лицо и молодые, полные жизни глаза.

Уже три года... Становилось страшно, что так же пройдет вся жизнь. Каждый день убегал, заполненный тысячами забот, дел, разговоров, мыслей, улыбок, ничего не изменяя.

Раз в год или в два она получала от него несколько строк. Это был маленький серый клочок плохой, почти оберточной бумаги, с вкрапленными кусочками соломы, с пушисто и неровно оборванными краями, захватанными, со следами пятен от пальцев. Должно быть, через много тайных рук проходил этот клочок, прежде чем попасть в конверт и на почту.

Часами глядела она на этот клочок, и странно было, что светит солнце, стоят дома, мчатся экипажи, что жизнь льется, равнодушная и слепая, как будто не было этого серого, измятого, тщательно расправленного клочка.

Несколько сухих и холодных строк – беглой, знакомой рукой. Он говорил, что здоров, просит не беспокоиться и – главное – жить, жить своей полной жизнью, не заботясь о нем. И не было в них ласки, нежности, намек-ка любви. И эти сухие короткие строки звучали, как похоронный звон...

Уходили дни, месяцы, годы, принося свои заботы, дела, интересы, и все то же жило болезненное, бессознательно-смутное воспоминание.

2

Нет водоема, который бы не иссяк, нет гор, которые не были бы размыты, нет раны, которую бы не затянуло.

Молодость просила счастья, ласки, любви; светило солнце, и весна приходила каждый раз новая, непохожая.

Прошлое тускнело, как далекие очертания покидаемого края, жизнь несла только настоящее.

И голоса товарищей, смех, повседневные дела, милые, ласковые глаза, мысли, книги – все оплетало невидимой и прочной паутиной.

Бурлил самовар, сидели вокруг стола с молодыми лицами. Звучал смех, или загорался спор.

– Вы висите в воздухе...

– Нет, это вы висите в воздухе с вашей оторванностью от народа, от русского народа, от индивидуальности, от национальных особенностей народной жизни...

– На мужике держится весь уклад рабства и угнетения.

– Господа, а из Акатуя побег...

– Да, да, постойте-ка... у меня письмо оттуда...

– Ну-у?! Когда?.. Каким образом?..

– Да уж с неделю... один из ссыльных привез...

– Что же вы раньше-то... что же молчите?.. читайте.

– Читайте, читайте!

Сосредоточенно достал бородатый из бокового кармана неуклюжий, серый, в несколько раз сложенный и мелко исписанный лист, осторожно разложил на столе, как будто это была страница, вырванная из священной книги, и начал хриповатым, глухим,

но везде отдававшимися голосом:

«...нет, милые друзья, не надо утешений, надежд, подбадриваний. Какие бы слова ни говорить, какие бы ни приводить соображения, как бы ни изменялись события, все холодно и спокойно покрывается: „Но ведь вечная!..“ В окно мне смотрит кусочек неба да беллет вершина сопки, а на ней чернеют кресты: туда таскают окончивших срок. И мой срок кончится там. И для меня одна дорога – только туда... Но я одного прошу, умоляю: ничего не говорите Кате. Пусть она живет, пусть любит солнце, счастье, жизнь. Ее образ я ношу в сердце своем днем, ночью и засну последним сном с ее именем. И когда смертельная, пожирающая тоска наваливается и я хочу убить себя, я вспоминаю ее милые спокойные глаза, и... живу. Зачем?»

Лежали, навалившись грудью на стол, не спуская глаз с чтеца, сбившись тесной кучей, придерживая дыхание. Но отдельно от всех из темного угла сверкала пара глаз. Как будто не было человека, не было платья, рук, прически, не белело лицо, только играли фосфорическим блеском ни на секунду не тухну-

щие глаза. Горячечным блеском глядели они поверх голов, поверх чтеца, поверх громадных пространств, туда, где немо, неподвижно и мертво ожидала сопка и чернели кресты.

Тихонько встала, оделась и вышла. Ничего нельзя было сказать нового, уже ничего нельзя было добавить. Кто-то мертвыми, холодно-синими губами сказал: «Аминь». Сопка с чернеющими крестами...

Так вот почему суровы и коротки были его письма к ней, вот почему не вырывалось ни одной жалобы, ни стоана, – мертвые оставляют жизнь живым.

И она оглянулась и вздохнула вздохом облегчения... Все остановилось: солнце, люди, экипажи, шум улиц. Уже не придет весна обновляющей новизной. Жизнь остановилась на роковых словах недочитанного письма.

3

Она не знала, как устроится, как будет действовать, не было никакого определенного плана, но стук колес под полом, убегающие столбы, поля и далекий горизонт говорили, что с каждой минутой, с каждой секундой сокращаются тысячи верст, которые отделяют

от него.

Проходили ночи, томительные, долгие, с колеблющимся, неверным полумраком, с мерцающей свечой, с двигающимися по сонным лицам, покачивающимся стенкам и потолку тенями, с немолчным говором колес. Проходили дни еще более томительные, с несвязными дорожными впечатлениями и разговорами, с забывающимся гулом и стуком, к которому привыкло ухо и который ощущался только в молчании, когда поезд стоял на станциях. А впереди лежали целые недели и тысячи верст пути.

И среди скучного однообразия одним немеркнущим представлением упрямо стояла сопка с крестами. Угрюмая, одинокая, она заслоняла будущее, прошлое, заслоняла мысли, соображения, предстоящие неодолимые препятствия, стояла, заслоняя небо, одна во вселенной, молчаливая, немая, с непокрытой тайной.

Поднимала глаза, с изумлением глядя на привычно проходящих кондукторов, на потные лица пассажиров, прислушивалась:

– ...да-а, святитель Прокопий лежит в са-

мой дальней пещере. Пять годов назад была, к ручке прикладывалась, а нынче пришла, ручки уже нету, почернела, земле предалась...

– Земле предалась...

– Земле, стало быть, предалась!..

И покачиваются подвязанные платками головы, и глядят наивно, тупо внимательные бабьи лица. Лавры, монастыри, монахи, золотящиеся при закате кресты – все это встает огромной громадой чудовищной жизни, которая клубится, развертывается и творит свое, в которой нет места сопке с крестами.

Поезд катился среди равнин и лесов, через реки и луга, между гор, обрывов, через ущелья и перевалы, и казалось, что он несется в другую сторону, что расстояние все больше и больше ложится между ним и сопкой.

Но когда носильщик снес вещи на вокзал небольшого городка в самом сердце Сибири, усталость и равнодушие вдруг охватили неодолимой сонливостью.

В крохотном номерке нечистой гостиницы спала крепким, тяжелым сном, а когда просыпалась, все те же глядели в окна деревянные

крыши домов, все те же тянулись по бокам улиц деревянные тротуары, все так же хмуро, ровно и серо висело серьезное, молчаливое небо. И люди были чужие, и прислуга, подавая самовар, как бы говорила: «Нам все равно...»

Сопка с крестами затерялась и пропала. Со всех сторон стояло чуждое, молчаливо-враждебное. И надо было начинать, и жизнь потянулась.

Обмахиваясь веером, она сидела в цветнике нарядных дам и девиц, и красная роза дрожала на ее груди. Было, как всегда бывает на балах: мягкие звуки музыки, много света, воздушные пляски, декольте, цветы, фраки, мундиры, и бальные, праздничные лица, так же обязательные, как и роскошные платья. И, положив руку на черное плечо и слегка отвернув голову, шла в мягком, томительно медленном танце, и зал, пестреющий цветными красками людей, медленно плыл по огромному кругу.

К ней то и дело подходили во фраках и мундирах, и она много танцевала, и много за-

вязывалось новых знакомств, и всем отдавала милую улыбку, и спокойно и грустно глядели глубокие черные глаза.

В шуме и пестроте бальной жизни фразы принимали иной, больший, чем содержали, смысл, лица казались значительнее, и временами боязливо вспыхивало сознание, что, быть может, это и есть настоящая жизнь, быть может, железный порядок вещей требует пользоваться жизнью таковой, какой она дается, – ни молодость, ни время не ждут.

Но когда возвращалась домой и, полураздетая, с поникшей головой, задумчиво стояла над кроватью, медленно и неуклонно слезала мишура с бальной музыки, с цветов, с яркого освещения, с бальных разговоров, с бальных лиц. Угрюмо и одиноко стояла сопка с крестами, заслоняя весь мир.

Но почему смысл жизни – в этом угрюмом, без красок, холодном, одиноком, полном тоски и отчаяния?

Почему?

Ответа не было. Молча и немо стояла сопка.

Жизнь складывалась из кусочков, без плана, без определенно поставленной ближайшей цели, с постоянным и смутным сознанием, что в конце концов куда-то придет, устроится, что-то будет достигнуто, и она увидит дорогого человека. А дни уходили за днями, месяцы за месяцами, кончался год.

Она добилась известного положения в городе в качестве учительницы, и время все было заполнено. И опять постоянные заботы, дела, работа стали затуманивать память о нем. Тысячи нитей повседневно снова опутывали и оплетали. Она не давалась и по ночам, глядя в темноту, горько думала о своем бессилии что-нибудь предпринять и перебирала тысячи планов увидеться с ним, но приходил шумный, пестрый, требовательный день и опять все отодвигал и затуманивал.

В ее отношениях к людям была постоянная двойственность. Они забирали все внимание, силы, напряжение, но в шуме и суете постоянно жило неосознанное ощущение, что это пока так себе, а настоящее где-то впереди, в будущем, подернутое смутной дымкой, точно раскинулся немолчный крикливый биву-

ак, который в конце концов снимется, и все кругом опустеет и замолкнет.

В этом городе, куда на зиму съезжалась приисковая знать, где были многочисленные представители административных учреждений, зима проходила шумно и весело. Балы, вечера, рауты. И в их чадуга она чувствовала силу женского обаяния. Это проснулось незаметно.

И в студенческой среде девушка чувствовала себя женщиной, но это тонуло в милых, мягких, товарищеских отношениях, тонуло в обилии умственной работы, мысли. Здесь же, среди золотой молодежи, среди тузов золота, важных чиновников, она чувствовала себя нагой, сильной только как женщина, как мраморная статуя.

– Но скажите, пожалуйста, что вас прельщает в этой беготне по метеорологическим станциям?

У него выхоленное лицо, мундир, крупные брильянты в перстнях.

Она чуть усмехается.

– Я же состою членом географического общества... мне поручаются научные работы.

– Ба!.. Наука!.. Наука для старцев, для тех, кто вышел в тираж, для вас – свет, удовольствия. Нельзя себя закапывать в запыленные фолианты...

– Но ведь...

– Представьте же, если бы цветы стали рубить, как капусту, в борщ... Ха-ха-ха... Что было бы...

– А у меня к вам просьба.

Он предупредительно привстает и кланяется.

– Приказывайте!

Она смотрит, и ее черные, спокойные, дремлющие в глубине глаза говорят с тем особенным девическим цинизмом целомудрия, недоступности и чистоты: «Видишь, молода, крепка, стройна... упруга девичья грудь и нежны губы, еще не знающие поцелуя, но мне решительно до тебя нет дела, и ты не позволишь себе ни намека на вольность». И она чувствует, как этот немой, постоянно звучащий в ее фигуре язык раздражающе-упруго отделяет от нее мужчин, постоянно притягивая их к ней.

– Видите ли... как раз по поводу ненавист-

ной вам науки.

– Для вас я готов сделаться ученым и мудрецом.

Глаза лукаво смеются.

– Ну-ну... не сразу... Мне необходимо совершить ряд поездок с научной целью. Но вы ведь знаете, как относятся в глуши к научным работам и наблюдениям, особенно если это женщина... вот даже вы...

– Помилуйте, вы не так меня поняли... напротив, меня чрезвычайно интересует... Словом, приказывайте, все сделаю, что в моей власти.

– Я попрошу вас, – она говорит спокойно-приказательно, – я попрошу вас... нельзя ли будет выдать мне открытый лист для поездки и... и маленькое... маленькое обращение в нем к властям большим и малым о содействии, чтобы помогли ориентироваться. Вообще ведь трудно, ничего не знаю...

Он подумал. У нее замерло сердце и почти не билось.

– Н-да!.. Надо будет вас представить губернатору. От него зависит. Я все устрою, – говорил он решительно и с таким лицом, как буд-

то хотел сказать: «Видишь – для тебя я все делаю».

А она спокойно глядела глубокими глазами с таившейся насмешливой улыбкой в углах и как бы говорила: «Знаю, но мне решительно все равно, и между нами по-прежнему такое же расстояние...»

И эта особенная власть женской молодости бессознательно наполняла ее ощущением некоторой гордости и смутного пренебрежения и брезгливости к окружающим. Пока она молода и красива, обычные, обязательные рамки человеческих отношений странно для нее раздвигаются.

И она была представлена губернатору. Бодрый старик, с неизменным выражением своего особенного положения, любезно согласился на просьбу.

4

Снег сверкал и искрился. Он сверкал и искрился везде, куда доставал глаз: и по крутым увалам белевших сопок, и по лощине, и редко мелькая и падая в воздухе брильянтами. Скучно и сосредоточенно бежали гуськом лошади, выворачивая и поблескивая отбелен-

ными подковами, пошатывая крупами, потряхивая думающими головами, бежали и думали свое, такое же однообразное, как эта бесконечно бегущая, скрипучая дорога.

Мороз лежал на всем, густой, тяжелый, прозрачный, и снежные очертания были жгучи.

Молчаливая пустыня раздвигалась скупой, отовсюду волнисто загораживая снежными искрящимися линиями, и язык молчания спокойно и холодно говорил, что нет места здесь живому. Не дымились трубы, не темнели избы, стлался только иссиня-сверкающий снег. Да мелкой щеткой по белизне склонов темнели леса, но и там, должно быть, было пусто и мертво – ни зверя, ни птицы, ни дыхания.

Два человека чернели среди громадной, молчаливо думающей пустыни в кошеве [кошева – сани], быстро скрипевшей по снежной дороге.

– Нно-но, милая!..

Взмахивал кнутом, дергал вожжами, и мысли и настроения у него были такие же однообразные, как эта дорога, как бело встававшие и угрюмо загораживавшие горизонт с

обеих сторон горы.

Женская закутанная фигура молчаливо встряхивалась и покачивалась на ухабах. Тысячи мыслей, представлений, воспоминаний.

– Ямщик, скоро?

– Скоро, скоро, барышня, скоро... поспеем.

Усилием воли она отодвигала вздымавшиеся вокруг горы, и ей чудилась сопка с крестами, особенная, не похожая ни на одну гору в мире. И стояла она, огромная, таинственная, касаясь белой вершиной небес. И черною ратью покрывают ее кресты. Они густо чернеют, как лес, молчаливыми стражами потухших жизней, похороненных страданий.

Толчок, ухабы, сани прыгают, лошади все так же поматывают думающими головами, все так же холодно искрятся ослепительные сопки.

И вдруг что-то дрогнуло, и по сверкающим отлогостям метнулась в глаза живыми пятнами красная кровь. Кто-то гигантский разбрызгал ее по горам, и она густо окровавила холодные снега. Глаз, отдыхая, останавливался на бледно-розовых пятнах, которые теперь казались не кровью, а нежными чайными роза-

ми. Среди мертвых морозов, мертвых снегов, среди молчащей пустыни чудные розы говорили о далекой весне, о ласке тихо сверкающего теплого моря, о благоухании томящих ночей.

И чудилось, что он ходит, улыбающийся, с ясным лицом, свободный, и радостно ждет ее, и розы устилают путь, душистые бледные розы. Он ждет ее, невесту свою, и больно и торопливо стучит сердце. Вырывается тихий вздох счастья, глаза полузакрыты. Полозья поют песню, тихо и радостно звучащую мелодию. Ах!..

– Ямщик, скоро ли?

– Скоро, скоро, барышня... Зараз вон за сопкой поворот... Поспеем. Все там будем, от своего не уйдешь...

Лошади по-прежнему покачиваются, обдумывают.

– Ямщик, что это красное по горам?

– Багульник, кусты, стало быть.

Только всего багульник. Нет роз, нет тихо поющего сверкания моря. Визжат полозья. Мороз, густой и тяжелый, лежит, иссиня-прозрачный, по лощине, по сверкающим очерта-

ниям гор... Багульник, голые безлистные красные кусты багульника!..

Все просто, все так же страшно просто, как там, в России, как в эти два года в сибирском городке, все просто, все на своем месте. Здесь стоит тот же железный порядок, которому подчинена вся жизнь.

– Вот и Акатуй!

Он показывает кнутом.

Она приподымается, она впивается горячечными глазами, впивается мимо полуразвалившихся, почернелых, как загнившие грибы, избушек нищей деревушки, впивается в сопку.

Но это самая обыкновенная, ничем не отличающаяся от других, занесенная снегом сопка, и десяток крохотных, игрушечных, покосившихся, полусгнивших, полуупавших крестов едва чернеет. Так просто, так обыкновенно и так страшно. Звон цепей, бледное, исхудалое, обросшее лицо... Все на своем месте, все в железном порядке.

Она тяжело вздыхает.

На самой вершине, вырезываясь на морозном небе, белеет благородный мрамор, в по-

следних лучах золотится крест. Не памятник ли это бескорыстным порывам, не напоминающие ли, что человеческое великодушие, любовь, самопожертвование молчаливо хоронятся в немой, холодной, равнодушной пустыне жизни?

Показывает кнутом:

– Барин похоронен, декабристом прозывается.

Полуразвалившиеся, слепые избушки позади. Вот и дом начальника тюрьмы – свежий сруб, новая тесовая крыша.

Дальше в полуверсте рядами застроенных бревен смотрит в небо палисад тюрьмы. Едва видна из-за него длинная неуклюжая, приземистая крыша, как чернеющая спина допотопного животного, в тяжелых лапах которого в муке бьются люди...

Так просто, так обыкновенно!

– Господина начальника нету дома, они уехали. Они будут завтра утром. Вы пожалуйста в комнаты, я зараз велю самовар поставить.

«Ведь он здесь... здесь... всего сто шагов...»

И ей хочется рвануться, броситься, бежать

туда, кричат из-за палисада, но вместо этого садится за накрытый стол и берет чашку горячего дымящегося чаю. Женщина с круглым лицом в темном платье стоит возле, сложив руки и не спуская глаз с гостьи.

– Гляжу я на вас, из России вы... Как-то там теперь?.. И-и, боже мой, хоть бы одним, одним глазком посмотреть...

Слезинка тихонько сползает по щеке.

– Вы давно здесь?

– Четвертый год.

– Что же вы стоите? Садитесь.

– Нет, я постою... Нас презирают на таком положении.

– Вы служите?

– Нет... – она густо краснеет, – господин начальник взяли меня к себе... – И, отвернувшись и глядя в уже чернеющее густо надвигающейся ночью окно, говорит: – Я уголовная... Такое положение... Никуда не денешься.

А самовару все равно, он бурлит, бросает клубы пара или начинает петь тоненько и однотонно. Женщина стоит, темная, печальная, покорная. В комнате светло, уютно. В срубе стреляют бревна – на дворе крепчает мороз.

– Мальчонка у меня остался там, в России... Как забирали, трех годов был... «Мама, мама!..» Лапает ручонками... – Она рассказывает с тихой, сдержанной страстью, с затаенной дрожью. – Румяный, чистое яблоко... Бывало, ночью проснется, лап, лап: «Мамка, ты тут?..» – «Тут, тут...» – прикорнет и опять заснет, только носиком так печально подсвистывает: ти-и, ти-ти...

Часы бьют шесть, потом семь, а глухая ночь давно уж тянется, давно тянется под этот тихий печальный рассказ о далеком мальчике.

Самовар убрали. Темная женщина приготовила постель, пожелала покойной ночи и ушла. Девушка одна ходит по комнате. В трубе стреляет. Тут, сейчас за темнотой – он, милый, усталый, ждущий покоя... И сопка с маленькими покосившимися черными крестами ждет...

– Ах, ничего, ничего не выйдет!..

Хрустят тонкие пальцы.

В тоске, в смертном томлении она мечется. Все то же.

Набросив платок, осторожно и тихо выхо-

дит в темные морозные сени. Промерзшие окна глядят фосфорическими пятнами. Тишина, пропитанная тьмой и морозом.

Тихо полуотворила наружную дверь. По ногам тянет леденящий холод. Напрасно силятся глаза пробиться сквозь стену тьмы, – непроглядная, она стоит непроницаемо. Невидим, но осязается потонувший в морозной тьме палисад, там – люди, там – *он*.

Зубы стучат неудержимой мелкой дрожью, трясутся колени, заоченели ноги, застыли руки, льется морозный холод, а она все стоит и глядит во тьму сквозь щель приотворенной двери. По-прежнему мертво-тихо.

Тянутся минуты, может быть, часы, она не знает.

Нарушая густоту мглы, в черной глубине ее шевельнулось живое желтое пятно. Колебаясь, тусклое и мутное, как зарождающаяся жизнь, оно неровно и тихонько передвигается, и нельзя сказать, вперед, или назад, или в сторону.

Девушка, крепко вцепившись окостенелыми пальцами в холодный косяк, не спускает глаз с колеблющегося желтовато-мутного пят-

на. Кругом мертвенная пустота и первозданный холод, там – трепетный зародыш жизни и дыхания. И она с замиранием сердца следит, – вот-вот потухнет.

Кончено... мрак, пустота, холод...

Снова слабо брезжит, и желтовато колеблется, и борется с надвинувшейся отовсюду черной слепотой ночи.

Теперь ясно можно различить: неровно, несмело подвигается сюда. Только отчего с такой болью, с такой смертной мукой толчками бьется сердце?.. Если б перестало биться, если б потухла тоска!..

Огонек лучится, и по снегу скользит желтовато озаренный кружок.

Люди.

Никого не видно, но нет сомнения – они идут сюда. Дозор, или патруль, или идут с докладом к помощнику.

Огонь фонаря от хоть бы колышется, прыгает, нервно скользя светом по снегу. Скрипят шаги. Ближе и ближе.

Впереди вырисовывается чернее мглы фигура. Покачивается на ходу тяжело и злобно. Лицо, грудь, ноги и руки выступают плоской

чернотой, точно вырезаны из картона. Но сзади фонарь освещает серую спину, затылок, мохнатую папаху и колыхающийся на плече, поблескивающий штык. Второй идет такими же большими тяжелыми, сердито топочущими скрипучий снег шагами. В руках фонарь. Свет его старается все заглянуть в лицо, должно быть, угрюмое, в глаза, должно быть, суровые и мрачные, но никак не может достать и только скользит по серой груди шинели, по вспыхивающим пуговицам, по обшлагу рукава.

Третий...

– А-ах!!

Крик, пронзительный, звенящий, вырывается из груди ее, колышет холодную густую мглу, разносится среди ночи, будит спящих, зажигаются огни, бегут люди... нет, это – беззвучно шелестят сухие губы, как свернувшиеся от мороза листья, и кругом мертво и черно.

Он идет, слегка нагнув голову, и как раз таким, каким она его не могла себе представить, – в длиннополом арестантском халате, с обросшим, бледным, исхудалым лицом. Милые знакомые, незабываемые черты. И чтоб

помочь ей, фонарь, колеблясь, взглядывает
временами ему в лицо желтым пятном... нос
с горбинкой, грустные, усталые глаза...

Она впивается ногтями в прокаленное мо-
розом дерево... Жених идет к невесте, розы
алеют по сверкающей белизне, поет тихое
сверкание моря о благоухании томящих но-
чей... Нет, это слегка позванивает железо кан-
далов, и *он* поддерживает их рукой.

Из-под ногтей брызжет кровь...

Они проходят в двух шагах от крыльца,
верно, слышат биение ее сердца, проходят так
мучительно близко, что она кричит: «Ми-
лый!» Нет, это крик истерзанной души, ис-
томленного любящего сердца, а губы только
шелестят, как свернувшиеся от мороза сухие
листья: «Я – здесь...»

Они останавливаются во тьме, шагах в де-
сяти, странной таинственной группой, и фо-
нарь, шевелясь, выдвигает из тьмы то руку,
то бородатое лицо, то ружейный приклад,
придавая еще больше фантастичности этим
людям, так таинственно вне тюрьмы в
неурочный час стоящим среди чуть мерцаю-
щего снега.

Подняли фонарь, и, скользнув в темноте, легла полоса света по смутно уходящим вверх столбам, и вверху были перекладыны.

В щели приотворенной двери в ужасе застыли глаза... «Помогите!.. постойте!..»

Он подымается по лесенке, подобрав халат и поддерживая одной рукой кандалы, неверно озаряемый фонарем. Люди в серых шинелях сурово стоят тут же со штыками наготове, ждут... Минуты, вечность смертной тоски... Он вздрагивает и на секунду оборачивается по направлению застывших глаз. Все – молчание, все – тьма, потом подымается еще на две ступеньки.

Полоса света передвигается. Смутно белеют приборы в метеорологической будке.

Он спускается, и они идут назад в молчании, с неровно и скупо освещающим фонарем в том же порядке, впереди солдат, надзиратель, потом он, в халате, с усталыми глазами, опущенной головой, и солдат замыкает шествие. Они проходят в двух шагах от крыльца, тихо позванивают цепи. Потом фигуры становятся чернее, смутнее, сливаются и тонут в холодной черноте, только фонарь колышется

и светит. Потом – смутное, неясное живое пятнышко среди океана мрака, и... все.

Она перестала дрожать и стояла, не чувствуя застывших рук, ног, не отрываясь, глядела в бездонную тьму, не отрываясь, слушала, но было мертво-тихо.

Отдирает закоченевшие руки, дует на деревянные пальцы, тихо с печальным морозным скрипом притворяет дверь и входит в чужую, молчаливо освещенную лампой комнату.

Девушка ходит, ходит, ломает негнущиеся деревянные пальцы, бормочет, останавливается и долго смотрит в белесо-темное обмерзшее окно. И опять ходит, жестикулирует или падает в подушку лицом и кусает ее, чтобы заглушить рвущиеся рыдания, и все больше и больше смачивается слезами полотно наволочки.

Нельзя кричать, нельзя проклинать людей, судьбу, и она ходит, ходит. Все совершается в железном порядке, и время течет с тою же железной медлительностью и необходимостью.

Одиннадцать, двенадцать... три, четыре,

пять часов, все – ночь, все – тьма. И не смыкаются глаза, нет усталости, нет забвения. С железной необходимостью надо жить, надо понимать, надо чувствовать.

– Господин начальник приехали и просят вас к ним.

Брезжит мутное, промерзшее, иззябшее утро. Она торопливо взглядывает в зеркало и отшатывается: глядит белое, чужое лицо.

Огромное усилие, и она спешно плещет студеной водой, поправляет прическу, капризно выбивающийся бант на шее, и тогда из зеркала глядят сияющие глаза, ибо чисто омыты слезами, на щеках алеют розы тоски и надежды, и длинные печальные тени черных ресниц.

И она входит, стройная и сильная, с знакомым напряжением женского обаяния.

Начальник стоит у стола с бумагами, с солдатским, неуклюже красным лицом, в мундире и с несходящим выражением строгости, непреклонного, раз заведенного порядка. Но когда она подходит, и он жмет маленькую стройную руку, и в его глаза глядят сияющие из глубины глаз звезды, и алеет на щеках ру-

мянец, к выражению на его лице, что он строг и неукоснителен по службе, что не может быть речи ни о каких отклонениях от заведенного порядка, что здесь – каторга, и это так и понимать надо, – к этому раз навсегда застывшему выражению примешивается новое: что она появляется среди этого гиблого места, как цветок среди пустыни, и что он ее внимательно слушает.

– Чем могу служить? Садитесь, пожалуйста.

«Да, я понимаю, – говорит она свободными легкими движениями, – я понимаю, здесь каторга... И все-таки я красива и молода...»

– Я здесь в качестве члена географического общества. Видите ли... Вот открытый лист.

Он берет протянутую бумагу и читает, не то удивленно, не то внимательно подняв брови. И постепенно привычное выражение слегка меняется, и в него входит новое выражение, что и она с этого момента включается в тот неуклонный порядок, представителем и слугою которого он здесь является.

– Так-с... содействие... Но чем я могу быть полезен?

– Среди других моих научных наблюдений... мы... – она подыскивает слова, – мне поручено, между прочим...

Натянутая струна тонко звучит, каждую секунду готова лопнуть...

– ...в данный момент мне необходимо собрать данные и наблюдения метеорологических станций, такие данные, которые не укладываются в обычные цифровые отчеты... Между прочим, меня чрезвычайно интересует вопрос: производятся ли у вас глубоко почвенные термические измерения? Ведь у вас тут рудники и метеорологическая станция?

Официальное выражение понемногу сползает с его лица, глазки сделались маленькими и глядят щелочками.

«Кончено!..» – бьет молотом... Застывшая темная ночь, длинный арестантский халат, поникшая голова, усталые печальные глаза... «Кончено!..» Она опускает ресницы.

В комнате дрожит смех, раскатистый, веселый.

– А не боитесь вы ездить одна? А?

– Чего же бояться?

– Н-но... Все-таки... Нда-а. Пойдемте-ка чай

ПИТЬ.

Он подымается, ловко щелкает каблуками и пропускает ее вперед. Она идет, как сомнамбула, среди мертвого холодного тумана... «Ручка земле предалась... земле, земле предалась... почернела... рассыпалась...» Ночь и усталые печальные глаза... А на губах улыбка, в глазах звезды, и на щеках играет румянец...

– Я вам должен откровенно сказать: в метеорологии смыслу столько же, сколько сазан в Библии... Хе-хе-хе!..

– Но позвольте, у вас же метеорологическая станция, и вы заведуете ею.

– Вот то-то, что не заведу, а заведует тут политический каторжанин... вечный.

Она смотрит на него широко раскрытыми глазами, как будто слово «вечный» слышит впервые и впервые понимает весь ужас его.

– Два раза в день, утром и вечером, под конвоем его водят в будку тут в десяти шагах. Так вечно и будет ходить, десять, двадцать лет...

Десять, двадцать, тридцать лет – ночь, поникшая голова, усталые глаза, фонарь...

Ей трудно дышать, но по-прежнему улыбка

ка на губах и играет румянец.

– Его превосходительство господин губернатор также в том ученом обществе?

– Как же. Подпись его вы же видели. Он – почетный член.

– А не знавали ли вы чиновника особых поручений при губернаторе, Арсеньева?

– Да, знакома... На вечерах танцевали вместе... Отлично танцует.

– Он, изволите ли видеть, сватался за племянницу моей свояченицы... С положением человек...

Они степенно и мирно беседуют об общих знакомых, о фаворитах губернаторши, и надо пить чай с печеньями, которые тут – роскошь, и нельзя сказать, нельзя напомнить о том, что наполняет все существо. Надо предоставить события естественному течению.

– Вы когда же думаете обратно?

– Сегодня же думаю... От вас зависит, как дадите нужные сведения. Я еще хотела спросить, не делаются ли у вас геологические изыскания при прохождении рудников...

– Но я, ей-богу же, ничего не понимаю... – взмолился полковник, подымая плечи. – Да

вот я сейчас прикажу привести арестанта, заведующего... Эй, кто там?

Он похлопал в ладоши. Вошел надзиратель.

– Распорядитесь, чтоб привели номер тринадцатый... да с усиленным конвоем, – кинул он вдогонку.

Комната, окна, стены, самовар, стол куда-то далеко отодвинулись, сделались маленькими и неясными; о чем-то говорили, и голоса ее и его доносились издалека, слабые и тонкие. Надо было крепко сидеть и делать целесообразные движения, и нужно было продолжать говорить и впопад отвечать, и это странное состояние отделенности, отодвинутости от вещей, от реальной обстановки тянулось медленно и страшно.

И вдруг оборвалось стуком сапог и замелькавшими в глаза серыми шинелями.

Все произошло как-то уж очень просто. Сначала шум и топот, потом шесть пар солдатских глаз, шинели, приклады и...

Она не смела поднять глаз, а когда подняла, – в аршине от ее лица изумленно глядело знакомое, обросшее и теперь еще более исху-

далое лицо, чем тогда, ночью.

Но что было самое страшное, это – смертельная белизна, которая стала его покрывать. Побелел лоб, выступили на белизне большие глаза, видно было, как стали белеть заросшие щеки, и тихо, чуть заметно вздрагивали побелевшие губы.

«Упаду!..»

И она чувствовала приторную слабость, охватывавшую ноги, руки и подступавшую к сердцу, тихо и редко бившемуся.

«Упаду, и все кончено!..»

И в смутном тумане прозвучал голос начальника. До нее дошел только зловещий звук слов, без содержания. И только секунду молчания спустя она поняла, что он просто сказал:

– Вот член ученого общества, состоявшего под покровительством высочайших особ, просит дать ей некоторые указания... Садитесь.

Подвинулась по полу табуретка, и по обеим сторонам ее обвисли длинные полы серого халата, а по полу чернели плохо обметенные от снега шесть пар громадных неуклюжих сапог.

Опять несколько секунд молчания.

– Вам позволите чаю?

– Пожалуйста.

Знакомый, невыразимо милый голос. В комнате раздражающе стоит высокое, торопливо-звонкое треньканье. Ах, это носик чайника трепетно бьется о край стакана. Она на минуту отнимает чайник и снова пытается налить, и снова звонкое треньканье. Нет, она не может налить ему.

Она ставит чайник на стол, глядит прямо в лицо и смеется. И он улыбается. И с обоих ра- зом спадает удручающая, давящая тяжесть, и они начинают говорить друг с другом быстро, страстно, совершенно забыв обстановку, опасность быть каждую секунду открытыми. Они говорят о температуре, о давлении, о гигроскопических измерениях, о геологических напластованиях в рудниках, но в этом странном, причудливом, изломанном и непонятном разговоре они говорят о солнце, о счастье, о любви, о свободе, о покинутых, о друзьях, о погибших.

Начальник закуривает папиросу и смотрит на конец своего носа. Чернеют неуклю-

жие сапоги, тупо, как стена, смотрят шесть пар глаз.

Мысль, что *он* – тут, возле, что она говорит с ним, слышит звук его голоса, глядит в его милые, грустно радостные глаза, охватывает ее безумием... Броситься к нему, охватить его, обнять, целовать, гладить дорогое лицо, да ведь это – закон, необходимый, ненарушимый закон мира, нарушение которого – преступление, проклятие, которое ничем никогда не стереть. И она сидит в полуаршине от него и говорит:

– Но ведь рудники прорезают же водоносные пласты?

Какая-то противоестественная сила с уродливой, бессмысленной, отвратительной головой стоит между их молодостью, их страстью, их яркой жизнью, стоит и слепо смотрит на обоих, смотрит неуклюжими, черными, плохо обметенными от снега сапогами.

И в комнате звенит странный, чужой, неуместный женский смех. Это она смеется, смеется неудержимо, нелепо, понимая, что губит последние минуты. Начальник с отвислыми мешками под глазами подымает брови,

как уши у бульдога. Тупо смотрят неуклюжие сапоги.

...Снег сверкает и искрится. Он сверкает и искрится везде: по отлогостям гор, по лощине и изредка падающими брильянтами в воздухе. Сосредоточенно думают бегущие, потряхивающие головами лошади все одну и ту же думу, и визжат скрипучими голосами все одну и ту же песню быстро скользящие полозья, песню о смерти, о железе, о радости жизни, о любви, о тихом сверкании моря, о железном порядке мира, в котором всему свое место. И розы кровавеют по ослепительной белизне гор.

Пески*

I

Он был стар, так же стар, как мельница, у которой крыша съехала на сторону и расстрепанно нахлобучилась почернелой соломой.

Не мелькала белая пена, не неслась с шумом и грохотом вода, а чуть сверкала тоненькая жилка в желобе, стоявшем над землей на столбиках, и лениво, задумчиво-медленно поворачивалось старое, ослизлое, почернелое колесо, набирая, как в чашки, в медленно подставляющиеся коробки сонно журчащую воду, боясь уронить лишнюю каплю драгоценной влаги, так скупно просачивающейся у подножия песчаного бугра, пробивавшегося желтизной сквозь зелень тополей и ветел.

Он был стар и, прикрыв ладонью глаза, слезящиеся красными веками, глядел на тихое, сонное сверкание, внимательно ища, не каплет ли где. Но белый с нежно пробивающейся травкой песок под желобом был девственно чист и сух, и взапуски бегали с огромными бревнами муравьи.

Сквозь дремотную тишину, сквозь листву склонившихся ветел слабо звенела выливающаяся вода.

Ее тихий звон, не умирающий ни днем, ни ночью, дремотно пропитывал прозрачный, светлеющий сонной улыбкой воздух, полный запахов чабера, медвяных трав, сухого горячего песку.

Звенела, качаясь в тени столбиками, мошкара. И иногда казалось, звенит сама тишина, звенят горячие полуденные краски, белизна лепестков, голубые вкрапленные пятнышки незабудок, густая листва.

И чтоб не нарушать эту звенящую тишину, даже голубей не было, и их шумные ватаги не носились сизой сверкающей толпой.

Помольщиков бывало мало. Стоит, подняв оглобли к голубевшему сквозь ветви небу, воз, в тени его храпит корявый мужичонка. Лошадь, распряженная, покачивается, преодолевая дремоту, и в углах полузакрытых глаз сосут хоботками нетревожимые мухи.

Старик идет высокий, немного погнувшийся, с косичками кругом голого в точечках черепа, с белой бородой не то от муки, не то

от старости.

В амбаре не грохочут жернова, не стучат наперебой деревянные кулаки, а тихонько, по-стариковски шуршит единственный камень, и скупое, едва заметной струйкой сыплется мука. Посыплется, посыплется и задумается, и в напрасном ожидании стоит разинутый короб. Сонно и тихо садится мучная пыль, и снова, белея и дрожа, колеблется тоненькая жалкая струйка.

Один мешок мелют по неделе, и редко кто заглядывает на мельницу. Да и дороги сюда плохи – по лесу торчат пни, коряги, корни и сваленные деревья да валежник громоздится.

Старик подходит к возу, скребёт высохший, сияющий, как и всё здесь, череп и говорит:

– Спишь?.. Ну, спи, спи...

Мужичонка храпит. Лошадь подымает веки, от которых немного сторонятся мухи, глядит, моргая добрыми влажными глазами, и начинает жевать вяло и сонно, и опять задремывает, покачиваясь с торчащим в губах клоком.

Старик похаживает.

На мельнице нечего делать. Казалось, с незапамятных времен сама собою звенит вода, само собою медленно, тихо, лениво вращается обомшелое колесо, сами собою пестреют и пахнут цветы, зеленеют ветлы, желтеют надвинувшиеся пески. Разве когда соберется старый, возьмет востроносый молоток и, полегоньку тюкая, станет наковывать стершийся жернов.

Не любил дед уходить с мельницы, потому что до большой реки тянулся лес, перепутанный хмелем, заваленный свалившимися деревьями, хмурый и нелюдимый.

Но в ту сторону, где было светло и просторно, где желтели пески, дед часто выходил. Выберется на песчаный бугор, сядет, подставит голую голову горячему солнцу и сидит. У ног – короткая полуденная тень, а вдаль – нескончаемо и необозримо, сколько глаз хватает, пески.

Ветра нет, воздух неподвижен, прозрачен и чист, но песок звучит странным, едва уловимым звуком, заунывно и грустно. Зыбучий и тонкий, он даже при безветрии сыплется с перегнувшихся гребней и звучит.

Смотрит старик, и на самом горизонте мреет желтое сверкание. Люди живут, как за морем, за раскинувшимися песчаными пространствами.

А ведь еще на дедовой памяти версты за четыре стоял хутор, подымались к небу журавли колодезей, зеленели сады, тянулся лее с полянами, с серебряными лесными озерами. На полянах косили сочную траву, в озерах ставили мережи.

Размяк старик под солнышком, сидит. Знойно волнуется марево, призрачно струится горячий горизонт, неувовимо тает.

Старик зевает, крестит заросший косматый рот.

II

Среди усыпительного звона воды, среди тишины, дремотно превозмогающей себя, однажды прозвучал живой, веселый, звонкий голос.

Старик всегда рано вставал и сегодня поднялся, чуть еще тронулись по пескам розоватые отблески. Обошел мельницу, посидел на бугре, сварил в печурке под старой вербой кулеш и стоял, не то о чем-то думая, не то вспо-

миная, под тепло пригревающим сквозь ветви солнцем.

И тогда донесся этот голос, звонкий женский голос. Старик приложил козырьком руку к глазам и повернулся к лесу.

Из лесу криво выползала черная, корявая от давно засохшей грязи дорога, и корни изуродованно торчали по ней, но никого не было. А из-за деревьев опять донеслось звонко и весело:

– Но, нно-о... заснул...

Скрипели колеса, фыркала лошадь.

В просвете кустов двигалось живое рыжее, и возле мелькало белое. На повороте выставилась кланяющаяся в дуге лошадиная голова, оглобли, покачивающаяся, прыгающая всеми колесами по корням повозка, а сзади, осторожно ступая по колким ссохшимся комьям босыми ногами, шла девка с кнутом.

Она была крепкая, рябая, с веселыми глазами, и белый платочек сбился на шею.

– Здорово, дедушка!

– Доброго здоровья, касатка.

– Вот помели-ка нам пшенички,

– Ну-к что ж.

Девка взялась за углы мешка, как за уши, но дед, вдруг приосанившись, отстранил ее:

– Куды... надорвешься еще.

Она навалила ему на спину, и он, согнувшись, держась поверх плечей за мешок и напряженно следя, чтоб не подогнулись дрожавшие ноги, бодро направился к амбару, а сзади подмывающе рассыпался весело-звонкий смех:

– Гляди, переломишься!..

И до того чуждо и неожиданно ворвался этот смех в звенящую тишину и покой, что словно сдунуло ленивую сонливость, и долго еще звучало в листве, под свесившейся крышей, за ветлами у желтеющих песков, и радостно смеялись золотистые, узорчато-сквозившие, солнечные, чуть шевелящиеся по песку пятна.

– Ты откеда же, касатка? – говорил дед, засыпав пшеницу и опять подходя к повозке.

А она весело и проворно разнуздывала лошадь.

– Где бы у тебя лошадь напоить? Вишь, воды-то у тебя – куры всю выпили.

И, опять нарушая привычный строй, ярко

затрепетал смех. Она выплеснула остатки воды из ведра. С добрых мягких пожевывающих губ лошади капали капли.

Старик подвигал бровями.

– Босоногая.

И опять непривычно звонко раздалось под ветлами:

– Ну да, а то как же! Вон по лесу шла, чисто все ноги исколола. За двадцать-то пять целковых в год не дюже наобуваешься. С Шевырина хутора я, у Ивана Постного батрачкой.

– Лиходей.

– Там уже лиходей!

– Проценщик.

– С голоду всех рабочих поморил.

– То-то ты с голодухи раздобрела. – И дед весело хлопнул ее по крутой и крепкой спине.

А она уже забралась в повозку и сворачивала лошадь, дергая вожжой.

– Что же так... не погостевала.

– Заругают, там озорные, ироды. Когда смелешь-то?

– Экая, и погладить не далась!.. Приезжай, что ль, к празднику, смелю...

А уже колеса скрипели в лесу, и из чащи раздавался звонкий голос:

– Нн-о, идол, куда лезешь? Опять на корягу!

И потом донеслось:

– Дедушка, а дедушка, как бы мне Сучий ерик объехать? Кабы не завязнуть опять...

Долго ходил без толку старик, останавливался и все тер лысину, стараясь что-то припомнить.

– А?.. Ишь ты!

Звенела вода, звенели полуденные краски, звенела привычная дремотно-сонная тишина, а дед мичего не слышал, и все одно стояло перед глазами.

Вышел на бугор, но пески не радовали, неподвижно лежали разморенные, и неуловимой дрожью струился зной.

А ночью кто-то не давал спать. Выйдет дед из избы, темно, только синеватые точки светлячков. Из лесу укает выпь, да вдруг заплачет жалобно филин, тоненько и всхлипывая, как плачут маленькие обиженные дети.

– А?.. Ишь ты!

Звенит вода, звенит вода и наполняет тем-

ное и неподвижное молчание чем-то иным, полным иного значения, смысла, и дед не может разобраться, скребет лысину:

– А?.. Скажи на милость!..

Он идет в избу, ложится, засыпает, но кто-то, чуткий и беспокойный, снова будит, и он опять выходит.

Все то же, и над песками стоит молчание и тьма. Но для старика неожиданно чуждо это молчание, и недвижимая, сухая, горячая темнота уже не полна тусклыми расплывчатыми или ясными и отчетливыми перед самыми глазами подробностями былого, – спящими хуторами, звонкими песнями девок, драками и пьянством парней, надрывающей работой, праздниками, – тихо, пусто, глухо, и старик широко смотрит не видящими в темноте очами, и вдруг... видит, видит угрюмую пустоту и молчание. Видит и понимает беспокойство ожидания, чтоб звонко раздался веселый крик, затрепетал яркий смех и наполнил бы пустоту и молчание одиночества.

– Искушение, прости господи!.. – и угрюмо плетется в избу, долго ворочается на соломе, пока не начинают отчетливее проступать ве-

точки и листья и смутно-неясные очертания нахохлившейся крыши.

III

К празднику приехала девка.

Опять в солнечный, сквозящий между ветвями день послышался скрип колес в лесу и звонкий голос. Он странно и резко нарушил лесную тишину, и старик весело подвигал бровями:

– Приехала... ишь ты!..

– А я, дедушка, насилу вылезла, опять, идол, в трясину врюхался... – И на повороте добродушно помахивает добрая рыжая лошадиная морда, и над повозкой белеет платочек. – Смолол, что ли?

– Смолол, смолол... Слезай, напой лошадку, погостуй.

Лошадь пьет, задумчиво роняя чистые капли. Иволга недалеко в лесу, как на флейте, выделяет хитрую фиоритуру.

– Ну, что же, распрягу. Пущай Рыжик отдохнет, да и я истомилась, парко.

Он глядит на черный загар исхудавших, втянувшихся щек, на потемневшие, сделавшиеся большими от синевы вокруг глаза.

– Подалась ты, касатка.

– Заездили, проклятые, вот до чего, мочи нету!.. Ни днем, ни ночью покою не знаешь... Хоть бы кормили как следует, – все впроголодь... Эту неделю на косовице чисто руки отвалились. А воротишься домой, стряпать на всю артель...

Но голос у нее по-прежнему звонкий и веселый и живые глаза на рябом исхудалом лице, как будто она рассказывает не о непосильном, изнуряющем труде, а о чем-то веселом и радостном.

Старик вытаскивает и ставит позеленевший самовар. Самовар ставится раза три, четыре в год, по самым торжественным случаям.

Они сидят под старой ветлой. Гостеприимно и ласково шумит труба. Чуть шевелятся солнечные пятна. Гостья пьет девятую чашку, вытирает льющийся по покрасневшемуся лицу пот, опрокидывает вверх дном и кладет сверху огрызок сахару. Но старик неотступно упрасивает, и она снова наливает, и снова льется пот по красному распаренному лицу.

– Так-тося, касатка, скажем, у иных-прот-

чих плотины рвет, а то и мельницы сносит, а у меня стоит, как у Христа за пазухой. Бежит себе вода по желобку тихим манером, хочь тебе весна, хочь лето, хочь зима, все одно, потому вода родниковая, одинаково не боится там суши али морозов. Ну, в год мало-мало, бедно-бедно, а мер сто заработает, а то и полтора ста, вот как перед господом. Что ж мне: сыт, одет, обут.

– Да, это действительно очень даже хорошо, ежели она рвать не может, потому и плотины у вас нет никакой, – и она громко откусывает сахар, – ну, только скучно у вас тут, песок да лес и боле ничего, человека не увидишь.

– Как скучно? По какому случаю скука? – Старик заволновался и высоко поднял седые изломанные брови. – Какая скука, ежели при деньгах... С деньгами, милая, не скучно, с деньгами, милая, везде весело. И помольщики завсегда бывают, – не тот, так другой придет. Приедут и все расскажут и про деревню, а то и в городе, как дела идут, все тебе выложат, как на ладонке.

– У моего дяденьки на речке мельница сто-

яла, так энто!..

– Скучно!.. Нет, вот скучно, как брюхо пустое, скучно, как живот подведет с голодухи... Вот погляжу я, ни в тебе, ни на тебе, ноги все полопались...

– А то не полопаются! Аж кровь... И по отаве, и по лесу, и по грязи – все босиком.

– Какой такой есть человек, ежели у него за душой ломаного гроша нет. А? А много ли ты зарабатываешь батрачкой... И век свой нищенкой проживешь... Не правда, что ль?.. Кто тебя замуж возьмет...

С ней в первый раз так говорили. Тихая ласковость солнечного дня и узорно-кружевные, тихо шевелящиеся по песку и траве тени, покойная задумчивость, и смутный звон воды, и участливые дедовы слова – все ласково заглядывало в душу.

Она вздохнула, широко вытерла потное лицо и в последний раз решительно опрокинула чашку.

– Спасибо, дедушка.

И вдруг засмеялась:

– Эй, живи, не робей, хлеба нет, до звезды говей, рубашка черна, вывори, носи!.. Ну,

прощай, дедушка, надо ехать, и так заругают. Сбрешу, скажу, не успел смолоть, так дожидалась.

И когда она по-мужски уперлась ногой в хомут, заматывая супонь, дед подошел и, придерживаясь рукой за дугу, проговорил:

– А?.. Что я скажу тебе!.. Девка ты добрая, покорливая, выходи ты за меня замуж.

Стало тихо. Звенела вода. Два светлые, два огромные глаза глядели на него.

– Ты подумай, – торопливо и волнуясь, старался дед, – ты подумай, что ты есть? А?.. А сколько моего веку осталось, а?.. С твое уж не жить мне, а помру – все твое, мельница вся, вот как есть, духовное сделаю, будешь барыня, помещица...

А она все глядела на него круглыми глазами и вдруг расхохоталась звонко и подмывающе.

И все время, пока скрипели колеса, слышно было, как кто-то покатывался со смеху в лесу, пока смолкло. Потом далеко, далеко из-за деревьев, из-за ветвей, из-за листвы долетела песня. Пел одинокий женский голос то грустно и смутно, то задорно и весело. И когда

терялся в лесной гуще, снова звенела вода, снова задумчиво-ленивая тишина, снова безмолвно-звучащие краски цветов, листьев, колеблющихся насекомых, и опять доплывает смутный, ослабленный одинокий и зовущий голос женщины.

Целый день слонялся дед и тер лысину,
– А?.. Скажи на милость!..

IV

Каждый раз, когда она приезжала с пшеницей или за мукой, были одни и те же речи: «Дура, своего счастья не видишь... мельница не грошик, каждый день зарабатывает, каждый день кормит... все – твое... моего веку недолго хватит, год, два, а там сама себе госпожа, упустишь – будешь локти кусать...»

Она смеялась или сердилась, потом перестала смеяться и слушала. А раз сказала:

– Ин быть по-твоему. Что уж... пойду за тебя... Только духовное перед венцом непременно сделай...

Но когда был мужем, заломила руки, стиснула зубы и с отвращением закрыла глаза.

– Гнилой... землей от тебя воняет, – злобно блестя глазами, бросала она.

– Ну-к что ж... Глаза-то у тебя не на затылке были, как сватался...

Она целиком ушла в хозяйство, жадно отдаваясь прелести новизны иметь свое, распоряжаться своим. Завела птицу, купила двух поросят. Подняла страшный бунт с дедом, чтоб перекрыл мельницу. И как тот ни отбивался, а вынужден был покрыть новой соломой, и мельница кокетливо и весело желтела на солнце новой крышей.

Мельница вдруг раздвинулась до огромных размеров, и тихо ворочалось колесо, и стояла она одна, заслонив чернотой своего силуэта лес, пески, прошлую жизнь.

Утром, когда открывала глаза и из росистого леса неслись наперебой тысячи птичьих голосов, первое, что бросалось, это – новая, отливающая на солнце крыша. И когда засыпала, последними смутно расплывающимися очертаниями темно тонуло медленное колесо.

Переменилось у деда.

Лениво-дремотная тишина заполнилась новыми, суетливо-молодыми хозяйственными звуками. Клокотали куры, визжали под-

растающие поросята, звонко ругалась молодайка с помольщиками.

Она целиком была поглощена налаживающимся хозяйством, боясь упустить лишний день, лишнюю минуту. И дни, суетливые, полные заботы, шли одинаковые, похожие друг на друга, так же медленно и неотвратимо, как неотвратимо медленно ворочалось старое колесо.

V

Заскучал поредевший лес, и далеко сквозят облетевшие деревья. Все полиняло, потемнело, точно пришел кто-то одинокий в темную, скучную, покрапывающую ночь, стер яркие краски и звуки, и с тех пор ждет чего-то холодное, неприветливо-прислушивающееся молчание.

Дни короткие, и хозяйка, торопливо мелькая спицами, все время сидит у окна и вяжет чулки на зиму. А в окно тупо глядит темный силуэт мельницы.

Нескончаемо сбегают со сверкающих спиц проворные петли, нескончаемо теряясь, бегут мысли, и тихонько, как монотонное журчание, льется грустная песня, поющая не о том,

о чем говорят слова...

– Ой, да-а-а де-е-вонь-ка-а... де-е-вонь-ка-а!.. – выговаривают губы.

«...а на правой на рученьке родимое да пятнышко... – поет сердце, – родимое да пятнышко... а волосики светлые, как лен-ленок, и назовет его поп-батюшка Ванюшкой...»

– ...отда-а-а-ва-а-ли дев-ку-у за неми-и-ла-а дру-уж-ка-а...

«...и протянет Ванюшечка рученьки к мамушке... обовьет его мамушка...»

– ...за неми-и-л-а дру-жка-а да за ст-а-ра де-е-да-а...

«...мамунюшка!.. батюнюшка!.. засмеется мамунюшка, засмеется батюнюшка, батюнюшка, кудрявый муж-муженек...»

И звенят слезы, и блестят счастливые глаза, а за стеной ходит дед и резонится с попольщиком:

– Я те сказывал, к субботе, к субботе бы и приезжал... Ежели воды ее нету, ну нету, могу я ее родить?..

А за окном бьется тоской и жалобой, тихой, звенящей слезами мечтой о счастье, о кудрявом молодом муже, о мальчике Ваню-

ше, протягивающем пухлые ручонки, о крохотной дочке, в косу которой вплетает красную ленту, и бегут слова песни, и бегут с тонко сверкающих, как вода, спиц торопливые петли.

Зимою, когда серебрился лес и искрились пески, по ночам приходили волки и выли жалобно и подолгу. Тихонько журчала вода под тонкой ледяной корочкой. А иногда начинал падать снег большими тяжелыми хлопьями и кружился, и ветер выл в трубе и под окнами. Тогда рано ложились, и ни о чем не хотелось думать и мечтать...

Но вместе с весной опять приходила тоска по милом, кудрявом, далеком, неизвестном, по Ванюше, по маленькой девочке с красной лентой в косичке.

VI

Короток и чуток стариковский сон.

Проснется, послушает: тихо дышит молодая жена, тихо дышит лесная глушь. Опять заснет, и опять кто-то: «Старик, а старик!..» Снова подымет, выйдет: звенит вода, молчат деревья, кто-то ворочается черно, неуклюже, огромным клубком.

И он боязливо и подозрительно присматривается к помольщикам, которые остаются ночевать.

– Миляга, ты бы ехал домой... дома-то сподручней. А ночевать... Вишь, у меня и сена нету. А то волки заглянут, как раз зарежут лошадь. Без сарая-то, вишь, поставить некуда...

В лунные ночи старик почти совсем не спит. Проснется, – тихо, не слышно дыхания. Выйдет из избы.

Между ветвями струится белый раздробленный свет, сквозь неверными голубоватыми пятнами. Призрачно глядят облитые цветы. Листва – странно белая, и от мельницы сплошь густая горбатая тень. В желобе вспыхивают фосфорические блески, и медленно и мрачно, покрытое тенью, чудовищно ворочается колесо.

Звенит вода, звенит призрачным голубовато-прозрачным звоном. И старик, как колдун, ходит в заколдованном царстве.

– И скажи на милость, куда делась? А?

Пески узко и воровски желтеют по лесу тонкими, неподвижно пробирающимися языками. Но и самая неподвижность их таит

неотвратимое постоянное движение вглубь, в самое сердце насторожившегося, чутко и бо-язливо примолкшего леса.

Заглядывает во все укромные уголки, в амбар, между тополями: везде одинаково перепутаны пятна света и тени, везде молчаливо и пусто.

Выбирается. Деревья редуют. Песок все гуще скрипит под ногами, и открывается смутно-неясный простор, полный неуловимой мертвой жизни.

На бугре в лунном свете склонившаяся женская фигура.

Старик останавливается, наклоняет голову. В чутко зыблющемся голубоватом сиянии загадочный далекий и тут же звучащий голос:

– Под Ивана Купала девки венки по воде пускают... в четвертом годе я плела, а он потонул... А в Шевырине ноне ярмарка... парни косяками табунятся, а девки семечки лузгают, орехи грызут... То-то смеху... возьмутся за руки... а вечером представление...

Зыбится голубоватое сияние, и на краю роятся и пропадают неуловимые марева;

– ...Обезьяна даже, то-то смеху, чисто человек. А вечером на деревне хоровод... далеко слышно...

Молчание, и не разберешь, долго ли, коротко. И в него крикливо врывается злой бабий голос:

– Сдохнешь, ни дня тут не останусь. Продам али посажу арендателя – и ффью!..

Она свистит грубо, по-мужски, и на старика блестят серые злые глаза.

Старик двигает заросшим волосатым ртом. Он подался, постарел. Не слышит или пропускает мимо ушей ее слова и шамшит, двигая волосами вокруг рта и глядя слезящимися глазами на пески.

– Да-а... все занесло... а тоже весело, как молодой был... Наш хутор вон за энтим бугром стоял, а за хутором сад, а за садом поле... Соберем, бывало, за садом, водки наберем, пряников, девок сберем, тоже хороводы водили. А у отца лошади были – звери. Заложим лошадей, девок по хутору катаем. А за энтими кучугурами озеро было, большое лесное озеро было, све-етлое... Острогой хорошо рыбу били... по осени...

Долго шевелит круглым волосатым ртом.

– Богато жили, ста три овец, рогатого скота водили, а бабы на шее серебряные монеты носили.

И он все шевелит и шамкает круглым волосатым ртом.

Зыбится голубоватое сияние, рождаются, тают марева, бродят отары овец, блестят лесные озера, звякают на шее у баб целковики, белеют хаты, и крыши мерещатся на смутно неясном небе...

Нет, это – песчаные бугры, и бело под лунным светом.

Тополя темнеют, остро протянувшиеся и неподвижные.

Нет, это узко протянулись тени от бугров, длинные и мертвые.

Она кладет голову на руки, ставит локти на колени и тоже глядит, вытянув шею, и видит за краем, где маячат марева, видит ярмарку в Щевырине, смех, шутки... жаркая ласка... крепко и грубо обнимающие руки... кудрявая голова...

Ее голос, чужой и далекий, звучит возле:

– Как кладбище... Ни-ичего тебе!.. Все бы-

до!..

VII

Казалось, все было недавно: недавно скрипели в лесу колеса, недавно плыла по лесу женская песня, недавно...

Но иногда старик говорил, гулко стуча ногой по дереву:

– Во... и это надо срубить!..

И тогда она широко глядела испуганными глазами: безлистные ветки сухо и серо рисовались, бесплодные, по голубому небу, и обнаженные корни обломанно торчали из рассыпчатого песка.

А когда вышла за старика, часто сиживала тут в густой тени, и сочные листья шептались над ней, сиживала на мягкой шелковисто-зеленевшей траве. И вставал ужас уходящего времени.

Уже много таких деревьев с тех пор порубили, и все больше редел лес. Песок незримо, но неустанно и неотвратимо вползал. Он невинно пробирался тоненькими незаметными извилинами и язычками, пробирался между кустами, между корнями, меж трав и цветов, глядь, а уже посохли корни, поникли

цветы, пропала трава, улетели птицы, и печально стоят обнаженные деревья.

И опять – забывались, уходили в тень живых деревьев, лежали на зеленеющей траве, в листве гомозились и шныряли неугомонные птицы, уходили годы.

Иногда хозяйке казалось: дед умрет через день, через неделю, много – через месяц. И она чутко прислушивалась к его дыханию, приглядывалась к замедленным движениям, к трясущейся голове, рукам.

А крыша понемногу темнела, солома взъерошилась и стала обвисать. Только вода звенела по-прежнему тихим, задумчивым, дремотно-ленивым звоном.

И все когда-то новые, неожиданно и весело ворвавшиеся хозяйственные звуки – куриный разговор, гоготанье гусей, хрюканье, звонкий голос молодой хозяйки, – все потускнело, понемногу всосалось, растворилось в лениво-дремотном, неумирающем звоне.

Как будто не было ни людей, ни животных, ни суеты, ни забот, а, не мигая, глядела одна мельница почернелой нахохлившейся соломой, ворочалось колесо да тихо звенела

вода.

VIII

Как бы напоминая, что время уходит бесплодно и без возврата, приходили мутные дни без солнца, без красок, без линий.

Все погасало, контуры тонули, и до самого неба вставали крутившиеся пески. Полные отчаяния, ходили они косыми столбами, за-слоняя воздух, солнце, синие дали.

И казалось, уже не будет веселого дня, радости, смеха, звонких молодых голосов. В мутном колебании – неотвратимое, слепое уныние.

Угрюмо ползет тоска.

Мельница, люди, ветлы, хозяйство кажутся маленькими, ничтожными.

В такие дни хозяйка злобно и тоскливо кричит:

– Что ты?.. Ну, куда ты?.. Разве от тебя что будет! С тобой хочь век лежи, ничего не належишь... Хочь приведи мне мужика, да чтобы дети были... старый черт!

Он растерянно огрызается, моргает и улыбается.

– Ты ничего... ты... этта... ты погоду трош-

ки... Оно может еще...

Поднимает брови, ласкает трясущимися руками, а она опять слышит земляной гнилой запах старости.

– У-у, ты, старый кобель, будь ты проклят, вонючий черт, чтоб ты издох... не околеет древесина старая...

Она бьется в судорожных безнадежных рыданиях. Старик жалко и растерянно топчется. Потом насупливает седые брови и говорит скрипучим голосом:

– Я те уважил, а ты что?.. Что ты была? А?.. Сколько моего веку осталось? Все твое... А теперь я вот порву завещание, вот тебе... Издыхай с голоду!..

– И издохну... и не нужна мне твоя мельница, уйду!..

Рыдания глуше, тише.

А утром из-за улегшихся песков опять покойно встает солнце и глядит длинными золотыми тенями, и тихонько гогочут гуси, и угрюмо, сосредоточенно ворочается черное колесо, глядит мельница постоянным, все одним и тем же таящим, остановившимся взглядом.

IX

Словно далекое воспоминание, по лесу трепещут молодые здоровые голоса, смех, шутки.

На повороте выворачивается одна подвода, за ней другая, возле идут парень и девка.

Они смеются, толкают друг друга, лица сверкают весело и радостно. Как будто нет почернулой мельницы, нет засыхающего леса, нет старых мужей, тоски, безнадежного ожидания. В каждом движении, в незначительном слове, непрерывно сверкающем беспричинном смехе, который неудержимо все заполняет кругом, они делают дело молодости, особенное дело рвущейся беспричинной радости.

Хозяйка смотрит хмуро и недружелюбно,

– Ну, будет вам жёребиться-то!

– А тебе, старая сукновалка, завидно?

Лицо багровеет, как от удара кнутом, и крики и брань визгливо и злобно разносятся по лесу:

– Бездельники, шаландаются тут... хи-хи-хи да ха-ха-ха... вас за делом послали, а вы жёнихаетесь... места не нашли... вот не велю мо-

лоть пшеницу, поедете не солоно хлебавши, хозяева-то не поблагодарят...

Но крики, визг и брань не заглушают холода и ужаса поднявшейся тоски.

«Старая... старая... старая!..»

В этот день все валилось из рук, и старику прохода не было от ругани.

«Старая!»

«Да, да, старая...»

И она прислушивалась к своему погрубевшему голосу. И она чувствовала свое отяжелевшее тело. И это же говорило маленькое зеркальце.

Медленно, день за днем, морщина за морщиной, седой волос за седым и... старость, нет молодости, нет счастья, ласки, нет детского крика...

– О-о-о-о!..

Она выла, била посуду, бросала в деда горшки. Потом притихла и глядела на него не моргнув.

– Али ошалела?

Не моргнув бровью, не шевельнув мускулом, глядела она. А он ходил, добрый, старый, с трясущейся головой, как ходят люди, стоя-

щие одной ногой в могиле. Но ведь он такой, сколько она его помнит,

Это было трудно, это было сначала мучительно трудно и страшно. У нее тряслись руки, рассыпалось и ничего не выходило.

Но когда в первый раз дед выпил, ничего не замечая, она было бросилась к нему с оставившимися от ужаса глазами и, дергая, заплетающимся языком шептала:

– Выплюнь, выплюнь...

Потом привыкла и аккуратно подсыпала каждый день.

Старик хирел, еле таскал ноги, но скрипел, как старое дерево, и тянулось время.

Умер он неожиданно.

Х

Когда на вечерней заре порозовели пески, хозяйка стала звать мужа вечерять.

– Старик, а старик?

Голос ее глотало тяжелое, спокойное молчание. Даже в лесу с отдаленно багровевшими верхушками не отзывалось обычное эхо:

– Ста-арик!

Звенит вода...

Хозяйка заглянула в амбары, в избу, выпу-

стила насадку с цыплятами, подперла дверь, чтобы не лезли свиньи, и прошла к бугру, — старик лежал спиной кверху, уткнувшись седой бородой и запустив старческие костлявые пальцы в золотистый рассыпчатый песок.

Заголосила во весь голос, и причитания крикливо бились над мертвецом, но уже в нескольких шагах над тяжелыми, неподвижно-мертвыми песками стояло молчание.

— Да на кого ты меня спокидаешь!.. Да родименький ты мой!.. Да кормилец ты мой ненаглядный... Да куда же я теперь, сиротиношка!..

И над лежавшим, с видневшейся из-под шеи седой бородой и голым похолодевшим черепом, склонялась и припадала женщина, с выбивавшимися седыми косичками, с обрюзглым, в морщинах и слезах лицом, охваченная тоской и жалостью к человеку, с которым сжилась и привыкла.

XI

Казалось, ничто не изменилось. Медлительно-задумчиво, занятое только своим, вращалось черное мокрое колесо, с тонким журчанием звеняще сливалась вода, и мерт-

во, ничего не обещая, глядела мельница, нахохлившись почернелой соломой.

Когда старуха вернулась с годовой заупокойной панихиды, села на набившийся у стены песок и всплакнула. Но плакала не о старике, а вдруг вспомнила, как скучно, незаметно прошла жизнь, скоро и ей помирать, и радости она не видала. Да и к старику в конце концов привыкла, и было теперь пусто и одиноко в поредевшем сухостойном лесу.

Мельница по-прежнему глядела на нее слепо, тяжело, не спуская мертвого глаза. А жить надо, надо вставать утром, возиться, кормить птицу, засыпать в жернов, резониться с помольщиками.

Искала арендатора, но никто не шел в глушь, да и ее уже не тянуло в Шевырино, на ярмарку, в балаган на представление. Хороводы там водили девки, которых она не знала и которые еще не родились, когда она сама была девкой.

Наняла работника.

Он пришел, угрюмый, в плохой одежде и глядел исподлобья. Спал в амбаре над день и ночь жужжащим жерновом, а когда пришла

осень, перебрался в теплые сени избы. Хозяйка держала его в строгости, и он работал не покладая рук, сумрачный, молчаливый, никогда не подымающий глаз.

Только раз поднял глаза и сказал:

– Хозяйка, давай расчет.

– А что?

– Пойду я.

– Да куда ж ты пойдешь?

– Пойду, надоть места поискать, может, в городе... может, заработаю да в деревню, – и, отвернувшись, глядел на заворачивавшую в лес корявую дорогу.

– Ванюша, – проговорила хозяйка, и в голове ее дрогнула нежность; прежде она всегда кричала на него: «Ванька», – Ванюшка, куда же ты уходишь, али плохо у меня?

– Плохо не плохо, а уйду.

– А ты останься, я те жалованья набавлю.

– Надоело.

Ночью она к нему пришла, но он ругался скверно и цинично и прогнал.

– Сволочь... старая коряга... Пойди ты к...

А она кормила его сладко, одела, заботилась. Всегда у него была водка, и он куражил-

ся над старухой. Потом остепенился, стал с ней жить, но она не отдала мельницы по запродажной, как обещала, а только сделала на него духовное.

Он сразу почувствовал себя хозяином, и черное, мрачное колесо запестрело, мелькая свежетесаными заплатами. И снова весело и обновленно глядела крыша золотистой, ровно подстриженной соломой.

XII

Из-за ветел, сквозь листву и кусты шиповника неслись ухарские пьяные вскрики, звон, хохот и песни.

– Гой... Вью!.. Жги!.. Говори!..

Несся тяжелый топот кованых сапог и крикливые бабьи взвизги, и странно и нестройно вязалось пьяное веселье с узорчато-колышущимися по траве задумчивыми пятнами, с шепотом чуть колеблющего верхушками леса.

Но когда тишина на минуту перехватывала пьяный гам, слышно было, как звенела вода, и мутно, не спуская тяжелого взгляда, смотрела мельница, и медленно ворочалось колесо.

Снова вскрики, смех, шуточная брань, заплетающиеся песни, тяжело и неровно выбиваемый топот гасили тишину, звенящие краски и нагло, растрепанно и пьяно царили среди задумчивости лесного покоя.

С узенькими сияющими щелочками, с потным, счастливо-красным, неудержимо разъезжающимся лицом, с выбившимися из-под повойника седыми косичками, хозяйка, сидя перед разостланной под вербой скатертью с закусками и держа сверкающую колеблющейся водкой рюмку, выводила пронзительно-высоким, как надрывающаяся от визгу свинья, голосом:

*И пи-ить бу-дем
И гу-улять бу-дем..*

– ...И гу-улять бу-дем!.. – глухо, точно из-под земли, безнадежно крутя потной, растрепанной, пьяной головой, поддавал сосед.

*...а сме-ерть при-дет,
По-ми-рать бу-удем!.. –*

поддерживает хозяин сосредоточенно и злобно, утаптывая не попадающими куда нужно ногами землю.

– ...Уже до такой степени приставал... до такой степени приставал... – чечоткой трещит, покачивая головой, краснощекая, с наивно-хитрыми бабьими глазами, молодуха. – А я что ж... Я – ничего, я – не гордая... Они эти, которые городские-то, что они!.. Подкрасится, подбелится, еще туда-сюда, а раздень ее, на ней нет ничего...

...по-ми-рать бу-дем...

– Бу-удем!.. – доносится из лесу.

– ...бу-удем!.. – заколачивает тяжело хозяин.

– Угощайтесь, миленькие, угощайтесь, то-то весело, то-то хорошо!.. Милости просим, кушайте... На наш век хватит, дом – полная чаша, мельница-то бесперечь день и ночь работает... Хватит ведь, Ванюшенька, соколик ты мой ясный?

– Очень даже... по-мми-рать бу-удем... – болезненно перекосив рот, с трудом справляется с языком. – Как сдохнешь, старая, перво-наперво сапоги себе юхтовые... А? Кто говорит?.. Потому на меня работает... на хозяина... Работника найму... Хозяин, и больше ни-

чего...

Когда сквозь проходящий угар похмелья снова близко встал лес, мельница, повседневная работа, хозяйка, хмуро и подозрительно озираясь, бросала на ходу:

– Али соскучился по крале по своей? Думаешь, ничего не вижу? Все вижу, изломай тебя!

– Да ты что, с ума спятила...

– Все вижу.

– Тю!.. В лесу живем, как волки, голоса человеческого не слышать...

– Не слышать, а что ты все ходишь да оглядаешься?

– Тьфу ты, будь ты проклята!.. От старости ей уже представляться стало... Что ты меня мучаешь!

Что-то, чего не было прежде, пришло и стало. Подозрительное и неуловимое, оно таилось за деревьями, на мельнице, чудилось в хате, на поляне, в звуке голоса, в самых незначительных словах и выражениях.

И хозяйка говорила, когда садилась обедать;

– Дай-ка мне твой кусок.

– Да я тебе отрезал.

– Ну-к что же, на, возьми мой.

Если парень долго завозится около мельницы или в разговорах с помольщиками, никогда она первая не начинала есть или пить чай.

– Ванюша, ешь, что ли, стынет,

– Зараз, ешь сама.

– Да что я... Ешь ты.

Завязывалась ругань, и по лесу метался визгливый бабий голос, переплетаясь с грубой бранью работника.

По ночам к ней приходил дед. Придет незаметно и беззвучно станет возле в темноте, белая спокойным лицом и бородой. А иногда лежит ничком, уткнувшись бородою и цепко запустив скрюченные пальцы в золотистый песок.

Ей не было страшно, потому что в его фигуре, в его лице не было укора. Совесть ее давно зажила, и он не будил ее.

Но в этом спокойствии, в этой невозмутимости ничего не подозревающего лица стояло: «И с тобой то же!..»

Со стоном скрипела зубами во сне, просы-

палась на заре, вся облитая холодным потом, и глядела, не спуская глаз, глядела с ненавистью на здоровое, молодое, крепкое лицо парня, который громко храпел, откинув сильную руку и раскрыв рот.

И она подымалась, как кошка, с зелеными, по-кошачьи блестящими глазами и с кошачьими, осторожно-мягкими ухватками, не спуская глаз со спящего, кралась в угол и лапала под лавкою руками. Ей с дрожью, мучительно хотелось поднять и опустить остро сверкающий топор поперек этого чернеющего рта.

Он просыпался и с недоумением смотрел на ее дико впившиеся в него глаза.

– Что воззрилась? Али золотой сделался?

– Задушу своими руками... кишки выпущу... Знаю, что замыслил, давно заприметила...

День наполнялся криками, бранью, угрозами, ревнивыми попреками. Он бил ее беспощадно, с той особенной жестокой сладострастностью, с какой бьют только женщин.

Избитая, изуродованная, она лежала по целым неделям, но как только подымалась,

только в состоянии была шевелить опухшими губами, злобно шипела:

– Приготовился уж... С кралей своей... Небось тут же дожидается... Хлебни, хлебни каши-то спервоначалу... Небось успел подсыпать...

Чем больше он ее бил, тем злее, въедливее впивалась она, как клещ, в его душу тысячами подозрений, попреков, жалоб.

По-прежнему светило солнце, колебались золотые пятна, желтели пески, звенела вода, пели певучую музыку яркие краски дня, но, все заслоняя и погашая, стоял удушливый туман, и люди задыхались.

XIII

Иван надел свои опорки, надел мытую рубаху, кафтан и стал туго подпоясываться. Вошла хозяйка и заголосила:

– Ах ты босяк! Ах ты паскуда, опять к своей крал... – и осеклась.

Что-то спокойное, полное внутреннего мира лежало на его лице, с которого сбежала жестокость и озлобление последних годов.

– Ты куда же, Иванушка? – проговорила хозяйка, чувствуя, как щемяще-тоскливо упало

сердце.

Иван затянул пояс, поддел конец, взял суму и шапку, повернулся к образу и стал креститься и низко кланяться.

– Прощай, хозяйюшка, не поминай лихом. Пойду. Не жить нам. Вишь, как мы обижаем друг дружку.

Он низко поклонился ей, вскинул сумку на плечо и вышел.

Она кинулась, хватаясь за рукава, висла, тащила за ним, рыдая:

– Да на кого же ты меня, сиротинушку, сполкидаешь!.. Да касатик ты мой ненаглядный – али я тебе опостылела?.. Али не угодила чем?.. Ванюшечка, вернись, все – твое, ведь мне росинки маковой не надо...

– Нет, матка, не жить нам.

Он выпростал руку и пошел.

Она выскочила наперед и, вся трясясь, с передергивающимся судорогой лицом, брызжа слюной, кричала срывающимся от злобы голосом:

– Так издыхай, бродяга бездомный, издыхай с голоду посередь дороги, и чтобы тебе все православные плевали в паскудную мор-

ду... чтобы ты над плетнями с голоду опух, нищая калека!.. – И, захлебываясь от дрожащего нетерпеливого желания скорее выговориться, прокричала: – Завещание порву... издыхай!

Он приостановился, обернулся к мельнице и злобно плюнул:

– Чтобы она провалилась тебе, окаянная!.. Душу всю вымотала.

На завороте уходившей в лес корявой дороги опять нагнала, повисла на шее и беззвучно билась в рыданиях:

– Ванюшечка, ведь радости не знала на свете и росинки. Сам знаешь, молодость со старым провела, деток не было... Теперь ты у меня один...

Ему стало жаль этой женщины. Он остановился.

– Воротись, слова поперек не скажу...

Освободился и быстро пошел по дороге, и долго было видно в умирающем, далеко сквозившем лесу, как твердо и упрямо шел человек, не оглядываясь, и долго видно было, как билась головой женщина о рассыпчатый, нежно сквозивший в траве песок. Темная мельница равнодушно и мертво глядела на

обоих; медленно ворочалось колесо.

XIV

Тоскливо, одиноко потянулись для хозяйки дни, месяцы. Свет не мил. Куда бы ни пошла, что б ни делала, все напоминало об Иване.

Много передумала и во всем себя винила. Если б воротился, по-иному пошла бы жизнь, ласковая, тихая, сердечная.

С тоской глядела, как все глубже и глубже шли в лес пески, неумолимо, как старость.

Тайная надежда, что вернется, неугасимо жила в сердце и пугала ужасом несбыточности.

Мельница, лес, – уже и не запомнит старуха, в который это раз, – побелели снегом. Не вставали на дыбы прихваченные морозом пески и недвижимо дожидались тепла и сухих ветров.

Когда вьюги улеглись и снег, нагибая ветви, лежал тяжелыми пластами, а холодная зимняя луна еще не всходила, кто-то стукнул в окно.

– А?

Может быть, лопнуло от мороза бревно

или свалился с крыши мерзлый ком.

Она прижала лицо к морозному стеклу, загоразиваясь рукой от света. Сквозь белесую муть траурно проступал силуэт мельницы. Когда присмотрелась, не то маячила, темнея, фигура человека, не то дерево ложилось на окно тенью.

Сердце забилося смутным предчувствием, и она тревожно спросила?

– Да кто там?

– Пусти.

Придерживая, боязливо приоткрыла дверь, и, внося клубы морозного пара, шагнул иззябший человек в лохмотьях, с угрюмым, исхудалым, измученным лицом,

– Ванюша!

Так и кинулась. То плакала, то смеялась, а он угрюмо глядел в пол между коленами.

– Мельница-то как стояла, так и стоит.

– Как же, Ванюшечка: на нас, родименький, на нас с тобой работает... Теперь заживем с тобой...

– Не спалил никто, добрый человек.

– Что ты, что ты, Ванюшка, что ты... Кормилица она наша. Хозяева ведь мы с тобой.

За дымящимся самоваром в уютной теплой горнице рассказывал обычную рабочую бродяжью повесть. Работал как вол, чтобы скопить, уехать в деревню, обзавестись семьей, хозяйством, но в промежутках между работой, когда слонялся по экономиям, предлагал руки, все проедал.

– Во! – он поднял руку – пальца не было, оторвало на машине, три недели провалялся.

Озлобленно глядели измученные глаза.

Первые дни хозяйка не знала, чем накормить, куда посадить гостя, и, не отрываясь, глядела ему в глаза.

А по ночам опять стал приходиться старик. Неподвижно лежал ничком, и мерещилась, белея, борода, как белесая муть в окнах. Во всей доброй старческой фигуре не было и намека на укор, и было столько добродушия, было столько детской доверчивости, что она вся тряслась, когда просыпалась, и пытливо глядела в глаза сожителю.

– Кабы заглянуть тебе в душу... Что у тебя там, – с тоскою говорила она и с злобно-перекошенным лицом, вся трясясь, шипела: – Семейство свое захотел завести... Я не нужна

стала, одна мельница нужна, доходы, а меня можно спровадить... У-у, злодей!.. У-у, убивец!.. Чтобы ты издох... Выгоню, издохнешь под тыном...

И снова попреки, не засыпающие подозрения, снова душу раздирающие крики избиваемой женщины, и все один и тот же, ничего не говорящий мертвый взгляд вещей. И под этим тупым и тяжелым взором, полным мертвой власти, люди были маленькие и ничтожные.

Проходили дни, недели, месяцы, годы, создавая страшную привычку жизни.

Снова ход времени чувствовался лишь по тому, что то там, то тут зеленое развесистое, когда-то шептавшееся живыми листьями дерево теперь стояло неподвижное, мертво подымая к небу сухие, ломкие ветви. Да пески ровно, неотразимо, спокойно расселялись в лесу.

В редкие минуты, когда хозяйка уезжала по делам, звенела вода, в лесу турлыкали по сухим ветвям горлицы и ворковали дикие голуби, Иван выходил на песчаный бугор, садился, брал в руки голову и думал.

Думал, что он будто на большой дороге, в палящий зной ходит по экономиям, и нет наемки, и нет росинки в пересохшем рту. Забыл и думать о хозяйстве, о семье. И будто кругом ничего нет, стоит только мельница, черная, насупленная. И будто пухнет она. Уже с ворота сделались двери, выше дерева мелькает огромное колесо, и под самые под серые облака поднялась рассеяная крыша. И куда ни глянет, везде чернеет мельница.

Глядь...

Он открывает глаза, встряхивает головой, – светит солнце, звенит вода, позади сквозь деревья чернеет мельница.

– Ишь ты, задремал. Пойти поглядеть за сыпку.

Подымается и идет работать.

Ворочается хозяйка, – и опять лес, и звенящая вода, и воркующие голуби заслоняются криками, бранью, визгливой злобой.

XV

Задумался Иван. Мало стал есть, слова от него не добьешься, перестал бить хозяйку. Главное – перестал бить, и это больше всего ее тревожило. По целым ночам не спала, дер-

жала всегда хлеб и припасы под замком и зорко следила, чтобы не подсыпал чего за обедом.

– Ну, чего молчишь? Чего молчишь, кровопивец!..

Ранним утром, когда никого не было из помольщиков на мельнице, Иван пошел в амбар, порылся, что-то взял и, суровый и угрюмый, подошел вплотную.

– Пойдем.

– Это еще куда?.. Да чтоб ты сдох, чтоб тебя лихоманка затрясла, холера скрючила... чтоб ты!..

Он сбил кулаком, схватил за косу и поволок.

Старуха судорожно хваталась за ветки, за кусты, за траву, за песок, и стоял рев, как будто резали скотину.

Но когда мельница осталась позади и кругом безучастно обступил лес, молча и равнодушно глотая в ветвях полные предсмертного ужаса крики, старуха поднялась на ноги и проговорила, трясясь как лист:

– Иванушка, родименький, куда ты меня ведешь?

– Ну, иди, иди...

И они шли мимо высыхающих озер, мимо полян, белевших песком. И когда вошли в заросли, запутанные диким хмелем, сказал:

– Становись на коленки, молись богу.

В опущенной руке тяжело поблескивал топор. Она повалилась, хватаясь и обнимая ноги.

– Родименький, не губи ты свою и мою душу... Дай ты мне наглядеться на свет божий...

А он спокойно и холодно:

– Намучился... нет моей мочи... дня не вижу... Все одно тупик мне... не выбраться... А тебе сдыхать давно пора, старая карга...

– Ванюшка, не даст бог тебе счастья... Помни ты мое слово.

Она ползала, хватаясь за него в предсмертном ужасе. А он отступил на шаг:

– Ну, старуха, не хочешь молиться, чтоль?.. Так и так отправишься...

И, отставив ногу, отмахнулся топором. Она завизжала, но не визгом ужаса, а звериным криком захлебывающейся, рвущейся злобы:

– Духовное-то... духовное-то я... порвала!!

Он застыл с занесенным топором, а она ка-

талась в истерически-злорадном хохоте, судорожно впившись в землю, и пена пузырилась на сведенных губах.

– ...порвала!.. порвала!.. порвала!..

И лес, хмуро обнимая со всех сторон, насмешливо и глухо повторял страшное слово:

– ...порвала!.. порвала!..

На сухой ветке кланялась ворона!

– Потерял... потерял... потерял!..

Выронил топор, пошел шатаясь, держа обеими руками голову. А над ними стояло бурое небо, бурый воздух, потонувший в мутно-бурой мгле лес. Песок поднялся до самого неба, и ходили, наклонившись, меняясь неясными очертаниями, косые столбы, теряясь гигантскими головами в мутно клубящихся облаках.

Куда ни глянешь, было все то же, и не было просвета, и не было пределов отчаянию.

XVI

Время шло не дожидаясь, как будто ничего особенного не произошло. Хозяйка возилась с птицей, резонила с помольщиками, отбирала меру, Иван засыпал, наковывал камень, чинил поломки.

– Вот чего, хозяйка... Ежели завещание опять не напишешь, уйду, не из чего мне тут жить, вот тебе последний сказ.

– Пойдем к попу. У него лежало завещание, у него опять напишу.

Пошли.

Поп вышел на крылечко и сумрачно смотрел на обоих.

– Батюшка, до вашей милости.

– Вы чего же это, – не слушая, заговорил поп, – чего же это не венчаются? Что же это по-басурмански? Души-то свои в геенну готовите? Стыдно тебе, старая. Эдак я и причастия не дам, говеть будешь.

– Батюшка, да куда тут выходить-то. – Хозяйка заплакала. – Ведь смертным боем он меня бьет, места живого нету. А неделю назад чего задумал: завел в лес и хотел зарубить, вот как перед истинным. И теперь, которое завещание лежит у вас на него, пусть лежит... Но только если меня убитой найдут али помру, он меня, стало быть, извел. Так и знайте, хоть пускай режут мертвую.

Иван попятился. Холодный пот покрыл лицо.

«Так завещание цело было!»

В голове звенело, и он не слышал, о чем говорили.

– Э-э, да ты вон куда глядишь? Каторги захотел? Ну, вот чего – покос скоро, так приходи недельки на две притчу скосить на церковной земле... Вместо епитимий тебе будет, грех будешь отмаливать... Да смотри приходи, а то и полиции можно... тово... А ты, старая, духовное лучше бы на церковь переписала... Да, а то грех эдак-то...

Мертвая петля захлестнулась. Уйти не хватало силы, да и от работы тяжелой отвык, на мельнице стоял непрекращающийся содом без отдыху и сроку. Хозяйка не переставала кричать: «Убийца! Арестант! Каторжник!», а он бил ее с остервенением.

XVII

Вечерял ли с хозяйкой на потухающей заре, говорил ли с помольщиками, засыпал ли ночью, всегда стоял возле кто-то третий. Иван поднимал глаза, и всегда один и тот же выривался чернеющий силуэт мельницы.

В жужжании жернова, в переливающимся звоне колеса слышалась мерная речь. Кто-то

неустанно и днем и ночью говорил без умолку.

Останавливался, наклонял голову, прислушивался. Чудилось длительно, монотонно:

– ...о-го-го-о-о... га-га-а-а-у-у... го-го-о...

Своеобразный, особенный, никому не понятный язык, но с человеческими мыслями. И, как проносящийся над рекою осенний туман, мысли эти неясно, разорванно, меняясь и тая, неуловимыми очертаниями смутно складывались в: «Ты – мой... ты – мой... Не уйдешь... Ты – мой... Не уйдешь... Ты – мо-о-ой!..»

К этому лениво ворочающемуся колесу, к этому черному, угрюмому срубам с нависшей соломой, к мерно звучащей воде, к жернову, неутомимо ведущему всегда однообразную речь, но с разнообразным таинственным содержанием, Иван научился относиться как к живому:

– Чего долго не идешь вечерять?

– Мельница, вишь, не пускает.

Или:

– Колесо нонче осерчалло, трошки руку в плече не выдернуло.

Или:

– Но и развеселился нонче жернов – так и пляшет, так и пляшет, муку не успеваешь отгребать.

Когда уставали от ссор, драки и ругани, начиналось бражничанье, попойка и разгул. Приезжали из хуторов, пили помольщики, и дым шел коромыслом.

Когда Иван напивался, его боялись. С красными, как мясо, глазами глядел из-под насупленных бровей, лохматый, с разорванным воротом.

То плакал, обнимая голову, пьяными слезами.

– Головушка ты моя бедная, пропала ты ни за грошик, ни за понюх табаку. Что я видел на белом свете? Жизни не видал, радости не видал, один песок сыпучий жисть мою засыпает... А-а, ты, проклятая!..

Тяжело и долго глядел на мельницу, и вид, все такой же черный, спокойный, покосившийся, – такой, какой, должно быть, был и при старике и при его отце, – и невозмутимо ворочающееся обомшелое колесо зажигали непотухающую злобу.

– Проклятая!

Схватывает топор, с бешенством рубит. Топор глухо по самый обух с размаху вбегает в почернелое дерево, разметывая щепу. С треском раскалываются и срываются с петель двери.

Хозяйка отчаянно воет:

– Вяжите, вяжите его, изверга!.. Пропало добро!.. Вяжите его!..

Щепа летит во все стороны, и сруб уродливо разевает рот.

– Не подступайся... убью!..

Тяжелая сталь глубже и глубже входит в живое мясо, и с визгом наслаждения раз за разом всаживает с багровым от натуги лицом человек. Вот-вот рухнет, и на весь лес загогочет вольный человек:

– Го-го-го-го-о-о!..

– Вяжите его!.. вяжите его!.. Бейте, в мою голову!.. Ой, батюшки, убивает!..

– Го-го-го... га-га-га!..

Прибежали гости, помольщики, но к Ивану, в руках которого свистел топор, страшно было подступить. С трудом выбили топор колом, сбили с ног, навалились, стянули назад руки и, озлобленно дыша, отволокли под

вербы.

На другой день, только зорька протянулась над песками, Иван взялся за топор и усердно целый день заделывал порубленные места и сколачивал новые двери.

Недолго пережили они друг друга и умерли в небольшой промежуток, измученные, усталые, но привыкшие и примирившиеся с постылой жизнью.

И когда их везли на дрогах, мельница, полуразвалившаяся, со свесившимися космами почернелой соломы, глядела на гроб тем же бесстрастно мутным, ничего не говорящим взглядом. Ослизлое, обомшелое колесо угрюмо ворочалось, медленно и равнодушно.

Неотвратимо надвигались пески.

Долго глядели из песка полузанесенные почернелые обломки мельницы. Наконец и их сравняло. Песчаный простор надвинулся к самой реке.

И в лунные ночи маячили марева, белели хаты, тянулись тополя, звякали у баб целковики, и сквозь звенящую тишину и сквозь

звонящие слезы чудилось: «...а на правой на рученьке – родимое да пятнышко...»

Марева таяли, и белели пески, недвижные, мертвые, да тени, чернея, тянулись от бугров.

Лесная жизнь *

В лесу стояла та особенная тишина, которая бывает только осенью. Неподвижно висели мохнатые ветви, не качалась ни одна вершина, не слышалось ничьих шагов, лес стоял молча, задумчиво, прислушиваясь к своей собственной вековой думе.

И когда, отломившись от родного дерева, мертвая сухая веточка падала, переворачиваясь и цепляясь пожелтевшими иглами за живые, зеленые, чуть вздрагивающие ветви, было далеко слышно.

Вверху не было видно печального северного неба, хмурою ратью закрывала его густая хвоя, и, как колонны, могуче вздымались вверх красные стволы вековых сосен. И покой безлюдья царил, точно под огромным темным сводом меж молчаливых колонн, над мягкими коврами прошлогодних игл.

Между стволами, которые сливались в сплошную красную стену, мелькало что-то живое. Кто-то беззвучно шел, и прошлогодняя хвоя, толсто застилавшая землю, мягко поглощала шаги. Сосны расступались и сзади опять смыкались в сплошную красную стену. Но когда нога попадала в тонко затянутую ледком лужицу, далеко, испуганно нарушая тишину, раздавался звонкий треск.

Мальчик лет двенадцати, туго подпоясанный узким ремнем, за которым торчал топор, в огромных, должно быть отцовских, сапогах, наклонялся, приседал на корточки, что-то цеплял за ветки и стволы, и когда шел дальше, позади на земле оставался целый ряд волосяных петель, и в них краснели прицепленные ягоды.

Мальчик ставил силки, внимательно запоминая местность в лесном лабиринте.

Молчаливый лесной сумрак посветлел в одной стороне, и меж деревьев блеснул водный простор. С крутого песчаного берега открылось озеро. Необозримо уходило оно, отодвинув леса до синего горизонта, и изумрудно-зеленые острова бесчисленными стаями

покрывали светлое лицо его. Узкими протоками оно тянулось в другие соседние озера, на сотни верст растянувшиеся по угрюмому, суровому, молчаливому краю, с одной стороны которого катило тяжелые холодные волны Белое море, с другой – морозной мглой дышали ледяные поля Северного океана.

Бесчисленные стада уток, гусей, лебедей, нырков и всякой пролетной водяной и болотной птицы с криком, шумом и гамом возились на воде, шумно подымались густыми, чернеющими тучами, заслоняя и воду, и далеко синеющий лес, и изумрудные острова, и далеко тянулись вереницами.

Мальчик с минуту постоял на берегу и пронзительно два раза свистнул. Озеро ожило. Как будто множество спрятавшихся людей засвистало и отозвалось со всех сторон, и над водой, все ослабляясь, понеслись замирающие тонкие звуки. Птица рванулась, взрывая воду, шумом заглушая умирающее эхо.

– Стало быть, не пришел, – проговорил мальчик, вынул из-за пояса топор и стал рубить деревья, сваливая в воду возле берега.

Он работал ловко и быстро; сочные щепы

летели из-под топора, и эхо, не умолкая, с разных сторон повторяло удары.

— А-ах, холодная... — проговорил мальчик, пожимаясь, когда, скинув сапоги и засучив шаровары, полез в воду, которая, как ножом, резала острым холодом.

И, торопливо стаскивая с обрубленными ветвями стволы, стал вязать гибким тальником плот. Через минуту стянутые вместе бревна неуклюже высывались из водного зеркала.

Мальчуган перенес на плот пук волосяных силков и суму с хлебом, уперся шестом, и плот, сдвинувшись тихонько, поплыл от берега. Длинные травы колебались и тянулись в прозрачной холодной воде, цепляясь и обвиваясь вокруг шеста. Птицы с неумолкаемым шумом без перерыва подымались с озера, как будто сама вода рождала их из глубины, и все больше и больше чернеющая косая туча их заслоняла и лес, и небо, и синеющую даль.

Далеко отошел берег, и кругом необозримо расстилалось серебряное зеркало с висевшими в глубине его облаками, печальным серым небом и опрокинутыми прибрежными

лесами. Шест перестал доставать дно, которое далеко внизу виднелось сквозь чистую, как слеза, воду, и мальчик, крепко упираясь посинелыми от холода ногами, бурлил шестом, работая, как веслом.

Низкое холодное солнце передвинулось к самому лесу, когда плот ткнулся в берег острова. Мальчик обулся и пошел в лес.

На стволах сосен белели зарубки, которые он сделал несколько дней назад. Лес был глухой, угрюмый, без тропок, без следа человеческого, но мальчик шел легко и уверенно, поглядывая на белые отметины.

В чаще возле кустарника неподвижно висела птица, свесив крылья и вытянув вверх шею. Тонкая волосяная петля, захлестнутая за ветку, туго стягивала шею.

Мальчик высвободил мертвую птицу и бросил в мешок. По мере того как он шел, мешок наполнялся птицами, которых он вынимал из силков.

Между кустарниками быстро мелькнуло и пропало пушисто-красное. Мальчик бросился туда. На ветке неподвижно висела полуобъеденная птица.

– Ах-х, ты!.. – сердито проговорил мальчик, осматривая объединенную птицу и лисьи следы под деревом. – Ладно, ужо приготовлю тебе гостинца.

Все остальные силки оказались пустыми или в них торчали одни объединенные головы и шеи.

Надо было собираться назад. Солнце село. Мрачно и угрюмо стояли сосны. Стояла неподвижная, полная таинственности тишина. Мальчик торопился выбраться к озеру, но лес упорно держал его, и все глуше и темнее становилось кругом. Тяжелый мешок тянул плечи, под ногами испуганно хрустели сухие веточки, и потом опять сапоги беззвучно-мягко ступали по хвое, и угрожающе сгущалась темнота, сливая деревья в одну таинственную сплошную массу.

«Как бы не заблудиться», – тревожно мелькнуло в голове, и он напряженно всматривался, но белевших прежде зарубок уже не было видно.

Наконец темнота слегка раздвинулась, и темным блеском едва блеснула у берега вода. Мальчик прислушался: над потонувшим в

темноте озером стояла такая же мертвая тишина, как и в лесу, только дышало оно мраком, холодом и сыростью.

Он стал ходить по берегу, разыскивая плот, но везде был все тот же пустынный, молчаливый берег, так же едва поблескивала черная вода, и стояла дышавшая холодом и сыростью тишина.

– Ок-казия!.. Что будешь делать!..

Мальчик прошел немного в лес, стал на колени, нащупал вылезавший из земли смолистый корень, вырубил его, высек кремнем огня, зажег корень и помахал, чтоб разгорелся.

Багровое пламя, струясь и колеблясь, дымно бежало, и в лесу трепетно забегали тени, и в багрово вспыхнувшей воде отразились покрасневшие вершины сосен.

Недалеко показался из красной воды угол плота. Мальчик загасил огонь. И разом водворилась кромешная, непроглядная, чернильная тьма. Мальчик сложил на плот мешок с птицами, с провизией, обгоревший корень и оттолкнулся шестом.

Шест уходил все глубже и глубже, переставая доставать дно. Бурлила вода. Плот тихо и

беззвучно подвигался вперед среди немой тишины, среди непроглядного мрака.

Словно мертвое, заколдованное царство простиралось вокруг на сотни верст, и не слышно было человеческого голоса, ни всплеска рыбы, ни писка птиц. Шест бурлил, не доставая дна, и пенил невидимую воду, и тихонько колыхался плот, заброшенный и одинокий среди пустынного водного простора, среди холодного ночного мрака.

– Что ж это, никак к берегу не прибьешься...

Мальчик тревожно стер пот со лба и оглянулся: даже краев плота не видно. Поднял голову – та же густая, непроницаемая, молчаливая темь, ни одной звезды.

– Аххх, ты, бож-жа мой!.. – хлопнул себя по бедрам, поплеывая на руки, и опять принялся работать шестом.

Время уходило, стали ныть руки и плечи, а кругом все та же молчащая холодная ночь, все так же неизвестно где блуждающий плот.

И это огромное молчание холодной мертвой темноты стало заползать в сердце тоской и отчаянием. Хоть бы крик, хоть бы всплеск.

Ни одного живого существа.

Теперь он уже не представлял себе, где берег, к которому он ехал, и где тот, от которого отчалил. Все одинаково кругом безмолвно-мертво. Работал наугад, лишь бы не остаться без дела и не отдаться отчаянию.

Бревна от постоянной работы колыхались и стали расходиться под ногами. Наскоро связанный плот готов был развалиться. Мальчик с отчаянием работал, каждую минуту ожидая, что, как ключ, пойдет между высвободившимися бревнами в холодную воду и ляжет на далекое мертвое дно.

Он сел на корточки, положил шест и... заплакал. Заплакал беспомощными детскими слезами, потому что в этом огромном черном погребе не было выхода.

– Дядька-а Силанти-ий! – закричал он тонким, детским голосом.

Тысячу раз повторила ночная темнота: «...а-а-нти-и-ий...»

В ту же секунду, заглушая умирающее эхо, зашумели тысячи невидимых крыл. Ночная тишина заполнилась непрерывающимся полетом. Мальчик с радостью прислушался: это

были первые звуки, нарушившие давившее мертвое молчание.

Он торопливо высек огонь и зажег остаток полуобгорелого смолистого корня. Багровое пламя разом оттеснило темноту и легло светлым кругом, но ничего не открыло, кроме воды. Только упавший в глубину красный свет обманчиво озарил далекое дно и сонно дремлющих рыб.

Куда плыть? Где берег?

Остаток корня, треска и капая кипящей смолой, стал жечь пальцы. Мальчик бросил. Зашипев, мгновенно погас огонь. Темнота мертво сомкнулась со всех сторон. Шум крыльев смолк, и снова водворилось в неподвижной темноте неподвижное, мертвое молчание. Но теперь не было так страшно, — и на воде и в воде было множество живых существ.

Он опять стал наугад работать веслом, осторожно упираясь, чтоб не нарушить связей в бревнах плота, и вдруг приостановился и чутко прислушался: среди темноты стояла та же тишина, но почудилось легкое, почти неуловимое дуновение проснувшегося среди

ночи ветерка.

Торопливо и обрадованно мальчик послушал палец и, подняв, стал медленно поворачивать. С той стороны, откуда неуловимо тянул ветерок, в пальце почувствовалось ощущение холода. Быстро схватив шест, стал гнать плот по направлению ветерка. Сердце радостно билось, – теперь он уже не будет кружить по озеру.

Вот о дно стукнул шест. Становилось мельче и мельче. Где-то недалеко берег.

Мальчик изо всех сил налег на шест, но под ногами закрипели бревна, лопнули связи, плот разошелся, и холодная густая, как кисель, вода охватила по пояс.

В первую секундухватило дыхание. Мучительно-холодная острая вода вливалась за сапоги, за шаровары, и взмокшая рубаха липла к телу. Зубы стучали неудержимой мелкой дрожью. Мальчик схватил сумку с провизией, поднял над головой, прихватил мешок с птицами к поясу и, щупая ногой, стал пробираться среди холодной кромешной темноты. Мельчало. Уже ниже колен пенится и бурлит вода. Наконец – берег.

Он дрожал как лист, и ноги сводило судорогой. Не теряя времени, наломал еловых и сосновых ветвей, высек огня, и костер весело запылал, бросая багровый отсвет на воду, на деревья, на печально покачивающиеся, расплывшиеся бревна плота, и тени трепетали и прыгали между деревьями. Пар валил от мокрого платья.

В лесу кто-то ходил. Под тяжелыми ступнями ломались ветви, трещал валежник, и чье-то сердитое урчание недовольно нарушало ночной покой.

– Шатун... ахх, ты... Носит тебя, нелегкая!.. – И мальчик прислушивался к треску ломаемых медведем веток, усердно подбрасывая в разгоревшийся костер, чтоб отогнать непрошенного гостя.

Огонь огромного костра бушевал, пламя торопливо бежало, и в багровых просветах леса то тут, то там чудились маленькие злые глазки, вытянутая морда, прижатые уши.

Мальчик вложил два пальца в рот, как-то особенно пронзительно свистнул и загоготал:

– О-го-го-го!..

«О-о-о-о-о!» – далеко покатилось и отозва-

лось вместе со свистом по озеру, и опять бесчисленно зашумели тысячи крыл, и кто-то ходил по лесу, трещал валежник, и чудилось чье-то сердитое урчание.

Мальчик поворачивал к огню то спину, то бока, то ноги, пока от них не перестал идти пар. Потом пожевал краюшку хлеба, примостился у огня и... стало ему казаться – из лесу вышел медведь, оскалил зубы, расхохотался и стал есть в мешке наловленных тетерек. Поел тетерек и принялся за мальчиковы ноги, отъел ноги, чихнул, отер лапой морду, сел на плот и поплыл по озеру. Плывет по озеру, смотрит на него мальчик, а это не медведь, а дядя Силантий. И будто стоит дядя Силантий и трясет его:

– Эй, вставай, Митюха! Разоспался... Солнце-то где...

Раскрыл Митя глаза, вскочил, видит – солнце поднялось над соснами, залило и лес, и озеро, и острова. А над озером стоит неумолкаемый гам, плеск, стон, и стаи перелетной птицы черными вереницами носятся над водой, и возле чуть дышит полупотухший костер.

– А я думал – медведь.

– Какой медведь?

– Да ночью шатун все шатался по лесу... Я было пропал на озере вчера: опознался, темь, не видать, куда плыть. Кабы не ветерок, пропал бы: плот-то подо мной расселся.

– Ночью отчаливаешь, огонь на берегу зажигаешь, он и будет означать направление.

– Ах я дурак!.. И верно... А я зажег смолистый корень да потушил... Ну, темь, хоть глаз выколи, не видать, куда ехать.

Они забрали птицу, заткнули за пояс топоры и отправились домой.

Дочь*

I

Серый, как плывущая паутина, цепляется по крышам туман тающими клочьями, и вдруг на мгновение все засверкает, заискрится неудержимо, радостно, мальчишески-задорно. Блеснет шаловливая улыбка по мокрым крышам, по фартукам экипажей, по стеклам этажей, и опять серенькая, неуловимо-хмурая серьезность плывет по лицам, по домам, а над ней снова рождается трепещущая, вот-вот готовая засверкать улыбка.

На одном только лице не мог потушить ее серый ползучий туман – на лице девушки. Идет она торопливо и вся светится неиссякаемой радостью жизни. Идет, и улица одной половиной неудержимо, ни на секунду не замирая, катится ей навстречу, и так же неудержимо несется, обгоняя, другая половина.

Тысячи экипажей, тысячи лошадей, тысячи людей, домов, стен, ворот, окон. Тысячи шагов, тысячи ударов копыт, вздохов, шуршанья, непонятно тухнущих, всплывающих слов.

Навстречу – студент. Пуговицы, форменное пальто, поношенная фуражка, милое, молодое, еще мальчишеское лицо. И оба неудержимо улыбаются друг другу и, когда проходят, разом и неожиданно оборачиваются и опять улыбаются.

Офицер...

Нет, на этого не надо смотреть, он поймет иначе, сделает наглое лицо, и... Не удержалась, подняла сияющие глаза, и оба улыбнулись.

Все, кто проплывает в шумящей, мелькающей пестроте, все на секунду приветливо взглядывают на нее.

А тех, кто проходит с угрюмым, темным лицом, хмуро глядя в землю, она искренне жалеет: «Отчего он не взглянул?.. Если б только он знал!..»

Останавливается на углу, где, огибая, и люди, и лошади, и экипажи густеющим потоком растекаются на четыре стороны.

У витрины двигаются, колеблются котелки, перья и цветы дамских шляп. Подросток, с испытанным вороватым лицом, осторожно тащит из кармана солидного господина платок,

и оба внимательно рассматривают картину.

«Бедненький!.. Верно, не ел...»

Она хочет дать ему серебряный пяточок, но боится испугать, да и он прячет платок за пазуху и начинает тащить у другого, и так же внимательно глядит на картину.

«Надо сесть в конку... Ах, мамочка, мамочка, ты ничего не подозреваешь!..»

Лавируя между экипажами, ловко вскакивает в трамвай, и, гудя и роня синие искры, он катится, и все бежит навстречу: окна, этажи, гул шагов, то яркий мак среди чернеющих шляп, то бледная роза на груди.

А ей все мало. И она торопит катящиеся колеса, считает улицы и заглядывает в переулки.

II

– Мамочка!.. Мамочка!.. Мамочка!..

Бурно все летит кругом: шляпа, стулья, кругленький столик. Треплет, тискает, носится по крохотной, чисто убранной с двумя кроватями комнатке с задыхающей, изумленной, торопливо семенящей старыми ногами старушкой.

– Да что ты!.. Да бог с тобой, Марусечка! Да

отпусти ты душу на покаяние!.. Уж не заболела ли, господи, спаси и помилуй!

– Мамочка, мамочка, да ты пойми... тра-та-та-та!..

И вдруг стала серьезной и наложила палец на губы:

– Мама, ты видишь перед собой человека, женщину, девушку, которая отныне будет зарабатывать самостоятельным трудом тридцать пять рублей пятьдесят копеек в месяц! Тридцать пять ру-убле-ей пять-десят копеек!.. – запела она, торжественно подняв руку.

Мать глядела во все глаза, боясь поверить.

– Марусечка, правда? Не мучай старуху!

– Мамочка, милая, правда, истинная правда... – и опять затормошила.

Та высвободилась.

– Нет, постой...

Опустилась на колени и, придерживаясь одной рукой за пол, другой широко крестилась.

– Слава тебе, господи, царю небесный... Благодарение тебе, мать божия, пречистая, пресвятая дева...

Девушка присмирела. Когда увидела, как

мать, нагнувшись, встала сначала на одно колено, потом на другое и как придерживалась за пол, что-то ударило ее, точно сдернуло пелену с глаз, и увидела, как та стара, слаба, какая маленькая, тщедушная, измученная.

И, глотая слезы и обняв друг друга, они сидели и гладили друг друга по лицу.



Все кругом нее было, как музыка огромного оркестра.

Это была музыка красок, тканей, изящества, драгоценностей, музыка вкуса и художественного чутья.

Никогда даже мысленно не называла этих разбросанных вокруг вещей оскорбительным словом – товар. Это были краски, это были звуки немой картины, это была огромная симфония цветных переливов, вспыхивающей радуги, тонких оттенков.

Перехваченные, ниспадают складками, играя поблеклыми цветами, шелковые материи, звуча при малейшем прикосновении. Кровавыми пятнами просятся из темного фона красные манто. Крикливо блистают поддельные бриллианты, и сосредоточенно и со-

лидно облегают бархатистыми контурами меха. Даже лампы, посуда, статуэтки слагаются в сочетания, ласкающие глаз причудливой и неожиданной игрой.

Было оскорбительно, и она старалась поскорее забыть, когда ей говорили, что существуют специалисты, берущие с магазинов по двадцать пять, по сорок, по пятьдесят рублей от витрины, чтобы художественно разложить товар.

Она была вовсе не продавщицей, а таким же звучащим цветным мазком, бликом в этой картине, как и все кругом. Об этом ей мимолетно, но настойчиво говорило нежное, с ямочками, с улыбающимися глазками лицо, тонко перехваченная талия, гибкая походка, каждый раз, как она взглядывала мимоходом в огромное трюмо, глубоко державшее, не упуская, все линии, оттенки, формы, все цвета.

И когда ей говорили: «Что стоит эта кружевная накидка, mademoiselle?» – даже это было преходяще, мимоходом, а главное, нестираемое было то, что посетительница так же была изящна и так же сливалась с

окружающими красками вкусом платья, оригинальностью отделки огромной шляпы.

Холодная отчужденность небрежно прищуренных глаз не оскорбляла, ибо обе были только цветными звуками в огромной беззвучно-звучащей симфонии, обе были равноправны.

Столько было здесь разнообразия, изобретательности, что все с трудом умещалось в шести этажах колоссального здания, и подъемные машины, не уставая, работали с утра до ночи, давая неумиряющую жизнь, движение, давая непотухающие краски.

Товарки и товарищи по работе входили звеньями в ту же гирлянду общей картины, полные достоинства, красивые, изящные, безукоризненно одетые, с безукоризненными манерами; их часто нельзя было отличить от тех, кто спрашивал о цене, просил показать ту или иную вещь.

– Ах, мамочка, если б ты знала, если б ты видела!.. Ты думаешь, я – приказчица? Ничуть. Ну, как тебе сказать... Ведь там у нас князья, княгини приезжают, у подъезда тысячные рысаки... Только с ними я, как со вся-

ким... Знаешь, мне решительно все равно: возьмет – возьмет, а не возьмет – пожалуйста, как хотите... Если б ты хоть раз побывала... Боже мой, какое великолепие, какая красота! И потом – как легко! Говорили – очень трудно, а совсем делать нечего, так просто болтаешь себе целый день, даже совестно получать за это тридцать пять рублей. А ты знаешь, через год мне прибавка будет.

Крохотная комнатка становилась все уютнее. Девушка каждый день что-нибудь приносила: изящные этажерочки, полочки, небольшие картины, безделушки, новые занавески на окна, хотя в конце месяца и приходилось приносить домой жалованье с большим вычетом.

– Марусечка, да будет тебе, не таскай ты больше, – ворчала старушка, – ведь не хватает.

Та закрывала ей рот поцелуем:

– Не буду, не буду, мамулька... В последний раз.

Но искушение было велико, так хотелось ласковости, уюта, изящества в своей крохотной комнате, и опять в конце месяца жалова-

ные с вычетом, и опять, как и в прежние времена, нередко приходилось оставаться без горячего, с одной колбасой.

IV

И для нее пришло то, что приходит для каждой девушки.

Оно пришло, смутное, неясное, тревожное, непонятное, окрашивая мир радужными переливами. И просились слезы на глаза, и вырастали крылья. Куда бы лететь?

Дни уходили ни скоро, ни тихо, да и некогда об этом думать. В тускло пробивающееся зимнее утро торопливо нужно одеваться, торопливо пить чай и, прихватив два-три бутерброда, торопливо спешить на службу, — управляющий не любил, когда опаздывали хотя на пять минут.

— Вы сегодня с опозданием, — говорил он, держа массивные золотые часы, с той почти-тельной вежливостью, которая была хуже выговора.

А вечером торопливо спешила домой, и мать ждала ее с кипящим самоваром на белоснежной скатерти, с кусочками торта и крохотной баночкой малинового варенья, до ко-

торых она была большая охотница. Уютом, лаской, тихой лаской и любовью веяло от крохотной комнатки, от этой старушки, которая вся светилась радостью, глядя на свою любимицу.

Так скользили тихие, ясные, милые дни, ровно, спокойно, без усилий, без запинки, но... если бы с запинкой!.. Ах, если бы!..

Она сама удивилась своей мысли и весело расхохоталась. Ну, например, лопнул бы потолок и прямо в чай упал бы большой кусок штукатурки. То-то было бы веселого переполоху!

И незаметно, как невидимо-тонкая заноза, проникало неуловимо-раздражающее ощущение ожидания.

Выходя из дому, она торопливо шла с напряженным лицом, точно по важному, особенному, ее ожидающему делу. Или вдруг останавливалась, схватываясь и припоминая:

«Ридикюль? Взяла. Платок? Часы? Ах, да, взяла, взяла...» – и торопливо шла по знакомым улицам, мимо знакомых магазинов, архитектурных украшений, витрин.

Все было знакомо, и мучительно хотелось

закрывать глаза и уйти, уйти далеко, в незнакомую часть города, где другие улицы, дома, люди, сады. Город молчаливо свернулся в несколько улиц, переулков, по которым она изо дня в день, из месяца в месяц ходит утром и вечером, сосредоточился в этом шуме, толкотне, мчащихся экипажах, а кругом, за чертой движения пестрой жизни, – пусто, темно, молчаливо.

V

Иван Иванович Постотелов? Да, он хороший человек, он очень милый, очень, очень, но...

У него пальцы похожи на длинные коленчатые, изумительно подвижные ножки невиданного насекомого. Они живут своей собственной жизнью, эти удивительные пальцы. На лице улыбка, или морщины усталости, или внимание слушающего человека, или скука, а пальцы торопливо пробегают молниеносным движением, точные, внимательные, сосредоточенные. Целые годы они перебирают за банковской решеткой миллионы шелковых кредиток и тяжелых золотых монет исчезающими в быстроте из глаз движе-

ниями.

И каждый раз, когда он приходит, садится, говорит, рассказывает о театре, о службе, о знакомых, она смотрит не на глаза, не на лицо, а на руки, на пальцы. Даже когда они, не шевелясь, спокойно лежат на столе, в их сухих, тонких очертаниях таится ловкость и быстрота.

От этих пальцев на всю фигуру, на движения ложится отпечаток точности, сухой деловитости. Он аккуратно заходит два раза в месяц и так же аккуратно приносит цветы, конфеты, а иногда привозит билет, и они едут в театр.

Все это хорошо, – только... Ах, если б обвалялась штукатурка!

Раз ей показалось, что из-под темных бровей мягко глянули глаза, как в неясных, смутных девичьих ожиданиях.

Произошло это просто и скверно.

Она возвращалась после затянувшейся проверки в магазине.

Тысячи вечерних огней. Сияющая ими, упруго подымается дымчатая мгла. Все ярко в потоках холодного света. Резко тянутся исси-

ня-черные тени, и все сбивчиво, смутно, обманчиво. Неожиданно, разом выступают из голубоватого сияния пепельные лица со зловещими пятнами черных теней, как у мертвецов.

Краски мутны, расплывчаты, неузнаваемы – все озарено.

Девушка переходит наискось, мимо проносящихся, фыркающих над ухом лошадиных морд, мимо быстро набегающих светящихся экипажных фонарей в неумолкаемом, смутно озаренном шуме и гомоне.

– Эй, поберегись!..

– Право!.. Право держи!..

Та же, что днем, толпа, экипажи, лошади, но странные, чуждые, и улица, изгибаясь, шевелится бесконечно живым телом. И голубоватый сумрак площадей глотает их.

– Прелестница, куда вы стремитесь с опасностью жизни?

Она осторожно выбирается из толчеи экипажей, торопливо, не оборачиваясь, идет по панели, но они не отстают, подхватывают с двух сторон под руки и идут, заглядывая из-под цилиндров в лицо. Навстречу огромные

шляпы с кроваво-колеблющимися цветами; как черные провалы, подведенные глаза, яркие карминовые губы.

– Пустите, пустите!.. Нахалы, негодяи!.. Пустите!.. Городовой!

– Не бейтесь так, птичка, вам будет очень худо.

Как ни в чем не бывало, крепко держа под руки, они ведут, заглядывая в глаза, как два кавалера с ночной бабочкой. А навстречу все те же громадные шляпы, кровавые цветы, огонек папиросы в лице с мертвенными черными тенями, хриплый смех, брань, циничные, подлые слова.

Истерически перехватываемый спазмами крик глотает шорох и шелест угрюмо идущей толпы.

Кое-кто останавливается. Короткая, резкая тень на секунду лежит у глаз, потом торопливо тонет в голубоватом смутном сиянии, – у каждого свое.

Шорох, и шелест, и смех, и оторванные всплески, и восклицания.

– Не вырывайтесь! Лучше едемте к нам... Лихач!

Они уже подсаживают, как в тисках, в пролетку.

Пронзительный, звериный визг пронизывает ночные спутанные уличные звуки, непрерывный шорох идущей толпы, бегущий стук копыт.

– Помогите!.. Помогите!.. Помогите!..

– А-а, вот что!.. Городовой!..

Задерживаясь, заворачивается толпа, как вода кругами около брошенного камня,

– А?.. Что такое?

– Где?

– Да вот пристала... Городовой!

Городовой идет с перекрестка, важно темнея плотной фигурой с поднятой головой.

– Что такое?

– Да вот... что вы смотрите?.. Пристает, нагло, назойливо... В конце концов по улице пройти нельзя!

У одного сердито поблескивает в глазу монокль, у другого – золотое пенсне. В цилиндрах, в высоких, резко белеющих воротниках, они на голову выше других.

Городовой с достоинством делает под козырек.

– Ведь не усмотришь... Разрешено гулять, а они скандалят.

– Пустите же меня, пустите!.. Городовой, что же вы смотрите? Среди толпы на улице нападают!..

Голос рвется рыданиями.

Городовой подносит руку к губам, коротко свистит. Подбегает дворник.

– В участок!

Цилиндры садятся на лихача. С места четко чеканят кованые копыта, пропадают среди катящихся экипажей в голубоватом сияющем сумраке.

По-прежнему мимо шорох, шелест, шуршание бесчисленных шагов. Краснеют колеблющиеся пятна мака, вспыхивают во рту огоньки, всплывают, тухнут разрозненные слова.

– Куда вы меня ведете? Я не хочу! Я не хочу!.. Оставьте меня! Не смейте трогать!.. Почему не задержали тех негодяев?

– Ступай, ступай!

У дворника сердитое, сонное лицо: ему надоело возиться с такими каждую ночь. Он толкает, не давая остановиться, опомниться.

– Ступай, тебе говорят! Или по затылку за-

хотела?.. Слазь с панели, мешаешь проходящим!

Он сталкивает, и они идут по мостовой.

Она не сопротивляется, задыхаясь от рыданий; судорожно сжимая взмокший платок, идет торопливо, тяжело, подталкиваемая в спину, в плечи.

– Боже мой, что же это?.. За что, за что?!

Сворачивают в одну улицу, в другую, в переулок.

Тяжелый, мглистый ночной свод низко нависает, и керосиновые фонари с трудом отбрасывают до верхних этажей. И как бы в связи с этим одиноко чернеют фигуры редких прохожих. Смолк шорох и шелест. Они идут, как по коридору, меж высоких, теряющихся головами в темноте домов, и слепо, и равнодушно, и холодно смотрят окна...

– Боже мой, да что же это?!

Истерический хохот мечется по пустой улице, и судорожно плещутся в молчаливые стены надрывающиеся рыдания.

– Ступа-ай!.. Дай час, навоеешься!

– Что такое?

Останавливается темная фигура.

– А тебе что за дело? Иди, куда идешь.

– Куда ты ее ведешь?

– В участок, вот куда... А то и тебя прихватчу.

– За что ты ее толкаешь? Бить не имеешь права.

– По желтому билету, – говорит раздраженный дворник и, остановившись, бросает злобно-торжествующе: – Проститутка, вот кто!

– Ну, так что же, драться все-таки не имеешь права.

Но она идет, как сомнамбула, даже не слыша, что о ней препираются.

В коридоре охватывает затхлый запах кислой капусты, потных сапогов, махорки, горелого сургуча. Сонные лица городских. Коптящая лампочка повсюду кладет смутные, уродливо перегнувшиеся тени.

– Куда?.. Направо.

Она сворачивает направо. Сзади чьи-то догоняющие шаги.

За столом, заваленным бумагами, низко освещенным из-под широкого крашеного жестяного абажура висячей на проволоке лампой, скрипит человек в мундире. Нижняя

часть нездорового, утомленного лица, с рыжеватыми усами, скучно освещена, верхняя в тени. Он пишет, не подымая глаз.

Дворник и всхлипывающая девушка стоят, – ей все равно. Заботливо тикают стенные часы. Кто-то сладко зевает, и по коридору проносится тупо и без отзвука.

Перо продолжает бегать, а глаза на минуту подымаются на дворника.

– Номер двести сорок шестой прислал... К господам приставала...

Снова усталое лицо двоится, странно перерезанное тенью, и глаза следят за бегающим пером. Тикают торопящиеся часы.

– Этот дворник все время бил и толкал девушку, – звучит чужой здесь и ненужный голос, – да и по всем видимостям – она не принадлежит к...

Перо ложится на чернильницу, на стол ставятся локти, подбородок опирается на сложенные пальцы, и смотрят усталые, хронически недосыпающие глаза.

– Вы кто такая?

Девушка выкрикивает высоким, срывающимся голосом, не справляясь с трепещущи-

ми, неслушающимися губами:

– Что же это? Ведь это же невозможно!.. Сегодня проверка в магазине... долго задержали... Иду... меня подхватили... ко мне пристаю... я... тащат на лихача... Никто, никто... ниоткуда помощи... Городовой... я кричала... хоть бы один человек... они... я...

Рыдания безумно мечутся по комнате, не слышно тиканья часов. Дворник безучастно смотрит в пол.

Человек в мундире подымается, слегка опираясь о стол, и все лицо его в тени.

– Вы кто такая?

– Я... Обручева... служу в магазине Моор и К°.

– Да... Ошибки всегда возможны. В нашем деле, сами знаете, каждые пять минут приводят... Пьяные скандалят, лезут драться...

Но она не слушает, летит по коридору, запятнанному тенями. За ней опять догоняющие шаги.

– Налево, налево!..

Она сворачивает налево, выскакивает на улицу.

– Послушайте, возьмите извозчика или

позвольте вас проводить.

Она давит грудь, сдерживая рвущиеся рыдания.

– Никого, ни один человек... как в лесу... Можно убить, задушить, сделать все... никому никакого дела... Ах, опять!

Снова сворачивает за угол мимо домов, мимо прохожих, а сзади неотстающие шаги.

Ей кажется, что уже все пропало, она провалилась в темную, сырую яму, барахтается... Уже не будет радости, спокойствия, уверенности, не будет солнечного дня.

Вскакивает в ворота и тут только спохватывается:

– Ах, да! Что же это я?

Выскакивает на улицу. Темная фигура одиноко удаляется.

– Постойте, я должна поблагодарить.

Тут только видит – поблескивают на фонаре пуговицы его студенческого пальто. Милое безбородое лицо, как и тогда, в первый раз... Может быть, он?

Юноша чувствует, как его большую руку жмут маленькие, нежные ручки.

– Благодарю вас, благодарю вас. Зайдемте к

нам. Мама вас... я не знаю, как будет благодарна...

– Нет, спасибо. Но я...

Ее глазки сияют от непросохших слез, и сердце юноши бьется торопливее.

– Так заходите к нам, я по воскресеньям свободна... Квартира тридцать четыре, пятый этаж. Обручевы. Пожалуйста, очень будем рады, я и мама...

– Непременно... Николаев.

Он приподнимает фуражку.

VI

Давно первое впечатление пропало. Точно расстроился оркестр, и каждый, согнувшись, со скучным напряжением пиликал, не слушая и не заботясь о других. Стояла разногололица – надоедливая, мертвая, однообразная. Так каждый день с утра до вечера.

И эта работа была вовсе не легка: до квартиры Маша добиралась измученная и усталая. Да, она была приказчица, настоящая приказчица, которая должна уметь показать лицом товар, иначе ее не станут держать.

Только когда приходил Николаев, комнатка точно светлее становилась. Он с собою

приносил другой воздух, другую жизнь, другие впечатления, стирая обыденность.

Он не говорил ей: «Я люблю вас», а говорил, наклоняясь, и глаза у него горели:

– Вы не знаете, там зарождается новая заря, ваше, мое, всех нас счастье, там, в этих смрадных казармах, в фабричных корпусах, в мозгу угрюмых, черных, подчас грязных, пьяных, невежественных людей... Там перестроится вся наша жизнь до основания, любовь, семья...

Она слушала, видела совсем возле милые, славные, сияющие глаза.

– Без тех, без них, этих угрюмых и черных людей, у нас нет и не может быть счастья! Мы притворяемся иногда счастливыми или просто довольными...

– Да, правда, страшно жить! – говорила она, морщинкой между бровей прогоняя свое непокорное легкомыслие, непокорно просившийся, дрожавший во славу солнца, утра, движения, молодости смех. – Но... но надо туда идти и потом... и потом садиться в тюрьму, – наивной жалобой, подняв брови, жаловалась она, – а мне так хочется хотя чуть-чуть

ПОЖИТЬ...

Это так неожиданно, просительно и виновато, что с него разом спадает серьезность, и в комнате, не умолкая, дрожит смех, полный беспричинной радости и молодой жизни, и они говорят, говорят...

Задумчиво горит лампа. Старушка в больших круглых очках довязывает чулок с таким же усталым вниманием, с каким доживает свою усталую, просящуюся на покой жизнь, а в черные окна мутно рвется гул и гомон большого города.

В такие ночи поздно засыпает девушка, и сквозь мягкую, склоняющуюся над ней сонную улыбку ей чудится: «Нет, это – не настоящее. Он – ребенок. Это – не настоящее. Настоящее – какое-то другое... и бухгалтер – не настоящее...»

А сон веет с тою же дурманящею улыбкою, и, затканые легкой паутиной, смежаются усталые, отяжелевшие веки.

VII

Тысячи людей, тысячи чужих людей проходят ежедневно перед ней. Точно стоит она на распутье, и идут, идут мимо, и нет им кон-

ца и крадо, и нет им дела до ее радостей, горя, неудач и счастливых дней. Где-то у них семьи, близкие, враги, привычный труд, а ей все равно, и стоит одиноко на распутье.

А губы говорят:

– Это французская модель. Настоящие валансьенские кружева... Что-с?.. Девяносто два рубля... Да-с...

Каждый день с утра до вечера. Среди шумящего неустанного потока мелькает странно запечатлевающееся в памяти лицо.

– Вам лучше всего будет идти цвет бордо.

«Но где же, где я видела этот вздернутый носик, эти светлые волнистые волосы?..»

– Вот позвольте, мадам, примерить это.

«...эти чуть выдавшиеся скулы?.. Ах, боже мой!..» Великолепное платье, в ушах и на оголенной шее – бриллианты, и возле стоит инженер с красиво подстриженной бородкой, держа в руке манто.

Покупательница и продавщица на секунду останавливаются, смотрят и вдруг бросаются друг к другу.

– Маруся!

– Лена!

– Вот не ожидала!

– Как ты изменилась. Ни за что бы не узнала.

– Это... это – инженер Пролов.

Инженер раскланивается, и огонек сдержанного любопытства пробегает в глазах.

– Когда бываешь дома? Непременно, непременно к тебе приду.

– После восьми. Магазин запирается в восемь. Мама будет страшно рада. Вот неожиданность!

Вечером в крохотной комнатке курлыкал самовар, суетилась старушка, добродушно сдвинув на лоб очки, и подруги, оживленно и радостно перебивая друг друга, без умолку говорят.

Хорошо сложенную, крепкую фигуру Лены стройно охватывает просто, скромно, прекрасно сшитое синее платье, в ушах синеют маленькие бирюзовые сережки, и пряди золотистых волос лежат гладко.

«Она некрасива, – думает Маруся, – но что в ней так привлекательно?»

– А помнишь, Маруся, как мы с тобой в музыкалке?

– Боже мой, еще бы! А как будто сто лет прошло.

– А как ты профессору язык показала?

– А ты вцепилась в лихача?.. Ах, мамочка, ты знаешь, раз выходим из музыкалки. Была зима, снег, солнце, весело, разговариваем, смеемся, – ты в это время в Нижний уезжала. Вдруг вылетает лихач. Крики, вопль: «Держи, держи!» Смотрим, лихач налетел на ребенка, смял, лежит маленький на снегу, а лихач хлещет, безумно несется, чтоб уйти. Лена как завизжит, как бросится навстречу, подпрыгнула и на всем скаку вцепилась лошади в удила. Лихач умчался. Мы ахнули. Смотрим, на снегу ее нет. Побежали гурьбой. За два квартала лихача схватили городовые, – Лена все время висела, вцепившись в уздечку. Не могли оторвать, так и закоченела, насилу разжали руки. Ну, мы окружили, тут же на улице прокричали ей «ура».

Старушка стояла перед Леной, подперев локоть рукой, и, любовно глядя, покачивала головой.

– Милая моя!

Девушки болтали, и минувшее, как живое,

вспыхивая, пробегало, заполняя красками и движениями крохотную комнатку.

– Кто этот инженер, с которым ты была?

– Вот что, Марусечка: через воскресенье я за тобой заеду, поедем в театр – «Золотая Ножка».

– Только я... – замялась Маша. – Я – на галерку.

– Какая там галерка! – раздраженно бросила Лена. – У меня ложа.

– Кто еще будет?

– Целое общество.

– А кто это с тобой был в магазине, этот, с красивой бородкой?

– Ну, прощай, дорогая!.. Смотри же, в воскресенье в восемь чтоб дома была.

Подруги крепко поцеловались.

VIII

Когда в воскресенье приехала Лена в бриллиантах, с оголенной шеей, с острым, бегающим взглядом, они вдруг почувствовали себя чужими. И стараясь подавить и замаскировать это ощущение, перебрасывались незначащими фразами, а в карете ехали молча.

Беззвучно прыгали колеса. Пробежали,

мелькнув вечерними огнями, улицы.

Площадь потонула в розовой дымке. Крикливо выделяясь яркостью, нагло горело багровое зарево огромных фонарей.

Все вокруг пунцово-красное: площади, мчащиеся экипажи, лошади, лица, бегущая мостовая, мрак наверху. Чудились румяна на поблеклом, наглom лице, яркие лохмотья на грязном теле.

Мальчишки, пунцово-грязные, оборванные, испытые, иные с пьяной, циничной бранью и нежными ярко-красными цветами, бежали рядом с каретой, крича хриплыми головами:

– Ба-арыня, купите пукетик!.. Ба-арыня, купите пукетик!..

А из гладкой, слепой, без окон, без украшений стены искривленными линиями разверзалась пасть. Всегда разинутая, всегда залитая изнутри багрово-трепетным светом, алчно глядела на кишевший по площади муравейник.

И когда подруги подымались по широкой, беззвучной от огромных ковров лестнице, праздничная атмосфера охватила их; шелест

шелка, блистание золота, драгоценностей и женских плеч и легкий, но непрерывающийся, устающий говор и гул.

В ложе встретились с инженером с красивой бородкой и еще с несколькими мужчинами во фраках и с дамами, сиявшими драгоценностями и улыбкой, в платьях с низко вырезанными декольте.

Было что-то жуткое для Маши и подстерегающее в этой красивости, изяществе и изысканности, но все были так сдержанны, так внимательно-любезны друг с другом, что тайная, несознанная тревога улеглась, и все радостно слилось в одно праздничное настроение.

– Так я уйду, – негромко проговорила Лена, когда подняли занавес и пробежал, смолкая, последний говор и гул.

– Куда же? – И Маша полутревожно оглядела ее красивую, крепкую, стройную фигуру.

– На сцену... Я – во втором акте, – нехотя и небрежно бросила Лена.

– Ах, вот что!..

И все время среди стройно звучащих со сцены голосов, среди аплодисментов, говора

и шума антрактов перед Машей навязчиво вставало: «Я – на сцену...» И представлялся Пролов с подстриженной бородкой, с красным манто на руке, как впервые увидела в магазине, с острым бегающим огоньком щупающих глаз.

Теперь он был совсем другой: сдержанный, почти суровый, но внимательный и любезный.

– Бояринов – прекрасный артист, но напрасно он берет такие роли, – говорит он, слегка наклоняясь, точно желая подчеркнуть свое особое отношение к ней, полное уважения, почтительности, готовности на услугу.

– Мне его голос нравится, – говорит Маша, конфузясь и радостно чувствуя обаяние молодости и нежную игру румянца на щеках.

«Но почему же она мне не сказала, что на сцене, и почему этот инженер?..»

Снова уходит вдаль зеленеющий обманчивый простор сцены с облаками, с поблескивающей речкой, с избами деревни. Девушки, в такт прихлопывая ладошами, ведут хоровод, поют, потом одна выступает и под оркестр пляшет русскую. Гибкая, стройная, она вызы-

вает гром рукоплесканий.

– Ах, да это Лена!

И Маша не отрывается блестящими глазами от гибко и гордо плывущей фигуры.

«Так вот что... Но почему же танцовщицей быть хуже, чем приказчицей в магазине?»

После спектакля поехали ужинать. Яркий свет, шампанское, смех, остроты. Магазин, серые дни, мать – все куда-то ушло, потонуло, было только незнакомо-празднично и весело. Лица разгорелись, глаза блистали, и установилась странная близость с этими, за несколько часов еще незнакомыми людьми.

Инженер наклонялся и, чокаясь, говорил:

– Ваше здоровье...

А глаза говорили о чем-то о многом, далеком и близком.

– Да здравствует искусство и его прелестная представительница – Елена Николаевна!

И среди говора и звона вдруг странный, резкий, чуждый звук. Елена откинулась на спинку стула с бледным лицом и горящими глазами впиалась в красивого, с седеющей бородкой брюнета во фраке, своего соседа. А он ласково усмехался ей одними глазами.

Все стихли.

Маша ничего не понимала, глядя во все глаза, и в голове смутно звучало, все яснее обрисовываясь, пошлое, гадкое слово, в первый момент не сознательное, прорвавшееся сквозь говор и звон, которое шутливо бросил Лене ее сосед.

И прежде чем девушка успела дать себе отчет, Лена порывисто опрокинула стул и с размаху швырнула через стол бокал с шампанским в лицо инженеру:

– Подлец!

Все ахнули.

– За что?

– Ты – первый!

Инженер салфеткой вытирал лицо и платье. Лена бросилась в соседний кабинет, Маша – за ней.

– Все, все отняли... Танцую прекрасно... Тепло отличное... – судорожно выдавливала Лена душившие ее слова.

Но через десять минут все было в порядке – смех, говор, остроты, здравицы, разгоревшиеся лица, блистающие глаза. О «нервах» уже никто не упоминал, и праздник продол-

жался.

Уже под утро инженер в карете провожал Машу домой.

Они сидели рядом, слегка касаясь друг друга, и инженер ласково, задушевно и чуть-чуть грустно говорил о своей жизни, о своих работах, удачах и неудачах, о своем одиночестве.

Он был корректен и безупречен. В напряженно-чуткой осторожности Маша боялась – вот-вот скажет какое-то простое и страшное слово, боялась и ждала.

Карета остановилась, но в окно Маша бегом заметила – по спавшей улице стояли не те дома, где она жила, а инженер, стоя у открытой дверцы, говорил:

– Зайдемте на минутку. Мне бы хотелось показать вам удивительные коллекции, вывезенные мною из Средней Азии.

– Поздно.

А перед глазами все быстро плыло кругом.

– На минутку.

И чувствуя, что все кончено, что нет возврата и не может быть, она вышла, жадно глотая ночной воздух, и инженер предупредительно поддержал. Захлопнулась дверца,

каре́та беззвучно отъехала, а швейцар распахнул двери подъезда, сквозь которыеглянула усталая ковром широкая лестница.

«Кончено!»

На секунду прервалось дыхание, и она закрыла глаза.

Инженер посторонился, давая дорогу.

И вдруг все, что всосалось с молоком матери, все привычки, взгляды, покойный отец, мать, крохотная комнатка, что скажут о ней знакомые, родные – все встало между ней и этим красивым, молодым, таким почтительным человеком, дающим ей дорогу.

И, пятясь, выкатив глаза, в ужасе протянув руки, она торопливо шептала:

– Нет, нет, нет!.. Нет, нет!..

Но он крепко, как тисками, сжал руку выше локтя и жестко проговорил, холодно блеснув незнакомыми глазами:

– Пожалуйте.

А она отчаянным, нечеловеческим движением вырвала руку и бросилась бежать по панели, бормоча:

– Нет, нет, нет!.. Нет, нет!..

Сзади торопливые, догоняющие шаги.

– Да позвольте... Куда вы?.. Хорошо, я доведу вас в карете.

Она путалась в юбках, задыхалась от безумного бега и неслась мимо темных домов, спящих извозчиков, неподвижных городских...

– Нет, нет, нет!.. Нет, нет!..

IX

По-прежнему бегут дни, недели, месяцы, годы.

Бегут годы, и нет уже ямочек, нет нежной пушистой кожицы персика на щеках, нет беспричинной молодой радости, но все то же ожидание в усталом сердце.

Оно красиво, оно все еще очень красиво, это удлинившееся матово-бледное лицо с глубокими глазами.

Бегут годы, и, как берега широкой реки, убегает прошлое.

Вот уже далеким воспоминанием маячит Лена – где-то она теперь? – инженер с подстриженной бородкой, бокал, швырнутый ему в лицо, в глубине широко отворенной двери устланная ковром, приглашающая к яркой, жгучей, страшной жизни лестница, –

маячат, убегая и пропадая в дымке прошлого.

Незаметно, но все тихонько и неотвратимо меняется. Те же дома, улицы, та же работа, но многое исчезло невозвратно.

Давно уже не видела Николаева. Выделяясь пятном, он тоже убегает далеким воспоминанием.

Заходил он печальный и грустный, потом уехал навсегда, а она получила письмо. И в нем было: «Я люблю вас, и мы больше не увидимся...» И еще: «Золото в горах лежит тоненькими прожилками, а массивы лежат грудами, давят и дают формы...»

Ничего особенного, но каждый раз, как вспоминает, кольнет обидой.

И те же улицы, и те же дома, и тот же неустанный грохот и гул города. А жизнь убегает.

И надо бороться за нее зубами и когтями, ибо при малейшей оплошности даже ее, серую и скучную, отнимут.

Но ведь тысячи людей за этими стенами, окнами, тысячи людей на этих улицах, площадях имеют семью, живут человеческой жизнью.

Человек с длинными бегающими пальцами по-прежнему приезжает, привозит цветы, конфеты и говорит:

– О такой жене, как вы, я и не мечтал, но... но я получаю только две с половиною тысячи, а этого довольно только на то, чтоб плодить только нищих...

«Будем плодить нищих!»

Иногда ей кажется – вот-вот ее отпустит кто-то, кто неумолимо охватил ее, сжав безжалостные когти, но крепко держит магазин, спокойно, бесстрастно шумит кругом огромный город.

Она прислушивается и вдруг слышит, слышит не экипажи, не колеса, не удары кованых копыт, не шаги людей, не говор и гомон, а ни на минуту не смолкающий, тяжело колеблющийся голос города:

– Га-а-а-а-а...

Мутно дрожа, стоит в окнах, в ушах, в груди:

– Га-а-а-а-а...

Торопясь на службу и глядя на уходящие под ногами плиты и чтоб слышать свои мысли, она думает вслух:

– ...Двадцать четвертое... пять дней... Как приду, возьму у Нади... большой и высокий, рыжая борода...

– Га-а-а-а...

Иногда ей попадаются люди, которые тоже идут торопливо, нагнув голову, и думают вслух.

Город всех покрывает одинаково, ровно, без пощады:

– Га-а-а-а...

А по ночам она мечется в припадках тоски и отчаяния.

Мать измученно стоит над ней:

– Марусечка, Марусечка, дочка моя!..

А та бьется в рыданиях:

– Пусти, пусти!.. Так всю жизнь... Вон я уж старая делаюсь, кому я нужна?.. Ты-то прожила себе... Пойду на улицу, все равно... О, я несчастная!..

– Марусечка, Марусечка!

– Ну, что «Марусечка»?.. Из твоей жалости шубы не сошьешь...

А утром, как бежать в магазин, она не может оторваться и целует, целует эти старые, так много поработавшие на своем веку руки.

– Мамуся, не сердись на меня... Мамуся, я – гадкая, я – злая... Мамуся моя родная!

По ночам мать встает и подолгу прислушивается к дыханию дочери.

Тихо озаряет лампадка, и на лице тени. А возле кровати, на коврике, башмачки с чуть покривившимися каблуками. И вид этих небрежно брошенных башмаков в тихом сумраке спящей комнаты почему-то особенно больно поражает старое изболевшееся сердце. Медленно и горько в морщинах ползут слезы. Становится на колени, тихо шепчет, глядя на колеблющиеся в углу по образу тени, и этот материнский шепот наполняет комнату, дом, город, наполняет весь мир.

– Господи, господи!.. Ты видишь, господи... Ты можешь, господи!..

Уже погаснут фонари, засереют окна, когда прервется никогда не оканчивающийся, спрашивающий, ждущий ответа шепот матери, и с трудом опираясь о пол рукой, подымается она, чтоб, когда пройдет суетливый, мешающий день, снова остаться одной в темном примолкшем мире и спрашивать того, кто

никогда не дает ответа.

А в черных окнах глухо и подавленно, но все так же тяжело дрожа:

– Га-а-а-а-а...

Х

Когда *это* пришло, мать не знает, но *оно* навсегда осталось в маленькой комнате и стояло неопределенное, ждущее в углу, противоположному тому, где мерцала лампадка и шевелились тени.

В первый раз старушка с ужасом отогнала, испуганно крестясь дрожащей рукой, но страшная мысль, как привидение, стояла, наполняя комнатку...И что бы ни делала:, готовила ли обед, ждала ли дочку, или шла по улице, – эта новая, страшная мысль жила с ней.

Она странно слилась с не потухающим ни днем, ни ночью, тяжело вибрирующим «га-а-а-а...» Слилась с громадой каменных домов, тысяч чужих, занятых своим людей.

И чем дальше, тем больше давил роковой, неизбежный и единственный выход.

Погасла лампадка, и стены маленькой комнатки, когда слышалось ровное дыхание

спящей девушки, уже не видели стоящую на коленях измученную фигуру старушки.

В черном люстриновом платье, которое надевала раз в год, в маленькой, черной же шляпе, держащейся на макушке, с узелком в руках, старушка бесчисленно крестила свою любимицу, целовала и опять принималась крестить и благословлять, но глаза были сухи.

– Мамочка, ты точно навсегда прощаешься.

– Господь тебя благослови и сохрани, святая богородица...

– Ты скоро вернешься?

– На три дня, на три дня, моя ненаглядная! Ты же не горюй, помни одно – тебе нужно жить, у тебя жизнь впереди... Ну, да благословит и сохранит тебя господь.

И когда девушка легко и быстро стала спускаться – позвала и еще раз торопливо благословила и крепко обняла и не отрываясь глядела в глубокий пролет, пока та не потерялась на последнем повороте.

Долго стояла, ловя последние тающие сле-

ды звука шагов, потом тоже спустилась неслушающимися старческими ногами, и через полчаса качались вагонные стенки, в такт неся снизу говор и гул, и пролетали будки, столбы, деревья и далекие поля.

С узелком и сухими глазами стояла она на качающейся площадке. Уже пора.

Она была спокойна.

Все, что заполняло ее жизнь, – небо, земля, ад, – все было низвергнуто одной жестокой в своей правоте правдой – счастьем дочери.

Вот она уйдет отсюда и уже не смеет сделать привычного, ставшего органическим движением знамения креста. И когда предстанет перед горними местами, не скажет: «Господи, раба твоя недостойная!..» Не взглянет господь, а торопливо уготовят ей место смрадные, злобно хохочущие существа. И это – вечно.

Вся жизнь, полная муки, нужды, несчастья, беспросветная, только и озарялась неугасающим огнем ни перед чем не гнущейся веры: здесь тяжело, а там господь скажет: «Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененные!..» Теперь не скажет. Все, что неот-

делимо срослось с мозгом, с сердцем, со всеми думами, чувствами, все, грозное своею бесконечностью, все – за земное счастье дочери.

Она сделала шаг и с секунду задержалась над толкающимися, из стороны в сторону ходившими буферами, и шпалы безумно неслись под ними назад.

Потом перестала держаться, падая в открытую грохочущую железную могилу, не увидела хохочущей, оскаленной, мерзкой бесовской рожи, как ждала, а только мелькнувшие железные скрепы трясущегося над рельсами вагона.

Толкались и ходили из стороны в сторону буфера, и неся неумолкающий грохот на пустой площадке.

В первую минуту по получении страшного известия девушка чуть было с ума не сошла, но время делало свое дело, как паук тклет свою паутину, – надо было работать, надо было отдыхать, надо было наполнять свои дни, надо было продолжать жить. И сердце, усталое и разбитое сердце, подымало снова свою голову, требовало снова своей доли.

В бумагах покойной нашли полис, – ее жизнь, к изумлению дочери, оказалась застрахованной, и девушка получила пятнадцать тысяч рублей.

Через год она была женой бухгалтера и была счастлива счастьем, купленным ей матерью. У нее были канделябры, люстры, бархатные скатерти, мягкая мебель, хорошенький будуар и платья дорогой мастерской.

И когда просыпалась, первое время по привычке со страхом прислушивалась, в темные окна уже не просился страшный, мертвый, дрожащий голос «га-а-а-а...»

Просто несся звук экипажей и подков и шорох тысячи людей.

Муж ее обожал и баловал. Иногда, как и во всякой семье, случались размолвки, и бухгалтер, раздраженно бегая длинными подвижными пальцами, кричал:

– Ну да, какие-то несчастные пятнадцать тысяч!.. Уж раз она решилась на это, так могла же хоть двадцать поставить. Ведь ей же решительно все равно было – пятнадцать, двадцать или тридцать.

А молодая женщина, раздражаясь, говори-

ла сквозь слезы:

– Конечно, конечно, ты только из-за денег меня взял... Тебе все равно, как бы я ни жила, лишь бы мучить...

– Ну, уж кто кого мучит. Хотел бы я посмотреть, как на моем месте другой...

– Нет... это на моем месте...

Но потом он просил у нее извинения, а она просила у него извинения, и они ласкали друг друга и были счастливы.

Она была счастлива.

Человек в скуфейке*

Ни деревца, ни черточки, ни пригорка, ни молчаливого оврага – все немо, ровно дымится злой поземкой, точно холодный стелющийся пожар объемлет землю.

– Вот ок-казия!..

Человек в скуфейке, в продранной наваленной ряске к подставляет обжигающему ветру то спину, то бок, пропихивая неслушающиеся красные руки в рукава.

Испуганно оглянется – сзади ни следа; с злорадной торопливостью все замечает бесконечно колеблющаяся поземка.

И опять идет, вытаскивая ноги, втянув голову и держа у груди не влезающие в рукава красные руки.

– Дорога тут, чую, – стало, иду как надо... О господи!..

Когда бродил между деревнями, не раз попадал в метель, а то и буран захватывал, но, бывало, прибивался куда-нибудь. А теперь все это продолжается слишком долго, и с трудом подымая намерзшие брови, борясь с наплывающим ощущением стынувшего страха, снова взглядывает, – все то же: сплошь подвигается белая, беспредельно колеблющаяся равнина. Бесприютно под холодным низким серым небом, и, впиваясь, тонко повизгивают голоса беспокойно несущихся снежных змеек.

Карман на груди жестко оттопыривается, и тело холодит горсть стынувших деревянных крестиков, которые ножичком выделывает на досуге и продает по деревням за иерусалимские «из кипариса от гроба господня».

Били его однажды мужики, вскорости как был прогнан из монастырских служек, и страшно было, и думал, что убьют; но там жи-

вое человеческое дыхание, красные потные лица, живые голоса, крики, брань и тонкий пронзительный бабий визг: «Ро-однень-кие мои! Ро-однень-кие!..» – а тут, ни на секунду не уставая, низко колеблясь, несется поземка, косо дымятся сугробы, и молчаливо, пустынно холодное небо.

А бабы к нему ласковы. Войдет, бывало, в избу, полную овчинного духа и свежепеченого парного хлебушка; баба в повойнике, с перетянутыми грудями, нагнувшись, лопатой вытаскивает из печи дымящиеся хлебы. Помолится на образа, сядет на лавку, баба стол покроет домотканой скатертью, поставит горячую чашку щей, пар тает, хлебушка нарежет, а сама подопрет щеку ладонью, придерживая локоть у груди, и смотрит и слушает. Носит он в ложке добрые парные щи, ломает «во имя отца и сына» теплые ломти над чашкой, бережно отряхая туда крошки, и рассказывает про Лавру, про Соловки, про Иерусалим, про огни, загорающиеся над гробом во святую ночь, про многое.

Нужды нет, что нигде он не был, – слушают не отрываясь; а он рассказывает, и так хо-

рошо рассказывает, так подробно, стоит все перед глазами как живое, и сам уж верит, что так и было, что все видал своими глазами, везде был и принес сюда, в эти темные унылые избы, отголоски какой-то иной, незнаемой жизни.

Глядь, ан изба уж полна набилась, слушают и молчаливо требуют сверх того, что рассказывает о далеких святых местах. И это есть. Вытрет рот, помолится, расправит падающие из-под скуфейки на плечи светлые волосы и начнет поучать слову божию и как человекам жить надо и избегать греха. Старушки горестно кивают головой; какая бабенка и всплакнет, сморкаясь и утирая углом платка покрасневшие глаза. И самому начинает казаться – несет он правдивое, святое слово, и будто правда, не то игумен послал его, не то сам он давал обещание послужить миру, и вот ходит, и учит, и слушают его, и не надо оглядываться, как бы не накрыл урядник. А как соберется уходить, бабы насуют ему и лепешек и печеных яиц, какая рубаху сунет, иная – две-три копейки. Всегда было на что выпить, да и не без греха – мужик уедет за се-

ном или за дровами; у молодухи глазок веселый, дразнящий, а у него – он знает – лицо приятное, располагающее...

Всем бы хорошо, да вот... неустанно несет-ся поземка, косо дымятся остро перегнувшиеся гребни сугробов, не видать дороги, и уж не чувствует красные заколелые руки, застывающие у груди, которые перестал и пропихивать в рукава.

В противоположность летучей поземке серое холодное небо неподвижно и молчаливо.

Нечаянно роняет оно снежинку. Неровно падая, как белый мотылек, снежинка вдруг помчалась, закрутившись, подхваченная ветром, и смешалась с несущейся поземкой. Белые мотыльки неровно замелькали наискось, закрыв колеблющейся пеленой и небо, и творящуюся снежную даль, и дымящиеся гребни наметанных сугробов, – одно только неустанное мелькание перед глазами.

– Час от часу не легче!..

Он уже не оглядывается, не подымает втянутой в плечи головы, а устало, равнодушно и тоскливо тянется, вытаскивая грузнувшие в снег ноги, и инстинктивно подставляет сты-

нущее правое плечо злому ветру, чтоб держаться одного направления и не кружить в поле, если только ветер не кружит.

Как это однообразное мелькание, помутненно-однообразно и сонно в смерзшихся глазах.

– Все одно...

Хочется привалиться и лечь, подогнув голову.

Нарушая сонливость, теряясь в мелькании, в визге мечущихся снежных голосов, тускло почудилось:

...до-о-онн!..

Сразу потеплело.

Человек остановился, не веря заколелым ушам. Прислушался, ловя визг. Мелькая перед глазами туда-сюда, бесчисленно летели снежинки, заноса руки, плечи, падая и холодя лицо.

Только пошел – слева:

...до-о-онн!.. до-о-онн!..

Повернулся – справа:

...до-о-онн!..

Прислушался – в ветре неровно и злорадно мелькают белые снежинки.

– Водит!

Только тронулся – совсем возле:

...до-о-онн!..

Ничего не разбирая, забыв про направление ветра, кинулся на звон и сразу врюхался в забравший его со всех сторон снег.

Стал рваться, задыхаясь, и сел, дико озираясь, как загнанный, носящий боками волк с обмерзающей пенистой мордой. Кругом равнодушное белое мелькание, и тонко, просящим мертвым визгом повизгивает одинокий ветер.

Стало так страшно, челюсть отвалилась, и в чернеющий рот сейчас же влетели снежинки, растаяв.

Он проглотил холодную слюну. И все выше и выше, остро перегибаясь, нарастал у пояса с наветренной стороны сугроб. Было неудобно, и, отгибая голову, стал заваливаться навзничь.

– Али пропадать?! – злобно закричал он, но крика не было, равнодушно проглотили снежные повизгивания.

Вылез из сугроба и опять потащился, все так же держа у груди не просовывающиеся в

рукава руки, ссутулившись, с сонным равнодушием, ничего не видя в белом мелькании намерзшими глазами. Не чувствовал тепла, и холод не мучил. Если бы звон зазвучал над самым ухом, шагу бы не сделал навстречу. Не было усталости, было все равно.

Так тянулось бесконечно, пока по чьему-то приказу не стала редеть метель и сквозь редящее колеблющееся мелькание не зачернело. Деревня не деревня, церковь не церковь, и не туча, потому что, когда ветер относит редящую пелену, черными линиями смутно проступают очертания.

Когда подошел, увидел, не удивляясь и не радуясь, что это – сани с поднятыми оглоблями. Снег набило с одной стороны целым бугром, а с другой – из-под полоза с тонким визгом тянутся живые снежные струйки.

В задке привязана лошадь, и снег тоже наметался с одной стороны по колено, а бок весь белеет, – равнодушно жует, хозяев нет.

Идет дальше, все прижимая руки к груди и не удивляясь, что ничему не удивляется. Другие сани, третьи. Мужичок копается у одних, достает что-то.

Баба стоит в длинном, по самую землю, нагольном тулупе. Тулуп, широко запахнутый, спереди отдулся; она придерживает его рукой, а другой мерно хлопает, баюкая, и странно звучит в этой обстановке живой, беспомощный, вякающий плач.

Все то же серое, но теперь подобревшее небо роняет лишь одинокие снежинки. Даль открылась, и, насколько хватает глаз, теряются беспорядочно разбросанные сани, и стоит лес поднятых оглобель.

Жуют сено привязанные лошади. Толкаются бабы, мужики. Стоит говор, лошадиное фыркание.

Утоптаный снег затрушен объедками сена, и крепко круглится мерзлый навоз.

На обтаявшем до почернелой земли снегу дымятся обгорелые костры; около возятся закутанные люди.

Все это очень похоже на огромную ярмарку, но это – не ярмарка. Нет ни товаров, ни лавок, ни полицейских с бляхами, ни каруселей с барабанами и бубнами. И ни намека на жилье, – за последними санями глухая теряющаяся степь, и пустынно тянется по ней позем-

ка.

А по степи дымится чуть приметная дорога, а по дороге чернеют сани: одни постепенно теряются в белой мутной сливающейся равнине, другие все яснее, яснее, ближе...

Человек в скуфейке пробирается между санями с поднятыми оглоблями, между мерно жующими лошадьми.

– Во имя отца и сына и святого духа...

Около больших, с широкими отводами, саней тепло млеют красные уголья от прогоревшего костра. Котелок висит на проволоке и поплескивает, шипя, вскипающей водой. В санях под полстью лежит больной, видно ухо желтое, как воск.

– Дозвольте, православные, Христа ради, отогреться, окончательно заколел.

– Ну-к что ж, садись, место есть, – сказала баба с круто наверху вокруг головы теплым платком, сыпая в котелок пшено.

Возле ходили, стояли, разговаривали.

Человек в скуфейке присел на корточки, с трудом разогнул неворочающиеся руки и протянул над угольями, не чувствуя жара.

– Это по какой оказии народу съехалось?

Баба удивленно взглянула.

– Али не знаешь?

А возле предупредительно и дружно отозвались:

– Источник благословенный объявился.

– Святая вода.

– Страждущим, недугующим...

– Прямо из земли.

– Откуда сам-то? Какого монастыря?

– Так, так, так... – закивал скуфеейкой человек. – Чудо господне, послал господь.

Бабы крестятся, сморкаются.

– Так, так, так... То-то иду я, ну, заметь, метет, ни дороги, ни следу, просто вот ложись да замерзай. Ухи как каленые стали. Эх, думаю, по грехам нашим. Взмолился ко господу – не дай во гресех. Взмолился ко господу, ко святым его угодникам, к матери божией, царице небесной, ко ангелам святым, предстоящим пред престолом всевышнего... Взмолился истинною верою: «Архангеле архистратигу, изведи из печи огненной, яко трех отроков из зева львиного...» Глядь, ан предо мной столб бе-елый, как, сказать, пар...

Кругом надвинулись, смотрят блестящими

глазами и слушают через плечи друг друга.

– Перекстился – и за ним. Господи, спаси и помилуй... Так и шел за белым столбом, пока да сюда не пришел.

Он оглядывает всех покорно-уверенно, потом делается маленьким и виновато спрашивает тонким голосом:

– Урядника не видать?

– Нетути.

А кто-то сказал:

– Кабы не нагрянули – надысь убили тут одного.

Человек в скуфейке оглянулся и испуганно поднялся, втянув голову в плечи, как будто опять мороз стал забирать.

– Это за что?

Мужик понизил голос и, дыша в лицо теплым дыханием, сказал:

– Убили тут надысь одного...

У человека в скуфейке испуганно забежали белые глаза.

– Это за что?

– Спьяну баит – никакой чудесной воды нету, это, мол, известно, труба водопроводная прохудилась, под землей на сорок восемь

верст идет степью, вот и вода. Ну, били!.. Глаза выскочили...

– Ах ты, дело какое, грех! Дознаются, всем нам будет.

Он беспокойно пошел, творя вслух молитву, оглядываясь. В одном месте покормили горячей кашей, выпил кипяточку из чайника.

Мужики в заснеженных валенках, бабы в овчинах с закрученными на головах платками бережно, не отнимая глаз, идут навстречу с полными водой склянками, ведерками, кувшинчиками, а другие с посудой тянутся по протоптаным между санями стежкам, все куда-то к одному месту. Человек в скуфейке пошел за ними, сделав постное лицо.

Одиноко попархивают редкие снежинки.

Четверо, держась за углы, несут на полсти человека, прикрытого овчинами. Снег скрипит под ногами. На полсти голова с прилипшими волосами беззвучно переваливается, и молча глядит из-под края овчины желто-восковое, мертвенное лицо мутными, невидящими глазами в серое небо.

А за ними лебединой поступью молодуха. Шубка опушена, и белое холеное лицо, и жар-

холодная поземка.

Чем дальше, тем больше гомозится народ, и уже густо темнеет подвижная меняющаяся толпа, а над нею морозно дымится уносимое дыхание, и шевелятся волосы на открытых, без шапок, головах.

Одни работают локтями, пробираются внутрь, другие с строгими лицами выбирают-ся и в руках бережно держат посудины с водой.

– Ну, куды лезешь? На голову?

– А ты что за енерал? Распространил пузо по всей степе...

– Кабы не свято место, я б те сказал, как тея мать родила...

– Объясни!

– И объясню.

– Ну, объясни!

– Моли бога, свято место, а то б из тебя двоих сделал.

– А ну, сделай, сделай!.. То-то, сделалка ма-ла.

– Да будя вам.

– Нашли место.

Нечеловеческий тонкий, звериный вопль

бьется, мечется над обнаженными головами, дикий, необузданно исступленный, которому нет имени.

Это – не крик, даже не визг, а не то гусиный крик, не то рев скотины, почуявшей кровь, не то собачье подвывание, жалобное, щемящее; царапает сердце, и раздраженно является злобное желание пнуть ногой кричащую.

Толпа шатается в непрерывном движении. Где-то отзывается такой же вопль, и еще, и еще...

...а-а-а!.. о-о-о!..

Бабы беспокойно вертят головами. Губы, лицо начинает дергать, – вот-вот всех охватит исступленно-неудержимое, заражающее беснование.

Мужики, неодобрительно кряхтя, чешут за ухом, чувствуя – и у них начинает скрести.

– Экк ты!

– Ну, зачали...

– Тащи к воде... с молитвой.

– Ры-ыбки... ры-ыбки... свежемороженые... – Сбитню горячего! Сбитню!..

В стороне поторговывают водочкой. Гнуса-

вые, всюду знакомые голоса:

*Ла-азарь ты-ы мо-ой, Ла-за-арь!
Бра-ат мой бо-о-га-а-ты-ый!..*

Заунывно, заученно, без выражения, без надежды, без прошлого. Груды открыты морозу, белые глаза неподвижны, на лице – профессиональное равнодушие, и мерно качаются, сидя на снегу, и в деревянных чашечках медные монеты.

Человек в скуфейке пробирается сквозь толпу, резонится, работает локтями.

– Православные, ослобоните, нельзя... дайте пройти... Ну, что навалились, не в святом будь месте помянут...

Пробивается в середину, туда, где сгрудилась, шатаясь и переливаясь, толпа.

Нагибаются, черпают.

В утоптанном снегу небольшой водоем с обтаявшими краями. Странно противопологаясь морозно стынущему дыханию, мертво скованным сугробам, серому, таящему метели небу, подвижно колеблется и играет живая темная вода.

Крестясь, черпают ее склянками, кувшина-

ми, сороковыми, и она плещется, живая, веселая и, должно быть, теплая, – на дне вода колышет бледно-зеленый стебель, и, вытягивая ножки, плавают проснувшиеся, потревоженные, неожиданно отогревшиеся лягушки.

Желтеют набросанные иконки, кресты.

Седенький старичок, стоя на коленях на снегу, молча и быстро бьет поклоны, прижимаясь лбом и голой, стариковски неровной головой к обледенелым краям. Кругом топчутся валенки, сапоги, задевают, толкают; ни на минуту не падает говор, вздохи, обрывки молитвы; а голая, изрытая годами, белая, как кость, голова с минуту истово поднята к небу; ко лбу, к груди, к плечам прижимаются старые, высохшие пальцы, и опять старой, сухой кожей прижимается к обледенелому снегу без числа, без остановки, без отдыха, – идет какая-то своя, таинственная, независимая от окружающего, одному ему ведомая работа.

Раздавая толпу, протаскивают больных и тут же кладут возле топчущихся валенок на обледенелом снегу, сдерживая отовсюду наваливающихся.

– Братцы, ослобоните!.. Ну, куды лезешь?

Не видишь, зенки залил!

А больные, желтые, измученные, равнодушные, с закрытыми глазами или с умилением и надеждой глядят, с последней надеждой. И столько калек, безногих, слепых, изуродованных, замученных голодом, нищетой, лишениями, тысячами болезней, точно повыползли из щелей черной, иссохшей, потрескавшейся от бесплодия и горя земли.

Бабы, с озабоченно-решительными лицами, нагибаются, черпают, торопливо плещут больным в лицо, льют на голову, в рот, на открытую, странно желтеющую на морозе грудь, и стынущая вода весело серебрится тонким ледком в волосах, на одежде обмерзают разбежавшиеся капельки.

Бабы командуют, и больных торопливо, по очереди, не теряя времени, одних приносят, других уносят.

Два дюжих мужика с озлобленными лицами с трудом держат бьющуюся в исступлении кликушу. Она худенькая, маленькая, с костлявым птичьим носом, но выворачивается с неестественно-безумной силой, точно давно вывернуты суставы, и она, как бескостая, вы-

скальзывает из стискивающих, озлобленных рук.

Дикий, неожиданный у человека, звериный вой режет морозную синеву, покрывая движение и говор толпы. Ей усердно и с тем же радостным озлоблением плещут в лицо и на голову серебряно-обмерзающую воду, и она разом смолкает, перестает биться, и на всех глядят измученные человечесьи глаза; а в наступившей тишине снова выросли говор, выкрики, обрывки молитвы, вздохи, пререкания и звонкий бабий голос, в сотый раз профессионально рассказывающий:

– Как было-то? Да так. Идет он, сердешный, святой старец-то, идет по степе, а метель метет, мете-ель крутит, зги не видать, иззяб, моченьки нету идтить. Кругом сколько верстов не токмо жителей – дыму не почуешь. Видит – смерть. Взмолился ко господу. «Господи, не пусти погибнуть без покаяния». Услыхал господь. Глянул святой старец, а перед им столб огненный, сказать, как пар, бе-елый, и крутится. Перекстился старец и пошел за столбом. Шел-шёл, шел-шел, глянь-кась, а у самых у валенок снег тает, тает, тает. Растаял снег, а

там вода, да те-оплая... Старец обогрелся, благословил перстом: «Водитесь и размножайтесь, твари земные». Вот они, лягушки, и завелись. А сказывают, если благословение будет, и рыба заведется. Хрестьянам на прокормление. Вот оно, чудо, и сотворилось. Сами знаете, в эфтих местах воды никогда не было ее. Колодезей – и тех нету, одно слово – сушь. А тут середь зимы, на! теплая вода... Вот и ездют и исцеляются.

– Мати пресвятая, царица небесная!

– Невидимо, стало быть.

Человек в скуфейке вытаскивает из-за пазухи засаленный, с затрепанными углами псалтирь, раскрывает и, придерживая озябшими, красными, скрюченными пальцами и поглядывая по сторонам, начинает привычно читать не своим, гнусавым голосом первое попавшееся место:

– «Суди меня, господи, ибо я хожу в простоте моей... Суди меня, господи, ибо я хожу в простоте моей и на господа уповаю, не поколеблюсь. Испытёй меня, господи, не искуси меня. Переплавь внутренность мою и сердце мое. Ибо милость твоя пред очами моими, и в

истине твоей хожу я...»

Голос тот самый, которым он тысячу раз читал, скучно-монотонный, странно-усыпляющий, лишь тонко повышаясь, цепляет конец стиха, и эта мерная монотонность вытесняет горечь, и боль, и старые обиды.

«А чашки нету... – И, кося, быстро обегает глазом. – Надо у воды чашку поставить, оттого и не кладут».

– «...а я хожу в простоте моей, избавь меня и помилуй меня...»

Кругом по-прежнему толпятся, молятся, разговаривают, выкрикивают; визжат кликуши, гнусавят нищие. Стоит все тот же свой, какой-то будничный порядок.

Одни стоят, опустив непокрытые головы, слушают нищих, другие – псалтирь, третьи пробираются назад, чтоб запрягать и ехать домой, и торговки выкрикивают снесь.

Дедушка с голой, как кость, головой бьет поклоны.

Громадный мужик, с всклокоченными лохмами, такой же всклокоченной черной бородой и сверкающими, как у цыгана, глазами, слушает псалтирь, а может быть, и не слуша-

ет, а пристально всматривается в читающего, все пристальнее, все подозрительнее. Долго глядит, потом кладет на плечо тяжелую руку, и тот испуганно приседает.

– Ась?

А черный говорит, мотнув мохнатой головой:

– Будя, будя читать-то!.. Слово скажи, скажи слово, – вишь, народ дожидает.

Человек в скуфейке оправляется и говорит скороговоркой:

– Что ж... я ничего... я могу... во имя господне...

И, оправившись совсем, хозяйственно-озабоченно говорит:

– Низко, не видать и не слышать. Кабы подставочка... Что я им в брюхо-то говорить буду?

Около них толпятся, прислушиваясь.

– Сани можно, – слышится из толпы.

– Во, во, во!.. Сани.

– Ага!

Лохматый мужик расталкивает, идет к ближайшим саням, могуче встряхивает за поднятые оглобли, чтоб сдвинуть из завалив-

шего снега, и приволакивает к водоему.

– Во, во!

– Суды, суды!..

Толпа расступается, смыкается вокруг саней.

Человек в скуфейке ощупывает довольными глазками, облизывает губы, готовит голос; заученные слова, жесты, выкрики – все наготове.

И пожимаясь от холодного ветра, который забивается в рукава, лезет на скрипучие, заляпанные снегом розвальни, – влезет и значительно скажет такое старое, знакомое: «Православные христиане!..»

Откашливаясь, влез; влез, оглянулся и разом потерял приготовленное, точно рассыпал.

По белой равнине, далеко уходя, в ожидании глядит в серое небо лес поднятых оглобель. Видны привязанные лошади, а людей нет, – все огромной сплошной, не прерывающейся толпой сдвинулись вокруг его саней, все затопив, – и истоптанный, с мерзлым конским навозом снег, и нищих, и торговков, и замолкших кликуш, а отдельные фигуры тороп-

ливо бежали между саней к темнеющей толпе.

Человек в скуфейке озирается в испуганном недоумении.

Захотелось потихоньку, съездившись, незаметно слезть с саней и смешаться и потонуть в этой толпе баб и мужиков, которым он рассказывал по деревням и с такой огромной пользой для себя о святых местах, об угодниках, о спасении души, – но огромное желтеющее лицо толпы, тысячи глаз, тысячи напряженно ожидающих, не отрывающихся глаз тянутся к нему, связывают и не пускают.

Чувствуя себя крохотным и бесконечно затерянным и чувствуя, что надо, наконец, начать, он ловит стянувшимися от холода губами холодный воздух, стараясь и не в состоянии глубоко вздохнуть, и говорит совсем не так, как надо: «Православные христиане», а говорит сорвавшись и испуганно:

– Братцы!..

Но, должно быть, именно так и надо было начать, потому что судорогой пробегает по толпе не то вздох, не то звук удивления, и, пошатнувшись и придвинув передние ряды к

самым саням, толпа замирает, темнея непокрытыми головами и дымясь стынущим на морозе дыханием.

И сам, охваченный нарастающей тревогой, чувствуя подступающую к глотке спазму, недоуменно собрав брови и не зная, что дальше говорить, человек в скуфейке неожиданно для себя выкрикивает:

– Братцы! во грехах... по грехам нашим, бра-атцы!..

Густой мороз тяжело и равнодушно глотает пискливый голос, но для тысяч людей он гремит, как труба архангела, и, отпрянув, тысячекрат повторенный, далеко потрясает молчаливую холодную снежную степь.

– Во грехах!

– Го-осподи!

– По грехам нашим.

– ...а-а-а-а!..

– Оставил нас господь!

В судорожных рыданиях бьются женщины, но это – не отвратительные выкрики кликуш, а жгучее отчаяние не видящих конца людей.

– По грехам нашим...

– Оставил господь...

– Нет нам прощения...

И тысячи рук простираются, и тысячи голосов мечутся, и пар дыхания, как дым каминов, колеблясь, возносится над ними.

Человек в скуфейке, весь трясясь, стуча прыгающей челюстью, огромными, расширенными глазами всматривается с недоумением, с великим изумлением высматривается и видит, видит то, чего не видел годы: видит испытые, измученные, обветренные лица, скорбные, изрезанные нуждой, горем, отчаянием, молчаливой покорностью; видит эти лица, вместо которых прежде видел только дичь, то простодушную, то хитрую, к которой надо было осторожно, умеючи подходить; видит тысячи глаз, которые ждут от него ответа на непоставленный вопрос.

Седенький старичок, стоя на коленях на снегу, все бьет поклоны, не обращая внимания на окружающее, как будто их много, этих поклонов, надо выбить за тяжкую жизнь, крепко прижимает застывшие пальцы ко лбу, потом, нагнувшись, крепко прижимает лоб к холодному снегу.

Другой, со свалывшейся собачьей бородой, с изрезанным заветренным лицом, стоит и, держась за оглоблю, смотрит затуманившимися глазами на человека в скуфейке и говорит, улыбаясь улыбкой непроходящей усталости:

– Мочи нету, нету мочи! Не терпит грехам нашим... во... некуда больше!..

И улыбается. И тянутся руки.

– Некуда нам, окромя тебя!

– Все пути заказаны!

– Мочи нету!

– Пропадаем!

Человек на санях все с так же прыгающей челюстью срывает с себя скуфейку и, подняв руки, истерически кричит:

– Бра-атцы, спокаемся!.. Обманывал, всех обманывал. Шел в метель, смерть глядела, а я об том только думал, как бы... об бабах думал да об водке, братцы!..

Он не знал, что еще сделать, оглядел безумными глазами эту человеческую громаду, это мирское лицо, глядевшее на него тысячами измученных, спрашивающих глаз, и, как последнее средство, схватил себя у горла за ворот, так что лицо посинело от натуги, до-

низу разорвал ряску, кафтан, рубаху, и на всех глянула белая обнаженная грудь.

Тысячи людей упали на колени, тысячи людей в судорожно-радостном озлоблении разорвали одежды, тысячи обнаженных человеческих грудей подставились морозному дыханию. И вопль, потрясающий, не стираемый во всю жизнь, тяжело колеблясь, стоял в бело-мелькающем снежном воздухе,

– Спокайтесь!..

– Грешники!..

– Последний час!..

– Нету мочи!..

– Лютая смерть!

Вопль, отдающийся, как удары колокола, точно пришел последний день.

– Спокайтесь!..

Тысячи судорожных рук разорвали пропитанные потом и кровью кошель, и тысячи замусоленных бумажек, серебряных рублевинок, темных медяков замелькали в воздухе, вырастая живою, шевелящеюся, бело-запорашиваемою грудю.

– Спокайтесь!..

Бросали полушубки, полсти с саней, при-

водили и привязывали лошадей, и когда ничего не оставалось у человека, падали на колени в снег, били поклоны в обледенелые сугробы и кричали исступленными, радостными голосами:

– Человека убил, братцы, человека, проходящего... в Инсаровской роще!.. Как лежал под кустом, так и остался. А денег тридцать два рубля сорок девять копеек... братцы!..

– Ребеночка, как родила, в корыте подержала, захлебнулась андельская душка... В навоз закопала...

– Жену забил до смерти... до смерти, как скотину... до-о смерти... до-о смерти!..

– Сноха-ач!.. Смотрите на меня – сноха-ач!.. Валялись в ногах... молоденькие... без защиты... просили, слезьми ноги обливали: «Не трожь!..» Никого не пожалел, со всеми жил, всех опоганил... Православные, вот он я, весь!..

Все говорили, выкрикивали, исступленно приносили себя на всеобщее распятие; все кричали, и никто никого не слушал. Человек в скуфейке тоже кричал, просил и плакал:

– Всех обманывал, торговал словом божи-

им...

А снег медленно и торжественно падал, покрывал людей, сани, лошадей, медленно и неотвратно покрывая гул и говор, который словно отодвигался, замирая.

Человек в ряске точно проснулся, с удивлением огляделся вокруг. Снег густо валил. Смутно пробивались, пропадая, неясными пятнами темнеющие силуэты. Не было ни саней, ни людей, ни лошадей, только белая, трепетно колеблющаяся, все заслоняющая снежная пелена. Он разом почувствовал, что он один и что мороз забирается и холодит открытую грудь.

– Ах ты, господи, и что такое!

И прихватив и зажимая на груди разорванную ряску, оглядываясь, слез с саней и наткнулся на ворох набросанных бумажек и медяков, все гуще и гуще белевших.

И все так же испуганно, по-заячьи озираясь, сунул руку, захватил горсть, зажал под ряской и воровато потонул в колеблющейся, живой, играющей снежной мгле. По-прежнему мелькали неустанным мельканием снежинки, понизу тянула поземка, и было оди-

ноко, пусто и безлюдно.

Колечко*

Чуть глянула из-за дальних курганов зорька, а на базу уже все оживилось: петухи орали, утки, побрякивая, раскачиваясь, плелись к речке, поблескивающей из-за верб, с белевшими от пуха берегами; из-под навесов доносился брызжущий звук молока о железо в пустых ведрах, и телята, брыкаясь и задрав хвосты, скакали в загородке в нетерпеливом ожиданье теплых и влажных сосцов.

Земля не совсем еще проснулась, тускло подернутая предутренним, полным прохлады росистым налетом, и тонко белели застигнутые по лощинам, не успевшие растаять зыбучие туманы. Разгорался огромный оркестр, и гимн в тысячах красок, цветов, переливов, отблесков, в тысячах звуков возносился к красно-пылавшему небу.

И как музыка просыпающейся природы, разгоралась музыка просыпающейся хозяйственной жизни. Старик, раскорячив ноги, расставив жилистые крепкие руки, поворачивал за оглобли, выкатывая из-под навеса по-

возку, и тяжи поскрипывали, и втулки постукивали, говоря, как крепко, по-хозяйски, все связано и сбито.

Ванятка, тринадцатилетний мальчуган, выглядывавший меньше своего возраста, в огромной, выгоревшей от солнца форменной отцовской фуражке с красным околышем, бегал по базу с недоуздом в руках, гоняясь за пегим, с огромным тавром на правой ноге, маштаком. Пегий стоял, равнодушно и сонно опустив голову и хвост и кося хитрым, смеющимся глазом; но только мальчик поднимал руку, чтобы накинуть на морду недоуздок, как он бросался со всех четырех ног, тучей разбрасывая сухой навоз и высоко вскидывая задом, с задраннным хвостом.

– Н-но, идол... Стой, дьявол!.. Я ж тебя проманежу, дай взять...

А лошадь носилась радостно, раскидывая навоз, спеша нарадоваться силою, быстротою, свободой, прежде чем влечь в хомут долгого летнего дня.

Свиньи, повизгивая и подняв уши, неотступно ходили за молодкой, с высоко подоткнутым подолом, открывавшим крепкие за-

горелые ноги; за свиньями спешили куры, индюшки, а за ними, манерничая, улыбаясь, кланяясь головами, – вежливые собаки, сдержанно и неторопливо, с деликатными острыми мордами, поджарые, на тонких высоких ногах.

– Та, ча!.. У-у, скаженные!..

Мальчик поймал-таки за холку пегого, надевал недоуздок и высмеивал злорадно:

– Ну, что? Пестрый черт!.. Наигрался... Поймай, вот как сбегает разов пять на ток, не будешь брыкать.

А пегаш уже опустил, рассолодел, свесил губу, лениво моргая, шевеля ухом и не слушающая.

Раздражающе щекоча, попахивало дымком из приземистой летней кухни.

И вдруг солнце брызнуло из-за курганов, прорвав последнее напряжение утренней дремоты, и все зазвучало, запело, засверкало; узко и весело побежали длинные косые тени от деревьев, от сараев, от хаты, от повозки и старика посреди просторного двора. Звенел воздух, звенела степь, звенело утренним звоном тонко заголубевшее, необъятно исчезающее.

шее небо.

– Идите, что ли!

Голос молодухи разнесся, как в пустой церкви.

Все собрались у кухни, возле разостланной прямо на траве домотканой скатерти. Помогались на не успевшее еще высоко поднять, но уже ослепительно разгоравшееся солнце. Медленно и сосредоточенно носили деревянными ложками из большой деревянной миски, тщательно следя, чтобы не падали крошки. Поодаль, манерничая, улыбаясь, сидели собаки, вежливые, деликатные, но когда бросали кость, они кидались со звериным ревом, катались клубком, рвали друг друга, а потом опять садились, разом надевая на морды умильное выражение, кокетливо отворачивая улыбающиеся головы.

– Борону нонче надо привезть домой.

И опять звук втягивающих с ложки губ и хрустение жующих челюстей.

Говорили скупно и мало, как бы сберегая и слова, и голос, и мысли для начинающегося трудового напряженного дня.

Они все как бы дополняли друг друга.

Старая высокая женщина с властным, изрезанным, совершенно мужским лицом, выдубленным степным ветром, солнцем и горячей пылью. Она и ела как-то торжественно и сурово; жизнь выпила из нее все женственное, и на верхней губе косматились заметные черные усики. Весь дом держался ею, и черта отчужденной властности лежала между нею и остальными членами семьи.

Старик, крепкий, с узловатыми руками, казалось, не знавший износу, весь ушел в физическую работу – пахал, сеял, косил, чинил хату, повозки, лечил скотину, – и эта не знавшая устали, перерыва, отдыха огромная работа не подпускала к нему старости, болезней, немощи: некогда было.

Мальчик, – копия взрослого работника, со всеми приемами, хватками, – так же ругался на скотину, крутил козьи ножки, сплевывая на сторону, и вровень со всеми, не отставая, работал от зари до зари. Но в его сердитых, строгих глазах занятого человека порой неожиданно загорался огонек детского задора, по двору далеко разносился смех ребячьих шалостей, и он то скакал задом наперед на

пегаше, то мазал свиньям зады дегтем с солью, и они с невероятным визгом сидя ездили задом по траве, а старуха или старик кричали:

– Ванятка, пострел, али кнута захотел?..

От этих троих, связанных отпечатком кровного родства, отделялась молодуха. Красивое смуглое лицо, ленивые пушистые ресницы, и когда нехотя приподнимала мерцающие из-под них карие глаза, – отделяло свое, непохожее, с резким отпечатком иной семьи, склада.

И еще отделяло особенно тайное напряжение молодого, полного неизбыточных радостей тела. Как и все, она степенно-строга той степенностью и строгостью, которую неизгладимо налагает не знающая устали и пощады работа, всех равняющая в железном ходе своем.

И все четверо, как зубья одной и той же, ни на минуту не останавливающейся большой семейно-хозяйственной машины, неразрывно сцеплены друг с другом, дополняют друг друга.

Уже пегий мерин стоит посреди двора в ог-

лоблях и дуге, короче и короче тени, и собаки повывалили языки, торопливо и весело дыша.

– Ванятка, косу положи, али забыл, да треногу, на ночь мерина заковать... Поворачивайся, что ли, солнце-то где!..

И уже далеко курится пыль в степи, и за пылью не видно ни повозки, ни деда, ни Ванятки, ни трюхающего пегаша, и полон разнообразными дневными звуками весь хутор: собачий лай, визг немазанных колес, человеческие голоса в чистом, ясном воздухе, заботливое куриное кодкудаханье, кланяются колодезные журавли, со скрипом вытаскивая ведра, и торопливо и спеша укорачиваются к белым хатам, к плетням, к вербам горячие летние тени.

Молодуха налила свиньям помоев, обобрала по курятникам яйца, развесила белье, замесила хлебы, – день не ждет, и колесом одно за другим идет все по порядку.

Высоко стоит обжигающее солнце, и сухим жаром пышет ему навстречу горячая, знойно раскинувшаяся степь. Молодуха проходит по широкому двору, осторожно ступая крепкими

загорелыми ногами по колко-обжигающей земле, останавливается и, прикрыв ладонью глаза, смотрит в степь.

Там пусто. Серая, пыльная дорога, виляя то вправо, то влево, неровно выбирается из хутора на изволок, перегнувшись, пропадает, и только знойное небо дрожит и колеблется над сухой, серой, тоже дрожащей чертой поднятого горизонта.

Она не ждет мужа, не скучает по нем, никого не высматривает, – некого. Пусто в степи, и солнце смотрит в нее, горячую.

Молодуха опять осторожно ступает по колкой земле, не то вздыхая, не то зевая, и крестит рот мелкими, торопливыми крестиками.

А по двору грубый, почти мужской голос:

– Али заснула?.. Хлебы-то поднялись, из корыта лезут. Ваняткину-то рубаху, только язык почесала, зашьешь, какой день валяется...

Жара, и лень огрызнуться, чего никогда не упускала молодуха, и, засучив рукава, молча стала разделывать хлебы. Жили они мирно; дом – полная чаша, потому что работают все не покладаячи рук. Но по долгу службы све-кровь считала священной обязанностью по-

ворчать, без этого и день не в день и работа не спорилась.

И опять молча и напряженно работали, потому что говорили только о деле, а дело и само без слов делалось. И все тот же горячий день тянулся над просторным двором, по которому бродили заботливо разговаривающие куры да хрюкали довольные собой свиньи, лежа в короткой тени.

К полудню приехал Ванятка, привез свеженакосенного сена, борону с обломанными зубьями, забрал хлебы, кислое молоко и опять уехал.

И опять старуха басом:

– И чего Михайло не едет, другая неделя пошла. Али приключилось, спаси и помилуй, царица небесная.

Невестка сосредоточенно взмахивает иглой и от времени до времени молча взглядывает в поднятое окно, в которое виден плетень, кусок залитого солнцем двора и знойно-дрожащая линия гребня, за который пыльно переваливает дорога. Мухи с жужжанием бьются о тусклое, с побежалыми цветами стекло.

Если молчать, свекровь обрадуется и заскрипит толстым голосок: и мужу не рада, и верхоглядка, и только бы ей ха-ха, да хи-хи, и много еще. И невестка говорит равнодушно и скучно:

– Сам сказывал: раньше пятницы не возвратится.

Когда муж был на службе и молодуха оставалась «жалмеркой», приключился с ней грех, который бывает со всякой жалмеркой. Но когда молодой, чернобровый сосед пришел во второй раз, она встретила его кочергой, и ни уговоры, ни подарки, ни угрозы, ни мольбы, ничто не помогло. Неделю ходила с опухшими глазами, и уже за все три года, что муж был в отсутствии, никто о ней слова дурного не мог сказать.

Пришел муж со службы, – весь хутор вывалил навстречу; вышла и она и упала в ноги. Он жестоко избил ее плетью, бил и на следующий день, и неделю, и месяц. Но хозяйство, заботы, ни минуты не ждущая, требующая постоянного напряжения работа поглотила и примирила их, и они с зарей вставали, с зарей ложились, косили, пахали, возились со

скотиной, а в долгие зимние вечера, когда была метель и за базами выли волки, гуляли на свадьбах, на сговорах, на вечорках, красные, потные от духоты и тесноты, при красноватом освещении коптящей жестяной лампочки плясали до упаду, пили, ели и необыкновенно пронзительно, оглушающими голосами пели песни.

Было у них двое детей, мальчик и девочка, но пришло горловое поветрие и унесло обоих ребят почти со всем детским населением опустевшего и примолкшего хутора.

– Никак колокольцы?

– Не, откуда быть им... Должно, на колодезе цепью с журавля.

Опять жара, мухи, куриные разговоры на дворе, и тонкий, то тающий в оцепенелом от зноя воздухе, то опять рождающийся, чуждый всей хуторской жизни звук.

– Сказываю: колокольцы.

– Либо пошта?

А грубый, почти мужской голос говорит:

– Какая пошта! Вчерашний день прошла. Не иначе как проезжающий.

– Откуда проезжающий!.. Какая нелегкая

занесет сюда!..

Но звенящий тонкий звук цепляется, то усиливаясь и рассказывая о чем-то ином, неизвестном, далеком, чуждом и манящем, то падает, оставляя в дремотном зное тонкий, как паутина, след, затерянный среди привычных, одних и тех же звуков раскинувшегося в истоме хутора.

А игла мерно взмахивает, поблескивая, и смугло наклоненное лицо, и опущены пушистые, дремлющие ресницы. И от всей ее крепкой, полной молодого напряжения фигуры веет дремотой – той особенной дремотой, которая окутывает иного человека всю жизнь.

Обе подняли головы и перестали шить; звук колокольчиков явственно доносился. Нагнулись и глянули в окошко на гребень: по дороге вниз к хутору катилась телега, бежали лошади, бежало огромное облако пыли, скрывавшее едущих.

Опять поблескивают иглы, наклонены лица, глаза следят за шитьем, но звук колокольчиков неумолкаемо и настойчиво просится в окошко. Должно быть, едут у самого хутора, уже по улице звенят, приближаясь, и слышно

тарахтение телеги.

Проедут по длинной, пыльной, с нависшими с обеих сторон вербами, кривой улице, постепенно умрет звон, – опять то же...

«Ну, что ж!..»

Звон оборвался возле, разом и резко.

– Никак у нас? – И старуха потянулась к окошку.

– Должно, кнут потеряли, остановились, – равнодушно протянула невестка, отдернула уколотую иглой руку и прикусила белыми зубами место, где выступила коралловая капелька.

На дворе с азартом залаяли собаки, а под окошком раздался сиповатый голос:

– Хозява... а хозява!..

Старуха вышла.

– Что надоть?

– Здорово ночевали.

– Доброго здоровья... Да цытьте, вы, скаженные!..

– Нельзя ли у вас коней покормить? Из города едем. – И он мотнул головой на тележку, где скучно дожидался пассажир.

– Ну-к что ж!.. Въезжай во двор.

Через минуту, цепляя за ворота, заглушая звоном вздрагивающих колокольчиков отчаянный собачий лай, въехала бричка.

Пассажир слез, расправляя затекшие, одеревеневшие от сиденья ноги.

– Хозяйка, нельзя ли самоварчик?

– Ну-к что ж, можно. Малаша, а Малаша, вздуй самоварчик-то.

– Только, бабуся, пожалуйста, поскорее: как покормим, сейчас дальше. Спешу я.

Голос у пассажира тонкий, слабый, не то устал он, не то больной.

Молодуха прошла, неслышно ступая босыми ногами, не поднимая глаз, – ей было все равно, – и стала возиться с самоваром.

– Степь и жарко, а хорошо у вас тут, – говорил приезжий, тонкими, длинными пальцами наливая дымящийся чай из стакана в блюдце, – просторно и вольно, и воздух вольный, дыши всей грудью. Хорошо. – И он осторожно потянул из блюдца.

– Была воля, а теперь пошло утеснение, и не сообразишь, где сеять, где косить, – проговорила старуха басом.

– Нет ли у вас еще стаканчиков?

– Можно.

Старуха достала.

Он налил еще два стакана, придвинул сахар.

– Садитесь, пожалуйста, со мной чайку.

– Благодарим покорно. Кушайте на здоровье.

– Пожалуйста, а то мне скучно одному.

Старуха помолилась на икону, присела к столу, осторожно откусила сахар и стала наливать обжигающий чай.

– А вы что же?

Молодуха ничего не ответила, только головой качнула.

– Ничего, садись, Малаша, барин добрый!

Та равнодушно отодвинула шитво, тоже покрестилась, откусила, сахар и глянула на проезжающего. У того было птичье лицо, пестрое от веснушек, очень белое, не то бледное, и длинные, тонкие, необыкновенно подвижные пальцы.

«На кулика похож... конопатый...» И, закрывшись от него пушистыми черными ресницами, стала дуть на горячий чай.

– Вольно, сколько ни окинешь глазом, все

степь, степь... хлеба, балки, а в балках яблоньки дикие, одиноко, как сиротки, стоят. А сегодня утром едем, солнышко стало подыматься из-за курганов. Боже мой! Птицы-то сколько... двух дудаков согнали, перепела, а от кузнечиков стон стоном стоит.

– Этого добра! – чтобы из вежливости сказать что-нибудь, пробасила старуха.

«Чудной... Солнце-то каждый день всходит и заходит...» И пушистые ресницы дрогнули, сдерживая усмешку.

– По торговой части будете? – осведомилась старуха.

– Нет, учиться еду, поступать. Поповский сын я, в семинарии был, а попом не хочу быть...

– Конечно, по нынешним временам и у пап плохой доход... И жадны они, ну, только и народ обеднял... Не с кого получать.

Под окном опять залаяла собака, и в избу вошел кучер.

– Садись, Захар, чай пить.

– Что ж, с устатку стаканчик.

И слышно было, как четверо губ втягивали горячий кипяток.

– Стало быть, в аблакаты выйдете али в фершала.

– Да, да, доктором буду.

– И то доход.

– Буду ездить по степи, из хутора в хутор.

Приеду: которые больные, все поползут, – у кого нога, у кого живот, у кого лихорадка. Сколько народа мучается... А детишек сколько помирает!.. Зря гибнут, как трава в поле...

– И-и, Господи... Вот у нас двое померло. Весь хутор, поди, вычистило. – И старуха опрокидывает стакан, кладет сверху оставшийся огрызок сахара.

– Покорно благодарим.

Пушистые ресницы дрогнули, приподнялись, и удивленно глянули карие глаза, опустились, и опять она глянула на него, и внезапно, пугая этой внезапностью, сладкой, заунывной болью кольнуло сердце. На нее смотрели серые, бесконечно добрые, просящиеся в душу глаза. Она со страхом хотела опять спрятаться, опустила ресницы и... не могла, – серые, милые, ласковые глаза смотрели на нее, не позволяя оторваться. Она, торопливо и ненужно обжигаясь, заспешила пить

чай, и сквозь смуглость щек пробился предательский румянец.

И уже не было больного, бледного конопатого лица, не было птичьего выражения, – были только серые глаза.

– Тесно, говорите? Да разве это тесно! Вот в город загляните, – вот тесно. Дома громадные, шапка валится, глянешь: улицы узкие, камень да кирпич, не вздохнешь, и каждый оглядывается, друг-другу за глотку держит, – чуть зазевался, зараз тебя придушили.

– Что ж! Зато сладко едят, сладко пьют, деревня же все им представляет, мы отседа и возьем все, сами и не понюхаем, – сердито пробасила старуха. А та, другая, слушает, и уже ничего чудного нет в этом тонком, слабом голосе. Вдруг представилось, как хорошо на зорьке, когда одолевает молодой сон, и надо вставать, и улыбаешься сквозь дремоту неизвестно чему, и вспомнилось, как, бывало, в девках, садится солнце, идут они с поля и поют песни, и весело и сердце отчего-то болит больно и сладко.

Она вздохнула.

Давно Захар провел мимо окна лошадей в

хомутах на водопой и назад, а со двора из-под сараев доносился скрипучий бас старухи, резонившейся с шерстобитом, который валял на зиму валенки и полсти.

В горнице сидели двое и смотрели друг другу в глаза.

Он держал ее руку в своей, а она наивно, грубовато мяла его тонкие, длинные, белые пальцы своими шершавыми, рабочими.

– Ехал по степи, хорошо было, поглядел на хутор и порадовался: вольно люди живут, свободно, как птицы, что в степи, в хлебах.

– Родный мой, болезный ты мой, ласковый мой!.. Глянула на тебя, так сердце и сошлось...

А он улыбается ласково и нежно:

– Поглядел я на тебя, печальная, не то устала, и глаза не хотят раскрываться, и губы сжаты, как будто зареклась навеки молчать.

– Сонная я была, все одно мне, хочь приди пожар и поешь все, вот как перед истинным! А теперь...

А теперь на смуглых щеках пробивается непотухающий румянец, белые влажные зубы из-за полуоткрытых, как кумач, губ, а в черной тени пушистых ресниц незнакомо

мерцают потемневшие глаза.

– Ласковый мой!.. Золотой мой!..

– Ехал: небо, да степь, да птицы, хутор таковой, каких много проехал, ни о чем не думал – и вдруг встретил тебя, и как будто мы давно, давно повстречались.

Она не выпускает его руки, слушает музыку его голоса.

Где-то далеко, далеко сзади, как в тумане осенью, – муж, здоровый, грубый, с лошадиными ласками, и свекровь, и хозяйство, и вся хуторская жизнь, а перед нею ясные, ласковые, притягивающие, бесконечно добрые глаза...

– Золотой мой... сердешный мой!..

Вот упала бы перед ним, положила бы голову на колени к нему и плакала, плакала, плакала...

Нет, взяла бы его, тонкого, слабого, своими сильными, крепкими, рабочими руками, прижала бы к груди, качала бы и с бесконечной, все забывающей материнской лаской напевала бы, глотая слезы:

– Ба-аю... ба-аю... баюшки ба-ю!..

Когда входили в горницу, она шила, на-

гнув голову, а он, чуть покачиваясь, рассказывал про город, про то, как он будет лечить деревенских людей, а когда выходили, они опять держали друг друга за руки и с печалью, с тоской глядели друг другу в глаза.

Она не могла сказать, отчего ей плохо, что давит сердце. Дом – полная чаша, муж любит больше даже, чем бы ей хотелось, свекровь меньше, чем все другие, кого она знает, жмет. Отчего же так мучительно, так бесконечно хочется выплакаться?

Заглядывал в окошко Захар:

– Не пора запрягать? Кони выкормились.

– Нет, ничего, пусть поедят, хорошенько отдохнут.

– Ну что ж, пушай, холодком еще лучше ехать.

Но когда по двору протянулись длинные, косые тени, только в другую сторону, как утром, Захар запротестовал:

– Как можно!.. Ночь, по степи ведь ехать, – и стал запрягать.

– Ну, прощай, дорогая моя, мой цветок степной!.. Ведь тебя нельзя оторвать от родимого стебелька.

Он осторожно, точно боясь, что разобьется что-то дорогое, хрупкое, поцеловал в холодные, не ответившие губы. Она снова отгородилась пушистыми, опущенными ресницами. Он порылся в кармане, достал гладкое тоненькое колечко и надел на ее грубоватый палец.

Когда, звеня колокольцами, под неистовый собачий лай бричка выезжала из ворот, старуха вышла проводить. Молодайка молча стояла, держась за плетневый кол.

– Прощайте!..

– Дай, господи, счастливого пути!..

На завороте у большой, бросавшей тень поперек всей улицы вербы он в последний раз оглянулся, кивнул головой.

Звон колокольчиков потонул в привычных вечерних звуках. Шли коровы, шла с ними тихая, теплая, мягкая пыль, и всюду тянулись длинные, задумчивые, покойные тени, сплошь сливаясь; только гребень горы, через который переваливала пустая, безлюдная дорога, глядел еще в усталое лицо садившегося за степью солнца да красновато догоравшие верхушки верб потухали.

И опять то же: брызжущее из-под пальцев теплое вечернее молоко, ковыляющие с речки утки, гуси, степенно и сдержанно гогочущие в октаву.

– Эй, идите вечерять!..

– Телята, телята-то; гляди; разбежались...

О-ой... э-о-э... во са-а-ду ли... в о-г-о-го-роде... –

оттуда, из-за верб, из-за речки, со степи.

На нешевелиющиеся деревья, на курени, на тихо дышащие теплым навозом, полегшей скотиной базы наплывает синий, дремотный, усталый вечер...

Дня через два приехал муж. Молодайка исчезла. Долго искали, и долго в синем вечернем воздухе стояло:

– Ма-ла-нья-а-а!..

Отклика не было. Только под утро муж нашел ее забившейся на сеновале.

Он поучил ее слегка, и она два дня ходила с подвязанной щекой.

Все было по-старому, и каждый день вставало из-за курганов и садилось за вербами солнце. Хлебы, телята, брызжущее молоко,

ворчанье свекрови, лошадиные ласки мужа. А по зимам плясали в тесной, душной избе с красными распаренными лицами и, надрываясь, пели высокими, визгливыми голосами.

Но ходила ли около скотины, возилась ли около печи, шла возле скрипучего воза, – одно немеркнувшее ощущение: колечко на пальце.

В работе, в дневной суতোлке, под заунывную песню вставали бегущие по дороге на гребне лошади, повозка и облако пыли. Ближе, ближе. Смолкает звон колокольчиков... собачий лай... голос под окном: «Хозява... а хозява!..» – птичье лицо, потом добрые, милые, в душу глядящие глаза, нестираемые.

Неумиряющее воспоминание, но тихонько отстает оно все дальше и дальше, подергиваясь дымкой минувшего.

Подобрав юбку, стоя босыми, омытыми ногами в расступающемся скрипучем песке, молодайка полоскала белье, и торопливые, испуганно сверкающие круги разбегались от разбрызгивающего во все стороны воду валька.

Разом задрожали камыши, пропали вербы,

дальние избы, – огромными, испуганными глазами смотрела женщина на красную, мокрую, пустую руку – кольца не было.

С бьющимся сердцем, задыхаясь, стала разрывать мокрый хрустящий песок, но он, наивно желтея, убегал вместе с водой между пальцами, ничего не оставляя.

Каждый день, еще торопливо мерцали в предутренней мгле звезды, еще спали и звери, и птицы, и скотина, и люди, молодая женщина, озираясь, пробиралась с ведром к речке и, жадно вглядываясь в полумгле, слабо озаряемой меркнувшими звездами, без конца черпала и вываливала на берег мокрый песок, но он не отдавал заветного кольца. Белело за курганами, звезды потухали, и она, измученная, с тоской на сердце, шла домой, и день начинался...

...Годы шли, черты заострились, выдались скулы, Опали щеки. Рожались и росли дети, и прежняя молодайка все больше и больше стала походить на свекровь.

А старуха дряхлая, зимой почти не слезала с печи, летом все грелась на завалинке на солнце. Само собой, незаметно все распоряд-

ки в доме перешли к невестке, и по двору, на базу, в избе и на улице слышался ее погрубевший, хозяйский, напоминавший мужской, голос. Да и черты лица, – на губе закосматились усики, – и ухватки становились все более мужскими. А когда старуха умерла, невестка стала полновластной хозяйкой.

Дочери были уже большие, и когда в долгие зимние вечера собирались девки прясть пряжу, рассказывала она им:

– Давно было, почитай, годов двадцать, да. Сижу я и покойная маменька, свекруха, сидим, – той ли бубенчики зазвенели, той ли комар запел. Глядь, по дороге, с горы, спускается карета, – там-то богатая, там-то убранная: на лошадах сбруя в серебре. Бубенчики, колокольцы заливаются, прямо в хутор, возле нашего двора остановились. Да. Растворилась карета, вылезит енерал, молодой енерал, весь в золоте. Вышел и шась к нам, во двор. А где тут, сказывают, Маланья Плетнева? Мы так и обмерли. А он ко мне, снял с руки бриллиантовый перстень, надел мне на палец и сказывает: вот тебе перстень неоцененный, жди меня три года, через три года приеду к тебе.

Ну, только береги перстенок пуще глазу, – потеряешь – не видать тебе меня, как своих ушей. Уехал, осталась я. Много ли, коротко ли время прошло, только пошла я на речку белье полоскать, нагнулась, а черный из воды – цап за палец. Гляжу: голая рука, нету неоцененного перстенечка!.. Кинулась я, рылась, – нету, как сквозь землю провалился. Облилась я слезьми, каждое утро, до зари, все спят еще, приходила я к тому месту, ведром черпала песок и слезьми его поливала.

А по лицу ее лежали уже глубокие морщины, и из-под платка выбивались седые волосы.

По следам*

I

Из-за мелькающего снега на секунду проступали местами темные окна многоэтажных домов, столбы фонарей, запорошенные головы бегущих лошадей, — и снова всюду только одно белое, живое, изменчивое, угрюмо-веселое мелькание.

Мягко шли люди, и белели их черные одежды, беззвучно скользили на минуту чернеющие сани, словно это белое, весело-мертвое мелькание поглощало все звуки, все краски. Даже конки, вырастая движущейся громадой, катились глухо и мягко и сейчас же тонули в неугомонно колеблющемся, играющем белом воздухе.

Человек в черной барашковой шапочке, черном, белеющем от снега пальто, с наглым лицом и жадно устремленными вперед глазами, стараясь запихать в тесные карманы не влезавшие красные, иззябшие руки, торопливо шел по мягкой от снега панели, обгоняя прохожих.

Он шел странно, нервно и торопливо;

вдруг останавливался, подходил к белому занесенному окну магазина, кося боковым взглядом, или тихонько и задумчиво шел назад, или внезапно срывался и, ускоренно дыша, толкая и обгоняя прохожих, бежал вперед, жадно стараясь проникнуть за эту неустанно мелькающую пелену.

Если бы люди хоть на минуту приостановились и обратили на него внимание, их бы поразили эти странные движения, но все по-прежнему беззвучно торопились со свертками, с покупками, сердито, озабоченно отворачиваясь от весело мелькавшего перед глазами и обтаивавшего на лице снега.

Возле огромного со сводчатыми воротами дома человек остановился и долго стоял. Потом стал ходить взад и вперед, стряхивая пластами наседавший снег, бегая глазами по прохожим и сторожко и чутко каждый раз взглядывая на глубоко зияющие под домом ворота.

Каждый раз, как кто-нибудь выходил оттуда, заставлял его быстро и напряженно оборачиваться; потом опять с разочарованным видом ходил взад и вперед.

Бесконечно мелькали прохожие, мелькали

снежинки, проходили часы. Ноги от усталости подламывались, и хотелось есть. Представлялся трактир, рюмка обжигающей водки, тепло и уют знакомой обстановки. Днем в бильярдной бывает мало народу и приятно пахнет жареной рыбой. Кии глухо постукивают, зеленое поле простирается широко и ровно.

– Дуплет в угол! Раз, раз!..

– Эй, челаэк... десяток «Экспрессу»!..

От солянки идет вкусный пар и соленый запах. Зачерпнул и, следя, как дымится ложка, понес ко рту...

Из ворот быстро вышел высокий. Как ветром, снесло трактир, бильярд, солянку, вкусный запах. Бросился. Сквозь мелькание снега торопливо шли прохожие; толкался о них, но уже не выпускал знакомой высокой спины, высокой шапки. Странное, несознанное беспокойство торопливо билось, как будто сделал не то, как будто что-то упустил, ошибся, и кто-то, издеваясь, посмеивался.

Все так же толкаясь и ни на секунду не упуская в белом мелькании высокой, темно колеблющейся спины, он догнал и пошел по

пятам вплотную сзади и обмер: спина была высокая, но вокруг шеи облегал бобровый воротник, а у *того* был барашковый; у этого шапка котиковая, а у *того* такая же высокая, но барашковая, и этот шел прямо, а *тот* слегка припадал на правую ногу.

И опять толкая и обгоняя, бросился назад к воротам.

– Нахал!..

– Что толкаетесь?

– В участок захотел...

Но он бежал что есть силы и остановился у ворот, тяжело дыша и испуганно глядя на их темное зияние.

Все то же бесшумное белое мелькание, поглотившее все уличные звуки, и, напрягая все силы, он старался по неуловимым, не оставляющим следа признакам угадать, вышел ли *тот*, или нет, сидит ли *он* где-нибудь там, в этих бесчисленных комнатах огромных домов, или добыча, верная, так крепко схваченная, бывшая почти в руках добыча ускользнула.

С отчаянием ходил перед воротами, то и дело взглядывая в их глубину, уже не прини-

мая мер предосторожности, переходя от отчаяния к надежде, от надежды к отчаянию. Время неумолимо проходило, казалось бесстрастно сливаясь с этим белым мельканием, ничего не изменяя, все так же не отдергивая пелены неизвестности.

Качаясь взад и вперед, как маятник, на небольшом пространстве перед воротами, усталый, продрогший и проголодавшийся, он минутами совсем решал уходить, но сейчас же насмешливо и зло вставало: «А вдруг там!..» И опять пять шагов вперед, пять шагов назад, опять сквозь белое мелькание торопливые прохожие, бесшумные, темно появляющиеся и исчезающие конки, белые лошадиные головы и темно зияющие томительной и злой насмешкой ворота.

От постоянной ходьбы, бесконечных поворотов охватывало равнодушие, тупое и усталое. Казалось, огромным кольцом вокруг бесшумно неслась улица, полная странной, молчаливо и темно мелькающей непонятной жизни. На минуту то там, то сям она проступала чернеющими пятнами, и ничего нельзя было понять, и опять был один белый колеб-

лющийся воздух.

Стряхнул целый пласт насевшего снега с барашкового воротника и шапки, а когда был молодым неуклюжим деревенским парнем, так же стряхивал наседавший снег с вонючего рваного овчинного тулупа. Но и овчинный тулуп и деревенская околица, покосившиеся избы, скотина, березовый лесок на угорье, пашни, нищета и убогость деревенской жизни далеко и смутно маячили, а перед глазами – трепетное мелькание, и в этом белом мелькании темные проступающие и пропадающие пятна.

Было скучно, однообразно и томительно, и даже снег, утомленный этим однообразием, стал падать реже, и стали выступать по обеим сторонам улицы сплошные здания. И конки обрисовывались почти доверху, но катились так же мягко и беззвучно.

Было все бело. Когда из деревни попал половым в трактир, было самое тяжелое время, пока новая непривычная жизнь жестко и беспощадно обламывала. Назад уже не было возврата.

С ног сваливающая беготня и работа с утра

и до вечера. Кругом разгул, пьянство, деньги, смех, песни. И эта дурманящая жизнь стала нужной, неизбежной, не давала опомниться, и далеко потонула деревня. Служил кучером, в дворниках, лакеем, но не хотелось идти на фабрику, в мастерскую, тянуло служить у господ: господская еда, господское обращение, и всегда на чай.

Когда остался без места, долго голодал с семьей. Поступил сюда. Была трудная, тяжелая и опасная служба, но, когда удавалось словить, выпадали крупные деньги: тогда пьянствовал, гулял и жил в свое удовольствие.

Жизнь стала игрой, и только одного хотелось: отличиться, изловить. Он не думал о *них*, о тех, кого ловил, кем набивали тюрьмы; перед глазами только стояли высокие и низкие фигуры, разных форм шапки и шляпы, с малейшими признаками отличия в походке, к которым так наметался глаз.

II

Уже потускнел воздух, дома, терявшаяся вдаль улица, откуда выползали и где терялись люди. Одинокó попархивали редкие снежинки. Сумрак вползал в улицу незаметно и

предательски, и все молчаливо говорило о холодной надвигающейся ночи, в которой громадный город, блестя огнями, медленно замирал, свертываясь огромным клубком на покой.

– Ну... стало быть, идтить!..

Он прошептал это и с удивлением услышал звук своего голоса.

– Эхх, ты!.. Ну, что ж... упустил, – не спрашивай...

И, делая последнее усилие оторваться от гипнотизирующих и тянущих к себе ворот, повернулся и с щемящим ощущением пошел прочь.

Толстяк с огромным животом, с красными отвислыми щеками, шел, колыхаясь и отдуваясь.

«Обтрескался, черт!..» Сосала злоба. Шел понуро, ни на кого не глядя. По непонятному побуждению остановился и... глянул назад: из ворот торопливо и уверенно, чуть припадая на правую ногу, вышел высокий, быстро глянул направо, налево и так же быстро и решительно пошел в противоположную от остолбеневшего человека сторону. У него была

длинная спина, барашковый воротник и высокая украинская барашковая шапка.

Сбивая с ног, в расстегнувшемся пальто, дыша открытым ртом, кинулся за ним. Вцепился глазами в эту высокую качающуюся спину и теперь уже не оторвется, не оторвется, если бы его даже рвали на куски. Вытянув шею, с раздувающимися ноздрями, со сладострастием гончей, которой в чутко вздрагивающие ноздри вдруг ударил острый, захватывающий запах звериного следа, торопился он по пятам среди странных, чужих и ненужных людей, которых перестал видеть и слышать.

Шли по улицам, заворачивали в переулки, переходили площади, напряженно связанные, точно их было только двое среди огромного, сторожко и чутко примолкшего города. Улицы, бесчисленно темневшие окна зданий, зажигавшиеся фонари – все теряло свой прямой смысл и назначение и застыло во внимательном и напряженном ожидании.

На секунду у ворот они встретились глазами, и эти серые, сверкнувшие в сумеречной мгле глаза, маленькие черные усики немеркнущим представлением стояли, неотделимо

связываясь с качающейся длинной спиной и большими, неровными, журавлиными шагами.

Все стерлось: ощущение голода, усталости; стояло одно только остро захватывающее, раздражающее ощущение близости момента, когда он схватит этого гибкого, упругого, сильного, с огромной сноровкой зверя.

Когда проходили перекрестки и посредине улицы смутно рисовалась фигура городского, этот момент был так близок, что сердце замирало. Стоило только свистнуть, и городской бросился бы на помощь. Но он имел дело с редкой дичью: малейшая неосторожность, упущенное мгновение – и все пропало.

И они шли и шли под потемневшим небом по угрюмым улицам, на которых лежали тени, и тысячи холодных огней глядели на них чуждо и сурово.

Раза два терял из виду за движущейся толпой и, стиснув зубы, кидался вперед, готовый хоть револьвером прокладывать путь, и снова нагонял и снова, вцепившись глазами в качающуюся спину, ни на секунду не упуская, шел за ним, как приросший.

Не было конца улицам, не было конца зданиям, светящимся линиям фонарей, перепутавшимся в чудовищный лабиринт; не было конца темной, безликой, неведомо откуда выползавшей, неведомо куда вползавшей, чернеющей бесконечными звеньями толпе.

Фонари стали редеть, глядели тускло, уже не бросали широко на панель ослепительного света магазин. Дома пошли ниже, с перерывами, темно глядели пустыри, и редко и одиноко чернели прохожие. А они шли.

Улица упиралась в поперечную, тянувшуюся глухим и длинным забором. Смутно рисовалась фигура городского. Когда длинная спина, качаясь, скрылась за угол, подбежал к городскому, показал значок. Городовой насто-рожился.

– Проходной двор... Беги наперерез, через... дворников... высокий, в высокой шапке – как свистну, хватайте... четвертную, а то больше... а я за угол сейчас...

И уже на ходу, задыхаясь, крикнул:

– Да смотри, ухо остро... а то...

Городовой, придерживая шашку, пропал в калитке.

На улице никого. Переводя торопливое дыхание, держа свисток у губ и сжимая в кармане револьвер, кинулся наискось по улице к углу.

Из-за угла по панели вывернулась навстречу зачерневшая фигура. Что-то стукнуло в груди, но фигура была ниже, в маленькой, приплюснутой шапке, и не припадала на одну ногу. Они быстро сблизились, и при тусклом свете снега и дальнего фонаря, не давая опомниться, сверкнули серые глаза и глянули маленькие черненькие усики.

И прежде чем успел выхватить револьвер или свистнуть, тот широко замахнулся. Инстинктивно закрылся рукой, но снизу неожиданно и со всего размаху пришелся тяжелый удар в челюсть.

На секунду взметнулся лучистый свет дальнего фонаря, угол стены, и, с мгновенным ощущением теплой полноты во рту от раздробленных зубов и перекушенного языка, опрокинулся и тяжело и глухо стукнул затылком о каменную холодную плиту.

Пусто. Смутно белел снег. Неподвижно и немо простиралось над улицей черное небо.

Как вешали*

Было странно, почти невероятно, что такая маленькая, тщедушная старушка могла выплакать так много слез.

Целые недели она не ложилась спать, задремывая на минутку перед зарей, прислонившись головой к стене. Что бы ни делала, прибирала ли по дому, ходила ли по бесконечным учреждениям и влиятельным лицам, – одно: слезы, слезы, слезы...

Была она у всех: у губернатора, у полицмейстера, у приставов, у председателя судебной палаты, у знаменитых адвокатов, ходила в канцелярию ведомства императрицы Марии, к попечителю учебного округа, была в обществе покровительства животным, – и везде было одно и то же:

– Что вам угодно?

Она глотала слезы, глядела измученными глазами, которые умоляли:

– Сы...сыночек у меня...

Но не выдерживала и рыдала неудержимыми, неподдаваемыми рыданиями. И, дрожа, что ее не дослушают, не дадут досказать, была

земной поклон, уже не в силах сдерживать рвущиеся рыдания.

– Один... о-дин он у меня... Ванюшечка...

Люди разом смолкали, смотрели на нее, потом долго какими-то другими голосами уговаривали:

– Матушка, мы ведь ничего не можем сделать... вы не туда попали... обратитесь туда-то и туда-то...

Потом сторожа бережно и осторожно выводили на подъезд и говорили;

– Иди, иди, мать... иди... Ничего тут не могут...

И она шла и плакала неудержимо слезами, которых никогда не выплакать, и тащилась в другое учреждение.

Она не помнит, прошел ли с тех пор месяц или день, отворилась низенькая дверь, и в комнату шагнул высокий, с ражим, отъевшимся лицом городской в темной шинели.

Так и кинулась к нему, так и залилась:

– Матвеич, родной мой... ты бы узнал, что...

Они были из одной деревни, но городской уже давно служил, и город, и полиция, и ка-

зарменная жизнь по-своему обработали его лицо, фигуру, душу.

– Постой... вишь ты... – И стал отстегивать, долго возясь, саблю, а старушка рыдала у него на груди, выговаривая сквозь слезы:

– Ванюшечка... родной мой... сынок мой...

Тот отстегнул саблю, поставил в угол, снял шинель, не торопясь и оттягивая время. Помолился на угол.

– День нонче слободный... дай, думаю, зайду... Эх, служба наша!..

И он присел на лавку за стол.

– Родимый мой, чем мне тебя попотчевать?.. Не варила я... с тех самых пор не варила... о-о-о-о!..

Городовой крякнул, почесал за ухом:

– Мозоль у меня... вот до чего... стоять на посту нельзя, – и, помолчав, опять добавил: – Эх, служба наша!..

– Самоварчик либо поставить... постой, родимый, я зараз...

Она возилась у печки, щепля лучину, а слезы капали, и городской лазал глазами по потолку, проводил ладонью по усам, то собирал, то распускал кожу над переносицей...

– Хоть бы одним глазком... что там с ним делают.

Тот откашлялся, поскреб под мышкой, повозился на лавке, как будто было колко сидеть.

– Трудно в деревне, грязно и необразованность, чаю до дела напиться не умеют, а, ей-богу, в иной черед снял бы саблю, ливорверт бросил приставу, вот тебе хомут и дуга, а я тебе больше не слуга! И махнул бы в деревню. Вот как перед истинным!.. И харч и помещение тебе в казарме, одежда казенная и при господах завсегда: пристав, полицмейстер приезжает, прокурор, – хороший господин, дом свой трехэтажный на Воловьей, а то и сам жандар, полковник ихний, – все при господах, а вот иной случай все бы бросил, прямо в деревню залился. Ей-богу! Скажем к примеру, политику нужно али депламатию, ну, трудно мне насчет депламатии, инда взопреешь... Какая тут веселость!..

Он откусил сахару, подул, сложив губы дудочкой, и с шумом втянул воздух с дымящимся чаем.

– Позавчера в наряде был. Теперь у нас под

это сарай отвели; прежде пожарные лошади стояли, так очистить велено, – за город далече господам ездить. Да. Ночью часа в три ввели нас. Сарай здоровенный, конца не видать и крыши не видать, темь, только что фонарь на стенке возле дверей да посередке у стола. На столе, стало быть, черная скатерть, чернильница, перья, весь причендал. За скатертью – прокурор, возле – поп, отец Варсонофий, а этак-то – доктор. Фонарь над ними. Доктор как сел, закрылся руками, локти поставил на стол, так и сидит, ни разу не глянул. Батюшка все цепь крутит с крестом на груди, – вот, думаю, перекрутит, рассыпется. Серебряная, золоченая... Нда-а, стоим. Четверо нас. Да от охраны человека три стоят поодаль в темноте. Ну... На каланче к пожару прозвонили; слышать, во дворе забегали, зазвонили, выкапывают и загремели в ворота. Стихло. Стоим, дожидаем. Прокурор все ногти чистит. Ножи-чек такой, там чего-чего хочешь: и ножички, и подпильники, и ухвертка, и в зубах ковырять, и гребеночка усы расчесывать... Спрячет, посидит, опять достанет, опять чистить, так, думаю, наскрозь прочистил. И время-то

много, и стоять скучно, и боишься, что скоро пройдет. Крыша худая, подынешь голову – звезды пробиваются.

Вошли двое. Глянул, так на сердце заскребло: замест лица маски черные, только что видать бороду да усы, да глаза ворочаются. Где потемней прошел один, потом другой. Тут я увидал, две веревки в темноте спускаются от самой от крыши, а под каждой под веревкой по табуретке. Один взялся, подтянулся – крепко; другой – крепко. Стали, дожидаются.

Гляжу я на них, и сволочь жадная! У одного дома на Березовой, за мостом, акурат против богадельни, как перед истинным!.. Так мало ему, суды лезет, еще хругваносец... Тьфу, прости, господи!.. За каждого они по сту целковых получают. Мы уж подавали начальству: чем им платить, так мы сами... все одно, не мы, так другие, конец один, а нам на брата по четвертной придется, – четверо нас. Ну, пока ответа нету еще... Ффу-у-у! Жарко... взопрел!.. Али еще стакашек? Ну, вот, стоим, ноги отстояли. Прокурор было спрятал, опять достал, опять зачал чистить... Только загремело по мостовой. Думали, пожарные назад, ан

нет, у самых у дверей остановились. Шибко застучали. Глухо по всему сараю, как в гробу... Сразу двери распахнулись, ввалились двое городских, а промежду их человек, бородатый, под руки его крепко держут. Впереди, сзади городовые, с ружьями; чиновник за ними, портфель под мышкой. Подошел к прокурору, рапортует: так и так, мол, доставил из дома заключения арестанта за номером. Прокурор поднялся, взял бумаги, расписался.

«Вы, говорит, господин Ушаков?» – «Да». – «Вы имеете полное право напоследок распоряжение сделать». – «Я хочу письмо жене написать». – «Можно, можно».

Прокурор заспешил, подал ему бумаги.

Этот сел к столу, макнул, стал писать. И те-емь такая в сарае стала, просто темь. Долго писал, лист кругом исписал.

«Дайте мне, говорит, конверт». – «Да зачем конверт?» – прокурор-то. «А как же я адрес напишу?»

Прокурор забеспокоился, – да, адрес действительно негде. Порылся, достал конверт; «Извольте».

Взял конверт, лизнул, запечатал, стал пи-

сать адрес, долго писал, как будто и конца этому не будет. Опять загремело по мостовой, остановились и опять ввалились городовые, и двое держут. Молоденький, – ни усов, ни бороды, я его и не признал спервоначалу. Зирк, зирк, во все стороны. Как увидал – петля спускается с крыши, как забьется у них в руках.

«Вы, – говорит прокурор, – господин Николюкин?»

Как завизжит, как закричит не своим голосом:

«Не-ет!.. не-ет!.. не-ет!.. Я – не Николюкин... я – не Николюкин... я – не Николюкин... я – Николаев...»

«Как, Николаев?»

Прокурор аж вскочил... Так по всему сараю шелест шепота: шшу... шшу... шшу... Доктор даже руки отнял, впервой глянул. Охранники – и те уши наставили.

«Я – не Николюкин... я – Николаев!»

Прокурор прытко побежал к телефону. Дзинь, дзинь, дзинь!.. «Вы, говорит, прислали к нам по ошибке арестанта под фамилией Николюкин, а он – Николаев...» Помолчал. Все притаились. И опять кричит в телефон: «Ни-

колаев... он сам заявляет...»

Опять помолчал. Тихо. Никто не дышит... «Да как же так!.. – сердится, значит, не хочет отойти. – Тут недоумение... Я пришлю вам его назад...»

Опять послушал, потом потемнел с лица, положил трубку – и к столу. А к этому, к первому-то, поп подошел, крест зажал. «На последних твоих минутах, говорит, принеси покаяние перед господом, он облегчит...» А тот поа за плечи обернул и – так: «Иди, иди, ба-тюшка, иди...» Отец Варсонофий пригнулся, крест прижал, оглядывается, боком этак, боком поспешает, благословляет его, сам скорей к столу. Доктор лицо закрыл. Тихо и опять те-мь... Прокурор стоит, бородку крутит. И слы-шим из темноты: «Бороду петлей прихватил... больно... выпростай!..» И опять: «Сними с ме-ня пальто... неловко... не тебе висеть...» И ах-нуло в сарае: полетела из-под него на пол та-буретка. А по сараю аж в ушах юзжит:

«Я – не Николюкин... я – Николаев... у меня мать... спросите у матери... у ма-атери... у ма-атери... у ма-а-те-ри...» – покеда голос не за-хлестнуло...

Думал, покуда к тебе сходят да наведут справки, все ночь, денек, другой поживет на белом свете, оттянуть хотел... Ну, вот!.. вот оно. Что мне теперь с тобою делать? Эх, служба!.. Куда шинель-то положил? Ну, чего? Не вернешь... а сама спрашивала... лучше б не приходил... Пойдем, что ль, могилку покажу...

Отрезанный ломоть *

I

Яшка Беспалов, ухарь и щеголь, в плисовых штанах, сапогах набором и всегда заломленной на кудряво выбивающихся волосах шапке, удивительно стройный и пропорционально сложенный, был общий любимец и баловень.

На серой, монотонной, наполненной бычьей работой мужицкой жизни он пестрел ярким праздничным пятном.

Водили ли девки хоровод, гуляли ли на вечеринках, или с гулом, звоном, музыкой справляли свадьбу, – никто так не отдирал по убитой стонущей земле трепака, никто так щедро не сыпал пряниками и конфетами в толпу, никто так захватывающе в подмываю-

щей песне не летал по поднебесью ясным соколом, как Яшка. Мужики с ним пьянствовали, молодухи гуляли, девушки увивались, как хмель вокруг жердочки.

Но в будни, когда мужики, бабы, девки сурово, сосредоточенно и не глядя по сторонам шли и ехали на работы, возили сено, косили, сеяли, убирали скотину, стряпали, мыли белье, Яшка в своей яркой шелковой рубахе, плисовых шароварах, с непокорно выбивающимися кудрями, казался лишним.

Ходил по слободе, щелкал семена, позевывая, сплевывая на сторону, заговаривая то с тем, то с другим, но отвечали ему односложно и нехотя и проходили мимо, как будто в обычные будничные дни ему не находилось места, и вся эта медлительная, черноземная, от века налаженная жизнь текла мимо широкой, ровно подвигающейся рекой, не задевая и не принимая его в себя.

Иногда Яшка вдруг проваливался, как сквозь землю. Проходили дни, недели, случилось и полгода, о нем не было ни слуху ни духу.

– Должно, сокрушили молодцу голову али

попался, кандалами позванивает, – говорили мужики, когда кто-нибудь о нем вспоминал.

Но он появлялся так же неожиданно, как неожиданно пропадал.

Исхудалый, оборванный, с сожженным, потрескавшимся от зноя, ветра и степной пыли лицом, с горячечно-остро-лихорадочно блестящими, черно-запавшими глазами, он, как добирался до своей хаты, заваливался спать. Спал без просыпа, спал по целым дням, пока не появлялся, наконец, на слободе, снова веселый, беспечный, ухарь и щеголь.

И в ближайший праздник подымалась бесшабашная гульба. Деньги из Яшкиных карманов лились рекой. Мужики пили, девушек оделял сладостями, а молодухи уносили подарки.

– Яш, а Яш!.. Люблю тебя вот до чего... хочь руку тебе свою отрубить аль ногу, а?.. – И пьяненький собеседник в экстазе любви и преданности безнадежно крутил мокрой, растрепанной головой.

Яшка целовался, обнявшись чокался, пил и, откинувшись, затягивал песню высоким, сильным, в душу просящимся голосом, и раз-

ливалась она, как бескрайняя степь, над которой лишь небо, да солнце, да на кургане степной орел.

– Яша... все хочу тебя об одной просьбе просить... вишь ты, – ласково подбирался кто-нибудь из мужиков, – все хочу тебя просить... крышу, вишь ты, надо мне перекрывать, да сам знаешь, в прошлую зиму быки пали, од-нолеток парочку, думаю, присовокупить в хозяйство... Яша, а?.. Будь другом по век жизни... четвертной билет... Обернусь, отдам... Ох, и парень ты редкий, золотая голова!.. Тебе-то все равно: как пришли, так уйдут, а нашему брату век хребет гнуть...

Яшка, не глядя, лез в карман, доставал, сколько рука хватала, кидал на стол и опять, чуть покачиваясь, откидывал голову, с потемневшими расширенными зрачками, за душу хватая неизбывной тоской, что, как ветер степной, гуляет с молодцом и, как орел, жадно простирает крылья и пропадает в поднебесье, – и над степью только небо да солнце.

Все знали, чем занимается Яшка, но где, как и кем работает, никто не знал, потому что уезжал он на «работу» за сотни верст, в слобо-

де же не пропадало ни одной лошади, ни скотины, ни овцы.

И все берегли Яшку и не выдавали.

II

Месяц, круглый и белый, стоит высоко, и черные тени от тополей, от хат, от плетней и ворот лежат все в одну сторону на озаренной земле.

За темно-молчаливыми, но задумчиво-неспящими садами в беспредельно неуловимом сиянии – степь, а тысячи сверлящих, нестройных, негромких, но все заполняющих звуков бесчисленной ночной, никогда не засыпающей жизни несутся оттуда.

Неподвижны белые хаты, с темно-обвисшими соломенными крышами. Молчливо-пусто на запятнанных тенями улицах. Только собаки то близко, то далеко лают упорно, сосредоточенно, с небольшими передышками, как будто у них особенные обязанности в эту лунную ночь.

В густой тени дремотно осиянной листвы голос Якова:

– Слышь, Ганна, докудова же буду ждать?

И голос Ганны:

– Уж сколько раз тебе говорила: жди до второго пришествия. Убегом не пойду за тебя, а так не отдадут.

Между ними высокий сухой плетень. Она придерживается, подняв обе руки, за высовывающиеся из плетня колья, и монисты стеклянно пошевеливаются на ее шее.

– А увезу.

– Руки короткие.

– Али не любишь?

Из-под черной бровя лукаво блестит веселый глазок.

– Желанный мой... долго не ехал, думала – пропал, али приключилось что...

И она просовывает поверх плетня между кольями теплые руки, притягивает его голову, и высокий месяц, и белые хаты, и молчаливо-стройные тополя меркнут и беззвучно уплывают.

Сзади глядит только Волчок, косматый, с репьями в свалывшейся шерсти, чуть пошевеливая хвостом и едва заметно улыбаясь ушами: вижу, мол, и знаю, да не мое, мол, дело.

А Яшка отнимает ее руки, схватывается за колья, и высокий плетень трещит под гибко

переброшенным, с мелькнувшей по земле тенью, сильным телом.

Девушка увертывается и с визгом отскакивает. Волчок, которому оттоптали лапу, садится в сторонке и смотрит на них, добродушно помахивая хвостом: ничего, мол, ничего, я не сержусь.

– Нет... пусти... не надо... гляди, отец выйдет...

Не выпуская из объятий, он сажает ее с собой на завалинку, под ее оконцами.

– Обернула ты меня вокруг пальца, не жить мне без тебя, будя. Намотался я по степи, нагулялся, налажу хозяйство, возьму тебя, будешь у меня хозяйкой, как месяц ясный в небе.

Она на минуту наклоняет голову, потом подымает, и в глазах, странно путаясь, искрится не то насмешка, не то оттенок снисходительности и презрения,

– Конокрад ты и вор...

– Кому – вор, а тебе – хозяин...

– Летать ясному соколу по поднебесью, а не ходить по пашне, переваливаться серой вороной... Не мужиковать тебе... Какой из те-

бя хозяин?.. Нет в тебе правильности...

Волчок, все время смотревший на них, поднял голову и глядят в оконце. Оконце стукнуло, поднялось, показалась борода:

– Кто тут?

Девушка исчезла, а Волчок торопливо и радостно завилял хозяину хвостом.

– Я, – кинул Яков, подымаясь, и пошел к воротам.

– Объезжай подальше по ночам-то... выбрал место полуношничать...

Волчок поднялся и, грустно опустив голову и хвост, пошел за Яковом, постоял, хотел было полаять, да раздумал, отправился под навес и улегся на мягкой, пахнувшей навозом соломе, прислушиваясь, как жует скотина.

Оживилось во дворе Яшкиной избушки. Только и слышно, с утра стучит топор, да визжит пила, да Яшка весело посвистывает, как суслик над норой. Солнышко взойдет – Яшка уже за работой, солнышко зайдет – Яшка еще возится под навесом.

Ворота поставил, арбу новую связал, нужно только купить стан колес к ней. Плетни поставил, стойло для коровы заготовил.

И чем больше возился и налаживал хозяйство, тем сильнее захватывало его. Точно могучая, черноземная, дремавшая в нем сила подымалась, и уже не мог Яшка противиться ей.

Деды и прадеды спокон веков целыми поколениями возились около земли, поливали ее потом, а теперь эта земля потребовала и Яшку, и он радостно, чуя в себе силу ее, пошел к ней.

И уже обступили его со всех сторон мужицкие заботы и думы. У Кривой балки хорошо бы клин запахать да гречихи присеять. А в Волчьем Логу хорошо трава косится и овсы родятся. Если взять у Вавилы, который должен двести рублей, пару молодых бычков, так с осени и пахать начинать.

А мужики, проходя мимо Яшкина двора, ухмылялись в бороду:

– Должно, перепил... с жиру стал беситься, за хозяйство взялся, – и насмешливо крутили головой, – хоз-зя-ин!..

Воткнул Яшка топор, выкурил сигарку, задал, чтоб, боже упаси, пожару не раздула, глянул на солнце, – высоко еще, – и пошел к

Митричу Безгубому, отцу Ганки.

Безгубый из березового кряжа тесал ось.

– Здорово, Митрич.

– Будь здоров.

– Бог на помочь.

– Спасибо.

– Сказывают, нонче опять хлеб на станции подорожал.

– Нда-а...

Яшка помолчал, лазая по двору глазами, почесал за ухом:

– Ось тешете? Та-ак... А я вот с чем, Митрич, к вам. Дело, стало, ни малое, ни великое, а между прочим сватов думаю засылать.

Митрич молча продолжал тесать, как будто был один. Яшка крякнул, придавил пальцем и громко сморкнул одной ноздрей.

– И, собственно, до вас... Ганну, стало быть, за меня отдадите?

Слышно только, как тюкает топор да щепатрещит, скальвается. А с улицы доносится:

– Заворачи-ва-ай бы-ко-в к Ми-тю-у-хе...

– Так как же об деле мнением вашим, Осип Митрич?

А Митрич, спокойно продолжая тесать,

уронил:

– Буде тебе баловаться... что язык-то чешешь...

Яков вспыхнул.

– Я не в бабки пришел играть... сказываю, по чести, по совести... повенчаюсь, и заживем хозяйством...

Митрич перестал тесать, опустил на минуту топор и поглядел на Якова:

– Ну, какой ты хозяин!..

И опять затюкал топор. Яков злобно покраснел.

– Слышь, я не шутки шутить... сказываю, по совести, не как-нибудь... потому люблю ее больше судьбы... все брошу, пахать, сеять начну, мужиковать буду... силы-то, – он протянул железные руки, – силы-то на два хозяйства хватит... нужды не будет знать, павой будетт-ходить... осточертело и мне по степи шаландаться, погулял – и будя... а то без угла, без племени, без своей хаты, без семьи... да я те-перича полстепи плугом подыму...

Так же мерно заворачивал щепу топор.

– Никакой ты хозяин... правильности в тебе нету, сегодня ты – хозяин, завтра все вверх

тараманом... конокрад ты и вор... и деньги тебе даром... и не приучен ты сызмальства, как мы, из земли пот свой пить...

– Не попрекай... сказано: бросил – и бросил, и слово мое – как камень... Еще вы, землееды, за мной не поспеете, зачну пахать да сеять... и вот тебе сказ: кабы вор да конокрад, давно бы дочку у тебя уволок, никто бы и «ох» не успел сказать, сгинула – и шабаш!.. А там повольничал с ней и в город бы сплавил в прислуги али еще куда в доброе место... а я пальцем не тронул, потому окровенила она мне сердце... хочу по чести, по совести... и будет она хозяйкой над хозяйством...

– Ну, за эти дела тоже не глядят... а между прочим из пустого в порожнее неча нам с тобою переливать: Олихменковы сватов засылают, и я согласен.

Яков побледнел, потом опять густо покраснел, и руки невольно судорога свела в два тугие кулака.

– Та-ак!..

И пошел, грузно ступая по горячей земле.

Туча тучей ходит Яков дома. Первое время

все валилось из рук, но он переломил себя и по-прежнему работал.

Ганна уклонялась от свидания с ним, а когда случайно встречались, она торопливо проходила, не глядя, сильная, чернобровая, зовущая к себе, и только, когда пройдет, глянет на него ясными девичьими глазами, за которые и тысячи рублей не жалко.

И Якова то охватывала и била страсть, то ласковая нежность к ней, то подымались возмущение и злоба.

– Засветить разве слободу со всех четырех сторон, чтоб светло сделалось темною ночью по степи, как перед заутреней Христовой, да погулять в последний раз.

Но в нем подымалась старая мужицкая терпеливая настойчивость:

– Ничего... ничего... по-моему будет... – И он продолжал рубить, тесать, завел скотину.

А мужики по-прежнему, проходя, ухмылялись, и когда Яшка заговаривал с ними насчет хозяйства, они говорили добродушно:

– Пойдем выпьем, Яша, к Вавилихе, а то ты небось соскучился, давно не пьешь.

И куда бы Яков ни обращался, было одно

и то же. Какой-то прочный, добродушно-молчаливо-враждебный круг смыкался кругом него, и он никак не мог пробиться. По странной иронии судьбы его все любили, баловали, и он всем нужен был, как конокрад, но его не пускали в свою благообразную, веками установившуюся, крепко спаянную трудом и обычаем мужицкую жизнь, как конокрада.

Уже сыграли и стговор Ганкин, много пили и веселились, и больше всех пил и веселился Яшка, но в ту же ночь грянула над слободой беда: у Олихменковых, в семье жениха, увели не только всех лошадей, но и всю скотину угнали, быков, даже овец. Дом – полная чаша – стоял теперь, как развалина; нищие женщины голосили, как по мертвому, а мужчины, с дикими, горячечными глазами, прыгающей челюстью и землистой бледностью в лице, метались, как безумные, по степи в поисках, но все кануло, как в воду.

Все знали, что это дело рук Яшкиных, но нельзя было приступить: Яшка целую ночь пьянствовал у всех на глазах и никуда не отлучался. И все-таки это дело его рук. Все знали, что он принадлежит к воровской органи-

защиты, сетью покрывающей всю степь, и без его приказа теленок не мог пропасть.

Свадьба расстроилась. Хату заколотили, точно в ней чума побывала: мужики разбрелись, кто в город, кто на чугунку на заработки, а бабы кое-как мыкали горе в слободе. И, как отмеченный, стоял опустелый двор, с разрушенным хозяйством, и, проходя, все угрюмо косились, как косят живые на мертвое тело.

Ганку Яков не видал – она от него бегала, как от привидения, а когда приходил к ним во двор, его встречали чуть не с кольями.

Над слободой повисло темное напряжение ожидания. Какое-то огромное несчастье, поголовное разорение, крики, разом и далеко кроваво осветившаяся среди глухой ночи степь – все стояло, как неизбежное над людьми в каждый занимающийся зарей день, в каждый зачинающийся сумерками вечер,

И проходил день, и проходила ночь спокойно, но и непотухающее ожидание такой же густой, удушливой мглой нависло над избами, садами, над женщинами, детьми, стариками, над молодыми.

Мужики делали свое дело, ездили, ходили, работали в поле, поглощенные обычными заботами, но, не спуская глаз, глядели, проходя, на маленькую покосившуюся избушку с растрепанно-почерневшей крышей, с выбитыми стеклами, с косо висевшими сорванными ставнями.

Казалось, избушка была заброшена, но из черно зиявших с осколками глазков глядела таинственная, зловещая пустота, чреватая несчастьями.

И когда проходили, бурчали под нос:

– Нет на тебя пропасти... когда только издохнешь, собака.

Никто не мелькал в окнах, и по вечерам не зажигался огонь. Пустой двор густо зарос травой, которую не топтали, и даже ребятишки не лазали, далеко обходя задворками.

По ночам мужики не спали, осторожно выбирались и в глухой темноте подолгу стояли и слушали. Лошади всегда были накрепко прикованы. Было тихо, ничего ни у кого не пропадало, но это еще больше сгущало ожидание, и, измученные, все задыхались в этой густой, как мгла, атмосфере напряжения.

В глухую, нависшую ночь с десятков парней прокрались к одинокой, неясно маячившей в темноте избушке. С кольями, со шкворнями окружили, расположились у дверей, окон, выскочить было некуда. Дело надо было сделать чисто, аккуратно, без огласки и потом зарыть тело среди ночи в степном безлюдном овраге, чтоб ни одна душа не знала. Сгинул, а где, как и когда, никто бы не дознался. Может быть, за сотни верст от слободы.

Когда нажали дверь, она, незапертая, свободно подалась. В ту же секунду, с совершенно противоположной, неожиданной стороны, сверкнул один, потом другой выстрел, раскатываясь взбудораженным эхом, и, едко въедаюсь в тело, всех осыпал бекасинник.

Побросав кольца и шкворни, как буря понесли ребята, и долго в молчаливой темноте замирал топот по неподвижным, спавшим улицам. Сзади так же грозно и немо чернела заброшенная избушка с полуприотворенной дверью.

По-прежнему Яков пропадал по неделям, по месяцам, и когда появлялся, был, как и прежде, щеголем, пьянствовал и сыпал день-

гами. И когда гулял, всех встречал внимательным, пытливым взглядом.

– Мерина никак доброго купил? – бросал он невинно, выпивая стаканчик. – А?..

Ничего не было в вопросе, а хозяина коробило, точно медленно подпаливали пятки:

– Ну что!.. Ну, купил... что такого...

– Хе-хе-хе... ничего...

Он уже знал, не видать теперь мужику ни сна, ни покоя, целыми ночами будет ходить по двору да потрагивать железные путы на лошади.

Раз пришли к нему старики, расселись на завалинке и долго молчали, потом заговорили:

– Слышь ты, Яш, от миру к тебе пришли, от обчества.

– О-о!.. али обчество соскучилось?..

– Погоди, Яша... сам знаешь, против обчества идтить в земле быть... Парень ты добрый, ласковый...

– Стало быть, благодарить пришли...

– Постой, не скачь, сороки скачут... Одним словом, обчество просит всем миром во... поезжай в другое место, пожил, будет с тебя...

мочи нашей нету... пожил...

– Мало.

Он опустил глаза, долго глядел в землю, потом поднял, и жгучей, за сердце хватающей ненавистью обожгли они.

– Погожу.

Старики помолчали, откашлялись.

– Яша, тебе все одно, где ни быть, жисть у тебя такая... без роду, без племени, правильности в тебе нету, а у нас особь статья: у нас хозяйство, забота, каждодневно... ложишься спать, а сам все думаешь, как да что... По этому самому просим... обчество, стало быть, согласно, даст, сказать, за выкуп, на хозяйство, стало быть, на обзаведение, а ты поезжай, устроишься, ежели не пропьешь, и нас трогать не будешь...

Он заговорил страстно, едва успевая выговаривать слова:

– С вами хочу жить, братья, мои милые, названные, богом благословленные, с вами... так жить, как вы живете, так же округ земли, округ скотины ворочаться, так же мужиковать, так же из-под ладони на солнышко божие глядеть, и бояться, и радоваться, не за-

жгло бы хлебушка, не засушило бы, послал бы бог вёдра.

Тогда рыжебородый степенный мужик не спеша погладил бороду:

– Вышлет обчество, чтоб ты знал и не каялся бы...

– Все дороги из Сибири в вашу слободу... ни одна не минует... вышлете и будете каждую ночку назад гостя поджидать...

Тогда они долго молчали и долго смотрели в землю. И рыжебородый сказал:

– Убьем.

– Убьем.

– Все одно убьем.

И седенький старичок, ласково глядя на него, подтвердил:

– Убьем, Яшенька, больше нечего... Убьем, Яша, податься нам некуда, сам понимаешь...

Яшка сощурил глаза, Как будто слишком ярко светило солнце, и свистнул так, что голуби и воробьи с шумом вылетели из-под соломенной застрехи.

– Служите панихиду; да сзывайте на поминки, на почетный пир гостей, друзей, моих товарищей, да заготовляйте больше браги да

сладкой водочки. Загуляют молодцы, прилетят орлы степные, да, чтоб светлее было, закурят трубки с четырех концов, чтобы по всей степи видно было, как по товарищу поминки справляют, гульбу гуляют. Ну, а домой станут собираться, вы уж коней со всей слободы приготовьте, не пешком же гостям идти... Хе-хе-хе!.. А?.. Так-то... покуда что, будем жить, а обещаться ничего не обещаю, все ли кони у вас целы будут с этой ночи, али нет, сами считайте...

Медленно шли старики по широкой улице, о чем-то говорили и разводили руками.

Долго пропадал Яшка, и все вздохнули. Но он опять появился и шел по улице, как всегда, ухарь и щеголь.

Навстречу Ганна с полными ведрами, босиком, осторожно по горячей пыли, опустив глаза. Исхудалая, как будто постаревшая, отрепанная, с черными пятнами загара на ввалившихся щеках.

– Доброго здоровья!.. Давно не видались...

Но она, сгибаясь под тяжелым коромыслом с раскачивающимися полными ведрами, не

глядя, обошла и пошла дальше. Яков загородил дорогу.

– Али генеральшей стала?

И, зло усмехаясь, бросил:

– Не сладко?

Та задрожала, коромысло соскользнуло, ведра опрокинулись. Ганна села, как стояла, в пыль, зажала лицо руками и билась в нестерпимых, рвущих грудь рыданиях.

С той роковой ночи, после которой Олихменковы проснулись нищими, непереходимой молчаливой чертой сомкнулось вокруг нее отчуждение. Все отшатнулись, точно и к ней прикоснулась чума. Уже никто не слышал ее в яркой толпе девок, не плыла серебром в летнем сумраке ее песня, и парни не баловались и не шутили с ней, когда соберется молодежь на праздник за околицей.

О том, чтобы посватались за нее теперь, нечего и думать, – судьба Олихменковых грозно стояла перед глазами, и, как в осеннюю дорожную слякоть, идти ей до могилы покинутой, никому не нужной старой девкой.

Дома ее поедом ели старики, точно она во всем виновата, и собирались ее отправить в

город в прислуги. А она валялась у них в ногах, только бы остаться. Еще малюткой качалась она в люльке на пашне, и степной ветер обвевал ее; выросла среди деревенской улицы, среди изб, плетней, навесов, всего деревенского уклада, среди деревенских песен и слез, нужды и радости и не умела оторваться от всего этого.

– Не сладко?

Яшка стоял над рыдавшей девушкой, когда-то задорной, сильной, кровь с молоком, и из-под черной брови сверкал лукавый глазок. Пришел кто-то и стер румянец, задор, веселье, беспечность, стер и унес и Яшкино счастье, любовь, семью и жизнь мужицкую, в которой он хотел отдохнуть от своей загулявшейся молодости.

И его охватывало сладостно-мстительное чувство, то чувство, с каким он прислушивался к глухому, ни днем, ни ночью не замиравшему напряжению ожидания, которое, как мглой, опутывало и душило мужиков.

Она рыдала.

Он было пошел, но вдруг повернулся, наклонился, взял ее за руку.

– Ганна... слышь...

Жгучее, почти болезненно-радостное чувство невыразимой нежности, жалости подрезало его, как осоку зазвеневший серп. И, точно обрадовавшись нахлынувшему внезапно и помимо воли чувству, он заговорил изменившимся голосом:

– Слышь, Ганна... брось... скажи только слово, горло всем перерву, камня на камне не оставлю... брось... скажи только... уедем... уедем вместе в город, али... куда... брось... заживем панами... только что птичьего молока не будет у нас... Слышь ты, Ганна, любя моя... не клином свет сошелся... раздолье-то куда хошь...

А она поднялась, и на него бесконечной ненавистью глянули сухие, горячечные глаза, и из трепещущих от злобы губ вырвалось:

– Вор... вор!.. будь ты проклят!.. – и плюнула ему в лицо.

Черная глухая ночь молча обнимает невидимые избы, улицы, сады, невидимое небо, степь. Не шелохнется лист; только далекие собаки отрывисто, монотонно и слабо доносят лай.

В избушке тихо, темно, нет огня.

Человек лежит, закинув руки за голову. Задремывает чутким, прислушивающимся сном, которым спал прежде только на «работе», а теперь и дома.

Среди ночи и молчания кто-то ходит легкими, неслышными шагами, прокрадется и к дверям, хрустнет камышинкой, постоит, и опять все та же тьма, наполненная тяжелым молчанием.

– Караулят!..

Зло усмехаясь, поворачивается на бок и засыпает, но сейчас же, как ему кажется, просыпается:

– А?.. – и садится с бьющимся сердцем.

Так же могильно черно и немо, но что-то в этой немотствующей, непроглядно влажной темноте случилось.

– Да ну, ничего нету... собаки али лиса...

Но непотухающее беспокойство не дает сомкнуть глаз. И он подымается и, напряженно впиваясь в густую, все заслоняющую, ровную, таинственную тьму, безоружный выходит на двор.

Темно и тихо.

В нешевеливающейся напряженной темноте, кажется, вот-вот недовольно, сдержанно, угрожающе заворчит гром, широким, на секунду синевато задерживающимся светом полыхнет молчаливая молния, но по-прежнему темно и тихо.

Глаз понемногу привыкает. Смутно, черным контуром, подымается угол избы и тонет вместе с крышей в океане мрака. Гуще, чем эта непроглядная ночь, проступает темная чаща деревьев и тоже расплывается в тяжелой, влажной, давящей тьме.

– Никого... попритчилось...

Он уже хочет уходить – как глаз поражает смутный, неподвижно-темный контур человека в стороне под деревом. Он – прямой, высокий, как будто проглотил палку.

– Ты что?

Тот неподвижен.

Волосы шевелятся на голове Якова.

– Кто? – и, протянув руку, делает шаг.

Рука натывается на платье. Это – женщина. Она такая же неподвижная, вытянутая, неестественно высокая и – что покрывает ужасом – слегка откачивается от руки, ощу-

щающей последнюю теплоту стынущего тела.

– Ганна.... Ганна!.. Слышь? а? Ганна... – бормочет он бессмысленно, стараясь притянуть и поставить на ноги, которые, упрямо качаясь, не касаются земли.

И ночную тяжелую тьму по-звериному прорезает крик и потом повторяется слабее за терновником в камышах.

Лошадь перестает жевать наваленное перед нею сено, стрижет ушами. Через минуту слышен ее тяжелый скок и треск лежащихся, ломающихся камышей и все слабеющие, пропадающие вместе с лошадиным топотом в темной степи бешено-звериные крики:

– Ратуйте!.. ратуйте!.. ратуйте!..

Позади по-прежнему неподвижно темно, и лишь доносится замирающий лай собак.

Он продолжает скакать в глухую степь, где нет людей, жилья, нет завтрашнего дня, просыпающегося круга очередной работы, забот, – в глухую безлюдную степь, где по непролазным чащам глухих оврагов и балок щенятся лишь волчьи выводки.

Уже все чаще спотыкается лошадь, огромное пространство молчаливо ложится позади.

Вдруг изо всех сил откидывается назад, бешено натягивая поводья.

Лошадь садится на задние ноги, задыхаясь и крутя головой. Совсем перед лошадиной мордой встают черные силуэты, как будто хаты.

Ни малейшего звука, ни лая, ни шороха. Не ворчит гром, не вспыхивают зарницы. Не слышны обычно заполняющие летнюю ночь непрерывным, неумолчным сверлением кузнечики. Тучи, тяжелые, мрачные и влажные, невидимо и низко лежат на земле, все так же удушливо обещая ночную грозу и не давая ни капли дождя.

И опять прорезывает густую тьму.

– Ра-туй-те!..

Он поворачивает, бьет исступленную лошадь и скачет в другую сторону, туда, во тьму, от людей, от их жилищ, и невидимо рвущийся из-под копыт конский топот снова заполняет беспредельно простирающуюся тьму. Только изуродованными, разорванными кусками несетя темный воздух, свистит в ушах, безжалостно треплет одежду.

Уже с хриплым, свистящим дыханием

рвется под ним лошадь, но не видно ни падающей пены, ни вытянутой головы и шеи, ни кровавых ноздрей, ни улетающей сухой, твердой земли.

И, наполняя душу несказанным ужасом, смутно проступая, черно вырастают – как будто контуры хат, молчаливые, немые...

– Ратуйте!.. ратуйте!..

Но уже не может сдержать скачущей лошади и, припав к ее мокрой от пены шее, мчится к этому неподвижно чернеющему человеческому жилью, как в черную пропасть...

На другой день мужики нашли в степи на току среди неподвижно молчаливых скирд лошадь. Она лежала, как грянулась об укатанную землю, с запавшими боками, вытянутыми, как колья, ногами и застывшей пеной в оскаленных зубах. Возле, раскинув руки, лежал Яков с разбитой о молотильный каток головой.

Мишка-упырь*

Как только Мишка-упырь протер глаза, первое был гудок, ровный, настойчивый, непрерывно гудящий в утренней темноте, и первой проснувшейся мыслью было сейчас же незаметно выскользнуть из дому. Но, чтобы не обратить на себя внимания, неподвижно лежал под своими лохмотьями.

В углах, в окнах еще стоит редящая темнота. Слышен надрывающийся отцовский кашель; смутно чернеет его фигура над лоханкой, – нагнувшись, умывается. По тому, как гремит кружкой, кряхтит и кашляет, Мишка чувствует, что отец зол, не выспался.

Мать торопливо готовит поесть отцу, просыпаются ребятишки, и в заполненной духотой комнате – зевота, бормотанье, всхлипывание, плач маленьких детей.

Отец ушел, но гудок все так же упорно стоит за обозначившимися переплетами посветлевших окон. Кажется, ему и конца не будет.

– Ну, ты... барин!.. Долго будешь вылеживаться?..

Больно раздаются два шлепка, и жесткая

рука матери срывает с Мишки лохмотья. Он подымается из своего угла, скребет голову и тянет умышленно гнусавым, плачущим голосом:

– Ну, чего бьешься?.. Гы-ы-ы!..

Мать хлопчет, непрерывно бранясь и крича на ребятишек. Мишка размазывает из кружки воду по лицу, вытирается рукавом рубашки и, как волчонок, бросает быстрый взгляд на дверь.

– И не думай, и выкинь из головы! – кричит мать злым больным голосом. – Ежели уйдешь, и не приходи, запорю, до смерти забью...

Мишка со вздохом скребет голову. Уйдет мать на поденщину, а ему возиться с ребятишками, глядеть за печкой, за борщом, натаскать воды, подмести комнату, – так каждый день.

И он стал выгребать золу из печки, а сам напряженно, ни на минуту не ослабляя острого внимания, глядит на дверь.

– Пойди принеси щепы.

Мишка бросается, – щепы за дверью.

Смутно темнея и суживаясь, уходит в чер-

неющую даль молчаливый коридор со множеством дверей. Скупно пропуская свет, насупленно глядят запыленные, грязные окна. На веревочках развешано рваное белье; темнеют разбитые ящики с разным хламом.

Слабый, старчески хрипящий кашель странно вяжется с этим угрюмым, темным молчанием, настойчиво и без отдыха нарушая его. Старушка, качая головой, шаркая ногами, идет с ведерком, должно быть, за водой. Она тихо идет мимо молчаливых дверей, – все на работе, и в квартирах только старый да малый, – и долго ее кашель надрывается наперекор прислушивающемуся молчанию.

Мишка смотрит, как тонет она неверно и колеблясь во мгле пропадающего коридора, потом набирает щепы, перегибаясь назад, идет, берется за ручку двери...

Кто-то невидимый, смеющийся, смелый и веселый шепчет, тянет в коридор и шепчет. Мишка не может разобрать, в ушах стоит: «Забью... запорю до смерти...»

Он отворачивается от зовущих скудным светом окон, берется за ручку, тянет дверь и вдруг бросает на пол с упреком белеющую

цепу и что есть духу пускается по коридору.

Одна из бесчисленных дверей отворяется, выходит какой-то человек и сердито идет по коридору, но на бегущего во весь дух мальчика не обращает внимания.

Окно в конце коридора все ближе, яснее. Вот и лестница, и, стиснув зубы, рискуя сломить шею, Мишка прыгает через две-три ступени, пока темный пролет лестницы уже весь над ним, и с визгом открывается дверь на улицу.

Серое, холодное, сырое утро.

Чернеет кое-где грязный, не успевший потаять снег. Гудок смолк. На улице никого.

Мишка стоит, поеживаясь. Знает, мать не погонится за ним, – все равно не поймает. И, подшмурыгивая носом, осторожно ступает по недавно протоптанном среди весенней грязи тропкам.

Дома узко и тесно сдвинулись, облупленные, хмурые. Угрюмо глядят слепые окна, зияя разбитыми стеклами, заткнутые тряпками, заклеенные грязной бумагой.

Мишка идет, соображая. Гул, смутный и тяжелый, все вырастает, тяжело колеблется. А

когда переулочек обрывается, немолкаемый грохот бешено рвется из громадных, занесенных копотью окон почернелого корпуса. Дрожат стены, звенят стекла.

Все черно: земля, ограда, двор, ворота. Из гигантских почернелых труб зимой и летом, весной и осенью валит черный дым, мешаясь с низкими тучами. Даже деревья стоят чахлые, черные, а не успевший местами потаять снег – как грязь.

Люди ходят с хмурыми, темными лицами, – оттого ли, что на все садится копоть, или оттого, что они никогда не улыбаются.

А не улыбаются, вероятно, оттого, что на фабрике стоит ни на минуту не слабеющий, тяжело грохочущий гул, все подавляя – смех, и говор, и голоса, люди объясняются знаками, и на лицах непреходящая усталость.

Тысячи веретен, мелькая в безумном кружении, гудят все ту же нескончаемую воющую песню. Тысячи челноков снуют взад и вперед, и свист и чоканье несутся в буре звуков, а сотни колоссальных передаточных ремней, тяжело колеблясь и гоня темный ветер, неуловимо несутся по шкивам с злове-

щим шепотом и бормотаньем, от которого трясутся стены и мучительно дрожит пол. Темные фигуры среди машин, станков, среди грохота, свиста, визга, среди безумно крутящейся пыли, среди неумолкаемого беснования...

Гул несется от фабрики и тяжело стоит над всем околотком, как стоит над ним вечная дымная мгла, и солнце глядит тусклое и медное.

Все что-то соображая, Мишка подошел к воротам и весь, как молодой волчонок, оцетинился, сжался, точно приготовился к прыжку.

На воротах висел огромный замок, а около полуотворенной калиточки неподвижно сидел сторож – Каменная Баба, как его звали на фабрике.

Он сидел, как каменное изваяние, в том самом архалуке, в котором сидел ночь. Сколько рабочих ни перебивало на фабрике, они всегда его видели неподвижно сидящим у калиточки. Могли остановиться все машины, стореть фабрика, порости травой опустелый двор, а Каменная Баба по-прежнему невозму-

тимо сидел бы у полупритворенной калиточки. Забыл он о своей деревне, семьи у него не было, а была маленькая каморочка у самых ворот. Он как следует даже не знал, как и что работали на фабрике, а одно только видел – калитку, через которую никто не должен был проходить без пропуска от конторы.

Мишка стал перед ним, заложив два пальца в рот, и свистнул так, что даже фабричный гул, неумолкаемо грохотавший из окон, не успел поглотить, но Каменная Баба головы не повернул.

– Али тебе шерстью уши заложило?

Все тот же ревуций, победный, грохочущий гул.

Мишка вдруг сел на корточки в двух шагах и, умильно глядя горевшими, как у волчонка, глазами, заговорил, крепко нажимая голосам, чтоб было слышно:

– Дяденька, пусти... вот те Христос... провалиться мне скрозь землю, матка послала к тятьке.

Все так же грохотали занесенные копотью огромные окна.

– Лопни мои глаза!.. Чтоб мне завтрашне-

го дня не дожидаться!.. Чтоб с меня шкура слезла!.. Чтоб меня вывернуло наизнанку...

Маленький и подвижный, как комочек, он извивался, клялся, божился, а Каменная Баба так же неподвижно и молча сидел.

– ...чтоб те ни дна, ни крыши... чтоб те собаки ноги отъели... чтоб у тебя пузо лопнуло да вытекло... чтоб...

Баба поднялся, огромный, как бегемот, и тяжелый верблюжий архалук падал неуклюжими складками, шагнул и нагнулся, хватая шершавой, заскорузлой рукой за ухо, но Мишка с визгом откатился, вскочил, а Баба опять неподвижно сидел, как каменный.

– Истукан!.. Идол проклятый!.. Морда каменная!.. Воробьи на тебе гнезда вьют, – всю морду опакостили... Полкан цепной... ну-ка, загавкай... загавкай, загавкай... Ты умеешь...

Мишка вертелся перед ним, как вьун, бросая самые замысловатые обидные прозвища.

Баба поднялся, скинул и аккуратно сложил на скамеечке архалук. Мишка мгновенно пустился бежать. Он бежал, сколько позволяли ноги, стиснув зубы, наклонив голову, с раздувшимися ноздрями, не оглядываясь, не раз-

бирая луж и грязи, бежал вдоль закопченной ограды, и неумолкаемо ревевший гул метался над ним. Клубы дыма черно расплывались мглой. И нельзя было разобрать: не то это облака висели, седые, одинаковые, не то вечная, никогда не проходящая дымная мгла. Завернул за угол, потом еще – и остановился.

Сразу стало скучно и вяло. Никого. Из-под ограды черная вонючая жидкость, жирно блестя, полосами стекала под обрыв... Под обрывом сплошь подвигалась река, играя радужными побежалыми цветами, тонко подернутая слоем нефти, масла и красок. Скучно глядели с той стороны серыми крышами домишки пригородной слободы.

Мишка опустился на землю и лениво ковырял грязь. Бурое солнышко стало пригревать. Мальчик ни о чем не думал, не вспоминал. Как будто не было фабрики, дыма, Каменной Бабы. Уплыл куда-то неумолкаемый гул. Мишка был один на всем свете, и было ему все равно.

Он не знал, сколько так сидел и ковырял грязь. Некуда было идти и нечего было делать.

Поднял голову, река тихонько подвигалась вниз, грязная, мутная, играя радугой, как мыльные пузыри из бани. Воняла черная жидкость, медленно вытекавшая из-под ограды.

Есть хочется.

Крепко подтянул поясок у штанов. Фабрика без умолку грохотала.

Мишка поднялся, внимательно оглянулся, и глаза у него загорелись.

Был он худенький, тщедушный, и никто бы ему не дал больше семи, а ему было девять лет. Но когда напрягалось все маленькое тельце, готовясь на опасное дело, и загорались глаза, он казался старше своих лет.

Озираясь, крадучись, кошачьими шагами подошел к каменной ограде и заглянул в пробитое внизу отверстие, откуда зловонно вытекала черная лоснящаяся жижа. Нестерпимо пахло в лицо. Мальчик отшатнулся.

– Пропадешь!..

С секунду стоял в нерешительности и вдруг опустился и с отчаянием пополз в дыру. Узкая, сдавленная сверху неровно нависшими кирпичами, она медленно дышала ему в

лицо густым сладковато-тепловатым смрадом, и противоположное отверстие тускло просвечивало в густом зловонии. Мишка протискивался, обдирая голову о кирпичи, жижа касалась подбородка. Захватило дыхание, и желудок, выворачиваясь, забился в судорогах рвоты.

Все поплыло кругом, и, зажав зубы и не дыша, с отчаянием протискивался дальше, болтаясь в жиже руками и ногами и почти ложась в нее животом.

Не хватило сил задерживать дольше дыхание, и он готов уже былдохнуть тяжелым смрадом, как голова просунулась, широко раздвинулся огромный двор, застроенный складами, амбарами, сараями. На другом конце грохотала фабрика в безумном напряжении работы. У складов суетились люди, выгружали и нагружали тюки, въезжали и выезжали подводы.

Мишка торопливо поднялся и, согнувшись, пробежал и присел за возвышавшейся громадной грудой каменного угля, а с груди, с живота, с ног стекала неодолимо-вонючая, едкая жижа.

Какой-то человек стоял на подводе, показывал рукой и, должно быть, кричал. Может быть, кричал, что Мишка прятался за углем, все равно, – фабрика всепокрывающим гудом глотала голос, и видно было только: человек кивал головой, и протягивалась рука.

Из зияющих дверей фабрики выкатывали вагонетки, нагруженные тюками товара, и торопливые, потные и грязные рабочие бегом толкали их, но немо катились чугунные колеса, по рельсам, не слышно было криков, переговоров, восклицаний, – все бесследно тонуло в ненасытимом безбрежном грохоте.

Мишка отдышался. Перестало тошнить. Вытер ноги и руки о землю. Крадучись, останавливаясь, присматриваясь, чувствуя, как все дрожит от гудящей земли, пополз вдоль ограды в дальний конец двора, где стояли конюшни.

Тут никого не было, только перед открытыми дверьми, откуда пахло свежим конским навозом, оидел на обрубке рыжебородый Созонт, конюх, и починал сбрую. Он гнусавил песню, рыжая борода и усы двигались, и мерно разводил руками, протаскивая сквозь за-

жатый коленями хомут дратву.

Мишка прижался за кадушкой с затхлой дождевой водой и, не спуская лисьих хитрых глаз, наблюдал за Созонтом. Тот все разводил руками, гнусавя под нос себе. Из дверей конюшни темно глядели пустые станки, – фабричные лошади были в разгоне. Только в дальнем углу круглился гнедой круп и белела забинтованная нога.

Среди гула, грохота, суеты, движения, среди черных фабричных корпусов, среди мглы, вечно садящейся на людей, на здания, на деревья, на улицы, этот спокойный уголок, – где прело пахло навозом, глядел широкий добродушный зад лошади и разводил руками рыжебородый Созонт, – веял покоем, отдыхом, тишиной. Хотелось завалиться на сене, закрыть глаза и слушать, как мерно жует лошадь.

Но Мишка так же внимательно, остро, не спуская глаз, наблюдал за Созонтом.

Время шло. Медное солнце стояло уже над черными крышами.

Голод щемил в желудке, и было неудобно лежать за кадушкой.

Иногда Созонт подымался, и Мишка с радостным напряжением впивался в него, но он переворачивал хомут и снова начинал тащить.

– И конца этому не будет. У... ты, пес рыжий!.. Не сдохнешь ты со своим хомутом... прилип, окаянный!..

Созонт кончил, встряхнул, посидел, разглядывая работу, потом поднялся и лениво понес хомут в сарай, где висела сбруя.

Мишка мгновенно, как хорек в курятнике, юркнул в конюшню. В полутемноте остро пахло свежим навозом. Фабричный гул дрожал ослабленный, и слышно было, как жевал гнедой. Смутно выступали деревянные стенки станков, избитые и изгрызанные лошадьми. Из оконца косо тянулась солнечная полоса, и в ней плавали золотившиеся пылинки. Влетали и с веселым чириканьем вылетали ласточки.

Неслышно ступая по мягкому, податливому навозу, Мишка пробрался к закрому, где хранился овес. Туго обмотал штаны внизу у ступни и подпоясался. По самое по плечо погрузил руку в мягко, с сухим ласковым шоро-

хом расступившееся зерно и с наслаждением стал выбирать и сыпать за пазуху и за штаны. Жует гнедой, чирикают вверху, влетая, ласточки, возится в сарае Созонт. Опять прошел, сел у входа на обрубке, гнусавит песню и, должно быть, шьет.

– А-а... красный идол... завыл... Повой... по-вой... – И Мишка злорадно и с торжеством торопливо набивает за пазуху и за штаны сыпучее, жестковатое, с особенным пыльным запахом, зерно. Рубаха и штаны у него отдулись, и весь он стал круглым и толстым. Ему очень хотелось пронзительно свистнуть и громко закричать победным голосом, но он полупшепотом продолжал ругать Созонта.

– Гнусавый пень... Ха-ха-ха!.. Как вскинешься, как овса недохватка будет... а-а! Так, так, так... Завертишься волчком – кто взял?.. Поминай, как звали...

Когда уже некуда было класть, Мишка отряхнулся, как кот, подтянул пояс, огляделся, цепко схватился за лестницу на сеновал, но на сеновал не полез, а осторожно балансируя, пополз по перекинутой через всю конюшню в темноте над станками балке. Когда

долез до места, где внизу смутно выделялся гнедой, белея забинтованной ногой и мерно жуя сено, растянулся на животе поверх балки и прислушался: за стенами смутно дрожал гул, неумолчно чирикали ласточки, гнусавил у дверей песню Созонт.

Хитро ухмыляясь, Мишка напряженно схватил ногами балку и разом повис вниз головой. Гнедой беспокойно покосился, блеснув в полутемноте глазом, и затоптался, подымая большую ногу. Мишка ухватился за хвост и что есть силы несколько раз дернул. Лошадь испуганно забилаась.

– Тпру-у... сто-ой!.. Разыгрался!.. – донесся от дверей сердитый окрик.

Все стихло. Дрожал гул, золотилась полоса из оконца.

Мишка, как летучая мышь, неподвижно висел вниз головой, охватив балку ногами.

Снова гнусавит Созонт, возится со сбруей. Гнедой испуганно забился, наполняя беспокойным шумом конюшню, а у Мишки в руках целый пук волос из хвоста.

За дверьми замолкло, потом слышны тяжелые шаги. Мишка одним махом вскидыва-

ет и кладет вдоль балки свое неподвижно вытянутое, как струна, тело. А внизу голос:

– Сто-ой!.. Ну, чего... Тпру... дурак... Чего испужался?.. Гляди, ногу разобьешь... Чисто дурак!..

Созонт осмотрел ногу, заглянул в другие станки, постоял, почесал в затылке. Мишка неподвижно лежит, но каждый мускул дрожит у него от напряженного торжествующего, беззвучного, подавленного смеха. Если Созонт откроет его, убьет, как убил в позапрошлом году забравшегося в конюшню мальчишка, который через две недели умер от побоев. И тем больше разбирает Мишку торжествующее злорадство.

Созонт ушел, но уже не слышно песни, а слышно, как молча возится со шлеей. Мишка повис, и гнедой опять бешено забился в станке, храпя и стараясь сорваться с привязи.

– Да что за черт!.. Что такое?.. Что за оказия!.. Крысы али ласка забралась?.. Чудеса!..

По всей конюшне тяжелые сердитые шаги. Опять заглядывает по станкам, во все углы.

– Что за оказия!.. И что такое?.. Тьфу ты,

прости господи!..

«Ха-ха-ха... Так, так, так... Накось, выкуси!.. Ха-ха-ха!..»

Мишку рвет бешеный смех, но в конюшне только подавленный гул да тяжелые сердитые ищущие шаги.

«Ха-ха-ха!.. А-а... та-та-та... дубина красная!..»

И вдруг холодный пот охватывает: он слышит – тоненькой струйкой сыплется вниз из штанов овес.

Заскрипела лестница на сеновал, выше и выше. Смутно обрисовалась в полутемноте темная голова, плечи; всматривается. У Мишки замерло, перестало биться сердце. Маленькое вытянутое тельце, с раздувшейся от овса рубахой и штанами, приросло к балке. А овес сыплется. Скосив глаза, видит страшную, темную, без лица голову. И ему страшно, мучительно хочется быть за оградой, прибежать домой и сказать: «Батько!.. мамка!..», приткнуться на лавке... Как хорошо дома!..

Темная голова все так же страшно неподвижна. Должно быть, увидел. Мальчик задерживает дыхание и весь замирает в судоро-

ге ожидания.

Голова шевельнулась, стала понижаться; заскрипела лестница, потом все стихло. Только тяжелые, сердитые шаги по конюшне, да сдавленный гул, да ласточки беззаботно щебечут, на мгновенье сверкая в оконце.

Мишка с облегчением вздохнул и отер холодный пот со лба.

Слышно – Созонт прошел к дверям и опять молча и сердито принялся за шлею.

Беззвучно, гибким движением подымается Мишка, пробирается по балке и через слуховое окно на сеновале выбирается в переулочек.

Разом хватает недремлющий гул. Крепко, совсем по-весеннему пригревает дымно-красное солнце. На улице никого, все там, откуда несется неутишимый грохот.

Чувствуя, как покусывает за пазухой голое тело овес, и радостно ощущая его тяжесть, Мишка, поглядывая вперед и назад, пробирается на угол двух сходящихся тесных переулочков.

На углу по обеим сторонам входной двери висят две вывески. На одной слабо выделяются потускневшими, облупившимися красками

ми свечи, сахарная голова, разные банки, чай и многое другое, полусмытое дождями и занесенное пылью и грязью. На другой – тоже полусмытый и запыленный эфиоп, с выкатившимися белками глаз, раздув щеки, курит громадную, с бревно, папиросу, из которой дым идет, как из паровоза. А над вывесками, жалобно визжа, раскачивается по ветру на ржавом железе когда-то золоченый, а теперь совершенно облезлый деревянный крендель. Такие же полусмытые, полинявшие буквы гласят над дверью: «Бакалейная торговля Умникова».

Мишка с минуту в раздумье стоит на крыльце, подняв брови, глядит на стеклянную, засиженную мухами дверь, не спеша отворяет и хрипло вздрагивает ржавый, полуразбитый колокольчик. Только за порог, а мальчика уже колюче встречают из-за стойки маленькие, с разбегающимися морщинками глазки. Оставляют нестирающееся впечатление мелкой, поджидающей злобы поджатые губы. Раздуваются бледные тонкие ноздри. Седеющая бородка клином.

А навстречу мальчику будто другого чело-

века медово-ласковый голос:

– Что, миленький?.. Али кренделька? Может, конфеточки?.. Деньжишки есть ли?

А сквозь щелочки с разбегающимися морщинками маленькие беспокойные глазки торопливо и зло обыскивают мальчика с ног до головы.

Мишка переступает с ноги на ногу, про себя думает: «чертов Козел...», а вслух сумрачно говорит:

– Овес принес.

– Ну, что ж, ничего... ничего... можно и кренделька... можно и конфетки... – поглядывая на дверь, торопятся бледные ноздри и, рзинув мешок, шипят не то ласково, не то злобно: – Сыпь, сыпь, сыпь... шшш... сыпь, сыпь!..

– А сколько дашь?

– Шшш... сыпь, сы-ыпь!..

Мишка нерешительно выгребает из-за пазухи овес в мешок, развязывает штаны и сыплет. Козел, злобно играя мускулами щек, завязывает и засовывает мешок под стойку. Сердито сует мальчику крохотный кренделек и, уже не скрывая бегающей в глазах злости,

шипит, как потревоженная в сухой траве змея:

– Шшш... сту-пай-ай... ступай, ступай!..

Мишка бледнеет как полотно, дико глядит и говорит, срываясь, дрожащими губами:

– Я было пропал... еще бы трошки, меня бы убили... а ты кренделек... Пуд-то рубль двадцать стоит, а тут больше полпуда...

– Ступай, ступай, ступай!.. А-а!.. Где взял?.. Не сеешь, не жнешь, стало быть, украл... стало, украл! Ага-га-га!.. Во как... Это что?.. Это те икона... свечечка теплится... грех!.. Грех – перед иконой стоишь...

Мишка, весь дрожа, визжит:

– Давай деньги!..

Козел, сунув еще такой же крохотный кренделек, торопливо подталкивает к дверям:

– Ступай, ступай, ступай!.. Шшш!.. Боженьку гневись, боженьке молиться надо, а ты – вор... вор!.. Свечечку поставь, отмаливай грех!..

Мишка кричит звериным, не своим голосом:

– Ай-яй-яй!.. Слушайте все... краденый

овес... Я украл, а он спрятал... Вот в мешке...
Украл у Созонта, а он спрятал.

Огоньки испуга и злобы, мигая, путаются в
маленьких бегающих глазах.

– Тсссс!.. Шшшш!.. Ступай, ступай, ступай!!
На... еще... на!.. Ступай, ступай... Свечечку по-
ставь... моли грех...

И Мишка с двухкопеечной позеленелой
монетой и несколькими бубликами вылетает,
вышвырнутый на улицу, едва успевая под-
ставлять ноги, чтобы не разбиться о мосто-
вую, и сзади, дребезжа, захлопывается дверь,
разом отрезывая все еще злобно шипящий,
ползучий шепот.

Тупо и равнодушно шел Мишка, жуя буб-
лик. Усталость овладела ослабевшим телом.
Грохотала и дымила фабрика.

Мишка был один. Тесный и узкий мир
угрюмо стоял кругом сдвинувшимися дома-
ми, дрожавшей от неумолкаемого безумия
фабрикой, рекой, мутно игравшей радугой, и
вечно тусклой мглой, сквозь которую уже не
светило солнце.

Опять у реки за фабричной оградой сидел
мальчик, ковыряя землю, прислушиваясь к

неясно и отрывочно уплывавшим мыслям, и жевал бублики.

Сам не знал, долго ли сидел, но, должно быть, долго, потому что вдруг, дрожа, загудел гудок, и когда поднял голову, кругом лежали сумрачные тени.

Точно повинуюсь этому повелительному для тысяч людей медному голосу, Мишка поднялся и пошел по переулку, неверно и устало, тупо равнодушный ко всему, что его ожидает.

Мигали одинокие огни фонарей, траурно трепетали черные тени. И в этой черноте шли люди, много людей, смутно невидимые, – тысячи шагов глухо наполняли переулки... И Мишка шел.

Остановился, утомленно закрыл глаза, жадно ожидая отдаться тихому темному покою, стирающему все, что было, есть и будет.

Нестерпимая рвущая боль разом разбудила. И мигнули фонари, и заколебались трепетные тени, и шли люди, смутные, неясные, и гул множества шагов наполнял переулок. Сердитая знакомая жесткая рука вела, отдирая ухо. Мишка, судорожно уцепившись за нее обеими руками, торопливо, боком, вытя-

нув шею, шел, повизгивая, как наказываемый щенок, и бессмысленно повторял ненужные, ничего не могущие поправить слова:

– Не бу-ду... не бу-у-уду-у!.. Батя, не бу-уу-ду-у!..

Отворилась дверь, поднялись по лестнице, пошли по коридору, и все стояло в тусклой темноте:

– Не бу-ду... не бу-уду, не буду-у!..

Когда вошли в комнату, его швырнули за ухо на пол, и наполняя злыми слезами, криком и причитаниями слабо пронизанную уличными огнями комнатную темноту, набросилась мать и стала бить как попало, а отец молча снимал с себя и складывал вдвое ремень. Мишка катался, кричал: «Не бу-ду!» – и сквозь свои крики и вой со странным болезненным чувством прислушивался к слезам матери, полным такого неисчерпаемого отчаяния, что Мишка забывал о своей боли и ловил руку матери, чтобы поцеловать...

– Да ирод ты, да злодей ты наш, да погубитель ты наш... И что же нам с тобой, с упырем, делать, и что же нам с тобой придумать!.. Ведь через тебя, злодея, вся семья го-

лодная, из квартиры гонят... Да разнесчастливая, да на горе, да на муку родила тебя, погубителя! Ой я разнесчастливая!..

Она бросила его, упала головой на стол и беззвучно билась в рыданиях, и Мишке казалось, не из-за его побега, а из-за чего-то огромного, тяжелого, что давило их всех.

Отец молча встряхнул его за шиворот, как платье, которое собираются выбивать, и среди жутко наступившей тишины, разрезая воздух, завизжал ремень. Он впился во всю длину в конвульсивно дернувшегося мальчика, разорвал ветхие штанишки, и въялся в затеплившееся кровью тело.

Это было до того больно, что Мишка не закричал, а длинно выдохнул удивленное: «Хха-а!..» – и нечеловеческий, звериный крик безумно заметался в темной примолкшей комнате. Ребятишки притаились в уголке. Ремень с визгом ловил извивавшееся тело и на секунду въедался в него.

Мать кинулась, повисла на руке отца.

– Будет... будет, Миколай Иваныч!.. Будет!..

В тускло озаренной с улицы темноте – молчание. Даже сонное дыхание не нарушает его.

Молчит и Мишка, неподвижно лежа в своем углу. Он замолчал еще тогда, под ремнем.

Неподвижно глядит сухими, без слез, глазами, смутно разбирая контуры сходящихся стен и потолка. И опять Мишке кажется: он – один во всем мире, и только темнота тесно и узко сдвинулась. А в темноте – его враги.

И первый враг – отец. Нет того отца, который по утрам устало кашляет надрывающимся кашлем, а какой-то другой, молчащий, у которого один звук – свист ремня, которого он не может рассмотреть в темноте.

Второй враг...

Он обходит слово «мать», которое подсказывает кто-то, злой и холодный, с ожесточившимся сердцем... Нет, не мать. Пусть она спит с тихим дыханием в этой темноте, намаялась; не мать, а... Козел. И Мишка радостно чувствует, как ненавидит Козла. Ненавидит его и будет всячески гадить ему. Будет плевать в кадку с патокой, насморкает в банку с вареньем, в кислую капусту непременно подбросит дохлую мышь, пусть прокиснет, и непременно пустит из-за угла камнем в окно... Ха-ха-ха! Пусть вставляет.

А Созонт?.. Какой это упорный и злой враг. Он у него будет постоянно таскать овес, будет дергать за хвост лошадей чтоб досадить... А Каменная Баба?.. А?..

Хочется спать, ах, как хочется спать... Больно, нельзя пошевелинуться... Спать, спать, спать... очень больно... Только бы уснуть, только... спа-ать...

Еще не успеет утренняя тьма рассеяться, за окнами все тот же гудок, что вчера, третьего дня, тот же, что завтра, послезавтра, без конца, упорный, ровный, не знающий ни жалости, ни пощады. Потом целый день в душной, дымной, промозглой комнате с ребятишками, которых надо кормить, смотреть, возиться. Потом приходит отец с работы, и все ребятишки притихают. И так без срока, без отдыха, без перерыва...

Мишка смотрит в окно на потемневшую улицу, а с улицы смотрит в окно ночь мигающими фонарями.

– Тя-атька, отдай меня на фабрику.

Отец, усталый, сердитый после работы, хлебает ложкой. Лампочка тоненько, унывно поет, шевелясь черно-бегущей, через разби-

тое стекло копящей стружкой. По стенам, судорожно тыкаясь, ползают мутные тени.

– Отдай-ай!.. – гнусаво тянет Мишка.

– Ну, цыц!.. – злобно стучит ложкой по столу отец. – Куда тебя, щенка, вести? На черта ты кому сдался?..

Мишка отодвигается, каждую минуту готовый броситься наутек, и еще жалобнее гнусавит:

– Ну, отдай-ай в училище... Чего же я так – басурман... Отда-ай... отда-ай...

Ложка, разбрызгивая горячие капли, больно вlepяется Мишке в лоб, а голова начинает мотаться из стороны в сторону в отцовской, крепко захватившей волосы руке.

– Ай-яй-яй-яй!.. Не буду... не буду!.. Тятка, больше не буду!..

Ночью, когда сквозь темноту окон тускло отсвечивают уличные фонари, в душной, затхлой комнате на все лады подсвистывают носами ребятишки, Мишка, ворочаясь под лохмотьями в своем углу, слышит, как отец с матерью разговаривают вполголоса:

– На фабрику все одно не возьмут... и в подручные годы не вышли...

Молчание. В темноте сонно бормочут ребяташки и опять усердно подсвистывают заложёнными носами.

– Терентьев сказывал, в трактир можно, да поглядел – тоже, говорит, мал.

Опять помолчали. Мишка думает о трактире, о «машине», которая играет там день и ночь, шум, звон, говор, табачный дым, а он, Мишка, в белой рубаше и штанах, в сапогах набором, разносит на подносе чай, водку, закуски. Весело!

Он торопливо лезет рукой под лохмотья в самый угол и нащупывает наполовину выкуренную папиросу.

«Тут. Думал, пропала».

– В училище надо бы отдать... Вот до чего надо... душа болит за него...

А голос матери:

– Как отдать-то?.. Кто же дома-то?.. Мне уж не ходить тогда на поденную... не выбьемся...

И снова только темнота, и в темноте кто-то над Мишкой: «бум-умм»...

Он засыпает тяжело и тревожно.

Любил Мишка субботы, когда на фабрике производился расчет. Это бывало два раза в

месяц. Отец приходил тогда раньше обыкновенного. Глаза у него блестят, на тусклых щеках слабый румянец, и слегка пахнет водкой. Выкладывает на стол связку баранок и деньги.

– Ну, на, мать, распорядись да самоварчик нам сообрази.

Мать первым делом раскладывает кучечками медяки, двугривенные, пятиалтынники, – кому сколько долгу платить, и лицо у нее становится озабоченнее, морщины глубже, глаза чаще моргают.

А отец ложится на скрипучую кровать.

– Ребятенки, сюда!

Все, как цыплята, забираются к нему. Кто примащивается на животе, кто обвивает ручонками жилистую, худую шею. Мишка, старший, солидно присаживается на краю.

– Ну, начинай, – говорит отец.

И все тоненько, разноголосо, кто куда попало, но очень старательно начинают:

Сре-ди-и до-о-ли-и-ны ро-о-вныя...

У отца козлиный, прыгающий голос. Он смотрит в черный потолок, собирает на пере-

носице брови, широко раскрывает рот и так старается, что на носу выступают капельки пота. Мишка сурово, сосредоточенно, сверкая глазами и прижав подбородок, поет басом, как подобает старшему в семье. А маленькая двухлетняя Нютка, сидя у отца на животе и удивленно наморщив лобик, крохотным, как белокурый волосок на ее головке, голоском из всех сил старается выговорить:

...ня гля-ад-ко-ой ви-са-те-е...

– ...Четыре тридцать пять... да за воду двугривенный, да Федоровне долгу восемнадцать копеек... – слышится шепот матери, и лицо ее еще глубже изрезано морщинами, и еще глубже впали глаза, и еще болезненней собрались на переносице брови.

...ра-а-стет, цве-тет зе-ле-ный ду-уб... –

разноголосо заполняется задымленная темная комнатка.

И уж нет этой низкой темной комнатки, нет непрерывного царящего над околотком гула, нет грязных, тесных, вонючих переулков, вечной, непроходящей мглы.

...на-а гла-ад-ко-ой вы-ы-со-те...

Мишка искоса поглядывает на отца, на его запавший, раскрывающийся, с обвисшими усами рот. Это не тот отец, который нехотя поднимается по утрам под гудок, долго кашляет, сердито кричит на мать, на детей и жестоко порет его, Мишку, за малейшую провинность, – нет, это совсем другой человек, которого редко видит Мишка и который так прекрасно поет чудесным козлиным голосом:

...ка-ак ре-крут на ча-а-сах...

«Ну, ничего... пускай... Не буду больше трогать Созонта, – думает Мишка, – и овса не буду у него больше воровать, и в дыру в стене не буду лазить... никак ее решеткой заделали, все одно не пролезешь...»

Уж давно стемнело, и уличные фонари посвечивают в темные окна. На столе курлыкает, шипит и брызгается самовар, кутаясь в облаках пара; тоненько колеблясь, траурно коптит на стене лампочка, вкусно глядят со стола баранки, и хлопотливо возится, приготовляя ужин, мать.

После «Среди долины ровныя...» поют

«Выйду ль я на реченьку», «Во саду ли, в огороде», но выходит хуже, во-первых, потому, что все голосами сбиваются на «Среди долины ровныя», во-вторых, Нютка неизменно поет:

...ня гля-ад-кой ви-са-те-е...

А когда обсядут стол и все с потными лицами, обжигаясь, пьют жиденький, белый, как вода, чай, откусывая по крохотному кусочку сахара, и с треском разгрызают крепкие, как орехи, баранки, которым возрасту не меньше десяти лет, отец глядит на Мишку, любовно хлопает по тоненькой, худенькой спине и говорит:

– Ну, расти, расти... большак!.. Будет отцу-то одному, – гляди, пристанет, пора и в паре идти... а?.. Скоро, Миша, по гудку вместе будем ходить?..

Что-то дрогнуло у Мишки, и какой-то холодный, жесткий ком тает в маленьком ожесточенном сердце, и хочется схватить эту жесткую, мозолистую руку, прильнуть к ней губами, пряча теплые, ненужные, детские слезы, но ласка – редкая гостья, и Мишка хму-

рит брови, дует на блюдечко, с шумом тянет губами чай и говорит, подвигая стакан матери:

– Ну-ка, плесни мне еще.

И вытерев губы:

– Сказывают, Малафеевская фабрика стала, котел разорвало, трое сварились, да человек восемь попортило – в больницу отволокли.

– А около лявки солдаты шли, на голёве у них хвосты, – смешивается с тоненьким звенящим пением самовара тоненький звенящий голосок Нюты.

Отец любовно осоловелыми, с трудом поднимающимися глазами смотрит на ребят.

– Ты бы, старик, ложился – вишь, клюешь, – говорила мать, убирая посуду.

Погодя немного в комнатушке, заполненной неподвижной тьмой, воцаряется усталый сон.

Дни бегут, все так же начинаясь и кончаясь гудком, все так же заполненные вечно нависшей мглой, вечно дрожащим гулом, постоянной возней с ребятами, постоянными попреками и бранью матери, все так же по утрам уходит, кашляя, отец и приходит к но-

чи темный, усталый, злой, и рука у него тяжела.

Солнце пригревает все больше, каждый день все выше поднимаясь над крышами, и около полудня стало на минутку заглядывать даже в переулок, где жил Мишка; корочкой стала затягиваться никогда не просыхающая грязь.

Когда Мишка бегал за чем-нибудь для матери в лавчонку, пьяный, необузданный весенний день охватывал его. Воробьи, как ошалелые, наполняли весь переулок безудержным гамом, на подоконниках ворковали голуби, кричали галки, и сквозь мглу ласково, любовно светило теплое весеннее солнышко.

Мишка во весь дух бежал, перепрыгивая, как козел, через грязь, в лавку и из лавки, только одного боясь, только одно подавляя всей силой воли – не убежать на простор, на солнце, на воздух.

– На копеечку – масла... на копеечку – сахара, на копеечку – соли... – твердил он, прыгая, напряженно стараясь заглушить и воробьиный гам, и воркованье голубей, и крик галок, и светлую, ласковую, зовущую улыбку солн-

ца.

А когда прибежал в затхлую, угарную, с темными окнами комнатушку, говорил, задыхаясь от быстрого бега:

– Матка, листики уж на деревьях вылезают, ей-богу!..

– Ну-ну, я тебе дам листики!.. Я тебе такие дам листики!.. Если убежишь, и не приходи... Отец сказал – убьет, и без разговору. Так и знай. Возьми Нютку-то, не видишь, – заснула.

И Мишка укачивал сестренку, ходил за водой, колол лучину, таскал уголь, мыл полы, старался ни о чем не думать. А воробьи, а голуби, а ласточки, а весенний ветерок? Все щебетало, ворковало, кричало, смеялось, лезло ему на глаза и звало его к себе, безумно веселое, яркое, живое. Нахмурившись, стиснув зубы, Мишка работал.

– На копеечку – чаю... на три копейки – хлеба... на две копейки – гусака... – и прыгал через грязь и бежал к лавке.

Мишка, пригреваемый солнцем, сидел под фабричной стеной у реки, которая мутно несла побежалые цвета, ковырял землю и думал.

В руках было целое богатство – два пятака,

а в сердце тяжелый холодный комок ожесточения.

Солнце, галки, воробьи, уличное движение и суета, звонкие веселые голоса, которые трепетали и бились о стены домов, пересилили Мишку, и вместо лавки он пустился бежать за фабрику. Дом остался где-то далеко, точно его отрезали, и не было уже возврата.

«Эх, кабы товарищ!..» – думал Мишка и с тоской глядел вдоль реки, неведомо куда двигавшейся мутной массой воды, терявшейся поворотом за соседними, сбившимися серой кучей строениями.

Все мальчуганы одногодки, кого знал Мишка, с утра до вечера были заняты: кто, как Мишка, возился дома с ребятишками и по хозяйству, кто был в мальчиках в трактире, в лавке, пивной, и только немногие бегали в школу до обеда, а после обеда возились с домашними делами.

Мишка в раздумье поднялся и, осторожно обходя ссохшуюся комками грязь и разглядывая свои босые грязные ноги, без цели стал бродить по переулкам.

На углу знакомый крендель, стеариновые

свечи, голова сахару, курящий эфиоп... Мишка остановился, рассматривая, думая о другом, потом поглядел на свои пятаки в руке.

– Нет, погожу, пригодятся...

По ступенькам из лавки спускался мальчик, годом старше Мишки, опрятно и чисто одетый. По его белому доброму, довольному лицу мелькнула тень испуга, недоумения и желания спрятаться, когда увидел Мишку. Стал осторожней и тише спускаться, упорно глядя под ноги на ступеньки.

Черная, исхудалая Мишкина рожа злорадно перекосилась.

– Козлов сын идет, бородой трясет, «ме-ме» сказать не может...

Ваня весь съежился и хотел пройти, не замечая, но Мишка с обезьяньей ловкостью прыгнул и загородил ему дорогу.

– Ну-у... чего тебе надо?.. – певучим голосом жалобно протянул беленький мальчик, испуганно подняв брови.

– А вот чего... – И Мишка уже приготовился вцепиться ему в волосы, да вдруг раздумал, взял за рукав и пошел рядом, хитро заглядывая в глаза. – Ванька, слышь, каку штуку я на-

думал, ей-богу, узнаешь – оближешься...

– Ну чего тебе... Меня батя послал... некогда мне... – недоверчиво и плаксиво протянул мальчик.

– Не трону, убей меня бог, не буду трогать... Штуку, брат... слышь ты?

Он остановился, придерживая за рукав мальчика и с чрезвычайной убедительностью глядя ему в глаза.

– Ну, чего ты?

– Слышь, убежём вместе... Постой... убежём, я тут одно место знаю... на колокольню влезем... галчата, воробьята, сколько хочешь... Посмотрим оттуда... далеко видать... а голубей, турманов наберем, ой-ой-ой!

Мишка скроил такую чудовищную рожу, что мальчик приостановился.

– А ты лазил?

– Не лазил, а Игнатка говорил... Фу, говорит, аж дух замирает.

Мальчик подумал.

– Да меня батя послал письмо опустить.

– Дорогой опустишь.

– Да велел скорей приходить.

– Скажешь, пожарные ехали, а назад поли-

ция не пропускала – пришлось далеко обходить.

Мальчик постоял, глядя вдоль переулка.

– Грех врать.

– Дураку грех, умному на прибыль.

– Ну, пойдем, только недолго, да письмо надо опустить.

– Письмо давай, зараз опущу.

Мишка повертел перед носом, понюхал.

– Керосином воняет да конфетами. И чего тут написано? Жалко, неграмотный, а то бы прочел.

– Пойдем направо, я знаю тут ящик почтовый.

– Фу, куда там направо! Нам прямо надо на Миколу Мокрого, что крюку-то делать.

– Да письмо же надо...

– Ну постой тут да не сходи с места, я зараз.

И Мишка исчез за углом. Остановился, изорвал в клочки письмо, засунул в широко зиявшее отверстие водосточной трубы и через минуту был около Вани.

– Ну, идем скорей, а то Козел увидит.

– А письмо где?

– Фу, да опустил.

– Тут я не помню ящика.

– Мало чего не помнишь... Пойдем скорей, Козел увидит – все пропало, а там голубей несть числа, темно от них. – И он торопливо потянул растерянно и недоумело оглядывающегося Ваню.

Мальчики торопливо шли, и все тянулись узкие, кривые, грязные, вонючие переулки, угрюмые, с осыпавшейся штукатуркой, с зияющими окнами дома, черные, закоптелые фабрики, заводы, высоко дымящие трубы, и надо всем все покрывающий гул, а над ним вечною мглой дым. Этим переулкам, этим грязным улицам, этим темным, сырым домам, этой дымной мгле, казалось, ни конца ни краю.

– В эту субботу купил трех голубей, один турман – здорово перевертывается.

– На кой леший тебе покупать, коли даром наловим сколько хочешь, хоть на воз клади, – говорил Мишка, торопливо семеня босыми грязными ногами, стараясь постоянно держать в напряженном интересе Ваню, который так же торопливо постукивал каблучками козловых сапожек.

Долго шли, и долго тянулись такие же запутанные переулки и улочки, и на углах лавчонки с кренделями, с стеариновыми свечами, с курящими турками, и из лавчонки выглядывал хозяин, похожий на Козла.

Потом улицы стали раздаваться, стали прямее и шире; вместо гула, который то усиливался, когда шли мимо фабрики, то падал, когда проходили ее, катился ровный, однозвучный грохот экипажей и шуршанье тысячи ног, топтавших широкие тротуары. Уже не было лавчонок с курящими эфиопами, а ослепительно блестя на солнце, глядели колоссальные зеркальные стекла магазинов.

– Да куда мы идем? – И Ваня приостановился. – Ведь Микола Мокрый в другой стороне.

– Ну, пойдём, все одно... Заглянем тут в одно место, а там и к Миколе.

Пошли. Дома стояли высокие, веселые, чистые и на солнечной стороне ослепительно блестя стеклами. Внизу в магазинах все было видно внутри, – люди входили, снимали шляпы, рассматривали товары, подходили к кассе, жестикулировали друг с другом, точно все это происходило на улице, которая расши-

рялась туда, внутрь дома, за сплошное, терявшееся для глаза стекло.

Из-за угла вывернулся трамвай и, торопливо роняя синие искры, скрежеща на повороте рельсами, делаясь все меньше и меньше, побежал по бесконечно уходящей улице. И сколько глаз хватал, все та жедвигающаяся, торопливая пестрая толпа, бесчисленные экипажи, лошади, стук копыт и колышущийся надо всем пестрый гул.

– А... Видал?!

У Мишки глаза загорелись.

– Поедем... ей-богу... А? Поедем, Ванька!..

Ваня приостановился.

– Да куда поедем-то?

– Фу-у, да поедем... ну! – И он потащил мальчика за рукав.

– Деньги?

– Ну, у меня... поедем!.. Они дошли до угла.

Как в водовороте, шумящая толпа огибала угол и беспрерывно, без конца и краю, широким потоком неровно и колеблясь, подвигалась во всю ширину тротуара.

– А?.. А у нас-то!

– Сколько их... Целый день шатаются...

Ишь делать нечего.

– Гляди, выскочил!..

Из-за угла, скрежеща и кренясь на завороте, снова вывернулся трамвай и, скрипя тормозами, остановился. Мальчишки кинулись, стали продираться сквозь входящую и выходящую публику. Ваня вежливо давал дорогу то тому, то другому и все никак не мог добраться, а Мишка свирепо работал кулаками, локтями, коленями и головой, которую опустил, как бодающийся баран, и даже попробовал кого-то укусить.

Кондуктор грубо дернул его.

– Ты куда?

– Туда, куда и все.

– Милостыню просить... Пошел!

– Сам проси, коли хочешь... я за свои деньги... Вот за двоих... – И Мишка разжал ладонь с двумя пятаками, суя ее к самому носу кондуктора.

– Ну, ладно, ступай, да смотри мне...

– И так смотрю, глаза есть... ты смотри...

– Ну, ну, огрызнись еще!

А Мишка уже с площадки отчаянно жестикулирует товарищу:

– Ванька, сюда!.. Слышь, вали!.

И оба, ухмыляясь, оглядываясь и подмигивая друг другу, устраиваются в самом углу площадки. Вагон дернулся, и с все повышающимся звуком мимо побежали назад дома, зеркальные стекла, пестрая текучая толпа, лошади, экипажи и быстро мелькающая мостовая. Как впадающие серые реки, пронеслись, разрывая дома, поперечные улицы, на мгновение тоже бесконечно уходя в голубоватую дымку.

– Вот так дует, а? Ванька! – И вдруг зашептал: – Гляди, барыня кака сидит... кабы не лопнула... надулась-то...

Публика сидела чинно и молча, глядя перед собою или в окна. У всех белели крахмальные воротнички, а у дам на шляпах от покачивания вагона шевелились огромные цветы и перья.

Мишка все дергал Ваню:

– Ванька... гляди: у ей на голове птицы...

– Тише... кондуктор...

– Должно, с гнездами... небось и яйца есть... Вот бы достать.

Мальчишки приснули, зажимая рты рука-

ми. Дама сердито шевелила перьями.

– А этот... возле-то... не может нагнуться наперед... вся шея в кадушке...

– По самые уши...

– Кре-епкая...

– Бе-елая...

– Ишь ты, на стороны только голову поворачивает.

– Ему хочь на коленки сядь, не увидит, не нагнет голову...

– А на голове кверху ногами ведро... хочь зараз черпай...

И ребятишки опять прыснули. что есть силы, зажимая себе рты и кусая пальцы, чтобы не расхохотаться на весь вагон. Господин так же сердито сидел, как и дама, вытянув длинную шею в высочайшем, туго накрахмаленном, подпиравшем щеки и подбородок воротничке и поддерживая головой огромный лоснящийся цилиндр.

– И не ворочается, а то ведро упадет...

– Прсс... выгонят...мм...лчи!..

Красные, задыхающиеся, они вытирали бежавшие от неудержимого смеха слезы и сопли и давили кулаками животы.

– Миш-ка... бу... дет... бр... брось... а то... –
сквозь слезы едва выговаривал Ваня.

Публика стала обращать внимание на двух мальчиков, а сердитый господин, не поворачивая шеи и головы, лишь повел на них, скосив глаза.

Мальчишки глянули и покатались от хохоту.

На остановке кондуктор взял Мишку за ухо, и Мишка, вытянув шею и стараясь ущипнуть кондуктора, боком шел, чтобы не так больно было, и от пинка вылетел с площадки. За ним мелькнуло испуганное лицо Вани, которого, впрочем, кондуктор не тронул, вероятно благодаря козловым сапожкам, гладко причесанной голове и чистой одежде.

Трамвай покатылся дальше, а Мишка кричал, показывая кондуктору шиш:

– Эй ты, белоглазая свинья!.. Слюни подбери!.. слю-уни!..

– Вы чего тут?

Грубый, повелительный окрик раздался над самым ухом, и в глаза бросилось сердитое усатое лицо городского в темной шинели и белых перчатках.

Мальчики пустились со всех ног и остановились, тяжело дыша, только за углом. С тем же однозвучным грохотом катились экипажи, и с неумирающим шуршанием шли тысячи людей. Проплывали, краснея на шляпах, яркие цветы, чернели цилиндры и котелки.

– А?.. Барыня-то... чай, еще больше надулась?..

И Мишка скорчил рожу, по его мнению, чрезвычайно похожую на барынину.

– А барин-то... в ведре... только глазами вращает...

И снова их охватила неодолимая беспричинная веселость, неподдаваемый смех. Они шли, бесцеремонно толкаясь в движущейся чисто одетой толпе, присматриваясь к публике.

– Переломится... ей-богу, переломится, – топорливо говорил Мишка, поспевая за красиво одетой дамой с тонкой, сильно перетянутой талией. – Глаза вылезут, разрази меня гром, вылезут!.. – И Мишка, забегая, старался заглянуть ей в лицо, действительно ли вылезают.

– Мишка, будет, нехорошо! – придерживал за рваную рубаху Ваня. – Будет, а то опять го-

родовой.

– Какие все ядренные, да лобастые, да краснорожие!.. Жрут здорово!..

– Мы тоже хорошо едим: по праздникам за- всегда пирог, по четвергам – кисель.

Мишка остановился, торопливо развязал веревочку от штанов, деловито перетянул живот, опять завязал, а публика продолжала двигаться, обходя и мельком и пренебрежительно взглядывая на мальчиков.

– Жрать захотелось... Будет у меня живот, как у энтой осы. Должно, она тоже с голоду...

– Не-е... в корсете. У господ все в корсете.

И они опять шли. Теперь они перестали смотреть на публику, а все чаще и чаще останавливались перед гастрономическими магазинами.

Сквозь колоссальные стекла желтели громадные сыры, белели всевозможные жестяные коробки с консервами, стеклянные банки с огурчиками, с маринованной рыбой, гирляндами висели колбасы; прижав ноги, лежали зажаренные, вкусно темневшие, даже через стекло соблазнительно пахнувшие утки.

Мишка подолгу стоял и смотрел. Мыслен-

но с трудом поднимал огромный, как колесо, желтеющий сыр и, ощутив всю его тяжесть, опускал на пол, свирепо запуская в него зубы и долго и с наслаждением жевал. Потом вытаскивал рукой из банки огурчики, маленькие превкусные огурчики, очень похожие на выкрашенные небольшие камешки, потом тянул из банки за хвост маринованную рыбу, которую ел с головы, потом...

Ваня дергал его за рубаху:

– Пойдем... чего стоять?..

– фу, да постой!.. – И принимался за самое вкусное и самое любимое – за колбасу.

Он ее откусывал прямо на весу, подняв голову, сначала копченую, которая так чудесно пахнет дымком. Колбаса все становилась короче, а Мишка вытягивался, лез вверх, пока не откусывал последний раз под самым потолком. Потом спускался и принимался за вареную. На ней оставались следы от зубов, и среди нежного розового мяса жирно белели кусочки сала. Колбаса подходила к концу...

Мишка проглотил слюну, но она сейчас же опять набежала, он сплюнул и угрюмо проговорил:

– Пойдем.

Они пошли. Ваня молча и боязливо шел за Мишкой, с удивлением присматриваясь к его худенькому лицу со впалыми блестящими глазами, к худенькой фигурке, на которой так ясно, приподнимая грязную рубашку, выступали лопатки и угловатые острые локти, как будто видел в первый раз. И не то сожаление, не то снисходительная жалость шевельнулась в Ване.

– Мишка, а дохлый ты.

– Пошел к черту... Тебе что за дело?

Мимо равнодушно, с тем же заглушающим голоса и слова шуршанием двигалась живая, однообразная в своей разнообразии толпа, как будто была только широкая улица, катящиеся экипажи, огромные дома, зеркальные магазины, и не было этих затерявшихся в толпе мальчиков.

Уже не останавливались около гастрономических магазинов, а шли молча и угрюмо.

В одном только месте Мишка приник к стеклу. Громадное во всю стену зеркальное стекло было задернуто изнутри красной шелковой материей. Уголок материи завернулся,

и был виден с расписанным потолком и стенами огромный зал, весь заставленный столами, покрытыми ослепительно белыми скатертями. За столами сидели люди в черных сюртуках, с белой грудью, ели и пили. Другие люди, точно в таких же черных сюртуках, с такой же белой грудью, бегали между столами, приносили и уносили блюда, бутылки, тарелки, стояли около столов и глядели тем в рот.

Мишка обегал глазами все столы, дальние и ближние, остановился на одном, где сидело двое, и, не отрываясь, стал глядеть на них. Один – толстый, с пробритым подбородком и расчесанными бакенбардами, другой – с тоненькими, как крысиные хвостики, остро вздернутыми кверху усами.

Толстый завязал вокруг шеи белую, как кипень, салфетку, а с тонкими усиками заткнул угол салфетки за жилетку. Толстый, не поворачивая головы, пошевелил красными жирными губами, и глядевший им в рот человек подскочил, согнулся и налил в бокалы одному и другому чего-то кипящего, золотисто искрящегося.

Толстый взял бокал в руку, и с крысиными усиками тоже взял в руку, и они, покачиваясь, наклоняясь друг к другу, и шевеля в бокалах золотившуюся, искрившуюся влагу, смотрели друг на друга, шевелили губами, то протягивая, то прижимая руки к груди, потом подняли бокалы, покивали друг другу, сделали на лице улыбки и, запрокидывая, стали глотать играющую, колеблющуюся искристую влагу, и у тонкого на длинной жилистой шее прыгал кадык. Потом толстый отрезал большой кусок мяса, широко раскрыл, как пасть, рот со скверными, почернелыми зубами, положил туда и стал медленно, опуская и поднимая брови, жевать, двигая челюстями справа налево. Стоявшие возле люди глядели ему в рот; не отрываясь, зажав зубы, глядел Мишка, глядел и Ваня, долго и безуспешно дергавший Мишку за рубашку. Толстый переложил языком кусок за другую щеку и так же сосредоточенно стал жевать слева направо.

Мишка, помолчав, сказал:

– Ну, и здоровый жрать!..

– Ресторан, а это официанты, – важно сказал Ваня. – Они, вишь, одеваются, как бары, не

отличишь. Это у нас только в трактирах полковые в белых рубахах.

Мишка снова торопливо развязывал веревочку от штанов и так перетянулся, что живот у него ушел под ребра. Потом собрал, сколько мог, во рту и плюнул; по стеклу, оставляя мокрый след, потекли белой пеной слюни.

Раздался густой бас с парадного:

– Это что?.. Хулиганить!.. А в часть?..

Огромный швейцар в золотой ливрее шел от парадного. Мальчики бросились прочь, толкаясь и путаясь среди публики. На бегу Мишка, обернувшись, успел бросить:

– Золото себе на брюхо нашил и думает – генерал.

Прошли квартал.

Ваня остановился:

– Надо домой.

Мишка, угрюмо помолчав, небрежно бросил: – Соскучился по порке?

Опять пошли молча. У Вани дергалось лицо, но сдерживался.

– Надо домой.

– Домой, домой!.. – передразнил Мишка. – А

как зачнут тебя пороть, сладко запоешь!.. Дурак!..

И, пройдя несколько шагов, мрачно добавил:

– Кабы поесть только...

Потом вдруг остановился, схватил Ваню за воротник, дернул и озлобленно завизжал:

– Есть деньги?..

Ваня замялся:

– Ну-у...

– Есть деньги?..

Публика сплошной массой шла, обходя их.

– Маленькие скандалисты, – проговорил кто-то.

– Да... не-ту... Ну-у... есть... – протянул Ваня, подняв брови и не зная, как отделаться от Мишки, – только их нельзя трогать... крестный подарил... на именины... беречь велел... новенький полтинник...

– Давай! – К лицу Вани, обдавая горячим дыханием, близко наклонилось искривленное злобой лицо Мишки. – Давай сию минуту!

Ваня, так же недоумело подняв брови, полез в карман, долго рылся, захватывая и опять опуская полтинник, наконец вытащил.

Мишка выхватил, зажал в руке и торопливо пошел, Ваня за ним.

– Тут ничего нельзя купить... – говорил заискивающе Ваня, поспевая сзади, – магазины... дорого... Пойдем в съестную лавку.

Долго шли, пока улицы стали тише, дома ниже, вместо магазинов обыкновенные лавки. На углу Ваня прочитал: «Съестная лавка».

С разгоревшимися голодными глазами оба мальчика вошли туда.

– Ну, та-ак!.. – проговорил, выходя из лавки, Мишка с веселыми глазами, тщательно облизывая пальцы, потом вытер их о волосы и штаны и совсем свободно распустил веревочку на животе.

Ваня шел тоже довольный и веселый.

– Вот так закусили!..

– Ну, а как же крестный теперь?.. Слопал именинный полтинник...

Лицо Вани омрачилось.

– Куда-а же мы? – протянул жалобно. – Домой надо...

– Али спина чешется?.. Поспеешь, спустят еще шкуру...

И они без толку и без цели стали бродить

по улицам. То попадали в центральные части, и кругом шумела движущаяся толпа, катились экипажи, роняя синие искры, неслись трамваи, то попадали в тихие, укромные улицы, где одиноко чернели редкие прохожие, зеленели и шептались, чуть покачиваясь, деревья в палисадниках.

В одном месте улица расширялась в площадь, и площадь вся была заставлена извозчичьими пролетками. Огромное со стеклянным куполом здание замыкало площадь. К нему то и дело подъезжали и отъезжали экипажи, густыми толпами выходил по широким ступеням народ, и сквозь гул, говор, стук копыт и колес доносились звонки, гудки паровозов, прерывистые трели кондуктора.

– Ванька, поедем!

– Куда?

– Фу-у!.. Ну да... прямо... куда-нибудь... – И Мишка нетерпеливо махнул рукой.

Ваня стоял, недоумевающе подняв брови.

– Я не знаю.

– Чего не знаешь?.. Поспеешь домой-то...

Поедем, погуляем за городом.

– Денег мало.

– Сколько?

Ваня разжал руку, пересчитал:

– Тринадцать копеек.

– Чертова дюжина... Эх, жалко, – много съели... Ну, ничего, поедем зайцами.

– А как заберут?

– Тю-у!.. Ты не будь дураком!..

Поднялись-по ступеням и вмешались в непрерывно гудящую, переливающуюся толпу. Торопливо бежали носильщики, гудя ка-тились тележки, швейцар выкрикивал поезда, били звонки, и, надрываясь, тонко и странно выделяясь на всем этом пестром, колышущемся море звуков, трепетал плач крохотного ребенка.

Мишка подозрительно поглядывал на франтоватых, с военной выправкой жандармов, внимательно, не спуская глаз пропускавших мимо себя движущуюся толпу, и, дернув Ваню, пролез в вагон.

Синий дым и говор густо стояли в набитом людьми вагоне. Всюду навалены чемоданы, корзины, узлы; препираются из-за мест, выкрикивают:

– Батюшки, билет потерял!..

– Да вы куда едете?

– Примите ваш чемодан, говорю. Оглохли, что ли?

В сутолоке и суете Мишка опустился на пол и полез под скамейку, но его заметили. Поднялся шум, крик.

– Гляди, полез...

– Ага-га-га, самые жулики и есть!..

– Вот они прорезают чемоданы-то...

– Зови кондуктора...

– И жандарма, да поскорей...

Мишка увидел, что дело принимает скверный оборот, высунулся из-под скамьи, как за-
травленный хорек,

– Нет... да я ничего... я только... нам только доехать... с товарищем... тут недалечко...

– Знаем «с товарищем»: один разрезает чемоданы, а другой таскает... Зови скорей жандарма!

Мишку держали за ухо. Он сделал плаксивую рожу и хнычущим голосом заговорил:

– Ой, дяденька, не держи меня за это ухо... нарыв в нем, доктора лечат... держи за другое...

Но когда стали переменять ухо, Мишка

хлопнулся об пол, юркнул под скамьи и пополз, как змея, между ногами, чемоданами.

– Держи, держи его!

– Вот под этой скамейкой... лови!

Мишка вынырнул в другом конце вагона и бросился к двери. На площадке стоял Ваня и весь трясся, бледный, с огромными глазами.

– Бежим, – крикнул Мишка.

– Не пойду... я домо-ой!..

– Бежим... я слышал, за тобой жандарма послали.

Ваня пустился за Мишкой. Пробежали два вагона, захлопывая за собой двери. В отделении для некурящих было чисто и мало народу. Наученный горьким опытом, Мишка посидел в углу на лавочке и, когда убедился, что пассажиры не смотрят, осторожно полез под лавку, потянув за собой Ваню.

Они лежали в темноте, неудобно согнув головы и ноги и прижавшись друг к другу. В вагон входили и выходили. По полу мелькали сапоги, ботинки. Хлопали двери. Должно быть, пробил звонок, потому что кто-то, тяжело топоча, пробежал мимо вагона и, торопливо гремя, прокатили тележку. Проверещал

кондукторский свисток, глухо гукнул далеко впереди паровоз, на минуту все смолкло, потом пол дернулся, качнув обоих мальчиков; под полом стукнули колеса и пошли стучать и перекликаться все громче и громче, все быстрее и быстрее.

Лежать было тесно и неудобно. Ваня прошептал:

– Что же мы теперь будем делать?

У Мишки раздувались ноздри, и не хотелось разговаривать.

– Цыц!.. Услышат...

Первое время все казалось, по полу к самому лицу переступают лакированные сапоги и нагибается кондуктор. Но гул по-прежнему бежал, ритмически постукивая, и неподвижно выделялись во тьме ноги пассажиров.

Мишка от нечего делать думал. Думал о своих врагах, к которым причислил теперь пассажиров. Они преследуют и травят его, как замученного зайца. За что? Вспомнил и Созонта, и Каменную Бабу, и отца, и Козла, и надутую барыню, и барина в ведре, – все были его враги... Ах, если бы всем им отомстить!

И чтобы досадить Созонту, мысленно дер-

гал у гнедого из хвоста волосы, пускал в Каменную Бабу засохшей грязью, барыне в гнездо на шляпке положил дохлого цыпленка, у барина осторожно провернул дырку в цилиндре, а отца...

Он вспомнил, как отец утром, еще темно, торопливо поднимался, долго кашлял, хлебал что-то и уходил на фабрику, откуда настойчиво и долго несся гудок, и, уже темно, приходил, торопливо пил чай, закусывал и ложился, чтобы подняться чуть свет... «Среди долины ровныя...» Отцовская рука ложится на плечо, и голос, который он редко слышит: «Расти, расти, большак, скоро в паре по гудку ходить будем...»

Мишка вздыхает. Ему мучительно хочется быть теперь дома. Ну, выдерут... пусть выдерут... теперь он охотно будет возиться с ребяташками, будет мыть полы, все будет делать...

Мишка сует в бок кулаком заворочавшегося Ваню и закрывает глаза... Та-та-та! та-та-та!.. кто-то однообразно, мерно и скучно рассказывает под полом все об одном и том же, о чем – Мишка не может понять.

Когда на полустанке мальчики незаметно выбрались на платформу, их ослепило и оглушило.

Ослепило солнце, милое, чудесное солнце, которого не бывает в городе, тысячами золотисто-зеленых искр струится, зыблется в живой шепчущей листве, в лоснящихся, сколько глаз хватает, хлебах, в траве, полной кузнечиков-музыкантов, в ярко кланяющихся головках цветов.

Оглушила тишина, та тишина, которая бывает только в поле, в лесу, в синей степи да над речкой, зеркально прячущейся в лозняках, – тишина, полная птичьих голосов, травяных запахов, полная восторгов и солнечного блеска, и шороха, и безудержного желания кричать, взмахивать, как птица, руками и что есть духу, задыхаясь и выпучив глаза, бежать...

– Ага-га-га!.. Держи!.. Держи его!..

Э, куда там! На самом краю в последний раз обозначился черточкой поезд, родил белый тающий комочек – и только зубчатая синева, да теряющийся край земли, да синее небо, да неуловимо скользят по траве тени об-

лаков.

Мальчишки, хохоча, хватаясь друг за друга, покатались по мягкой ласковой траве под откос, переворачиваясь, и весь мир в смехе и радости, как огромный шалун, перевертывался вверх ногами, и голубое небо, и золотое солнце, и деревья, и блеснувшие полоской рельсы. И все стало на свои места, когда шалуны очутились под откосом.

А там пошли по полю, и тут началось: незабудки, гвоздики, заячья капуста, белый ландыш, луковые длинные травы, – все путалось, оплетало ноги, все лезло, синело, зеленело, краснело, просилось в руки, безумно пахло и, захлебываясь от восторга и радости, кричало: «Меня, меня, меня сорви... Я вот!.. Только нагнуться...»

У Мишки от жадности разгорелись волчьи глаза, головы не видно было в громадной охапке цветов и трав, которые с трудом нес.

– Ванька!.. О-о-о-а-у-у!..

– Го-го-го!..

И опять солнце, и зеленый простор, и шепчущие макушки, и неведомо куда уходящая полоска рельс... Нет-нет, и блеснут, как выро-

ненная кем-то среди зеленых полей игла.

По опушке тысячи голосов звенят, безудержно зовут, смеются сверху, снизу, из зеленой чащи, из синего неба, из травы, из кустов.

А дрозды! А синички! А зяблики!

А пересмешники-сорокопуты! И по-соловьиному, и по-воробьиному, и по-сорочьи, на все птичьи голоса, всех пересмеивают, всех передразнивают. А самый маленький сидит на сухой веточке и повиливает хвостиком.

Круглые, пушистые, распухшие зеленые кусты кишат всякой живностью. И у каждого – свой дом, свои заботы, своя песня, свое горе, свои страхи, своя любовь...

Мальчики, утопая в траве, лежали на спине в ленивой приятной усталости и следили за макушками, чуть шептавшими трепещущей белизной выворачиваемых на ветерке листов. А над макушками облака, белые, круглые, не спеша и не отставая, плывут куда-то но своим заботам.

– Кабы да построить высококую колокольню до самых макушек, – говорит Мишка, и из травы виднеется лишь босая с обсохшей гря-

зью нога, перекинута на колено, – да выше макушек, до самых до облаков... Гляди, гляди, вон птица... Да. Залезть туда и глядеть вниз: которые пашут, а где железная дорога, а то города, а в городах народ ходит, и наша фабрика, и Созонт возле конюшни хомут шьет, и Каменная Баба сидит, и Козел, и ты их всех видишь, а они тебя не видят. А? Вот здорово-то, Ванька?

– А у нас нонче кисель с молоком.

Мишка помолчал, счищая ногой с ноги засохшую, грязь. Потом поднялся, затянул веревочку от штанов:

– Как наелись, а опять хочется... Пойдем...

Уже нет ни железной дороги, ни телеграфных столбов, только поля, да перелески, да птицы, да облака, Ваня остановился.

– Я бою-усь... заблудимся...

– Фу-у, заблудимся!.. Ежели идти на сход солнца, сейчас железная дорога будет... ее не минуешь...

– Это восток называется, учительница нам говорила в училище.

Мишка молча шел, потом угрюмо проговорил:

– Ну, так что ж!..

Из-за оврага глянули избы. И когда подошли, глянула невылазная грязь, полуобъеденные крыши, подслеповатые окна, выглянула почерневшая убогость, нищета и ветхость, которой было так много, которая так тесно сгрудилась там, в вонючих узких переулках, в угрюмых сырых домах. Но что-то было тут другое, и Мишка глянул на золотое, не дающее на себя глядеть солнце, на зеленую чистоту полей, на синеющий круг горизонта, которого никогда не бывает в городе.

Выскочила собачонка и, захлебываясь, стала провожать их, чуть не хватая за пятки. Отстанет, замолчит, и опять нагонит, и опять захлебывается из последних сил, как будто смерть ее пришла.

По-над тыном на сухом месте ребяташки играли, тесно усевшись в кружок, а в самой грязи лежали, утопая в блаженстве, свиньи и сдержанно хрюкали.

Мишка нагнулся к крохотному оконцу, тусклому и мутному, как незрячий глаз, стукнул и проговорил тоненьким голосом:

– Дя-аденька, дай корочку хлебца, есть хо-

чется... проходящим...

Ваня полуиспуганно, полувыжидательно стоял поодаль.

Тихо. Только листья шевелятся на чуть покачивающихся ветвях да старая, обвисшая с крыши солома шуршит, точно мыши ворочаются.

Мишка постоял и пошел дальше, но везде было то же: молчаливые тусклые окна, шепот листьев, да полуистлевшая почерневшая солома загадочно шуршит, залает собачонка, кое-где ребятишки играют, лежат свиньи в черной грязи, и все благословляет с высоты золотое солнце.

Из одной избы вышел крестьянин, огромный, в одной ситцевой рубаше и портках, с всклокоченной, в пуху головой:

– А?

Долго зевал и чесал спину, посмотрел на небо и опять долго зевал, широко раскрывая и крестя заросший рот, еще почесал спину и ушел в избу.

Пробираясь у самых плетней, прошли улицу, и глянуло поле, дальний перелесок.

Мишка остановился и сердито высморкал-

ся.

– Подошли, что ли!

У крайней избы старушка вытаскивала на веревке ведро из колодца. Старые, узловатые, дрожащие руки с трудом, медленно и редко перехватывали мокрую, туго перегибающуюся через сруб веревку, и в глубине что-то плескалось и стучало.

– Баушка, дай-ка пособим. Ванька, берись!

Ваня подскочил, и мальчишки торопливо, радостно и напряженно стали перехватывать быстро поползшую из колодца веревку, точно обрадованные возможностью потратить имеющиеся силы.

Плещущий звук все выше и выше, показалась дужка, и, бросая серебро воды, из темно разинутого колодца полезло ведро.

– Спасибо, родименькие, спасибо, родные!..
Пожалели старого человека. Откуда будете?

– В город идем, баушка... городские мы. Вот, вишь, на поезд не попали, будем ждать.

– Ну, что ж... подождите, зайдите в избу-то. Покормить-то вас нечем: чай, голодные.

В избе было темно, тесно, низко, кисло пахло овчиной и поросятами.

Старуха полезла в печь и достала черный горшок с остатками запекшейся гречневой каши; вытерла деревянные ложки пальцем и положила на стол. Ребятишки, как воробьи, принялись за кашу. Старуха сидела, подпершись рукой, глядела на них и покачивала головой, повязанной платком с торчащими заячьими ушами...

– Кушайте, родименькие... Либо в услужении?.. Охо-хо-хо, не сладко и в городе. Внуки у меня там, один в трактире, другой в печатне, жалуются, пишут... домой и урваться некогда... Деревня-то как вымерла, которые в городе, которые на поле... Прикончили кашу-то? Ну, слава богу, яичко бы дала, да все в город увозят, все в город. Вечером коровушка придет, да молочка и понюхать дома не приходится: невестушка у меня сердитая да строгая, все молочко до капельки соберет и росинки не расплещет, – все в город... Наши-то ребятишки квасок пьют, кваском и пробавляются. Попейте кваску, попейте, квасок хороший, кисленький... Ну, так, все, с божьей помощью...

– Баушка, можно у тебя переночевать? А то нам утром на поезд.

– Ну-к что ж, ночуйте. Сена в сарае много, на сене выпитесь, только чтобы папироски не жгли, боже упаси и помилуй!..

Когда усталое, с добрым подернувшимся лицом солнце, на которое уже свободно можно было глядеть, тронуло розовато верхушки верб, деревня оживилась. Чмокая в грязи, шли важно коровы с полно белевшим выметем. Крякали утки, раскачиваясь, спеша откуда-то с пруда и не упуская случая проглотить по дороге камешек, кучку зерен, зазевавшегося жука. Прогнали лошадей. Потянулась телега, утопая по ступицу в грязи. И голоса стояли ясные, отчетливые в тихом розоватом вечернем воздухе.

Спать улеглись на сене в сарае, и уже звезды давно засматривали сквозь дырявую соломенную крышу, а ребятишки все не могли уснуть.

Особенная тишина, какой никогда не бывает в городе, не давала спать. И в этой тишине неподвижно и темно стоят избы, вербы, и на их ветвях черные комки спящих ворон. Где-то далеко в конце улицы лает собака, долго, упорно, не останавливаясь, как будто дело

делает, потом и она замолчит, и в темной тишине – только мерный звук жующей коровы.

– Ванька, а этот мужик, что выходил, должно – колдун.

– М-м-м...

Ваня уже спит и не может разодрать глаз сквозь сладкий сон.

Сквозь неровно темную солому мигают звезды. Мишка смотрит на них широко раскрытыми глазами, – может, это души теплят свечечки, и их задувает ветром, а может...

«А они ползут...» – с удивлением и страхом думает Мишка, не шевелясь и глядя, как в дыре мигает то одна, то две, то несколько звезд, то опять смутно отсвечивает одно небо, без звезд.

И стараясь смотреть и не давая смыкаться тяжелеющим векам, он мягко и против воли тонет в этой темной тишине, где давно потонули и избы, и вербы со спящими воронами, и потускневшие и расплывшиеся звезды.

Мишке казалось, что заснул только на одну минуту. Долгий, упорный, настойчивый гудок разбудил его. Мишка вскочил, точно укололи его и весь трясась. Ревела корова, и у

Мишки отлегло. Он обхватил колена руками, ежась от холода.

В дыры глядело побледневшее небо. Мерно и звучно неслись прерывистые звуки – за сараем доили корову.

Петух заорал. Разговаривали гуси. Ваня крепко спал, раскрыв рот.

– Ванька, вставай, пойдем... слышь, холодно.

Тот открыл на минутку веки и опять сладко завел их.

– Вставай, слышь, остолопина! Мальчик поднялся, протирая глаза.

– Спать хочется.

– Пойдем, никак мужик воротился – сердитый.

Мальчики выбрались, ища глазами старуху. Ее не было. Под навесом распрягал лошадей мужик в рваном армяке, и мальчуганы слышали его сердитый окрик: «Навела тут гостей...» Выбрались на улицу и пошли по дороге.

Утро торопливо будило просыпавшееся, загасившее уже звезды небо, лес с заспавшимися птицами. И трава, и кусты, и листья – все

бело и влажно от густой росы.

– Ну, куда?

Мальчики остановились.

– Я ж тебе говорю – на восход солнца.

– Так восход вон.

Пошли в другую сторону, торопливо мелькая по дороге отдохнувшими бодрыми ногами. Ни железнодорожного полотна, ни телеграфных столбов, все то же просыпающееся поле, все те же сыплющие бесчисленными каплями росы кустарники. Деревни не видно.

– Эх, ты!.. Ну, куда?

Опять пошли.

Из-за верб блеснула широкая река. На той стороне стоял, отражаясь белым отражением, высокий берег.

– Де... э-э-э... о-о... э-у ду-у-у! – тонко, как звенящий комариный звук, не то почудилось, не то на самом деле смутно, неясно пронеслось издалека, должно быть, из-под того берега.

Река проснулась и влажно и матово сквозила в тонкой синеве. Еще не поднималось солнце, но небо за лесом было совсем белое и лес синел зубчатой полосой.

Вода влажно и мерно мыла белый, отмытый песок. На песке чернел челн, а возле во- зился дед, и шел дымок от костра.

– Дедушка, как нам на полустанок пройти?

– Ась?

Он черпнул деревянной ложкой из котел- ка, подул и попробовал.

– Хороша ушица... Ась?.. Стерлядки, сазан- чик, ершишка какой – и тот пригож...

А с того берега уже явственнее:

– Де-е-е-ду-у!..

Голос был детский.

И вместе с голосом брызнуло из-за леса ог- нем, и река, как умытая, радостно разверну- лась неохватимой гладью до самого пропада- ющего за дальним лесом поворота.

– Ребятки, покричите ему, глупышу, по- кричите: принес ли крючья.

Ваня стоял конфузливо, не зная, надо ли кричать, или нет, а Мишка приложил ко рту ладонь трубой и завизжал пронзительно-ди- ким басом:

– Крючья-а-а принес ли?

И гладь реки, принявшая в себя золотое, радостно взошедшее солнце, повторила мно-

го раз: «...не-о-ос-ли-и-и...»

И оттуда отозвалось:

– Прине-ос!..

– Ну, садитесь, поедем за ним. Ах, глупыш, глупыш, внучонок-то мой... Покричите ему, дескать, едем зараз.

Оба мальчика, надрываясь и стараясь кричать басом, заверещали:

– Зара-а-аз... зара-а-аз приедем!..

И опять светлая, ласково улыбающаяся гладь шаловливо повторила много раз:

«...а-а-аз... еде-е-ем!..»

От челнока бежали две светлые волны, а в нем сидело трое. Один с белой бородой и седыми добрыми бровями бурлил веслом светлую, весело игравшую воду.

Мишке казалось, что он еще спит и что снится ему – светлая река, и в реке ослепительно расплавленное солнце, и будто убегает берег, и далеко назад остаются хмурые темные дома, грязные вонючие переулки и вечный, неумирающий гул вместе с дымной мглой, изо дня в день прерываемый лишь ровным, настойчивым, не знающим ни отдыха, ни пощады гудком... Далеко все позади,

меркнет, тает.

Мишка поднимает глаза: солнце над лесом, тепло, и в играющей воде все ослепительнее, все нестерпимее плавится золото, и уже совсем надвинулся белый обрывистый размытый берег, косо отражаясь в неуловимо прозрачной глубине таким же белым, размытым, опрокинутым отражением. И, так же отражаясь, сидел у самой воды мальчик с мешком на плечах.

Челнок ткнулся в берег, и отражения задрожали, запрыгали, уродливо вытянулись и помутнели. И уже не было бездонной глубины, а бежали стекловидные морщины и лизали крутой берег.

Мальчуган прыгнул в живой, закачавшийся, вот-вот готовый черпнуть челнок.

– Ну, что? – проговорил дед и напряжился, упершись и отпихиваясь от берега веслом.

– Два хлеба принес и крючья. У тетки Матрены корова отелилась – бычок.

И пока один берег убегал, а другой бежал навстречу, мальчики сидели молча, искоса и исподлобья оглядывали друг друга. Хотелось заговорить – и не умели.

Только когда обсели котелок и стали хлебать дымящуюся уху, Мишка, прожевывая хлеб, проговорил:

– С дедом рыбачишь?

– Рыбачу, – коротко ответил мальчик, все не умея освободиться от связывающей конфузливости в присутствии незнакомых. Но потом набрался смелости и проговорил:

– А этот из городу? – и кивнул на Ваню, привлечшего его своей одеждой.

– Оба из города, – проговорил Мишка, – фабричные.

– Так, так... всякому свое. – Дед вытер усы. – И фабричному тоже бывает ничего: гляди, сапоги с набором купит, а то гармонию, играй себе по праздникам...

Мишка торопливо положил ложку, вытер губы и, наморщив лоб, проговорил убедительно:

– Дедушка, я у тебя останусь... буду помогать, рыбачить стану.

Дед добродушно ухмыльнулся в бороду.

– Миляга, а у тебя нет родителей, что ли?.. А есть, разыскивать зачнут, зараз становой налетит, накостьляет деду шею. Просторно, и

река, и солнышко, а тоже и у нас тесно, ух, как тесно!.. Рыбки наловим, все в город тянем, в город и в город, а как цены нет, и толку нет, только что в город возишь.

– А мы, дедушка, в городе живем – ни рыбы, ни молока, ни яиц и не видим.

– И без вас съедят... Скушают за мое почтение.

– Мы одного видали, дедушка: рота-астый да толстый, за стеклом сидит, пасть разяват...

– А зубы че-ерные!..

– Пасть разяват, а ему туда мясо кладут, хлеб, а которые служающие льют ему туда пойло же-олтое, вроде как лимонад, а он все глотает.

Дед почесал бороду.

– Они горазды... это они могут, на панском положении.

– Рестораном называется... – проговорил Ваня.

Потом все трое купались, шая и возясь в серебристой туче брызг.

Дед с внуком выехали на реку, и неподвижно чернеет их челнок на светлой глади. Мишка с Ваней голые бегали по берегу, гоня-

лись за мальвой, разыскивая раковины, или валялись на горячем песке.

– Дедушка-а!.. – от времени до времени кричали мальчики. – Можно хлебца?

И светлая река доносила добродушно:

– Ну-к, что ж?.. Скушайте на здоровье по ломтику.

А когда солнце стало клониться к полям по другую сторону реки, дед сказал:

– Ну, ребятки, надо вам и до дому. Будет шалыганить... Возьмите сушеной рыбки, хлебца да с богом. Отседа направо березнячком, а за березнячком станция, попросите начальника в красной шапке, – он даром вас довезет.

На станции Мишка снял шапку, приложил руки к животу и, глядя снизу вверх, говорил гнусавым голосом начальнику:

– Пожалеейте, ваше благородие, сироток... дозвольте проехать до города... Ни папы, ни мамы...

И столько в его лице было плутоватой заячьей хитрости, что начальник, улыбаясь, заметил кондуктору:

– Посадите, что ли.

Когда поезд тронулся и полетели поля, домики, будки, столбы, зеленые откосы, мальчишки не могли оторваться от окон.

– А... Ванька, гляди, как чешет!..

И с этой громадной быстротой, точно скашивавшей все встречное, радостное, неодолимое волнение охватывало Мишку.

– А?.. Ванька!.. Теперь я из поезда и вылезать не буду...

Полетели навстречу дома, улицы, экипажи, толпы народу, – надвинулся город, и, когда вышли из вокзала, поглотил их муравейник кипевшей жизни.

Среди уличной непрерывной оглушающей сутолоки встал роковой вопрос: что дальше делать? Мишка остановился, поскреб в голове. Ваня, испуганно озираясь, протянул:

– Надо домо-ой.

Но Мишку осенила новая мысль.

– Слышь ты... все одно по дороге... зайдем к Миколу Мокрому... на колокольню, наберем турманов... Твой Козел любит; скажешь ему: хоть проходил, да турманов принес, а они денег стоят...

Мишке мучительно хотелось оттянуть вре-

мя.

– По-оздно!..

– Чего поздно! Говорю – по дороге... все одно... Только скорей, пока колокольню не заперли.

– Ну, ладно, а потом домой.

Мальчики торопливо пошли среди непрерывно движущейся толпы.

Из церкви неслось согласное пение, мигали свечи, пахло запахом человеческих тел и ладана. Из-за дверей не слышно было, но, должно быть, что-нибудь говорил поп или дьякон, потому что головы у всех точно погнуло ветром, стали кланяться и опять – неподвижные спины, и согласное пение, и запах пота и ладана.

Мишка оглядывался. На паперти стояли нищие. Ночь торопливо густела, и в темноте тонули главы, выступы и украшения. По улицам зажглись фонари.

– Пойдем, – дернул Мишка Ваню.

Они пошли к маленьким дверям колокольни. Старик сторож, кряхтя, спустился и пошел к паперти. Мальчики шмыгнули в двери, ощупью поднялись по лестнице. На повороте

присели в уголке и стали ждать.

Темно, хоть глаз коли. Наверху мерещится слабый, неуверенный отсвет, должно быть в пролеты окон. Снизу доносится неясное, неузнаваемое пение.

Ухо чутко ловит скрипучие стариковские шаги, тяжелое, немного хрипкое дыхание; поравнялось; потом выше, слабее; смолкло. Постояла тишина. И вдруг колокольня дрогнула, дрогнула тягучим глубоким дрожанием, и стены, и ступеньки лестницы, и спины, и руки, и головы мальчиков, – и в ту же минуту, наполняя огромную ночную тьму медлительным гудецием, загудел колокол. Как будто не было ни церкви, ни пения, ни людей, а только тяжело гудящие, заполняющие ночь удары.

Мальчики сидели, зажав уши, раскрыв рот, – больно отдается в голове.

Последний удар, и смолкло, но все еще стоит медлительно гудящее колебание. Скрипучие стариковские шаги спускаются вниз, и бежит неровная гудящая волна. Захлопнулась дверь, загредел замок, и все колеблется тяжелая тьма, смолкло пение внизу, погасли огни, разошлись люди, в темноте церковь, но

еще колеблется неуловимым колебанием неугомонная медь. Наконец смолкла, но у мальчиков в ушах все еще нежно и мягко звучит, как далекое воспоминание, и не хочет погаснуть.

Мальчики поднялись до самого верха. Над головой мутный чернеющий край темной меди. Неясно вырезаются пролеты окон, а в пролетах в океане мрака – бесчисленные огни города.

Беззвучно, неровным мягким полетом что-то темное влетело и так же беззвучно-немо стало трепетно порхать над головами, скорее ощущаемое, чем улавливаемое глазом в темноте.

И этот беззвучно-трепетный полет разбудил страх, и он пополз сосущей мелкой холодной дрожью.

– Это – не голуби, – едва шевеля губами, проговорил Ваня.

Мншка и сам знал, что не голуби, – у тех резкий звенящий полет, а это скользило, как тень смерти.

– Уйдем!..

Прижимаясь и держась друг за друга, ста-

ли спускаться в глубокой неподвижной темноте, как в колодець. Нащупали дверь, – она была тяжела и неподвижна. Сколько ни били, звук тяжело и глухо умирал, как в подземелье.

Тогда пронесся высокий, резкий крик:

– Дяденька, пусти-и!..

Было немо, глухо, безответно.

– Дяденька... дяденька... дяденька!..

Кричали два голоса, били что есть силы ногами в дверь, – было все так же немо, глухо, безответно.

Возле молчаливо стояла темная церковь с огромной пустотой до самого купола, и эхо наводило особенный ужас.

В темноте прополз дрожащий шепот:

– Подыдемся наверх... страшно тут!

Держась друг за друга, нащупывая руками ступени, поползли наверх, – и когда среди крошечной темноты смутным, едва ощутимым отсветом обрисовались пролеты окон, а в них бесчисленные огни города, стало легче. Прижимаясь к холодному камню, держась за парапет, оба не отрывали глаз от огней.

Над головами перестало порхать, только

края темной меди тяжело выступали, и было неподвижно, темно и немо.

Может быть, прошел час, может быть, два, может быть, пять. Иногда в вышине пробирался ветерок, и тогда шевелились веревки, и с тоненьким повизгиванием звучала медь.

Машка напряженно глядел в окно, стараясь подавить страх представлением обыкновенного и виденного, – барыня надутая с гнездами на голове, барин в ведре, огромная жующая пасть с почернелыми зубами, зеркальные окна, магазины, трамвай, – и не мог; было непонятное, загадочное и незнакомое.

Тысячи тысяч огней горят и мерцают, как бесчисленные звезды, и нет им конца и краю. Океан мрака лежит, придавив город, едва приподнимаемый отсветом огней, а они так же равнодушно колеблются и мерцают, неизвестно где теряясь за молчаливо и неподвижно спускающейся чернотой ночи.

В темноте шепот:

– Слышишь?

– А?

Прислушались. Над огнями – гул, глухой, тяжелый. Тысячи людей спали под бесчис-

ленными крышами, которые смутно чудились в черноте среди огней, и непрерывный, невидимо грохочущий, ни на минуту не потухающий подавленный гул.

Там над фабриками носился непрерывный гул, но то был определенный, каждодневный здоровый звук незамирающей работы. Здесь среди ночи, среди молчаливо мерцающих огней этот накатывающийся задавленный мертвый грохот поднимал неодолимый страх...

– Спят?..

– Нет...

– Слышишь?

– А?.. Что такое?

Дед с изумлением смотрел на двух свернувшихся комочками от утреннего холода и прижавшихся друг к другу мальчиков.

– Что такое, прости господи?.. Али наваждение!.. – И он протер глаза.

Мишка первый проснулся и вскочил на ноги, не понимая, где он и что с ним. Глянул в окно: в радостном утре без конца и краю уходили в голубовато-задымленном воздухе бесчисленные крыши.

– Ванька, слышь, ну, вставай!

– Да вы зачем тут?

– Дедушка, да мы... за голубьями...

И, не оборачиваясь, замелькал вниз по лестнице.

– Ах, шалыганы, шалыганы!.. Нашли место... тут только нетопыри да летучие мыши... Ах, шалыганы, шалыганы!.. Ступайте, ступайте!..

Радостно и весело отдались мальчуганы набежавшему на них внизу шуму и уличной сутолоке, торопливо идя по тротуару. Но когда улеглись первые впечатления проведенной ночи, остановились.

– Теперь домой, – решительно заявил Ваня.

А Мишка:

– Слышь ты... Ежели придем сейчас, – утро, и нас цельный день будут драть, а ежели к вечеру, ну, выдерут раз, ну, два, и все, надо спать. Али не так?

Ваня и сам видел, что так, и стоял, беспомощно озираясь.

– Ну, все одно. Семь бед – один ответ.

– Так давай твои тринадцать копеек продадим, – подхватил Мишка.

Пошли, проели и опять целый день болтались по улицам, а когда солнце стало прятаться за крышами, тихонько и нехотя, хмурые и молчаливые, пошли домой.

Из-за домов, из-за крыш, рисуясь на дымном небе, ветавала высокая черная знакомая труба, и дым, крутясь, валил из нее. Стлалась мгла и над домами, и над улицами все тот же знакомый несмолкающий гул. И сквозь эту мглу и сквозь этот гул глядело медное и тусклое заходящее солнце.

Мишка с удивлением остановился. Как будто в первый раз видел этот мертвенно-тяжелый дым, слышал этот мертвенно-тяжелый гул. Он постоял, вздохнул и проговорил угрюмо, скрипнув зубами:

– Идем.

Вот уже знакомая пивная с выбитыми стеклами, вот казармы служащих. Ваня шел все тише и тише, остановился, закрыл лицо и горько заплакал.

– Ну, разнюнился. Ну, чего?

– Да-а, че-его?.. – плаксиво тянул мальчик. – Че-го? Бить будут... бить буду-ут, на коленки поставят...

Мишка злобно засмеялся.

– На коле-енки!.. – протянул он. – Дурак!.. Чего думал раньше? Не ходил бы. Ишь спохватился. Так тебе и надо. А как драть-то будут, – с злобной радостью, захлебываясь, заговорил Мишка, – уж так драть, так драть будут!.. Шкуру всю спустят, ни стать, ни лечь... Ах, и драть же тебя будут!.. А-а... сахарный!.. Мать твоя сядет тебе на ноги, а работника заставят за волосы держать, а отец зачнет тебя драть, зачнет тебя драть, он у тебя здоровый... Ух, и драть же будут!..

Мишка кривлялся, изгибался, прыгая, скакал перед Ваней, а тот неудержимо рыдал, сдавливая руками грудь.

– Го-о-осподи... да... да... что же э... это... да... за... за... что же... э... это!..

– Молчи!.. – вдруг завизжал Мишка и, как зверенок, кинулся к нему со сверкающими глазенками и сжатыми кулаками. – Молчи, падаль!.. А то укушу!..

Ваня попятился, глядя испуганно расширенными глазами и не узнавая перекошенного злобой лица своего приятеля.

– Жидок на расправу. Ступай за мной!

Мишка пошел вперед, размахивая руками, а Ваня послушно за ним, сдерживая всхлипывания и украдкой вытирая вспухшие красные глаза. Он глядел в худенькую спинку Мишки, на его качающиеся руки, и Мишка казался высоким, сильным мужиком, с которым никуда не страшно, но которого не нужно раздражать.

Когда подошли к Ваниной лавке, Мишка обернулся и сказал:

– Постой на крыльце. Я пойду сперва.

Ваня остался на крыльце. Мишка вошел в лавку, торопливо, беспокоино и, ничего не пропуская, ощупал ее глазами. За прилавком стоял знакомый Мишке благообразный человек с седеющей острой бородкой и злыми, бледно раздувающимися ноздрями. Хозяин так же подозрительно, торопливо, точно обыскивая, ощупал Мишкину фигурку колючими, маленькими, залезающими всюду глазками.

– А?.. Тебе чего?

Под этим пристальным колючим взглядом Мишку охватило необычайное желание исчезнуть за дверьми, но усилием воли он пода-

вил его и, весь напряженный, как сжатая пружина, подобрался к стойке, остро следя за каждым движением хозяина, и одним духом проговорил, злобно блестя глазами:

– Ваньку вам привел, слышь?.. Завел я его, сам... он просился, плакал, а я не пускал, завел... все я... сам... он не виноват...

Бледные тонкие ноздри хозяина все больше раздувались, колючие глаза впивались, и медовый голос ласково проговорил:

– А?.. Не дослышу... Подь сюда, родимый...

Мишка все так же остро-напряженно караулил малейшее движение хозяина, но от того ласкового голоса что-то мягкое прошло по душе мальчика, и он незаметно для себя придвинулся к стойке и опять заговорил, стараясь быть убедительным:

– Я Ваньку вашего завел, сказываю... Он не хотел... все я...

И не закончил, – голова замоталась в бледных крючковатых пальцах хозяина.

– А-яй-яй-яй!.. июуу!.. – визжал Мишка, выдираясь, на секунду замолчал, и в хозяйскую руку глубоко и остро влезли Мишкины зубы.

– А-а-а-а!.. Змееныш... – завыл в свою очередь хозяин, а из пальца, который он тряс в воздухе, торопливо и ярко капала кровь.

Мишка рванулся головой, оставил в хозяйской руке пук волос и, как резиновый, отскочил к дверям. По дороге, впрочем, ловко успел толкнуть ногой со звоном разлетевшуюся стеклянную банку, плюнул в кадку с маслом, дернул за связку бубликов, которые рассыпались по всему полу, и, словно его выдуло ветром, исчез из лавки.

– Ах, мошенник!.. Ах, разбойник!.. Погоди... я те... – донеслось сзади, но он уже как буря пронесся мимо оторопевшего Вани, которому кинул: «Ступай, мозгляк... ничего не будет...» – исчез за углом.

Мишка прыгал через засохшую грязь, через рытвины, ухабы никогда не починяющейся изуродованной мостовой, но, чем ближе к дому, тем неохотней и медленней работали ноги.

Немытыми, темными, кое-где разбитыми окнами глядел среди других таких же домов трехэтажный, с облупившейся, грязной, осыпавшейся штукатуркой дом, где Мишку жда-

ло... Он не хотел думать – что, сморщился и почесал ногой ногу.

«Чтоб ты провалился!..»

Подошел к входным дверям, в которых угрюмо темнела в пролете лестница, и долго стоял, почесывая пяткой ногу, опустив глаза, упорно глядя в землю.

«Убьют!»

Он поднял глаза, и темная лестница угрюмо и недоброжелательно глянула на него, подтверждая: «Да, убьют...» И эти грязные, с осыпавшейся штукатуркой стены говорили то же, и разбитые чернеющие глазки окон, и стеснившиеся отовсюду дома.

Было пусто, только непрерывающийся гул неустанно наполнял переулок да в водосточных трубах возились воробьи.

И опять стоял и смотрел в землю и на обсохшую на босых ногах грязь.

«Долго бегал... три дня!..»

Лицо его окаменело, судорожно сведенные мускулы окостенели, в маленьких сощуренных глазах горела холодная искра непотухающей злобы, а в сердце знакомый комок тяжелого, жесткого, ничего не прощающего оже-

сточения.

Стиснув зубы, с раздувающимися ноздрями, спокойно стал подниматься по угрюмой, все о том же молчаливо говорившей лестнице, потом пошел по коридору. И он был длинный, темный, знакомый и вел к одному страшному месту: к неподвижно темнеющей немой двери. Она, казалось, молча ждала Мишку, чтобы плотно захлопнуться за ним и придавить его крики и вопли.

У двери он остановился, с тоской, отчаянием бегая глазами по темному, равнодушно тянувшемуся коридору, и вдруг неожиданно для самого себя напряженно потянул дверь, и она с тонким злорадно скрипящим повизгиванием отворилась.

Первое, что увидел, была мать. Она что-то делала в углу, и спина у ней была худая, согнутая, как у той старушки, а ведь мать гораздо моложе. Что-то стукнуло мальчику в грудь, – не то жалость, не то удивление, как будто в первый раз увидел. Но сейчас же злобное ожидание и готовность до краев наполнила ожесточившееся маленькое сердце. И Мишка стоял у двери, злобно глядя исподло-

бья сверкающими глазами.

А маленькая Нютка всплеснула ручонками и весело прокричала тоненьким голоском:

– Ай, Миска плисол, залаз длать его будут!..

Детишки столпились вокруг.

Мать обернулась, и глянуло измученное, исстрадавшееся, изрезанное морщинами лицо, а с этого измученного лица глянули такие же измученные, красные, вспухшие от слез глаза. И всхлипывая и не удерживая катившихся слез, она пошла к нему, протягивая дрожащие руки:

– Сы-ынок... сы... сы-но-чек!..

Мишка растерянно бегал глазами по углам, чувствуя, что не умеет удержать, словно горький дым рассеивающееся ожесточение, удушливо переполнявшее его сердце. И когда мать прижала его голову к своей груди, он вдруг усиленно заморгал, не давая воли едко и щиплюще просившимся на ресницы слезам. И справившись, громко высморкался, нахмурился и проговорил толстым голосом:

– Никак Малафеевская фабрика опять работает.

А мать прижимает его, качает, как малень-

кого, и, ничего не слушая, только твердит:

– Сы... сы-но-чек... сы-нок мой... не думали... не чаяли живого увидеть... Отец... отец теперь...

Так они сидят, забыв обо всем, а ребятишки полуиспуганно, полуудивленно жмутся в уголок, глядят оттуда, перешептываются и зажимают друг другу рты.

– Мамка, а в городе девки да бабы перетянут себе живот в рюмочку да ходят, чистые осы.

Он на минутку отодвигается, глядит на мать, на ее изборожденное морщинами, слезами, горем, нуждой лицо, и что-то больно кольнуло его.

– Мамка, а старая ты.

Он хотел не то сказать и, стараясь поправиться и не умея, проговорил:

– А там в городе-то все гладкие да красномордые ходят...

Лицо матери тронулось усталой, измученной улыбкой:

– Старая, старая, мой родной, без время старая... Ты садись, – чай, голодный, покормлю я тебя, чайку поставлю, скоро отец придет.

Комнатка точно посветлела, было уютно и тепло, на столе в клубах пара весело о чем-то рассказывал самовар; ребятишки, как мухи, обсели вокруг стола и глядели в рот Мишке, который усердно жевал и рассказывал:

– Мамка, а как с колокольни фу-у да и страшно на город смотреть... ночью, только и слышать: гал, гал, гал, гал – и больше ничего... А бабушка сказывает: яйца выделяются в деревне, а едят их в городе, а мы тут их и не нюхаем... И отчего это вода в реке там чи-истая да светлая, камушки на дне видать, а у нас возле фабрики как из бани?.. А сколько рыбы!.. Я трошки не поймал...

– Да и у нас есть, – хором подхватили ребятишки.

– Да-а, есть... Тут которая и есть, так она брюхом кверху плавает...

– Есть!.. Я сам ловил...

– И я ловила...

– Лови-или!.. Дохлую ловили...

– Ан врешь, – она трепыхалась...

– Сама врешь... а то вот как дам по роже...

– Ну, будет, будет... – остановила мать, – обрадовались.

Уже сумерки. На стене тоненько коптит лампочка. За потемневшими окнами звучит усталый, дрожащий гудок умирающего рабочего дня. Мертвый, пустынный коридор оживляется, хлопают двери, слышатся шаги, говор, с улицы доносится движение, – возвращаются с работ.

Пришел отец. В комнатке смолкло ц словно потемнело. Мишка весь сжался, исподлобья только глаза сверкают, ребятишки притаились.

Отец молча, как всегда, снял рабочую блузу, умылся и, утираясь, бросил:

– Бегун...

И помолчав:

– Откуда явился?

Мишка стоял, глядел исподлобья.

– А мы розог нарезали, посолили... Я ремень ха-а-роший приготовил...

Сердце больно и радостно стукнулось в груди мальчика раз и два. Сквозь обычный, сурово равнодушный тон он чутко уловил, как непривычно дрожал голос отца, и, как вырывающаяся птица, забилась, затрепетала сверкающая радость. Да разве есть у Мишки

враги?! Разве не чудесно жить на свете... Разве не греют эти добрые, усталые, глядящие из глубоких впадин отцовские глаза?..

Мишка сделал шаг к нему и часто-часто заморгал, сгоняя ресницами что-то едко и радостно проступавшее на глаза. Потом справился с собою и, глядя боком и хмурясь, проговорил толстым голосом:

– А малафеевцы-то нонче никак опять работают.

Сквозь печать всегдашней суровости по лицу отца шевельнулась редкая гостья, улыбка.

– Ну, ну, ну... ты зубы-то не заговаривай... ужо я те вспрысну, чтоб ноги меньше резвые были... Мать, давай-ка вечерять...

Опять обсели стол. Отец хлебал из миски, а ребяташки принялись снова за чай, совершенно белый, откусывая крохотные кусочки сахара, без хлеба, без бубликов, потому что был конец месяца и оставалось несколько дней до получки.

Точно по молчаливому соглашению никто не заговаривал о Мишкином побеге. Отец, когда поел и мать придвинула к нему стакан пу-

стого белого чая, стал рассказывать, что сегодня в набивной ставили новую машину, а в ткацкой выскочившим челноком выбило рабочему глаз, и что Китай собирается воевать с Англией, что приезжал директор фабрики, разносил управляющего, мастеров за то, что на рабочих много расходуется денег.

Когда отец сказал это, спокойно попыхивая папироской, мать вдруг оставила посуду, обернула задергавшееся от злобы лицо и стала кричать злым тонким голосом, в котором дрожали слезы, что они и так издыхают с голоду, что все директора – ироды и анафемы, кровопийцы, и кричала долго и громко, как будто директор был в этой темной, дымной, придавленной комнате.

Стояла тяжелая, мутная, не рассеиваемая отсветом уличных фонарей тьма; все давно спали, только Мишка все ворочался в углу под своими лохмотьями. Наконец сел, прислушиваясь. Тренькал сверчок, сопели и подсвистывали в сонном дыхании дети, и еще какие-то звуки, странные, неопределенные, но дружелюбные в этой родной обстановке, ползали смутно и неясно в темноте в комнате и

за окном.

Мишка поднялся и прокрался к отцу. В темноте смутно и бессильно белела свесившаяся неподвижно рука, и было близко сдержанное, негромкое дыхание, выделяясь из других звуков.

Мишка постоял, потом нагнулся:

– Батя... а батя?..

Все та же мутная темнота, все те же смутные, неясные, беспокойно ползающие не то в комнате, не то за окном звуки, и сверчок, и дыхание спящих.

– Батя!..

Белевшая рука шевельнулась.

– А?.. Ты чего?

И немного погодя:

– Ложись... завтра рано вставать... Спи, шатун...

И опять мутная тьма, заполненная сонным храпом, сопением, вздохами, сверчком, кислым, густым воздухом...

Мишка постоял. Хотелось прижаться щекой к руке отца и не то засмеяться, не то заплакать. Он еще постоял, почесал спину и среди мутного отсвета фонарей, среди неяс-

ных, неуловимых ночных теней и звуков прокрался в свой угол, лег, прислушался: город сдавленно доносил: «Гал, гал, гал!..»

«Не спят», – подумал Мишка, мягко и сладко теряя мысли, точно кто-то торопливо ткал паутину, затягивая лицо, веки, слова и усилия, и где-то далеко так же мягко, любовно и ласково тонуло:

– ...а?.. спи, спи, шатун!..

В винограднике*

С этой стороны стоят прибрежные горы и по размытым покатосям тянутся виноградники, отражаясь в воде, а по ту сторону чуть приметно подвигающейся опрокинутыми облаками водной глади – ивы, вербы, кусты, тоже неподвижно опрокинутые, а за ними бесконечную ширью луга, сухие, рыжие, с бесчисленно пестреющими копнами сена, с не успевшими высохнуть кое-где озерцами.

В тонкой мгле иссушенного воздуха, на самом краю поблескивают золотыми искорками, должно быть, кресты затерянной в лиловой дали слободы.

Песчаные косы желтеют, длинно протя-

нувшись в лениво дремотной воде. Далеко за поворотом едва приметно дымит в тающем воздухе пароход и долго будет висеть дымок, – не скоро донесется из-за поворота приближающийся шум колес.

В винограднике так же сухо, жарко, как и на реке, как на лугу, как на песчаных отмелях. Степь дышит с горы горячим, иссушающим дыханием, и уже верхние листья кустов стали сворачиваться, краснеть, как на огне.

Сквозь виноградную листву белеет мазанка, а в сторонке печурка, на которой готовят.

Сегодня воскресенье, и хозяевами в винограднике – только воробьи, дрозды да тучи скворцов. Шныряют, дерутся, наполняя листву чириканьем, гамом. Виноград начинает поспевать, и лакомки хлопотливо выискивают побуревшие зерна.

Но в будень, едва заискрится в утренней дымке дальний крест и проснется умытая, освеженная река, конец птичьему благополучию. Из станицы по берегу, темнея ведрами, идет высокий, с загорелым, как чугун, лицом, старик и молодой паренек. Они приходят в виноградник, и по кустам, и по горе, и над ре-

кой до самого другого берега разносится неумолкаемая, оглушительная трескотня трещотки.

Птицы не боятся ее, и во время раздирающей уши трескотни наперебой, воровато, но молча, скачут по винограднику. Когда трещотка замолкает и наступает тишина, особенная летняя тишина, с зеркальной рекой, с неподвижно круглыми облаками, с посвистыванием летящих над самой водой куличков, — птицы в безумном ужасе взрывом поднимаются тучей и рассаживаются на дальних тополях, вербах, плетнях, беспokoйно поворачивая набок головки, осторожно прислушиваясь и приглядываясь темным, круглым глазом. И эта тишина всегда кончается резким, раздирающим воздух грохотом, перебаты которого далеко бегут по реке, сердито ворча и замирая. Падая, как комочки, с ветвей сваливаются несколько птиц, и на сухой взрытой земле, наводя ужас своей неподвижностью, лежат они.

Опять трещит трещотка, опять поодиночке, парами, маленькими кучками все смелее пробираются, мелькая в кустах, вороватые го-

сти, и идет хозяйничанье и грабеж, пока виноградник снова не обнимет грозная тишина.

Хохлатые воры отлично знают привычки своих врагов. Когда разморит жара и над печуркой перестанет куриться дымок, синие штаны парня и темное лицо старика видны под широким, развесистым вязом. На земле разостлана маленькая скатертка и дымится круглая миска. И, пока из миски носят ложками, безопасно и нагло идет расхищение виноградных кустов.

По реке плывут лодки, ползут широкие, плоские плоты; по ночам у самого берега, приткнувшись на минутку носом в песок, пристают пароходы.

Темь, и не видно ничего, а откуда-то из неисчерпаемой глубины мрака доносятся не звуки, а намеки на них, не то шепот, не то река, невидимая в берегах, на никому не доступном языке роняет никому не понятные обрывки речи, и тонут они в тишине, полной мрака и ожидания.

– Го-го-го-гой!.. По-да-вай!..

Несется и колышет полную тьму, и ясно:

это – человеческий голос, – кричат на той стороне, чтоб подавали лодку.

Снова тишина, неподвижная, как мрак, снова бесчисленно-звездное небо. Ванька лежит, закинув под голову руки. И опять из тьмы, напряженно полной ожиданием, ворохато нарождаются звуки, крепнут в разрастающемся шепоте. Все отчетливее, все сильнее... Та-та-та... та-та-та... Торопливое, неумолкаемое, беспрестанно-ползучее шлепанье.

Тонко сквозь неисчерпаемый мрак блеснули огни.

Может быть, огни станицы? Нет, там все спит, все потушено.

Или одинокий огонек перевозчика при пароме?

Нет, это живые, не гаснущие огни борются с обступающим со всех сторон мраком. Становятся ярче, отчетливее. «Та-та-та... та-та-та...»

Ванька смотрит в ровную тьму, в которой нет ни далекого, ни близкого, но в которой эта кучка огней, одиноко затерянная, и с ней ползучий шепот: «Та-та-та... та-та-та...»

Уже явственно слышно, торопливо работают колеса, уже явственно отражаются, дро-

жат в воде низкие огни, и тягуче доносится голос: «Пя-ать... пя-ать... четыре... пя-ать...» И невидимо дышит железная грудь, сдержанно и могуче.

Глянул красный глаз, потом зеленый. На берег легла полоса света, ломаясь по горе в ветвях и листьях. Громада, косо отражаясь множеством огней, мягко скрипя, ткнулась в песок, – бешено заработали колеса назад и смолкли; и из этих смолкших звуков железа, воды, дерева, пара родился звук человеческого голоса, в противоположность торжественной ночи, веселой и беззаботной.

*Что ж ты, Ма-анька, ром не
пьешь,
Аль любить меня не хошь?..*

И извилисто-игривые звуки гармоники. Плакал ребенок тоненько, жалобно, не прерывая, а усталый от бессонницы женский голос настойчиво, озлобленно: «А-а-аа... спи!.. А-а-а-а... спи, спи!..»

Все покрыто непроходящим мраком, только ряд огней из кают над самой водой и в воде.

На другом конце молоденький женский голосок:

– Я вам не верю... ничуть не верю...

А в укутывавшем их мраке беззвучно и страстно трепетало: «Верю, милый... верю, любимый!..»

Мужской голос, тоже молодой, говорит:

– Отчего же не верите?...

На сходнях на секунду, попадая в полосу фонаря, показываются темные фигуры пассажиров и сейчас же тонут в темноте.

Не то с берега, не то с палубы несется:

– Готово!

На минуту смолкает железное дыхание, и разворачивается беспредельная тишина ночи, заглушить которую не в состоянии жалко наигрывающая гармоника:

Че-ем же я-то не хорош?..

И беспомощный жалобный плач ребенка, и измученный бессонницей голос матери:

– Спи... ба-а-а... спи...

Оглушительно заработали колеса, с плеском упал конец втаскиваемых на пароход сходен, бурно запрыгало, закружилось, рас-

плавилось, побежало кругами золото огней и, все ускоряя ход и удаляясь, двинулась низкая, прерывисто светящаяся линия каютных окон.

Ванька лежит, подложив кулак под подбородок, и глядит в темноту. Уже ничего в ней нет – ни взбудораживших звуков, ни расплавленно-играющего в темной воде золота. Только затерянная одинокая кучка тускнеющих огней, все более меркнущих, да уползающий в неисчерпаемый мрак затихающий шепот работающих колес.

По берегу подержались в темноте голоса пассажиров, погасли. Снова молчание, беспредельность мрака, но в нем своя собственная жизнь, свои непонятные, молчаливые речи.

Ванька вынимает из-под головы кулак, вздыхает не то от усталости, не то от непонятной, мягко щемящей грусти, с секунду удерживая в расплывающемся сознании одиноко дрожащую в темной глубине тусклую звездочку, и засыпает.

Старик был высокий, суровый, с лохматыми бровями. Работал, как добрая лошадь, с

раннего утра до поздней ночи, и требовал такой же работы от Ивана.

Была у старика когда-то семья. Семья была большая, работающая, как большое раскидистое дерево, зеленевшее побегам и всюду пустившее крепкие корни. И старик гордо поглядывал на крепкое племя, шумливо покрывавшее старые дедовские виноградники, и спокойно подходил на покой к заросшему терновником, видневшемуся у станицы, со старенькой церковкой, погосту. Точно рабочий день, когда много было натружено, подходил к концу, и все чаще думалось об отдыхе.

Но пришла холера, и все перевернулось, – всех поела, остался дед да маленький внук, Иван.

Пошатнулся дед. Точно в ясный день разбило над самой головой развесистое дерево, и кругом по земле – лишь обгорелые сучья да почернелые листья.

По целым дням сидел, согнувшийся, осунувшийся, возле люльки, подвешенной к суку старой вербы. В люльке отчаянно кричал, суча мокрыми ножонками, ребенок, а в вино-

градных кустах и в фруктовых деревьях с неумолкаемым гамом хозяйничали птицы.

– Боже мой, боже мой!.. Пошто меня наказуеши?..

И дед качался возле люльки, моргая слезящимися глазами и не слыша крика.

Приходили соседи, соболезновали, меняли ребенку пеленки и уходили, – горе не любит чужих, – и опять по саду разносился детский крик, смешиваясь с неумолкаемо счастливым гамом тучами мелькавших в листве птиц. Так уходили дни, как один, и потерял старик им счет.

Заглянула к деду в сад знакомая баба, дальняя родня, ругливая и горластая, с измученным, рано состарившимся лицом и с целым выводком цеплявшихся за юбку сопливых ребятшек.

Тонким от злости, разносившимся по всему саду голосом стала кричать на деда:

– Старый хрен!.. Обормот проклятый!.. Да ни совести в тебе, ни греха ты не боишься... Дите пропадает, сад весь разорен... Червивый пес... Нешто нам легче твою? Вон у меня четверо было. Пришла глотошная, всех подуши-

ла. Что же, али руки сложила? барыней села? слезьми занялась? Неколи нам, не на панском положении, – нарожала опять. Опять господь прибрал, опять нарожала, вон за подол цепляются... А ты, как пан, расселся... Ишь ты, ребеночка не переменит, сад весь дочиста загадил.

Долго ругалась баба, и по реке, как шла по берегу, долго доносились ее визгливо-звонкие от злости выкрики.

Дед с удивлением слушал, точно в первый раз услышал человеческий голос. Потом поднялся, прямой и длинный, как палка, на самые на глаза спустил мохнатые, седеющие брови и пошел по саду.

Стояло птичье царство и разоренье.

Сухой огонек загорелся в спрятавшихся под насупленными бровями глазах. Взял дробовик, насыпал целую пригоршню пороху, – и ахнуло по саду, перекатываясь по реке громовыми раскатами. Птицы взрывом поднялись над садом и долго носились, переговариваясь и в недоумении крича. Но когда попробовали опять спуститься в виноградник, снова затрясся сад от грохочущего удара, и запахло

пороховую гарью.

И птицы улетели.

Дед день и ночь работал в саду, и соседи не знали, когда он спит, и день и ночь стоял в саду плач ребенка. Присматривали за ним сердобольные соседки, да дед, когда на него уж очень наседали бабы, брал мальчика под мышку, нес к реке и купал совсем, с головой, пока, полузахлебнувшись, весь посинеет и перестанет кричать.

– Помрет!.. – говорили, жалостливо подперев щеку, бабы.

Но ребенок не умер, а вытянулся в стройного, с задумчивыми, прислушивающимися глазами мальчика.

И дед радовался.

Ужас, хватавший холодом ужас подымал седые волосы на голове только в темные осенние ночи, когда за стенами в мокрой черноте бормотало дождливое ненастье и приступали стариковская хворь и недуги.

– Ох, не доведу!.. Потерпи, господи!..

Старику казалось, во второй раз проходит он жизнь. Во второй раз он растит человеческое дерево и не может, не должен уйти из

этого мира, пока не укрепится оно корнями, не раскинет ветвей, не зашелестит радостными листьями в трепещущем воздухе. Не мог он уйти из мира, пока не восстановит порядка, нарушенного слепо и непонятно.

– Потерпи, господи... Господи, али не жалко?..

И он подымался наутро, такой же жилистый, так же не покладаячи ни на минуту рук, такой же суровый в работе.

– Из железа сшит, дед-от, – удивлялись соседи.

Один не потухающий огонек горел деду впереди: стукнет Ваньке восемнадцать лет, – женить.

И, как почтовая лошадь к последней станции, худая, костистая, жилистая, с железной выносливостью, шел он к этому разгорающемуся все ближе и ближе огоньку. А там и отдых в терновнике у старой церковки.

Блеснет белый парус и потухнет за поворотом, за желтыми песками, то тяжело проплывут плоты, то пристанет ночью пароход, кося отражаясь всеми огнями в темной воде,

свистнет и уйдет. Идут богомольцы, рабочие, переселенцы, и опять та же река, так же смотрят в нее ивы и вербы, тот же сухой луч и горячее, сухое небо. И Ваня задумчиво провожает каждый гаснувший за прибрежными горами день.

– Ванька, на покров те восемнадцать годов сравняется, – говорит дед.

Они мало говорят между собою, отношения чисто деловые, – сад, вскопка, обрезка, прищипы, и у каждого свои мысли. У деда одно – как бы навести опять порядок жизни, и тогда можно и помирать.

А Ваня задумчиво следит за суетливо убегающим пароходом. Набрал он где-то людей, вывернулся из-за поворота, пробежал и опять скрылся за поворотом. Выгрузит этих людей, должно быть, в городе, нагрузит других и дня через три прибежит назад. Ваня не бывал в городе и как-то по-особенному представлял себе большие дома, улицы, движение. Говорят, там ночью так же светло, как днем. Когда же они спят? И как могут вагоны бегать по улицам без лошадей и без пара?

Ваня подымает глаза на деда, – длинный,

сухой, и старое лицо, как из темного железа.

И Ваня угрюмо говорит:

– Ну, дак что же?

– Невесту тебе приглядел... Матрехина Ивана дочка... будет тебе так-то зря... надо, чтоб по правильности все шло... семейство, опять же хозяйство надобно настраивать...

Ваня молча отходит и начинает азартно вскапывать, нажимая ногой на заступ.

Он строен, ловок и быстр в движениях, и странно с этим не гармонируют медлительно-спокойные, задумчивые глаза.

Жениться? Что ж, он жениться не прочь. И в ушах тоненький голосок с парохода ночью: «Я вам не верю... ничуть не верю...», а сама любит, а сама верит, по голосу слышать... Отчего в городе девушки – белые и нежные, и голоса – серебряные колокольчики, и грамоте знают, а тут девки корявые и больше похожи на мужиков?

Руки и ноги работают усердно и без перерыва, всаживая раз за разом заступ в жирную землю, а сад, а река, а дальний поворот, а глядящиеся в воду прибрежные горы уплыли, потухли, и перед глазами проплывает та, иная,

незнаемая, странно притягивающая к себе жизнь, которая бьется где-то за речными поворотами и лишь иногда маленькими кусочками проплывает тут по реке или проходит по берегу, как эхо, как слабый отголосок.

Дед и сам стал замечать – неладно с внуком, и торопился с женитьбой.

В праздник оделся чисто, велел Ване надеть новую рубаху.

– Пойдем к Матрехиным... Слышь, засылал сватов... Неча время тратить...

Ваня потупился.

– Чего стоишь?

Дед еще ниже опустил свои косматые брови.

Ваня поднял задумчивые, медлительно-спокойные глаза, и в них мелькнул огонек дедовского железного упорства.

– Уйду я... Отпусти меня...

– А?.. – Дед с трудом устоял на ногах.

– Отпусти... уйду... Что я тут?

Дед заревел – листья посыпались, – как раненый кабан.

– А-а!.. Уббью!.. Под землей, достану, уббью!..

Он весь трясся, пена пузырилась на сведенных судорогой губах. Во второй раз потрясающе нарушался порядок жизни, а теперь уже не заведешь его сначала, не за что уцепиться, да и осталось до погоста немного.

Тихо стало в саду, и в этой тишине лишь голоса хозяйничавших птиц.

И, укротив себя напряжением нечеловеческой силы, дед потупился и сказал незнакомым, чужим голосом:

– Куда пойдешь?

– В город. Что я тут... как лошадь... копаюсь в земле рылом... ничего не знаю... весь свет кругом, а я как лошадь, сено ем... В городу все... каждый день по телеграфу со всех концов... все, что делается... и разные науки... В город пойду на заработки и обучаться буду...

В воздухе сверкнуло. Тяжелый заступ, отбеленный землей, пришелся в голову и по лицу Ивана. Он рухнул без слова, и лицо кроваво задернулось.

Дед, шатаясь, пошел и стал вскапывать землю. И стояла подавляющая тишина, только птицы хозяйничали.

Долго болел Иван, думали, и не выживет.

На лбу и по переносью протянулся крутой шрам. Казалось, легла нерампускающаяся складка угрюмой, не отпускающей мысли.

Прошла зима. Снова светлая река, снова заглядывают в нее зеленеющие сады и белые облачка, и косо отражаются по ночам всеми огнями пристающие пароходы, и блеснет на солнце и потухнет за поворотом белый парусок.

Дед и внук работают молча, ни о чем не поминая, как будто ничего и не было, и каждый со своими мыслями. Трещит трещотка, и от времени до времени гулко разносится отдающийся эхом выстрел, и улетают птицы.

Раз, когда сели полудневать и жаркое солнце пятнисто сквозило сквозь листву, дед, неся ложку, сказал:

– Слышь, я не неволю. Ежели Матрехина девка не по сердцу, сам выищи. Тебе жить, не мне. Мне немного осталось... Мне бы только порядок жисти завести, а там... Слышь ты, Ванюха. По мне, на ком хошь, женись, хочь на корове, лишь бы порядок жисти был...

Ваня поднял глаза, и стукнуло в сердце – подался дед; видно, тянется из последнего. Да

и речи от старика такие в первый раз слышит.

Испугался, что не устоит перед дедом, не устоит перед этой гаснущей жизнью, перед этим бездонным отчаянием, тихим, без стопа. И решился: в темную, тихую, неподвижную ночь с узелком на палочке ушел.

Шел он по берегу, и в темноте то всплеснется рыба, то придет откуда-то жалобный писк или донесется слабо, подавленно, неясно стон или вздох, а может быть, на той стороне филин стонет.

Он шел, и ночь шла с ним, отрезывая все, что осталось позади, и заслоняя все, что впереди, только под ногами темно маячил берег и черная, тяжелая, как масло, неподвижная, без звука, вода. Долго шел, все до последнего камешка было знакомо и все было чуждо в этой нерасступавшейся тьме.

Устал, присел на камень, выдававшийся в воду. Много раз ловил тут удочкой рыбу. Но теперь и камень, и вода, и тьма всеобъемлющая казались иными, незнакомыми.

Кто-то бормотал возле непонятно и торопливо.

Вставали огромные дома – шапка валится, – ни днем, ни ночью не падающий гул и грохот, никогда не меркнувший свет, и со всех сторон скачут и спешат люди, и со всех сторон летят телеграммы...

Кто-то все бормотал непонятно и торопливо. Ваня нагнулся: бормотанье то усиливалось, то падало. Пошарил рукой: куст подмытый мочил ветви, и трепетали колеблемые течением мокрые листья.

Вздел узелок на палочку и на плечо и пошел к высоким домам, к неумирающим улицам, к новой, неизвестной и притягивающей жизни.

Когда, по обыкновению, на заре поднялся старик и увидал, что Ивана нет, он сразу догадался, в чем дело. Сквозь чугун загорелого старого лица проступила по морщинам пепельная бледность. Знал, что уже нет его, а все ходил и звал:

– Ваня, а Ваня!.. Ванюха?..

Уже прогорела заря, поднялось и стало припекать солнце, по земле сквозь листву легли чуть колеблющейся сеткой горячие сол-

нечные пятна, а между кустами виноградника, между деревьями все держалось:

– Ваня?.. а Ваня?..

Перестал дед варить себе, перестал глядеть за садом, целыми днями лежал где-нибудь на сухой траве, и знобило старые кости.

Потом пришло время, поднялся, связал узелок, вздел на палку и, никому ничего не сказав, отправился.

Сосед окликнул из-за плетня:

– Дедушка, али внука пошел искать?

Дед было прошел, потом остановился. Голова тряслась, глаза ввалились, согнулся, стал совсем маленький. Голос – слабый.

– Нет, куды жа!.. Ищи в поле ветра...

И вдруг весь загорелся:

– А?.. скажи на милость. Нету ее, правильности в жизни, нету ее... И откуда оно?.. Жить бы в правильности, горя бы не было.

И вдруг весь затрясся и подошел к плетню.

– Из города, из города-то она, вся неправильность... все оттуда... Восьмой десяток пошел, ни разу не был в городе-то, а сколько помню, все оттуда шло. Болести оттуда, глотошная, животами – оттуда дохтора насыла-

ют; опять же недоимки истребывают оттуда; опять же бумаги всякие, кого взять, кого в тюрьму, кого в суд, кого в арестантские – оттуда. Наконец, того, наших девок, парней, мужиков туда забирают. Ах ты боже мой, что оно такое!.. Иду, иду хоть перед смертью гляну, узнаю, что оно такое, что за неправильность жисти там... Пойду... ох, пойду!..

И с трясущейся головой и руками, неверно и трудно ступая, пошел он берегом, не оглядываясь. И лежала спокойная река с белыми облачками в глубине, и смотрелась, не шелохнувшись, зеленеющие сады.

Утро*

Золотая Медведица стала опускать хвост на спину черного хребта, который стоял стеной, и играющие кругом звезды тоже торопливо сползали. Их неверный мерцающий блеск сквозил по зубчатому лесистому краю гор.

Зияло чернотой ущелье.

Моря не было видно, но слышалось в темноте внизу мерное тяжелое вздымание.

За ущельем отвратительно, раздирающим кошачьим криком закричала рысь, и кто-то смотрел из чащи синевато-искрящимися зрачками.

И черные горы, и зияющее ущелье, и чаща, густая и смутная, – все загадочно заткано тьмою, южной тьмой, полной пряных запахов и невидимой таинственной игры.

Тонко белеет в темноте домик, говоря о человеческом одиночестве.

Залаяла собака, и разом повеяло жильем, хозяйственным уютом. Неясной грудой чернеют дворовые постройки.

Тяжело скрипя разохшимися половица-

ми, вышел на крылечко человек, и даже в темноте чувствовалась массивность его фигуры. Постоял, держа в руках смутно чернеющее ружье, прислушался.

И хотя было все то же, как всегда, – мерно и тяжело вздымалось невидимое море, наполняя ночь, – но, как и всегда, в этом вздымающемся и падающем шуме чуялось новое, еще не досказанное.

Человек сошел со ступенек. Сапоги лизнула собака и стала ласкаться. Тот остановился:
– Пошла прочь!

Он сказал негромко, а собака, жалобно взвизгнув, поползла на животе в конуру. Мерно жевали лошади.

За конюшней потянулся сад. Молчаливые и черные, стояли деревья, все в том же немом согласии с тьмой, со сползающими за черноту хребта звездами, с мерно вливающимся через ущелье тяжким шумом.

Так же немо чернели за садом пчелиные домики.

Сюда любят приходить медведи и хозяйничать.

Человек вслушался: ни шороха. И вверх к

хребту, и вниз к морю, и по боковым отрогам густела чернота лесной чащи.

Опять отвратительным кошачьим голосом закричала рысь сначала близко, потом за ущельем.

От пчельника черно и плоско потянулась бахча, но не видно было ни плетней, ни арбузов.

Осторожно хрустнула земля. Человек остро вглядывался, вдруг вскинул ружье, выстрелил,

Отблеск на секунду вызвал из темноты деревьев сада, край чащи, горло расширяющегося ущелья, и пронесся заячий злой крик, а по ущелью, по отрогам, перекатываясь и ломаясь, грохотало эхо. Потом все стихло.

К человеку, стоявшему с ружьем, подходила в темноте небольшая фигурка, прихрамывающая. Заячий тонкий злой голос заметался:

– Ты что в людей стреляешь?!. Глот!.. Жадный дьявол... всех сожрал... Coquin!.. Sauvage! [1] Ты, черт, помни, расхлопают тебе кубышку...

Маленький человечек наскакивал на большого, охал и хватался за ногу, а большой

брезгливо отодвигал его стволами двухстволки.

Надоел, как липучка. Будь это прежде, ахнул бы его прикладом; валялся бы теперь молча на земле. Оттащил бы за изгородь, бросил в чащу. Коли пришел бы в себя – выполз, нет – звери бы растаскали.

Да, прежде, а теперь...

Теперь камень в груди, тяжелый и холодный. И уже не слышит мерно вздымающегося ропота, не видит черного хребта, сползающих за него звезд, этого надоедливо скулящего человечка... Все заслоняя, смотрят тихие серые глаза, в которых такая затаенная ласковость, что и холодный камень в груди дрогнет, меркнет суровая напряженность, чем жил до сих пор. Спокойные, тихие, полные внутренней ласки, жаления глаза... И милое такое лицо... тихий свет... Как будто делает усилие, и тогда улыбка точно печальной лаской осветится.

– Это тебе даром не пройдет!.. не-ет, не пройдет... Ты думаешь, ты тут – царь и бог... Не-ет, прошли времена... врешь... Перевязывай... перевязывай, тебе говорят, кровью

изойду... У-у, тать ночью!..

«Тысячи ведь женщин с такими же глазами, с такими же серыми глазами... И жалеть – удел женщины. Ну?!..»

– Прочь!

Он сказал это негромко, как тогда собаке. Но маленький человечек вскипел еще больше:

– Voleur!..[2] Тебе и задушить недолго... Сейчас сбегая в поселок, подыму народ, – на убийство пошел, в живых людей стрелять...

– Не воруй.

– Подавись, черт жадный. Арбузик взять, так он стрелять. Все одно птица склюет.

Большой оттолкнул его и зашагал к изгороди. Перелез и потонул в черной чаще, как в погребу, чутьем угадывая невидимую тропу.

А маленький постоял, плюнул и пошел через сад к домику.

«Если собака спущена, заест... Соquin!..»

Он осторожно подходил, вглядываясь в темноту. Уже мутно забелел домик. Ревущий собачий лай наполнил темный сад. Маленький человечек торопливо полез на дерево, обдирая руки и колени и умильно уговаривая:

– Кор, сердце мое... на, на, на!..

Кор подпрыгнул, схватил за штаны и стал тащить, мотая головой.

– Караул!.. Спасайте от хищника!..

– Ты чего орешь? – раздался заспанный голос работника. – Ишь ветки все обломал.

Работник отогнал собаку, оба прошли к домику и сели на ступеньки.

– Есть, что ль, табак?

– Есть, есть.

Маленький человек достал завернутый в бумагу табак, оба свернули папиросы, и в темноте, то разгораясь, то чуть прокалывая темноту, покраснелись два огонька.

– Было застрелил меня сейчас ваш.

– Воровал?

– Еще чего!.. Просто шел по дороге за изгородью, а он как ахнет. По рыси стрелял, а не попал, да в меня, идол.

Помолчали, красновато освещая на минуту лица снизу папиросами.

– В которое же он тебя место?

– Сидеть больно... Ты бы, Сема, дал перевязать.

– Присохнет. Бекасинником. Кабы поядре-

ней дробь, прохватило бы, это – одна мораль, хлыстнет, и все.

– Я, Сема, из княжеской породы, мне это не подобает.

– И кто вас суды гонит, босая команда! И идут, и идут, как прорвало их, – чисто по весь Кавказ набились, плюнуть некуда, везде – босаявка. Много вашего босого батальона шатается. Как весна, почуют тепло, так и потянут вереницами

– Ты это, Сема, не говори. Сказать бы – я. Родился, брат, я в палатах, а сегодня вон портки мне разодрал ваш Кор. Нет ли у тебя поцелее, браток?

Работник молча курил.

– А все, брат, из-за женщины. Если б ты глянул на нее – чудесная. Charmante!.. [3] А мы, брат, сюда, как на дачу: поработаешь, на винограднике или в саду выколотил пятерку, ступай на берег, – пляж называется, – ложись в растяжку, принимай солнечные ванны, успокаивай нервы. Хозяин ваш лют, живьем глотает. Вешать бы таких. Мне вице-губернаторство предлагали, отказался, а то бы вешал таких.

– Тебя бы повесить за это место.
Звезды все завалились за хребет.
Небо зеленело.

Большой человек, когда перелез через изгородь, вошел в чащу и стал спускаться в ущелье. Тьма была непроглядная. Он шел, как в глубоком погребе, протянув ружье, чтобы не выколотить ветками глаза. Море шумело глухо, неясно.

Место он определял по числу сделанных шагов, по крутизне ската. Выбрался из ущелья, забелела дорога, вверху бледно показались умирающие звезды. Море опять стало вздыматься отчетливо и тяжело.

Человек шел большими, твердыми шагами, не было тяжело, как будто нес всю свою жизнь, всю до единого дня.

Юношей без средств ушел из богатого купеческого дома, все бросив, унося родительское проклятье, с головой ринулся в борьбу! Убил урядника. Участвовал в покушении на губернатора. Бежал. Кавказ громоздился сияющими снегами, лесами нетронутыми, таинственными ущельями, – тут можно жить по-

своему, по правде, слушаясь только совести.

Тут встретила девственная природа, лесные звери, горная тишина, горные опасности и красоты. Встретил кучку людей, как и он, жадно искавших совести жизни. Только земля, нетронутая земля среди дикой прекрасной природы дает людям душевный покой и удовлетворение трудовой жизни.

И они сели на земле братской общиной, отдаваясь совместному труду, отдавая все силы земле, не как рабы и работники, а как товарищи и братья. И закипел молодой труд, закипела молодая жизнь. На полянах подымали плугом новь, по уступам разводили виноградники, сажали сады, прорубали лес, рыли колодцы.

Но в первый же год затемнились над головами тучки. Он, бросивший для трудовой жизни богатство, семью, чужавший в себе неизбывную силу строительства и труда, опускал тяжелую свою руку на товарищей, давил их железной волей. Откуда-то взялась сноровка в незнакомых условиях, но потому, что он в большинстве случаев был прав, против его указаний восставали, тиранию его

умения и находчивости старались сбросить.

Завязалась борьба. Во время смуты он поднялся во весь свой громадный рост и крикнул;

– Так будьте ж вы прокляты!

И ушел.

Тяжкая жизнь началась. В глухой чаще он бился, как лесной зверь. Спал на земле, дождливую зиму провел в шалаше. Жилы тянулись от нечеловеческого труда и напряжения.

А через десять лет, через десять лет он – стяжатель, какого округа еще не видала. Он умеет выжать из людей все и бросить пустую, смятую кожу. Его ненавидят и боятся, – так и надо.

Люди, как зверье: полезных приручи, воспользуйся, вредных уничтожь. И женщины, – возьми, когда нужно, и выбрось, когда не нужно. И, может быть, потому они так и льнули к нему всегда: «Рабье поколение, ищущее господина и хозяина своего».

Любовь?.. Он усмехнулся. Любовь – это очень элементарно и просто.

А в темноте проступили серые глаза, полные доброй ласки и затаенно грустные...

Он скрипнул зубами и стал огибать чащу по свернувшей дороге. Здесь в прошлом месяце застрелил медведицу с медвежонком.

Прошел верст пять; все время справа, отдаваясь гулом в земле, тяжело вздымалось и падало море. Над черными деревьями стало светлеть, и звезды, все больше бледнея, исчезали.

Потянулись изгороди. Донесся слабо невыспавшийся собачий лай. Жильем потянуло. Он остановился. Справа раздвинулась чаща, иглянул молочно-мутный простор.

«Зачем?.. Куда?»

Человек постоял, опираясь на ружье, потом прошел на прогалину и сел на краю, спустив ноги над отвесным обрывом. Внизу все так же тяжело и мерно шумело, и слабо вспыхивала и гасла белеющая кайма. Чувался огромный молочно-смутный простор, и на краю его тянулась все светлеющая полоса.

– Ну, чего жду? Зачем забрался сюда?.. Как мальчишка, как собачонка... жду чего-то...

Вздыбилась вся гордость. Но что-то сильнее гордости, сильнее всего, чем наполнялась жизнь, заставляло сидеть, свесив ноги над

скалистым обрывом, жадно уходящим в бездну, где слабо мерцает всплывающая и гаснущая пенистая кайма.

И стало открываться море до самого края, до разгорающейся красной зари. А направо, налево потянулся скалистый обрыв, поверху закудрявившийся деревьями, внизу лениво надвигались мерные, успокаивающиеся волны.

В одном месте берег выгнулся широким песчано-отлогим заливом; на песке чернели опрокинутые лодки, поодаль крохотно белели домики.

Но один домик под черепичной крышей, казалось, поглощал море, и разгорающуюся зарю, и огромное, во все стороны открывшееся небо. Один домик под черепичной крышей.

Долго смотрел туда сидящий человек, разглядывая крохотные, немые, чернеющие окна. И вдруг то, чего больше всего боялся и чего тайно всем существом ждал, произошло: отворилась дверь, и на пороге показалась маленькая фигурка.

Видно было, как она стояла и смотрела на

море, потом одиноко пошла по дороге.

Человек встал, закинул ружье и зашагал. На повороте они увидели друг друга и остановились.

– Вы?!.. – проговорила она полуиспуганно, полурадостно.

Он усмехнулся:

– Не ждали?..

И вдруг стал спокоен, чувствуя, что овладел собою. Самое лучшее – повернуться и, не прощаясь, молча уйти.

Глянул, – румянец разлился по ее лицу, порозовело от разгорающейся зари. Верхушки деревьев тоже зарумянились.

– Я – всю ночь не спала... должно быть... море очень шумело... билось...

Он опять зло и жестоко усмехнулся:

– То-то вы в эту сторону пошли, не куда-нибудь...

У нее чуть дрогнули тонкие брови, но сейчас же, точно подавляя протест, глаза залучились такой ласковой болью, таким нежным участием.

– Не надо... так...

Он насупился. Они пошли, не говоря ни

слова, рядом по дороге. Вышли на полянку к обрыву. Море вздыхало мягко и слабо, и открывшийся простор вливался в душу спокойствием и умиротворением.

– Нет, я не принесу вам счастья, – сказала она, подавляя вздох, – не принесу счастья. А без счастья зачем? Нет, не надо.

– Мне решать, дадите вы мне счастья или нет, мне решать, а не вам.

Она опять тихонько подавила вздох и также тихонько сказала:

– Нет, не вам... мне видней. Вы – особенный, сильный, и вам нужно подчинение, а я... Я... господи, ведь знаете, я все, все для вас, всю себя...

– Мне этого не надо...

– ... только знаю, независимо от себя, вопреки собственной воле, незаметно буду высвобождаться из-под вашей воли, а это будет точить жизнь, тут уж не будет счастья...

Охота за женщиной – самая увлекательная из охот, – это где-то у Мопассана. Но тут, стоя около нее, вдруг почувствовал – есть какой-то остаток вне страсти, вне борьбы за обладание, неделимый остаток, крупица которого,

оброненная в жизнь, светится тихим, неугасимым светом счастья.

И, нахмурившись, сказал:

– Знаю, я для вас – стяжатель, скопидом, кулак. А я скажу: у меня босяк – сегодня подстрелил, – приду и все швырну ему: земли, дом, сады – все, что вытянул железным трудом, и уйду опять с голыми руками, как пришел.

Она не подымала подрагивающих ресниц.

– Вот за это... за это-то вас можно... Вы – сильный, только, как тот сказочный богатырь, идете и тонете по колено в землю от силы, которую не знаете, не умеете направить, и она давит и вас и всех людей кругом.

Оба стали смотреть на море, не видя его. А по морю уже пробежали, вспыхивая и погасая, все цвета: розовый, оранжевый, фиолетовый, и теперь оно глубоко и спокойно засинело от огромного высокого синего неба. Солнце встало, и весело засветился весь берег.

Он взял ее нежную, маленькую руку своей крепкой, большой и сказал незнакомым себе глухим голосом:

– Любишь?

Она спрятала на его груди лицо с завлажневшими глазами.

– Люблю... милый... люблю, родной...

Потом высвободилась, глянула на него сияющими от слез, полными бесконечного жалеия глазами:

– Прощай!..

И пошла, не оглядываясь.

Он постоял, вскинул ружье и тоже пошел, не оглядываясь, в другую сторону, криво усмехаясь и шепча:

– Вот и все...

Ясным утром*

На утренней на зорьке, только что успела крякнуть первая утка в камышах, и еще росисто белели кусты и травы, Иван Михайлов ввалился посредине широкого двора на маштака, долго лежал на животе, болтая ногами, посунулся, перекинул ногу и разом сел верхом, и лошадиная спина погнулась, и маштак переступил с ноги на ногу, неодобрительно потряхивая головой.

Был грузен Иван, крепок в плечах и всегда глядел из-под насупленных, подернутых седи-

ной бровей не улыбающимися глазами.

Маштак пошел ровной, спорой иноходью, покачивая человека, взбивая под копытами прохладную утреннюю пыль. Дорога сбежала и пошла лугом, а сзади, отставая больше и больше, белела на взгорье станина, открываясь из-за деревьев выбеленными куренями и дымясь утренним дымом. И крест сверкнул старенькой колокольни.

Красно глянуло краешком показавшееся из-за старых верб солнышко.

Встрепенулось кругом. Выпрямились травы; стряхнув росу, повернули головки к теплу и ласке цветы, и через весь луг потянулись длинные прохладные тени дальних верб. А в траве и над травой бесчисленно зазвенели обрадованные птичьи голоса.

Маштак шел, постукивая копытами, а в голове человека тянулись особенные, густые мысли, которые все заслоняли: и траву, сочно надвинувшуюся к дороге, которую скоро уже поднимать косою, и озера, густо поросшие камышом, который тоже скоро делить и резать, и все хозяйственные мысли и представления, которые когда-то одни заполняли и царство-

вали.

Станица, чуть белея, отставала дальше и дальше, и ложившееся пространство все заполнялось пережитым и перечувствованным за последнее время. Особенно ярко и нестираемо стояла перед глазами фигура миссионера, белолицего, дебелого, как женщина, в шелковой, с отвороченными на шелковой же синей подкладке рукавами, рясе, и сектанты, благообразные мужики, с окладистыми бородами, и у каждого из них ходило по три запряжки быков, стояли нетронутые стоги сена и немолоченые скирды хлеба.

«Ибо у вас, – говорил миссионер, вскидывая привычным движением спускавшийся широкий шелковый рукав, – несть ни бога на небе, ни царя на земле, яко язычники и прелюбодеи правды...» – «Ибо у вас, – говорили бородатые оппоненты и упорно и не отрываясь глядели в землю, – из Христова учения сотворены кумиры и на небе и на земле. Сказано бо: не сотвори себе кумира...»

А кругом стоят, сидят, слушают, слушают с напряженными, обветренными, черными, изрезанными от загара и трудовой жизни лица-

ми. И на этих тяжелых, темных лицах неповоротливое желание проникнуть и разгадать не столько смысл того, что говорят здесь, сколько чего-то своего, неразгаданного, что смутно покрывает всю жизнь.

Слушает и Иван Михайлов, смотрит из-под насупленных бровей.

«Несть бо, несть бо», а сам, как индюк откормленный перед праздником, гладкий да белотелый. Погонять бы тебя за плугом, иначе запел бы «несть бо...»

И он так же тяжело и неодобрительно глядит на бородачей: «Законники, иначе деньги любят, и деньга их любит... Об совести да о божге, а хозяйства какие, в округе поискать...» И перед глазами стоят матерые быки, добрые, сытые кони, новые крепкие избы, крепко и ладно сбитая справа, весь уклад плотный, крепко налаженный, точно топором притесанный. Эти «человеки божьи» идут густо, плечо в плечо, не давая никому из своих ослабнуть, споткнуться хозяйством, упасть. Ни пьянства, ни разгула, а который закрутит и загуляет, извергают из своего удачливого, довольного, налаженного царства не то за

греховность, не то за хозяйственную слабость.

А кругом валяются православные, пропившиеся, разоренные, каждый за себя, волками друг на друга.

Михайлов поталкивает каблуками помаывающего головой и ушами маштака и не видит ни луга, ни потерявшейся назад, пропадающей белизной станицы. Своя и чужая жизнь стоит перед глазами и не уходит прочь.

Навстречу, оставляя сердито вставшую из-под колес, медленно уплывающую наискось с дороги пыль, катится повозка на железных осях, и лошади, все яснее вырисовываясь дугой, оглоблями, бегут торопливой, поспевающей рысью, так же торопливо поспевая в такт потряхивать головами.

Рыжий мужик, свесив огромные, в густо запыленных сапогах ноги, ловко, не уставая, и, — что производило особенное впечатление, — молча, не разговаривая с лошадьми, хлестал их по быстро мелькающим ногам, и уже забелело под шлеями и потемнела шея.

Другой, должно быть небольшого роста,

спал на дне, свернувшись, мелко трясясь от быстрой езды, и виднелась только его спина да затылок с туго натянутым картузом, тоже грязно-серым от пыли и тоже прыгавшим от тряски.

А сзади испуганно бежала привязанная к грядке лошадь, то закладывая, то навастривая беспокойное ухо, с напряженным выражением недоумевающих глаз, поминутно от торопливости набегая и насовываясь на грядку грудью.

И эти все трое: и хлеставший по мелькающим ногам рыжий, и видневшийся в повозке одним запыленным затылком и прыгавшим картузом, и лошадь, торопливо стучавшаяся коленками и грудью о повозку, – все трое промелькнули, занятые своим, не взглянув на Михайлова и оставив медленно наискосок уплывающее над травой облако пыли.

Михайлов, так же равнодушно поталкивая маштака каблуками, проехал мимо, но он знал, что его и его маштака хорошо приметили, слышал, как быстрее, тарахтя, покатилась повозка, и у самого нестираемо запечатлелись все подробности проехавших, особенно

выражение испуганной торопливости бежавшей сзади на привязи белоногой лошади с огромным выжженным на задней ноге тавром в виде буквы К.

– Анахвемы!

Он ехал так же спокойно, поталкивая маштака, только брови надвинулись больше. Но вдруг натянул поводья и остановил высоко вздернувшую от неожиданности головой лошадь, удивленно перебиравшую удила, слегка повернул ее и глянул назад.

Дорога пусто уходила вдаль, местами серея среди травы поворотами; станица уже не белелась. Только у самого края, где голубое небо припадало к лиловатому, дымчато пропадавшему лугу, что-то сверлило серым тающим клубочком свежий утренний воздух.

– Анахвемы!

И снова пустил поматывающего головой маштака, и среди разгорающегося утра, среди разгорающегося треньканья кузнечиков, звенящей, отовсюду несущейся безудержной радости невидимо трепещущих жаворонков мерно слышался мягкий, неторопливый стук по пыльной дороге неподкованных копыт.

Этот хлеставший по лошадиным ногам рыжий, запыленный на прыгавшем затылке картуз, эта испуганно бежавшая на привязи, с напряженным выражением, лошадь расстроили течение мыслей Михайлова. Он pokrutil головой, стряхивая навязчивую картину, и дернул губой, точно сгоняя надоедливую муху. Потом снял шапку, перекрестился на радостно сиявшее небо и ослепительно стоявшее над лугом солнце.

– Твоя воля, господи.

Слез и долго шел рядом с лошастью, физическим напряжением, ходьбой подавляя остатки поднявшейся было привычной вражды; долго шел, подставляя солнцу непокрытую лысеющую голову. И стал думать о том, что заполняло его всего последние годы.

Вот придет к архиерею и скажет:

«Ваше преосвященство, потому, собственно, мочи моей нету, кабы во священстве правильность и порядок... Ну, понимаю, все – люди, все – человеки, одначе служитель алтаря, и не к кому нам окромя, слепые мы, тыкаемся, как котята... Не в осуждение, а потому, собственно, некуда... тяжело, ваше преосвящен-

ство... Опять же миссионеры не об том...»

Мысли его о том, что он скажет архиерею, были ясны и отчетливы, но что скажет архиерей, тонуло в темном молчании. А кто-то шел и, заглядывая в лицо, беззвучно и с насмешкой говорил: «Архиерей – тот же поп, только из монахов...» – «Ну, так что же, – возразил также мысленно Михайлов, – мних, и вне миру, вне миру – вне соблазну... Народ его видит только по праздникам, и священство ведет его под руки... Опять же не исполнится шестнадцать лет девушке до свадьбы, к кому? К архиерею. Священника в другой приход кто? Архиерей. Ни хозяйства у него, ни заботы у него; сидит в хоромах один и думает не о мирском, а о божьем...»

А тот так же беззвучно-насмешливо: «А?..»

«Да так, – сердится Михайлов, – потому и иду, и спрошу...»

И, как бы считая спор оконченным, надевает шапку от припекающего солнца и оглядывает зеленый простор с поблескивающими остатками в лужах от последнего дождя, с ласковыми цветами, одиноко стоящими кое-где старыми вербами, у которых на маковке

только несколько побегов, точно венчик волос на лысой голове.

Скоро выедут косилки, и в перерывчато-звонком, торопливо-металлическом говоре чугунных шестерен потянутся за ними широкие полосы полегшей травы, весь луг бритым, голым лицом глянет в голубое небо, и всюду, как бородавки, встанут пестрые копыны.

Но это – пусть уж сыновья. Затем и выделил обоих, чтобы молодые руки сами строили хозяйство и благополучие свое, – ему не мешаться. Было его время, теперь пришел их черед. Крепкие, здоровые, сильные, жадные на работу, пускай их.

Не отказывается и он от работы, но он работает, как работник у хозяина, ибо «в поте лица твоего ешь хлеб твой». Дело же его – дело молчаливое, дело сердца и думы. Не то дело, которое он делает мозолистыми, грубо привычными, корявыми руками на пашне, на мельнице, в степи, со скотиной, с лошадьми, а божье дело, которое тянет к себе его мысли, беспокоит тысячами сомнений, спрашивает и не дает ответа.

И никто не дает ответа – ни свои, ни чужие, ни попы, ни странники, ни монахи в монастырях.

Одно он знает, – нету правды, нету правды в самых правдивых, нету правды в скотине, за которой ухаживают и которую воруют конокрады; нету правды и в пашне, которую потом поливают, которой торгуют, покупают и продают за деньги и около которой стоят озлобленные, с кольями в руках; нету правды в смерти, потому что за нее надо платить попу; нету правды и в радости, потому что за нее, за молодую любовь, надо платить, как и за похороны, попу.

Нету правды в нем самом, в Иване Михайлове, ибо он хитрит: как будто и отрекся, и отдал хозяйство, которое, как пути, лежит всегда на человеческой душе, ничего себе не оставив, но не роздал голодным и холодным, а отдал своей плоти, своей крови, отдал молодым, здоровым сыновьям, таким крепким и жадным до работы.

И никак не выдерется из густой заросли сомнений Михайлов. Вот будто и разрешил все, и было решение простое и ясное: раздать все

добро свое по церквам, по монастырям и нищей братии; но встал вопрос: а сыновья как? Неужто идти им в конокрады и воры? Ведь и ими положено много молодого, здорового труда и пота в его хозяйство.

Отдал сыновьям; опять: почему одним сыновьям? Все мы – сыновья одного отца небесного; и стоят те, другие, и смотрят голодными глазами на дом, полную чашу, смотрят и озлобляются.

Нос выдернет – хвост увяз, хвост выдернет – нос увяз.

Вздохнул и поднял голову, и опять оглядел весь огромный, сочный, зеленый простор травы, перемешанной с цветами, уже просящей косы.

Вот опять: теперь выедут с гремящими в молчании косилками и будут работать день и ночь, напряженно и угрюмо, без песен, молча отирая пот, – не до песен, за косилку приходится платить по дням, и все, надрываясь, спешат скорее выкосить. Народу и не видно на лугу, – за машиной, теряясь, ходит всего три-четыре человека. А в старое время покос был праздник зеленого царства: мерно бле-

стоят косы, рядами идут, стребая, яркие девки, все заливая такими же яркими, заливчатыми песнями, весь луг пестреет от народа.

Все меняется, все по-иному, постепенно, незаметно, а как оглянешься – ахнешь, и засосет под сердцем, ума не приложишь.

Михайлов всматривается. Спокойно млеют травы в разгорающемся дне, и теплый ветерок бежит и пышет в лицо оттуда, со степи, в которую незаметно переходит луг. Зоркие, сузившиеся под взлохмаченными бровями, привыкшие к степному простору глаза улавливают впереди, на самом краю, как что-то бурлит и сверлит уже дрожащий, знойно трепещущий воздух. Пыль ли взметнулась и клубится смутным, далеким клубочком, птица ли мелькнула, или кто-то едет, кого еще не разберешь?

Маштак идет рядом, поталкивая плечом, мерно кивая головой, шевелит шепчущей о чем-то темной губой, иногда хлопая себя под брюхо копытом. Неизвестно откуда взявшиеся серые мухи озабоченно суетятся дружной семьей.

– Ну, что, отдохнул?

И Михайлов перекинул уздечку через голову лошади.

«Да уж, отдохнул – не отдохнул, садись», – отвечает, не глядя, маштак и шевелит губой, отвечает с той особенной, молчаливой фамильярностью, которая связывает давно сжившихся стариков, и сам останавливается.

Михайлов насовывается животом на спину: маштак стоит с минутку, пока тот не перевешивается на другую сторону, и трогается, помахивая головой, на ходу уже чувствуя, как тот перекидывает ногу.

Мысли потерялись и расползлись. Бесконечно все дрожит и струится ослепительным зноем, точно струится тонкий, неуловимо-прозрачный дымок.

А глаз невольно тянется туда, и уже видно, не пыль клубочком сверлит даль, не птица пролетела, а непривычное торопливое движение, которое еще не разберешь и от которого никак не оторвешься, беспокоит прозрачную даль.

Козырьком приложил ладонь.

– Волк ли?.. Али собаки гонят лису?..

Но уже видит, – не волк, не собаки гонят.

Уже чувствует, – все это имеет какую-то, связь с оставленным им позади, с той сереющей дорогой, которая молча легла сзади.

Остро, не отрываясь, всматривается.

Уже видно – в пыли, в клубах скачут. Шатаются вытянутые лошадиные шеи, приклонившиеся человеческие фигуры. Мелькает, отставая назад, трава, – придорожный чернобыл, – то все скрывается в серой, поднятой облаками пыли, которую нагоняет сзади горячий ветер. И опять проступают из-за несущихся облаков, шатаются вытянутые лошадиные шеи, приклонившиеся человеческие фигуры.

Ближе, ближе...

Было возбуждающе-торопливое во всем этом, и даже гнедой поднял голову, вглядываясь, серьезно навастривая то одно, то другое ухо. Михайлов крикнул:

– А-ах... Ишь ты!

Знал, что готовится. Когда-то и его жизнь наполняло это непотухающим напряжением, но отодвинулось в далекое прошлое, куда ушла и молодость. И теперь лишь беспокойная жалость щемила сердце.

– Эх, сердяги!.. От сытой жизни на это не пойдешь... Э-эх-х, ты!..

И он покрутил головой, осматриваясь, как бы ища глазами выхода из жестокой правды, которая неразрешимо стоит поперек жизни.

Маштак весь подобрался от возбуждения, пошел иноходью, внимательно наострив оба уха, точно собирался заржать навстречу. Старик дернул за повод:

– Ты еще чего?

Маштак недовольно вздернул головой, опустил шею, отвесил, нашептывая о чем-то, губу, скучно заложил оба уха назад, – дескать, не хочешь, и не надо, мне-то что, – и, на секунду приостановившись, хлопнул себя под брюхо копытом, покачнув старика.

А огромный клуб уже совсем накатывается. Проступают кровавые ноздри, раздуваясь вырывающимся густым дыханием; клубками взрывается из-под копыт спокойно лежащая на дороге пыль; грудью навалились на лошадиные гривы люди, потные, побледневшие, с раздувающимися, как и у лошадей, ноздрями. Все быстрее нарастает тяжелый топот.

Впереди, весь припав к рвущейся по ветру

лошадиной гриве, лишь отворотив лицо набок, чтобы не задохнуться от этой все срывающей быстроты, скакал на горбоносой, сухопарой, в нитку вытягивающейся лошади молодой, безусый казачок, весь поглощенный скачкой.

За ним – с благообразным лицом и волчьими глазами, по всем видимостям снохач, с колом в руках, на тяжелой, нескладной лошади, неуклюже расставив ноги и локти.

Седенький старичок, с забивающейся от встречного ветра белой бородой, на худой, ободранной, со злобно прижатými ушами, то и дело подкидывавшей задом кобыле, тянулся со шкворнем, ласково приговаривая:

– Погодь... погодь... ах, погодь трошки!.. Зараз!..

В клубах пыли дальше мелькали лошадиные, человеческие головы, ствол ружья, поднятые руки, взвивавшаяся плеть, петля аркана, – мелькали смутно, неясно проступая, теряясь в несущихся сухих облаках.

Михайлов опустил глаза и больше насутился.

«Не... не скажу... ишь озверинились... пере-

бьют сердяг... тиранить будут...»

Расскакавшиеся лошади с трудом останавливались, и все объяла густая, мутно-непроглядная сухая пыль, в которой лишь стояло тяжелое лошадиное и людское дыхание, едкий запах пота да смолкающий топот останавливающихся лошадей.

И обрывистые, хриплые от ветра, скачки, пыли и огромного возбуждения голоса:

– А?

– Не видал?..

– Проскакали?..

– Сколько их?..

– Какие лошади?..

– Верхами али повозкой?.. Слышь?

Ветер тихонько относил душное облако пыли, открывая сбившихся людей и лошадей.

Михайлов остановил лошадь, хотел сказать «не...» и вдруг почувствовал, как это прерывистое дыхание, эти лоснящиеся от пота, то побледневшие, то красные лица, обрывистые, недоговаривающие голоса, тяжело носившие боками лошади – все это, вместе с раздражающим запахом пота, разом охватывает, как удушливое облако.

И чувствуя, как настойчивее и короче становится дыхание, и лоя как будто нехватаящий воздух, выкрикнул:

– Во... по дороге... двое повозкой... на привязи сзади одна... костистая... тавро на правой...

Гул голосов разом покрыл его:

– Они!!

– Гайда!..

– Вали, ребята!..

– Не уйдут!..

– А-а-а!

Взрывом рванулась из-под копыт пыль, тяжело поскакала первая лошадь, за ней вторая, дернулась третья. Тогда Михайлов, чувствуя, что он сделал и делает не то, чувствуя, что нужно последним усилием оторвать себя от них, от этих торопливо дышащих людей, от этих носящих боками лошадей, от раздражающе острого запаха пота, но не в состоянии сделать этого, закричал вдруг охрипшим от волнения голосом:

– Кудды вы?.. Кудды?!.

Передний сдержал расскававшуюся было лошадь и, полуповернувшись, совсем почти

отвалился на круп:

– А?..

– Кудды вы, дьяволы, дураки? Вы там и следов не соследите...

Тот отвернулся, махнул рукой и погнал лошадь. За ним поскакал другой.

Тогда, чувствуя, что все зависит от него, и отдаваясь внезапно хлынувшей в голову горячей волне, Михайлов загремел чужим, вдруг ставшим незнакомым ему голосом:

– Анахвемы!.. Кудды?!.. Упустите!.. Упустите!..

Не слова, а звук голоса остановил приготовившихся скакать людей.

– Чего?..

– Ну, что?..

– Кудды зовешь?..

Все тот же неотпускающий голос хрипло гремел:

– Через станицу побежали, видимость вам одну оказывают. Станете расспрашивать, скажут, проехали через станицу. Вы и зальетесь в степь, а они за станицей свернут с тракта да Куричьей балкой опять на луг выедут, лугом и поедут на Есауловские хутора. Куда же им,

больше некуда...

И, не дожидаясь ответа, он повернул маштак, ударил каблуками и погнал целиком по лугу. Маштак сначала лениво и нехотя стал переваливаться, но потом разошелся и стал скакать всеми четырьмя ногами, как бы с укором: «Что, мол, говорил тебе...»

Трава, со свистом мечась, путаясь и колыхаясь цветами, никла под ногами скакавшей лошади, и сзади ложилась среди зелени темная полоса.

И, как в первый раз, не звук голоса и не слова, а то, что старик повернул лошадь и сам поскакал целиком по лугу наперерез, показалось убедительным, и Михайлов слышал позади мягкий, ласковый по траве топот нескольких лошадей, да кто-то крикнул, должно быть, тем, которые поскакали по дороге к станице:

– По-шли-те из станишного верховых по Куричьей балке!

Но вряд ли те слышали, – уже и топот их смолк. Михайлов ни о чем не думал, только о том, чтобы маштак его выдержал. Эта мелькающая трава, эти бегущие издали навстречу

вербы, этот тяжелый лошадиный сан позади охватили его с головой.

«А архиерей?.. А?..»

Кто-то, ухмыляясь, заглядывал в глаза и бежал рядом. «Ну-к, что же? – думал Михайлов, и это было убедительно и покрывало все. – Упустим, ах, упустим!..»

В свое время конокрады боялись его пуще огня... Темные ночи, долгие, терпеливые, неожиданные засады, блеск освещающих темноту выстрелов...

«Сердяги!.. От сытой жизни на это не пой- дешь...»

«Ну-к, что ж!.. Кабы вот маштак не попал ногой в нору, – ишь кроты все изрыли... Как раз попадет...» И свистя, и путаясь, и судорожно цепляясь и колеблясь, ложилась трава, и уже приподнялись из-за края луга приречные горы, сначала фиолетовые и смутные, потом все яснее, яснее, с глинистыми промоинами, с одиноко стоящими дикими яблонями. Местами блеснула речка. Шея лошади стала темнеть, и дыхание и сап сзади доносились тяжелее.

– Ах, упустим!..

«А архиерей?.. Хо-хо-хо-хо-хо!..»

Но, уже наполняя собою весь луг, придавая особенное значение этим уже совсем близко надвинувшимся глинистым обрывам, этой поблескивающей сквозь камыш речке, впереди показалась быстро катившаяся, но еще маленькая, как игрушечная, повозка.

– О-ох! – болезненно-дружным стоном отзывалось сзади, и Михайлов почувствовал, как надал маштак и почти под самым брюхом стала ложиться не успевающая даже вздрагивать трава. Ветер, тепло и ласково дувший в затылок, вдруг перестал, не в силах обгонять.

Точно скошенного быстротой, сорвало и унесло назад бежавшего рядом по траве, ухмылявшегося и все напоминавшего про архиерея.

Теперь на всем свете была только уносившаяся впереди повозка, из-под колес которой рвалась пыль, не успевая подниматься и бешено крутясь длинными жгутами над самой дорогой.

Михайлов впился в повозку маленькими, сузившимися глазками, чтобы не оторваться, чувствуя, как шатает его, бросая взад и впе-

ред, скок тяжело дышащей лошади, как сокращается расстояние, как отчетливей видны колеса и вскидываемые задние копыта скачущей на привязи лошади.

Мужик уже не сидит, свесив ноги в запыленных сапогах, а стоит на коленях в передке, и в воздухе кругами свистят оборванные вожжи, с размаху ложась полосами по лошади. Видна его широкая спина в ситцевой рубаше, которая как бы говорит: «Ну, что же, я свое делаю, вы – свое». И никак ясно не вспомнит Михайлов его лица: «Никак, рыжий?..» Другой, тот, что спал тогда, прикорнул, теперь сидит, протянув в стороны обе руки и держась за грядки повозки, и на Михайлова наивно, по-ребячьи глядит запыленный затылок и натянутый на него, такой же занесенный пылью картуз и прыгающая от тряски спина. И этот занесенный пылью, прыгающий картуз и прыгающая спина как бы тоже говорят: «Я тоже свое делаю, вы – свое...» «Молодой али старый?.. Ах, т-ты!..» – Только бы наддать, только бы доскакать, заглянуть ему в лицо. Ближе, ближе.

Теперь все выскакали на дорогу. Слева у

себя под локтем слышит Михайлов – горячим сапом обдает. По вершкам выдвигается шатающаяся взад и вперед вытянутая лошадиная голова с выпученными глазами, с вывертывающимися красными ноздрями... челка, уши с капельками пота, все больше и больше в такт колышущаяся грива и на гриве совсем припавшее к ней молодое, безусое лицо казачка, без злобы, без ненависти, – он на *тех* и не смотрит, – а лишь с одним непотухающим желанием обскакать всех: лошадь у него добрая, на ней пойдет служить.

Справа тоже выдвигается лошадиная голова, шея. Краснорожий снохач, широко расставив ноги и локти, от времени до времени поднимает руки, все лицо злобно перекашивается, и на голову лошади глухо опускается тяжелый кол. Лошадь крутит головой и рвется из последних сил.

Старичок, с длинной седой бородой, скачет за ним и шамкает:

– Я... ввас... постой!.. Погодь... ахх ты!.. Погодь... зараз...

Он просит, молит, чтобы подождали, что он сейчас справится, сейчас придвинется...

протягивает шкворень... сейчас, сейчас... Стар, задыхается, и лошадь надорвалась, того гляди упадет... «Зараз, зараз...» – все будет по-хорошему, и не надо будет на старости лет так трястись и мучиться, только придвинуться, только бы достать шкворнем быстро уходящих в повозке, эту широкую спину в ситцевой рубаше, этот наивно глядящий, прыгающий от тряски, натянутый на серый от пыли затылок картуз.

Михайлов чувствует: маштак начинает сдавать. Сгрудились, выскакали на дорогу и стали обходить его.

«Ах, не успею!..»

Он взглядывает вперед, и глаза радостно заблестали. Михайлов толкает вытягивающегося под ним коня, постепенно сбивая его на траву, и скачет в сторону наискось...

«Ах, уйдут... Ах, не успею!..»

Он впивается глазами в ложбинку впереди, пестреющую цветами, цепко держится за нее, пока она не мелькнула под лошадью; цепляется за бугорок, быстро бегущий навстречу, и, когда поднимает глаза, видит: в нескольких саженьях, взрывая жгутами пыль,

катится повозка, но какая-то иная, в чем-то переменившаяся; чего-то недостает. Сзади – пестреющим пятном мгновенное впечатление скачущих по сделавшей петлю дороге.

– Родимый, выноси!..

Широкая спина – одна на повозке, картуз, так же наивно прилегая, скачет сбоку и немного впереди на отвязанной лошади. А рыжий уже не хлещет лошадей, а наклонившись, быстро дергает рукой и взмыленный круп коренника кровавится извилисто-неровно сбегающими полосками, – колет ножом. Лошади в ужасе, белые от мыла, храпя, прижав уши, рвутся из сбруи, и сорванная безумно-встречным ветром пена клочьями лепит в морду маштаку, лицо, бороду и грудь Михайлову.

И этот ужас рвущихся лошадей охватывает и Михайлова.

«Уйдут... Ох, уйдут!..»

Он опускает на секунду глаза на мелькающую траву, как бы давая маштаку возможность собраться с последними силами, и вдруг мимо назад странно неподвижно, не поднимая пыли, проносится возле пустая, без

лошадей, повозка, а впереди сейчас же за мордой маштака шатается от скока широкая спина над окровавленно-взмыленным крупом, по бокам уродливо треплются обрезанные гужи, и волочится по траве сбившаяся шлея.

– Ай-ай-ай-ай!.. – кричит Михайлов обрвавшимся тонким бабьим голосом.

Но уже быстро выдвигается сбоку вытянутая лошадиная шея, потом молодое, без злобы, все захваченное скачкой безусое лицо казака, спеет... ближе, ближе, и... толкает круп мокрой от пота лошадиной грудью.

Серый от пыли картуз переворачивается, и на секунду на Михайлова взглядывает не то ребячье, не то старичка с реденькой бородкой, полное не испуга, а удивления лицо, которое как бы спрашивает: «А?.. Уже?..»

И с изумительной яркостью проносящейся картиной вспыхивает перед Михайловым свежее утро с поднимающимся солнцем над зеленеющим лугом... что-то сверлит в ясной утренней дали... и твердое решение: «Нет, и не скажу...» А рядом бежит запыхавшийся, нагнавший: «Хо-хо-хо... ха-ха-ха!.. Архиерей...

праведная жизнь... до шестнадцати годов девки... ха-ха-ха-ха!..»

Всею спиной отваливается назад Михайлов, натягивая повод, и маштак садится, крутя головой, на задние ноги.

Незнакомым звериным голосом Михайлов ревет:

– Сто-ой!.. Ня тро-ожь... братцы!.. Ня трожь!.. Братцы, ня трожь!.. Братцы, братцы, бра-атцы!!.

Михайлов скатывается, как сорвавшийся тяжелый мешок, с лошади и кидается с искаженным лицом к огромному, уродливо ворочающемуся по лугу кому, над которым судорожно взметываются руки, колья, шкворни...

– Братцы... братцы... братцы!..

Но уже расступились, тяжело дыша, отирая горячие, потные, удовлетворенные лица, и на примятой, утопанной траве два кровавых мяса.

Лошадь со сломанной ногой лежит, то протягивая по траве, то поднимая шею, пытаться встать.

Михайлов хватается за голову и, сдавливая, точно она готова раскочиться, идет

прочь без шапки, путаясь в траве, качаясь, как от невыносимой зубной боли.

– ...А-а-а-а!..

Мерин стоит уже спокойнее, нося боками, долго смотрит в удаляющуюся спину хозяина, тяжело вздыхает, нюхает лежащую на траве шапку, медленно поворачивает голову направо, потом налево, опять смотрит на удаляющуюся знакомую грузную фигуру и, нехотя сорвав сочный пахучий клочок травы и не жуя, роняя и раздумчиво шевеля нижней губой, лениво идет за хозяином, дескать: «Ну, что ж!..», на минутку приостанавливаясь и ударом копыта сгоняя с мокрого от пота пуза назойливо липнущих мух.

У холодного моря

Нас было шестеро.

Высокий, черный, с острой бородкой клинком, в мягкой шляпе, очень похожий на француза или на итальянца, бывший студент технологического института. Красавец – и когда пел басом, под окнами толпой собирались слушатели.

Небольшого роста, коренастый, рябой, с серыми глазами, в которых искрились задор и насмешка, рабочий, ткач, с одной из фабрик центральной России. И у него жена – простое круглое лицо. И когда на нее смотришь – на душе просто, спокойно и ясно. Если б мужа вели на казнь, она пошла бы вместе в петлю так же просто и спокойно, как шла развешивать белье на дворе или в кухню готовить на всю нашу братию обед.

Четвертый – барин, с тонкими, аристократическими чертами, всегда корректно, изысканно одетый, необыкновенно изящный, человек с огненной речью, но сквозь очки глядели крохотные, подслеповатые, почти свиные глазки, и это портило красивое лицо. Мы

звали его Патрицием.

Пятая... что сказать? Коса по спине, карие глаза, стройно охватывающий кожаный пояс. Как часы таинственного мастера с чудесной мелодией и с маятником, на полувзмахе остановившимся. Куда-то мимо нас глядела она со спокойно-невозмутимым лицом, куда-то мимо той жизни, которою мы жили. А может быть, никакой и мелодии не было, и мы напрасно ждали, – все равно маятник был неподвижен, и мы ничего не знали.

Да и все мы – как остановившиеся на ходу часы. Наши сердца, мысли, чувства оборвались, замерли, когда нас вырвали из родной обстановки, из родных городов, от семей, от деятельности, от милой товарищеской среды, от всего уклада торопливой, молодой, бурливой жизни. Мы ходили, смеялись, работали, бывали и столкновения, мирились, но все это было пока, временно, точно настоящее остановилось, замерло под слоем повседневных неизбежных мыслей, забот и дел, замерло в молчаливо-напряженном ожидании, когда снова пойдет качаться маятник настоящей, цельной, полной жизни.

Шестой...

Шестой – это я.

В моих жилах несомненно течет древняя скифская кровь. Иначе отчего же я так тоскую по милым степям, без предела и границ раскинувшимся в сухой и жаркой дымке, кругом облегающей? И небо так же без предела и границ раскинулось, подернутое неуловимо-сухой, горячей дымкой.

Да, скифская-то скифская, но когда я гляжу в зеркало, оттуда глядят на меня широчайшие скулы самого недвусмысленного татарского или калмыцкого происхождения и расевшийся между скулами необузданных размеров нос. И я, сдвинув брови, отворачиваюсь от зеркала – нет, никогда никто меня не сможет полюбить.

Я отворачиваюсь и иду работать – у нас столярная мастерская. Визжит пила, свистит рубанок, но без песен сумрачно, и обыкновенно за работой мы наперебой заливаемся, как чижы. Или, подымаясь к себе на чердак, который почему-то все звали мезонином, где моя комната, и, заперев двери, тайно пишу, а чаще подхожу к окну и сумрачно гляжу в туск-

лые стекла.

Отсюда виден весь громадный город – в нем полторы тысячи жителей, одна улица, два переулка и густо и сочно поросшая травой площадь, и он весь – из старого, прогнившего дерева. Деревянные провалившиеся, почернелые крыши, почернелые срубы домов, деревянные с выпавшими досками тротуары, деревянная колокольня, темненькая церковка, потемнелый деревянный острог.

Точно старый, проросший, обомшевший черный гриб.

А за городом могучая северная река несет полные воды и верстах в двадцати смешивает с тяжелыми холодными водами океана.

Оттуда приходят к нам косматые метели, оттуда дышат даже иногда летом морозы – и осыпается листва, и никнет побелевшая трава.

И океан, тяжело вздымаясь изо дня в день, стихийно дышит. Дважды в сутки вздымается он, неизмеримый, и шумные воды буйной толпой устремляются вверх по реке, – река несется всей массой воды от устья к истокам своим, затопляя и переполняя берега, как в

половодье. А через шесть часов спадает грудь гиганта, и с неохватимой скоростью устремляются воды в океан, а по реке обнаруживаются мели, топи, песчаные косы до следующего вздоха. Так каждый день, годы, века, так тысячелетия от мироздания.

По ту сторону реки – угрюмо темнеющие леса, без конца и края, без человеческого жилья, лишь холодные болота под низко, сумрачно нависшими мохнатыми ветвями.

По эту сторону – от века молчащая под вечно холодной, сырою мглой тундра...

Нет, никогда меня никто не полюбит...

Все равно, как бы там ни было, когда мы собирались, шел оживленный разговор, рассказывали, читали, спорили. Два раза в неделю кто-нибудь бегал на почту, притаскивал ворох газет, и за чаем читали вслух. Потом расходились по своим комнатам или работали в мастерской.

И каждый по-своему. Наш «француз» набрасывался на все горячо, с азартом. С визгом ходил рубанок, сыпались из-под пилы тучи опилок, резко летела под ударами щепка из-

под стамесок, стон стоял в мастерской. Француз был страшно серьезен, сосредоточен и терпеть не мог, когда ему мешали. После всеохватывающей страстной работы оказывалось, что дыры пробиты не там, где нужно, шипы поотпилены, доски поколоты и никуда не годятся. Рубанок, пила, стамески летят в разные стороны. Француз взволнованно кричит, что это черт знает что такое, волнуется и кричит так, как будто все кругом виноваты, а не он; и товарищи, посмеиваясь, мягко уговаривают, как будто действительно виноват кто-то другой. Француз все забрасывает, идет к себе, заваливается на кровать и начинает читать без отдыха напролет дни и ночи.

Патриций работал по-аристократически. На юридическом факультете, откуда он был изъят, не преподавалась ни одна из наук ремесленного труда, и тем не менее он работал артистически, но все внимание, всю энергию направлял на безделушки. И за работой изысканно и безукоризненно одетый в противоположность нам, лохматым, в золотом пенсне, он целыми днями возился над какой-нибудь шкатулочкой или резной полочкой. Сделает,

поставит на высоком месте и любитесь действительна тонкой, артистической работой, и нас подводит и заставляет любоваться, а потом отдыхает и читает свои многочисленные книги по юридическим и общественным наукам.

Я работал на совесть и брал трудные и новые работы. Выучился хорошо делать изящные стулья, научился прекрасно оклеивать фанерой, шлифовать, точить на токарном станке, но как только овладевал новой работой и приобретал навык и практику, работа становилась постылой, и я искал другой. А так как новизны было мало, то я уходил к себе в мезонин, где тайно писал.

Женщины в мастерской не работали.

Оставался Основа. Его хриповатый, козлиный и необыкновенно сильный тенор с утра и до ночи в стук, визге и громе инструментов носился по мастерской:

*Услы-ша-ли та-та-ры,
Ну, ду-ма-ют, не трусь,
На-де-ли ша-ро-ва-ры
И дви-ну-лись на Русь!..*

Голос его так отчаянно-заразительно раз-

носился по мастерской, что мы не выдерживали и дружно подхватывали:

*...На-де-ли ша-ро-ва-ры
И дви-ну-лись на Русь!*

А когда всех покрывал великолепный бас Француза, под окнами останавливались слушать импровизированный хор.

Но петь-то все пели, а работал почти один Основа, между тем заработок мастерской составлял около сорока процентов нашего общего бюджета.

Странные отношения у нас с ним были. Мы все его горячо любили и искренно ценили. В мастерской он у нас был царь и бог. Бывало, напорешь чепухи, изведешь лесу, который, конечно, стоил денег, и стоишь в недоумении и отчаянии над каким-нибудь комодом, который похож не на комод, а на беременную свинью.

Основа быстро вскинет серыми глазами, как будто невзначай – подойдет, мягко возьмет пилу или рубанок:

– Нет, тут вот, видите, немножко нужно подрезать...

И подрежет, спилит, подгонит – глядь, а уж это не свинья, а настоящий комод. И все это мягко, любовно, незаметно, точно все это ты сам сделал, а не показывали, не учили тебя.

И все-таки стоишь перед ним дурак дураком. Ткач он был по профессии и, когда прислали сюда, рубанка не умел взять в руки. Через три-четыре месяца это был превосходный столяр. Никто ему не показывал, никто не учил, до всего доходил сметкой. И сметлив же был! Удивительная инициатива и находчивость!

За то, что в мастерской мы чувствовали себя перед ним идиотами и дураками, жестоко мстили, конечно бессознательно.

Вечерами, после чая, все вместе что-нибудь читали. Одно время перечитывали Маркса, а вообще – по общественным и политико-экономическим вопросам. И надо было видеть эти широко открытые серые глаза, с упорным вниманием и в то же время робко глядевшие на читающего.

Он молчаливо признавал наше превосходство, и мы так же молчаливо соглашались с этим признанием, – и это было сладкой для

нас мезтью. Он очень много читал и еще больше думал, но по какому бы теоретическому вопросу ни заговаривал, все это невольнo и молча признавалось нами книжным, взятым из чужих рук, мы же то же самое умели блестяще и ловко излагать, точно до всего дошли своим умом. И он невольнo пред этим преклонялся.

День, заполненный разговорами, движением, суетностью забот, кончается; мы расходимся по своим комнатам, и начинается то, настоящее, что молчаливо ждало.

Тускло глядит мертвым глазом бесконечно долгая северная ночь.

И льют ли беспредельные черные осенние дожди, носятся ли, изгибаясь и белея, метели, разговаривают в трубе, раскалывают бревна в срубе, приникая безжизненным призрачно-фосфорическим лицом к морозным стеклам, все равно в комнате – одиночество, молчаливо прислушивающееся к остановившимся часам жизни с замершим на полувзмахе маятником. И весь день стоит налицо – печальный, задумчивый, ибо не настоящее он.

И нет любви, нет радости, не бьется навстречу счастью сердце.

Сон бежит от очей, только визг и вой просящейся в комнату метели.

Долга ночь!..

А завтра опять...

Мы жили колонией, но был в городке у нас и еще товарищ.

На большой площади, где стояла церковь и паслись лошади и гуси, жила Александра Ивановна Печурина. Жила она в мезонине, и когда приходили к ней, было в ее комнатке как-то особенно уютно, чисто и светло.

Встречала ласковой сдержанной улыбкой, точно была рада, и отдавала товарищам всю душу, но только, так сказать, в общественной сфере. Было что-то у нее интимное и особенное за тонкой перегородкой сдержанности, куда мы не умели да и не пытались проникнуть.

Белая, высокая, крепкая, чуть дородная, с каштановыми свернутыми волосами и открытым русским, как рисуют боярынь на старинных картинах, лицом и говорила нарас-

пев, северным говором.

Когда встречались с ней, говорили, смеялись и позади обыкновенных слов, жестов и звука голоса вставляли непроизносимые, молчаливые, дремлющие, но никогда не тухнущие слова любви и счастья, – ее спокойные, ясные серые глаза мягко и с затаенной ласковостью говорили: «Нет».

Она была замужем, но мужа ее сослали в Якутск, а ее сюда.

Внизу жил хозяин с большой семьей и большой благообразной седеющей бородой. Он был богобоязнен, не пропуская, каждый праздник ставил во время службы перед ликом спасителя и божией матери толстые, на зависть и удивление всем, свечи; дома любил тишину, порядок и чистоту и не отпускал ни одной работницы, не наградив ребенком. Вел большую и разнообразную торговлю и торговал, когда приходили к нему в лавку, честно, не запрашивая лишнего, а самоедов, привозивших оленину, морошку, меха, и поморов, доставлявших рыбу, беспощадно спаивал и брал за гроши то, что стоило десятки рублей.

К Александре Ивановне, как и ко всем нам,

относился с величайшим уважением. Во-первых, Александра Ивановна всегда аккуратно платила за квартиру, и, во-вторых, мы, мужчины, никогда не засиживались у нее одни допоздна, – хозяин не знал, что она замужем, и называл барышней.

– Вот, – говорил он при встрече, низко снимая свой нахлобученный картуз, – опять нонче уголовные свой профит оказали: замок висячий в три фунта весом на амбаре у батюшки сломали. Без образования и без совести. Я так полагаю, что вас правительство сюда присылает на поучение: дескать, пуцай народ обучается, как правильно, по-божески надо жить, а уголовных ссылает тоже на поучение: вот, дескать, какие есть мошенники на свете... Одного только не одобряю...

И, стараясь смягчить осуждение и поглаживая патриаршую бороду, говорил наклоняясь:

– Таинства брака многие из ваших отрекаются и живут гражданственным сожитием, – одно пятнышко на белизне вашей.

К нему, как и к большинству обывателей, замкнувшихся в крепком, раз навсегда за-

стывшем укладе, который, казалось, ничем никогда не разбить, мы относились сдержанно, официально. Все у нас было иное – и небо, и солнце, и говор леса, и весь душевный мир, из которого строится жизнь.

Мы приглашали Александру Ивановну жить вместе, но она мягко отказалась и поселилась отдельно. Мы виделись часто – то заходили к ней, то она к нам.

Но профессии она была акушерка и, хотя практиковать ей не позволяли, шла к бабам по первому зову, и ее очень любили.

Из-под низко надвинутого темного картонного абажура кругло и резко падает на стол желтым пятном свет на разбросанную бумагу, карандаши, на высунувшийся из темноты угол книги.

Подымаешь глаза – на темном потолке дрожит маленький кружочек над лампой, опускаешь – у стола желтеют три наклонившихся лица, и непокорно выбивающиеся волосы обвивают наклоненную головку со сбегавшей назад косой. Тихонько шьет, слушая. Поодаль смутно белеет фигура Александры Ивановны, и неясным силуэтом чудится в

сторонке, согнувшись, Варвара – беззвучно, почти не шевелясь, чистит картошку к ужину.

– «...Как олень жаждет свежей воды в пустыне, так капиталист жаждет прибавочной стоимости...» – Патриций читает красивым, отчетливым голосом, и очки его поблескивают при движениях.

И я гляжу на него во все глаза – он, искривившись и покачнувшись, тускнеет, расплывается... Звенит ветер, звенит весенний пахучий ветер над далеким степным привольем... По степным речкам белеют слободы и хутора... Кричат пролетные птицы... Люди с грубо загорелыми лицами живут своей особенной простой и жестокой жизнью, как и эти птицы... И я им говорю...

«...Централизация средств производства и обобществление труда достигают напряжения, при котором капиталистическая оболочка не выдерживает. Она лопаается. Бьет час капиталистической частной собственности. Экспроприаторы экспроприируются...»

...Я им говорю, говорю вне всяких программ и партий: протяните руку только... и

какая чудесная, прекрасная жизнь может быть... какая чудесная, прекрасная страна, благословенная хлебом, виноградом, скотом – всем, что может дать земля и небо! И я с радостью, почти со слезами хожу за ними и твержу одно и то же в восторженном ожидании, что вдруг все поймется, все перевернется и засияет неизведанным счастьем человеческая жизнь... А они, нагнувшись, копаются в черной земле, и солнце раскаленно жжет их спины, и надвигается пустыня, засыпая пашни, сады, высыхающие реки, и стоит тяжелым угаром все та же звериная, пьяная старая жизнь...

В темноте комнаты, с колеблющимся желтым кружком на потолке, водворилось молчание. Я встряхиваю головой и подозрительно-торопливо оббегаю всех – не заметили ли мою дремоту. Все сосредоточенно думают, вероятно о прочитанном, и на меня не глядят. Только Аня бегло блеснула лукавым взглядом и опять шьет. Патриций протирает очки, потом спокойный голос его опять звучит.

И я напряженно караулю себя, не давая воли воображению, не давая уходить мысли.

Но опять Патриций расплывается, и я с усилием стараюсь собрать его черты вместе. Какое-то проклятие тяготеет над моим мозгом, который не умеет долго сосредоточиться ни на чем и растекается мечтаниями, смутными, неясными. Быть может, это тяжкое проклятие детства и юности, растленных и проклятых школой.

И, заслоня Патриция, звук его голоса и могучее содержание книги, встает гимназия белым, врезавшимся на всю жизнь в память зданием, встает бесконечно-длинным, неуклюжим, приземистым каменным сараем университет. Я приехал туда истинным дикарем и пошехонцем и привез тяжелый камень неостывающей ненависти к учителям – наставникам жизни, и увез холодное отчуждение от профессоров – наставников науки, и равнодушие к университету, слившемуся в памяти с каменным длинным сараем.

– Я не знаю большей поэзии, не знаю грандиознейших образов, чем у этого великана, – вспыхивает Француз.

Белое здание гимназии, приземистый сарай университета пугливо пропадают, и я на-

стороживаю уши.

– ...И имейте в виду, он орудует отвлеченными понятиями, как бронзой, отливая их в чудовищные по выпуклости и невытравимости формы. – И Патриций, уверенно сверкнув очками, переворачивает страницу и набирает воздуху, чтобы начать новый период.

И вдруг в тишине:

– Да, всегда так... всегда и при всяких условиях барство найдет себе место.

Кто это? Чей незнакомый голос в темной комнате?

Я подымаю глаза, лица ее не видно, она откинулась в тень. Только низом из-под абажура свет падает на стройно выбегающий из кожаного пояса темный стан.

Мы все чувствуем, что это совсем из другой оперы и не имеет никакого отношения к тому, что сейчас делаем, над чем думаем, что волнует.

– То есть что вы хотите сказать? – чеканно звучит голос Патриция.

– Какое это все имеет отношение? – вспыскивает Француз.

Я выжидательно молчу, стараясь уловить

в темноте ее лицо. Основа свернулся в свою улитку отчуждения и несмелости, что делает каждый раз, как мы схватываемся в споре. Белея, молча ложатся возле Варвары одна за одной очищенные картофелины. Смутно-неподвижна в стороне фигура Александры Ивановны.

– Барство, да!.. Мы не имеем права это делать...

– Выражайтесь яснее. Нельзя бросать обвинение с легкостью наивности... – захлебывается Француз.

– Да, и чтоб логика не страдала. – И Патриций насмешливо и ядовито слегка играет бременом золотой цепочки.

А ее голос так же беспощадно:

– Там мы вносили барство даже в нашу работу, в наши отношения к рабочему, к крестьянину, тут – в отношения между собою. Мы получаем деньги из дому и отдаем на расходы, не ударив пальца о палец, а Основа, наш же товарищ, член нашей товарищеской семьи, бьется в работе в мастерской с раннего утра до поздней ночи, отдает свои силы, свой труд... Вон, руки у него все в мозолях.

Все вскакивают, и темнота комнаты наполняется взволнованными, сердитыми шагами. Только на потолке невинно дрожит и колеблется маленький кружок от лампы да на столе, на бумагах, на книге углом лежит яркое желтое пятно, и от этого кругом еще темней, и все заполняется возбужденными и беспорядочными голосами.

– Вы не имеете права так ставить вопрос...

– Мы не профессионалы... Работаем, как умеем...

– Да вы сами-то заглядываете в кухню?..

Или Варвара есть...

– Перестаньте... да будет... Ну, о чем разговаривать... ей-богу, вот вздумали!.. – мечется Основа от одного к другому.

Ее лицо также в тени, только еще больше наклонилось над шитьем.

Варвара вступается.

– Ну, еще чего нужно, еще чего выдумали! Не дам ни за что...

Гневные шаги, голоса мечутся по темной комнате.

Мы ее почти ненавидим, эту стройную девушку, лица которой почему-то никак не

представишь в темноте, ненавидим не столько за сказанное ею, сколько за то только что сказанное нами самими, – ведь она нас всех обшивает и работает не меньше Варвары.

Чтение, конечно, расстроилось, а у нас поохрипли голоса.

Поздно, когда за стенами весь мир непробудно спит, мы одеваемся с Французом и выходим немного пройтись.

Чудесно хрустит синевато сверкающий мириадами блестков снег. Небо, так же морозно-сверкающее, кажется тоже хрустит под бесплотными шагами. А из-за горизонта, таинственно дыша проносящимся по небу, как бесплотный дым, неведомым дыханием, встает странная игра холодных огней северного сияния.

– Я не понимаю, – говорит Француз, крупно шагая, чтобы согреться, – не понимаю, чего ей нужно. Когда приехала, откровенно говоря, я был рад... Женщина согревает и освещает жизнь... А теперь черт знает что такое!.. Я ее терпеть не могу!

Я гляжу на его благородный правильный профиль с черной эспаньолкой. Да, он краса-

вещ. Вздыхаю, и мы идем молча рядом.

– А ночь-то, ночь божественная... Трите, трите нос! побелел... Ну, и морозище...

Да, идет какая-то борьба у нас с этой девушкой странная и нелепая. Отношения самые товарищеские: смеемся, говорим, читаем, поем, но постоянно подкарауливаем, в спорах отпускаем шпильки. Ловкая и изворотливая, она всегда старается поставить нас в нелепое, смешное положение, а мы платим ей тем же, и под пеплом обыденных разговоров и отношений всегда таится пламя готового вспыхнуть раздражения.

Впрочем, все равно – маятник все в том же замершем на полувзмахе положении, и, быть может, это только фальсификация жизни.

У меня есть спасение. Я незаметно прокрадываюсь к себе на мезонин, тщательно запираю дверь на ключ, сажусь к столу, вытаскиваю спрятанную рукопись и начинаю писать.

Ах, как трудно!.. Как трудно мелькающие, колеблющиеся, зыблущиеся образы схватить словами, запечатлеть на бумаге. Нежные, в тающих красках, живые – они осыпаются, как

крылышки мотылька, при прикосновении к холодному белому полю бумаги, ложась на него неровным, извилистым, мертво чернеющим почерком.

И все-таки я не могу оторваться. Жизнь среди этого тонко мелькающего, эфемерного, тающего и вспыхивающего царства картин и образов, так же неверных, как неуловимо дрожащее марево на горизонте, словно пьянящий напиток, дает сладкую муку – и, вкусив, не оторвешься.

Кусочек по кусочку, капля по капле, тщателью скрывая свою тайну от товарищей, многие месяцы я бьюсь над рассказом. И когда осторожно крадусь по лестнице на чердак, чтобы писать, сердце бьется, словно пробираюсь на свидание.

И только одно – только б никто не проник в моя святая святых.

С Патрицием что-то неладно. Он задумчив, угрюм, уходит куда-то надолго, в мастерской работает молча. Мы деликатно обходим, не лезем с расспросами, а он ничего не говорит, но, кажется, и без того всем ясно – Александра

Ивановна.

При воспоминании о ней у меня больно сжимается сердце. Как-то в разговоре, желая купить ее тонкостью наблюдательности и оригинальностью суждений, я сказал, что мы, как часы, которые насильственно остановили.

А она, спокойно и ясно улыбаясь:

– Да, за исключением Основы, – он не часы, а человек, и всегда живет.

Чтобы не одному проглотить пилюлю, я рассказал товарищам. Патриций насупился и молча вышел из комнаты. Француз накинулся на меня:

– Это уж вы целиком на свой счет принимайте.

Аня неудержимо и весело хохотала.

На наших чтениях было всегда шумно и весело. Патриций веско и наставительно делал замечания, Француз страстно спорил; Основа приводил примеры из своей практики и жизни рабочих; Аня наивно и искренно спрашивала разъяснений; я, делая вид, что слушаю, думал о поездке на оленях в тундру, а Александра Ивановна слушала молча, опу-

стив глаза, не принимая никакого участия.

Казалось, она или не интересуется, или не понимает. Но нередко, много спустя, когда мы уже забывали о прочитанном, она ставила вопрос или делала замечание, такое дельное и меткое, что мы невольно возвращались к прочитанному и пересматривали свои выводы и впечатления.

Тайна, которая упруго и призрачно окружает самое существо женщины, усугублялась около нее чем-то неуловимым и неразгаданным. Мы давно повеяли друг другу, кто что делал на воле, как и за что попал сюда, а она ни слова не обронила и не то чтоб скрывала, а просто так выходило, что не было случая. Из писем же мы знали, что она была большой спокойный работник, всегда бравший на себя самое ответственное дело.

Бедный Патриций!..

Время идет. Тронулась зима. Потянулись через холодный, тяжело шумящий океан рыдающие метели в неведомые околополярные страны, оставив нам рыхлые, осевшие, проваливающиеся снега, почернелые по дорогам и

улице, и солнце с каждым днем все дольше и дольше ходит над домами.

Солнце, чудесное весеннее солнце! Правда, нежное и слабое, как хрупкая, бледная женщина с просвечивающими жилками, не то солнце, что буйно разметалось над далекими родными степями, от которого стучит кровь в висках, толчками бьется сердце и не хватает короткого дыхания. Но все равно: оно светит бледной улыбкой, оно любит землю, и земля, тихонько и не спуская глаз, тянется навстречу.

С кряхтением, шипя и осыпаясь, тяжело переворачиваясь, неуклюжими толпами продвигаются льдины в изгнание в океан, к отцу своему, восседающему на побелевшем троне предвечного холода И уходит с ними ропот зимы и тяжело колышущийся ледяной туман.

Уже поднялся из-под воды почернелый, илистый луг. И уже на другой день он изумрудно зелен буйной зеленью.

Бледно северное солнце, слабы его ласки, но, быть может, нигде не могуче так материнство его, как на севере. Бледны ласки его, но почти целый день ходит оно над землей, от-

давая их ей... И каждая травинка, каждый стебелек, каждый листочек жадно спешат упиться ими.

На глазах человека лопаются почки и, вздрагивая, разворачиваются клейко-смятые лепестки. И травы скачками прибавляют рост свой, и, сегодня голые, завтра шумят листвою березы.

Целыми часами простаивали мы над рекой, над зазеленевшим лугом, а сверху бесчисленные стаи тянули дальше на север, и неся оттуда таинственный и непонятный говор.

Француз почти каждый вечер исчезает и на другой день с помятым, сумрачным лицом смотрит вкось, мимо, не встречаясь, с нашими глазами.

Мы понимаем. Ведь всего двадцать тридцать четыре года. Кровь бунтует и бьется в горячих висках тяжелой, густой, как жидкий свинец, волной, но как не хочется, как мучительно не хочется идти туда, где светлый призрак любви и счастья волочится в позоре купли и продажи.

Не во имя морали и велений нравственно-

сти – нет, для меня они не повелительны, и в моем прошлом я уже знаю все, – нет, а во имя счастья, светлого, омытого слезами, не омраченного поздним раскаянием и нестираемым воспоминанием купленного тела счастья.

Только счастья!..

Еще маленьким мальчиком я думал о том, я ждал того, что называется счастьем. Тогда, в то далекое чудесное время, я, замирая, ждал небольшой живой лошади, белой, с черной челкой и черными щетками на ногах, маленькой живой лошадки, которую мне обещал купить отец для верховой езды. И раз, проснувшись ночью, я ясно, отчетливо, своими собственными глазами в темном углу, где стоял платяной шкаф, увидел белый круп и изогнутую лебединую шею настоящей живой лошадки. Я сидел, полуприподнявшись, уцепившись за края кровати, и глядел. Потом лошадка расплылась, как сон, и была только темнота. Долго после того я просил разбудить меня среди ночи, чтобы еще раз увидеть, но меня не будили, говорили – будет голова болеть от бессонницы, а сам не умел проснуться.

Когда сравнялось одиннадцать лет, я часто глядел с горы на полотно и на станцию железной дороги, где виднелись крыши в длинных вереницах вагонов. Посвистывали паровозы, таяли белые клубки дыма. Я глядел, – поезд, становясь все меньше, все короче, черточкой пропадал на исчезающем за далеким поворотом полотне, и только рельсы дружно парой бежали бесконечно. Сладко томительная грусть сжимала сердце. Высшим счастьем для меня было бы уноситься с этим поездом. Куда?

По железной дороге мне приходилось ездить, но это не то. Стенки вагонов, видневшиеся сквозь стекла скамейки, диванчики – говорили о чем-то далеком, смутном, неясном, влекущем. Иные города, иные ландшафты, деревья, люди, неведомое и недоступное мне. Только вагоны, молчаливо стоявшие на путях, знали об этом и уносили в говоре колес туда счастливых.

Над губой пробился пушок – уже не мальчик, а юноша, и немеркнувшим представлением, воплотив в себе счастье, во всем обаянии встала женщина. И что бы ни говорил, что бы

ни делал, чем бы необузданно ни увлекался, – на дне души, то задремывая, то подымаясь бушующим пожаром, всегда неиссякаемо жила жажда найти, встретить ее – неведомую, осиянную ослепительным ореолом и тайной.

И быть может, эта девушка с длинной косой по спине, со смеющимися глазами, такая спокойная, то веселая, то насмешливая, быть может она напоминает, что светится, как алмазная искорка, светится оно где-то, готовое вспыхнуть и забушевать пожаром. А пока остановились часы и маятник на полувзмахе.

Но ведь я не люблю ее, эту девушку с длинной косой.

Отчего?

Отчего не придет любовь – пусть не разделенная, пусть полная муки и отчаяния, но мир бы зазвенел, но я бился бы в неисходной тоске между надеждой и отчаянием, я бы убегал в лес, я со всей страстью отдался бы творчеству, чтобы найти забвенье с тайной надеждой победить ее.

Счастье!..

Вот и пришел бесконечный день, странный и непонятный, когда тени делают пол-

ный круг около домов, когда травы, не отды- хая, растут двадцать четыре часа в сутки, ко- гда не знаешь, куда деваться от этого беско- нечного света, так нервирующего и отгоняю- щего сон. Одиннадцать часов ночи – смот- ришь, а солнце глядит во все глаза.

Книги мы свои забросили. Только в ма- стерской стоит стук, гром, визг рубанков и в открытые окна рвется отчаянный хор:

*Умре Владимир с горя, порядка не
сздав,
И тотчас начал править премуд-
рый Ярослав.
При нем хотя порядок, пожалуй,
бы и был,
Но из любви он к детям всю зем-
лю разделил...*

Часто мы уходили в реденький, корявый березнячок с влажными, ярко зеленеющими полянами и гуляли здесь.

Аня как-то сердито и капризно выговори- ла нам всем, что мы все, как старички, необыкновенно чинны и чопорны.

– Хоть бы игру какую-нибудь затеяли, – го- ворила она, поправляя упавшие на лицо во-

лосы, – бег какой-нибудь, в мяча, что ли, а то, право, так непроходимо скучно...

Француз горячо принялся за дело и артистически сшил великолепный кожаный мяч. В мастерской выстрогали палки и отправились играть в лапту. На беду, Француз позвал с собой Полкана – небольшую дворнягу, шалую и неповоротливую, которая день и ночь спала у нас в мастерской на стружках, а во время обеда сидела под столом и утаскивала, когда зазеваются, хлеб и кушанья.

Все были оживлены и веселы. Основа засучил рукава и взял палку, приготавливаясь хорошим ударом загнать мяч в поднебесье. Загудела лапта, глухой удар – и черная точка мяча скрылась в вышине. И только через минуту, далеко впереди, шумя, он слетел откуда-то с высоты и бухнулся о землю, высоко подскочив.

– Отлично!..

– Вот так удар...

– Превосходно!..

Я, Патриций, Француз побежали за мячом. Полкан нас опередил и с усилием и неуклюже взял мяч в рот и во все ноги пустился бе-

жать. Наше настроение разрушалось самым грубым образом.

– Полкан... Полканчик... хорошая собака... на-на-на!..

Мы всячески улещали его, осторожно подходя, маня, предлагая хлеба. А он, положив мяч между передними лапами, глядел на нас ласково и доверчиво. Но когда подходили, он снова неуклюже забирал мяч в рот, отбегал и опять ложился и глядел на нас.

– Убббью!.. – заревел не выдержавший Француз и как буря понесся за Полканом.

А тот, поджав хвост, торопливо забрав в распилившийся рот мяч, пустился во все ноги.

Взбешенные, мы что есть духу неслись за Французом: я, Основа с лаптой, Патриций, да же в этих исключительных обстоятельствах все такой же корректный, со слегка поднятой головой, чтоб не свалились с носа золотые очки, Аня, покрасневшаяся, с бьющейся по спине косой, приподняв юбку, а позади всех Варвара гремела чайником, который впопыхах позабыла положить.

Так мы неслись по лужайке, потом между

березками, прыгая через кочки, напрягая все силы, точно были поруганы наши священнейшие права.

Наконец Француз, задыхаясь, остановился.

– Не могу!..

Мы тоже остановились, тяжело дыша, едва переводя дух. Аня глянула на нас, упала на траву и закатилась неудержимым хохотом. И когда мы посмотрели друг на друга, на наши побледневшие, задыхающиеся лица, по которым катился пот, – раздался дружный хохот.

Это был самый веселый наш день. А всему виною Полкан. Многое ему за это простилось.

Дверь странно широко распахивается, и ко мне торопливо входит Основа. С секунду мы глядим друг на друга.

– Где железная лопата?

Такой простой вопрос, но отчего-то сердце забилося тревожными толчками.

– А?

Лицо у него землисто-серое, нижняя челюсть прыгает.

– Железная лопата... наших надо разыскать – в лес, должно, ушли.

А я уже торопливо продеваю непопадающими, дрожащими руками в рукава.

С лестницы доносится скрипуче удаляющийся шепот и голос Основы:

– Идите сейчас же к Александре Ивановне...

Я не иду – я бегу, бегу по улице, и прохожие оборачиваются на меня.

«Вздор... пустяки... ничего нет... он бы сказал...»

Огромным усилием воли сдерживаю себя, иду шагом... Нет, опять бегу, ноги несут сами, и я ничего с ними не могу поделать.

Площадь, трава, зеленое болото, пасутся лошади, гуси. Вот и большой почернелый деревянный дом. Лавка, хозяин низко снимает картуз. Сверху из мезонина глядят ее окна.

Подымаюсь по крутой, полутемной лестнице. Стучу. Оттуда: «Войдите». Отворяю дверь, сердце на мгновение успокаивается, – все, как всегда, чисто, прибрано, уютно. Только Александра Ивановна, одетая и причесанная, лежит на прибранной кровати и не подымается мне навстречу. Я жму ее горячую руку.

– Вам нездоровится?

В ту же секунду со вновь родившейся тревогой вижу, как запали в глубокой кайме ее глаза и горячечный румянец нервно пылал на щеках.

И вдруг голос ее, голос, как всегда спокойный:

– Ночью... я... родила...

Пол уходит. Смертельный холод плывет по ногам, охватывает руки, голову, проникает в сердце.

«Сошла с ума!.. сошла...» А губы, кривясь, судорожно бормочут:

– Успокойтесь... воды... выпейте воды... ничего... выпейте...

«Сошла с ума... сейчас же надо разыскать всех...»

– Я... ночью...

– Да... ничего... всё... воды...

Я поднимаю руку и притрагиваюсь к поту, который холодной росой выступил у меня на лбу.

– Боже мой... какие муки!.. Нет, я не хотела их звать... Я грызла подушку, чтоб не кричать... грызла... Вот угол, пух лезет... Только

постучать в пол... пришли бы... нет, не хотела... не хотела я их... Ах, какие боли!.. Девочка... ребенок, мой ребенок... он трепетал, трепетал на моих руках... Пуповина обвилась вокруг шейки... никак не могла распутать... Задохнулась на моих руках... Трясла... качала... всё напрасно...

Я крепко запускаю ноготь в щеку, чтобы разбудить себя, и оттуда падает капелька крови. А она шепчет:

– Девочка моя, дочка... семи месяцев... Они выживают, семимесячные... в вату, уход... Ах, как бы я смотрела за ней, за моей дочуркой...

Я все еще колеблюсь в сомнении между правдой и безумием и бегаю торопливо глазами по комнате: вот *она* на столе в углу, завернутое в разорванную белую простыню, этот странный белый сверток, от которого я не могу оторваться.

А она говорит спокойным голосом, и глаза ее блестящи и сухи:

– Пришло внезапно... ночью... Хотела позвать кого-нибудь из вас... Варвару... схватки... не в силах... невыносимо...

Потом молчание. А меня охватывает одна

мысль, которая не дает покою: как мы не заметили, как же мы ничего не заметили, и женщины?.. Ну, Аня так, а Варвара? Очевидно, она и ей ничего не сказала. Но как же мы не заметили? И по фигуре ничего не заметно было...

– Я вчера получила письмо... Очень долго шло... неожиданное... Доктор один... Мы с ним давно... Он все присматривался ко мне, такой странный... медлительный, тяжелый... а уж если решил – как железный... Пишет, эти годы думал... пишет, любит меня и без меня жить не может и не хочет... В эту ночь его уже нет, срок дал для ответа... письмо долго шло... Да и что бы я ответила ему?.. Что?..

Она опускает веки на все такие же сухие глаза, как будто ждет от меня чего-то.

Что же я ей скажу: «Успокойтесь... выпейте воды»?

Она вдруг приподнимается, опираясь на локте, чуть не с ненавистью глядя на меня, и почти кричит:

– Я люблю мужа, слышите, люблю!.. Он ждет... он ждет своего ребенка...

Чувство ужаса слабеет во мне, и я поче-

му-то считаю своею обязанностью, долгом перед этим несчастьем удержать в себе всю напряженность, всю остроту его – и не могу, точно все во мне обмякло, обвисло, и невольно назойливо две мысли толкутся в голове. Одна: «Как же это мы ничего не заметили?..» И другая: «Отчего же все... в комнате так прибрано и чисто после всего случившегося?..»

Не знаю, чутьем ли она угадала, или это было написано на моих глазах, или случайно – только она говорит:

– Я потом... когда мертвый на руках... встала... сделала, что нужно... вымыла... прибрала... оделась... Вот он лежит на стуле.

Она закрывает глаза и так лежит. Я сижу не дыша. Кто-то нервно, торопливо и больно выстукивает. Прислушиваюсь – сердце у меня стучит. У нее всё закрыты глаза. Я тихонько приподымаюсь, не шелохнув стулом, и на цыпочках, балансируя руками, пробираюсь к дверям.

Отворяю их осторожно, чтобы не скрипнули, и в последний момент, когда затворяю за собой, в суживающейся щели на меня блеснули с кровати сухим блеском глаза. Дверь без-

звучно затворилась.

В темноте прыгаю через три-четыре ступени, как будто пожар.

«Надо позвать... надо сказать... нельзя же так...» – било у меня в голове, и опять: «Но как же мы не заметили?.. Как же мы ничего не видели?..»

Я торопливо иду по площади и ловлю зубами нехватящий воздух. Кто-то окликнул. Основа. Я прошел возле и не видел.

Мы повернули. У него такое же землистое лицо и лопата в руках. Мы идем молча. Вот он, этот дом. Два окна наверху. Хозяин что-то говорит нам любезное из дверей лавки и поглаживает бороду.

Подымаемся по темной лестнице, осторожно дыша, и останавливаемся у дверей с бьющимся сердцем, – оттуда рвутся неудержимые рыдания.

– Девочка моя... дорогая моя... ребенок мой... крошка моя родная... Ты не слышишь меня, ты ведь не слышишь меня, не слышишь, не слышишь. О, мука!.. Я никогда, никогда не забуду, никогда... мое родное дитя!..

И захлебывающиеся, подавляемые, лаю-

щие, стиснутые звуки – должно быть, подушку зубами закусила. Я пытаюсь постучать в дверь, но Основа сжимает мне плечо.

– Слышишь?..

– Слышу.

– Не надо стучать.

Мы стали у двери.

– ...Деточка... девочка моя... только два раза... два разадохнула... о-о-о-о!.. Хха-ха-ха! Хха-ха-ха!..

Я осторожно стучу, и мы входим.

Александра Ивановна молчит и смотрит на нас горячечными глазами. Потом говорит:

– Возьмите... там... в лесу... где елки... похороните на бугорке...

Мы оба подходим, громко стуча сапогами, хотя идем на носках. Я протягиваю руки и беру сверток. Что-то тяжелое, как студень, ходит под пальцами. Я опускаю в плетеную сумку.

Мы идем к двери, не оглядываясь, и так же не глядя назад, закрываем дверь и останавливаемся, напряженно прислушиваясь. За дверью та же неподвижная тишина.

– Ну, пойдете.

Спускаемся, нащупывая невидимые ступени, и в сумке мертво и тяжело переваливается, как будто там налита ртуть.

Выходим. Площадь, болото, лошади, гуси. Позади молчащий дом, и два чернеющих окна провожают нас.

Основа несет лопату. Я с удивлением слышу его совсем другой голос:

– Вот... я никак... до сих пор... в себя не придду...

– А знаете... – говорю я, – бывают такие душевные явления... Многие люди видят, а на самом деле этого нет... и не проверишь – у всех одинаково... Посмотрите, на нас все смотрят...

В каждом стекле прилипли лица, руки, глаза. Баба развешивает белье, обернулась, смотрит. Сумка, что ли, особенно оттягивает руку и обращает внимание всех.

Смутно вырастает сознание: все знают, что мы несем.

В лесу Основа роет яму, роет быстро и деловито, как все, что он делает. Золотится чистый, янтарный песок, выбрасываемый лопатой.

Я сижу на пригорке. Возле – сумка с растопыренными боками. В просвете меж красных сосен сквозит неохватимо серебряная гладь озера; тысячи зеленеющих островков. Пахнет смолистыми сучьями. Тишина. Над головой сумрачно-молчаливая густота хвои.

– Надо глубже, а то собаки выроют, – говорит Основа, работая.

А я думаю с негодованием: «Чудак, словно по хозяйству в саду у себя копается».

Опускаем на дно тяжело отвисающую сумку. Песок сыплется, все выше и выше поднимаюсь в узкой яме. Сравнялось. Основа нагребаёт сухой хвоей и набрасывает сучьев, чтобы было, как кругом.

– Не надо говорить ей... Будет бегать сюда... Надо забыть место.

Но я чувствую, – у него, как и у меня, запечатлелось все до последней веточки, песчинки, и не вырвать во всю жизнь.

Потянулись сумрачные, унылые дни. Александру Ивановну мы перевели к себе. Она то неподвижно глядит в окна, то лежит на кровати, молча закинув руки под голову.

Мы ходим на цыпочках, говорим вполголо-

са, как будто в доме покойник. В мастерской не слышно голосов, только сдержанный стук инструментов.

И вот по дому проползает роковое слово, которое гнали от себя, о котором боялись думать:

– Температура подымается...

– Слышите ли, температура подымается...

Мы забираемся в дальние комнаты в углах:

– Сколько?

– Тридцать восемь.

– Что же это!..

Долго прислушиваемся к грозно и неотвратимо надвигающемуся.

Проходит мучительный день, проходит мучительная, не дающая сомкнуть глаз ночь.

И опять:

– Сколько?

– Тридцать восемь, четыре.

Вечером:

– Тридцать восемь, восемь.

– Господа, так нельзя. Это смерть идет, заражение крови.

– Необходимо доктора.

И все глаза обратились ко мне с Основой.

– Ну, разумеется, доктора, – проговорил я преувеличенно убедительно и горячо.

А Основа просто:

– Сейчас схожу.

С предосторожностями сообщили Александре Ивановне. Она посмотрела на нас спокойно и холодно.

– Не надо доктора.

– Но... Александра Ивановна, нельзя же запускать, ведь...

– Я сама знаю, акушерка... подождем.

И потянулись мучительные, удушливые часы ожидания.

– Тридцать девять.

Тогда решили позвать доктора помимо нее. Но она, очевидно, следила за нами.

– Я вам говорю – не надо доктора.

– Нет, уж как хотите, доктор необходим.

Она зло посмотрела на меня, на Основу и... расхохоталась. У меня мурашки по спине.

– Ха-ха-ха... какие благородные, какие великодушные молодые люди!.. Доктора!.. Доктор осмотрит и, конечно, спросит: «Где же ребенок?» Раз его нет, стало быть, надо подозре-

вать наличность преступления... Разы-ыщут!..
Найдутся свидетели, с радостью покажут – вы
несли что-то в лес... А если откопают, сразу
видно, ребенок родился живым... Я убила,
вы – соучастники... Вам тоже каторга... Ха-ха-
ха... молодые, благородные, великодушные
люди!..

То, что она говорила, все время сидело у
меня в глубине души смутным, несознанным
беспокойством, которое я подавлял, как толь-
ко оно шевелилось.

Основа вышел в другую комнату.

– Доктора я приведу... Насильно нужно.

Но слух ее был обострен. Приподнявшись,
злобно блестя воспаленными глазами, хрип-
ло крикнула:

– Все равно не дамся!..

Аня рванулась, обвила ее шею, спрятала
голову на ее груди и заплакала тонкими бес-
помощными, детскими слезами. Больная гла-
дила ее головку и говорила своим прежним,
успокоившимся, сдержанным голосом:

– Детка моя, родная... дорогая моя... Хоро-
шо, только немножко обождите... Я сама схо-
жу к доктору, переговорю, а потом пусть при-

ходит, лечит.

– Но, Александра Ивановна, вы взгляните, лицо у вас пылает...

– Я знаю, что делаю.

Она попросила на минутку нас выйти, собралась, потом вышла к нам, – на помертвевших щеках тлел румянец, – пожала всем руку, долго и мягко останавливая на каждом спокойно-грустные, подернутые горячечной влагой глаза.

И ушла.

Больше мы ее не видели.

Проходит час, два, три – нас охватывает неодолимое беспокойство. Бросились к доктору, – ее там не было. На старую квартиру, ко всем знакомым, во все уголки, где бывали, – никаких следов.

Провели всю ночь в поисках.

Утром Патриций, с белым лицом без очков, не сдерживая трепетания губ, проговорил:

– Надо искать... искать во что бы то ни стало... Разделимся на партии... Я – по тракту... – и ушел.

Мы разделились. Варвара и Аня должны обыскать весь прилегающий лес. Француз углубится в тундру, я – вниз по реке и по берегу губы. Основа – по деревушкам вверх по реке.

Не успели мы выйти за город, нас всех арестовали, – узнали о побеге Александры Ивановны и Патриция.

В эту же ночь Основа разобрал печку и дымовой ход и вылез на крышу. Его увидели, стащили и беспощадно избили.

Мы в своих клетушках стали бить стекла, скамьи, столы. Пришли и жестоко избили и нас.

Долго лежали мы, обмотанные тряпками, тупо-равнодушные ко всему. За стенами ругались и пели арестованные. На дворе пилили дрова. По потолку сновали тараканы, а с нар лезли и жгли клопы и вши.

Тягучие ненужные мысли тянулись, как мутная ленивая река.

Где Александра Ивановна? Может быть, тело ее уже растаскали медведи и лесные волки. Может быть, в жару и бреду мечется в какой-нибудь деревушке или отлеживается где-

нибудь в глухом углу у товарищей, или была ложная тревога, болезнь не развилась, и она сидит теперь в гудящем и постукивающем на стыках вагоне. Всюду писали, но никаких о ней сведений ни от кого не получили.

Дня через три привели Патриция – исхудалого, дикого, неузнаваемого.

Через три недели нас выпустили. Мне, Французу и Основе накинута по году, Анне и Варваре обошлось без последствий, Патрицию прибавили два года.

Потянулись дни, месяцы, с таким ощущением, точно только вчера вернулись с похорон. Но время – да будет благословенно, – время, как ржавчина, съедающая величавый подвиг сердца и позор преступлений, понемногу стирало глубокие следы разрушения жизни. Что бы ни случилось – жить надо, надо читать, думать, разговаривать, работать, смеяться и ждать счастья, и ждать свободы, и ждать счастья.

Опять зима, опять долгие-долгие ночи, простор для мыслей, тоски и скуки.

Стол, чернильница, стопка белеющей бу-

маги и начатая страничка – все ярко озаренное из-под абажура, дружелюбно смотрит на меня, в тайном союзе готовое помогать.

И нет стен, потолка, окон, дверей, – комната бесконечно раздвинулась темнотой своей, и темнота зыбко наполнилась милыми, дорогими гостями – солнце, поле, люди, смех, Красная луна, синеющий лес, милые раскинувшиеся степи, а из комнаты уцелел только кусок озаренного из-под абажура стола.

Иногда приходит черная гостья – отчаяние. Спокойно-холодной, бестрепетной рукой берет оно трепещущее сердце, тихонько все больше сжимая: никогда!..

О, какая боль!.. какая мука!..

Никогда не быть мне живым художником, творцом. Не придут на жизненный пир брачные гости моего творчества, моей фантазии. И тухнет солнце, и меркнут поля и леса, и уже нет степей, разошлись люди. В полутемноте, узко и тесно сдвинувшись, стоят стены низенькой комнатки, незряче глядит промерзшее окно, а на стол падает из-под абажура желтое пятно света, холодное, ненужное. Я хожу большими однотонными шагами из уг-

ла в угол и гляжу на мелькающие под ногами щели разошедшихся досок.

Однажды пришла другая гостья, никогда не приходившая, неожиданная.

Постучались. Я торопливо попрятал свои писания.

– Войдите.

В полуоткрывшейся двери, как в раме, стояла стройная фигура с перехватывавшим кожаным поясом.

Всегда спокойный с ней, я почему-то тут засуетился бестолково и ненужно.

– Ах, это вы!..

Она вошла в комнату, поглядывая на опустевший стол и сдерживая игравшую на губах усмешку.

– Вы не колдуете тут?

Я засмеялся ненужно и деланно и вдруг насупился и замолчал, рассерженный на самого себя. Она присела к столу, играя карандашом.

– Ужасно долго тянется время...

– А оглянетесь, пролетят годы, – утрюмо бросил я.

Помолчала.

– Читать не хочется и все валится из рук.

Сдавливая, тесно, узко и низко стояла полутемная комнатка.

– И в окна не хочется смотреть, – как мертвые глаза у мороженой рыбы.

И вдруг засмеялась, и искорки задорного девичьего смеха шаловливо забежали в глазках:

– А ведь вы пишете?.. контрабандой?..

Давно ночь. Еще в два часа потух последний отблеск зари.

Волнуясь, хожу по комнатке: читать или не читать? Кислые лица; начнут, удерживаясь, зевать; кто-нибудь скажет: «Дд-а, ничего...» А Француз, тот попрямее, брякнет: «У вас ни малейшей искры, ни малейшего дарования!..» Что же делать тогда? Как же я вернусь в свою комнату?

А вдруг Аня всплеснет руками и вскрикнет: «Да у вас талант!.. У вас огромный талант, боже мой!..» И все они ужаснутся, что жили бок о бок с таким огромным дарованием и не подозревали. И когда вернутся, будут всем рассказывать: «А мы ведь, знаете ли, были в ссылке со знаменитым писателем».

И я в необычайном волнении, с сердцем,

готовым разорваться, все быстрее и быстрее хожу по комнате, поворачиваясь в углах; в глазах мелькают освещенные на столе бумаги, а лицо разъезжается в неудержимо блаженную улыбку. Голова идет кругом, стены плывут. Я останавливаюсь передохнуть и снова начинаю качаться, как маятник, сам не замечая того, все быстрее и быстрее, до головокружения.

А те ждут: уже два раза стучали снизу в мой пол. И не подозревают, что сегодня они – судьи мои, может быть палачи мои.

Я собираю листки рукописи, тушу лампу и спускаюсь по скрипучим ступеням. На половине лестницы скрип обрывается. Зачем я иду? Зачем? Вынести на базар ненужную тайну мою?

Долго стою в темноте. Холодно. И опять спускаюсь, и опять долго стою перед дверью. Из-за нее слышны их голоса; смеются; вот заспорили; чьи-то торопливые шаги к двери. И я, чтоб не быть пойманным подслушивающим, вместо того чтобы уйти, совершенно неожиданно для себя распахиваю дверь и вхожу. Они все вокруг стола и разом загово-

рили:

– Что вы запропали?

– Я говорю – он колдует там.

– Мы думали, уж не умерли ли.

А я с натянутой улыбкой говорю:

– Я вот... вот принес... почитать вам... – и поперхнулся.

– А-а... отлично, отлично!..

– Слушаем.

– А я и не подозревал... Ну, ну, ну, читайте.

Все задвигали стульями, рассаживаются поудобнее. Потом тишина, и слышно, как бьется мое сердце – до боли.

Я разбираю листки, и они трясутся, как в лихорадке. Нет, не могу... Кладу листки на стол, а руки прячу – слишком дрожат. Товарищи, из деликатности, кто смотрит в потолок, кто в пол.

Я глотаю слюну, и вдруг чей-то чужой, совершенно незнакомый срывающийся голос отдается в пустой комнате:

– «Над заброшенным городком занимался серый день, медленно проступая белесоватыми пятнами сквозь молочную мглу сумерек отступавшей на север ночи. Он тихонько за-

брезжил неясным просветом в узорчато-морозном окне маленькой комнатке, вползая туда мутными волнами побелевшего осеннего утра. Унылые стены печально выступили из поредевших сумерек, точно только что они откуда-то вернулись.

Одинокий жилец комнаты приподнялся с кровати на локте...»

Я перевожу дух, глотаю слюну и на секунду поднимаю глаза: пять пар блестящих глаз, не моргнув, смотрят на меня – больше я ничего не вижу в крошечной тьме, нас обступающей. И опять чужой, неизвестный, но к которому я уже привык, голос продолжает с неизъяснимым отчаянием:

– «...он подошел к реке; остановился. Кругом висела темная ночь и неподвижно глядела на него загадочным взором. Вверху тихонько ползли тучи, в береговых обрывах шелестел ветер, за рекой колебались белые призраки туманов...»

Никому не нужные беспомощные детские слова мучительно долго звучат около желтого пятна лампы:

– «...Ему страстно хотелось схватить, удерж-

жать покидавшее настроение, но неуправляемую мечту не вернуть».

«И опять он остался один...»

Охрипший чужой голос оборвался, и я собираю дрожащими пальцами листки, прислушиваюсь к странно наступившей тишине и не поднимаю глаз.

«Они меня теперь презирают...»

Кто-то отодвинул стул. От белизны бумаги, на которую ярко падает свет и на которую долго смотрел, кругом темно, и я ничего не вижу.

«Они меня презирают...»

Кто-то вздохнул. Отчего? Оттого ли, что тронул рассказ, или оттого, что хочется зевнуть?

Робко поднимаю глаза, – Аня. Она смотрит на меня, не спуская глаз, должно быть насмешливо, и говорит, загадочно улыбаясь:

– Сентиментально.

И хотя жду наихудшего, это бьет меня, как острый нож.

– Да. По-моему, если тоска, – ну, пей, играй в карты, развратничай, что ли, а нечего антимонию-то разводить.

Из-под темных усов, как слоновою костью, вспыхивают у Француза белые зубы, и мы чувствуем – недолго, вероятно, остается: он этим и кончит.

– Да, с маленькими смутными настроенностями не стоит возиться, – говорит Патриций, и, как всегда, все видят и чувствуют, что так оно и есть, как он говорит. – Только определенные, резкие, тяжелые столкновения человеческих душ, откуда вырастает или катастрофа, или безмерное счастье, – только такие явления психической жизни достойны художественного внимания.

Он снял очки, протер.

Аня смеется:

– Контрабандист.

И я смеюсь.

Около Варвары в полутьме белеют подбавляемые очищенные картофелины.

Я смеюсь, смеюсь лицом, которое для всех, к которому привыкли.

– Да, пустяки... – говорю я пренебрежительно, – от нечего делать...

А то, другое лицо – которое только для меня – смертельно бледное, в судороге боли и

отчаяния кричит: «Кончено!.. все пропало!.. все напрасно... Они меня презирают... Из меня ничего не выйдет...»

Мелькнула знакомая черная гостья, просунула костлявую руку в грудь и сжала сердце, как никогда. Рванулось, забилось, затрепетало, но костлявый старушечий кулачок так и остался. «Никогда... никогда не быть мне художником!.. Творчество не для меня...»

Я тихонько, осторожно подавил вздох и глянул: серые глаза Основы ласково глядят на меня.

– Вот вы, – говорит он, – у вас эта ночь... Я тоже... вот такая же ночь, когда фабрику-то подымал. Темно. Мальчишки у меня адъютантами были, везде шныряют, бегают, все разузнают и докладывают мне. Вот прибежали, говорят, собрались рабочие возле сторешей столовой, а против них солдаты. Говорят, колоть зараз будут. Я – туда. Грома-адная толпа рабочих, против – рота. Рабочие возбуждены, кричат, по лицам бегают пламя, пожар догорает. Вдруг рота двинулась, ружья наперевес. Я кинулся, как зареву: «Как!.. братьев?.. кровь!..» После говорили – оглушил всех, а я

не помнил себя. Солдат мне в грудь штыком. Я схватился, вырвал – о камни приклад вдребезги. Должно быть, ошарашило, солдаты остановились, глядят, рабочие тоже. А я их назад осаживаю, – расходишь, товарищи... Так постепенно разошлись, и меня не успели схватить.

Мы смотрим на него, – небольшого роста, обыкновенное рябое рабочее лицо, и в этой полутемной комнатке он растет, массивный, широкий, и мы смотрим на него снизу.

– А как пришел домой, стал раздеваться...

Это голос Варвары из темноты. Она улыбается – а она редко улыбается.

– ...Стал раздеваться. «Что-то, говорит, рубаха у меня как кол...» Снял, а она вся в крове, уж и высохла. Штык-то пробил полушубок, кафтан, жилет, пуговицу расколоч, а он и не слышал.

Аня смотрит на него блестящими глазами, потом ко мне:

– Вот бы описали.

Потом, как будто не в связи, начинает сама рассказывать о своей жизни дома, в семье. Потом Француз, – о том, как вылетел из ин-

ститута.

Эта полутемная комнатка с освещенным из-под абажура столом в этот странный вечер полна тихо встающих ласковых воспоминаний. Варвара – она никогда не вступает в наши разговоры – рассказывает, как была в девках, встретила с Основой, вышла замуж, вместе работали.

Разлилась тишина. Сегодня ни споров, ни взаимного раздражения. Основа принес бунтовавший, весь в клубках, самовар. И за дымящимися стаканами и чашками опять тихо плыли воспоминания, далекие милые призраки. Только у меня по-прежнему в груди – безнадежно давящий костлявый кулачок: «Никогда!..»

Француз ходит по комнате и вдруг круто останавливается передо мной:

– А знаете что?.. – Он пристально смотрит на меня. – Вы будете писателем.

Все засмеялись.

– Он контрабандист, – смеется Аня, – он потихонечку от всех писал. Никто не подозревал, а я знала.

Удивительно экспансивная и впечатли-

тельная нация эта французская.

– Господа, а знаете, который час?

– Сколько?

– Четыре.

– Батюшки мои!.. Вот так засиделись.

– Ничего, успеете выспаться, солнце-то в одиннадцать всходит, семь часов еще.

Сразу пришла усталость и сон, и, зевая и потягиваясь, все разошлись.

Все разошлись. Я поднимаюсь к себе, – рад, что, наконец, остался один. Надо что-то обдумать, решить. Давящий кулачок в груди: «Никогда!..»

Отворил скрипнувшую дверь. Вот она, постылая комнатенка. Только мертвый глаз мороженой рыбы смотрит тускло. Нет, не могу. И я торопливо одеваюсь, спускаюсь, осторожно нажимая на скрипучие ступени, долго вожусь с затвором, чтобы не стукнуть, чтобы не услышали мой уход, и выхожу.

Густой, неколышущийся мороз, обжигая, с трудом вливается в грудь, и рассыпанно сверкающие звезды плавают сверху.

Иду по улице. Угрюмо и черно выглядыва-

ют траурные срубы, все бело кругом. Крыши, стены завалены снегом. Ни огонька, ни звука.

Мертво.

И я рад, рад этому безграничному одиночеству. Да, надо что-то обдумать, что-то взвесить и решить. Что же? словно потерял любимую женщину, и все кончено, и с тоской мечешься, с тоской и странной, глубоко теплящейся где-то неосуществимой надеждой.

В густом морозе и белизне снегов потонул сзади черным пятнышком городок, потонул, и обступил белый лес. В белом трауре неподвижны сосны. Дыхание стынет у лица.

Я иду по глубокой дороге, и плечи мои вровень со снегами.

На сотни верст ни жилья – все лес, такой же неподвижный, траурный лес. И под траурно отягченными махрово-белыми ветвями неподвижно-густая синева. Точно первозданный холод безжизненно разлился по земле, все застыло. И это безжизненно-холодное одиночество медлительно вливается в сердце, и стынут в нем и отчаяние и надежда.

«Да, так вот, решать надо... О чем же?... Аня, всегда у нее черный кожаный пояс... ко-

са до самого пояса... И Француз... всегда он зевает, когда читает Маркса... Не могу вспомнить его рожу, как пуля пулей летел за Полканом... А у Полкашки рот огромный – мяч там чуть не помещается, – и несется во все четыре ноги... Подлая собака... Да, обдумать-то надо и решить... Что я – бездарность, это решено... и они презирают меня...»

Подымаю голову, – те же смутные отягченно-белые сосны. Иду все дальше, глубоко засунув руки, втянув голову в плечи, окутанный дыханьем, и все тот же первозданный холод, все то же немое молчание.

Останавливаюсь. Хоть бы звук!.. Хоть бы тонкий живой писк... Хоть бы веточка сломилась и упала, цепляясь. Пустыня... Казалось, само недвижимое время застыло.

Из этого мертвого молчания, из этого мертвого холода робко вырастает жажда живого. И я прислушиваюсь к ней, к этой затаившейся, теплящейся где-то жизни.

Неподвижны колонны сосен, как в огромном холодном зале, но в дуплах – теплые комочки маленьких зверков. И если, проваливаясь но плечи, пройти целиком в лес, над

заваленным доверху валежником тонкой струйкой колеблется из обтаивающего снега живое дыхание, – огромный зверь сосет, свернувшись под снегом мохнатой грудой, и теплая кровь тихо пробирается, пульсируя, по жилам. Тысячи тысяч пернатых неподвижны в мохнатых ветвях, тая дымящуюся, незастывающую кровь.

Жизнь!

Я вздыхаю полной грудью, широким, свободным вздохом и поворачиваю назад. Ведь все еще впереди – годы, может быть десятки лет.

Иду широкими скрипучими шагами туда, в свою милую комнатку, с которой связано столько тайн.

И седые, махрово-белые отяжелевшие ветви отходят назад, и на их место другие, идут без конца, – далеко зашел.

А гостья? черная гостья. Ее нет. Сердце бьется свободно, радостно и ровно.

И чтобы насладиться его живым нетронутым биением, пускаюсь во весь дух по скрипучей дороге, захлебываясь густым холодным воздухом; и сосны, благословляя, осыпают ме-

ня белым оседающим инеем.

Ведь сказал же Француз: «Вы будете писателем...» – сказал же почему-то, никто его за язык не тянул, и человек он прямой и искренний. И отчего сегодняшней вечер мы провели так душевно среди милых, тихих воспоминаний? Отчего?

Лес расступается. Чернея среди снегов, темной кучкой глядит городок. Весь дымится к побелевшему небу торжественно восходящим утренним дымом, – давно встали хлопотливые хозяйки.

Наш угрюмо чернеющий дом доверху завален снегом. Я осторожно поднимаюсь по скрипучей лестнице. В дыму мороза низко и красно протянувшаяся заря глядит в окно.

Спать? О нет. Я торопливо достаю бумагу, чернила, перо. Скорее запечатлеть – и в этом неизъяснимая сладость, – запечатлеть и лес, и морозный холод, и всюду теплящуюся жизнь, и счастье, счастье, которое непременно должно прийти.

А время идет неуклонно и слепо. Ему нет дела до нашего маленького горя и бед, нет де-

ла до колоссального горя, разлитого по лицу земли.

Растаяла и с плачем ушла зима, снова загорелся день, и без устали почти двадцать четыре часа, наверстывая, ходило солнце над горизонтом, не давая спать. Потом стало меркнуть. Потухали белые ночи, и приходили глухие и черные и подолгу стояли над землей. Зеленъ и листва еще держались, но уже печальные перед концом дней своих. И на севере подымались белые туманы и подолгу стояли сплошною стеной.

– Господа, лето кончается, необходимо попиловать последний раз на лоне природы, – предложил Француз, инициатор всяких начинаний.

– Идет!..

– Прекрасно!..

– В самом деле, замуруемся опять на зиму.

Собрали провизию, наняли лодку и, дождавшись, когда прилив стал вздывать реку, погнал воду вверх и затопил все мели и илистые обнажения, оттолкнулись от берега.

Как щепку, подхватили лодку бешено несшиеся вверх по реке шумные воды, и берега

мелькали, точно с парохода. Далеко темнел лес. Городишко, чуть чернея, остался позади. И отсюда только было видно, какой он крохотный и как со всех сторон неохватимо обступили его тундры, холодные воды, темные леса.

Долго бились, чтобы пристать к тому берегу, – бешено несло вверх. Наконец величаво, темно и молча простерлись над нами вековые ветви.

Стояла торжественная, ненарушимая тишина над водою, над лесами, в холодном воздухе, над сырой мглой, облежавшей горизонт. Царила тишина строгого молчания.

И как бы в тон этому печальному молчанию, не нарушая, а углубляя его, пронесся стон чайки, белой чайки: печальный протяжный крик резнул сердце неподдаваемой, щемящей тоской.

– Товарищи, ну что это... Зачем же приехали сюда?.. Скорее костер.

И все за Аней бросились собирать дрова. Варвара возилась с посудой.

Сумерки уже садились, как паутина, на лес, на реку, на берег, на лица, и уже бушевал

огромный костер, бросая судорожно-багровые отсветы на людей, на деревья, и всюду засновали черно-трепетные тени.

Зазвенели стаканы, пришло веселье, то молодое веселье, которое умеет зажечь жизнь разноцветными огнями и так же беспричинно уходит, как и приходит.

– Петь, петь, господа!..

И бархатный голос Француза могуче и нежно зазвучал под соснами и понесся над темнеющей рекой, долго не умирая. Он пел, как артист перед огромной залой, залитой огнями и людьми, и на лицах наших багрово трепетало пламя. И когда замолчал, долго еще звучал его голос где-то далеко над рекой.

Ночь нахмурилась.

Потом пели марсельезу, – все, какими голосами кто мог.

– «Pour la nation!..»[4] – густым эхом отдавалось в соснах. Патриций вскочил на пень и иллюстрировал текст. «Слышите ли гул сотысячной толпы?.. Идут, идут, и пламя факелов дымно мечется над ними...» И мы слышим гул сотен тысяч тяжелых шагов, и мы видим багрово мечущееся по лицам пламя

дымных факелов. Потом Патриций обратился к этим гулко идущим толпам с импровизированной речью, и она дышала огнем и силой неподдельного красноречия, и Француз сказал:

– Вы будете знаменитый адвокат...

Потом мы всё съели и выпили, что привезли, потом... потом оживление ушло, как и пришло, и вдруг почувствовали, что это пока, так себе, часы стоят, маятник на полувзмахе, а настоящее где-то далеко и недоступно.

Ночь стояла такая густая и неподвижная, что в двух шагах ничего не видно было. Прогоревший костер взглядывал на нас тускло-мертвым глазом из-под пепла, а мы сидели вокруг и дожидались прилива, чтобы переехать назад.

Француз то и дело спускался к самой воде, и его сейчас же глотала темнота, и слышался голос:

– Вода подымается, скоро дойдет до лодки.

Мы стали все сносить и укладывать впотьмах на лодку, которую уже приподымала прибывающая вода. Француз разжег смолистый сук и высоко поднял над головой.

Пламя буйно срывалось, роняя кипящую смолу, но, к удивлению, багровый свет его не в силах был преодолеть густо стоящей вокруг ночи и бессильно падал у ног Француза, освещая только одну его фигуру.

– Э-э, да ведь туман, – проговорил Основа. – Садитесь.

Мы взобрались на прыгающую под ногами лодку, не видя ни лодки, ни друг друга. И тотчас же подхватило и понесло, бешеное течение прилива. Красный глаз догорающего костра мгновенно потух, одна густая, неколышущаяся тьма и такой же густой, тяжелый звук весел в воде, которые глотала эта сырая тьма.

*Ус-лы-ша-ли та-та-ры...
Ну, ду-ма-ют, не трусь!.. –*

затянул Основа, мы все подхватили, и опять отчего-то сделалось беспричинно весело, но голоса наши звучали слабо и задушенно, точно мы пели в вату.

Основа и Француз гребли. Патриций правил. Лодка толкнулась и стала.

– Что это?

– Неужели уж переехали?

– Да не может быть.

Из густой темноты мертво глянул красный глаз.

– Слушайте, да нас опять прибило назад.

– Это наш берег, вот и костер.

Со смехом, с шутками Патриция разжаловали из капитанов. Сел править Француз. И опять погрузились в густую черную вату. Снова глухие всплески, какие-то далекие, не наши голоса и снова толчок о невидимый берег, и сквозь тьму глядит красный глаз.

– Что же, господа, нас кружит. Отлив начинается, мы можем засесть.

Оттолкнулись. Густая, непроглядная, нешевелиющаяся, глотающая все звуки, пропитанная туманом тьма. Время шло; весла без умолку работали, но не было ни берега, ни костра, ни звука; не было нас самих, потому что даже самого себя не видно.

Время тянулось, все было то же, и все та же густая черная вата, глотающая голоса и звуки. Уже не разговаривали, не пели, только невидимо и глухо опускались весла.

– А ведь нас несет в океан!..

Это голос Француза, сейчас же поглощенный неподвижной чернотой.

– Да, судя по времени, отлив давно начался, во тьме мы слепо кружимся по реке, и нас несет, а может быть, уже и вынесло в губу.

Я черпнул за бортом холодную воду, попробовал – солоновато.

– Вода – соленая.

Все молчали, как будто трудно было говорить в облегающей черной густоте.

– Это еще ничего не доказывает – приливом много вливается в реку морской воды, и она еще не успела сбежать, – говорит Патриций, – но разве это его голос?

– Мы, может быть, еще на реке.

И опять чей-то чужой, незнакомый голос:

– А-а... вот что!..

И все густо глотающая тьма и глухой, тяжелый, глотаемый всплеск весел.

– Слушайте, господа, но ведь надо же предпринять что-нибудь, – говорю я, как будто все виноваты, – нельзя же так

– Что предпримете?.. Без компаса, без малейшей руководящей точки... Вот садитесь да гребите, вот и предпримете, – зло-насмешли-

во говорит Патриций.

– Нет, ничего, я сам... – голос Основы и скрип уключины: он все время гребет.

«Ах, так вот... так вот что!..» – и я широко гляжу в нерасступавшуюся таящую мглу, и в ушах стоит печальный крик чайки над пустынной водой. Не хочется ни грести, ни выбиваться из этого положения – все равно не поможешь. Я сажусь поудобнее, совершенно один, начинаю думать. Я думаю о...

– Кто это?

Около меня кто-то сидит.

– Это вы, Анна Николаевна?

– Чуть не уснула... Долго мы так будем болтаться?

Я немного недоволен – нарушается мое одиночество, мои думы. А она говорит заглушённым, глотаемым ватой голосом:

– Вот и у вас *там* такая же ночь – тихая, неподвижная, всеобъемлющая. «И примолкла темная ночка, точно и ей чудилось, что в этой странной песне что-то билось... И смолк ветер, и темные тучи спустились и еще ниже нависли...»

Как электрическая искра пронизывает ме-

ня, и я весь задрожал. Так вот что!.. Так она помнит, она декламирует!.. И я жадно, с пересохшим горлом, прислушиваюсь к музыке ее голоса.

– «...Темная ночь неподвижно глядела на него загадочным взором ночной темноты...»

Но ее лицо?.. Только б взглянуть на ее лицо!.. Я делаю страшное напряжение: толстая коса по спине, крепко выбегающий стан из кушака, смех, голос, но я не помню ее лица. И это странно поражает: я не видел никогда ее лица. И с нечеловеческим напряжением я вглядываюсь в ее лицо. Нет, я один, как в одиночке, даже фигуры ее не вижу...

– Анна Николаевна...

Мы придвигаемся друг к другу и в темноте говорим, говорим о тысяче предметов, как будто над нами ясное небо, яркое солнце, поют птицы и говор и смех вокруг беспечной толпы.

Нет ни лодки, ни товарищей, ни холодного сурового океана, куда неудержимо нас уносит. И, должно быть, много часов прошло, потому что смутно стало брезжить вокруг. Чернота посерела. Мы дышали густым, непрони-

цаемым туманом, по-прежнему глотавшим все звуки. С жадным напряжением всматривался я в ее лицо, но одна молочно-непрозрачная белизна, да порой чудилось, как будто блестели незнакомые глаза...

И в белой тьме нас неуклонно уносило...

Провожаем Аню. Все собрались, все пять человек: Основа, я, Француз, Патриций, Варвара. Мы стоим у самого обрыва Аня на палубе, слегка опираясь о борт.

Мы смотрим на Аню не отрываясь. Она нам улыбается, и глаза ее светятся ласково и мягко.

– Так пишите же.

– Вы же пишите. Как приедете, сейчас же пишите.

– Плетенку захватили ли?

– А шкатулку мы вам вышлем. Как кончим, сейчас же вышлем.

Это наши голоса, но что-то звенит в них, как тонко и дрожа вонзившееся острие непреодолимой печали.

И я, смеясь, говорю и махаю ей шапкой, и кто-то кричит во мне беззвучным отчаянием:

«Так вот она, эта Аня!.. Вот она, этот милый товарищ...»

И мне неодолимо хочется рвануться туда – к ней. Точно катаракт сняли, и я впервые увидел ее лицо, простое, милое, чистое девичье лицо, освещенное чудесными глазами.

Но ведь сейчас, через две минуты ее не будет, она скроется, быть может навсегда... Только впервые увидел ее лицо, просящее счастья, ждущее счастья... впервые...

– Вы же пишите... вы же пишите... – бормочу я, чтобы подавить беззвучно поднимающийся крик отчаяния.

И те, что стоят возле, машут и кричат ей что-то, и она машет белым платком с становящегося все меньше и меньше парохода, и уже не слышно ее голоса, только белый платок, как трепетание чайки над пустынной водой.

«Так вот оно, это милое, чудесное лицо!..»

И мы стоим и долго смотрим на пустынную реку, на которой уже ничего нет,

Угрюмо и молча идем в постылый дом, глядя в землю, а Француз с закипевшей силой говорит:

– Убегу.

– Вздор!.. Осталось всего полтора года.
– Убегу, я не могу больше.
– Да, – говорит Патриций, отвечая на свои мысли, – жизнь не останавливается ни на одну секунду.

Да, да, и на мои мысли: взмах маятника жизни ни на минуту не прерывается, и уже ни одного дня, ни одного горького слова, ни одного радостного вздоха не воротишь.

Милое, чудесное лицо, ждущее счастья!..

Качающийся фонарь

В темноте меж темных берегов плоско-матово лежит река. Темно встают горы над темной рекой, загораживая черным горбом смутно-ночное небо.

На той стороне – невидимая равнина. У воды не то черные фигуры людей, не то странно искривленные тени, – быть может, старые ветлы на берегу.

Ни огонька, ни звука. Даже не слышно влажного шепота водяных струй. Не всплеснет рыба, не пронесется слабо крик ночной птицы, жалобный и грустный, в то время как она, не отражаясь, мягко и невидимо машет

над самой водой.

Пустота молчания до того напряженно переполняет темноту, что мерещится внезапно стон, за сердце хватающий. Медленно расплывается, горестно умирая.

Ни звука, ни огонька.

Может быть, ни гор, ни неподвижно-темной реки. Не маячат уродливо-искривленно-черные фигуры. Одна тьма...

Нет, и горы черным горбом загораживают смутное небо: все та же река, темная и плоская, и что-то смутно чернеет, – быть может, старые ветлы на берегу. И снова мерещится, будто стон, беззвучно пронизывающий неутолимой болью. Тьма, молчание. Как будто великая ночь объяла великую пустыню.

Нарушая зыбкое ночное царство, принесся живой осязаемый звук, принесся издалека, из тьмы, с земли или с воды – неведомо, и болезненно тонко вонзившись, задрожал недобрым предчувствием.

И отчего этот живой среди мертвого молчания, столь жадно жданный звук, погасивший мертвые миражи, принес неуспокаивающуюся тревогу? Он был тонок и слаб и без от-

звуча мертво погас в нерасступавшейся тьме. И ухо жадно в ожидании ловит его, затерянного.

Снова, неведомо откуда, из тьмы принесся он, игривый и переливчатый, весело переплетаясь с другими такими же игривыми, странно нарушая важность чернеющих гор, задумчивую таинственность невидимо простирающейся равнины, темно и плоско лежащей в темноте реки.

И, как бы подкрепляя его, тонкой, неуловимо-малой живой точкой загорелся огонек. Подержался с секунду и, как звук, погас. И опять загорелся и раздвоился и распался на несколько неуловимых. И нельзя сказать, приближается эта кучка огней или блуждает, близко они или бесконечно далеко затеряны в океане мрака.

Прилетели скрипучие, весело-игривые звуки, скреживаясь и переплетаясь, — такие скрипучие, за сердце хватающие, точно резали кого-то, и в предсмертной муке вырывались взвизги. И глухо несся сосредоточенный топот тяжелого танца.

В темной воде уже дробились огни, пере-

ливаясь, прыгая, ничего не освещая.

Смутно вырастая черным контуром, на-
двигается большая посуда без красного и
зеленого фонарей, без одинокого фонаря на
верхушке мачты. Оттуда несется тяжелый то-
пот, и взвизги, и выкрики, полные не то стра-
сти, не то муки и ужаса. Мелькающие огни
дробятся в черной, как чернила, воде...

– ...Ухх... Ххо... Охо-хо... Га-га...

А ночную, все такую же густую, все такую
же напряженно безмолвную тьму нестерпи-
мо режут скреже-щуще-визжащие звуки над-
рывающейся скрипки, и захлебывается игри-
во задыхающаяся гармоника, и топот угрю-
мо-тяжелый.

Высокий, погнутый старик, с остренькой
бородкой старого козла и с маленькими из-
под взлохмаченных бровей глазами, перед ко-
торыми все невольно начинают смотреть в
землю, похаживает, волоча ноги, по палубе, и
крючковато-растопыренные пальцы качают-
ся в смутно озаренном воздухе. И старческий
голос:

– Жги!.. говори!..

Работники и работницы, оборванные и

грязные, с потными, возбужденно-злыми лицами, грузно пляшут, и от топота прыгают, звенят бутылки и стаканы под качающимся фонарем. Две раскрашенные женщины, с напущенной на лоб гривкой, как-то нагло курят, развалившись на ковре.

Сухой, тощий, длинный человек, с длинным, костистым лицом, с изломанными, скорбно поднятыми бровями, опустив глаза и прислушиваясь к какой-то своей боли, скрипит по прижатой подбородком скрипке. Разбитной малый, перекинув ногу на ногу, изгибаясь почти вдвое, то прикивает лохматой головой к задыхающейся, торопливо растягиваемой на коленях гармонике, то выпрямляется, отбрасывая одним движением назад взмокшие волосы, и опять наклоняется, и опять прикивает, как будто суть не в торопливо-затейливых звуках музыки, а в этих его змеино-изгибающихся движениях.

Толстый, круглый, с жарко лоснящимися на качающемся фонаре щеками, равнодушно, как будто ему нет никакого дела до совершающегося кругом, звякает дребезжащими тарелками и бьет в барабан, который тупо уха-

ет в темную ночь совершенно отдельно от остальных звуков:

– Пя-ать... пя-ать... четыре...

Голос доносится с темного носа, в одно время печально и деловито, слабо проникая сквозь ухарские звуки музыки, и темные силуэты медленно проходят вдоль бортов, с напряжением упираясь в чернеющие уходящие в воду шесты.

– ...Жги!.. говори!..

Работник и работница, улучив минутку, присаживаются в темноте за ящиками со скобяным товаром. Пахнет керосином, дегтем, смолой, свежеобделанным деревом, мукой, которая в мешках смутно белеет горой. Отирают пот со лба, и с отвращением слышится голос:

– Будь он проклят!.. Господи, и когда издохнет... и когда это кончится...

– Ну... цыц... чтоб услышал...

– Надоел и ты мне, будь ты проклят трижды!..

– Ох, проломлю я те башку...

И злобно ползет шепот.

А старик похаживает, и волочатся ноги, и

трясется борода.

– Ну, ну... веселей... ай... ну, что заснули... мертвые...

Вдруг перекашивается лицо злобно, уродливо, как бы улыбкой:

– Иххх... ии... ввы... нну... всех разгоню... всех уу!..

Качаются скрюченные пальцы в озаренном фонарем ночном воздухе. Скрипучим плачем ноет прижатая подбородком скрипка, ухает барабан, изгибается змеей гармонист, и накрашенные женщины нагло наполняют вином рюмки:

– Никита Сидорыч... что ж ты?.. Ну, давай рюмку-то.

А высокий, погнувшийся старик потирает костлявые пальцы, как будто холодно ему в эту тихую, темную, молчаливую июльскую ночь, и озирается. Озирается и видит жизнь свою позади, а не впереди, всю жизнь свою позади.

И он с ужасом вглядывается в тихо-молчаливую, сквозь ухающий барабан, визжащую скрипку и мечущуюся гармонику, тьму.

Как это случилось и когда? Все было впере-

ди, ждало его и манило, и разом, без предупреждения, он – старик с потухшими страстями, осунувшийся, согнувшийся.

Уходил день за днем, и все было одно и то же: те же заботы, дела, расчеты, незаметно каждый день.

Когда же, когда? Тьма не давала ответа.

Он спохватился. Судорожно стал хвататься за все наслаждения, за все радости, что давала сила денег, но кругом померкли краски, потеряли обаяние женщины, не зажигало кровь вино, пусто и холодно смотрела старость, – запоздалая осень.

С трясущимися руками устраивал он оргии на баржах, которые гонял с товаром по реке, заставляя рабочих плясать и пить, странно соединяя дело и расчет, чтобы не потерпеть убытков, с бесшабашным разгулом, мучая беспощадно и со злорадством людей.

– Нну-у... и-ихх вы-ы... жарь... жги!..

Все одно и то же визжала подбородком скрипка, ухал барабан.

И иногда сквозь темь сверкала опаленная равнина, нестерпимым золотым блеском блистало жнивье. И шаг за шагом широким зве-

нящим взмахом дружно сверкают косы. Белеют платки девок и баб. Покачиваясь, скрипя, гора горой подвигается наметанный на арбу хлеб. Все залито знойно струящимся дрожанием и ярким, все заливающим, молодым напряжением.

– О-ох...

Припадает и откидывается над захлебывающейся гармоникой под качающимся фонарем гармонист. Молча и строго стоит тьма.

«...Дядя Федор давно разорился, выкинули из компании, доживает век под плетнем в деревне, там и умрет».

И сквозь звон и говор трактирный, сквозь густой дым, песни и восклицания спокойный голос его:

«Барыши не барыши, а живы будем, под забором не помрем».

– У-ухх тты!.. мертвые... заснули...

Тот же топот, и уханье, и гиканье тонут, глотаемые тьмой.

Старик мечется и с злорадством думает: «Издыхай издыхай...» Дядя Федор теперь издыхает под забором. И Никита Сидорыч радуется: радуется не только тому, что железной

настойчивостью всех вытеснил из дела, все оказалось в его руках, сколько тому, что все его компаньоны бедствуют и влачат жалкую, нищую жизнь. И пусть! Пусть им, и это за то, что нет теперь у него, у Никиты Сидорыча, нет у него той силы, того размаха, как тогда на опаленной равнине, не горит все кругом жгучими красками, смехом своим, не заливают всего женщины искрящимся весельем, плящей страстью.

Злоба хрипит в нем, как захлебывающийся кашель и он мучит незасыпающей работой, этим отвратительным весельем купленных за деньги людей.

– Эй, вы, чего задремали!.. Бери шестами с право го борта, вишь, посудина совсем стала.

И печально из темноты с носа:

– ...Пя-а-ать... пя-а-ать... че-ты-ре... че-ты-ре... пя а-ать... – ровно, медлительно, печально, как стоны за блудившейся птицы.

Качается фонарь, туда-сюда двигая неровно крут света, и то выступит припадающий и откидывающийся гармонист и вырвутся захлебывающиеся звуки гармоника, то длинный, с вытянутым лицом, удивленно-изло-

манно-поднятыми бровями скрипач и занает придавленная подбородком скрипка, то за-лоснятся жирные щеки толстого и заушает ба-рабан.

– Ну, вы, мертвые!.. Жги, говори!.. А-а-а... всех разгоню...

Медленно, как черная тень, проплывает громадно-чернеющий силуэт судна. Теряясь постепенно в океане мрака, чуть мелькают светящимися точками блуждающие огни. Меркнут тоской умирающие звуки.

Недвижимо загораживают черным хребтом ночное небо молчащие горы. Невидимо простирается равнина. Уродливо искривленные тени чернеют, – быть может, ветлы на берегу. Даже темно лижущая отлогий песок густая вода не шепчет немолчным шепотом.

Не чудится рассвет.

Ветер*

Сожженный солнцем жгучий ветер вот уже пятый день упорно несется, такой же косматый, соленый, полный ослепительных брызг, и водяной пыли, и неумолкаемого шума, как и эти косматящиеся, мятущиеся под ним, полные своего шума и бурления волны, белые гребешки которых срывает и несет все в одну сторону, словно поземка тянется нескончаемо колеблющейся полосой.

А небо – сухое, ясное, неподвижное и до того равнодушно-высокое, что ни шум, ни потерявший голову, зарывающийся в волны ветер не достигают до него и ни малейшее белое пятнышко затерянного облачка не оскорбляет спокойно-равнодушной синевы.

И солнце сияет.

Пятый день...

Изжелта-мутный, подернутый сухой, мглистой пылью, которая тоже стоит пятый день над землей тускло и серо, ничего не выражая, смотрит вниз, на безумно разметавшееся море, рассыпанный по горе город.

Ни дымка, ни черточки. Только беспре-

дельно-зловеще белое клочкотание да изменчиво плывущие черно зияющие провалы.

К самой набережной жмутся, поднимаясь и опускаясь, черные суда, и мачты длинно качаются, вычерчивая на синеве, как тонкими карандашами, таинственно-незримые узоры.

Тяжело, приземисто-неуклюже качаются крепко пришвартованные пароходы.

Набережная как вымерла: ни разгрузки, ни нагрузки. Только пыль несется над мостовой, над складами, над штабелями железа, над черными грудями каменного угля, над огромными бунтами сложенного в мешках хлеба и безумно треплется края покрывающего брезента.

Во всех щелях, проходах, промежутках между стенами, зданиями, в веревках такелаж, вокруг качающихся мачт свистит и визжит на тысячу ладов, и все одним и тем же вкрадчиво-злобным, ищущим, вьющимся голосом, и нет ему исхода, и нет ему утolenия, а вверху над проволоками телеграфа гудит ровно, уверенно, могуче, без помехи.

Когда от берега торопливо бегут смиряющиеся волны, медлительно, тяжело и длинно

всплывает каменной влажной громадой на-бережная, выше и выше, и несокрушимо гля-дит на смирившееся, лижущее гранитную пя-ту море. Но уже с глухим ропотом, крутятся и заворачиваясь белыми гребешками, хлыну-ли к берегу неугомонные, и, покачнувшись, во всю длину тонет каменная громада, и лишь гуляют и ссорятся над ней белоголовые волны. Так перемежаются победа и пораже-ние с утра до вечера и с вечера до утра.

Далеко, где отлого золотится песок и схлы-нувшая волна оставляет узорчато-сквозные кружева пены, в неподвижном безделье чер-неют опрокинутые рыбацьи лодки.

На набережной только один живой чело-век – на вышке спасательной станции. Оди-ноко, медлительно, терпеливо, мерно ходит темная фигура, и ровно, длинно, ни на секун-ду не замирая, струится нысоко над головой на гнущейся мачте флаг, как бы безнадежно говоря, что теперь нужнее всего и бесполез-нее всего эта вышка, этот мерно ходящий ча-совой, эти белеющие, высоко поднятые на воздух, скрипуче покачивающиеся на крон-штейнах спасательные лодки, ибо нет моря, а

есть бесконечная злая зимняя степь, по которой безумно несутся клочьями белые метели, стелясь, сворачиваясь, путаясь, разрываясь и клубясь с бессильно-злобным воем и визгом, без конца и краю.

И гудит ветер, и мутно смотрит город, и шум, и стон, и отчаяние... Сияет солнце.

Пятый день.

А в городе, несмотря на то, что по улицам несет горячая, сухая пыль, скрипят и раскачиваются вывески, треплет платье и взъерошивает гривы и хвосты лошадям, жизнь идет, как всегда, – трещат по мостовой извозчики, блестят окна магазинов, в банки входят и выходят люди, стучат счетами в конторах, скучно сидят в канцеляриях, в отворенные двери церквей виден народ, синеватый кадильный дым, за чернеющими крохотными окнами острога угрюмая тоска и ожидание.

По вечерам по городу вспыхивает электричество, и стоит во тьме голубовато-дымчатая мгла, с которой странно связывается представление о какой-то особенной, внешне неуловимой жизни.

Из окон ресторанов, гостиниц, трактиров льется на мостовую свет, несутся звуки «машины», гундосо поют граммофоны, и в ярко-красных, с огромными полями шляпах проходят под окнами женщины с независимым видом и покрашенными лицами. Под горой около набережной, где день и ночь царит и покрывает все звуки неумолкаемый морской прибой, тоже трактиры, дешевые публичные дома, притоны.

В трактирах гомон, звон, потные, красные лица, засаленные локти на столах, дым, хоть коромысла вешай, гневные голоса, песни, ругань, смех. Это – для матросов, рыбаков, сутенеров, воров, контрабандистов, для публичных женщин, бродяг и всякого черного рабочего люда.

Множество народа сидит за грязными столиками, на засаленных подоконниках, толкуются посредине, входят, выходят.

Под тусклым, красным в дыму, коптящим огоньком висячей лампы, за столиком сидит плюгавенький кок с французского парохода, веснушчатый, с птичьим носом, облезающей головой, белобрысыми усиками и маленьки-

ми бегающими масляными глазками. Он говорит по-французски, подмигивая, щурясь, задумчиво посасывающему, положив локти на стол, матерому, кряжистому русскому матросу дальнего плавания. Кок говорит о женщине вообще, разбирая ее, излагая свою теорию, говорит мерзко, наивно-цинично, а тот невозмутимо посасывает коротенькую трубку, глядя поверх носа на тлеющий табак, и не разберешь, слушает он или не слушает. Но, должно быть, слушает, потому что изредка вставляет короткие, обрубленные, русским говором французские фразы:

«C'est autre chose...» «La femme, ce n'est pas la vache»...[5]

За столиком сидит и слушает их третий, на которого они не обращают ни малейшего внимания, – слушает, навалившись всей шириной мощной груди на столик, не спуская с француза серых глаз, молодых, полных не то скрытого злобного задора, не то готовности в любой момент идти на опасность, в бурю, в драку, в поножовщину. И чувствуется – из железа эти отлившиеся под рубахой мускулы, эта спина, на которой хоть молоти, эта мощ-

ная, во всю ширину столика, навалившаяся грудь.

Его не знают ни кок, ни матрос. Он просто подошел к столику, сел, навалился грудью и стал слушать француза, не спуская глаз, не понимая ни слова.

– ...Mais la femme, quand elle...[6]

А трактир до самого потолка, черного и закоптелого, полон мятущегося в прогорклом дыму шума, говора без слов, песен, похожих на надрывающиеся волны, не то пьяного бормотания, не то предсмертного хрипа спившихся на грязном полу, и над всем царствуя, с высокой стойки равнодушно-привычным взглядом глядит трактирщик, как в пушкинской «Полтаве»: «Вожди спокойные глядят, предвидят гибель иль победу...» И «молодцы» в грязных рубахах, расторопные, всюду поспевающие, по одному его взгляду подают, принимают, дают сдачи, пьяных обсчитывают, выволакивают, нещадно, нечеловечески избивают буянов.

А когда утомленный говор и шум в изнеможении падает и низко, воровато ползет над самыми столиками, из-за стен доносятся

другие голоса, грохот и как бы пальба тысячи орудий, и разрушение, и визг, и вой, и тонкий просящий плач, и при каждом грохочущем ударе стены трактира трясутся, и звенят бутылки и стаканы на столиках, и вздрагивают окна, и в груди у людей отдается смутным, угрожающим напоминанием.

Но снова человеческие голоса, такие бессильные и ничтожные, до самого черного потолка заполняют тесное, низкое помещение и душно мечутся, наглые, назойливые, среди красных, распаленных лиц, пьяно блестящих глаз, взмокших, растрепанных голов и уже забывают и перестают слышать грозную и темную силу за темными окнами, за вздрагивающими стенами.

Серые глаза все ближе через столик впиваются во француза, и вдруг, не спуская с него глаз, парень поднимается, – точно ахнув, опрокидывается стул. Теперь только видно, какого могучего, пропорционального сложения этот человек.

– Брешешь!.. Все брешешь, обезьянья харя!..

Тяжелый, просоленный, выдубленный

морским солнцем, ветром кулак каменно опускается ла стол. Стаканы, рюмки, бутылки летят и раскатываются, точно торопясь очистить поле.

Матрос грузно поворачивается всей тушей и вынимает трубку изо рта.

Француз захлебывается.

– Н-ну?!.

– Эта необразованный морда... на меня кляла клюпости...

Парень оборачивается к матросу, – ага, тебя, мол, сначала?.. С харей-то и потом... не уйдет.

Но уже, как гончие кабана, облепили по знаку хозяина молодцы парня, и он ворочается огромным клубком грязно-белых рубах. Они знают, с кем имеют дело, и из живого клубка слышится кряхтение и сопение напрягающихся людей.

– Ваняха, слышь... брось... ну, будет, ну!.. – уговаривают они, в то же время делая нечеловеческие усилия оттеснить его к дверям...

А он стряхивает с плеча их, как переспелые груши и вытаскивает из-за голенища сточенный сапожный нож.

– Ножик!.. Нож!.. – проносится, покрывая говор и мечущийся над столиками шум.

Стиснув зубы, захватив дыхание, облепившие его люди делают последнее усилие, и весь огромный человеческий ком вываливается в распахнувшиеся под напором двери, и разом охватывает во тьме крутящийся, гудящий ветер, полный соленой морской водяной пыли, и грозные и тяжкие удары, от которых сотрясается земля до самой глубины своей, – сотрясается со всем, что на ней есть, со зданием, с огородами, с кладбищами, с церквями.

Мелькнув в темноте белыми пятнами рубах, исчезли молодцы. Дверь захлопнулась. Иван поднимается с тяжело вздрагивающей земли, как опрокинутый разбежавшимися в испуге собаками кабан, и озирается. Во тьме тускло освещенные окна трактира глядят молча, – здесь царят только грозные голоса моря.

Он ни слова не понял, что говорил француз, но при воспоминании об его белобрысом птичьем лице поднималось неподавимое звериное желание вернуться и одним ударом сбросить его, обмякшего, под стол.

– Али высадить?

Нажать плечом, и смутно проступающие во тьме с золотящимися щелями двери с треском сорвутся с петель, но влажный, родной, буйно играющий во тьме ветер делает свое дело, и тяжелый хмель понемногу сползает с отуманенной головы.

Иван медленно идет, – куда? Домой, разумеется, в темную хибарку на самом берегу, где ее всю обдает солеными брызгами, идет мимо темных строений, то молча высящихся, то темно и плоско припадающих к темной земле, и ветер плачет, визжит, мечется и пропадает между ними, а хитрые ноги делают свое дело независимо от всех соображений, идут да идут и останавливаются у большого двухэтажного дома, трепетно освещаемого мятущимися огоньками фонарей.

Где-то далеко, над морем, во тьме синевато-мглистым столбом стоит отсвет маяка.

– Ишь ты, гляди, куда пришел! – удивляется Иван.

У полосато освещенной будки ходит таможенный стражник, и ветер треплет его рубашку, как и огоньки фонарей. Таможня. Здесь у

начальника живет в прислугах Анютка, горничная.

Она часто бегает в лавочку, в беленьком передничке, торопливо мелькая из-под приподнятой юбки черными туфельками на телесного цвета чулках. Иван в первый раз, когда встретил, обернулся и долго глядел вслед и потом пошел:

– Ишь ты, хря!..

В другой раз остановился и проговорил:

– Очень вы уж, значит, мамзелистая, не признаешь, чи барыня, чи куфарка.

Она не обратила внимания, только бегло глянула из-под черной брови и скрылась в воротах.

А в третий раз, когда остановил, пренебрежительно бросила:

– Рыбой от тебя воняет, не подступишься, весь ты просолел, как чебак.

Он стоял перед ней, широкоплечий, медно-красный от морского солнца, соленого ветра, неуклюже развесив и расставив богатырские руки и ноги, добродушно ухмыляясь, и сквозь эту наивно-добродушную улыбку в социальном взгляде серых глаз сквозила ост-

рая, почти злая настойчивость.

– А вам как же требуется, ледикалон али помада первый сорт?

– А то как же. Вот барин наш каждый день ванну берут и каждое утро лысину чистым одеколоном моют.

И не стала больше разговаривать.

Когда Иван на море, и кругом шум, и, как курчавое стадо, ветер гонит бестолково бегущие в белых космах волны, он и не вспоминает о ней, – лодку мерно качает, то вознося на зеленый живой бугор, то медленно роняя в тяжело разинувшуюся падь, и поблескивает рыба в всплывающей и пропадающей в воде сети. Тогда ни о чем не думаешь, только перегнешься через борт к мерно подступающей к самому лицу и падающей воде, и торопливо работают руки, выдирая из мокрой сети плещущуюся рыбу.

Но когда лодка, кренясь и черпая, с огромно выпятившимся, переполненным парусом, тяжело переваливается, торопясь домой и взрывая пену, по хорошо знакомой дороге, и, сначала невидимый, проступает потом тонкой чертой берег, и все выше и выше подни-

мается над волнующимся морем, и уж можно различить раскинувшийся по горе мутно-желтый город, — как клещ, впивается в сердце тоска.

Все забывает Иван, зорко высматривает из массы вырастающих строений большой двухэтажный дом, который имеет особое, единственное значение во всем городе. И мерещатся мелькающие черные туфельки на телесного цвета чулках и задорное, с презрительной гримасой личико.

И теперь, как много раз, Иван опять стоит перед двухэтажным домом, и кругом темь, и во тьме шумит ветер, и шумит море, и светятся окна в верхнем этаже. Иван смотрит на них, но они молчаливы и равнодушны, ни одной тени не мелькает там.

Поднимается злобное, захватывающее желание пустить туда булыжником, чтобы стекла посыпались и зазвенели. Он озирается, как голодный волк в кустах перед овечьей закутой, охраняемой овчарками.

Огонек уличного фонаря трепетно вздрагивает, то совсем приникая, и тогда отовсюду набегают тени, то судорожно вытягиваясь, и

тогда выступает из убегающего мрака фигура часового с рвущейся рубахой и ветер изо всех сил свистит в щелях между стеклами, стараясь задуть.

Иван подходит к часовому.

– Будет тебе прохладяться тут, серьга в ухе.

– Проходи, проходи... Проходи, тебе говорят.

– Не нравится мне... все ходишь по одному месту, будя...

– Ступай... горячего захотелось?

Грозно блеснув, штык ложится на руку, а другая рука подносит к губам свисток.

С неуклюжей, но не дающей времениобразить медвежьей ловкостью Иван отбивает вверх штык, свисток летит в сторону, и по земле катается странный, хрипящий человеческий клубок, на который то взглядывает удивленно вытянувшийся огонек фонаря, то набегаёт густая, покрывающая темнота, когда особенно буйно мечется ветер.

– Пу-у-сти... слышь... нну-у... – прорывается хрипло, сквозь тяжкое дыхание борьбы.

– Нни-че-го... по-дождешь...

– Т...ты... к расстрелу...

– По-жи-вем... видать будет...

Один поднимается, другой лежит на темной земле, судорожно дергаясь со скрученными руками.

– Слышь, пуети... али угорел?

Иван взваливает на плечи и несет беспомощно болтающего ногами человека к грозно, невидимо ревущему морю. Земля вздрагивает, и что-то тяжело скатывается и рушится, и с шипением и с ропотом отходит в темноте, и опять растет, ширится и заполняет темноту.

– Я те, черта... полови-ка рыбки...

Слышен дрогнувший, растерянный голос:

– Слышь... ну, брось... сам знаешь, служба... брат.

Иван останавливается, держа, как барана, ворочающегося на плече человека.

– Пусти... не за что...

– Ин пойдём в другое место... ну, ладно.

И парень идет с человеком, точно с мешком, обходит издали полицейский пост. Фонари, мерцая, остаются позади. В темноте смутно вырисовываются одинокие хаты. Ни огонька. Давно спят. Все беднота живет, рыба-

ки, крючники. Море шумит возле мерно и тяжело, – здесь нет набережной.

Иван останавливается перед одной избушкой, такой же темной во тьме, молчаливой, одинокой, без единого огонька. Постучал.

– Слышь... развяжи... брат... под суд пойду... слышь...

Избушка так же молчалива и черна.

– Отпусти... ради господи...

Снова постучал. Молчание и темнота. Долго ждали.

– Ну, ты, старая карга!..

Ветхая дверь трясется, вот-вот соскочит с петель. Слышен оттуда кашель, потом старушечий голос:

– Кто тут?

– Отворяй, чертовка, а то вынесу с дверью и всю хату.

Дверь разевается, и выглядывает темная голова со сбившимся платком.

– Развяжи, брат, совестно перед людьми...

– Врешь, убеgehь... в хате развяжу...

– Кто это?.. Никак ты, Ваня?

– Ну-ну... пропущен... посторонись-ка.

– Откудова так поздно?.. Дай-ка вздую

огоньку... дверь-то притворить, надясь опять обыскивали; надзиратель сказывал: «Не я буду, ежели не накрою тебя». Я уж полицейскому двугривенный дала, чтобы сказал, как с обыском вздумают идтить. Не миновать мне острога... Ваня, верный ли человек с тобой... пожалейте меня, сирую, убогую.

– Свети огонь да давай бутылку, старая карга.

Старуха пошарила, нащупала стекло, чиркнула спичкой, и темнота забила по углам, под лавками, под печкой. Низко повис закопченный, с черной, точно обугленной, матицей потолок, почернелая икона, кривые стены, выскобленный стол.

Старуха глянула, всплеснула руками и заголосила:

– Да кого ты привел!.. Господи, полицию!.. Да окаянный ты, ирод, предатель ты рода человеческого!.. Нету у меня водки, нету и не было, не торгую и не торговала никогда... уходите, и чего вы шляется по ночам... уходите, а то «караул» буду кричать!..

С треском закачался стол под дюжим кулаком Ивана.

– Цыц!.. Зараз подавай водки... бельмы за-спала, не видишь – солдат.

И он сдернул с рук веревку. Солдат сидел понуро, безнадежно оглядев богатырскую фигуру парня, загораживавшего дверь.

– Отпусти, слышь... я под суд, да и тебе несладко будет.

– Семь бед – один ответ... поспеешь... Поворачивайся, бабка!

Та, все недоверчиво поглядывая искоса, ворча, подняла половицу, покопалась; достала бутылку водки, сушеной рыбы, баранок. Накрыла стол грубой, штопаной, домотканой скатертью, поставила стаканчики зеленого стекла.

– Бери, служивый, выпьем.

– Что же пить, за глотку держишь, да пить.

В бутылке становилось все меньше, и хатка точно раздвинулась и посветлела.

– Служба наша трудная, – говорил солдат, запрокидывая голову, ставя стаканчик, с треском разгрызая сухую костистую рыбу, чувствуя, как сваливается давившая тяжесть ожидания. – Не довернешься – бьют, перевернешься – тоже бьют, да в штрафные, да под

суд, да в дисциплинарные, только и молишь богу, чтобы день пронесло.

– Ну, у нас никакого начальства, сами себе голова, одно у нас начальство – ветер да буря; как поднимется, тут уж не зевай, держись да кланяйся вашему благородию... Пей, бабка, что нос-то повесила?

– Погляжу на вас, – молодые, резвые, вот так-тошь когда-то и я... – У бабки выбились из-под платка седые космы, и желтое морщинистое лицо покраснелось от выпитой водки. – Бывалыча, и я так-то: соберутся девки, парни, за руки возьмутся, ну, кружить, а то славу поют друг дружке... Прошло времечко: был конь, да изъездился. С чего, Ванюшка, нонче угощаешь, ай с прибылью?

– Пей, старая карга, да молчи. Запоем, крупа, что ли?

Низкую, тесную, почернелую избушку, словно не помещаясь, распирали два здоровые, молодые голоса, и среди них, как разбитое корыто, дребезжал старый, изжитой. А когда замолкали и неверной, дрожащей рукой лили в стаканчики, во тьме глухо шумело море.

– Охти мне, кабы не услышали, как раз обход заберется. – И она заботливо притянула плотнее дверь.

– Ежели успею возвратиться, покуда разводящий не приведет смену, пронесет беду, а не успею – пропал я навсегда. Выпьем, Ваня, с горя.

И опять два здоровых голоса тесно и буйно заметались под низко и черно нависшим потолком.

Погиб я, маль-чи-шечка-а, погиб на-всег-да-а!..

– Во... есть у вашего начальника девка в услужении, в черных башмачках.

Он положил локти на стол и, навалившись, смотрит на солдата красными, как мясо, глазами. Тому становится жутко под этим взглядом.

– Это которая?

А тот все так же всей грудью лежит на столе.

– Так вот, говорю, есть такая... в башмачках... в черненьких...

– Видал, – в лавочку все бегают, субтиль-

ная...

– Я ей сказываю: возьму замуж...

– Девка служащая... бежит мимо караулки в лавочку, все кинет кренделек, – служивеньким, говорит...

– Возьму, сказываю, замуж, а она расхохочется, как коза, убежит... Убью!..

...По-ги-иб я, ма-а-альчи-шеч-ка-а-а...

– Убью и вашего командира, и весь дом разнесу... все одно – Сибирь так Сибирь.

– Из-за девок много нашего брата мужчины пропадает... Бабушка, дай-ка на сигарку табачку.

– А чего бы ей не вытить: парень добычливый, удачливый, подойдет случай – не одну сотню вынесет из моря. Как у Христа за пазухой будет жить. Ты бы, служивый, там ей при случае про Ванюшу цыкнул бы. Бери табак-то...

– Все одно нет моей жисти... Как гляну, в черных башмачках: топ, топ... ах, мать твоя радость, пропадай моя головушка!..

Они шли в темноте, обнявшись, пошаты-

ваясь, и ветер крутил, толкал и свистел во-
круг, стараясь сорвать шапки с обоих, и, по-
крывая его, грозно и тяжело ревело невидимое
море, заполняя ночную темноту.

– Еже... ли разво... дящий не приводил сме-
ны... – говорил неслушающимся языком сол-
дат.

– Убббью... все одно... ах тты... ей все одно,
что я, что тумба, мимо в черненьких башмач-
ках... топ, топ, топ...

Парню мерещишь мелькающие из-под
белого передничка черные туфельки, но у
нее, кроме туфелек, была еще целая жизнь,
незнаемая и недоступная ему.

Когда ее первый раз привели в люди нани-
маться, она была маленьким, запуганным за-
морышем, на все смотревшим исподлобья.

Мать, утирая глаза углом платочка, кланя-
лась и просила:

– Родимые мои, не обижайте сиротинку...
восемь человек их у меня, муж-то помер,
бьюсь я с ними... бог вас вознаградит, мать
пресвятая богородица...

Но материнские слезы, которых хватило
бы не на один платок, не помогли, не смягчи-

ли ничьего сердца. Как глаза матери слезами, так восемь лет девочки были доверху переполнены обидами, унижениями, оскорблениями, тычками и неустанной, нескончаемой, не знающей ни дня, ни ночи, ни отдыха, ни сроку работой, без просвета, без ласкового слова, без родной улыбки. Мать умерла.

Все было кругом чужое, враждебное, и она научилась ненавидеть, лгать и мстительно радоваться всякой неудаче, всякому хозяйскому несчастью.

И к девятнадцати годам выковала оружие, которое красило и оправдывало ее жизнь, — она была миловидна, в каждой жилке билась молодая жизнь, и все хозяйки ревновали к ней своих мужей. От этого жизнь становилась и тяжелее и полнее обиды, притеснения, оскорбительнее и злобнее замечания и приказания хозяйские, и вместе от этого жизнь становилась значительнее, содержательнее, красочнее, точно молчаливо в ее бессилии ей выдавали особенное, такое же молчаливое свидетельство на неуловимую, ускользающую, но несомненную силу.

— Примите же посуду, — сердито и желчно

говорила хозяйка. – Никогда ничего вы вовремя не сделаете, не подадите, не примете. Всюду вас надо тыкать носом, подгонять, как ленивую клячу. Мне в первый раз попадается такая ленивая, неряшливая девчонка, из рук вон...

«А все-таки у тебя уже морщина под глазами, и волос седой пробивается, и брюзглая ты, и барин всегда вслед мне глядит...» – говорит она молчаливо, быстро, ловко и бесшумно убирая посуду, собирая скатерть, расставляя мебель.

– Я держать вас не стану... Зачем мне дармоедка?..

Барыня раздражается все больше этой видимой внешней покорностью, за которой таится что-то неуловимо-победное, даже насмешливое.

–..Дармоедка, дрянь, лентяйка!..

«Все равно, мне девятнадцать, а тебе сорок».

Это молчаливое, внешне-покорное, без слов возражение приводит, как всегда, хозяйку в ярость. Долго она опрокидывает на голову суetyащейся, ловко работающей девушки

ушаты оскорбительной мелкой брани.

Праздников нет. Но когда посылают в лавочку, или на почту, или в булочную, это – праздник. Шум улицы, ласково заставляющее жмуриться солнце, с треском пробегающие извозчики, магазины, припомаженные приказчики, молодые люди, всегда останавливающие на ней глаза, и она сама, такая чистенькая, в белом передничке, со спрятанными под него руками, и черные, маленькие, торопливо мелькающие туфельки... Все радостно...

Она себя сохраняет, до сих пор тго крайней мере. Это трудно, очень трудно. Но смутный, полусознательный страх перед всем, что ожидает, если она не соблюдет себя, удерживает, и еще больше удерживает смутное, неясное, как мечта, ожидание счастья, какого-то ласкового, настоящего, долгого счастья...

Это не сапожник, не артельщик, и не поденщик, и не тот барин, который все пристаивал к ней, – нет, а какой-то молодой, ласковый тоже, должно быть барин; он не отвернется, как только возьмет что нужно, а ласково и всегда будет любить по совести и скажет; «Будешь моей женой».

А пока, пока...

Смеющимися глазами оглядывает она и ослепительное солнце, и такие же ослепительные стекла магазинов, и белое, ревущее море, и ветер изо всех сил рвет, треплет и обвивает на ногах юбку, так что трудно идти. И она смеется, и знакомому приказчику из магазина смеется...

Вот и *он!*.. Медведь, красный весь, кряжистый, как корявый дуб, должно быть здоровенный, смотрит на нее волком, так бы и съел...

Она и не может удержаться от хохоту, когда проходит мимо *него*, и немножко боится *его*. *Он* немножко не такой, как все, чудной какой-то. А должно быть, здоровенный. Десять баринов сгребет один. И она, торопливо мелькая туфельками, смеясь, пробегает мимо него.

Уже седьмой день бьет буря, знойно палит солнце, без облачка синева неба. Седьмой день все то же. Все так же в белом клокотании море, все так же медлительно, поблескивая во всю длину, влажным гранитом всплы-

вадет из пенных вод набережная, и следом также медлительно и тяжело погружается и пропадает в крутящуюся, торжествующую, праздную свою праздник, неоглядную пену, и опять выплывает; качаются черные суда, чертят по синеве длинными мачтами, не приходят срочные пароходы, – неохватимо простирается бело-клокочущая пустыня.

У спасательной станции собралась кучка народу. Глядят. В шуме перекидываются словами.

– Что такое?

– Бутылка не бутылка, а блестит.

– Да ведь шлюпка!..

– Батюшки! Шлюпка перевернутая!..

Все глядят на бело-кипящую равнину и видят шлюпку. Каждый раз, как взмывается вода, она блистает под солнцем по длине мокрому, соленому килем. Накатывается завораживающийся белый гребень и пропадает из глаз, и долго, томительно долго только белеют рушащиеся белыми головами валы. И опять всплывает, и опять блеснет.

В куче стоит и с замирающим любопытством смотрит, куда все, девушка, выбежав-

шая на минутку в лавочку, в белом переднике и черных туфельках, и ветер с одной стороны туго обтягивает ее фигурку платьем, с другой – рвет и треплет юбку, фартук, белый платочек, и она его придерживает.

Поодаль неуклюже, по-медвежьи, стоит парень, с бронзовым лицом и руками, и нехотя и рассеянно исподлобья глядит на море. Все опостылело, и дебоширство уже не занимает и не развлекает. Он приготовил было лодку, чтобы идти в море, это – почти на верную смерть, но и это потухло, и пропала острота ожидания. Девушка, когда проходит мимо, уже не отвечает, даже не взглядывает, и в ее затененных ресницами зрачках потух огонек испуганного любопытства к нему. Все равно...

– Бра-атцы... да ведь не шлюпка, человек!..

Трепет и содрогание пробегает по стоящей кучке людей с развевающимися волосами, юбками, кафтанами, платками. Да, да, человек, желтеет тело, то скрываясь, то показываясь среди бурлящей пены; моет черная, соленая вода волосы...

– Утопший!..

– Господи... страсти-то!..
– Голый... должно, купался...
– А може, спасался, сорвал с себя...
– Семейство-то теперь убивается...
– Поди, и не знает... Откуда он, кто ж его знает, может, с судна какого...

– Вашескблагородие, дозвольте в бинокль глянуть.

Среди этой кучки людей в шуме, свисте, шипении и вое ветра так некстати раздался смех, – дружный, веселый смех.

– Вот так так!..

– Вот тебе шлюпка!.. Вот тебе человек!..

– Глаза у всех обуты.

– А этот все в бинокль глядел...

– Ха-ха-ха!..

Громче всех хохочет заразительным смехом девушка, поворачиваясь ко всем и оглядывая всех беспричинно-радостными глазами:

– А он все в бинокль...

И теперь все так же отчетливо видят, что это просто желтая щепка с оставшейся корой всплывает и колышется, и ее гонит волнами к берегу.

Этот веселый, почти радостный смех охватывает парня злобой тоски и отчаяния.

С иступленным лицом кидается к девушке: она бьётся в его крепких руках, как муха у паука, и волны, шипя пеной, моют набережную у самых их ног.

Это так неожиданно, внезапно, что все неподвижно смотрят, растерянные, а она два раза пронзительно, полным отчаяния голосом кричит.

– Держи его!..

– Что за? дьявол!..

– Гляди... в лодку... пропали...

Все кидаются к нему. Верещит подхватываемый и уносимый ветром полицейский свисток. Но уже поздно. Он прыгает с белеющей ношей в руках в прыгающую у набережной лодку, перерезывает канат, и присмирившие волны тащат его прочь от набережной.

– Гляди, гляди, ушел!..

– Ло-одку спасательную... ло-одку давай!!

– Зараз накроет.

Да, воды коварны, уже остановились, уже ворча, делаясь все круче и круче и быстрее, перегибаясь белой шапкой, побежал назад

черный вал, быстрее и быстрее, сделался громадой, подхватил лодку и...

Должно быть, сейчас будет конец, потому что на берегу отчаянно засуетились, возьмется у спасательной лодки, хотя отчетливо видят, что спускать ее – безумие, она то высоко висит в воздухе, то волны снизу лижут ее киль, чтобы достать, сорвать и, изуродованную, далеко выбросить на берег. Должно быть, люди кричат, но только видно, как машут руками и треплется платье, – все покрывает жадный голос моря.

В лодке борется бронзовый человек, которому никто не поможет. Только теперь лицо у него не медно-красное, а медно-желтое, точно стали его чистить да так и бросили, не дочистили.

Девушка без сознания лежит, сваленная на дно лодки толчком, а он не теряет ни секунды. Уже взвился парус и трепещет, огромный, как крыло гигантской, не успевшей подняться птицы.

Лодка еще не успела приобрести движение, а вздувшееся море уже злорадно несет ее назад, к граниту высящейся набережной.

Быстрее, быстрее, ближе, ближе.

И ахнула земля, и берег, и люди. Все смешалось в дыму взрыва белой пены, в которой потонула, как игрушка, каменная громада набережной, все суда, самое небо и крохотно чернеющая лодка, безумно несшаяся к своей отбели.

Но в следующую секунду она снова зачернелась, увлекаемая отхлынувшей, быстро побежавшей назад волной, и на ней бешено работает человек с окровавленно разбитым лицом и обломками багра в руках.

Парус надулся, лодка стала уходить, но вернувшиеся, оправившиеся волны снова устремились к набережной и дружной, сговорившейся толпой влекут воровато-мелькающую между грозно идущими громадами лодку.

От набережной нельзя прямо уйти в море, – ветер дует в лоб, и человек хитро держит наискось, постепенно стараясь уйти из страшного буруна. Но и волны хитры, жадно следят за жертвой и плечо в плечо катятся, не упуская ни секунды, уже готовые взлететь белой пеной брызг и пены на парашет.

Ближе и ближе кучка людей, спасательные лодки, вышка, часовой на ней. В руках нет багра, нечем отбиться от страшного удара.

– Го-го-го!.. Врррешь!..

Парень наматывает на кулак шкот, упирается ногами и, запрокинувшись навзничь, побегов от натуга, натягивает шкот, захватывая весь ветер и заостенев другой рукой на руле. Переполненный, готовый каждую минуту лопнуть, парус вместе с мачтой почти лег на воду, и за опустившимся бортом, не поспевая и стараясь залить, побежал крутящийся вал. Набережная, кучка людей, спасательные лодки опять побежали назад, стаяваясь все меньше и меньше.

– Го-го-го-о-о!..

Пена мелькала с безумной быстротой.

Он забыл женщину, безжизненно перекачивавшуюся в соленой влаге на дне лодки, забыл все в бешеном восторге борьбы, отовсюду окруженный дико плясавшими белоголовыми дьяволами, которые несли на него пену, брызги, соленую воду в диком вое, хохоте, визге безумного неистовства.

– Го-го-го-о-о!..

«Постой... по-стой... возьмем свое... не уйдешь... не уйдешь», – ревут и гонятся за ним, перекатываясь друг через друга.

Лодка все так же боком, все так же почти полегшей мачтой, как птица среди гонимых листьев, выносится на вершину водяного хребта, и открывается весь город до краев, со всеми домами, улицами, с маковками сияющих церквей, и открывается все море, шумящее не то радостью смерти, не то радостью жизни.

Потом судно, скрипя всеми суставами, всеми швами и связями, переваливается через гребень и жалуюсь и нехотя несется, наклонившись вниз в широко разинувшуюся бездну.

И уже нет ни города, ни сияющих маковок, ни победно шумящего, бело-клокочущего моря; только высятся зеленоватые водяные стены, загораживая весь мир, злорадно замедлившие бег свой, неуловимо бежит по ним тонко сквозящая пена.

Нет шума и грохота рушащихся волн, зловеще-могильное молчание, и вместе с бегу-

щей пеной злорадно бежит шепот нечеловеческих уст:

«Ты нашшш... нашш...шш не уйдешш...шшшш нашшшш... шшшш!..»

И, отвалившись, весь напряжение, с проступившими мышцами, как изваянный, зачленел на руле и с рвущимся шкотом в руке человек, не теряя глаз от горой растущей водной громады, с которой он сейчас увидит город, здания, море, жизнь или никогда не увидит.

.....

.....

Воротились они через два месяца с той стороны. Жили все время в маленькой рыбацкой деревушке. Там их повенчал поп.

Потянулась жизнь, как у всех, – дети, работа, нужда, неустанный труд.

Иногда Анна, когда Иван со старшим мальчиком уйдет на баркасе в море, на минуту от нескончаемых домашних дел забежит к соседке, сядет на лавку:

– Ведь он меня увозом увез... Господи, может, я бы теперь в золоте ходила... Господа меня любили, баловали, нешто такая жизнь...

Всхлипнет и утрется уголком платочка. Но если их долго нет, и заревет ветер, и начнет бить море, она дни и ночи простоит на берегу, не смыкая глаз, и, когда увидит, встретит, и придут домой, безумно радостная, не знает, как накормить и усадить, и не может себе представить никакой иной счастливой жизни, на которую она бы променяла свою теперешнюю.

Паровоз № 314-Б*

На Подсолнечной стоял Почтовый поезд. Делать ему тут было нечего: почту, состоящую из тощей сумки, давно выгрузили; из деревеньки, серо раскинувшейся обвисшими соломенными крышами в полутора верстах от станции, никто не садился, и все лениво тянули никому не нужную десятиминутную стоянку. Вагоны, пассажиры, луцдившие семечки и выплевывавшие из окон, красная фуражка начальника на платформе, старый генерал в отставке, прогуливавшийся вдоль вагона первого класса, прихрамывая на подагрическую ногу с таким видом, как будто поезд стоит для него, – все как бы говорило:

– Ну что ж, подождать – подождем... больше ждали, подождем...

К сдержанно шипящему паровозу подходят двое в засаленных картузах, в синих промасленных блузах, с запавшими рабочими щеками и темной от ввевшегося масла, пыли и грязи кожей – один высокий, другой низенький.

– Никандру Алексеевичу наше вам почтение, – и приподняли картузы.

Машинист, кряжистый, раздавшийся, как будто ему было тесно в маленькой железной будочке, хмурый, с лицом в складках изношенной, дряблой кожи, тоже слегка подернутой налетом масла и копоти, ничего не сказал, отвернулся, взялся слегка дрожащей рукой за кран, и паровоз, точно прорвавшись, с озлобленной радостью, дрожа от нетерпения, зашипел так оглушительно, кутаясь в облаках пара, что бродившие поодаль куры со всех ног пустились к деревне.

Как бы удовлетворившись, этим бешеным, все покрывшим, переполнившим платформу шумом, рука повернула в другую сторону, и в мгновенно наступившей зияющей тишине, в

которой точно поплыла вся платформа, изда- лека, с весенних, пахнущих, необъятно зеле- неющих полей, где происходило: свое, донес- лось тоненькое испуганно-звонкое ржание отставшего жеребенка. Мать откликнулась коротко и спокойно. Тарахтели поскрипывав- шие в осях и, должно быть, пахнувшие дегтем колеса.

Слесарь, переминаясь, сдвинул картуз на затылок, потом ссунул опять на лоб.

– К вашей милости, Никандр Алексеевич.

– Да это ты, Иван?

Хмурые, отвыкшие улыбаться складки по- ношенной кожи снисходительно шевельну- лись.

– Я же, я... я... и есть... это – товарищ, то- карь.

– Откуда?

– Да грешным делом на праздничек урва- лись в деревню. Сами знаете... Опять же в конторе печенег-народ, билета, удавятся, не дадут... Сами ездют бесперечь, а для нас так, как родить им. Сделайте милость, возьмите.

Машинист достал бумажный портсигар, нежно взял папиросу большим и мизинцем,

обмял, закурил и стал пускать дым, глядя на кончик носа.

– Кабы не срочно, а то срочно... безотлагательно в депе кончить работу ко вторнику.

– Главное, срочно, – неожиданно тонким голосом, так не шедшим к его тощей длинной фигуре, неизвестно чему засмеялся токарь, с побежавшими вокруг глаз лучиками, и сразу опять стал серьезным, глядя в сторону, точно его все это вовсе не касалось, – длинный, серьезный, с потухшими лучиками.

Помощник машиниста, молодой, широкоплечий, со впалою грудью и такими же впалыми, густо занесенными угольной пылью щеками, повернувшись спиной, точно молча осуждая весь этот разговор, неодобрительно лил из длинной лейки масло в парившие тонко таявшим паром сочленения паровоза.

– Штрафуют нас, – хмуро выронил машинист и густо выпустил дым, скупясь на лишнее слово.

– Сделайте милость... Кабы не к сроку...

– Главное, к сроку, – засмеялся длинный с засветившимися лучиками и замолчал, и лицо опять стало длинное, костлявое, лошади-

ное.

– В поезде что же?

– Контроль! Спрашивали обер... Сами бегают, не знают, куда зайцев девать... Одно-го положили на скамейке, покрыли одеялом и велели сесть мужикам... Ну, он лежал, лежал, упарился, да как заревет боровом на весь поезд, публика с испуга кто куда... Смеху было...

Отчетливо трижды медно ударил колокол. Засвиристел обер-кондукторский свисток. Платформа опустела; только краснела шапка. Паровоз густым, низким голосом отозвался.

– Никандр Алексеич... кабы не срочно... срочно... будьте добры... мастер-то главный – собака, беспрременно к штрафу...

Он торопливо спешил выложить, чтобы поспеть, пока не ушел паровоз, все слова.

– Ну, лезьте... да зайдите с другой стороны, чтоб не видать.

Они торопливо, искоса глянув на красневшую издали шапку начальника, обежали широкую, приготовившуюся к бегу грудь паровоза, от которой несло жаром, и торопливо, цепляясь, как обезьяны, взобрались на площадку.

В мгновенно наступившей тишине паровоз тронул, густо с металлическим выдохом дохнул клубом белого пара и двинулся, со скрежетом раздвигая под ногами железо площадки. Побежала платформа, побежала назад земля, сбегавшиеся в одну пару рельсы; но далекие зеленеющие поля на краю под самым небом бежали вперед. Уже ветер побежал навстречу. Уже шпалы безумно неслись под ненасытно пожиравший их паровоз.

Неукротимый, клокочущий железный грохот тяжело метался, не отставая, над паровозом, то больно выделяясь в ушах отчетливым клетотом колес, то потрясая мозг, слух, задыхающуюся грудь лязгом сотен тысяч железных пудов.

На площадке было тесно, жарко, грязно от угля, крутились вихри вырывавшейся из-под колес пыли, – и люди, и железо, и уголь шатались, кидаемые из стороны в сторону.

Слесарь и токарь, оглушенные, с усилием удерживая под ногами со скрежетом ходившую площадку, цепко держались, прижимаясь к стенкам, все боясь помешать.

Машинист бегло глянул на водомерную

трубку:

– Качайте, – и, выставив слегка голову под бешено несущийся навстречу воздух, глянул вдоль пути.

На секунду мелькнуло привычное: бесконечно вытянувшиеся по нити чернеющие рельсы, и все, что несло вдоль них – березки, столбы, овраги, дальние поля, – все издали бежало медленно, но чем ближе – быстрее, быстрее, быстрее, в шумящем разорванном воздухе проносясь у паровоза, как и пожираемые им, сливающиеся в мелькании шпалы.

Машинист, все такой же хмурый, проговорил:

– У нашего деповского начальника, говорят, жена сбежала.

Но в железной будке, ни на секунду не слабея, с искаженной злобой, все покрывая, бешено метался грохот, и слесарь и токарь только видели, как шевелились под усами у машиниста губы.

– Ась?

Помощник сильными, молодыми, размашистыми движениями глубоко забирал железной лопатой уголь и кидал в разинутую

топку, нестерпимо обдававшую ослепительным жаром и людей и железо.

Слесарь и токарь все жались и сторонились, но податься было некуда, и перед глазами шли красные круги.

Помощник с размаху захлопнул загремевшую, мгновенно потушившую красный блеск дверцу, и люди легче вздохнули. Грохот метался.

– Тепло, – проговорил слесарь, чтоб поддержать разговорено и сам не слышал своего голоса. – Тепло, говорю, у вас! – закричал он диким голосом, поглядывая на всех.

Ему не ответили.

Помощник отирал со ставшего пепельным лица крупные капли пота, размазывая уголь, грязь и масло.

– Соблаговолите? – И слесарь осторожно потянул из кармана и, спохватившись, что не слышит своего голоса, опять закричал диким и заискивающим голосом: – Соблаговолите, Никандр Алексеич! – и снова потянул из кармана полезло горлышко с красной печатью сверху.

Машинист бегло взглянул на манометр, на

водомерную трубку, присел на крошечную откидную железную лавочку и закрыл глаза. Складки кожи на лице еще больше собрались, голова свесилась, и все осунувшееся тело слегка покачивалось от хода машины.

Помощник, наклонившись в окошечко, глядел на несшийся навстречу путь, и волосы на голове буйно рвались и трепетали.

Слесарь держал бутылку, протянув машинисту, недоумевая и находя неловким начинать без хозяина. Ему казалось, сквозь мечущийся грохот и гул он слышит, как тот подсвистывает мирно носом. Оглянулся на товарища, – тот так же покачивался, держась за скобку, со своим полуудивленным длинным лицом, думающим о своем.

Слесарь крякнул, хлопнул снизу ладонью – выскочила пробка. Запрокинув голову, торопливо проглотил несколько глотков.

– Угощайтесь, пожалуйста.

Но помощник по-прежнему не оборачивался, и встречный ветер трепал его волосы.

Слесарь забывал и о грохоте, и о движении шатающегося паровоза, и только когда подымал глаза, поля летели мимо, и когда говорил,

не слышал своего голоса.

Длинный тоже глотнул неуклюже и, играя кадыком, запрокинул голову.

– Вон, сказываете, у деповского жена сбежала. Да у меня у самого сбежала! – проговорил он, отдавая бутылку, и вдруг засмеялся, но сейчас же лицо опять стало лошадиным и длинным, а глаза красные и беспокойные.

Машинист открыл глаза, хмуро глянул на бегущий путь, как будто хотел сказать: «Знаю, знаю... как раз то, что нужно» – и отер лицо, точно снимая паутину усталости после минутной дремы, и складки лица чуть-чуть разгладились.

– Ну-ну, давай, что ли, – протянул он слегка дрожавшую руку.

– Соснули трошки, Накандр Алексеич? – И слесарь услужливо подал бутылку, достал из кармана и положил на бумажку соленый огурец.

– Да ведь по-лошадиному... разве это служба! – злобно играя мускулами черных от сажи щек, проговорил помощник. – Девятнадцать часов с паровоза не слезает... и почти что каждый день так.

Слесарь вдруг открыл секрет: не надо напрягаться и кричать в этом без устали дико-мечущемся грохоте, а только смотреть на лицо и губы говорящего – и схватывать с полуслова. Оттого машинист с помощником так странно спокойно, не торопясь, разговаривают.

– Да, вот как женишься, да будет дочь в гимназии, будешь и по двадцать девять не слезать с паровоза.

Но помощник, словно не желая продолжать, снова с грохотом распахнул железную пасть, уронившую на всех красный отблеск сжигающего жара, и стал напряженно кидать уголь, роняя с побледневшего лба капли пота.

– Убежала!.. Что ни делал, бил, вязал, за волосы возил по полу, – ни-и-чего: как будто не ее... опять возьмет и убежит...

Лошадиное лицо с тоской, с болью и изумлением обернулось и посмотрело на всех.

– Домик у вас на Воскресенской? – проговорил слесарь, хрустя откушенным огурцом и чувствуя, как в грохоте, в гуле, с лицом, окрашенным отблеском палящего жара, машинист спокойно и вкусно хрустит. – Под желез-

ной крышей, хороший домик.

– Вот он у меня где, этот домик, – машинист хлопнул себя по шее, – для него и живу, для него с паровоза не слезаю. Вон руки у меня уж трясутся, а мне всего сорок второй. Годов пять подержут, а там скажут: «До свиданья, слезай, наездился», а дом-то заложен.

– И бил и за волосья таскал – ни-и-чего!..

– Разве дома для нашего брата?.. Дома для нашего брата – камень и смерть. – Помощник, только что с железным стуком потушивший палящий жар захлопнувшейся топки, злобно запрокинул голову и жадно глотнул водки. – Наш брат должен быть, вольный, как ветер в поле, куда хочешь, вот!.. А то – до-ом, гимназия!.. А почему?

Точно во всем был виноват слесарь, помощник повернулся к нему худым, со втянутыми щеками, постарелым лицом, нарочно, чтобы подчеркнуть его виновность, не закусывая после горькой водки и глядя злыми глазами.

И слесарь повинился и, сделав заискивающее лицо, проговорил:

– Действительно.

Должно быть, смягчил. У помощника лицо снова стало молодым, и было видно, что оно – голое и безусое; что-то мягко прошло по нему, точно сняло нагар, копоть и грязь, и глаза влажно подернулись ласковостью и грустью.

– На пасху прихожу в церковь, – он глядел куда-то мимо слесаря, – а она вся в белом, цветы в волосах, тоненькая, как хворостинка... Я стою... пиджак на мне – коробом, цельную неделю мылся, не мог морду оттереть, въелось все... стою и не знаю, не то на алтарь молиться, не то на нее. А около нее гимназисты, студенты... куда уж нам!..

В первый раз за все время неподвижные складки каменного лица машиниста тронула улыбка, и оно стало иным, точно мягкоглянул другой человек.

– Дочка – ничего, дай бог всякому... хоть в генеральский дом, не побрезгают...

Лицо помощника исказилось злой судорогой и опять постарело залегшей между искривленными бровями складкой.

– Думаете, долго вас железная дорога продержит? – руки вон трясутся... Выкинут, не беспокойтесь, а тогда ей... – и он закричал

визгливо сорвавшимся голосом, – в прости-
тутки?!

Машинист грузно, как каменный, пошат-
нувшись, поднялся:

– Ннну!! Т-ты!!

Помощник на секунду закрыл ладонью
глаза, потом схватил бутылку и, быстро и
жадно запрокинувшись, сделал три огромных
глотка.

Слесарь сидел согнувшись. Холодный, про-
бирающийся страх охватывал, покалывая в
пальцах. Как будто в первый раз увидел, что
все пьют водку, что никто не смотрит на несущийся навстречу путь, что машина в грохоте,
в дыму несется, слепая, ничего не видя, безум-
ная.

Мелькают поля, проносятся березки, теле-
графные столбы, а тут пьют и закусывают,
как будто забыли о мелькающих навстречу
рельсах, и сквозь грохот и мелькание слы-
шится торопливое и предостерегающее:
«Клы-клы-клы!..» – голос сотни колес, которые
неустанно и торопливо твердят позади: «Мы
за вами... мы за вами... КЛЫ-КЛЫ-КЛЫ-КЛЫ...» –
покорно и все одинаково.

Слесарь ненужно щупает вокруг себя как будто побелевшими глазами, хочет побольше вдохнуть, но не может и, хоть в чем-нибудь стараясь найти выход и смягчить положение, говорит, заикаясь:

– Она сама... то есть знает дорогу... машина-то...

– А-а... черт с ними... – И помощник злобно отмахнулся от кого-то рукой.

Тут, в виду этих спокойных каменно-темных лиц, в виду этой непрерывной, дьявольски-грохочущей, пышущей жаром работы, слесарь забывает про угрожающую ему самому опасность. Леденящий холод заливает мозг, когда он прислушивается: «Клы-клы-клы». Полтысячи человек назади спокойно сидят, лежат, разговаривают, спят, смеются, ни о чем не думая; ничего не подозревая, а тут, шатаясь от безумной силы, оставляя после себя разорванный грохот и дым, несется машина, молниеносно работая сочленениями, несется слепая, темная, невидящая. Выпивают, закусывают огурцами... «клы-клы-клы-клы...» Несется к какому-то темному, немому, черно разинутому оврагу, который жадно бе-

жит перед самыми передними колесами, постоянно убегая, и о котором непрерывно твердит сотня покорно бегущих позади колес: «Кды-клы-клы!..»

– Вон в прошлом году в разлив около реки пассажирский поезд на всем ходу, – впалое лицо помощника опять постарело искривленной складкой между бровями, – рельс и разошелся, поезд по уклону и пошел в воду. Машинист, молодой парень, – ему бы соскочить – уцепился, стал тормозить. Паровоз все глубже в воду, а он тормозит да пар выпускает, чтобы не взорвало. Ну, остановил. Вагоны все целы, никто из пассажиров шишки не набил, а он очутился по горло в воде. Кричит. Ноги-то ему в воде тендером прижало. Ухватился за скобку, выставил голову; устанет, начнет опускаться, захлебывается, опять подтянется из последнего, выставит рот над водой, только слышно: «Братцы!.. братцы!..» А эти братцы спешат, выволакивают багаж, вещи из вагонов, дамы кричат: «Дети простудятся, дети...» – кутают их, а тот дурак все свое: «Братцы, братцы!» Рабочие рассказывали, которых вызвали со станции, слеза про-

шибла. Под конец кричать перестал, выглянет из-под воды, только глаза одни, полные смерти, и опять скроется. Ну что ж, на другой день достали, синий весь...

Он замолчал, не то мгновенный грохот пробежавшего под колесами мостика прервал.

– Да ты бы, говорю, пеленочки постирала, да хату бы подмела, да вечерять бы приготовила – знаешь, муж с работы вернется, с устатку поесть захочет, и все хорошо, и славно, а она убежёт!.. – И смотрят удивленные, растерянные глаза: так просто хорошо и счастливо можно устроить жизнь, и все так бессмысленно, ненужно, тяжело и трудно.

– Молодую взял, другую, для детей... девять человек их у него от первой жены, – пояснил слесарь, все так же съездившись, так же каждую секунду ожидая какого-то потрясающего, грохочущего удара и несчастья.

«Клы-клы-клы-клы...»

«Дети простудятся...» Так бы иной и пустил их всех под откос или с моста...

Помощник прибавил грубое ругательство и стал кидать в заблеставшую топку уголь.

Под пеплом угрюмого, сосредоточенно-хмурого спокойствия этих подернутых маслом и сажей, точно чтоб скрыть боль и судороги живой души, лиц тлело вдруг готовое взрывом подняться человеческое негодование.

Тесно, узко и душно на крохотной, со скрежетом то сдвигающейся, то раздвигающейся железной площадке; но просторно для усталости и измученности, и, казалось, еще хватит места для горя и тоски – потеснится все заполняющий грохот.

«Клы-клы-клы-клы... Клы-клы-клы-клы...»

Слесарь чувствует – измучился, истомился этим непотухающим ожиданием.

– Нет, у нас в дepe лучше, – говорит он с извиняющейся улыбкой, – отработался, да и домой.

Машинист и помощник разом, как по команде, поднимаются и глядят с обеих сторон в оконца.

– Я те... я те... а... эт... ваа...

Но несущийся навстречу ураган срывает и уносит слова, которые не разберешь; только видно, как грозит кому-то черным кулаком

машинист; уносит и незакрытый переезд, и закинувшуюся от испуга лошадь, накренившуюся телегу, и на секунду мелькнувшую виноватую фигуру путевого сторожа.

И опять тот же грохот, тот же скрежет железной, ходящей под ногами площадки; так же тесно, грязно, удушливо, и пышет жаром, и кидает из стороны в сторону, и все дрожит и трясется безумной тряской неперестающего бега, и несется мимо ураган.

«Клы-клы-клы... клы-клы-клы-клы...».

Но теперь голос сотни бегущих позади колес клокочет спокойно, уверенно и покорно. Разинутый черный овраг пропал. Глубокий покой и уверенность разливаются по измученной, истомившейся ожиданием душе слесаря. То, что оба они, и машинист и помощник, разом, не глядя на путь, поднялись именно там, где нужно, точно камень свалило. Слесарь почувствовал: за беззаботностью и равнодушием этих хмурых неподвижно-каменных лиц живет постоянное, ни на секунду не потухающее напряжение, от которого без усов приходит старость, и в сорок два года трясутся руки, и человек – развалина.

«Клы-клы-клы-клы!..» Ничего, машина знает свое, и люди знают свое...

Где-то в темной глубине их души неосознанно, вместе с бегом машины, ни на секунду не потухая, бежит навстречу полотно со всеми знаками, закруглениями, уклонами, будками, столбами. Даже сон весь наполнен этим неукротимым бегом и мельканием.

С обеих сторон проносятся широкие поля, сверкающий воздух, деревни, люди, животные, птицы и звуки со своей особенной ласковой неспешной жизнью, а эти двое с хмуро-темными лицами ничего не видят, не слышат и живут в тесной, узенькой, душной будочке, в урагане крутящейся пыли, жара и грохота, в непрерывном мелькании, непрерывном скрытом напряжении, что бы они ни делали; и так сутки, недели, годы, – так вся жизнь, будто нет другой жизни.

«Клы-клы-клы-клы...»

Машинист то взглядывал на несущийся путь, то на водомерную трубку, то присаживался и на минуту заводил глаза, узким белком глядя из-под незакрывшегося века.

Помощник кидал уголь, качал воду, тоже

взглядывал на беспрерывно пропадающие под паровозом рельсы, присаживался к бутылке, – и, шатаясь и кутаясь в грохоте, неслась слепая машина.

Слесаря стало одолевать. Сидит он на корточках, тесно и неудобно, и вдруг все поплывет, мягко и грустно, и мучительно хочется лечь и опустить голову, и где-то далеко-далеко слабо и ласково бежит замирающий клеткот колес: «Клы-клы-клы-клы...»

И вскинется:

– А?

Тот же грохот, и теснота, и буйно кружится угольная пыль.

Слесарь встряхивает головой, избавляясь от дремоты, взглядывает на пустую бутылку и говорит ухмыляясь:

– Еще есть... запас, – лезет в карман, и оттуда не спеша вылезает горлышко с красной печатью.

– Будет, – хмуро говорит машинист.

Слесарю хочется сделать или сказать ему что-нибудь приятное в благодарность за то, что взяли, и еще за то, что освободили от давящего ожидания и страха.

– Вам бы, Никандра Алексеич, какую-нито другую работу взять. Чижало уж очень тут. Вон надысь купец Корытин искал машиниста – мельница у него паровая. И жалованье хо...

Осекся. Машинист страшно задвигался, и сквозь неподвижно-пепельные черты тяжело пробивалось волнение.

– Будет те молоть-то... балабола... дай-кось сюда.

Взял бутылку и проглотил много, как воду. Смутный румянец лег на пепельную кожу. Он передохнул и, как бы вдавливая воспомина-ния назад, крепко и широко потер лоб.

– Нельзя мне... нельзя мне, – заговорил он, подавшись, – не могу бросить... Вот в этом самом... в этом самом паровозе человека я сварил!..

Он поглядел вокруг себя, точно ища чего-то и все так же тяжело и сдерживаясь дыша.

Слесарь не знал, как ответить, крякнул и тоже потянул из бутылки.

– В депо поставили паровоз в ремонт. Слесарь был, вот так, как ты...

– Ну так, понимаю... – слесарь утвердительно мотнул головой.

– К рождеству. Каждый старается загнать лишнюю копеечку.

– Известно, к празднику-то.

– Вот и он... работал день и ночь не в очередь... спал часа по два в сутки. Глянешь, а он белый, и ноги, как мочало. «Кончаю, говорит, Никандр Алексеевич», сам улыбается, устал, стало быть. Потом нету его, ну, думаем, ушел домой, кончил. Велел я помощнику воду пустить, затопить. Затопили. В депо стук, гром, разве слышно?..

– Где уж!..

– А он, слышь, залез в котел кончать, да и уснул, устал...

Машинист глядел, раздув ноздри, трудно дыша.

– Гляди, бился, кричал, где уж слышать, – проговорил слесарь, чувствуя, как хмель слезает с него.

– Две недели в пути были, ходили с поездами. Баба его все в депо ходила, все слезы проплакала – нету мужа, куда ушел – никто не знает. Праздник прошел, а его нету. Ну, верну-

лись опять в депо, через две недели, выпустили воду, полезли в котел, а там... косточки белые... одни косточки, ни мяса, ни одежды, ни глаз, ни хряща... бе-елые... одни косточки...

Он наклонился, дыша в самое лицо, глядя широкими неподвижными глазами.

Все четверо помолчали, нечего было прибавить, точно постояли над свежей могилой с непокрытыми головами; только грохочущий гул ревел и метался куда попало, длинный, слепой и, должно быть, косматый, отпевая свою железную воющую панихиду, всегда одну и ту же, такую простую и такую непонятную и загадочную людям, и сквозь него спокойно, уверенно и покорно:

«Клы-клы-клы-клы...»

Помощник, искоса и хмуро глянув на расолодевшего, опустившегося, плескающего в дрожащей руке водку машиниста, делал теперь сам все.

– Не уйду я отсюда... не уйду, покуда не прогонят, али голову сложу, не уйду от его могилки. Давали курьерский водить, да на другой паровоз надо, нет, не могу...

– Я то и говорю, то и говорю, – бросил по-

мощник, – убью без следа и следствия... камня на камне от башки твоей не оставлю... ей-богу!

– Убьет!.. Он убьет, – такой!.. – подтвердил спокойно слесарь.

Поражая слух даже среди грохота несущегося поезда, заревел паровозный гудок. Мощник, глядя, наклонившись, в окно, тянул веревку, и белый пар клубками бурно рвался над свистком. Загремели колеса на переходе, мелькнула стрелка, другая, проплыл семафор.

Машинист поднялся. Безразличное, хмуро-равнодушное выражение село на серое лицо. Положил руку на регулятор, глядя на бегущую навстречу водокачку и платформу... Станционное здание... красная шапка на платформе. Земля, вся запорошенная углем и исчерченная рельсами, шла мимо тише и тише. Вагоны, навалившись друг на друга, толкнулись, звеня буферами, – поезд стал...

Двое, тщательно спрятав пустые бутылки, слезли с паровоза.

– Покорно благодарим. Счастливо оставаться, Никандра Алексеич! – и пошли по путям, не оборачиваясь и о чем-то разговаривая.

Публика суетилась на платформе, потом успокоилась. Гуляли вдоль вагонов, иногда подходили к паровозу, глядели на его отдельные части и слушали, как, сдержанно подавляя бунтовавшие внутри силы, дышал. Глядели на этих спокойных, с серыми равнодушно-каменными лицами людей, спокойно делавших в будочке что-то свое, важное и недоступное другим.

Впрочем, паровоз был, как все паровозы, и отличался только номером: 314-Б.

На реке*

1. Старик и я

Все та же играющая полуденно-знойными Вискрами река.

Все так же выбегает она из-за ярко зеленющих островов, из-за знойно желтеющих песков, из-за светлой дали, – светлой, как неуловимо светлое лицо ее глубины, откуда смотрятся чуть колеблемые незримым зеркальным колебанием опрокинутые старые-старые, морщинистые, космато-поросшие горы, которым – тысячелетия.

А над ними – изрытые белые облака. Кто-

то нагромоздил их торопливо, неаккуратно, кое-как, – дескать, после обглажу, – да за недо-сугом так и бросил, и они недвижимо глядят, иссера-белые, и, как и все, трепещут в воде чуть приметным белым трепетанием.

Мы дружны со стариком.

Он откидывается, жилисто напрягая руки, и при каждом движении открывается из-за посконной рубахи коричневая, с седыми во-лосами грудь его и с вырывающихся из осле-пительной воды весел на секунду дружно па-дают, золотясь, торопливые капли. У меня давно кровавые мозоли на руках, и я не чув-ствую угрызений совести.

Бежит вода, бежит черно опрокинутая в ней лодка, бегут извилисто колеблемые зеле-ные дорожки отраженных с берега деревьев.

Только солнце неподвижно над нашими головами, над играющей отблесками рекой, над шевелящимися в воде стекловидными морщинами гор, – царственно-неподвижно в знойно сияющем одиночестве.

Иногда ссоримся со стариком.

– Куда ты все лезешь на середину? Говорю: ближе держи к берегу.

А он гребет жилистыми напряженными руками, боком то в ту, то в другую сторону, поглядывая на водную дорогу, молча, как будто это пролетела птица или упал прибрежный камешек, или плеснуло у борта, а не мои слова, не звук моего голоса.

В носу лодки плещутся, разбегаясь, говорливые струи, рассказывают о давнишнем, забытом, имеющем отношение и к этим горбатым, угрюмо-косматым горам, к белеющему, намытому водой, тонкому песчаному бордюру, к моей жизни, к жизни старика, – рассказывают, но я не знаю о чем и не могу вспомнить.

– А то, – говорит, подняв оба весла, старик долго спустя, когда я уже перестаю ждать ответа и забываю, о чем говорил, – на стрежне этта надо ехать; как вниз, несет шибче, а как ежели вверх, бережком держись, – у берега не так держит вода.

Жилистые руки снова закидывают бурлящие весла.

– Да ведь некуда спешить-то, – смеюсь я.

Он работает так же аккуратно, сосредоточенно, сурово.

Мы едем без цели, пристаем где понравится, вытаскиваем лодку, стоим сколько вздумается, варим уху или просто молчим, но старик всему придает деловитый характер. Если едем, – гребет в полную силу, а когда моя очередь, – строго следит за мной. Когда стоим, возится с костром, сращивает порванные веревки, чинит борта лодки или латает изорванные порты, спустив над водой старые, поросшие, худые ноги.

На пристани, где я его взял, он перевозит народ на другую сторону, или катает по реке, когда баре приезжают из города на пикники, или ставит крючья на стерлядей, либо тянет сети.

Лодка у него старая-престарая, как и он, вся в заплатах, черная от смолы и похожая на него каким-то неуловимым сходством, – сжились за десятки лет, как будто родня. И та же на ней печать деловитости.

– Дедушка, сколько тебе лет?

Чайки, как подхваченная бумага, косо носятся, белея над отмелями.

Старика не чувствуешь отдельно. Как будто он рос-рос, тянулся-тянулся и разросся в

эти старые, морщинистые горы, в эту старую, морщинистую прозрачными морщинами реку, на другой стороне которой – баржи, как черные букашки, а лес, как трава, в белые отмели, в бесконечные луга, где в камышах озера кишат утки, бекасы, кулики, всякая водяная птица, косят, сверкая, мужики, а под кустами бесчисленно краснеет необираемая ягода.

Отражаясь в зеркальной оправе, зеленеют острова.

– ...Э-э-э-о-э-э... мо-о-о-ло-о-од-ка-а-а... кра-ра-сна-а... пта-а-а-шеч-ка-а-а...

И горы долго повторяют: «...а-а-шеч-ка-а-а...»

Баржа медлительно-важно проплывает, как и все, зеркально чернея в воде опрокинутым изображением.

На палубе наворочены колеса, станы, оси, кадки, дуги...

– ...Пта-а-а-шеч-ка-а... на зо-о-о-орь-ке-э-э... да на-а я-а-ас-но-о-о-ой...

Все дальше и дальше, слабей и слабей по сверкающе-дремлющей влаге.

И, точно боясь оставить грустное, печальное и нежное воспоминание, доносится ци-

ничная брань:

– Бери... тебе говорят... на правый борт!..

И уже только пятнышко чернеет, уже точка, уже расплылась и потонула в прозрачной водяной дали.

Только горы, вода да зеленая полоска ивняка на том берегу.

Пустынно и тихо. Мы одни со стариком. Над головой в одиноком полуденно-знойном сиянии – царственное солнце.

– Да так, что лямками еще тягали по берегу баржи. Помню. Мальчонком был. При мне и пароходы начались.

Пустынно и тихо, но я полон какого-то важного, нового, необходимого и беспокоящего дела. Надо скорей вобрать в себя и горы, и реку, и солнце, и это чудесное одиночество в полуденном зное после того... ну, того, что там, сзади, о чем не хочется думать и вспоминать. Грести, скорей грести!

– Дед, весла!

Куда? Не все ли равно.

2. В ожидании

Мы гресли, и лодка бежала, и вода любовно мыла борта, чуть слышно булькая.

За дальними вербами луговой стороны сверкнет крест, блеснет белая колокольня, а тут насупились зелено-косматые горы. И вдруг расступятся лесистым ущельем, и глянет серыми избами, серой улицей деревня. И опять все уплывает, отстает, меняется, то скалистым обрывом, то мохнатой лесной шапкой.

И я жду, вот-вот откроется... Что? Не знаю.

Бегут берега, открываясь на поворотах дымчатой далью, и пропадают за хмуро выступающими назад мысами. А я жду.

Все то же. Мы пристаем, наполовину вытаскиваем лодку, и уже тонко и дрожа возносится к чистому небу голубоватый дымок коистра.

Теперь все неподвижно и знакомо кругом. Справа зеленым чубом свесился обрыв, и белеют местами кости известняка. Слева разлеглось ущелье, мягко поросшее орешником, точно ложе для непришедшего великана.

Неподвижен и тот берег, узко зеленеющий полоской ивняка. Зато во всю ширь мимо нас плывет река. Все та же она и каждую секунду неуловимо меняется. То вспыхнет разбегаю-

цимися кругами, то засеребрится длинными, тонкими, сглаживающимися жгутами; темно глянет зияющая глубина; кто-то дышит, – водяной обитатель, и по поверхности весело вскакивают и лопаются пузыри.

Выплывает из-за поворота пузатая рассевшаяся барка, доверху груженная лесом, торжественно проследует мимо и скроется за поворотом. Тяжело, колонной, вдавившись в воду, проплывут плоты, и флажок треплется на короткой мачте. Пароход пропыхтит. Мелькнет рыбацья лодка.

Во всю ширь плывет мимо мощная река, и я жду, вот-вот вывернется, выплывет из-за поворота... Что? Не знаю.

Старик чистит ножом стерлядок; они – живые и конвульсивно трепещут.

Когда юношески билось сердце, так же ждал, ждал, что встанет что-то огромное, светлое, как облако, неведомое... Сегодня, завтра, через неделю, через месяц... Дни убегают...

Я не хочу думать и вспоминать... Красива эта ширь, этот покой, эта безоблачная высь.

– Эй, старик, скоро уха?

Как началось?

Боже мой, но как начинается у тысяч людей.

Ходил по свету и искал счастья. И когда встречался с женщиной, взглядывал в глаза: не она ли? Нет... Ходил по свету и искал счастья.

Бежали над землей облака, бежал над улицами городской шум, торопились люди в канцелярии, в конторы, по учреждениям, работали, писали, считали, торговали, ссорились, пили... День за днем, как железнодорожные станции, мелькали дни... И я работал, писал, добивался славы, и искал счастья, и искал счастья.

Нет, не она...

Счастье – ведь это то, что бессмысленно случайностью. И несчастье бессмысленно.

– Уха, говоришь, готова? Ну, я, знаешь, что-то на того; ешь пока сам; я – после.

– После! Это – не дело, непорядок. Сварил – садись, ешь. Порядок должен быть.

Но разве мало встречал милых девушек?

Встречал, и все не она, – нет, не она.

Искал богатства?

Нет.

Неописуемой красоты?

Нет.

Необыкновенного, изумляющего всех ума?

Нет.

Так чего же?

Счастья.

В чем оно?

Не знаю.

Встретил девушку. У нее было милое, чудесное лицо, умные глаза. Сердце торопливо било тревогу. Но... но эта бородавка под глазом, – маленькая, меньше мухи бородавка. И от нее между нами тянулась линия отчуждения, которую никак не мог переступить. Маленькая бородавка...

Это глупо, это очень глупо, я понимаю, и всякий умный человек понимает. Считайся с внутренним душевным строем, с красотой, с умом, с характером... Да, да, маленькая бородавка!..

Мы расстались. У девушки в печальных глазах дрожали чудесные слезы... И опять я ходил по свету и искал счастья.

Дни мелькали, как верстовые столбы. Ино-

гда просыпался среди ночи и со страхом, с ужасом смотрел во тьму. Ведь беспощадно убегает жизнь, молодость, «и потом не вернуть ее вновь...»

Боже мой, ведь это предстоит чиновничья женитьба! В конце концов ведь женюсь же. Женитьба после двадцатого числа, тщательно выбрившись, с благословения мамыши и разрешения начальства. Женюсь потому, что *нужна жена, нужна*женщина, женюсь потому, что я – мужчина.

А счастье? А счастье, трепещущее, неожиданное, стыдливое? Счастье, которое загорается, как тонкий золотистый край прозрачного облачка на рассвете?..

– Чего везете? – кричит старик, и дымится уха в деревянной ложке, которую он несет ко рту.

Разом опуская весла и откидываясь, гребут двое. Они не смотрят на нас и, напрягаясь, изо всех сил гонят мимо шумящую водой лодку. На корме мальчик лет десяти правит и глядит на нас голубыми, как васильки, глазами.

– Чего везете-то?

Посредине лодки протянулось что-то во всю длину, покрытое рогожей. Не разберешь что, но почему-то не оторвешься от этих неподвижно-неуклюжих, молчаливых контуров жесткой рогожи.

И голос мальчика:

– Мертвый.

Дымящаяся ложка старика останавливается на полпути.

– Утопший?

– Не... Бурей надесь разбило плоты, так плотовщика бревнами...

Лодка все дальше и дальше. Чуть видна рогожа. Те, все так же напряженно откидываясь, гребут торопливо.

Старик стягивает губами с ложки, кладет ее на край котелка и, повернувшись в ту сторону, где давно, еще когда мы ехали, блеснул крест теперь невидимой колокольни, крепится.

– Царство небесное и вечный покой.

Потом опять принимается за уху. Мы опять одни со стариком. Печален крик чаек над отмелями.

Река по-прежнему плывет мимо во всю

ширь, все та же и поминутно меняясь.

Я сижу и гляжу на поворот, откуда она светло выбегает, на поворот, за которым пропадает, и жду. Чего? Не знаю.

3. Перед рассветом

Когда я проснулся, была ночь, не было звезд, стояло молчание, и я заснул.

Я проснулся во второй раз; стояла все тьма и молчание, и я заснул.

И в третий раз проснулся, – все была тьма.

Я натянул куртку, вылез из наполовину вытянутой на песок лодки и стал ходитьazole по берегу взад и вперед, осторожно хрустя невидимым под ногами мелким голышом, около невидимой лодки.

Это в первый раз, что я встал раньше деда, – он поднимается с первым пробивающимся отсветом зари.

В неподвижном молчании – ни гор, ни реки, ни всплеска. Я хожу взад и вперед.

*...И лучших дней воспоминанья
Пред ним теснились толпой...*

Днем одиночество и ночью – вещи разные. Днем живешь настоящим, живешь солнцем,

живешь далью, дышишь тихим дыханием гор, и ждешь, и все ждешь чего-то из-за поворота светлеющей реки. Ночью – один, ровно и пусто кругом, и только открыта смятенная душа и полна образов прошлого.

Как в черной раме, среди мрака золотистый узел волос... гордая головка... большие, затененные глаза...

Это было коротко и страшно просто. Как только встретились, как только взглянули друг другу в лицо: «Да, она!..» Как будто годы жил, как будто все поступки, мысли, слова – все, все вело к тому дню, когда незнакомые, никогда не выдавшиеся, взглянули друг другу в глаза и стали родными, близкими, знавшими друг друга еще до рождения.

«Дорогая моя... дорогая!..»

«Милый!..»

И не было в том, что узнали друг друга никогда не знавшие люди, ничего странного, необычного. И в то же время все стало необычное: люди, улицы, небо, поступки, слова и голоса людские, и самый день и ночь. Тонкий, золотистый, все охватывающий туман...

«Дорогая моя!..»

«Милый!..»

Все было прекрасно: поворот головы, гордый профиль, сдержанность, редкая улыбка и изредка заразительный смех и... и маленькая черная бородавка под Глазом... да, да, представьте...

Все было прекрасно: и голос и мысли... Тонкий золотой туман...

Что это невыносимо хрустит так в темноте? Ах, это я бегаю около лодки, и хрустит голыш. Буду тише ходить, тише...

Не силуэты ли гор неуловимо проступают в редющей мгле? Не смутный ли, теряющийся предрассветный крик проснувшейся птицы? Нет, все – ночь, все – тишина.

Что бы ни делал, что бы ни говорил, а «она»? Беру извозчика; он сидит спиной ко мне, дергает вожжами – чудак! – и не подозревает, кого везет. Я ловлю на улице отдельные слова, фразы, – ведь это о «ней» говорят?

В театре все сидят спиной к сцене и смотрят по направлению к ложе, где «она». Все, что живое, тонкими, неосязаемыми нитями паутины тянется к тому месту, где «она».

– Любишь?

– Люблю!.. Дорогая моя, люблю больше жизни, больше правды... Я не знаю, что бы сделать, чтобы доказать: разбиться головой о стену, прыгнуть с двадцатисаженной высоты... Нет, постой, не смейся, я... я сделаю, изобрету, напишу или еще что-нибудь, чтобы обо мне заговорили во всех углах, чтобы человечество вздохнуло и благословило меня, чтобы слава моя зазвучала... А я закричу: «Глупые! Это – во имя *ее*, это – ради *нее*, это – только для *нее*!»

Смеется!..

Но разве это было смешно? Когда она сказала «да», когда сказала: «Да, согласна», я не бросился к ее ногам, не обезумел, не умер от счастья, потому что поразительно было не это, а то, что два человека, не подозревая, среди миллионов людей нашли друг друга.

Мы стояли у подъезда ее дома, куда я проводил ее с вечера. Всюду лежали голубоватые лунные тени. Не трепетали листья тополей.

Так просто это: «Да, согласна», – в чем заключалась целая жизнь.

Давно выбралась из-за домов луна и укоро-

тились тени, а мы все стояли друг против друга, и говорили, и смеялись, и смотрели друг другу в глаза. Невозможно было расстаться в эту лунную ночь с голубыми тенями.

В просвете раскрывшейся двери мелькнула ее стройная, строгая фигура. Дверь закрылась.

Я шел по пустынной улице, наступая на тянувшиеся в одном направлении тени; нет, не шел, а несся что есть силы, как на пожар. По сторонам мелькали дома и деревья, и губы я никак не мог собрать, они расползались в блаженнейшую улыбку.

«Согласна!.. Согласна!.. Согласна!..»

Но нельзя же бежать по улице. На меня начинают обращать внимание редкие прохожие, останавливаются, глядят вслед. Не мальчишка же!

Хорошо, хорошо, я спокоен... отлично, я иду спокойно... Ах, нет, ноги несут, несут изо всех сил, и мчусь, мчусь по улице наискось, по бульвару, мимо собора в густой его тени... Что? Могут принять за вора?.. Все равно, ведь согласна, согласна, согласна!..

Остановился я с бьющимся сердцем на ка-

кой-то незнакомой улице. Как сквозь золотой туман, стояли озаренные дома.

Счастье! Чуть-чуть я представлял его себе иначе. Ну, метеор, что ли, должен был рассыпаться, осветив весь город, или из всех домов, даже из тех, где нет роялей, должна была зазвучать тончайшая мелодия, и весь город должен был на минуту замереть...

Какой вздор!.. «Согласна!..» – единственная в мире мелодия, которая навсегда, на всю жизнь, будет звучать в моих ушах.

И это чудесное, милое, гордое лицо с затененными глазами.

Начались удивительные, странные, ни на что не похожие, подернутые легким безумием дни. Каждый день начинался, как первый. И, казалось, этому безумию не будет конца...

Не промоины ли гор смутно забрезжили, – промоины, глубоко поросшие лесом? Рассвет. Тонкой чертой выделился тот берег. Отмели; вся гладь, вся бесшумно движущаяся гладь, светлая и радостная.

И дед уже покашливает и возится в лодке. Она ясно чернеет узко и длинно.

– Дед!

– Ась?

Небо светает, со стыдливо тающими, как забытый ночной туман, синевато-дымчатыми тучками. Уже зазолотились края.

Разгорается огромная симфония с нежной мелодией бело-реющих чаек над дальними отмелями, с перебегающими струйками, которые вспыхивают то тут, то там, как тонкие звуки вступающей флейты, с основным тоном, густым и низким, сумрачно надвинувшихся к самой воде гор, размытых, рассеявшихся, густо поросших, с простой непонятной думой тысячелетий, и смотрятся колеблющимся отражением, – симфония, которую никогда не услышать спящим после опер и концертов в каменных мешках городов.

Сейчас зазвучит солнце, сейчас чудесно зазвучит...

4. Пароход

Мы плывем по жидкой, сверкающе колеблющейся глади живого серебра.

Два солнца: одно – знойно царящее вверху, другое – ослепительно сверкающее внизу, и густые черные слезы ползут по смолистым бортам лодки.

Теперь все другое, – горы в истоме дрожат легкой знойной дрожью, дрожат дальние отмели, узкой полоской зеленеющий другой берег, и эта даль – эта исчезающая, тающая водная даль. И не разберешь, вода ли пропадает, или неуловимо белые отмели, или тонкий туман ослепительного неба. Глаз тонет в изнеможении.

Бывают часы жаркого дня, когда все в истоме и утомленной неге, с полузабытой улыбкой смотрит сквозь полуспущенные веки.

Ни границы, ни черты.

Не хочется ни о чем думать, не хочется ни о чем вспоминать.

В белесом световом тумане чернеет – чернеет одинокая точка.

Птица ли, дерево ли, или просто чудится, не разберешь, и слепит глаза зыбко тающая даль. Точка разрастается, выделяется, принимает размеры, и теперь уже видно паровоз. Он ничтожен на величаво-спокойной, глубоко отражающей водной глади, развернувшейся до края. Горы стоят молчаливые, неподвижные, не замечая его, но он упрям и упорен и, должно быть, работает изо всех сил.

Пухнет, толстеет, раздаётся. Как пуговичка, сверху чернеет труба.

На повороте блеснул, весь белый, гигантский, глянул множеством чернеющих окон.

«Та-та-та... та-та-та... та-та-та...» – несётся далеко, будя сонную реку.

Много народу, ящиков, бочонков, тюков. Внизу, над самой водой, между бочонками, ящиками – серая публика, посконные штаны, лапти, кудлатые, нечесанные головы, бороды. Кое-где пестреет синяя рубаха, красная юбка...

Наверху – чистая публика: шляпы, кофточка, обнаженные руки, как степные тюльпаны, красные раскрытые зонтики, тонко охваченные фигуры.

Они смотрят на нас с дедом сверху вниз, независимые, чуть-чуть надменные.

Слегка опираясь о решетку белого борта, стоит господин в дорогой панаме, весь белый, в чудесных желтых башмаках. Поблескивают пенсне; на ремне – дорогой бинокль.

Дама в громадной шляпе, и встречный ветерок играет перьями и газом.

Купец, должно быть, скобяным товаром, из старообрядцев, с патриаршей бородой, смот-

рит так, будто родился двести лет назад.

Он и она. Стоят близко друг к другу, держатся за руки, и весело от их озаренных счастьем лиц.

Белые борта, окна, ящики, тюки, лапти, зонтики, нежные лица, газ – все несется мимо в шуме колес, спокойно, уверенно глядя на нас, быстро отстающих, сверху вниз.

И я гляжу на них:

«Я вам не верю... не верю я вам! Не верю вашей спокойной уверенности, вашей красивой одежде, лицам, самодовольству».

У этого сытого барина за его панамой, биноклем и желтыми башмаками – расстроенное имение, векселя, кредиторы, измученная, злая, несчастная жена и вечно неуголимая жизнь...

Столько страданий, муки, разбитых надежд, неудовлетворенного честолюбия, унижений достоинства человека и женщины за этой громадной, самоуверенной, с великолепным плюмажем шляпкой актрисы.

Не верю я вам.

Не пройдет и месяца, каких горьких истин не наговорят друг другу эти сидящие молодо-

жены!..

Только купец, как серый мшистый обрыв, спокоен между ними, – он знает, чего хочет. Но не его ли это дети, юноши и девушки, в поругание старых устоев, грозного окрика и тяжелой руки, разбежались кто куда, – и молча болит суровое, окаменелое отцовское сердце... Не верю я вам...

Уже далеко, уже слились лица, и не разберешь, только пятна одежд. Шум колес умирает.

Белый гигант блеснул на повороте и режет тяжелую, как ртуть, разбегающуюся надвое живым серебром волну, и наша лодка мерно качается на разгулявшихся стекловидных водяных вздутях.

Набежало облачко; тень, торопливо скользя по воде, нагнала, и темный гигант, разом почернев, неузнаваемой громадой скрылся на речном повороте.

Мы одни с дедом...

Нет, я вовсе не завидую им, и меня не тянет нестись теперь с ними по воде где-то далеко, откуда слабо, как намек, как далекое смутное воспоминание, доносится замираю-

щий шум.

5. Дождь

Все померкло, потухли краски: влажная даль, серое небо, темная река, уныло-мокрые горы. Дождик мелкий, мало заметный, сеет нехотя, раздумывая, продолжать ли, или не стоит, и все сыплется на влажно потемневшие камни, на темно-рябую реку, на сиротливо насунувшуюся на мокрый берег лодку.

Наш костер ярко, задорно и весело горит, громко стреляя далеко выскакивающими раскаленными углями, а над ним все сыплется, сыплется, сыплется. И он присмирел, тихонько стал лизать снизу котелок сиротливыми, боязливо колеблющимися языками. Потом языки пропали, и изредка взглядывает между черными углями замученный красный глаз. Наконец предсмертно хрипло зашипел, и лежат только холодные, мокрые и черные головни.

А дождь все сеется. Дед снимает котелок.

Нельзя разобрать, кончился ли день, или солнце еще не зашло. Пропал за тонкой пеленой водяной пыли противоположный берег. Кое-где с трудом проступают пустынные си-

луэты гор.

Никого. Все попряталось. В лесах, где стоит непрерывающийся однотонный шепот дождя, в густой листве, под склоненными ветвями, – распущенные, нахохлившиеся, упорно-серьезные, точно надувшиеся, комочки птиц, и капельки скатываются и бегут по перьям. Под корнями, в прошлогодней листве осторожно свернувшиеся зайцы, в дуплах – хорьки, в норах – лисьи семьи, и над всеми благословляющий, неустанный шепот дождя и листьев.

Мы с дедом тоже, как два хорька, лежим, протянувшись, в лодке, натянув над собой во всю длину брезент. И над нами тот же неустанный, торопливо ищущий, как бы это пробраться, шепот. Но брезент – плотный, и слышно, как разочарованно, тоненько звеня, сбегает у бортов в воду струйки.

Приподнимаю край, – черно, как густые чернила, как и у нас с дедом под брезентом, – давно ночь, вся заполненная неустанно шепчущим влажным шепотом.

Лежим и смотрим в темноту. Я боюсь, как бы дед не уснул.

– Мне скучно, дед.

– Ась?

– Скучно, говорю.

– Ну-к что ж, не откажешься, может, он на неделю так заведет.

Он помолчал, зевнул, покрестил лохматый рот в темноте: «О господи, спаси и помилуй!» – и вдруг обиделся за свой способ путешествия:

– Ехал бы на пароходе, коли дождя боишься.

Я слышу смутный, борющийся шум в ночной темноте, заполненной все тем же настойчивым, как будто негромким, но все покрывающим влажным шепотом. Шум паровозных колес старается пробиться сквозь неумиряющий шепот дождя, то замирает, обессиливая, то вырастает совсем близко, должно быть идет против, посредине реки.

Ярко освещенная зала, пианино, лакеи, звеня посудой, подают на белоснежных скатертях, сдержанный говор чисто, изящно одетых господ, и разговор умный, о высоких материях, как будто за окнами кают нет ни дождя, ни темени непроглядной ночи.

– Дед, ты бил свою жену?

Он не удивляется.

– О-охо-хо, прости господи!.. Две у меня их было, царство небесное.

– Хорошо жили?

– Жили, как все православные, ничего, дай бог всякому... Не без того, когда и поучишь...

– Кулаками?

– Как придется. Иной за волосья оттаскаешь, иной по затылку дашь. Бабу держи в строгости, либо она тебя, либо ты ее, – середки нету.

Шум паровозных колес потонул, и все тот же торопливо ищущий, монотонный шепот и бормотанье над брезентом.

– А дети с тобой?

Старик засмеялся в темноте.

– Со мной тесно. В лодке живу.

– Как в лодке?

– В лодке. Тут у меня и дом, тут у меня и церковь, отседа и на погост отволокут. Осьмнадцатый год пошел.

– А дети?

– Кои померли, сына в Сибирь угнали, дочь в Донщину убегла с казаком, замужем тепе-

рича там, а я на воде так и живу. Рыбки наловишь, вот и сыт, а то господа, тесно им дома наедаться, так на ту сторону, в горы отвожу, там наедятся, аж брюхо на аршин отвиснет. Мне что...

– А зимой?

– А зимой у старушки у одной в клети живу. Чего подсоблю ей, дровишек поколю, рыбки ей сушеной на зиму заготовлю, – вот и живу. Мне что, я свое прожил, теперь, собственно, без дела на сем свете, дожидаясь... Лодку сыну, завещание сделал, ежели как возвортится...

– Да она у тебя скоро развалится.

– Что ты, что ты, – заговорил он, – ядреная да здоровая... – и сердито замолчал.

Ты прав, старик, ты прав: жена и муж – два зверя в одной берлоге, два жестоких врага. И горе им, если силы их, если покоряющие силы их приблизительно одинаковы. Горе! До конца дней, до самой могилы будут биться, не в силах одолеть ни тот, ни другой,

– Храпишь? Ну, ладно, спи.

Несчастье, ужас семьи, когда ни один не в состоянии сделать рабом другого. Вечно ко-

леблющееся, неустойчивое равновесие, вечная смена побед и поражений. Прочное счастье, когда один – раб, не чувствующий своего рабства, другой – господин, не злоупотребляющий своим господством.

Дождь все так же шепчет сверху свое. Что же делать? Нет сна. Счастливый старик. Не хочу думать, не хочу ни думать, ни вспоминать...

Да, так о чем это я? О том, что не хочу думать...

Однако он храпит. Всю рыбу в реке распушает.

Черно, как в могиле. Если бы уснуть!

Лица всех женщин отодвинулись, потускнели, голоса их звучали слабо, точно между мною и ими лег полупрозрачный, все поглощающий туман. Только одно лицо гордое, только одни глаза затененные, то вспыхивающие любовью и счастьем, то негодованием и презрением, были страшно близко от меня, наполняли всю душу.

И звучало:

– Любишь?

– Люблю!.. Люблю, дорогая... одна ты!..

– Любишь, зачем же мучаешь?

– Нет, зачем ты мучаешь? Бессмысленно, ненужно....

О черт, проклятый брезент, давит... душно... Дождь все шепчет, ночь без конца. Старик храпит. Некуда деться. Ну, все равно буду лежать в этой проклятой берлоге, закинув руки под голову, под мелодичный храп деда, и буду смотреть в темноту.

Дни пробегали, дни пробегали и... и... и...

– А-а, невозможно!.. Слушай, старик, нельзя так.

– М-м-м-а?

– Ты храпишь, брезент колышется. Нет мощи.

– Ну-ну.

Он переворачивается на другой бок и храпит вдвое.

Не могу. Вылезаю. Отовсюду несется неустанный холодный ропот. Тьма такая, точно стою с плотно закрытыми глазами. Слышно, как в камешках под ногами моют сбегаящие с гор ручьи. Ни огонька, ни звука, ни силуэта.

Нет, уж под брезент не полезу, хоть до утра

буду тут.

Нахлобучиваю шапку, поднимаю воротник, приваливаюсь к лодке. Дождь наполняет тьму, берег шумит сбегающей водой.

Мелкая холодная ночная дрожь расползается по телу. И зубы стучат.

Может быть, не от холода, а от того, что цепко выползает среди неподвижной тьмы из-под черепа, как беззвучные гады из темной, невидимой в ночи расселины. Все равно никуда не уйдешь.

6. Я не могу

– Я хочу... я хочу так!..

И это прозвучало в ее устах так же значительно, так же огромно, как и «я согласна». Я не понял сначала того. У меня ведь было свое «хочу», подкрепленное с моей точки зрения неопровержимыми логическими аргументами.

Первые столкновения наших «хочу» набегали лишь легкими облачками, и потом – поцелуи, ласковые, нежные слова, никогда, никогда ничего подобного не повторится.

И опять.

Ее удивляло и возмущало, что, пока была

девушкой, все глядели в рот и только и знали что торопились соглашаться с высказываемым ею; теперь все ее аргументы оспаривались, точно заранее признавалось отсутствие у нее логики.

– Слушай, нельзя же так ребенка кутать.

– Ты хочешь его простудить, чтобы он умер?

– Что за глупости! Только ты можешь говорить такие нелепости... Именно, чтобы не хворал и не умер, необходимо детский организм закаливать. Посмотри на крестьянских ребятишек...

– А ты знаешь, какая у них смертность? Из десяти душ выживают четверо.

И снова:

– Слушай, не обкармливай так ребенка.

– А, ты хочешь, чтобы у него от плохого питания развилось малокровие, истощение, рахит?

– Что за нелепости! Ты, конечно, отлично знаешь, что не хочу... Только чтобы досадить мне... Но ты его напихиваешь насильно, как страсбургского гуся.

– Но ведь ребенок не понимает, он может

бегать целый день и забудет про еду...

– Да, но страсбургского...

Тысячи мелких мелочей раскалывались для нас пополам, с совершенно различным и, казалось, для каждого убедительным освещением. В сущности ни один не говорил глупостей, но каждый был убежден, что их говорит другой. И так во всем.

– Знаешь, любопытная штука... Меня всегда удивляло, как может сердце работать всю жизнь, не отдыхая, не восстанавливая потраченных сил остановкой работы. Представь, Сеченов говорит, что сердце великолепно отдыхает. Оно отдыхает в промежутке между двумя биениями, на секунду, на долю секунды. Мышцы его расслабляются, оно отдыхает, и опять биение, опять работа...

Но и по этому теоретическому вопросу вышло столкновение, как и всегда, оставив злой, нехороший осадок на душе.

– Сеченов говорит пустяки...

– Сеченов?!

– Ткани не могут мгновенно обновляться...

– Это Сеченов-то?!!

– Тебе прежде всего имя, авторитет...

– А у тебя уже после всего логика, здравый смысл.

Иногда она бросалась ко мне, горько плакала, пряча голову на груди:

– Дорогой мой, ведь я тебя люблю... какая ужасная вещь – жизнь... Отчего у нас так?.. Я не могу, я не могу.

Я баюкал ее, качал, как ребенка, пронизанный любовью, жалостью, бесконечной нежностью. Сердце мое разрывалось. А она вытирала слезы, и на меня взглядывало гордое лицо сухими, блестящими глазами:

– Я не могу, чтобы было иначе... Понимаешь ты, я хочу, чтобы по-моему... Ведь я же права. Не могу же я для того только, чтобы нам не сердиться, врать и поступать не так, как думаю и чувствую... Слышишь, ты!..

Тогда на дыбы подымалась вся моя гордость:

– Я не могу иначе. Пойми и ты, не могу я врать и поступать не так, как думаю и чувствую, только для того, чтобы нам не ссориться.

И опять мы – чужие и враги.

Я глядел на нее: что-то враждебное, недо-

лимое, что ни на йоту не уступит, поднималось в ее лице, и у меня поднималась ненависть к этому темному, стихийному, что нельзя ни убедить, ни заставить, ни сломить.

– За что ты так меня ненавидишь?

Она приблизила свои глаза к моим близко-близко. Они бесконечно глубоки, темны, как омут, и полны грусти, нежности и любви.

– За что ты меня ненавидишь? Ведь жизнь уходит, молодость уходит...

Вне себя я схватил, я обнял ее с сердцем, готовым разорваться. Она отстранилась. В глазах сверкнул огонек.

Любить ненавидимую, ненавидеть безгранично любимую!

Вот я хожу во влажной тьме, переполненной шумом дождя, и холодные капли ползут по мокрому лицу. И я передумываю то, что передумывал тысячу раз: за что я ненавижу ее? За то, за отсутствие чего презираю других женщин.

Все женщины отличаются тем, что на их прекрасных лицах нет *лица*. Они изумительно похожи друг на друга, и они хотят только того, чего хотят их мужья.

Муж – литератор, и женщина интересуется литературой. Муж – музыкант, и жена толкует о музыке. Муж – чиновник, инженер, поп; и у жены интересы замыкаются в двадцатое число, в постройки, в церковные праздники, поборы.

А у этой, у нее – свое *лицо*, свои мысли, свои желанья, свое освещение мира, и... и я преклоняюсь перед ней, я уважаю ее, я, слышите, я люблю ее, безумно люблю ее, эту ненавидимую женщину!..

Да не храпи ты, старый хрен!.. Даже здесь сквозь шум слышно.

Пусть дождь льет на мою открытую голову, на лицо, на руки и смешивается с моими слезами... Ненавижу потому, что вся моя гордость встает на дыбы при мысли, что я всегда, всегда должен уступать, всегда во всем, как бы я ни думал, как бы ни чувствовал... я люблю ее – единственную!..

Все заливают дождь, и душно в этой мокрой тьме. Никуда не денешься в переполненной мраком, шумом и дождем бесконечной ночи. Всюду одинаково темно, ровно, глухо.

Полезу к деду опять в черную берлогу под брезент.

Над головой непрерывающийся, равнодушный, в котором ничего не разберешь, шепот дождя.

7. Облако

Я лежу на спине и смотрю в голубое небо, – оно синее, бездонно, пустынно, – смотрю и слушаю говорливую болтовню моющей камешки воды. Не знаю, о чем это.

Бездонно синее небо!..

Дремотно, той особенной дремотой, в которой бодрствуют глаза и уши и дремлют спокойно забаяканные мысль и чувство.

Река тоже дремлет, спокойная, недвижно отражающая, ничего не упуская.

Далеко впереди поперек разлеглась гора, дымчатая, иссиня-смутная.

Одинокое белое облако. Кажется, оно стоит в высоте, а внизу все плывет в одну сторону: и реки и зеленые берега, и сторбившиеся горы, и мы с дедом.

Вот оно наплыло на солнце, и синяя тень побежала по воде. Не могу оторваться. Оно ослепительно оторочено сквозным отблес-

ком, как воздушное платье девушки в первый раз на балу. Солнца все нет. Но не выдержало счастья, и прорвались тучи безумием, и, все сквозное, засветилось оно, осиянное, как человеческое лицо. Я закрываю глаза.

Но ведь это – только клочок безжизненно-го пара, холодный, без красок, без формы, только тающий клочок исчезающего пара.

Я вскакиваю на ноги. Лжешь, лжешь, не кощунствуй, не касайся мертвыми руками живого, трепещущего!

Я, может быть, жизнь потерял. Больше – счастье потерял!

– Эй, старик, на воду лодку! Туши костер!.. Я больше тут не буду с тобой слоняться... Понимаешь ты, еще не поздно, я верну...

– Ишь ты, засуетился.

– Старик, нельзя брать человека с одного бока...

– Знамо дело.

– Какая-нибудь бородавка убьет и тебя и человека.

– Известно.

– Жизнь, старик, – синтез, а анализ –

смерть.

– Ну, да, а то што ж!..

– Бери, бери человека целиком, понимаешь, целиком, не выделяя ни одной мелочи, ни одной черты... целиком, вот как это облако... целиком, тогда только он живой...

– Конечно, в мертвом што толку. «Царство небесное», – и похоронил.

– В весла, старик... скорей, опоздаем к очередному пароходу.

– О!.. Али надоело!.. Скучился?.. Ну-ну...

Старуха*

Двор у о. Иоанникия – просторный, укатанный, с многочисленными хозяйственными постройками.

Среди приземисто белеющих, нахохлившихся соломенными крышами куреней, среди кудряво-зеленых верб и вишен, свисающих из-за наклонившихся плетней на улицу, матеро глядит двухэтажный деревянный поповский дом под железною зеленою крышею, с желтыми ставнями, с узкими балясами вокруг, по которым ходят, когда закрывают ставни в верхнем этаже.

И каждый вечер, когда растрепанная девка Малашка, курносая, с подоткнутым подолом и загорелыми ногами, нанятая на ярмарке, куда ее привели родители, на год за тридцать шесть рублей на хозяйской одежде, торопливо пробираясь по узким балясам, закрывает ставни, – по густо заросшей колючкой и репейником улице, в непроглядных облаках лениво виснущей пыли возвращается хуторское стадо, и хозяйки настезь раскрывают скрипучие обвисшие жердевые ворота перед важными, задумчиво медлительными коровами.

Из окон дома видна похожая на огромный пустырь площадь, как спокойным зеркалом вся занятая никогда не просыхающей, точно озеро, громадной лужей, с узенькой, жмущейся к самым плетням дорогой. В жирно и густо зеленеющей по краям тине целыми днями, в истоме полузакрыв глаза, неподвижно лежат свиньи, а в спокойной воде – дремотно синее небо, кудряво белеющие облака и опрокинутая темным профилем сухонькая старенькая церковка.

Утром и вечером с низенькой, тоже потем-

невшей от старости колокольни, шепелявя, гнусаво отзывается надтреснутый старческий колокол.

Служит о. Иоанникий по будням кратко, потому что народ весь на работе, а в церкви две-три старенькие старушки, – по воскресеньям же и праздничным дням служит лепо и пространно, и тогда яблоку упасть негде, и все выходят с мокрыми, потными лицами, расправляя затекшие от долгого стояния ноги, усталые и довольные.

Когда дома, где всегда стоит шум, гам, крики, беготня, потому что из восемнадцати рожденных матушкой детей четырнадцать в живых, – когда дома о. Иоанникий снимает рясу и остается в одном старом, уже разлезавшемся по швам подряснике, из которого он как будто вырос, и видны рыжие голенища, – видно, какой это огромный, ширококостый, массивный мужчина. И в странном противоречии с этим на красной толстой шее – стыдливым хвостиком по-бабьи заплетенная косичка, а когда заговорит, голос у него тонкий, тоже бабий или как у подростка.

Но характера он твердого, неподатливого и

хотя не любостяжатель, своего росинки не уступит. Его не столько любят, сколько уважают.

Весь день, за исключением утренней и вечерней службы, отдает он хозяйству, а оно у него обширное и ведется образцово и строго. Строг, пунктуален, бережлив он и в своей семье. Настрого заведено, чтоб все вовремя садились за стол. Терпеть не может, когда на столе на тарелках остается недоеденное, и требует от матушки, чтоб готовили в обрез, чтоб не оставалось кусков. А чтоб детям хватало и они наедались, сам ест очень мало, и когда крестится после обеда на икону и читает вполуслух: «Благодарю тя, Христе боже наш, яко насытил мя еси...» – чувствует себя впроголодь и испытывает соединенную с этим особенную легкость. Зато на свадьбах, молебствиях, похоронах, поминках ест много, долго, сосредоточенно и дома страдает от живота.

Вся его жизнь, помыслы и заботы разделяются между требами, хозяйством и детьми.

О детях из года в год одна забота: тех надо готовить, те поступают, те кончают, то в

епархиальном, то в семинарии, то в духовном, и всюду неуклонно требуется одно – деньги.

Когда начинал эту жизнь, было батюшке двадцать четыре года, потом стало двадцать восемь, и тридцать, и тридцать пять, и уже сорок, и уже сорок восемь лет. Уже пошел седой волос в темной бороде, а порядок и дни все те же, все так же распределяется время, так же ежегодно рождаются ребята, и нарекает им имя, так же отражается и небо, и облака в озероподобной луже, и темненькая, сухонькая церковка, и колокольня, и надтреснутый, шамкающий голос разбитого колокола отзывается по хутору перед утреней и перед вечерней.

Стоит о. Иоанникий в подряснике на крыльчке и смотрит из-под руки, как работник возится около старого, норовистого, но знающего свое дело гнедого, запрягая его в повозку везти хлеба и кислое молоко рабочим на покос.

– Чересседельник-то подыми – не пойдет он у тебя на гору, наплачешься.

Гнедой лениво стоит, пренебрежительно заложив оба уха назад, – там, мол, видно будет, пойду или не пойду.

Проводил батюшка работника, пошел на баз и в птичник, побранил работницу, что некоторые куры несутся под амбаром, а не в курятнике, сделал выговор матушке, несмотря на восемнадцать детей, неистоцимой, немного расплывшейся хлопотунье, что мало выручается от сухарей, – он знал, что матушка часть их тайком продает, так как он ни копейки не давал на руки.

– Да как же, отец, – хлопотливо говорила матушка, деловито обирая налипшее тесто с белых, толстых, мягких рук, – сам знаешь, какое время. Пятачок-то фунт, и не подходит.

Она тоже знала, что батюшка осведомлен о ее проделке, но оба сохраняли декорум, приличествующий священническому сану.

Уже Малашка, шлепая босыми ногами по балясам, закрывала ставни, шло стадо, и улица вся потонула в медленно плывущей пыли, прибежали, повизгивая, поросята, и догорали, потухая, дальние верхушки верб.

Батюшка снова сидел на крылечке, пил

одиннадцатый стакан и, запустив руку под рубаху, огромной широкой ладонью растирал взмокшую грудь и под мышками и следил, как меланхолично, не ускоряя и не замедляя шага, без конца шло по улице стадо, – хутор был огромный.

Из пыли, как в сухом тумане, смутно маяча, проступали две фигуры: одна побольше, другая поменьше, все ближе, то вырисовываясь, то мутнея в заплывающих медленных облаках. Можно различить – старуха, темная, сухая, идет тихо, прямо, никуда не поворачивая неподвижную голову, высокая, деревянно-прямая, и маленькая девочка, лет восьми-девяти, впереди ведет ее за посошок, мелко ступая босыми ножками, торопливо, как птица, поворачивая во все стороны головку.

Подшли к калитке, и девочка с трудом, становясь на цыпочки, стала возиться со щекоткой. Потом справилась, отворила и, робко поглядывая и замедляя шаги, подошла и стала у крылечка и подняла на батюшку серенькие, робкие, просящие глазки: «Не трогайте меня, я ведь вам ничего не сделала».

А за нею неподвижно, прямо и строго сто-

яла темная фигура старухи, и глаза ее странно-неподвижно и безучастно глядели прямо перед собою – в перила крыльца, а не на ба-тюшку.

О. Иоанникий неодобрительно прихлебнул из стакана. Много всякого народу ходило к нему во двор – и нищие, и странние, и переселенцы забивались, и прохожие заходили испить водицы, и по волчьему паспорту заглядывали. И к каждому у бабушки было свое особое деловое отношение.

Нищих не любил, никогда не подавал, ибо тунеядцы, а тонким и строгим голосом рекомендовал взять топор или мотыгу и исполнять завет господень: «В поте лица твоего ешь хлеб твой».

Странникам и странницам недружелюбно напоминал, что вера и спасение не в ногах и не в хождениях, а в неустанном труде на себя, на людей и на господя; помолиться же с усердием и верою можно и в своем храме, и не оскудеет милость господня.

Переселенцам приказывал отсыпать сумочку сухарей, изнурены они были всегда, а у ребятишек, выглядывавших из лохмотьев,

только кости да кожа. Проходим же хотя и позволял напиться ковшиком из бочки, но всегда наставительно замечал, что везде – колодцы, берут бабы воду, и нечего ходить по дворам.

Босяков же и по волчьему паспорту не подпускал ко двору и на выстрел – как-то ночью такие же сломали у него огромный замок на хлебном амбаре, но унести ничего не унесли – собаки у батюшки отличные.

Глянул опять на стоящих у крыльца, прихлебнул и никак не может отнести их к нужной категории и взять должный тон. И, крякнув и чувствуя, что от него ждут, сказал:

– Ну, что скажете?

Девочка, подняв глазенки, все так же, не то испуганно, не то молитвенно, продолжала смотреть на священника, а старуха, такая же прямая, неподвижная, повернула темное, пергаментное, как на старых закопченных иконах, лицо на звук голоса и так же неподвижно-строго, безучастно стала глядеть в этом направлении.

Батюшка подождал и опять проговорил:

– Что скажете?

Тогда она заговорила низким, старым, изжитым голосом, который, казалось, так же был темен, как те закоптелые иконы, заговорила так, как будто давно уже говорила, как будто рассказывала священнику сурово и просто всю свою долгую, изжитую и тоже такую же темную жизнь.

– Вот пришла я... девонька меня в избу ввела... перекрестилась... не вижу образов, не знаю, в какой я хате, в своей ли, нет ли, ничего мне не видать. Ну что, говорю, родные мои, будете меня кормить? А они в четыре голоса – две снохи да два сына: «Нет, не надо нам тебя, куда нам, хоть бы самим прокормиться...» Да, хорошо. Спрашиваю опять: «Возьмете ли?» Закричали: «Не надо!..» Я опять: «Будете меня, старую, кормить? помирать мне...» До трех разов спросила. Закричали они: «Нет, нет, и не надо, и нет, нет, нет... иди куда знаешь!» Заголосила я тут не своим голосом, жалко мне их стало: бросили мать свою, старуху... иди куда знаешь, иди, слепой человек... Жалко – в утробе ведь их выносила, рожала...

Старуха зашевелила пальцами, державшими костыль, судорожно подергались непо-

движно-темные черты.

Она помолчала, и опять строго, спокойно глядят мимо людей незрячие глаза.

– Взяла меня девочка за руку, повела. Куды мне идтить? Господи, царица небесная, заступница, сохрани и помилуй. Слепой я человек, а слепой, что мертвый, кому нужен? Вышли мы, идем полем, сиверко, стыть, одежонка-то плохонькая, стала у меня душа холодеть, руки заоченели, ноги не слушаются. Подумала я, погрешила богу: неужто без покаяния, без святого причастия придется помереть? Только ведь и радости у меня осталось, покаяться господу во грехах, душу свою грешную приготовить к смерти по-христианскому... А кругом-то, видно, стало темнеть. «Баушка, – говорит девонька, – боюсь я...» Ухватила за юбку, держится. «Чего ты, болезная, чего испужалась?» – «Ой, баушка, боюсь... мимо леса идем, темно... ведь ты не видишь...» – «Ну-к что ж, больная моя, перекрестись, сотвори знамение, с нами крестная сила... кому мы сдались, кто нас обидит...» – «Надысь в этом лесу у Митрича Мазана волки корову зарезали...» Идем это мы, мне-то не страшно, да

за девочку сердце болит, дрожит она, за меня ручонками держится, ноги у меня подкашиваются, творю молитву заступнице пречистой. Сжалился над нами господь, послал своего ангела святого, вывел он нас к хутору. Пришли мы к церкви, служба кончилась, народ разошелся. Слышу, кругом тихо стало; ночь, видно; полезла я в сумочку, поискала, дала девочке кренделек. Пошла она домой, осталась я одна.

Она замолчала, и было темно ее пергаментное лицо и неподвижна темная фигура. И батюшке казалось, что он действительно знает ее жизнь, знает ее жизнь от первого дня до последнего. И он спросил:

– А девочка чья?

Старуха молчала, точно думала свою темную думу. Ручонки девочки зашевелились, и послышался тоненький, как соломинка, голосок:

– Я – Кобелихи дочка... что за кузнями живет... маменька спсылает меня, когда проводить баушку, не видит... она нам чужая...

О. Иоанникий отодвинул стакан, чувствуя, как ночь медлительно и темно заполняет пу-

стотой и улицу, и двор, и крыльцо, и маячат только две фигуры – одна побольше, другая поменьше. Он хотел что-то сказать подходящее, но не нашел.

– Это у которой муж умер? Горшечник?

– Мой папенька умер четыре месяца назад, горшками занимался... теперь мы одни.

О. Иоанникий вспомнил про работника, благополучно ли довел до покоса, и обрадовался этой пришедшей обычной заботе. Но она сейчас же свернулась и потухла, а у крыльца по-прежнему две темнеют – одна побольше, другая поменьше. Но ведь он тут помочь ничем не может, – не брать же к себе, а сынов не уговоришь, оголтелый народ.

И он хотел это сказать, как слышался опять низкий старый голос, в котором в самом было какое-то темное содержание, помимо прямого значения слов:

– Ты меня куда привела-то, девонька?

– Я – священник, – нахмурился, несколько с неудовольствием ответил о. Иоанникий.

Она заговорила:

– Боюсь я, батюшка... – и что-то дрогнуло в ее темном голосе, – боюсь... сказывает народ,

за мать не простится. Господи, выгнали... Это что ж, что ни то... мне немного осталось, приберет господь... мне-то помирать, им жить-то... вот что страшно... как там на небеси силы господни глянут... А ну-ка, сын, скажут, за мать-то... за мать-то... строго у них там... Иисус Христос мать-то свою возвеличил... Что как... господи!..

Голос ее замолк, и о. Иоанникий не видел в темноте, но угадал, как задрожали пергаментные черты. Он потрогал бороду и огляделся; было темно, точно все насупилось, но разглядел, что калитка не была прикрыта, подумал: «Ишь не закрыли», – и мысленно защелкнул щеколду.

– Вот что, матушка, сделать-то я ничего не могу... Да ты откуда? Сыновья-то твои где проживают?

Старуха, смутно темнея, молчала. И голосок девочки:

– С Прилипок они, на Прилипках живут ее сыны.

– А-а, знаю... поговорю, поговорю. На будущей неделе крестить там буду у лавочника, так поговорю.

И опять низкий, почти мужской голос, полный спокойствием невыплаканного горя:

– Не об том, батюшка... а страшно мне... все одно уж не возьмут. А хочь бы и взяли, грех-то, грех он уж есть перед господом, перед святыми силами его, боюсь я за сыночков моих...

– Ну, вот что: завтра приходи к церквн-то, – станешь на паперти, там подадут, и я прихожанам скажу, кои и помогут во имя господне. А после обедни зайдешь сюда, матушка сухариков сумочку насыпет. Ну, господь с вами, идите. – И он в темноте невидимо благословил их.

Они пошли, смутно выделяясь, и уже у ворот потонули в темноте, и о. Иоанникий крикнул:

– Калитку, калитку-то прихлопните.

Долго слышно было, как возились со щекотдой. Должно быть, девочка все не могла достать.

О. Иоанникий встал, точно освобождаясь от чего-то, и мысленно окинул дом и двор, вспоминая, насчет чего бы надо еще распорядиться на ночь. На большом крыльце гомозились ребятишки, укладываясь вповалку.

У церкви сторож бил в колотушку. Лениво и спокойно где-то лаяла на сон грядущий собака. Шла ночь, молчаливая, тихая, деревенская.

О. Иоанникий вставал рано, чуть зорька глянет сквозь вербы и через соломенные крыши куреней. Еще до обедни успел распорядиться по хозяйству и осмотреть все и обедню служил долго и истово, – был праздник, хотя и церковный.

Во время обедни, между возгласами, или когда садился в алтаре к сторонке на стуле отдохнуть, думал о том, о чем всегда приходилось думать: о хозяйстве, не упустил ли чего, все ли наказал работнику, так ли сделают, как приказывал, без своего глаза ведь и дом – сирота, и на поле работники шалыганят, а то, чего доброго, еще праздновать с обеда начнут, непременно надо после обедни съездить туда. Думал о том, что в прошлом месяце Саше в семинарию отослал пятнадцать рублей, а уже просит и в этом рублей десять прислать. Вот и в епархиальное за Ньюшину музыку надо посылать; не хотел о. Иоанникий учить музыке,

зачем она серьезной девушке? Да и плата особенная, все зря... Еще о чем-то хотел подумать о. Иоанникий, о чем забыл, а что-то нужное... Певчие кончили, и надо было возглашать.

После обедни, когда народ разошелся, сняв ризу и, облачившись в черную рясу, вышел вместе с дьяконом, – и на паперти...

Вот о чем он хотел подумать, да не вспомнил!..

На паперти неподвижно и темно стояла старуха с пергаментным, нешевелиющимся лицом.

Батюшка было приостановился, точно застигнутый врасплох, и раскрыл рот, чтобы сказать, да вдруг вспомнил, что ведь она слепая, не видит, и торопливо, как будто немного согнувшись, прошел мимо, ничего не сказав. Старуха была одна, и когда, обойдя озеро, издали о. Иоанникий оглянулся, она все темнела неподвижно и одиноко на паперти.

Целый день в заботах и трудах провел о. Иоанникий. Съездил и на поле и подогнал рабочих, которые действительно было стали праздновать после обеда, дома приказал работнику отвезти на мельницу пшеницы смо-

лоть, а вечером матушка пришла с жалобой на Малашку – балуется с парнями.

Батюшка нахмурился и велел позвать девушку. Та пришла, опустив лицо, не отрывая глаз от своих загорелых черных ног. Долго говорил ей батюшка. Говорил ей, что родители ее отдали на год, взяли задаток и написали условие, а если будет баловаться с парнями, недолго и матерью стать. Какая же она тогда работница? И как же она будет выполнять условие? А всякое неисполнение обязанностей – перед богом и перед людьми. Вот он сам священник, а работает с утра до вечера не покладая рук и все обязательства выполняет точно, как часы заведенные.

Батюшка говорил так убедительно, что Малашка рыдала навзрыд. Потом за нее принялась матушка, и Малашка только слышала: «Это гадко, это мерзко, это отвратительно...» – и еще много другого, что Малашка уже пере-забыла и чего вместить не могла.

Так прошел день, в заботах и трудах, и опять пришла ночь, тихая, деревенская, звездная ночь.

Ни одного огонька в хуторе. Ни собачьего

лая, ни скрипа. Беспокойная колотушка церковного сторожа и та замолчала. Только звезды мигают.

Темен, спокоен и тих и поповский дом. Все на запоре. Спят цепные собаки. Ребятишки спят с Малашкой на одном крыльце, а батюшка с матушкой на другом, под легким пологом. Спит и матушка давно, намаялась за день, а о. Иоанникий не может сомкнуть глаз. Уж он и ворочается, и примащивается, и старается обмануть себя, закрывает глаза, ни о чем не думает, нет, не идет сон. И опять думает думы.

Выглянул из-за полога, – во все небо играют звезды, и много поднялось над вербами таких, каких с вечера не было. Поют комары. Задернул и опять попытался уснуть и долго лежал неподвижно, – нет.

«Но разве я виноват?»

«Нет, не виноват», – ответил кто-то.

«Виноваты сыновья...»

«Да».

«И взять не могу... ведь тогда пришлось бы брать во двор каждого неимущего...»

Но ему ничего не ответили. Он подумал.

– Мать, а мать? – проговорил он неожиданно для себя, приподнявшись на локте.

Матушка, разморенная за день, сладко похрапывала.

– Слышишь, матушка?

Та испуганно завозилась.

– А?.. Что такое?.. Ты чего?..

То, что он хотел ей предложить, было просто и ясно, но было просто и ясно, пока он думал, а когда надо было сказать это словами вслух, показалось нелепым и диким, и он проговорил:

– Блохи... заели.

– Блох – сила.

Она зевнула, перекрестила рот, отвернулась и стала похрапывать, и вдруг проговорила заспанным и сонным голосом:

– И чего не спишь?.. Завтра к утрени... Людям покою не дает... спи!..

И захрапела мирно и редко, смутно белея в темноте.

Батюшка подождал и стал опять думать.

Да, конечно, он было сказал сейчас большую глупость – четырнадцать человек детей и... брать во двор еще бездомную старуху. Ко-

нечно, нелепость, и хорошо, что не сказал, матушка бы рассердилась. Ему стало легче, и он подумал, что уснет.

Но какое-то беспокойство, не то какое-то смутное воспоминание, не то забытое впечатление подымалось откуда-то из темной, затерявшейся глубины прошлого. Может быть, ничего и не было, может быть, дело шло совсем о другом, но беспокойный, как комариным пением, он перебирал разные, совершенно не относящиеся к сегодняшнему дню случаи своей жизни.

И вдруг неожиданно и без усилий выплыло, остановилось перед глазами, проступая все отчетливее и яснее из смутности воспоминаний, далекое детское прошлое.

Высоко и темно, готическими линиями, подымается к синему небу католический костел. Отец батюшки был полковым священником в Польше. Часто забегал ребенок в костел, слушал торжественные звуки органа, глядел на непривычную торжественную службу и, входя, всегда останавливался у ниши, сделанной снаружи костела, в которой стояла потемневшая от солнца, времени и

ветра женская фигура, с изборожденным не то старостью, не то дождями морщинистым лицом. И столько скорби, столько невыплаканной муки было разлито в ее темной фигуре, в ее изможденном лице, что мальчик долго не мог оторваться, смотрел и все ждал, что из глаз ее закапают слезы.

И теперь то далекое изображение скорби и одиноко темнеющая фигура на паперти слились в один тревожный, темно звучащий, не дающий покою укор.

Только когда стал шевелить складки полог надремавший за ночь предрассветный ветерок, от которого побледнели звезды и чуть побелело небо, заснул о. Иоанникий.

С этих пор каждый день на паперти глаз о. Иоанникия прежде всего останавливался, – в тайной надежде не встретить ее, – на темной фигуре старухи. Она всегда была одна, не просила, не протягивала руки. И проходили мимо равнодушные, иные подавали и совали ей в сумочку бублик или копейку. Поп Иоанникий проходил, слегка нагнувшись, точно опасаясь, что она увидит его незрячими глазами,

и быстро шел домой.

Непонятым, тайным укором стояла в его памяти эта темная, неподвижная, как изваянная, фигура скорби матери, предстоящей пред всевышним о детях своих, которым грозит кара.

Но потом она стала его раздражать, и он говорил сердито дьякону:

– Отец дьякон, ты бы, что ли, пристроил куда-нибудь эту старуху, что на паперти, – слепая-то, что сыновья выгнали.

– Куда же я ее пристрою? Сынам не надо, так кому же она нужна? Господь приберет, и так на ладан дышит.

Заботы, труды, хозяйство, налаженный порядок жизни взяли свое, – о. Иоанникий поне-многу забыл старуху.

По целым неделям он не помнил, видел ее или нет, и иногда, думая о своем, важном и нужном, подымал глаза: «А-а, тут!..» – и сей-час же опять забывал.

И все было по-прежнему, и все повторялось изо дня в день.

Любовь*

Я уже потерял счет усталым, одинаково тянущимся во мгле ночным часам, таким похожим друг на друга, полным сырости и застенчивого молчания.

Ноги месят скучную осеннюю невидимую грязь с тем длительным отчаянием, которое уже почти привычка, когда кругом ни огонька, ни зги.

Нужно пройти незамеченным еще верст шестьдесят до затерянной в степях железнодорожной станции, где знакомые и откуда я поеду спокойно.

Меня всюду караулят. Днем далеко обхожу белеющие по балкам слободы и хутора, с мокрой соломой на крышах, с черными, взметенными копытами улицами, с доносящимся издали лаем, с облетевшими, красновато сквоящими садами.

Когда показывается по чернеющей вдали дороге конный, я сворачиваю в сторону, спускаюсь, скользя и падая по мокрому, в овражек или в балку, а наверху серое осеннее небо, летят скучные вороны, молчат черные

поля.

А сейчас кругом непроглядная темь.

Ноги месят невидимую осеннюю грязь, и чмокают отяжелевшие, разбухшие сапоги.

Я знаю, кругом в темноте паханные, пустые, размякшие от дождей поля, низкое изрытое небо, невидимое, как и земля.

Уж не прислушиваюсь к собачьему лаю. В темноте лишь ветер поет. Не задерживаю шага, когда едва различимый – близко это или далеко, не знаешь – чуть затеплится огонек и трепетно замрет во мгле. Все ночь, все сырость, все молчание – и усталое чмоканье разбухших сапог.

Такая усталость, такая крайняя физическая измученность, что тело отделяется от мыслей, от соображения, от горьких дум, от сменяющихся приливов бодрости и ровного, спокойного безнадежного чувства отчаяния и усталости.

Чье-то осунувшееся, на произвол судьбы оставленное тело качается в глубине беспредельной ночи; чьи-то ноги бесцельно месят грязь, странно не сбивась с невидимой дороги.

А в мыслях, отделившихся от этого молчания, от сырости, от качающегося в темноте по дороге тела, плывут – то ласковая женская рука, то тихий огонек уюта, круглый стол, самовар, белеют клавиши открытого рояля. А за окнами – чернота, мгла, сырость, насупившееся молчание осени...

«Отдохни, отдохни, милый... ты устал...»

«Да, я устал, я отдохну, и мне надоело тащиться так без конца».

И опять чувствую свое качающееся тело, и ноги, которые месят грязь, и сырость, и молчание. Похоже на то, что я упаду на вязкой дороге. Сил нет.

И, точно в сказке, густоту ночи проколол огонек. Подержался, погас. Все равно я буду вытаскивать отяжелевшие, разбухшие сапоги и идти и идти. Я знаю, это искорки, бегающие в глазах от усталости.

Опять загорелся и не погасал, и я боюсь опустить глаза, чтобы не потерять его, чтоб не исчез в океане мрака.

В темноте обрисовалось странной чернотой очертание, – дом ли, или человек гигантского роста, или дерево, – и потом исчезло.

Может быть, туман проплыл, и встало видение. Огонек погас, снова загорелся. Я не спускаю глаз, чтоб не исчез.

Свет расплывается, ширится, четырехугольно удлинняется, и во мраке проступает светящееся окно с черными переплетами. Руки натываются на плетень. Сгущаясь чернотой, подымается дерево, роняя с молчаливых ветвей на меня капли. Откуда-то шум ровный и смутный – без усталости.

Две собаки нарушают мертвенность ночи живыми звуками отчаянного лая, – одна хриплым басом, другая протяжным воем, точно кто-то поет горловым тенором.

Вырезываясь другим светлым уширяющимся четырехугольником, отворяются двери, роняя по мокрой черной земле длинную светлую полосу. Она протягивается через двор, ломается на плетне, дробится в пересеченно проступивших из темноты ветвях.

В четырехугольнике темная фигура погашает светлую полосу, и голос:

– Кто тут?

Через пять минут я – в комнате, и как в сказке: круглый стол, белая скатерть, самовар

с тонко клубящимся живым паром, лампа сверху освещает. Тихо, уютно, светло и тепло, а за окнами чернота молчаливой ночи, мгла и сырость.

Чего-то недостает? Оглядываюсь... Ах да, только клавиши не белеют.

Их двое.

Он – небольшого роста, с желтыми волосами, с постоянной улыбкой – себе на уме. Он не может говорить, не улыбаясь, и что-то всегда за этой улыбкой.

Она – высокая, крепкая, плечистая, и... усы... Когда разливает чай, я вижу на белизне скатерти большие, грубые, мозолистые мужские руки. Да и вся она, точно мужчина, по ошибке в юбке. В кружок, как у мужика, черные, с проступившей сединой волосы, крепкий обветренный бас. Высокий мужской сильный лоб, уже прорезанный продольными складками прожитой жизни.

Я позваниваю ложечкой, подношу к губам стакан с янтарно колеблющимся чаем, а она говорит крепким, в котором слышится и зной, и ветер полей, и сырость ненастья, рабочим баском:

– Это хорошо, что вы на нас набрали.

А он улыбается:

– Мы, как волки в степи, – ведь никого не видим.

Я рассказываю о себе – я им сразу верю – и вижу, как блестят глаза. Но я ведь ждал нежную белую женскую руку... Вздор! Встряхиваю головой и говорю:

– Ваш огонек, как в пустыне изнемогающему путнику, явился... Я сначала думал, что это блуждающий огонек, и закрыл глаза, чтоб не волноваться попусту, но он все светил и привел к вам.

Я говорю это, но что-то не то, что-то есть в этой светлой уютной комнате, в этом небольшом домике, в чем я еще не могу дать себе отчета.

Они говорят друг другу «вы», – Александр Егорыч, Екатерина Павловна. И это мне нравится, – обыкновенно супруги говорят «вы», когда собираются ругаться.

– Шум? Так это мельница водяная, мы снимаем в аренду. Вы, значит, речку не переходили? Со стороны степи шли? Мы ведь здесь двадцать лет живем безвыездно.

Старые-престарые часы на стене бьют одиннадцать.

– С мужиками сносно живем. Когда приехали, трудно было. На нас смотрели, как на белоручек, но когда увидели, что стали работать так же, как они, примирились. Вы поживете у нас с недельку, отдохнете, осмотритесь. С полицией у нас хорошие отношения.

– Расскажите же, что на белом свете делается, – говорит он и улыбается, и за улыбкой что-то свое, тоже как будто улыбающееся, а волосы у него большие, желтые.

– Газеты мы получаем, но ведь это мертвое. А жизнь-то как там? Все, наверное, страшно изменилось, и не узнаешь.

Двенадцать. Самовар то совсем засыпает, то сонно мурлычет, прерывисто и тоненько, как будто ослабел и с усилием заводит веки. У меня тоже слипаются глаза, лица делаются маленькими, куда-то уходят, голоса звучат издалека, радужный туман, и вдруг опять все близко, ясно, освещено. В окнах угрюмая мгла.

«У них нет детей. Нет детей, – это звучит безнадежно».

– Конечно, когда вы идете по деревьям, – слышится ее энергичный басок, – когда приходите к мужику со словом живым, это – одно, а когда живете среди них, как мужик, так же боретесь, как он, так же конкурируете, – это совсем другое, и все иллюзии разлетаются.

Я не возражаю, ибо понимаю, у них – все в прошлом. Вот теперь выспаться бы только, а то, боюсь, свалюсь со стула. Да ведь неизвестно, что и в моем будущем. Оно темно, как эта мгла в неподвижных окнах. И если молодому – помните, у Гоголя? – дать заглянуть в темно ждущее его, он отпрянет...

Я борюсь со сном, борюсь с чем-то неопределенным, что я не могу определить в этой уютной, освещенной, с умирающим самоваром комнате, в которой, должно быть, нет женщины, а я и еще двое мужчин.

– Вы крепко устали, вижу. Александр Егорыч, я приготовила постель гостю. Подите покажите. Спокойной ночи. Желаю вам отоспаться, отдохнуть. Я очень рада, что вы набрали на нас. Вам тут будет покойно. Спокойной ночи...

Мою руку жмет грубоватая, широкая, мозолистая мужская рука, и глядят из-под густых сдвинутых бровей внимательные, умные, сразу дающие вам оценку, ласковые глаза. Черные усы приветливо шевелятся с улыбкой.

«Почему женщина не имеет права походить на мужчину? В чем тут преступление?»

Сон, как мглой, наплывает, сразу стараясь мохнато, мягко, неотвратимо охватить всего, но я борюсь, приоткрываю глаза, чтобы хоть на секунду насладиться холодком чистой, безупречной белизны простыни, подушки, и взглядываю в окно на черно, неподвижно глядящую ночь – вот, мол!..

И уже сон торопливо ткет свою неощутимо-мягкую паутину в темнеющем сознании.

Кто-то закричал: «Караул... держите!..» И в противоположность тому, что только что было, комната заполнилась ослепительно раздражающим сквозь красноватый отсвет век.

А я умоляюще:

«Нет, еще минуточку, еще одну!..» – и шел ко дну, отдаваясь темному забвению и покою.

Но опять закричали: «Караул!..» – и все то же бьет ослепительно раздражающее сквозь

болезненно и чутко вздрагивающие веки. С отчаянием отрываясь от сладкого покоя, открывая глаза, торопливо сажусь на постель.

Веселая комната, как неудержимым смехом, вся залита ярко ворвавшимся утренним солнцем. Под окном орет петух. А в окна уж никто не глядит угрюмо черным глазом – все бело играющим под солнцем инеем, точно все весело поседело за ночь: и двор, и плетни, и неподвижные ветви, и степь, далеко за двором поднимающаяся ленивым изволоком. А по гребню узенько сверкающей полоской недвижно лежат ослепительно белые рыхлые облака, словно тоже заиндедевские в прозрачно сверкающем свежем воздухе.

– Ах, да ведь я вот где!..

Торопливо соскакиваю, одеваюсь, умываюсь. Где-то далеко в прошлом темная вязкая дорога, угрюмая ночь, мгла, и сырость, подкашивающая усталость. По полу играют зайчики от колеблющейся в чашке воды.

Прохожу в столовую, она еще веселей. На круглом ослепительно-белом столе – веселый, мурлыкающий в облаках пара самовар; он тоже играет на солнце вычищенными боками.

Больно сверкают стаканы.

Никого нет. Надеваю шапку, выхожу. Приятно пощипывает утренний, пропитанный первым легким морозцем воздух. Небо свежо голубеет. По взгорью всползает вчерашняя черная дорога, с окаменелой взвороченной грязью. Должно быть, к утру вызвездило, проступил морозец и сделал грязь крепкой.

Двор огромный. По краям – сараи, навесы для скота, крытые соломой, как это делают в степи, арбы, плуги, как у зажиточного мужика.

Хозяйка, в высоких сапогах, короткой юбке, мужской теплой шапке, гоняет лошадей с катками по разбросанной соломе, и катки звонко бьют каменными ребрами по морозной земле, выбивая из колоса зерно.

Ее движения крепки, уверенны, размашисты.

– Но, но, милые!

За голыми ветлами сквозит крыша мельницы. Оттуда несется колеблющийся, как бегущая вода, однотонный, как мелькающий жернов, шум.

– Доброе утро...

– Вы уже встали? Пойдемте чай пить.

Она останавливает лошадей, и мы идем в дом. Отовсюду веет крепким, налаженным хозяйственным укладом.

К чаю приходит хозяин. Он весь белый, мука в ресницах, в усах, в волосах, на лице. Возился на мельнице и улыбается, и за его улыбкой что-то недоговоренное, что – я не могу определить.

Меня снова засыпают вопросами о той живой жизни, что бьется там, в городах, среди людей.

– Кто это такое? – гляжу я на портрет в рамке на стене.

Девушка, с продолговатым, крепким, умным лицом. Удивительно красивые, глубокие, влекущие глаза смотрят, покоряя, из-под ровно сдвинутых бровей.

– Разве не узнаете?.. Я.

«Так вот что!»

Какая-то боль, сожаление сжимают сердце. «Вот что!..» Точно что-то осталось позади и уже пропадает в дымке быстро бегущего прошлого.

– Знаете ли, – говорит хозяин, голос у него

тонкий и имеет некую связь с его постоянной улыбкой, – мы живем, как в густых зарослях, вот как бывает у нас по речке, кругом камыш да ивняк, а подынешь голову, только кусочек синего неба. А вам сверху, оттуда, из центров, далеко видно, все видно, как на ладони, всю жизнь видно. Скажите же, куда все идет, чего можно ждать?

– Вы ошибаетесь, оттуда видны лишь общие очертания картин жизни, структуры жизни мы не видим; жизнь у вас делается в зарослях. Вот расскажите, о чем думает мужик, каков он стал, чего можно ждать от него.

– А-а, что мужик!..

Улыбка разом сбежала с его лица, и легла складка не то усилия что-то вспомнить, не то сдерживаемого раздражения.

– Во-первых, существует два мужика: один мужик, который в книге, с которым встречаешься на университетской скамье, а другой, который копается на пашне, пухнет с голоду, добивается земли, живет под вечным страхом станового, исправника, земского, – мужик, с которым приходится жить и работать о бок вот таким, как мы. Об этом мужике ничего

нельзя сказать, с ним можно жить. Его нельзя понять, передать, его можно почувствовать.

– Тут есть и доля правды и преувеличение. – Мне стало скучно.

В окно глядела степь, все так же взбираясь на изволок, теперь черная, с прошлогодним чернобылом по межам; иней уже стаял. Из-за гребня выбирались серые осенние облака.

Перед обедом пошли осматривать мельницу. Она дрожала непрерывной дрожью, воздух белел тонкой мучной пылью, но не было оглушительного, все покрывающего грохота, а бежал сдержанный, уверенный, дававший возможность говорить шум. Не было колес, а вода, крутясь воронкой, проваливалась в какую-то дыру.

Мужики, встречаясь, здоровались с Александром Егоровичем доброжелательно, как со своим же братом-мужиком, которому только посчастливилось.

– Как же это она у вас без колес работает?

Он радостно и благодарно улыбнулся, повел и стал объяснять, как человек, заговоривший о своем любимом детище. Вместо колес он поставил турбины. Но обыкновенные тур-

бины, металлические, очень дороги и сложны, и он придумал свои, деревянные, – просто, дешево и сердито.

– А это – мельник, мой товарищ и помощник.

В полутемноте дрожавшего амбара между гудевшими жерновами на меня глянуло занесенное, как снегом, мукой лицо со слегка пробивающейся бородкой.

– Доброго здоровья.

Хозяин усмехнулся.

– Вот вы его расспросите про историю с котом. Мельник, как бы говоря своим добродушным, белым от муки лицом «ну что ж!», делал свое.

– Кот тут был у нас, громадный, серый, – и в глазах хозяина бегали веселые огоньки, – так вот этого кота недели две назад Иван поманил, взял на руки, кликнул собак и отправился в пустой амбар, поглаживая. А собаки у нас громадные, звери. Вскочили собаки в амбар, он поднял кота и бросил среди них. Те кинулись, в клочки бы его разнесли, коту некуда выскочить, смерть. Он мгновенно вскочил на Иванову голову, запустил ему в кожу когти

по самую шерсть, наершинился весь, как ди-кобраз, и ворчит. У Ивана с головы кровь ручьем бежит по лицу, по щекам на шею. Собаки взбесились, прыгают на него, хватают за лицо, хотят кота стащить. Иван в ужасе от них отбивается, вскочил и пустился, собаки за ним, а коту удобно на голове и держится за кожу. Вскочил в избу, захлопнул дверь. Погладил кота, тот вынул когти из кожи. А Иван осторожно положил на дровосеку и с визгом отрубил топором ему голову.

Он засмеялся. Жернов, смоловший зерно, скрежеща и повизгивая, вертелся на голом камне.

– Я знаю, что вы думаете. Но этот же самый Иван в мороз... у бабки – старуха тут есть безродная – лошадь провалилась в полынью, – бросился в воду и бился, пока не вытащил. Четыре недели валялся между жизнью и смертью. Да...

Он посмотрел в двери, в которых точно колебалась мучная пыль и открывался пруд, а на нем, как разбросанный пух, белели гуси, и по плотине свешивались безлистые вербы.

– Он – мужичок из нашей слободы, – и гля-

нул на меня, смеясь одними глазами.

Я понимал, что все это значит, и вышел, чтобы прекратить разговор. Пруд, изгибаясь, пропадавал за поросшими красноватым тальником берегами. Сквозь голые деревья белели хаты слободы.

Вечером лампа горела над столом и все на столе, на полу, внизу стен было освещено, а потолок, карточки на стенах, лица – в тени, только над лампой колеблется и дрожит непрерывным колебанием светлый кружок.

Екатерина Павловна ходит из угла в угол по странно освещенной комнате большими мужскими шагами в больших мужских, стучащих сапогах, заложив руки, опустив голову, думая, и у нее – усы.

Я сижу и думаю о девушке с продолговатым, крепким, умным лицом. Она – красавица, той особенной внутренней красотой, которая не в румянце, не в локонах, а в сквозящей в каждой черте внутренней силе, которая обдает вас, покоряя. Вот такая девушка умеет заставить идти за собой толпу, заставить делать то, что считает нужным.

По комнате, заложив руки, нагнув голову, ходит большими шагами мужчина в юбке.

Александр Егорыч уехал на ярмарку покупать жернова. Когда прислушаешься, за ставнями все тот же неумолкаемый мельничный шум.

– Но не в этом ужас надвигающейся расплаты. Не в этом. Что жизнь!.. Я готова хоть сейчас умереть... Не в этом.

И все те же большие шаги в мужских сапогах, так же заложены руки, низко опущена голова, – и тень липуче и неотступно следует за ней из угла до угла.

Я сутки тут, но я знаю уже всю их жизнь, как будто пробыл здесь все эти двадцать лет.

Она говорит отрывисто, коротко, но в обрывках слов, внешне не связанных, оборванных, – все, вся жизнь, все дни, все горе, все пережитое, вся безнадежность.

Дочь губернатора. Няньки, бонны, гувернантки, ливреи, шумные суетливые дни, ярко освещенные ночи, балы, маскарады и пряная атмосфера утонченной светскости. Надо было медленно выбиваться из заколдованного круга, из ослепляющей отравы. И она выбилась,

и, может быть, оттого такое крепкое, умное лицо.

– Нас было много братьев и сестер. Уже тогда, в детстве, я не знаю откуда, вырабатывалось насмешливое отношение к чопорности и великолепию губернаторской жизни. Помню, являются на рождество к отцу визитеры, – мундиры, фраки, декольте, шлейфы. А мы поймаем болонку – у матери болонка была, – помажем ей под хвостом горчицей, посадим на пол – а полы блестящие, скользкие – и пустим из дверей столовой. И она, повизгивая, едет сидя через всю анфиладу комнат, стараясь стереть горчицу, едет на задку через весь зал, к величайшему ужасу матери и дам, которые особенно усиленно начинают говорить, чтобы замаскировать неприличие. А мы таким же образом пускаем кота, а за ним небольшого пуделя, и они едут друг за другом. В детской у нас хохот, неистовство. Бегут няньки, бонны, гувернантки...

Она хохочет заразительно, подминая, и я не удерживаюсь и смеюсь. Должно быть, так смеялась девушка с умным, крепким лицом и подчиняющими всех глазами. И те-

перь, когда смех разлился по ее лицу, глаза напоминают глаза на портрете.

И опять ходит, заложив руки, нагнув голову. В освещенной снизу комнате большие шаги, да тень крадется сзади из угла до угла, да на темном потолке – колеблющийся, дрожащий светлый кружок.

– Два года была учительницей народной. Чудесное было время. Ведь я в первый раз увидела мужика, бабу: настоящего мужика, настоящую бабу. Я рвалась, чтоб внести луч в темное царство, чтоб хоть капельку облегчить сочащуюся народную рану. И как всегда бывает, увидела, что прежде развязать надо опутанный народ...

Началась кипучая жизнь, полная опасностей, напряжения, ежеминутного ожидания гибели. Но смелая молодость беззаботна, и когда ночью склоняла на подушку усталую голову, детский беспечно-беззаботный сон охватывал.

В это время познакомилась с Александром Егоровичем. Среди молодежи ничем он не выделялся, был молчалив. Но чем поражал, это – изумительным хладнокровием. На самое

опасное дело шел, тихий, скромный, задумчивый, и, главное, чувствовалось, в это время думал о чем-то о своем, к предстоящему делу не относящемся. Может быть, поэтому, может быть, этот фанатизм делал удивительно счастливым всякое предприятие, и он из огня, из полымя, когда все ставили над ним крест, выходил здоров и невредим.

Он в свою очередь поклонялся этой стройной, сильной девушке, приказания которой исполнялись всеми беспрекословно. Почему? Он не знал. Но он и себя отдавал в ее полное распоряжение, чувствуя постепенно, как разгорается тяжелый, багровый, все сожигающий пожар душевный. Он никому ни слова не говорил, но все знали, что он над всем поставил крест, все отдал этой девушке, – потерял цели жизни, одна она.

А она, как королева, скользила мимо этого, пожалуй, принимала как должное и отдавала приказания, как капитан на кидаемом в бушующей буре корабле.

Пришел неизбежный конец – она попала в тюрьму.

Тогда он пришел к товарищам, спокойный,

сосредоточенный, и, помолчав, сказал:

– Товарищи, я ухожу. У меня мое собственное, личное дело, ни с кем не связанное... касается только меня. Мне не нужно ни помощи, ни советов, я сам. И для вас я на это время не буду существовать. Когда кончу, я снова приду, я снова целиком отдам себя делу.

Он ушел.

Два года тянулось это. Два года он по кусочкам изо дня в день, из ночи в ночь, постепенно и неуклонно строил ее освобождение. Мысли, напряжение, изобретательность – все тянулось в одну сторону. Когда нужны были деньги, он добывал работу и работал не отрываясь дни, ночи, без сна, без отдыха, а потом опять методически, терпеливо, с железной настойчивостью, из кусочков, из лучинок и щепочек строил огромное здание освобождения, при невероятно тяжелых условиях заключения.

Наконец через два года устроил ей побег гениально, изумительно, и растерявшиеся власти, ничего не понимая, долго искали ее труп, полагая, что она убита, – так невероятен был ее побег.

Когда она глянула на него первый раз после этих двух лет, отступила, в ужасе защищаясь протянутыми руками, – это был не человек, а скелет, обтянутый кожей, и темные, запавшие глубоко глаза горели торжествующим огнем победы.

– Тогда, двадцать лет назад, я была поглощена работой и только и думала о том, как вырвусь из тюрьмы – снова ринуться в борьбу. И я отдала ему свою молодость, свою любовь – скорее из чувства благодарности, сострадания, почти из жалости. Я видела, как он мучился. Скрытый, замкнутый, все в себе переживавший, он явно шел на опасность, явно играл жизнью. Я знала, как любит меня. Все забывая, тяжело, мучительно, глубоко храня все в душе. Никогда ни слова никому.

И снова по освещенной внизу комнате – большие мужские, крепкие шаги.

На одной из станций их едва не арестовали. Он был ранен – пуля пробила легкое. Надо было спасаться. Она увезла его в глушь, в эту степную балку, где нужно было переждать и лечить его.

Первое время пришлось сидеть смирно,

пока не остынут поиски по горячим следам.

Надо было пить, есть. Связи были порваны. Принялись за самую черную работу, пахали, сеяли, водили скотину.

День убегал за днем.

С мужиками установились обычные мужицкие отношения. Первое время мужики не пускали их в свою среду, но когда увидели, что они так же бьются в нужде, так же с утра до ночи работают, а главное, так же выколачивают копейку, примирились.

Она работала до упаду; на свободе лечила баб, учила ребятишек. Он писал мужикам прошения, направляя по инстанциям, но, главное, нужно было пахать, сеять, возиться со скотиной, – раз заведенное хозяйство не позволяло себя оставлять ни на минуту.

День убегал за днем.

Раз он ей сказал:

– У нас нет детей.

Она затрепетала, как птица. Детей... да. Она не думала никогда об этом; не думала об этом потому, что всю ее наполняло другое. Не думала и здесь, потому что жила, как на бивуаке, пока, точно завтра сыметя и уйдет отсю-

да, и начнется настоящее, а здесь только станция, временно. И убегал день за днем. Глядь...

Раз вечером, когда, глухо белея, за окном гудел буран, он сказал:

– Уж десять лет сравнялось, как мы здесь. – И, улыбнувшись, прибавил: – Ты совсем на мужчину стала походить.

У нее руки похолодели... Как, десять!.. Да, да, десять лет. Но когда же это? И как это могло случиться? Оглянулась, дни бесконечно уходили назад – в туман прошлого, маленькие, коротенькие дни, из которых каждый в отдельности не имел значения, а вместе – жизнь.

Да, и уже похожа на мужчину, и уже усы, и огрубелые руки, и охрипший голос. Потихоньку, незаметно и страшно...

Тогда в первый раз она почувствовала, что любит, безгранично любит Александра Егорыча, что не может жить без него. И в то же время в первый раз увидела его улыбку.

В окнах ночь, свет от лампы на полу и на стенах, на потолке колеблющийся светлый кружок, и все те же тяжелые мужские стучащие шаги.

Она останавливается передо мной, она протягивает ко мне руки. Нет, не мужчина, я вижу перед собой женщину, и на глазах ее блещут слезы.

– Ведь я люблю его!.. Люблю его, такого беспомощного, неуверенного, колеблющегося; люблю его – опустившегося, измельчавшего... У меня не было детей. Я люблю его материнской лаской, всей нежностью женщины, сосцы которой не знали ребенка. Нужно свиней кормить – буду продолжать кормить; нужно с мужиками ругаться – буду ругаться отчаянно, беспощадно... Буду работать как вол, буду, как кулак, вести хозяйство... Ведь мне ничего, ничего больше не осталось... Ни-че-го...

Она бьется, эта женщина, бьется бессильно, протягивая руки, бьется в безграничной силе и власти любви, признавая свое бессилие, отдавая все свое женское, зная, что нет выхода, нет надежды, одно отчаяние.

На дворе отчаянно залаяли собаки.

– Кто-то приехал.

Прислушались, – за черными окнами тихо.

– Нет, никого... мимо.

– Вам бы выбраться отсюда, уехать. Про-

шлое давностью покрылось, ведь двадцать лет...

Но она не слушала и продолжала с отчаянием;

– Я ведь даю себе отчет!.. Ну, да, да, да, было светлое, яркое, сильное... была молодость, было единственное, что дается в жизни, и все зарыла, отдала свиньям, коровам, мельнице... Ведь он уже собрал тысяч десять – пятнадцать, и все еще копим... Ну что ж, надо или умереть, или... или продолжать жить. Не умираю, стало быть – буду жить... Но я не могу оторваться от него... Боже мой, я же люблю, люблю, люблю его безумно!..

И вдруг заговорила тихо, полушепотом, точно по камышу осторожно пробирался кто-то, шурша, и шевелились метелки:

– Но почему же, почему женщина не должна быть сильна, мускулиста? Почему женщина не должна быть похожа на мужчину? Разве не этой силе, не этим рукам обязан он своим благополучием, всем своим хозяйством? Разве это не я ворочала его жернова, подымала плугом новь, метала стога, выволакивала из грязи воза? Разве он не обязан жизнью мо-

ей силе? Его били мужики, ужасно били, на-
смерть. Когда мне дали знать, я бросилась, я
схватила за волосы того, который лежал на
нем, и почти свернула шею, запрокинув голо-
ву. Одному вывихнула руку, разбила голову и
спасла Александра Егорыча. Живой он оттуда
бы не вышел... Я ничего, ничего не понимаю,
отчего все так...

Я думал, что отдохну, и завтра надо идти
дальше. Она хотела остановить себя и не мог-
ла.

– Разве вы не видите этой постоянной
улыбки? Разве не понимаете, что за ней? Там
дети, семья, там неудовлетворенное отцов-
ство, там страстное желание иначе построить
жизнь, уйти отсюда, освободиться от меня.
Там – хитрое, никогда не потухающее обду-
мывание исподволь решительного шага, ко-
торый он, наконец, когда-нибудь сделает...

Мы долго сидели и молчали, и все так же
черна была ночь, и все так же шевелился
невинно-светлый кружок на потолке. Я думал
о том, как шел ночью и чмокали в грязи отя-
желевшие сапоги. И в глазах стояло крепкое,
сильное, умное лицо девушки. И никак я не

мог свести концы с концами, – все было просто, ясно, и что-то было не так.

– Я вас заговорила совсем.

У нее было снова спокойное, уверенное лицо хозяйки. Позванивая, не спеша, мыла и вытирала чайную посуду.

– Александр Егорыч напечатал рассказ в одном из толстых журналов... Вы, я вижу, устали. Постель вам готова, спокойной ночи.

Но когда я уже хотел уходить, она со звоном выронила ложечки и заговорила страстно:

– Но, вы понимаете, я не отдамся живой. Я не уступлю своей жизни даром. У меня хватит силы, – она поднялась во весь свой большой рост, – ведь я его вот держу! – И она сжала крепкий, загорелый, обветренный кулак. – Он весь тут. Он не смеет пошевелиться, вздохнуть. Как! А моя молодость? А моя работа? А дело, которому я всю себя посвятила... Ха-ха-ха!.. И он съезживается, весь сморщивается, как сморчок. И он ужетне смеет заикнуться, он уже чувствует, он уже раздавлен тяжестью моей потерянной жизни, и... ха-ха-ха... и опять смиренно, тихонько сидит в этой бал-

ке... в этой проклятой балке...

Кто-то прошелся по комнате. Я, нагнув голову, смотрел на пальцы, которые вертел друг около друга.

– А знаете что, – говорит она, нагибаясь и заглядывая мне в глаза, – ведь вот он улыбается, ведь это он обдумывает, как опрокинуть мою власть над ним, как выползти – вот как угорь выползает из-под сдавливающих камней. Ну, спокойной ночи... право, что это я...

Когда я притворил дверь и сбросил сапоги, она заговорила за дверью:

– Вот вы говорите – уехать. Да разве от себя уедешь? Разве от прошлого, которое в этой балке похоронено, уедешь?

Молчание.

– Да ведь он этого только и ждет. Ведь как только мы подыдемся из этой балки, как только выедем в степь,дохнем воздухом, встретимся с людьми, услышим их голоса, я сейчас же потеряю над ним власть, мы сейчас же разойдемся – он уйдет... Ну, спите, спите, больше не буду...

Но я долго не спал.

Сначала слушал, как сверчок треньканьем

задумчиво, немножко грустно, немножко надоедливо отзывался из какого-то иного мира, где все просто, ясно, как у него за печкой, и если борьба – короткая, жестокая, без колебаний. Потом сверчок устал и заснул.

И я некоторое время чувствовал, что чего-то недостает, потому что стояла темная пустота и молчание. Прислушался и услышал, что идут часы, идут и тикают тоже монотонно, спокойно и из другого мира,

Я долго слушал и стал засыпать. Меня толкнули. Я торопливо проснулся.

– Ну!

Выплыла улыбка Александра Егорыча. Десять лет человек улыбается. Как не устанет?

Тикают часы. Качаясь, я начинаю тонуть в забвении.

– Посто-ой!..

Снова встряхиваюсь и, хотя глаза сладкие и липнут, начинаю додумывать, чего не додумал и что мешает... Как же это он десять лет улыбается! Ведь те два года, когда всю силу свою, все напряжение мысли полагал на ее освобождение, наверное такая же улыбка не сходила с лица, улыбка непрестанной работы,

которую он отгораживался от людей.

Проснется среди ночи: ах, вот еще что!.. Или вот это еще нужно предвидеть, или вот такую еще комбинацию. Во сне даже думал и... улыбался, чтоб кто-нибудь не открыл, не догадался. Два года!

Ну, хорошо, не могу больше... и я во сне думаю о себе... Тиканье едва слышно... Часы где-то далеко... слились с пустотой и молчанием.

День был снова солнечный, свежий и веселый, с утра чуть морозный, к полудню распустившийся и закудрявившийся серыми потеплевшими облаками.

Двор, сарай, арбы, лошади, скотина – все производило впечатление крепкого, давно умело, внимательно налаженного хозяйства, которое строилось изо дня в день годами.

Хозяйка в больших сапогах, короткой юбке, мужской шапке энергично распорядилась овцами, свиньями, коровами, телятами. Это было совсем другое лицо, чем вчера ночью, заветренное, полное энергии, хозяйского напряжения и силы. Как будто слезы не блистали на глазах, как будто безнадежно не опускались руки, как будто не лежали сзади страш-

ные двадцать лет и, разинув рот, не глядела на нее широко рассеившаяся балка, где – неподвижный пруд, склонившиеся ивы, на пруду гуси белеют, меж ивовых ветвей сквозят хаты слободы, наверху – иссера-кудрявые, дразнящие дождем облака.

Приехал Александр Егорович, распряг лошадь, здороваётся, улыбается.

Нет, пустяки, ничего нет, ничего не было. Просто люди живут возле слободы, имеют мельницу, занимаются хозяйством.

– Ярмарка большая, – говорит Александр Егорович. – Что, не приезжал прасол? Скотина в цене стоит, несмотря на осень.

– Нет, – говорит Екатерина Павловна, – не приезжал. А вот мужики приходили, – не хочешь ли компанию составить землю куцевейсовскую купить?

Она говорит так просто, обыденно, что я окончательно убеждаюсь, что ничего нет и не было, что мне что-то приснилось, да я и думать об этом не хочу. Есть просто день, заполненный хозяйственными заботами, и больше ничего.

Но отчего мне так захотелось вдруг уйти

отсюда?

– Пойдемте на мельницу, покажу вам устройство моих турбин, – сегодня подняли одну.

– Пойдемте.

Я иду, чмокают в невидимой грязи сапоги, и кругом ночь.

Потерялся счет моим шагам, потерялся счет устало и одинаково тянущимся часам. Ни зги не видать!..

Но как весело идти, вытаскивать усталые ноги из чмокающей невидимой грязи, а кругом ни огонька, ни звука!

Знаю, и меня ждет глубокая балка посреди голой степи. Ну что ж! Это где-то далеко и смутно, как смерть живого человека, а теперь я иду среди ночи по неведомо откуда и куда тянущейся дороге. И среди темной сырости слышится звук моего голоса.

Все ночь, все тьма, все молчание...

«Милый, отдохни, ты устал...»

«Да, устал, дорогая... но иду, опять иду среди молчания, среди черной сырости и мглы осенней ночи... Это ничего, что за мной остаются все те же почернелые, нахохлившиеся

деревни, те же темные люди, те же пустынные черные поля... Нет ничего страшнее, как одинокая балка среди голой степи с мельницей...»

Не огонек ли загорелся во тьме?

Нет, искры прыгают в глазах, а может быть, волчьи глаза?

Пустынно и тихо.

Напоминание*

— Эх вы, тятя деревенская! Что с вас проку... Скажем, сдохнете, и хоронить не стоит, зря лес портить. А поче... — он покачнулся, — почему?.. Потому... деревенское дитё — что городское теле...

Два подмастерья, лет четырнадцать — пятнадцать, делали свое. Один доканчивал белый глазетовый гроб, подбивая бахрому, другой, коренастый, раскосый, со скулами, не слушая, стругал доску, и каждый раз с размаху из рубанка с визгом вылезала, кучерявясь, длинная стружка.

Пахло смолой.

— То и говорю: деревня на то, чтобы городу было жевать чего. Кабы дураки не водились,

умные бы подошли. Ежели ты понимаешь с малолетству, вырастешь, все тебе с нашим удовольствием, а дуракам закон по воде вилами писан... Семен Иванович, за ваше драгоценнейшее! – поклонился он себе и опрокинул рюмку.

– Семен Иваныч, готово.

Подмастерье глядел на него веселыми синими глазами, прямой и тонкий, как молодая березка среди старого леса.

– Ась?.. Рыбкой сушеной хорошо закусить...

– Готово, говорю, Семен Иваныч.

– Готово? Ну, с богом!.. Надевайте кафтаны да марш. Эй ты, тятя, слышь, что ль, Микитка, одевайся да гайда!..

– Покойнички не любят ждать, – зараз ошшерится и зачнет дух пуцать. Хитрые!

– На извозчика надо... Куда мы его поволокем.

– Изво-озчика?!. А може, тебе карету с ехрейтором на передке?.. То-то, дураки!.. Семен Иваныч, кушайте!.. И дурак нонче народ пошел... Что же тебе, кисло гробик по улице понести?.. Да ведь не какой-нибудь, а газето-

вый, опять же бахрома, бурдюрчик... Maybe, в него енаральшу положут, которая, гляди, при жисти тыщ пять доходу гладила, да економки, да болонки, да енерала за кадык водила, птичьего молока только не было... Это тебе не четверть водки. Водку, стало быть, совестно по улице несть, пьяница, говорят... А почему пьяница? Пить не совестно, а несть совестно? Эх вы, саддукеи! Бить вас по задним местам да кричать не велеть... Будьте здоровенький, Семен Иваныч!..

– Да ведь ночь, дом-то не сыщешь.

– Не-ет, это тебе не четверть водки. Каждый тебя увидит, поклонится, снимет шапочку, посторонится, царствие, мол, небесное покойничку, даст дорожку, проходите, мол, милые, проходите. Что милее всего человеку? Сон. Что нужнее всего человеку? Гроб. Ежли меня да спросят: Семен Иваныч, можешь не пить два дня? Могу! А можешь обойтись по край твоей жисти без гроба? Никак нет, вашскблагородие, не м-могу! То-то!.. Кушайте, Семен Иваныч!..

Ваня смеялся синими глазами, почесывая в затылке, а Микита, темный, угрюмый, гля-

дел исподлобья.

– Да ведь не найдем, возворотимся назад...

Семен Иваныч вдруг поднялся, не шатаясь, и заревел, как дикий медведь:

– Что-о?!

Он был бледен, а глаза сухо сверкали той звериной злобой, которая владела им, когда был трезв. Незаживающие рассеченные рубцы на лицах, на голове и на лбу мальчиков свидетельствовали, что у него тяжелая рука.

– Нну!!

Те молча одели кафтаны, поставили гроб на голову и вышли, цепляясь за притолоки.

Семен Иваныч опять рассолодел и подобрел.

– То-то, саддукеи!..

Потом навалился грудью, предлинно вытянул хоботом губы и стал тянуть разлившуюся по столу водку, – чтобы не пропадало.

* * *

Когда ребята вышли, прежде всего кругом лежал скрипуче-синеватый снег. Горели фонари.

Пошли, – коренастый впереди, который повыше – позади, – по панели, вдоль домов, и

снежно-узорчатые окна тоже светились. Гроб колыхался на головах, странно выделяясь близкой в сумеречно-морозной синеве.

В переулках было пусто, только снег скрипел под ногами.

Но когда свернули на широкую, большую, всю залитую огнями улицу, народ, сани, кареты, трамваи, среди шороха, говора, звонков, кишели, мелькая и непрерывно, и не слышно уже было скрипа под сапогами.

Бесчисленные дома, бесчисленные огни, бесчисленные люди – все стояло и двигалось кругообразно, как в огромном, незнакомом, заколдованном лесу. Оба уже год как из деревни, но дни и ночи проводили в мастерской, почти не показываясь за ворота.

– Эй, что прете на панель?.. На мостовую!..

Слезли и пошли по мостовой.

– Поберегись!.. поберегись!.. Что вас нелегкая под сани несет!..

Опять пошли по панели, и публика, косясь, обходила с той и с другой стороны, оставляя вокруг них пустой, молчаливо-враждебный круг. А они все шли, который пониже – впереди, который повыше – позади, при-

держивая на головах то с той, то с другой стороны зябкими красными руками.

Сворачивали направо, налево, переходили улицы, площади и опять шли среди торопливой, снующей, полной озабоченности публики, но все та же мертвая, враждебная пустота по панели, которую боязливо и торопливо обходили, неотступно шла с ними.

– Никак тут. Стой!.. Читай.

– Три... тридцать один.

– Ну?

Губы плохо слушались от мороза.

– Должно, это. Сказывал: палочка и «зело».

Подожли к подъезду. Полезли было в зеркальную дверь, но вышел швейцар с важным животом и позументами.

– Вы чего?

– Покойнику гроб, стало быть...

– Семена Иваныча... с Брёхова...

– А?.. это вы что?.. У нас, слава богу, все живы... Ах вы шалыганы... Вон!.. Чтоб духу не было.

Поставили опять на головы и опять пошли, пониже – впереди, повыше – позади. Долго шли.

– Гляди, кабы не этот.

– Этот и есть: впереди палочка, а потом «зело». Тринадцать, стало быть. Эй, милый человек, который у вас тут упокойничек будет?

Мохнатый, с заиндевевающим мохнатым воротником, похожий на медведя, дворник подошел, посмотрел и насупился:

– Проходи, проходи, неча останавливаться.

– Сказываем, тринадцатый номер... Померши не то господин, не то барыня...

– А скорее всего, барышня – глазетовый, белый...

– А вот зараз вас в участок отправлю, там узнаете, – и поднес свисток к губам.

Они перебежали на середину улицы и, придерживая обеими закалевшими руками, пошли иноходью, согреваясь. Долго шли. Еще сунулись дома в два, но было то же.

Тогда Микита вдруг повернулся, они под гробом глядели друг на друга.

– Ну?!. Али я собака?.. Не пойду!

– Хочь бы шкалик.

– Руки не отдерешь.

Постояли, помолчали, глядя друг на друга, чувствуя, как стынут ноги.

– Чудно, сколько народу мрет, а не напа- дешь.

– Где тут!

– Что ж мы его таскать будем всю ночь, что ль?..

Опять помолчали, стоя, как под крышей, и две синие тени, дожидаясь, лежали на снегу. От холода бежали сопли, и они утирались рукавами.

– Ай продадим?!

– А?

Микита с секунду глядел скуластым лицом, потом решительно повернулся, показывая затылок, и опять пошли, придерживая, один – впереди, другой – сзади.

Первая была большая мануфактурная лавка, и под праздник толпилось много простого народу. Хозяин, благообразный, с большой белой бородой, старик, степенно, не торопясь, не волнуясь, наблюдая, как торговали приказчики, получал, давал сдачу. И видно было, что за этой сединой спокойная, полная честных трудов жизнь, а теперь спокойная, ублаженная, щедрая и на церковь и на бедных старость.

Когда те двое с гробом вошли и протолкались, у него затряслась борода.

Они остановились, не снимая с головы.

– Ваше степенство, купите гробик.

– Нни... нне... нне... кончайте... затворяйте лавку... О господи!.. Затворяйте лавку... затворяйте лавку!..

– Ваше степенство! В хозяйстве завсегда пригодится. Каждый день восемь-десять гробов делаем, вот, лопни мои глаза, не вру!..

– Затворяйте... затворяйте... О господи!.. греха-то, греха-то на душу: завтра праздник, а мы торгуем... Закрывайте скорей...

– Ваше степенство...

Приказчики с удивлением смотрели, а он тыкался, не попадая ключом, в кассу. Тряслись руки, борода, плечи.

– Господи, пошто еси мя призываеши?.. Пошто еси призываеши мя, грешного?..

Смерть неизбежна, но она мерещилась где-то в отдалении, забаюканная щедротами неоскудевающей руки, честной, доброй жизнью, и вдруг...

– Пошто еси призываеши...

Он слышал, как сзади гремели двери запи-

раемой лавки, все так же, весь трясась, шел торопливыми, мелкими шажками и потонул в дальнем конце улицы, в серебряном сиянии фонарей и снега.

Ребята постояли на панели и пошли дальше. Всюду горели фонари, горели окна, как будто ничего не случилось, как будто все было то же.

Прошли в кожаненный ряд.

– Купчиха, купите гробик.

Дебелая хозяйка глядела на них с секунду остановившимися глазами и вдруг отчаянно завопила:

– Гро-об!.. гро-об!.. Господи... Заступница!.. Да что же это... да куды же это я... да за что же это...

– Дешево отдадим, не то что... без торгу... всегда пригодится...

Она перевела глаза на старшего приказчика, которого держала в любовниках, и, что-то сообразив, заголосила на другой лад, уже привычным голосом:

– Ой, да ведь это с Карп Спиридоновичем не ладно... Другую неделю ведь пьет. Это беспрременно ему. Бежи, Ванятка, за фершалом да

скажи, чтоб за батюшкой послали, да чтоб конского навозу припасли, отпаивать его, идола... беспременно помрет либо опился... А вы вон!.. Носит вас нелегкая, эфиопов... Вон, вон, вон пошли... Ах, горангутанги проклятые, чтоб духу вашего тут не было!..

Пошли, безнадежно пропуская лавки. Выбрали лабаз.

– Господин купец, купите гробик.

Огромный, красный, с жирно набегавшими на засаленный воротник складками лабазник, весь белый, как обсахаренный, отпускал муку.

– Дешево... ежели так, один материал окупит. Что доски, что бахрама, что глазет. Ободрать, и то деньги. Сделайте милость... Не то что четверть водки, а значит, необходимость каждому, а тут по случаю...

– За полпуда рубль шестьдесят. Получите сдачи сорок копеек.

– Сделайте милость, купите. Опять же – не пропадет. До поры на чердак поставить, ничего ему не сделается, рядом прикрыть, абы не запылится....

Лабазник повернул ключ в кассе, схватил

железный запор и, валя мешки, ринулся, багровый, с вздувшимися жилами, с красными, как мясо, глазами. Мальчики мгновенно повернулись под гробом, и словно их вынесло ветром.

Но и по улице они летели что есть духу, — сзади несло снопение и тяжелый скрип огромных сапогов. Что было особенно страшно, это что он неся молча и весь белый от муки.

Только за углом, на пустой улице, перевели дух.

А он неся за ними в бешенстве злобы, отчаяния и ужаса.

Вся жизнь была распределена по крепким, освященным всем укладом разгородкам. Все-му свое место: свое место попам, свое место милостыне, постам, говенью, семье, детям, торговле, деловому дню, свое место девкам, оргиям, кутежу. И оттого такая крепкая, такая плотная, спокойная жизнь.

Смерть? Да, и ей свое место, и она подчиняется общему ритуалу, подчиняется этой особенной силе горящих свечей, ладана, синевато-кадильного дыма, пения, что низводит

ее на уровень простого обряда, обезвреживает, вдвигает в обиход обыкновенной человеческой жизни.

А тут...

Тут глянула из-за толпы голая, обнаженная, страшная своей подстерегающей ежеминутной неожиданностью.

И он, задыхаясь, гнал их три квартала.

Остановились. Ваня повернулся.

– Видал?!

Микитка сумрачно молчал.

– Всем нужно, а скажешь – на стены лезут.

– Вот те и уважение.

– А сами же идут в мастерскую да все велят, как не моги скорей.

– Наррод!

– Мочи нету.

– Слышь, надо гроб тут оставить да потить самому, а то пужаются,

– Поди ты.

Спустили на снег, и Микитка угрюмо влез в лавку. Постоял и так же угрюмо проговорил:

– Ваше степенство, купите гробик... без цены, стало быть... сколько дадите...

– Какой гроб?

– А гроб, стало, для употребления... стодит-ся... одного материалу целковых на шесть, глазет, бурдюр, опять же доски... Он тут, за дверями...

Бородатый хозяин добродушно и ласково мотнул головой приказчику:

– Купи!

Приказчик вышел из-за стойки, нагнул Микитку за волосы и со всего маху два раза ударил кулаком по шее. Потом пошел за стойку и стал отпускать.

Микитка молча повернулся и вышел, осторожно притворив за собою скрипучую дверь.

Ваня перекидывался с ноги на ногу, хлопая накрест руками.

– Ну, что?

– Сказали – не надо.

Подняли на голову и опять пошли. Две синие тени, как увязчивые собаки, шли за ними. Ноги передвигались застывшими колодами. Лавки прошли, не заглядывая.

Разом, как по команде, остановились – в нос раздражающе ударил нестерпимо-острый запах еды и тепла. Подняли головы: вверху длинным светящимся рядом горели огни

трактира и глухо доносился гул.

– Слышь, пойдём, пуцай хочь поднесут.

Микитка замялся, но было нестерпимо холодно.

– Ну, ладно, только... иди ты передом.

Переменились, Ваня пошел передним. Гро-
мыхая промерзлыми сапогами, полезли по
крутой лестнице, придерживая скрюченны-
ми пальцами сползавший по головам гроб.

Когда отворили, громадно стоял табачный
дым. Блестели глаза, проступали, теряясь, то
голова, то рука, бутылки, столики, и, ни на се-
кунду не падая, также огромно теряясь, стоял
гул, говор, вскрики, всплески тонувших пе-
сен, и с трудом, тускло и мертво, как в тумане,
светили электрические лампочки.

Микитка и Ваня в первый момент покач-
нулись от головокружения, – так захватываю-
ще пахло жареным маслом, водкой и расп-
ренным человеческим телом.

Толкаясь о столики, цепляясь за стулья,
мимо разговаривающих, смеющихся, споря-
щих пробрались к буфетной стойке, где
нестерпимо пахло, вызывая слюну, селедка-
ми.

– Купите гробик...

Но в волнах густого тумана, разливаясь от стен и до стен, ни на секунду не ослабляясь, шатался непреодолимый гул человеческих голосов, и буфетчик не расслышал.

– Вам чего, ребята? – проговорил он, удивленно глядя на них.

И как там, на панели, так здесь вокруг них очертился круг пустоты и молчания и, растекаясь и захватывая комнату, мертво погасил все звуки. Все головы были повернуты в одну сторону, все глаза тянулись к одному предмету. Густо колеблясь, подобрался табачный туман, и в самом дальнем углу услышали, как с усилием выговорили стянутые холодом и усталостью губы:

– Господи!.. хочь по шкалику... без денег отдадим... не сдыхать же нам, как собакам.

Должно быть, прозвучало неподавимое отчаяние. Буфетчик мягко, не сердясь, сказал:

– Ну, идите, идите, ребята... Не к месту пришли... Ступайте.

Они повернулись и пошли к выходу, и слышно было в непогашаемом молчании, как гремели промерзшие сапоги, а сзади, рожда-

ясь, растекаясь и понемногу наполняя, рос говор и гул.

Спустились по лестнице и опять пошли по скрипучему снегу, ярко озаренному огнями фонарей. Светились окна в домах. Трубы медленно дымили.

Долго шли. Потом, как по уговору, остановились, опустили гроб на снег и молча сели на него. Все равно.

Внутри все закалело и дрожало неощутимой и в то же время неподдаваемой дрожью.

– Хочь пляши.

Микитка корявой, неразгибающейся рукой обирал намерзшие ресницы. Изредка проходила публика, но они не вставали, – было все равно.

Остановилась женщина, боязливо глядя на гроб.

– Вы чего это сидите?

Тогда Микитка проговорил неслушающимися губами:

– Мамоньку нечем хоронить.

Она еще постояла, потом порылась в мешочке:

– Ишь сердяги!.. Ну, нате.

Микишка испуганно зажал трехкопеечник. Проходили другие.

– Чего такое?

– Да вот мать хоронить нечем, – торопливо объяснила женщина, боясь, что ее упредят.

– Что такое?

– Мать, говорю, хоронят вот эти, померла, а хоронить не на что.

– Это чего такое?

Обступила маленькая кучка. Наискось, через улицу, перешел еще кое-кто.

– Мать вот не на что хоронить, – торопливо встречала каждого женщина.

Тянулись руки. То Ваня, то Микишка, делая усилие, зажимали скрюченными пальцами монетки.

– Мать хоронить нечем, а гроб газетовый.

– Да, может, жертвованный.

– Знамо, жертвованный.

– Ишь сердяги, застыли.

– Помяните усопшую Иродиаду.

– За упокой родителей и новопреставленного младенца.

Ваня, боязливо поглядывая, незаметно толкал Микитку, чуть шепча:

– Слышь... уходить... пор...

Еще постояли и понемногу разошлись. Улица на минуту опустела. Тогда оба разом поднялись и что есть духу, глотая холодный воздух, понеслись, туго зажимая полные кулаки, толкая друг друга.

– Ды куда ты, дура!.. Вон он, трактир-то...

* * *

Гроб лежал на панели немного наискось, озаренный с одной стороны ярко и холодно фонарем. И все тот же неподвижный круг пустоты, молчания и угрозы.

Когда слышался скрип шагов, приближающаяся фигура на мгновение запиналась, пугливо и осторожно обходила, торопливо уходя и оглядываясь. Меркли бежавшие мысли, воспоминания, смех в сердце, горе или заботы, и мертвая пустота темно заволакивала холодом предчувствия.

Сияли фонари. Черно глядели окна домов. Так всю ночь, пока не стало сереть небо.

На Белой горе*

I

Эта была высокая белая гора.

Она отвесно смотрела прямо в воду. И там от ее подошвы, опрокинувшись вниз, уходила в бездонную глубину такая же белая отвесная гора. Но это бывало только в ясную, спокойную погоду, когда в неподвижной реке отражалось и голубевшее небо, и ослепительное солнце, и белые нежные облачка.

В ветреный же день вся река серебрилась, как рыба чешуя, и в ней ничего не отражалось – ни небо, ни облако, ни неподвижная белая гора.

А когда приходила буря, и тучи, черные и лохматые, низко неслись над водой, гнулся камыш и ровно и сердито шумел встревоженный лес, река чернела и однообразно шла в одну сторону ровными, темно шумевшими валами, и их говор и шум стоял всюду, подымался даже до верхушки горы и заглядывал и проникал в маленькие темные окошки небольшой, стоявшей на самом краю хатки. Снизу она казалась крохотной и чуть белела.

Каждый раз, как за дальним лесистым поворотом реки начинало белеть просыпающееся ночное небо, из избушки выходил коренастый, небольшого роста мужик с заросшим лицом, корявыми от ветра и воды узловатыми руками, похожими на старые, отмокшие в воде коряги.

А за ним, сладко потягиваясь, зевая, борясь с детской утренней дремотой, выходил мальчуган лет десяти, туго подпоясанный веревкой, босиком, несмотря на предутреннюю свежесть.

Они несли весло, отточенные крючья, проваренные в отваре дубовой коры веревки и спускались по узенькой, лепившейся по отвесной стене извилистым карнизом тропке.

Далеко внизу, как игрушечные, чернели лодки, серебрилась река и лизала прибрежный белый камень. Идти надо было очень осторожно, шаг за шагом, иначе оборвешься и через несколько секунд будешь лежать у самой воды. В предрассветно-сумеречной мгле плохо видна тропка, но ноги привыкли верно и точно ступать.

Вот и вода. Тихонько и ласково она моет

белые камни и все больше светлеет. Уже открылась гладью до того берега: к самой воде там свесились кусты.

Две пары ног упираются в камни: черная, круглая, долбленая лодка, скрипя, ссовывается с берега и через секунду всплывает и колыхается, как живая, на вольной воде.

– Якорек-то захвати.

– Тут, положил.

Они садятся в нее, живую и зыбкую, до того зыбкую; что малейшее движение выводит ее из равновесия и она каждую секунду норовит хлебнуть бортом. Но как на тропке сами ноги, помимо сознания, точно и верно ступали, так в этой лукавой, вертлявой и хитрой «душегубке» сами тела совершенно инстинктивно сохраняют постоянное равновесие.

Весело, мерно и сильно буравит весло светлеющую воду, и от долбленки торопливо убегают, далеко расходясь, два стекловидных жгута. Назад гора отходит, впереди все ближе другой берег со свесившимися кустами.

Нос долбленки со скрипом въезжает в мокрый песок. Летят белые чайки, хорошо выпавшие за ночь. Из кустов, из лесу, кото-

рый придвинулся к самому берегу, несутся утренние птичьи голоса. Каждый звук далеко разносится, живой и ясный.

А уже за лесистым речным поворотом пылает заря. И для птицы, и для зверя, и для человека начинается трудовой день.

Мальчуган торопливо соскочил с лодки, придерживая ее. Сошел и мужик. Влажный скрипучий песок остыл за ночь, и мальчуган, пожимаясь и оставляя следы босыми ногами, бегал и собирал развешенные на кольях и просохшие за ночь сети.

Мужик достал из воды плетеную корзину, и в ней мелким живым серебром бесчисленно билась мелкая рыбешка. Корзину он привязал к лодке и опустил в воду. А мальчуган положил целую гору сетей на носу. Снова сели, оттолкнулись и принялись за работу.

Мужик сбросил якорек, сделанный из камня и сучьев, и, стоя на живой, шевелившейся под ногами долбленке, перебирал быстро уходящую за якорем в воду веревку, а мальчуган, стиснув зубы и напрягая все силы, гнал лодку, работая веслом.

Наконец веревка вышла вся, и мужик

сбросил в раздувавшуюся и брызгавшую кругом воду привязанный к другому концу якорь и поплавок из сухой, пустой внутри, тыквы. Длинная веревка легла по дну почти поперек всей реки.

Тогда оба сели и, перебирая мокрую, дрожавшую от течения и уходившую в воду в обе стороны веревку, стали привязывать к ней на крепких суровых нитках остроконечные крючья, а на крючья насаживать судорожно бившуюся мелкую рыбешку.

Уже солнце поднялось и побежало длинными лучами и по светлой реке, и по верхушкам зашептавшегося леса, и по белой горе, а они, нагнувшись и чувствуя, как тепло пригревает спины, без отдыху работали. Наконец дошли до другого конца и сбросили веревку, сейчас же ушедшую со всеми крючьями в воду.

Потом отъехали и стали ставить сети. И когда кончили, совсем разгорелся жаркий день, и палило солнце и блестело в стеклах избушки на горе.

– Полудновать надо.

Мужик погнал лодку на ту сторону, где

был лес.

– Есть хочется, – проговорил мальчуган, у которого от голода и усталости втянуло щеки.

Он выскочил на берег, живо набрал хворосту, и под треногой весело затрещал костер, а с треноги на проволоке свешивался черный котелок, и в нем вскипала уха.

– Батя, отчего такое, как по нашей горе идешь, стукнешь ногой об землю, а оно: бумм... как в пустое ведро.

Отец молча носит дымящуюся уху деревянной ложкой, и лишь слышно, как губы с шумом вместе с горячей ухой втягивают воздух, чтоб не обжигаться.

– А так, – говорит он, кладя ложку и вытирая заскорузлой, корявой рукой бороду и усы, на которых насели крошки хлеба, – так: мы думаем, что мы с тобой тут только одни, и больше никого, пусто, ан тут много всяких народов жило, царства были.

Он опять черпнул ложкой уху и стал громко схлебывать ее вместе с воздухом.

– Целые царства были. Которые погибли, которые разбрелись, а которые ждут своего время... оттого ударишь, а в горе пусто.

– То-то река каждый год подмывает гору, а там кости.

И втягивая с ложки уху, мальчик покосился на ту сторону реки.

Огромная стена, заслонившая полнеба, ослепительно белела в солнечном свете, и такая же белая отраженная громада чуть шевелилась и колебалась в воде, когда пробегали стекловидные морщины. Эта молчаливая белая гора, такая безлюдная и знакомая, вдруг населилась, стала таинственной и как будто чужой. Было почти жутко, но кругом стоял яркий солнечный блеск, в котором тонули и тихие заводи, и песчаные косы, и голубевшая от неба водная даль. Чернела долбленка, и, как бородавки, на светлой поверхности плавали поплавки от «переметов». Белые чайки, как подхваченные листки белой бумаги, косо переворачиваясь, летали над водой, и крик их, странный, почти кошачий, носился над рекой.

– Ну, будет, – проговорил мальчуган. Кончили, вымыли котелок, прибрали и снова принялись за работу.

Полуденное солнце стояло над лесами, над

горами, над ослепительно сверкающими водами и беспощадно жгло спины, руки, шеи, головы нагнувшихся над водой мужика и мальчика; а они болтались в воде, тянули сети, ставили свежие переметы, обирали с них попавшую на крючья рыбу, пот лил с их загорелых лиц.

Долог летний день и весь наполнен напряженной неустанной работой. Только когда покраснеет солнце и станет заходить на другом конце реки за дальние синеющие горы, рыбаки, поставив последние сети, плывут домой, и по дремлющей, остывающей от утомительного дневного зноя, гладкой, как зеркало, реке лежит от горы огромная, все покрывающая, сумеречная тень.

Усталые, они поднимаются по тропке, а на горе вся избушка еще залита лучами засыпающего солнца, и стекла блестят, как расплавленные.

– Сенька, приготовь-ка котел, завтра вываривать надо, – говорит отец.

Пока Сеня возится с котлом, в котором завтра будут вываривать веревки и сети в отваре дубовой коры, чтоб не гнили от постоянной

мокроты, сумерки тихонько покрывают и засыпающую реку, и молча темнеющий на той стороне лес, и болотистый луг за ним, с тусклым блеском мочегин и озер, по которому, как вечер, бродят белесые молочные туманы, разнося хворь и лихорадки.

В темной глубине реки зажглись звезды.

Старая, давно знакомая картина, к которой так привык Сеня, но сегодня он торопливо, боязливо оглядывается перед этой наступающей летней ночью. Слова отца придали особый смысл, значение и этой горе, и пустому полю, всему изрытому оврагами, которое тянется отсюда неведомо куда, и курганам, одиноко и смутно синееющим на нем.

Мальчик старается осторожно ходить, чтоб под ногой как-нибудь не зазвучала пустота, точно боясь разбудить неведомую, спавшую, а может быть, бодрствующую жизнь, которая вот-вот даст о себе знать. Чтоб подбодрить себя, запеваает:

Выбе-е-га-а-а-ла ло-о-одо-о-о-чка-а...

Вы-бе-е-га-ала-а из-за бе-е-ла-а ка-ам-ня-а-а...

А уже совсем ночь. Уже нет неба, а только мириады шевелящихся в черноте звезд. Уже нет реки, леса, болот, а только глубокий черный провал. И смутно все кругом, и все то же, и как будто незнакомо и таинственно.

Из-за-а бе-ела-а ка-амня-а-а...

– Сенька, ложись. Завтра опять тебя не добудишься.

Они укладываются спать у избушки на разостланном по земле камыше, у самого края горы, так, чтоб завтра, только что посереет небо, открылась и река, и тот берег с нависшими кустами, и чернеющие по водной глади поплавки.

У мальчика в сладкой дремотной истоме заводятся веки; изредка он встрепенется, откроет глаза, – с поля несется звон кузнечиков. Тихо и смутно; наперебой мерцают звезды. И все кажется, будто кто-то идет... Никого нет.

II

День идет за днем.

Раз в неделю приезжают скупщики, забирают рыбу и оставляют за это очень мало денег. Надо идти в соседнюю деревню, покупать

хлеб, припасов.

На хлеб и припасы отец отпускает гроши, а все копит, и когда соберет несколько рублей, пешком идет полдня до слободы, где почтовая контора, и отсылает деньги домой – в далекую деревню, где бьется голодная семья.

Не помнит ее Сеня. Плохо помнит и мать свою. Помнит он большой город, громадные дома по бокам узких, как коридоры, улиц, чадную, жаркую от плиты кухню. Мать с красным, потным лицом мечется от стола к плите, от плиты к столу; а на плите что-то шкворчит, жарится, кипит и сбегает пеной на огонь. Мать сердитая, то и дело дает ему подзатыльники, когда он попадает под ноги: «У-у, ты, постреленок, через тебя нигде не держат!..»

Сенька был тогда маленький, бледный и худой. В кухне было очень скучно и душно, и хотелось идти на улицу играть, да не с кем было.

Иногда мать собирала свои узелки, брала его за руку и, утирая покрасневшие глаза и сморкаясь в угол платка, уходила.

Тогда они жили в каком-то подвале, сыром

и темном. Через некоторое время мать опять брала его за руку, собирала узелки и шла жить в другую кухню в таком же большом доме, где так же было жарко, душно и горько пахло пригорелым маслом.

Потом пришел откуда-то отец с другими детьми и увез всех в деревню. В деревне все очень голодали. Потом отец взял Сеню, и они долго бродили, где прося милостыню, где работая, пока, наконец, не пришли к этой реке и не стали ловить рыбу. Тут они уже пятый год.

Летом было хорошо и весело, а осенью скучно и дождливо, и осенью плохо ловилась рыба.

Но всего тяжелее было зимой. По всей реке лежал тогда толстый, крепкий синеватый лед. Надо было его пробивать тяжелым железным ломом и спускать сеть с отдушины под лед. Невыносимо холодная вода, когда вытаскивали мокрые сети, намерзала на рукавах, пальцы сводило судорогой от холода. А по реке жгучими струйками тянул морозный ветер сухой мелкий снежок. В избушке было холодно и чадно, а по ночам приходили вол-

ки, садились недалеко и выли на снегу подолгу и жалобно.

Всю зиму Сеня только и мечтал о том, как придет весна, побегут ручьи и тепло пригреет солнышко усталую иззябшую землю.

Так уходили год за годом.

Трудно было рыбакам спускаться каждый раз и влезать на высокую гору по узенькой, лепившейся по обрыву тропке. Но поселиться на другом берегу, близко от воды, где бы так удобно было для работы, нельзя было. В лесу стояли топкие ржавые болота, и как только спускался вечер, вставали белые туманы и бродили под деревьями, между камышами, стлались над ржавой стоячей водой и тянулись тающими, изменчивыми, призрачными змейками. И если встречали ночью спящего человека, клубились и вились около него белым клубком и с тонким комариным пением впивались злой лихорадкой. После этого человек долго таскал с собой лихорадку, худел, желтел.

Такая беда приключилась с отцом Сени. Весною, когда особенно хорошо ловилась рыба, он остался на ночной лов и целую неделю

провел на том берегу, каждую ночь отсылая Сеню на гору в избушку.

Рыбы набрал много, но сам заболел. День ходил, работал бодрый и здоровый, а день валялся в жару и ознобе, и его так трясло, что всю одежду, которую навалил на него Сеня, подкидывало. Исхудал, пожелтел.

Мальчик не знал, что делать. В дни, когда отец лежал, он сам справлял всю работу, как это ни было тяжело: ставил и вынимал все сети, обирал с крючьев рыбу, насаживал наживу, отваривал сети и веревки в дубовом отваре. Сеня тоже осунулся и похудел от непосильной работы.

– Батя, что теперь делать нам? – говорил мальчик, глядя на его исхудалое, красное от жара лицо.

– Постой, сынок... поправлюсь вот.

А самого трясло под кучей одежды, и никак не мог согреться.

А тут пришли дожди и стали лить с утра до ночи, а ночью дождь стучал по стеклам и шуршал по камышовой крыше. Отец лежал под тулупом; мальчик сидел перед печуркой, где потрескивал огонек и вскипал чайник. То-

ненько пела коптящая жестяная лампочка.

Что-то зашлепало по мокрой грязи и по лужам снаружи. Мальчик прислушался: только шумел дождь, – и он опять стал следить за чайником. В голове бродили невеселые думы.

Опять зашлепало, потом кто-то стукнул в дверь. Мальчик весь, как пронизанный, выпрямился и насторожился.

– Кто там?

Но кто мог в такую погоду ночью забраться сюда? Никогда тут не бывает прохожих, да и дороги идут стороной.

– Кто там?

И вдруг страх, холодный, поднимающий волосы страх, охватил его: что, если это выходцы из того царства, которое когда-то тут было, выходцы из пустоты, которая так звонко отдается в горе?

Мальчик бросился к отцу и прижался:

– Батя, боюсь!..

А в дверь гремят и голос:

– Отоприте... впустите в хату...

– Батюня, боюсь!.. Ой, боюсь, это из горы вылезли человеки!

Отец с усилием поднял голову:

– Будет тебе, дурачок... пойди отопри...

– Ой, боюсь... Ой, батя, это человеки...

Дверь с треском распахнулась, с оторванным крючком; глянула чернота шумящей дождем ночи и вырисовалась неуклюжая приземистая фигура в тряпье, с которого ручьями сбегала вода.

– Али пропадать на дожде, что не отворяетесь? – проговорил вошедший, притворяя за собой дверь.

– Мальчонку напугал, – проговорил отец и бессильно опустил голову, натягивая на себя тулуп. Ему было все равно, что ни происходило в хате.

Когда мальчик увидел, что на вошедшем обыкновенная рваная одежда, что с него сбегает дождевая вода и все больше и больше растекается темной лужей по земляному полу, он успокоился. Он теперь знал, что это – обыкновенный человек, а не из горы вылез.

– Дайте погреться чаем, что ли, вишь, насквозь промок!

– Да ты откуда?

– Заблудился, – нехотя проговорил человек, снял с себя рубаху и стал выжимать в уг-

лу.

Мальчик налил в жестяную кружку кипятку, настоянного вместо чая на березовых почках и молодых листьях.

– Сахару у нас нет. Когда выменяем на хуторе на рыбу меду, а теперь батя – больной, некому сходить, а мне недосуг.

– И без сахару хорошо горяченького: продрог. – И он шумно втягивал дымящийся кипяток.

Долго стояло молчание в хате. Шумел за черными окнами дождь. Тоненько коптила лампочка, да шумно вбирал в себя обжигающий кипяток пришедший.

Отец отвернул тулуп и, склоняя то в одну, то в другую сторону истомленную, покрытую испариной голову, проговорил запекшимися губами:

– Сеня, дай-ка испить горяченького, все нутро сожгло.

Мальчик торопливо налил кипятку и подал больному.

Тот взял дрожащей, неслушающейся рукой и стал прихлебывать запекшимися губами.

– Откуда, добрый человек, будешь? – прого-

ворил он, когда несколько отдышался.

– Где был, там нету.

Опять водворилось молчание, да просилась в черные окна, расплываясь, дождь.

– Где бы у вас лечь? Устал.

– Дать-то тебе покрыться нечем, вишь, на мне вся одежонка. Вон в углу камыш, на нем и ложись.

– Отлично. Тряпье мое, почитай, просохло на мне.

И он завалился в углу на затрещавший камыш, и через минуту в хате стоял храп крепко спавшего человека.

Мальчик сел к столу точить крючья на завтра.

Надо было наточить штук двести. Глаза слипались, и в голове, путаясь, плыли разные мысли. Почему-то он вдруг успокоился насчет горы. Этот человек, так таинственно среди ночи пришедший, как бы служил живым доказательством, что даже и ночью и таинственно люди приходят не из горы, а оттуда, с воли.

Мальчик повел глазами на отца, тот не спал.

Тихонько, шепотом:

– Батя, а батя?

Тишина, скучный шум за окнами и непре-
рестающий храп в хате.

– А, батя?.. Что за человек будет?

– Кто ж его знает... Проходящий, а какого
звания, неизвестно.

– Може, лихой? Може...

– Точи, точи, сынок, спать надо, завтра те-
бе, сердяге, опять одному маяться, – вишь, я
какой.

– Може, он нас придушит ночью?

Отец ничего не сказал, отвернулся и стал
смотреть в черный, низко над самой кроват-
тью тянувшийся закоптелыми досками пото-
лок.

Повизгивает напилочек. Один за одним от-
кладываются в нарастающую кучку крючки
с остро оточенными, сверкающими на огне
лампочки остриями. Слипаются глаза... Спать
хочется...

III

Утром, когда мальчик проснулся, стало се-
реть в мокрых от дождя окнах. В печурке уже
потрескивал огонек, и вчерашний гость сует-

тился, наставляя чайник.

– Собирайся, собирайся, сынок, пора на работу, да выпей чайку, вишь, добрый человек огонек вздул.

Мальчик быстро вскочил, хлебнул кружку горячего кипятку и, забрав крючья, вышел. Холодной сыростью охватил серый дождливый рассвет.

В полдень поредели тучи, даже разорвались в одном месте. Солнце скользнуло в прорыв лучом, и заиграл озолотившийся в одном месте лес, расплавилась золотом река, и блеснули на горе стекла избушки.

– Се-ень-ка-а-а!.. – донеслось из-за реки.

Мальчик поднял голову: кто бы это был? Некому звать-то. Отец больной лежит.

– Се-енька-а-а!..

Теперь уже явственно доносилось из-под горы, и кто-то у самой воды махал руками.

У мальчика стукнуло сердце, – чего ему надо? Может, с отцом что-нибудь сделал? И что за человек, неизвестно, и не говорит о себе.

Сеня все-таки бросил сети и погнал лодку к горе. У берега действительно стоял вчерашний гость.

– Вишь, скучно там... – проговорил он, прыгая в лодку, когда она стукнулась о берег, – делать нечего.

Они вместе поехали к сетям, вместе работали, и мальчик много смеялся над неуклюжестью и неумением парня. Сварили уху, пообедали. Воротились только к ночи.

Отец по-прежнему лежал и трясся под тулупом в лихорадке. Сварили опять березового чаю и стали пить вместе под шум снова принявшегося дождя.

– Издалека ли, милый человек? – спросил отец, откинув тулуп, когда приступ лихорадки ослабел.

Гость почему-то рассмеялся.

– Из теплых из самых мест, – проговорил он, скаля зубы, – из города, а в городе из босяка.

– Так!.. – протянул отец.

Мальчик смотрел на обоих, не понимая.

– Во, в босяке третий год, – проговорил опять парень, и рябое лицо его стало жестко и скучно.

– Почему так?

– Сам знаешь, город не любит, которые без

работы: зараз либо в босяк, либо в острог, чтоб господам на улице не мешался.

– Как не знать?.. Знаю.

Сеня плохо помнил город, но ему почему-то вспомнилась чадная, жаркая кухня с пылающей плитой, измученное, красное от огня лицо матери, которая то и дело давала ему подзатыльники, злобно приговаривая: «У-у, постреленок! Из-за тебя нигде не держат...» И как она собирала узелки и, плача и сморкаясь, вела его по шумным, узким, с высокими домами по сторонам, улицам в какой-то темный затхлый подвал, где они жили до следующей чадной, душной и жаркой кухни.

И у него разом установилась странная и ему самому непонятная близость к этому рябому парню.

– Пакеда работа была, пакеда надрывался над ней, жил, а как привалила из голодающих деревень сила, тут и работы не хватило на всех, пришлось идти в босяк. А в босяке, известно, одно: либо милостыню собираешь, либо воруеть.

Долго они разговаривали с отцом, и сквозь

набегающую клонящую дремоту, никак не справляясь со слипающимися глазами, Сенька слышал отдельные слова: «в городе... все одно... деревня... с голоду... острог...», пока, наконец, не заснул сладко и без сновидений.

IV

На другой день приехали скупщики и забрали рыбу. Мальчик принес отцу пять рублей тридцать две копейки. Тот внимательно несколько раз пересчитал их на дрожащей руке, велел завязать в тряпку и положить в угол за икону.

Рябой парень все время внимательно следил и долгим взглядом проводил завязанную в узел тряпку, когда мальчик клал ее за икону.

На другой день гость из хаты исчез. Когда проснулся мальчик, он увидел отца, сидевшего на кровати и как-то странно водившего рукой.

– Слышь, нет его... ах ты!.. Скорей, Сенька, скорей за икону-то, деньги-то... ах ты!..

Мальчик с тревожно бьющимся сердцем полез в угол, достал тряпку. Развязали, деньги были целы.

– Погрешил на человека... погрешил. Почему такое ничего не сказал, ушел, ничего не сказал...

Прошла неделя. О госте и забыли. Сеня все время сам возился на реке, а отец лежал, съедаемый изнурительной лихорадкой.

Снова, как и тогда, отворилась вечером дверь, и на пороге показалась знакомая фигура парня. Он весело скалил зубы:

– Слышь, будет хворать-то! В слободу ходил, думал, работишка какая попадетса, ничего нету. Заглянул к доктору, лекарства тебе принес. Го-орькое! Цельную неделю велел пить на воде.

С утра стал принимать больной хину, и разом оборвало лихорадку. Дня через три он уже спустился с горы и работал с сыном.

– А я, братцы, пойду, – говорил как-то утром парень, – пойду в деревню, теперь покос, може пристроюсь. Спасибо за хлеб, за соль, за привет.

Долго смотрел Сеня, как шел он по полю, потом побежал за отцом, спустился по тропке, – и опять река, сети, переметы и белая хатка на высокой белой горе...

Вылечился*

— Ежедневные утром обтирания холодной водой...

Он снова поискал на потолке.

— Есть серую кашу... да, да, да, — сердито нахмурился он, как бы не давая возражать кому-то, — серую, самую обыкновенную гречневую кашу, которую едят рабочие... Ложиться не позже одиннадцати... Ну-с, и воздуху, воздуху, воздуху больше. Гулять, на охоту, на велосипеде... — И он опять сердито и строго поглядел на меня и пожевал губами.

Когда я шел домой, у меня странно мешались два настроения. С одной стороны, я как будто чин получил, чем-то выделился среди людей своей нервозностью, не тонул в толпе, а с другой — испытывал некоторое угнетение, — все-таки это была болезнь, хотя и самая благородная, болезнь нервов.

Вот только почему это я должен есть серую кашу? Это немножко грубовато. Впрочем, ничего, — многие великие люди были вегетарианцами.

Так или иначе, но я совершенно меняю ре-

жим. Аккуратно ложусь, аккуратно встаю; много полоскаюсь утром перед службой и аккуратно гуляю ежедневно.

Этого, конечно, мало. Я должен еще дышать чистым целебным степным воздухом, а для этого единственное средство – охота. Аксаков, Некрасов, Тургенев – сколько золотой пыли поэзии рассыпано в их творениях, поэзии, рожденной в охотничьих скитаниях!

У меня есть приятель. Служит в одной из канцелярий, в противоположность своим товарищам здоровый малый, с загорелым лицом и упрямо нависшими на лоб непокорными волосами. Каждое воскресенье и праздник, несмотря ни на какую погоду, он натягивает длинные сапоги, берет ружье и пропадает на целый день в степи, в лугу или за рекой в лесу, ворочается уж ночью, весь увешанный перепелами, куропатками, дикими утками, обвеянный ветром, прогретый солнцем, заласканный степным привольем.

Я отправился к нему. Он сосредоточенно чистил ружейный ствол, протирая масляной тряпкой и заглядывая туда одним глазом.

– Вот что, Ваня, – заговорил я после первых

приветствий, – хочу предаться охоте, как и ты.

Он молча глядел в дуло на свет, щуря правый глаз. Я немного подождал.

– Некрасов, Тургенев, Аксаков... ты помнишь, конечно, их описания?.. Кроме того, в младенчестве человечества охота составляла единственное занятие... Но и помимо того, у всех народов, во всех литературах... как бы это сказать... э-э... этакое...

«И отчего это у меня так прекрасно выходит, когда думаю, и так никуда негодно, когда говорю?..» – с тоской поглядел я на приятеля, так же упорно, молча возившегося с ружьем.

– Видишь ли, Ваня, – заговорил я, сам не зная почему, виноватым тоном, – мне доктор велел охотиться... Видишь ли, неврастения... этакое нервное состояние...

– Брось, – небрежно уронил он, – по приказу доктора это уже не охота.

Это меня укололо.

– Позволь, так нельзя, извини, но...

– Нет, не извиню, все равно нового ничего не скажешь.

С покрасневшимся и потным лицом, кри-

ча, я стал доказывать ему что-то, что совсем не нуждалось в доказательствах, и от сознания, что все это совсем не нужно, еще больше нарастало чувство досады и раздражения.

– Да ты чего распетушился? – проговорил он, когда я, взявшись за шапку, холодно стал прощаться. – Чудак... Ну, разумеется, в ближайшее же воскресенье отправимся. В Ольшанке теперь выводок куропаток.

Мы расстались как хорошие приятели.

Дроги, пошатываясь во втулках, с особенным говором колес на железном ходу, катились, оставляя за собой виснущую в прозрачно-утреннем воздухе пыль. Мы сидели, свесив ноги в высоких пылившихся сапогах, с ружьями между коленями, а по бокам то рысцой, то галопцем, высунув веселые красные языки, бежали две собаки: породистый черный сеттер Ивана и белый в рыжих пятнах понтер, которого Иван добыл где-то для меня.

Когда поднялись по долго тянувшейся на изволок дороге, далеко внизу, как грибы-белюшки после дождя, белели домики городка. За домиками желтели прибрежные пески, за песками – река, за рекой – луг, поблескиваю-

ций озерами, за лугом – зубчато-синяя полоса. А кругом – степь, пустая, прорезанная красными глинистыми оврагами, местами бурая, сожженная солнцем, местами желтеющая жнивьем, по которому бродил крохотный издали красный скот.

Ухо, уже отвыкшее от городского шума, теперь ловило звенящую кругом жизнь, и степь не казалась пустой. Солнце поднялось над далеко светлевшей рекой.

Становилось жарко, и с языков собак бежала вода.

Часа через два, когда уже не стало видно ни городка, ни реки, ни песков, ни луга, а только степь и степь, мы остановились у широко раскинувшегося, темневшего деревьями оврага, расползавшегося по степи отрогами и вершинами.

Слезли с дрог, запыленные, уже обожженные, с наслаждением расправляя отекающие ноги, и осторожно стали сводить лошадь по сбегавшей петлями в глубину оврага дороге.

Ласково покрывали деревья прохладой и сетчато-сквозной тенью.

– Пошли вы!.. А-а, поганые псы!.. – кричал

внизу за деревьями Иван на собак, которые уже забрались с ногами в чистую воду родника и громко лакали.

Выпрягли лошадь и расположились табором на небольшой полянке у самого ручья, сверкавшего по дну оврага. В противоположность сожженной степи наверху, здесь было прохладно, зелено и необыкновенно уютно. Где-то в самой глубине души, в чем я сам не признался бы себе, шевельнулось желание больше никуда не ходить, а валяться тут в длинных травах, слушать, как пробирается между корнями родник, турлыкает где-то горлица да флейтой переливается иволга.

Но когда серьезный и сосредоточенный Иван поднялся и проговорил: «Идем!..» – я тоже торопливо встал, держа ружье.

– Ты в ту, я в эту сторону, – донесся голос Ивана, и шаги его потерялись за деревьями.

Я слегка вздрогнул и свистнул собаке:

– Пойдем и мы.

Пегий пес поглядел на меня умными карими глазами, слегка тронул хвостом и шевельнул лопаухими, висевшими, как салфетка, ушами, – дескать: «Что же, я готов». И мы по-

лезли, цепляясь за деревья, наверх к опушке.

Солнце заливало ярким зноем. Кустарники неровной, извилистой линией тянулись по верхнему краю леса. Внизу чуть слышно шептались верхушки деревьев. По той стороне оврага щелкнул выстрел. Иван начал.

И этот короткий, как будто отскочивший от зелени деревьев, от зноя, от радости разгравшегося дня звук точно подмыл меня, и я заторопился, взвел курки.

– Пес, постой... Как звать-то тебя, вот ведь не спросил.

«Все равно», – мотнул он хвостом и, вытянувшись и осторожно ступая на согнутых ногах, медленно стал подходить к кусту боярышника, не спуская глаз и нервно вздрагивая ноздрями. Потом остановился, поднял переднюю лапу и замер.

И хотя я ждал, но звон вырвавшейся из куста пары куропаток поразил меня неожиданностью, я вздрогнул, от толчка грянули оба ствола, и дробь с удаляющимся пением понеслась через овраг, срывая макушки дерев, а куропатки, звеня и вырисовываясь на голубом небе серыми комочками, полетели в другую

сторону и скрылись за бутром.

Пес повернул голову и укоризненно поглядел на меня: «Эх, ты!» – и, отвернувшись, пренебрежительно затрусил вдоль кустов, понюхивая воздух.

Опять стал, вытянувшись в одну линию, поднял лапу и замер. Теперь я приготовился, и когда из куста со звоном вырвался целый выводок, я выстрелил. Мы оба следили за удаляющимися быстрым полетом птицами, – ни одна не упала.

Пес даже не оглянулся, – он презирал меня и рысью бежал, обнюхивая кусты и не обращая уже на меня ни малейшего внимания. Я с самым сконфуженным видом, чтоб не отстать, рысцой бежал за ним, иногда робко называя разными именами.

– Султан, Султан!.. Постой. Куда же ты торопишься?.. Постой, Полкан!

Но он все так же бежал, не останавливаясь, то подымаясь в гору по взбегавшей опушке, то опускаясь в глубь оврага. А я бегом, размахивая ружьем, следовал за ним. У некоторых кустов он секунду останавливался, зачухав куропаток, и тотчас же, не дожидаясь ме-

ня, совал туда морду, чтоб выгнать, и пускался бежать дальше, следя глазами, как со звонким трепетанием улетаели птицы; снова находил и снова выгонял.

Я с отчаянием, стирая пот с лица, что есть силы бежал за ним, хрипло крича, то ласково, то бранясь:

– Постой же, скверная собака, постой... Султан, Султан!.. Полкашка!..

Сердце у меня билось, в висках стучало, палило солнце, в глазах мелькали зеленые мухи. Я напрягал все силы, чтоб догнать его, приготовиться и стрелять, как только вырвутся куропатки, но не хватало сил нагнать; и передо мной вдали мелькали между кустами вытянутый хвост и морда, и то и дело срывались, звеня, куропатки.

– Послушай, эй ты, пес!.. На, на, на, на!.. Собака, Боб!

Я спотыкался, задыхаясь, обливаясь потом, в горле палило, мне казалось, от напряжения лопнет сердце, я упаду и умру. И я все-таки продолжал бежать за мелькающим между кустами псом, все еще надеясь, что он образумится. Но он даже не оглядывался на меня.

Тогда бешенство, помутив голову, охватило меня.

– Сто-ой!! – заорал я диким голосом.

Он на секунду оглянулся и опять замелькал между кустами.

Я вскинул ружье и выстрелил в него, но в последнюю секунду отдернул ствол, и дробь жалобно удаляющимся свистом понеслась выше его. Пес остановился и внимательно и серьезно стал смотреть на меня.

«Ты что это? – спрашивали его приподнятые уши. – В птицу не умеешь стрелять, так в меня?»

Я, наконец, совершенно задыхаясь, добежал и замахнулся на него прикладом.

Он не испугался, а в удивлении еще больше приподнял свои обвисшие уши:

«Вот тебе раз! Этого еще не доставало...»

– Да, но ведь ты гоняешь дичь, как самая простая дворняжка.

«Но ведь ты же не умеешь стрелять, никак не спохватишься вовремя...»

И так как мне нечего было отвечать, я сердито схватил его за ошейник и бессильно опустился на траву. Он было рванулся, но, чув-

ствуя, что не вырвется, ласково лизнул меня в лицо и, свесив горячий красный язык, стал торопливо и весело дышать. Долго мы так лежали возле друг друга на траве. Сердце понемногу успокаивалось, и в голову уже не било.

Кругом нас в кустах, вероятно, были куропатки, и пес слышал их запах, потому что, нервно вздрагивая ноздрями, от времени до времени подымал голову и настораживал уши, нюхая воздух. Я крепко держал его за ошейник.

Сквозь чувство досады и раздражения неудачей у меня теплилось какое-то странное затаенное чувство удовлетворения, что у меня на поясе нет неподвижно стынущих трупов птиц с мертвыми глазами. Серые, кургузые, с такими наивными глазками, птицы пробираются теперь в кустах, ищут зерна, разговаривают друг с другом, полные степных запахов, полные этого горячего, все заливающего солнца, полные неизъяснимой прелести того, что зовется жизнью.

И я ласково погладил собаку. Пес благодарно, с улыбкой взглянул на меня, шевельнул хвостом и потом приподнялся на ноги.

«Может быть, пора?»

– Нет, подождем еще.

И мы долго валялись на траве. Я уже не держал его, и он, протянув, как палки, ноги, лежал на боку, повизгивая во сне или лая тонким голосом с закрытыми глазами.

Я лежал на спине в тени кустов шиповника и следил, как неуловимо быстро неслись в голубой высоте ослепительно-серебряные облака. Ломаясь на неровностях, на кустах, на густой листве поросших по оврагу деревьев, скользили так же быстро их тени. Со степи неслись тонко звенящие трели жаворонков и едва уловимый колеблющийся шепот травы, лоснящейся от теплого ветерка. Огромный муравей упорно, и постоянно роняя, тащил комочек земли между стеблями около самого моего лица.

Сладкая истома набегала, ленивая и дремотная, смежая веки золотым тонким сиянием дня, и не хотелось шевелиться, хотелось ни о чем не думать. Время замедлилось и остановилось, как в утихающем круговороте, ничего уже не было, кроме золотисто звенящего сияния.

Лениво и нехотя приоткрываются глаза, и опять овраг, поросший деревьями, и лоснящийся травой бугор, и облака, слепя серебром, бегут в голубой вышине.

Далекий, слабый, короткий звук, как будто лопнул маленький пузырек, звук двустволки Ивана напомнил мне, что я приехал сюда не затем, чтоб лежать.

Я поднялся; и сейчас же пес, как уколотый, вскочил, бодрый, готовый сколько угодно бегать.

Он глядел на меня, приподняв уши:

«Пора?»

– Да, пойдём.

Он побежал вперед, но не убегая и оглядываясь, чтоб я не потерял его из виду, – у нас несомненно установилась дружба.

Я вскинул ружье, пошел за ним и вдруг остановился.

– А знаешь что? – обратился я к нему. – Ведь, если б я в тебя выстрелил давеча, как бы тебе больно было, и теперь, может быть, ты бы лежал остывшим, окровавленным... а?

Он вопросительно глядел на меня, приподняв ухо, повернул голову налево, потом на-

право.

– Так и им...

Он не понимал и так же удивленно смотрел, поворачивая голову то на один, то на другой бок.

– А мы вот что сделаем. – И я хитро, с лицом заговорщика, оглянувшись в ту и другую сторону, стал засовывать ружье в куст, маскируя его ветвями и травой.

Пес по-прежнему не понимал, залезал мордой в куст, обнюхивая ветви и ружье. – Надо все-таки заметить место. И, отломив ветку, я повесил ее на верхушку.

– А теперь пойдём, – весело хлопнул я в ладоши.

Он понял, завилял хвостом, высоко подпрыгнул, лизнул меня в лицо, – «тьфу ты!» Потом, поминутно оборачиваясь и приглашая меня, побежал вдоль кустов, напряженно обнюхивая, очевидно, зачуял, весь вытягиваясь, подобрался и, глядя у самых ног в пучок травы, замер, подняв лапу.

Я осторожно подошел сзади и, не шевелясь, стал смотреть по направлению его взгляда. Неожиданно почти под самой лапой

в траве оказался целый выводок прижавшихся куропаток. Собаке их не видно было из-за травы, а я сверху отлично разглядел их серые прижавшиеся комочки. Они крепко лежали недалеко друг от друга, как бурые комки земли, не шевелясь, наивно глядя крохотным глазом. Папаша и мамаша были побольше, с рыжеватым пером, ребятишки – маленькие, как будто пуховые серые шарики.

Смешно, странно и отчего-то весело было смотреть на эту птичью семью, наивно воображавшую, что ее никто не видит.

Старикам показалась подозрительной наша неподвижность и близость, и разом, как по команде, сорвался весь выводок и, звеня, полетел вдоль опушки.

Пес постоял, проводил их глазами, обернулся ко мне, повилял хвостом, что, мол, правда, весело? – и, нюхая и втягивая воздух, пустился вдоль кустов, то взбегая на бугор, то спускаясь в овраг. Я так же весело и беззаботно шел за ним, насвистывая, радуясь этому сияющему знойному дню, этой лоснящейся по степному бугру траве, этим бегущим серебряным облакам, этой шепчущейся в овраге гу-

стой листве.

Так мы бегали от куста к кусту, понимая друг друга, разыскивая выводы, наблюдая эти милые беззащитные создания, которые вносят жизнь в пустую степь и лес.

В одном месте пес остановился у края отрога оврага и стал смотреть на другую сторону, поглядывая на меня вопрошающим взглядом, – дескать: «Видишь?»

Но я ничего не видел и с удивлением приглядывался. Пес выражал нетерпение. Вдруг мне метнулось в глаза желтоватое, передвигавшееся пятно на той стороне. Это был зайчонок. Он прыгал взад и вперед, скусывал травинки, становился столбиком, смешно развесив лапки и уши. Ему нас не видно было из-за кустов, и он чувствовал себя дома.

Я придержал за ошейник волновавшегося понтера, заставил его лечь и сам растянулся на траве. Пес успокоился и положил голову на вытянутые передние лапы, не спуская глаз с зайца.

– Ну, вот видишь, это гораздо интереснее, чем смотреть надохлого, с запекшейся кровью и остеклевшими глазами.

«Так-то так, а все-таки...» И он с добродушной усмешкой вильнул хвостом.

Долго мы наблюдали маленького зайца, как он прыгал, удивительно ловко и необыкновенно высоко прыгал, то начинал скусывать траву и лакомиться заячьей капустой. А иногда становился на задние лапы и, наострив длинные уши, с серьезным видом поводил ими, как рак усами.

Псу это, наконец, надоело. Он поднялся и, повизгивая, сдержанно залаял. Заяц, как обожженный, сделал огромный скачок в сторону, встал на задние лапки и растерянно озирался; мы вышли на самый край оврага, и я хлопал в ладоши. Зайчонок, пораженный нашим появлением, все еще стоял столбиком, наивно и глупо глядя на нас, как ребенок, никак не в состоянии сообразить всей опасности, потом, наконец, в несколько скачков исчез в кустах.

Мы с понтером снова принялись за куропаток.

Когда, наконец, оба усталые и набегавшиеся, мы остановились, через весь овраг протянулись длинные тени, и в воздухе была раз-

лита прохлада.

– Пойдем, будет...

Понтер поглядел на меня умным, понимающим глазом, вильнул хвостом и затрусил назад, уже не обегая и не обнюхивая кустов. Возле боярышника, где было спрятано ружье, он остановился, поглядел на меня, потом на куст и повилял хвостом.

– Здесь, здесь, милая, хорошая собака.

Я достал ружье, оглядевшись предварительно во все стороны, не видит ли Иван; вскинул на плечо и с сосредоточенным видом настоящего охотника зашагал к нашему табору, спускаясь по капризно извивающейся между деревьями тропинке.

Вечерняя прохлада все более остывающего оврага охватывала. Птицы затихли. Кроваво догорали в огне заката макушки деревьев на противоположной стороне. Дремотно пробирался ручей. Лошадь спокойна пощипывала траву.

Иван уже был внизу возле телеги, развел костер и кипятил чайник.

– Ну, что, как? – И он бегло оглядел меня.

– Да ничего, – и я, почему-то нахмутив-

шись, приставил ружье к дереву, – а ты?

Он молча мотнул головой на дроги, где серой кучей возвышались убитые куропатки. Их было штук двенадцать, большие и маленькие, неподвижные, остывшие, с мертвыми, затынутыми белой, пленкой глазами. Понтер подошел, осторожно понюхал их и отвернулся, не глядя на меня, не то с упреком, не то с одобрением.

Сели пить чай на траве.

– Я что-то не слышал твоих выстрелов, – проговорил Иван.

Я угрюмо тянул с блюдечка горячий кипятилок. На странно ли это: ведь ничего дурного я не сделал, только то, что оставил на воле несколько живых существ, от которых прекраснее становятся и степь, и лес, и звенящий ручей в овраге, и ласковее солнце над деревьями. Но расскажи я Ивану, как я провел на охоте время, как мы с милым понтером бежали по кустам, какие смешные куропатки и зайчата, как приятно их наблюдать, живых, радостных, полных жизни и грациозных движений, а недохлых, пахнущих запекшейся кровью, – скажи я ему это, он бы хохотал до

упаду, как безумный, и от рассказов дома и насмешек мне бы не было приходу.

И чтоб замаскировать свою странную охоту, я проговорил:

– Он плохо ищет, гоняет, – и, как бы извиняясь за невольную клевету, погладил собаку.

Понтер, устало положив голову на лапы, извиняюще мотнул хвостом: дескать, «ничего, я не сержусь, тебе иначе и нельзя».

Когда выбрались наверх, сумрак тихой, теплой летней ночи всюду лег. Смутно чернел позади овраг, как разинутая чернеющая пасть. Постукивали на железном ходу катившиеся дроги, и маячили бежавшие по бокам собаки.

А вверху в черном небе искрился колеблющийся бесчисленной игрой звездный праздник. И было таинственно, смутно, чуть-чуть грустно и в то же время легко на душе в этой молчаливой, сгущающейся темноте, в которой уже не узнаешь ни степи, ни таинственно-темных очертаний не то оврагов, не то возвышенностей. Чей-то тонкий, печальный и неосязаемый звук чудится. Прислушиваешься: в темной степи, тихой, особенной, спо-

койной тишиной ничем не тревожимой ночи, только постукивают во втулках невидимо бегущие колеса.

Я, невольно улыбаясь, вспоминаю уморительную рожу зайца и наивно прижавшиеся комочки куропаток. Они теперь поприсстроились в кустах по лесу и спят чутко, заводя глаза, чтоб утром, чуть проснется восток, снова наполнить лес звонким голосом, движением, игрой и жизнью. А рука при встряхивании дрог все касается холодных перьев мертвых птиц, и я все отодвигаюсь и невольно взглядываю назад на крохотную маленькую полоску где-то бесконечно далеко во тьме еще не потухшей окончательно зари.

Впереди, внизу, в такой же черноте, как булабочные уколы, тонко зажглись огни города.

Дни идут за днями все той же скучной городской жизни, среди стен домов, среди камня мостовой, среди духоты и пыли, среди утомительно-однообразного с утра до ночи уличного шума. И среди забот и работы я вспоминаю свою поездку в степь, как чудесный давний, полузабытый сон.

Как-то заходит Иван и говорит:

– Ну, знаменитый охотник, идем, что ли, в луг, на уток. Их там тьма. Время стоит хорошее, и ты набьешь... – он со сдержанной улыбкой смотрит на меня, – не меньше, чем куропаток.

Я насупился. Я так и знал, что будут отпустить по моему адресу шуточки. Нет, не желаю, не пойду, ни малейшего желания быть посмешищем. Повернулся к нему и вместо того, чтобы сказать: «Не пойду», проговорил:

– Ладно.

И сам удивился и обрадовался своей непоследовательности. Снова на минутку вырвусь на простор,дохну вольным, полным травяных запахов воздухом, поживу хоть один день радостной жизнью лесов и озер. Но теперь не буду сентиментальничать. Одно из двух: или на охоту не ходить, или делать то, что делают на охоте. И не кушаю ли я ежедневно суп из говядины, котлеты, бифштекс, а ведь это были тоже жизни, и в них отражалось и небо и земля. Ничего, кушаю...

Я вычистил ружье, и впечатления минувшей поездки – наивные семьи куропаток и

зайчонок, развесивший лапки, – все куда-то попряталось и исчезло. Буду смотреть на вещи просто и ясно.

Отправились мы без собак, – собака Ивана заболела, а моего понтера увезли из города.

На пароме переправились через спокойную, как зеркало, реку. В ней, чуть колеблясь, голубело опрокинутое небо, белели прибрежные дома, зеленели верхушками вниз склонившиеся ивы. И опять охватило спокойное, тихое душевное настроение после суеты, шума и грохота каменной пустыни города.

Мы шли лесом. Куковали кукушки, постукивали дятлы, перепархивали дрозды. Лес стал редеть, блеснули просветы, а когда вышли на опушку, развернулся, безгранично убегая, луг. Он жестко стлался до самого горизонта щетиной скошенной травы.

Густо поросшие шелестящим, качающимся, шепчущим камышом, в разных местах тянулись озера, то длинные и узкие, то круглые, и вода поблескивала местами, как серебро оправы. А надо всем – блистающее солнце, беспредельно голубое небо, в котором медлительно, кругами плавают рыжие коршуны.

– Вот беда, – сердито говорит Иван, широко шагая по колкой отаве, – без собак теперь плохо. Камыш густой, не видно, а в жаркие дни утки крепко сидят, в двух шагах прой-дешь, а она прижмется в камышах, и не заподозришь. Можно проходить целый день и ни одной не выгнать, а я знаю, их пропасть теперь, – выводы подросли.

Мне это было досадно. Мне очень хотелось восстановить свою испорченную репутацию охотника.

– Можно хлопать, кричать по берегу, – предложил я, – чтоб выгонять их.

– Нет, не поможет. А впрочем, попробуем.

Мы подошли к длинному, далеко протянувшемуся, узкому озеру. Мягко колыхались метелки густого камыша. Несколько лягушек плюхнуло с берега в воду, которая ослепительно блестела местами меж тростника.

– Ты иди по одну сторону, я по другую, – предложил Иван, – да не зевай, если вылетит, бей в лет.

Пошли. Я напряженно всматривался поверх слегка волнующихся, колеблющихся мохнатых метелок, держа наготове ружье, и

ухал грубым гудящим голосом:

– Ух!.. ух!.. ух!.. Го-го-го!..

А Иван отвечал с той стороны:

– Га-га-га!.. Ух!.. ух!.. ух!..

Но все тот же чуть колеблющийся задумчивыми метелками камыш, все то же над ними голубое небо, горячее солнце. Утки посмеивались над нами, комфортабельно устроившись в густых камышах, в тени, в прохладе, а нас немилосердно жгло и палило полдневное солнце и сушил знойный ветерок.

Дошли до конца и сошлись с Иваном. Он был мрачнее тучи.

– Нет, ничего не выйдет. Надо дожидаться вечера, когда начнется лет, только тогда и можно стрелять.

Я не хотел так легко сдаваться. Было неодолимое желание как можно скорее восстановить свою поруганную охотничью репутацию,

– Знаешь, что я придумал?

– Ну?

– Разденусь-ка я и побреду по озеру, тут неглубоко. Утки будут вылетать, ты их будешь бить с берега, а я тут на воде.

Иван подумал.

– Ну что ж, – дело! Тебе-то на воде, пожалуй, удобней бить, в лет мазать будешь.

Я торопливо снял сапоги, платье и остался в одной блузе, которую перепоясал ремешком, и шапка на голове. Сапоги закатал в платье и спрятал в густую осоку у самой воды.

На лугу никого не было, только у дальнего озера маячили фигуры, – должно быть, резали камыш.

С ружьем в руках я осторожно полез в озеро, с удовольствием после дневного зноя ощущая прохладу воды. Было по колено. Стеной стояли камыши, пересекаясь по всем направлениям. Вверху тихо шевелились склонившиеся метелки, и в просветах сияло голубое небо.

Пахло тиной, прогорелым, почернелым в воде листом.

Я раздвигал камыши, осторожно пробираясь, балансируя, то глубоко уходил, в жирную, маслянистую обволакивающую тину, то вылезал на кочку, корчась и поджимая пальцы, в которые остро впивались пеньки прошлогоднего срезанного камыша и которые ре-

зала осока. Болотные травы цепко опутывали ноги, и что-то непонятное скользило холодным прикосновением – не то лягушки, не то пиявки, а может быть, змея.

Я со страхом осторожно вытаскивал ноги и болтался в воде. Пот выступил на лбу, на лице.

«Фу, боже мой, как все-таки это все трудно!.. Разве вернуться?»

Но это бы свидетельствовало о поражении, неудаче и полной моей неспособности. И, балансируя, размахивая руками и ружьем, как будто я шел по канату, приседая и кланяясь перед теснившимся отовсюду молчаливым камышом, я с отчаянием лез дальше, проклиная свою затею. Мне было не до уток. Только бы добраться до конца озера, вылезть, вернуться берегом, одеться, ушел бы или просто бродил бы в лесу. Как теперь чудесно в лесу! Да и дома хорошо, право. Возьмешь книгу, растянешься на диване и читай себе...

Ой!.. Я вытащил из пальца большую занозу. Ноги были исцарапаны, изрезаны осокой, в крови. Две пиявки присосались и, напившись, свисали полными, черненькими, круг-

лыми мешочками. Этого еще не доставало! Я с отвращением их оторвал и выкинул. Боже мой, вот мука-то! И когда только этому конец!

И я продолжал в отчаянии болтаться, балансировать и приседать.

Камыш слегка раздвинулся, блеснуло открытое плесо. Я разом замер: на тихой и ясной, отражавшей камыш и небо воде плавал целый выводок с большой кряковой уткой, которая осторожно оглядывалась кругом, поворачивая туда и сюда голову на вытянутой шее.

Ага, наконец-то! Я осторожно поднимаю ружье, прицеливаюсь в мать. Нет, подожду немного, пока сплывутся, спущу оба курка, тогда можно положить весь выводок. Я неподвижно, почти не дыша, стою как изваяние.

Утята плавают, ныряют, наскакивают друг на друга. Точно в комнате где-то большая семья, и дети резвятся, беспечные и веселые, а мать, серьезная, наблюдательная, смотрит за ними. Утята торопливо опрокидываются вниз головой, с минутку болтают лапками в воздухе, потом исчезают, и на воде только круги, потом опять появляются с червяком, рыбеш-

кой или илом в клюве, отнимают друг у друга, гоняются. Весело смотреть на них.

«Да, но стрелять-то все-таки надо». Я почему-то вздыхаю и опять поднимаю ружье. На мушке мелькают головы, крылья, лапки. И не подозревают, бедняжки, что сейчас разлетятся их головы, посыплется перья, окровавится вода, обрызгается мозгом и кусочками тепло-го мяса камыш...

«Нет, не могу!..»

Опускаю ружье. И вдруг мне приходит блестящая, бесподобная идея! «Ха-ха-ха!..» Отлично, пусть он ходит там по берегу, а я осторожно загоню уток в камыш, и он останется ни с чем. «Ха-ха-ха!..» Это отличная ему месть за насмешки, за презрительное отношение к тому, что вовсе не заслуживает презрения. Я не буду испугивать уток к нему под выстрел, а осторожно, не пугая, загоню их в камыш... «Ха-ха-ха!..» Пусть себе разгуливает по берегу.

Осторожно пошевелился. Утка разом насторожилась, а утята испуганно сплылись вокруг нее. Я опять шевельнул камышом, и на воде остались только разбегающиеся круги, да осока тихонько шевелилась. Теперь их сы-

щешь только с собакой. Превосходно!

И опять балансируя, раздвигая камыш, пугаясь в цепкой болотной траве, я поплелся дальше. Озеро, казалось, без конца и краю. Я устал, пот катился градом; изрезанные, исцарапанные ноги ныли, но все искупалось сознанием, что я беспощадно одурачил Ивана. Теперь утки забились в осоке и камыше и покатываются со смеху над Иваном. А может быть, и надо мной?

Все равно – вот и конец. Я выбираюсь. Ноги жгуче ноют. Иван стоит, мрачно опираясь на двустволку.

– Говорил, без собаки нельзя.

– Н-да-а... без собаки, брат, не того... Утка – хитрый зверь.

А самого так и подмывает расхохотаться.

Идти назад было мучительно. Идти голыми ногами по крепкой колкой отаве все равно что по граблям зубьями кверху. И я приседал, охал, размахивал руками и утешал себя: «А все-таки он в дураках... хе-хе-хе...»

Пришли. Вот и густая щетка осоки. Стал искать, – ничего. Раз десять обшарил, – нет, пусто. Боже мой, что же это такое?!

– Иван, ведь нету платья-то!

– Ну, вот, куда же могло деться?

– Да нету.

Мы опять обыскали все кругом, примяли всю осоку, – нет. Я стоял в отчаянии.

– Что же мне теперь делать?..

Иван пожал плечами.

– Делать нечего, пойдём к лесу, ты сядешь и будешь ждать, а я пойду в город за платьём.

Как ни нелепо все это, иного выхода не было.

Иван сумрачно шагал, положив ружье на плечо.

Я торопливо семенил около босыми ногами, приседал, охал, взмахивал руками, как будто собирался лететь, – невыносимо колко было идти по жесткой, скошенной, торчавшей, как щетина, луговой траве.

– Это те негодяи стащили, что камыш резали, – угрюмо бросил Иван.

Мною овладел бес противоречия.

– За что ты их ругаешь? Если и взяли, что из этого? Мы имеем с тобой возможность бросать и деньги и время на такую жестокую забаву, как охота, а у них даже праздников

нет, – воскресенье, а они вышли резать камыш. В деревнях дети пухнут с голоду, голые сидят по целым зимам, а мои сапоги и платье, может быть, прикроют целую семью.

Иван шел, нахмурившись, слушал, вдруг остановился, глянул на меня и покатился со смеху, держась за живот:

– На кого ты похож? Глянь ты на себя, фи-фи-ло-соф... – сквозь слезы неудержимо рвавшего его смеха проговорил он.

Я покраснел от досады, – вид у меня действительно был легкомысленный.

– Очень глупо. Нечего над этим смеяться, случайность со всяким может быть. Да ты и сам остался в дураках. Утки...

– Что такое? – подозрительно нахмурился он.

Я прикусил язык. Рассказать все – значило навеки порвать нашу дружбу. И мы опять шли молча, а я старался возможно меньше приседать, балансировать и размахивать руками, идя на цыпочках, чтоб не так было колко.

Но Иван иногда искоса взглядывал на меня и, несмотря на усилия сдержаться, прис-

кал со смеху.

Дошли до опушки. Солнце склонялось. Стало прохладнее.

Иваи оглядел луг,

– Хорошо, что знакомых не встретили, теперь вечером на пикники часто ездят. Ну, сиди. Я – за платьем, – и, вскинув ружье, зашагал по опушке.

Я присел в кустах и стал ждать, вытирая израненные, исколотые ноги. «Ужасно все это глупо... Последний раз на охоте... А все-таки утята теперь резвятся, и мать любовно смотрит на них, а не висят с мертвыми глазами и вытянутыми шейками у пояса...»

И мне почему-то вспомнилось, как в темноте катились дроги, и было смутно, и рука моя при толчках касалась мертвых холодных перьев птиц, и я все отодвигался, а назади среди ночи рдела узенькая кровавая полоска непотухшей поздней зари.

Время тянулось медлительно и скучно. Я думал о том, о другом, потом надоело думать, и я сидел, бесцельно ковыряя землю. Давно село солнце, сумрак все задернул; потом деревья, трава на лугу, дальние камыши осереб-

рились, – из-за леса поднялась луна, и между ветвями потянулись серебряные полосы. Было тихо, не шевелились ветви. Где-то ухал филин.

«Однако докуда же я буду сидеть здесь? А что, если он не вернется? Вот положение... Неужели же ночевать тут?»

Я тихонько ходил взад и вперед. «Нет, ни за что больше не пойду. Это моя последняя охота...» Но в будущем что будет, а сейчас положение безвыходное.

Луна подымалась все выше и выше, сквозя серебряно сквозь ветви. Я устал ходить, опустился на землю и предался безмолвному, неподвижному отчаянию. По всем видимостям, придется переночевать тут. А на заре будет очень холодно.

Уже луна, белая и круглая, стала склоняться по другую сторону зенита, как я услышал звук колес. Я напряженно, чутко стал прислушиваться. В лунном серебряном мареве кто-то ехал, и слышался звук рессорного экипажа. Ближе, ближе. Неужели не за мной? Я затаил дыхание. Голос:

– Ми-ко-лай Ива-а-ныч, где-э-э вы-ы?

– Здесь, здесь!.. Сюда, здесь!

Это знакомый извозчик. Он приворачивает к опушке.

– Наконец-то... Что вы так долго?..

Я торопливо одеваюсь, сажусь в экипаж.

– Думал, и не найду, хотел уж и ворочаться.

Кругом серебряная ночь. Лошадь трусит рысцей.

Мимо отходят молчаливые, неподвижные тени леса. Все-таки какая чудесная вещь быть одетым!..

Да, это моя последняя охота. Но от вольного воздуха степей, от тенистых дорог леса, от целебного и незабываемого общения с природой я и не думал отказываться, и, кроме того, я постоянно помню о своей нервозности. Я решаю купить велосипед.

Охота – жестокая, кровавая забава, омрачающая все удовольствие видом крови, смерти, муки. Велосипед – благородная машина, стирающая расстояния, умеющая слить человека с самым пространством, с самым воздухом в головокружительной быстроте...

Тоскливо и скучно тянулась осень, прошла зима. С первыми весенними днями я отправился в магазин. Стоял целый ряд велосипедов, и все новенькие, как с иголки. Приказчик расхваливал одинаково все системы, а я, ничего не понимая, сосредоточенно тыкал пальцем в резину. Наконец выбрал и привез домой.

Сырость и туман неустановившейся погоды несколько не мешали мне настойчиво учиться ездить, и я целыми часами прыгал на одной ноге позади велосипеда, держась за ручки руля. Измученный, задыхающийся, обливаясь потом, валился вечером на кровать и засыпал мертвым сном. Через две недели я уже порядочно ездил.

Мне дали отпуск, и, чтоб наилучше использовать его для здоровья, я решил ехать на юг, в Крым, само собою разумеется, прихватив с собою велосипед.

Промелькнула скучная железная дорога. Показалась волнующаяся зеленоватая поверхность моря. Кругом следы последней борьбы зимы и наступающей весны: туманы, сырость, низко бегущие тучи, покрапываю-

ций от времени до времени дождь, холодный ветер. На пароходе монотонно и однообразно идет своя жизнь: ходит по мостику помощник капитана, вертят штурвал два матроса, пристально вглядываясь в туманную даль. Пассажиры на палубе жмутся в подветренных местах или сидят по каютам, а мимо без конца и краю убегает зеленоватая волнующаяся поверхность.

Ночь, день, еще ночь, и, наконец, вставшее из-за моря солнце осветило горы. Синие, с чуть-чуть подернутыми белизной еще не ставшего снега вершинами, поднимаются они к синеющему небу над хорошеньким городком, над ласкающимся у берегов синевато-зеленым морем. Бежит навстречу длинный серый гранитный мол, за ним целым лесом поднимаются к небу чернеющие мачты, а за ними дома – белые, зеленые, красные – лепятся по крутизне, а над ними темно зеленеют леса и бесплодно от века стоят изрытые, морщинистые стремнины отвесной горной стены. Этот поднявшийся хребет земли мощно загораживает мир, оставив людям узенькую прибрежную полосу.

Я весь во власти этих красок, этого сияния, этого теплого ласкового воздуха, этого немолчного колыхания ослепительно играющего моря. Носильщики берут чемоданы и велосипед, и через десять минут я в гостинице.

Сквозь говор, шелест, смех, вскрики и восклицания толпы на улице, врывающиеся через отворенные окна, ухо ни на минуту не устает слышать другой – тяжкий и мерный говор за стеной, который сам по себе и которому нет дела до слабых людских голосов, – говор моря. По набережной катятся экипажи, проезжают кавалькады, пестро и шумно идут гуляющие.

Яркий день, кругом все зелено.

Я уже побывал у доктора, но услышал то же, что и дома: «Гулять, больше быть на воздухе, хорошо питаться» и прочее. Это несколько разочаровало. Где же те особенные условия, которые должны совершенно перевернуть нервную систему, освежить, обновить ее?

Правда, горы, море; но ведь сами по себе они ничего не могут сделать. Я решил приняться сам за свое лечение, без докторов. Как

только просыпался утром, сейчас же начинал делать гимнастику, прыгал на одной ноге, перегибался, махал руками, наклонял голову, потом просовывал голову в форточку и делал несколько глубоких вдохов. Затем после завтрака гулял сосредоточенно, ритмически, в определенных местах, определенное время. Вечером перед сном все пунктуально повторялось в том же порядке.

Настал день, когда все это нестерпимо надоело. Я взял велосипед и отправился кататься.

Яркий веселый день. Спокойное море, отражая ослепительный блеск яркого солнца, простиралось вдаль. По набережной – масса гуляющих. Я катился по мостовой легко и быстро, чувствуя, что велосипед сам собою идет с особенным характерным звуком пневматических шин.

И это радостное утро, и быстрый ход велосипеда, мелькающие мимо прохожие, экипажи, магазины – все вызывало радостное возбуждение. Я решил подняться на велосипеде по шоссе на горы, в сосновые леса, отдохнуть там, надышаться озоном и вдоволь налюбо-

ваться восхитительной панорамой, которая должна оттуда открыться.

Все шло хорошо; подъем сравнительно небольшой, и велосипед легко все выше и выше вкатывался по шоссе

Но чем дальше, тем тяжелее становилось. Усталые ноги с величайшими усилиями нажимали на педали, которые неохотно и тяжело поворачивали шатуны.

Уже стал пробиваться пот, взмокла рубашка, а из-под английской шапочки падали на руль крупные соленые капли. Версты через три я качался из стороны в сторону, тяжело дыша, с раскрытым ртом и раскрасневшимся лицом, всем туловищем налегая на педали, а они с усилием едва поворачивали шатуны. Наконец дальше ехать я не в состоянии.

Слез, стирая с лица бегущий пот. Оставалось одно – воротиться, но так не хотелось этого делать.

Я решил вести велосипед в руках, отдохнуть наверху и потом превосходно проехать под гору к городу.

Шоссе шло извивами, и по нему долго бы пришлось идти до намеченного пункта. Спра-

ва от шоссе отделялась тропинка, которая напрямик полезла в гору, и чтоб сократить путь, я свернул на нее и поволок велосипед, скользя, падая, спотыкаясь по осыпающемуся из-под ног щебню. Проклятый велосипед, обыкновенно чрезвычайно легкий, теперь был страшно тяжел, стаскивал меня назад, поворачивал колеса, наваливался такую тяжестью, как будто в нем было десять пудов. Задыхаясь, с бьющимся сердцем, раскрыв рот и выкатив от напряжения глаза, бился я, втаскивая упрямую машину в гору.

«Ну, ничего! – думал я. – Правда, немножко тяжело, зато там, наверху, буду наслаждаться красотами, да и физическое напряжение после сидячей жизни полезно, а уж вниз проеду – одна прелесть».

И я продолжал трудиться.

На одном повороте встретила группа каменщиков, они тоже подымались в гору. Выпачканные в глине, белые от извести, они потихоньку подымались по тропинке, разговаривая и неся за спиною инструменты. Мне очень не хотелось встречаться с кем-либо в таком истерзанном виде, но делать нечего,

свернуть некуда.

Каменщики тихонько идут за мной, разговаривая между собой.

– А что, барин, чижало небось? – спрашивает один, высокий и худой.

В этом звучала некоторая ирония.

– Нет, машина-то ведь легкая, в ней двадцать с небольшим фунтов, трубки все дутые. Это я напрямик захотел, а потом сверху по шоссе отлично съеду...

– Да, стало быть, прогуливаетесь... Что ж, бог труды любит.

– И диковинное дело, – заговорил другой, небольшого роста, в морщинах, с седеющей бородой, – диковинное дело, чего только надо этим господам: сыт, одет, обут, сиди да бога благодари. Нет, братец ты мой, он зараз себе придумает. У меня зять служит в лакеях, зачнет рассказывать – умора! Барин евонный, как с постели утром, нагишом зачнет прядать, руками машет, головой, а то на корточки. Комната у него такая, кольца разные вверчены, веревки, брусья, он и ломает себя на них. А то зачнет сигать через кобылу, кобыла у него такая в комнате, соломой набита.

– Емнастика, стало быть, для ради упраж-
нений.

Деваться было некуда, и я продолжал, за-
дыхаясь и спотыкаясь, волочить проклятую
машину.

– Какая емнастика, просто с жиру. Ты гля-
ди, сколько они мяса-то едят. Наш брат ежели
по праздникам его видит – слава богу, а ведь
они кажинный день, да на дню по два, по три
раза, ну, и разыграется. Видал: схватил маши-
ну и прет ее на гору.

– Аж мыло с него... Дай помогу, барин. – И
высокий стал подталкивать велосипед.

Мне очень хотелось провалиться. Я бы с
удовольствием вернулся, но, во-первых,
неловко было уходить, не достигнув цели, во-
вторых, под гору по этой обрывистой тропин-
ке немислимо было ехать.

Я прибегнул было к хитрости, остановил-
ся, желая отделаться от непрошенных собе-
седников. Но каменщики тоже приостанови-
лись, скрутили сигарки, покурили, а потом
опять пошли вместе, слегка поддерживая ве-
лосипед.

Наконец я таки вскарабкался до леса и в

изнеможении повалился на землю, всю усыпанную побуревшими иглами. Каменщики ушли. Кругом неподвижная тишина. Воздух смолисто пахуч.

Необозримым простором раскинулось море. Местами дымятся пароходы, белеют паруса. Далеко внизу, у самого берега, цветным пятном лежал веселый городок,

Я не замечал этой красоты, этой тишины, благоухания. Лежал неподвижно с остановившимися глазами, не будучи в состоянии никак прийти в себя и отдышаться.

Наконец несколько пришел в себя, посидел, потом поднял велосипед, выбрался на шоссе, взялся за руль и сел. Рисовалась приятная перспектива: приятно, легко, свободно и без усилий скатиться вниз по шоссе до города. Эта приятная езда должна искупить все предыдущие муки.

Едва сел и дотронулся до педалей, как велосипед быстро покатился по шоссе. Было приятно катиться, не делая никаких усилий, чувствуя, как бежит в лицо легкий, со смолистым запахом ветерок.

Мало-помалу велосипед стал приобретать

огромный ход. Я нажал тормоз, он лопнул, и машина рванулась и понеслась, как взбесившийся, закусивший удила конь.

Что было силы давил я педали в обратном направлении, стараясь сдержатъ несшуюся как буря машину, но ноги бессильно мотались по сторонам, подхваченные вертевшись со страшной быстротой педалями.

От напряжения сдержатъ проклятую машину пот бежал с лица ручьями и мучительно колотилось сердце.

С особенным шипением от чрезмерно быстрой езды летел велосипед, со свистом пролетая на поворотах шоссе, которое сбегало вниз извилами, как змея, и я, мокрый, задыхающийся, с выкатившимися от ужаса глазами, вцепившись в руль, с мотающимися с невероятной быстротой, против воли, по сторонам ногами, каждую секунду ждал, что вдребезги разобьюсь о каменный парапет, с двух сторон окаймлявший шоссе.

«Боже мой, неужели конец? Такой бессмысленный, нелепый конец?..»

Мимо неслись старые ели, дачи, серая сливающаяся полоса шоссе, серые сливающиеся

в такую же полосу камни ограждающих его стенок. В ушах стоял свист, в горле и во рту пересохло.

На секунду перед глазами – ноги закинувшихся, взбесившихся от страха лошадей... «Давы с ума спятили!» и кавалькада падавших с лошадей дам и насмерть перепуганных кавалеров осталась далеко позади.

Мне казалось, что эта мука – уже несколько часов, а прошло несколько минут. Навстречу понеслись дома, велосипед запрыгал, и меня с ног до головы обдала холодная вода. Руль свернулся, я со всего размаху ударился о землю и въехал лицом в грязную мутную жижу.

На секунду удар выбил сознание. Когда раскрыл глаза, около суетился народ. Я лежал в водосточной канаве, наполненной грязью, запутавшись в кишку, из которой поливали улицу и которая обдала меня водой. Возле валялся изуродованный велосипед.

Через неделю с подвязанной щекой, с подбитыми глазами, с носом, похожим на сливу, прихрамывая, я гулял по палубе парохода, а еще через неделю валялся с книгой на своем

диване с радостным сознанием, что жив, здоров, цел.

Нервное расстройство как рукой сняло.

Старое*

Курени, длинно вытянувшись вдоль беспрерывно подмываемой дороги, жмутся к самым садам, которые, цепляясь, обрывисто всползают по береговым откосам до самого верху. А там – голая, бескрайне выжженная степь.

Недреманно режут светлые воды красный глинистый яр, то и дело с шумом рушащийся, и серая, пыльная, изъезженная дорога на самом краю его испуганно жметя к плетням.

Курени и сараи лохматятся старой, почерневшей соломой, а дворы, в противоположность казацкому обычаю и широкому степному размаху, – маленькие, тесные: все съедает батюшка тихий Дон, подмывая вершок за вершком, сажень за саженью, прижимая к самым зеленеющим по откосам садам, куда куреням карабкаться уже невмочь.

За Доном – вербы над водой, а за вербами, сколько глаз хватает, – бесконечный луг, ры-

жий, сухой; выгоревший, давно выкошенный, а за лугом, на самом краю, смутно сияет, как золотая звездочка, крест – станица.

Спокойная река тихий Дон Иванович, – старая спокойная река, – и все улыбается добродушно, чуть насмешливо, по-стариковски.

Улыбается кудрявыми облаками, которые как упали, так и белеют на дне, чуть шевелясь, и рыбы ходят с удивленно-круглыми глазами. Улыбается голубым небом, которое тоже все там, внизу, в живой, чуть играющей прозрачности. Улыбается ленивыми песками, белыми, рассыпчатыми, которые всего пересыпали, и куры беспечно бродят здесь.

Ходят тут иногда и пароходы, возят пассажиров, таскают скучные пузатые баржи с хлебом. Но не любит утруждать себя старик. К середине лета, когда, словно седой, весь разляжется белыми песками, глядь, то и дело на отмели обсушивается на боку пароход.

Матросы без штанов ловят бреднем рыбу, раков; капитан с пассажиром первого класса пьют коньяк и о чем-то глубокомысленно молчат; а палубные пассажиры – которые храпят навзничь с раскрытыми ртами, с крас-

ными лицами, которые играют в карты в «носы», в «три листика», а которые, усердно потея, добиваются прохлады водочкой и чайком.

Иные, отоспавшись, выиграв или проиграв и бессчетно выпив чаю, не спеша спускаются на берег.

– Пойти, видно.

Но для очистки останавливаются.

– Что, братцы, долго, видать, будем стоять тут?

Матросы, напряженно согнувшись, глядя на воду и сверкая белыми ногами, тянут бредень.

– Соменка упустил... Тебе говорят, забредай из глуби, забредай из глуби...

– Да ты свой-то край не подымай! Гляди, под бредень ушел.

– Под бре-едень!.. Рот раззявил! Чистый егузиил!

Вытряхивают бредень, и на песке серебристо трепещет мелкая рыбешка.

– Сказываешь, простоим сколько?

Матрос прикладывает руку козырьком и для чего-то смотрит на солнце.

– Да дён пять, гляди, простоим, а то и всю неделю.

– Прощлое лето об эту пору месяц стояли, – говорит другой, собирая рыбешку в ведро.

– То-то, думаю, пойтить, помаленечку и дойдешь.

И, вскинув сумочки, идут бережком группами по два, по три человека, степенно рассуждая о чем-то.

А старый искоса ухмыляется и пропадает бесконечными поворотами, белея песчаными отмелями среди пустой, выгоревшей степи.

Над степью кобчик трепещет, точно повис на невидимой нити; кругами плавает коршун и глядит вниз, на свою, плывущую по шершавому полынку тень, да солнце – высоко, неподвижно горячее, ослепительное, и трескается иссохшая земля, и веки смежаются узенькой щелочкой. А по иссохшей, как камень, земле бродит красный скот и делает вид, что пасется.

Вечерами, когда уйдет жар, потухнет закат, все благословляет благодатная прохлада. Тихонько стынет тихая, мягкая темнота.

Со степи тянет запахом чабреца и полыни.

Унывно и тонко отовсюду поют комары, много их.

Тих и дремотно-задумчив старик Дон.

И, обогащая ночь живым человеческим звуком, плывет песня.

Нет, не песня, – ни слов, ни произносимого содержания, ни мотива...

*Э-э-э... о-э-э-о... о-о-о...
да э-э-э... а-а-а... о-э-э-э...*

Просто душа раскрылась и тянется к этому молчанию, к этой тихой задумчивости, мигающей в водной темноте звездами, к этой беспредельности, ибо нет у нее слов, нет слышимого языка, а есть лишь воспоминания, далекие, смутные и, как всякое воспоминание, подернутые грустью.

Должно быть, едет на каюке по черной воде казак, мерно и редко гребет веслом, – либо на реке ставил вентера и крючья на перемете смотрел, либо с лугу коня искал, – гребет и отдает этой тихой, темной, задумчивой ночи смутные, неясные, самому ему неведомые воспоминания.

О чем?

Не о том ли, как столетия назад, вот в такую же темную, тихую, задумчивую, ночь по черной воде плыл на каюке казак и пел: «Э-э-о-э... э-о-э-э...», а в густых зарослях, на лугу, таились и следили хитрые кумыки, ногайцы, беспощадные татары, косоглазые калмыки, а на другом берегу мирно спали в темноте станицы, хутора, сады?

Нет, и предания о том погасли.

Не о том ли, как пришли на пустынные берега, когда не было ни станиц, ни хуторов, ни садов, вольные люди, не стерпевшие рабства, но не сумели в привольных степях зажить привольно?

Нет, самая память, откуда взялись, пошли казаки, вытравилась...

Как и у других на хуторе, двор старика был тесен и узок.

Двухэтажный деревянный курень на пригорке глядел на реку, на пропадавший в сухой мгле бесконечный луг, на сияющую на самом краю звездочку креста. Старик выходит на крылечко и, приложив руку козырьком, тоже глядит на старую реку, на луг, на звездочку.

Он высок, широкоплеч, старинная борода

не очень седа, а ему – девяносто два года.

Каждое утро выходит он и смотрит из-под козырька, не ворочается ли старина... Нет, не ворочается. Как будто и сорок, и пятьдесят, и восемьдесят лет назад то же было: и Дон, и пески, и луг, и небо, – и в то же время все теперь по-иному, все по-новому. Пропадает благодать простора в степях, пропадает зверь и птица, пропадает рыба в озерах, да и самые озера, пропадает удаль в казаках, мелкий народ пошел. Вон пыхтит и тащится с баржами супостат; какая уж тут рыба, – всю разгонит. И радуется старик, когда увидит, как сохнет на солнышке севший на мель пароход.

Так каждое утро оглядывает старик владения своего неоглядного царства.

Потом проверяет, что делается в узком, подмываемом Доном дворике. Курица вылезла из-под досок и кудахчет, – стало быть, не в курятнике снесла.

– Марья, а Марья, ты что же за курами не смотришь? В курятнике-то у тебя крысы одни живут.

Марья, крепкая жилистая женщина, сожженная солнцем, ветром, лет пятидесяти,

засучив рукава и высоко подоткнув юбку, стирает в корыте белье.

– Ну, ладно уж, знаю...

Как и все бабы на хуторе, она встала сегодня, когда еще звезды были на небе, убралась с коровами, прогнала их в степь, выгнала телят, испекла хлебы, отстряпалась, возилась с птицей, банила полы, а теперь взялаеь за стирку. Было одно и то же изо дня в день, вот так уже двадцать два года, не покладаячи рук. Незачем подгонять... И взяло ее зло.

– Да ты ни свет ни заря подымаешься, делать тебе нечего и балабонишь. Сиди уж у себя, чисто сыч!

Старик пропускает мимо ушей, – на то бабы, чтоб молоть.

Не в этом суть, а главное, что и бабы теперь Сталине такие, как по старине: все хи-хи да ха-ха, а нет, чтобы настоящее. Что – настоящее, и сам ясно не представляет, но было иное, и он это чувствует.

Он живет отдельно от тех, занимает верх двухэтажного куреня. В нижнем этаже сложены старые хомуты, седла, мешки с отборным зерном для посева, крысоловка с куском объ-

еденного сала и всякая домашняя рухлядь.

Наверху, в маленьких четырех комнатах, – никакой мебели: только белый стол, табурет и тесаная кровать. Пахнет травами и старостью. По стенам на гвоздиках – множество мешочков с сушеными травами, с семенами, с косточками неведомых зверей и оружие. Кривая баклановская шашка, с которой он ходил на Кавказ, пика – наискось, из угла в угол, во всю стену; еще шестнадцатилетним казачком он служил с нею во время наполеоновского нашествия, много переколол французов – и счет потерял; красная ржавчина, как старая забытая кровь, всю ее оползла.

Но лучшее украшение комнаты – это: в небольшие окна виден Дон, и песчаные косы, и тот берег с наклонившимися вербами, и бесконечный луг, и сияющая звездочка невидимого креста на краю.

Целый день у старика забота и дело. С утра выйдет на крылечко, побранит Марью; если племянник тут – так и племянника, а если работник еще не уехал в поле – то и работника; потом ворочается в комнаты, и начинается настоящее дело.

Ходит старик около стен, трогает мешочки. Из одного семена высыплет, попробует, из другого – травку сухую; разотрет между старыми, костлявыми, иссохшими руками, понюхает плохо слышащим носом.

Потом ходит из угла в угол старыми шагами и старым гнусавым голосом победно поет:

*Взбран-ный во-е-водо по-бе-ди-
тель-ная.*

Ходит, и поет, и ухмыляется хитро, по-стариковски. Чему? Но разве не целая жизнь позади?

Обедать приносит ему в горшочке Марья. Он и ее встречает настороже, хитрой улыбкой, сузив глазки, стоя в углу.

– Ага, принесла!.. Ну, ну, ну... Так, так, так... Попробуй, попробуй...

Марья, раздраженно и сдерживая себя, ложкой черпает кашу и, дуя, осторожно тянет губами горячее варево.

А он все ухмыляется.

– Та-ак, та-ак... Черпни сбоку, черпни сбоку... Развороти, развороти кашу-то...

И вдруг трясется от охватившей злобы и

жует заросшими губами.

– Подсыпала, подсыпала!.. Что не берешь сразу-то? Ага, выбираешь! Нет, ты разворти-ка, возьми-ка с донушка, с донушка, с донушка...

– Тьфу, будь ты проклят! И когда только... – И, переламывая себя, со злобной и льстивой ласковостью говорит, стягивая тонкие позеленевшие губы в уродливую улыбку: – И чтой-то вы, Трофим Никанорыч?.. Али мы лиходеи? Ну вот, вот беру откеда хотите. Господи, да неужто ж мы... Горячее, губы жгешь... Кушайте на здоровьице.

Она уходит, а он принимается за еду, осторожно прислушиваясь к запаху и вкусу.

Старый, с вялой кожей, но еще сильный и бодрый, он борется за свое право на жизнь, борется за свое понимание ее, за свою власть над нею.

Вечером приезжает с поля племянник. Ему шестьдесят два года. Сухонький, маленький старичок, живой и озабоченный, с загорелым зимой и летом лицом.

Когда-то это был офицер старинных вре-

мен, каракулями подписывавший свою фамилию, отличавшийся от казаков не лицом, не голосом, а погонями на неуклюжем, мешковатом мундире. Но теперь и это стерлось, и он потонул среди огрубелых, копающихся около земли казаков, и лишь засаленная, заношенная, неизменно зимой и летом на голове, офицерская фуражка свидетельствовала о былом.

Едва смолк скрип приехавшей арбы, уже разносится в объявшей тесненький дворик сухой мгле летней ночи хриповатый, обветренный голос с тем особенным, грубовато-сердитым повышением, которое выдает экспансивность казачьей натуры, все принимающей близко к сердцу.

– Куда хомут бросил? Кому сказывал, как приехал: «Зараз в конюшне вешай»? Н-но народ!.. Марья, а Марья, свиньи опять у тебя просо рассыпали... Ге, кум Мирон! Ну, как?

Густеет синий сумрак, и уже потонули плетни, курени, сады, нет реки. Ярko и весело краснеет, колеблется, потрескивает огонек в летней кухне; вкусно несет оттуда горячими галушками.

В курене с низким выбеленным потолком

и чисто выметенным земляным полом уже накрыт домотканой скатертью грубо сколоченный стол. Поддрагивает скупым красным огоньком в полуразбитом стекле пахнувшая копотью и керосином лампочка на стене. Тонко тоскливо звенят налетевшие комары. Уже дымятся галушки.

Голос Марьи: – Трофим Никанорыч, пожалуйте кушать!.. Григорий Митрич, иди!.. Иван, слышь, иди вечерять.

И вот четверо обсели стол, и у каждого – свое, и каждый, обжигаясь, носит и дует на горячие галушки.

Старик сидит в красном углу под потемневшими, закоптелыми иконами, и девяносто два года, все, как один, смотрят из прошлого и караулят каждое его движение.

Работник ест сосредоточенно, много и без конца набивая оттопыривающиеся щеки. Для него все просто и ясно: поработал с зари, теперь поест и завалиться спать, а завтра – опять. И так изо дня в день до покрова. А в деревне, в России, – хозяйство, жена, дети.

У Марьи – тоже свое. Где-то в смутном, нежном далеком прошлом – милая Польша.

Где-то, как на потерявшемся повороте непывлившей дороги, веселая, свежая, гибкая фигура и смеющиеся, задорные глаза, и русая коса, и звонкий голос.

Это – ее веселые глаза, это – ее тонкая фигура, это – ее сбегаящая по спине каштановая коса. И казачий офицер, смешной, неуклюжий, с черными, как маслины, глазами, позванивает серебряными деньгами.

И вот – чуждое небо, чуждые люди, старая река, чужие степи. И они не знают, они не видят, сколько бессонных ночей, сколько пролито слез по милому краю.

Звонкий девичий голос...

А теперь – седые жесткие пряди, теперь – грубое, обветренное, полумужское лицо, полумужской голос, крепкая жилистая рука, которая и коня осадит, и сильными взмахами умело перегонит на ту сторону каюк, и раскинет сети. И уже свои – это небо, эти пески, этот зной, эта неустанная работа в поле, в саду, в огороде, эти когда-то грубые и отталкивавшие своей грубостью люди.

Изредка во сне или во время болезни и когда смерть смотрит, – далекое, нежное, смут-

ное, как умершее, воспоминание: звонкий голос, задорный блеск глаз и небо – то, другое, потухшее...

И опять стоит настоящий, теперешний день со всеми своими требованиями, заботами, горем и ожиданием – тем ожиданием, которое двадцать два года владеет ими, владеет их сном, их думами, каждым часом дня и ночи.

Вот они сидят четверо и носят деревянными ложками дымящиеся галушки. И Григорий Митрич говорит:

– Плугом хорошо теперича подымать землю. Кабы косилку, – н-но, хозяйство вполне было бы.

Говорит это, а за словами стоит: «Измучился ждать... Старость, штоб тебе!..» И с подавленной, может быть, неосознанной ненавистью глядит на того, кто сидит под образами и с хитрой старческой улыбкой носит в заросший рот галушки.

А тот: – Во! Косилки, веялки, жнейки, а – дураки... Почему такое в старину выйдет, деревянным плугом подымет степь, – во пшеница была! А ноне што? Куда Дон делся? Али

птица у вас гогочет на лугу?.. Дураки! Людоеды! Куда пятитесь?.. Оглянитесь, – назади благодать-то господня была.

А за словами: «Не спеши, погоди-ишь! Еще поживу. Бог веку дает, отчего не пожить?..»

Двадцать два года назад помер его сын – и тоже вот так же ждал пятьдесят лет. Знал – у старика еще с французского похода было накоплено, но крепкий был старик, кремень, – и сын умер, не дождавшись.

Пришел племянник с женой и тоже стал ждать. Кормит, поит, одевает, рвется в работе, недосыпает и ждет – ждет каждый день, просыпается, прислушивается каждую ночь.

Так идет жизнь.

Старик нелюдим, но к нему приходят. Приходят посоветоваться насчет детей, приходят больные со своими болезнями, приходят бабы пожаловаться на свое горе, на пропивающих хозяйство мужей.

Старик стоит среди своих трав, мешочков, среди старинного оружия, среди запахов прошлого и недоверчиво посматривает суженными острыми глазками.

– Здорово почивали, Трофим Никанорыч!

– Ну, ну, ну, будь здоров, будь здоров... Откуда бог принес? Без дымку кизек не горит, не горит, не горит...

– До вас, Трофим Никанорыч.

– В долг не даю, не даю, казны нету, на тракту никого не щупал... Это калмыки арканом – хлясь! Готово, поволок... В повозке ехал, кони добрые, только пыль из-под колес, а они скачут на горбоносых, малахайки – во... Арканом – жик! В повозку-то, стало быть, меня, меня-то, стало быть, выволочит, а я – руки кверху, аркан-то – хлоп, упал... Разов десять...

Он смеется старческим смехом.

– Трофим Никанорыч, калмыки уже годов сорок не существуют в наших местах. На Салу и то их пределили уничтожить, стало быть, чтобы в станицах жили.

– Ври, ври больше! А арканом-то...

– Насчет сына пришел к вам.

– Ну?

Он остро и подозрительно уставился маленькими глазками.

– Ну?

– Да что... Делиться хочет.

– Бей!.. Бей по голове, чтобы кровь из ухов пошла. Сказываю! Сын, покойник, царство ему небесное, во был, не чета, – кочергу вязал. «Отдай, говорит, двух жеребцов, сведу на ярманку, продам». Вдарил его раз – шатнулся, вдарил два – упал, из ухов, из глаз – кровь. Упал... Уехал я. Через неделю ворочаюсь. Жив? Жив. Ай, сын был!

На глазах старика – слезы. Лицо оживает встающей давнишней жизнью.

– В венгерскую кампанию уходили на лошадях, в разъезде были... Наседают иноверы. Скачем. Река – три Дона. Кинулись, плывем. Стал сдавать маштак под сыном, – пуля поймала. Показал ноздри – и только видали. Ухватился он за моего, – здоровый жеребец был, а двоих не сдюжает. Бросил я поводья, окунулся. «Выплывай, Ваня, живи!» Понесло меня... Потом не помню... Иноверы выловили. Десять месяцев при смерти лежал... Во сын был!

Старик всхлипывает, потом быстро, недоверчиво и сторожко взглядывает маленькими острыми глазками. Когда приходили больные, он строго спрашивал:

– У дохтура был?

– Не. Что они могут?..

– То-то, то-то, то-то... Вот возьми, возьми.

Он давал зашитый в ладанку желтый волчий зуб. Поил крапивой больных водянкой, от лихорадки – подсолнечным настоем девесила, и все были довольны, потому что помогло.

Но было его царство и давно не испытанная радость, когда приходила баба и, заливаясь слезами, говорила:

– Господи, да куды же мне!.. Трохим Никанорыч, да пожалейте вы!..

– Ну, ну, ну?..

– Да напустила на нас Власыха, – чтоб ей завтрашнего дня не дождаться! – нечисти. Матренке моей рогач посадила, в избе нечистая сила всю ночь пляшет, утром встанешь – все углы запакощены... Ведь бросаем новый-то курень. У батюшки были, молебны служили, – без внимания, крепко напустила... В кухоньке жить будем, с детьми тесно да сыро, а курень-то никто не покупает, и слушать не хотят... О-о-о-о!..

– Так, так, так...

У него жадно блестят глаза. Вот она, вот она – подымается старая жизнь, настоящая жизнь, когда все, что ни делали люди, протягивалось за пределы видимого, осязаемого, и от этого все было полнее, жизненнее, всюду ощущалось дыхание, пусть даже и нечистое.

И гордо чувствовал старик: никакими пародами, никакими жнеями и веялками, никакими новыми выдумками не сломить настоящего, ибо оно, что море народное, всюду разлито.

Заходит очень редко к нему и племянник. Придет, поздоровадается, сядет на скамейку, и молчит, и в окно виден Дон, и оба они стары: один высокий, другой маленький.

– Дядюшка, хочь бы помогли! Мочи нету!

– Из какой казны? Из какой казны?.. Не кую, денег не делаю!

– К зиме идет, тулупы надо покупать.

– Ступай в займище, набей сайгаков. Ступай седлай.

– Последнего сайгака убили в шестьдесят первом году.

– Врешь, все врешь! Не ушло время. Бывалыча, оседлаю Карнаухова, по тридцать верст

гоняю за сайгаками. Резвые, идолы!

А племянник смотрит на него, как на далекое темное прошлое, и думает: «Куды прячешь? Беспременно старинными монетами червонными, ноне таких и не выпускают. В банк не положит, про банк и слышать не хочет. Стало быть, у него... Где? Разве зарыл?..»

– Потому вы все по-новому, по-машинному... Хе-хе-хе! – Старик смеется зло и едко. – Стало быть, богаты, стало быть, всего у вас...

И, как всегда, легко переходя в раздражение, говорит злобно шипящим голосом:

– Что изделали?.. Что изделали с Доном, с степями? А? Где птица? Где зверь? Откеда пески вдут туча тучами? А-а?.. Собаки! Все продали!.. И, заглядывая в глаза, таинственно:

– Слышь, не тужи! Ворочается старина, назад идет... Гляди, по ночам слушаю, помаленьку, не заметишь... Слышь...

Он шепчет, и поднимаются старые взъерошенные брови, и племянника заражает этот таинственный, безумно-уверенный шепот:

– Гляди, гляди! Дон-то...

И они оба глядят.

Да, да! Дон полноводнее, и по ту сторону

все больше и больше темнеют прибрежные дубовые леса, и между ними блещут озера, и тянут казаки невода, – рвутся от рыбы. Тихонько идут на лямках вверх баржи с товарами...

Но племянник встряхивает головой и говорит:

– Обмелел Дон.

– Врешь, врешь, врешь! Врешь!.. Ежели придут-ко мне, да мертвый, – священнику сделал заявление: стало быть, племянник с племянницей удушили. А-а!..

К Григорию Митричу приехал сын. Он был с молодыми впалыми щеками, с торопливым взглядом занятого человека и говорил: «У нас в станице...»

Отпряг коня, и после ужина под темным звездным небом они сидели с отцом на заваulinке и говорили.

– Зараз поставил рушку и два жернова с нефтяным двигателем. Ветряк продал. Опять же кредитуюсь в банке. Железную дорогу через наш юрт поведут, подряд на песок беру. Ежели в нашей станице депо устроят, девиц

выпишу, – большой доход. Вот только на оборот мне капиталу нужно. Под любой процент. Ух, как нужно!

Он скучно поглядел на звездное небо, на жавшуюся в темноте к самым ногам дорогу и сплюнул.

– Опять же...

– Не одобряю. Потому казак, пика да шашка, а дома плуг да коса. Не отрекайся! Слышь, сынок, кровью своей Дон, стало быть, приобрел, грудью...

Старик хотел заплакать, но сын перебил:

– Будя тебе! Размяк!.. Ты вот у старого черта денег достань.

Старик разом осунулся. Не те же ли речи он слышал от дяди, которые теперь от него не хочет слышать сын?

– Ждем, – уныло проговорил он.

– «Жде-ем!..» Двадцать два года только и слышно: ждем!.. Что на него смотреть! Поите, кормите, – поди да возьми! Он, старый козел, еще сто годов проживет. Чего ждать-то?

– Заявление сделал, – уныло тянул старик.

– Ну, Зелуйся с этой падалью, а я вам не товарищ!

И уехал...

Умер племянник незаметно, тихо, как будто и не боролся за себя, не боролся за свою жизнь. Пришли на сеновал, а он лежит, уткнувшись в сено, и уже холодный. Умер, как жил, ожидая от старого, да так и не дождался и сам ничего не оставил.

Марья поголосила и уже одна принялась за работу, – жить-то надо будет. И уже сама стала справляться со всем хозяйством – и на покосе, и дома, и в саду.

А старик пришел из куреня, посмотрел на мертвого, неодобрительно пожевал губами.

– На семьдесят, а уж свернулся.

Он торопливо, озираясь и жуя губами, покрестился и ушел в курень.

С этих пор старик решил умереть. Решил так же просто, как прежде решал, что ворочается старина, что все новое, неуказанное пропадет, а возворотится, а выживет только старинное...

Старик сам отправился к священнику и в церковь, отговелся, причастился, пособоровался и стал ждать смерти. Она подходила медленно, тихо, без шума.

Он ослабел, уже не выходил из куреня. Доберется кое-как до крылечка и смотрит на пески, на тихо сверкающие заводы, на задумавшиеся на том берегу над водой вербы. Все перед глазами, все тот же простор, все так же горит на краю луга в фиолетовой дымке золотая звезда, все то же безбрежно синее небо, а – конец его царству: все это чужое, все это отходит к другим людям, к худу ли, к добру ли, но к другим.

И когда уже смерть глядела в окна, в двери и он уже не поднимался с кровати, пришла Марья и с искаженным, изуродованным судорогой лицом наклонилась над ним со сведенными в крючки пальцами.

– Сказывай, куды дел!.. – шипела она змеиным шепотом злобы и отчаяния. – Сказывай!..

А он глядел на нее белыми невидящими глазами, и что-то в них, в слепых, смеялось беззвучно, но лицо было бледно и неподвижно.

– У-у, изверг!.. Господи, всю жизнь...

И опять, как во все тяжелые минуты, на нее глянуло далекое родное небо, далекие полузабытые люди, говор, поля, – глянуло все

невозвратным прошлым, и она с судорожным озлоблением кинулась и вцепилась в эту худую, жилистую вытянувшуюся шею, но она была мертвенно холодна, и не бились жилы...

Все перерыла Марья, но – ни золота, ни денег, ни драгоценностей. Разбила шкатулку, которую старик берег как зеницу ока, оттуда вывалились желтые звериные зубы да пыль иссохших трав.

В несказанном отчаянии она взламывала половицы, изрыла весь двор, – ничего. А он лежал длинный, сухой и мертво смеялся неподвижным восковым лицом.

Когда похоронили, она продала все на снос и ушла, а на следующий год, в разлив, мутный и сердитый Дон смыл остаток двора, и только сады, зеленея, смотрелись в воду...

Морской кот*

Синее небо без конца, синее море без конца. Давно солнце выплыло из дальних вод и ослепительно играет в изменчивом, ласково-живом зеркале.

Давно улеглось волнение, еле шевелится ленивая синь дремотного моря, а чудовищный, иссера-грязный броненосец огромно, тяжело и угрюмо качается на ходу.

Белая пена, торопливо заворачиваясь, рассыпаясь, шипя, бежит перед обшитым броней носом, моет, отставая, окованные бока, и далеко по смирившемуся морю, далеко тянется бурливый, клокочущий, выворачивающийся след от винтов.

А он качается, огромный, угрюмый, темно-грязный, весь из чудовищных плит, брусьев, балок, железа и стали, – качается и режет расступающуюся пену тяжким неудержимым ходом.

Трудно разыгравшемуся морю раскачать его, трудно даже тогда, когда громадой встанут потемневшие валы и пена злобы, белея, рушится с их омраченного чела, когда до са-

мого края почернеет море, потемнеет небо и лишь белый траур чьей-то близкой гибели и смерти несется безумной полосой.

Всю ночь безумствует море, и только, когда обманчиво забрезжит утро, начинает постепенно качаться и серый гигант.

Тяжко, медленно уходят в крутящуюся водяную мглу омываемые бока, и уже обдают брызги смутно покачнувшиеся башни.

И, задержавшись в тяжелом раздумье, так же мерно, так же тяжело, так же медлительно начинают выбираться из воды отвесные металлически-гладкие стенки бортов его. Уже давно далеко вверх ушла палуба, а они все так же медлительно выбираются из водной пучины, все так же уходят вверх, – кажется, и конца не будет, и далеко внизу бессильно разбиваются шипящие валы.

Уляжется обессиленное, измучившееся море. Шелковистой, чуть приметной прозрачной рябью ляжет оно, голубое, до голубого неба, под горячим солнцем, и с униженной ласковостью, подобострастно зеленоватыми языками лижет грязно-серые бока, а он так же угрюмо, хмуро, не умеряя тяжелого хода,

качается и много часов клюет необъятной железной тяжестью.

И не обращая внимания на веселую ласковость сияющего дня, грязнит черными клубами густо крутящегося дыма и светлое лицо моря, и светлое небо – густым дымом, который тяжело вываливается из черных труб и, отставая, на много верст ложится на море расплывающейся пеленой, траурно уходя за предел горизонта.

Вероятно оттого, что весь он из миллиона пудов железа, вся жизнь на этом мрачном колоссе с железной беспощадностью отлилась в раз установленные, нерушимые формы. Люди, – а их девятьсот человек, – сиротливо теряются здесь среди палуб, отделений, люков, пролетов, орудий, среди бесчисленных механизмов, машин.

Солнце, соленый ветер и вода отлили их лица, руки, плечи из темной бронзы, а железо, обнимающее со всех сторон, положило тяжкую печать молчания, и глаза их хмуры и насуплены.

Ловкие, сильные, богатыри, как на подбор, они проворно, быстро и ловко делают свое де-

ло, которое никогда не переделать и которое изо дня в день одно и то же. Мытье палуб, чистка медных вещей, разборка и чистка орудий, учение, примерная наводка, учебная стрельба, обучение сигнализации, вахтенные часы, а там и звезды высыпали, на палубе выстраиваются в две шеренги:

– Шапки долой!

И несколько сот здоровых голосов стройно и сильно поют:

– От-те на-ш и-же е-си...

Но железо глотает слова, но уже за бортом лишь шипение и плеск разрезаемой волны; и ни одного слова не доходит до холодно мерцающих звезд. Как видение чудовищной силы, продолжает свой путь в ночном сумраке темный силуэт громады, и затерянные в утробе его люди спят крепким морским сном в узко-подвешенных койках.

А наутро опять сначала. Так дни, недели, месяцы, годы, точно по пустынным водам скитается, не находя приюта, неведомо-чудовищный призрак, где все железо, где отношения людские сочетаются железной дисциплиной, где на лицах людей железный налет

неотвратимой, неизменяемой жизни, где люди бьются в усилиях, в непокладающем рук труде, неведомо для кого и зачем.

Как броненосец непроницаемыми переборками, так день и ночь жившие вместе на нем люди не знающей пощады дисциплиной, службой и всем укладом жизни делились на три непроницаемые отделения.

В первом был всего один человек – командир броненосца. Тщательно выбритый, с выхоленным сухим телом, умными, надменными глазами, он самым своим положением был осужден на величественное одиночество богдыхана. Людей, за редкими исключениями, он не видел, все время проводя в роскошно отделанных своих каютах.

Постепенно привык к своему одиночеству. В душе вытравились люди, их лица, их радости, горе, и он только знал, что в придачу к бесчисленному числу механизмов, которыми полон броненосец, принадлежат и девятьсот живых рычагов, нажимая которые, он играет чудовищем как хочет, и все это на его ответственности.

В другом отделении была небольшая кучка офицеров. Здесь слышались смех и шутка; тут были молодые и пожилые; тут говорили и о любви, мечтали, строили планы; когда собирались в кают-компанию, слышался звук пианино, мягкий баритон. Тут, хотя и робко, пробивалась из железных объятий жизнь.

В третьем отделении была свыше восьмисотенная масса матросов. Они были, как один, и когда их выстраивали на палубе длинной шеренгой, нельзя было выделить ни одного: все одинаково широкоплечие, грудастые, бравые, с шапками набекрень, все одинаково обвеянные соленым ветром, все одинаково с темно-бронзовыми лицами. И у всех одинаково одни и те же слова: «так точно», «не могу знать», «слушаю», «есть»...

И хотя род службы у каждого специализировался, казалось, делали они одно и то же и одинаковым образом.

Грицко Підтынний был, как и все, – такой же крепкий, ловкий, сильный, бронзовый, такой же язык у него был: «так точно», «никак нет», и когда стоял в длинной шеренге, каждого можно было принять за него.

Но когда оставался один, видно было, что у него серые глаза, пробивающиеся юношеские усы, и в этих глазах – свои думы, свои радости и горе, свои воспоминания, обвеянные лаской и любовью.

Жил он, как все жили на железной громадине, сдавленный железными объятиями размеренной жизни. На судне был точен и аккуратен; когда съезжал на берег, беспросыпно напивался и ходил с другими к девицам в веселые дома.

Но когда оставался один, особенно в ночные часы на вахте, начиналось что-то совсем другое, над чем уже не имеют силы ни железный порядок, ни железная дисциплина, ни офицеры, ни сам командир.

Зорко смотрит он, привалившись на баке, на неуловимо бегущее навстречу из синего сумрака смутно волнующееся море. Сзади темнеет ходовой передний мостик, смутнеет вахтенный начальник и два сигнальщика. С боков отсвет зеленого и красного фонарей, и ровное, мерное, не то печальное, не то жесткое в своем равнодушии дыхание машины.

Рідный край! Но ведь когда он был дома,

он не чувствовал его, как не чувствовал себя, свое здоровье, пальцы на ноге, пока не разрубил одного топором и долго лечил, а он долго болел.

И не видел он и не знал, и рос, и жил, как трава на поле или верба при воде, – всякий ветер ее колышет и треплет, а она качается и клонит ветки, и ей все равно, растет себе.

Синий сумрак ночи точно булавкой прокололи; как капелька крови, тонко загорелся затерянный красный огонек.

И он крикнул, оборотившись к мостику, крикнул голосом, каким говорил «никак нет», «так точно»:

– Красный огонь слева по носу.

Огонек подержался и пропал, затерялся в пустыне ночного сумрака, и все так же равнодушно дышит внизу машина, так же по обеим сторонам уходит назад, все так же движется темная волнующаяся поверхность, все те же звезды над головой, до которых не доходят ни слова молитвы, ни слова команды и приказаний, ни жесткое, равнодушное дыхание машины.

...Не знал он солнца, и не было ему дела до

него.

Вставало оно, красное, за левадою дяди Хведора, и сначала тронет верхи верб, а потом покраснеет солома и белая труба на хате бабы Горпины, а потом, геть! по дальним буграм, по-за Дніпром, по верхушкам темного леса, и вдруг засмеется все село, все хаты, все мазанки, и лес, и Дніпро, и пыль, что поднялась за стадом да так и забылась, повисла, и скрипучие ворота, и ребятишки, у которых только пятки горят – за телятами с хворостинной, и всюду протянулись веселые длинные прохладные тени...

А с мостика строгий голос:

– На баке вперед смотреть!

– Есть!

...Не знал он тогда солнца, не знал и не чувствовал красоты его, ибо рос, как трава на поле, а теперь узнал, вспомнил и почувствовал, и стало проситься к глазам, как едкий дым от махорки, но он не давал воли...

«Солнце мое радостне!..»

Пустынен ночной сумрак, и без конца уходит по сторонам движущееся, темное волнующееся море.

...И не видал он, не знал он старого батька Дніпра.

А он, старый, белел седыми похилившимися от шепоту камышами, разлегся, старый, белыми сыпучими песками, и не чуял он старого, а теперь почувал и вспомнил его всего, как живого, седого, ласкового, тихого, блескучего, – и подступало к глазам горько и темно, но не давал он воли и глядел в бесконечный сумрак на смутно бегущее море...

«О Дніпро, мій батько старый!..»

И снова в безграничности сумрака вспыхнула кроваво-красная звезда, казалось, на краю мира. Потом кровавый свет погас, и вспыхнула зеленым светом, потом погас, и вспыхнула белая, светящаяся точка и погасла. И опять красная, и зеленая, и белая.

И он проговорил голосом казенным, как у всех:

– Справа на борту маяк.

...Не видел и не чуял красоты жизни своей, а теперь увидел и почувал...

Голодно было? Да, голодно.

Трудно было? Да, трудно.

Но было там солнце, был Дніпро, были ко-

ни, скотина, серый с репьями, с колтуном в хвосте, Серко, были дивчата, не те, к которым он ездит пьяный на берегу, – и теперь увидел и теперь почуял, что радостно все было, что живое все было, что к самому сердцу приросло, кровью припеклось...

Пустынна ночь, и уже не видно нигде живого огня. И эта пустынность, и волнующееся в темноте море, и безграничность смутного сумрака говорили, что есть смерть и кончина мира.

А с мостика:

– На баке вперед смотреть!

– Есть!

Пробили склянки. Поднялся сменяющий с вахты матрос, и Григорий Пидтынов; казенный человек, с таким же лицом, с такими же движениями, с такими же словами, как у всех, полез наниз спать крепким морским сном на узко-подвешенной койке.

И было четвертое, последнее отделение, где, как и в первом, было только одно живое существо, у которого жизнь была тоже своя, особенная, не смешивавшаяся с жизнью других.

Это был кот Васька, серый кот, с черной продольной по спине полосой, с змеисто-ласковым хвостом, с желтыми, внимательно-холодными глазами, с мягкими, бархатными лапами, в которые он сладострастно медленно то вбирал, то выпускал острые, кривые, белеющие когти.

Он не знал, где и когда родился, кто был его отец и мать, не знал, что такое твердая земля, не слышал шороха листьев и ветвей, не цеплялся острыми когтями в древесной коре, никогда не видел зданий, не лазил по крышам и не слышал тонкого мелодичного голоса кошечки.

Он знал только металлически-гладкую, твердую, всегда безукоризненно чистую поверхность палуб, по которой день и ночь, без перерыва, бежит так нервирующее содрогание, знал, что за краем, сколько глаз хватает, беспредельно волнующаяся вода.

В тихую погоду он лежал в носовом отверстии, откуда выходили якорные цепи, и часами глядел на спокойную, без конца бегущую навстречу воду, в которой стекловидно колыхнутся голубое небо и белые облака, на мель-

кающих темно-влажными спинами дельфинов и думал.

Во время бури беспробудно спал целыми сутками, свернувшись где-нибудь в темном укромном уголке. А когда производили учебную артиллерийскую стрельбу и тяжело все сотрясалось – он забирался в самый низ, и в темноте с беспокойной нервностью, лихорадочно горели два фосфорических глаза.

Весь броненосец Васька знал как свои пять пальцев. Он везде заглядывал, осторожно, деликатно нюхая, всюду ходил, мягко ступая беззвучными бархатными лапами; умел пользоваться подъемными машинами, часами сидел, дожидаясь, перед люком, где они ходили, прыгал на площадку, степенно, не шевелясь, сидел между матросами и безошибочно выскакивал именно на ту палубу, куда ему было нужно.

Спускался и в машинное отделение, где тоненько что-то шипело и, поблескивая, двигались бесчисленные части; заглядывал и к котелкам, где было смертельно жарко и где он любил погреться, когда наверху свистел ветер и несло соленые брызги.

Это был кот с огромным чувством собственного достоинства. Слепого, беспомощного его доставил с берега в пазухе Грицко Підтынний, но это нисколько не обязывало кота, и, когда он вырос, он относился к Грицку, как и ко всем другим, сдержанно, холодно, вежливо.

«Если вы меня ласкаете, балуете, кормите, так это для собственного удовольствия и забавы, а ведь у меня своя жизнь, и я не хочу быть ничьей игрушкой».

И кончик его хвоста извивался, как тонкая головка ядовитой змеи, которая может, но пока не хочет укусить.

Иногда он терся о колено или руку, но сейчас же отходил и забывал ласкавшего его.

– Братцы, а наш Васька из барского сословия, ей-богу!..

– А то нет, что ль: сколько ни корми, он те всегда начхает в харю.

– А что ж, бывает так, что какая-нито княжна родит дитё да в воспитательный от сраму. А потом, гляди, вырастет, не знай, что княжеского роду, ан княжеская кровь и скажется: даром что в сермяге али в зипуне, а ру-

кие бе-елые, и все норовит, вместо чтоб па- хать, вексея подделывать...

Кругом дружный хохот.

Завтракать Васька спускался к поварам, а обедал с матросами, спокойно сидя среди них и очень разборчиво относясь к предлагаемым кускам.

Ваське весь свет представлялся в величину площади броненосца, а за бортами – бескрай- но, без границ волнующееся море.

И на этом свете были единственные суще- ства в черных штанах и белых матросках.

Раз его поднесли к зеркалу, и он весь беше- но натопорщился, зашипел – такая безобраз- ная, невиданная, мохнатая, оскаленная, с злобно-круглыми глазами, рожа глянула на него из-за стекла; запустил когти в руку мат- роса, вырвался и, злобно шипя, поставив рас- пушенный хвост трубой, бросился бежать и исчез.

Так шла его жизнь.

Очень редко, но бывали вечера, особенно когда по небу плыла большая белая луна, а от броненосца, дрожавшего непрерывным со- дроганием, до самого края кипела золотая по-

лоса, Васька долго стоял, внимательно глядя на катившуюся между облаками луну, потом переводил взгляд холодно-желтых глаз на матроса и вдруг раскрывал, сдвигая усы, розовый рот с острыми, как белые иглы, зубами и неожиданно тонким, долгим, печальным, голосом тянул:

«Мя-а-а-а-у!..»

О чем?

Не о твердой ли земле, на которую он никогда не ступал? Не о шевелящихся ли листьях, шороха которых он никогда не слышал? Не о любви ли, которой он никогда не испытал?

– Что, Васька, али тоскуешь?

– И чего тебе? Сыт, одет, обут...

– Вот, постой, будем в порту, съедем на берег, развеем тоску.

Кот, пожимая плечами, отворачивался и, мягко ступая, медленно и злорадно извивая длинный змеистый хвост, уходил.

Матросы смеялись.

– Чисто командир.

– Кабы штаны да человеческий голос – совсем человек.

Туманная полоска тонко протянулась на краю моря. Стала расти и расширяться в обе стороны, и уже видно, это – берег.

Ближе, ближе, серый, каменистый, обрывистый.

В одном месте он расщелился, и в глубине его блеснула узкая голубая полоска. А над голубой бухтой белеет город.

Ослепительно сверкают белые дома, возносятся колокольни, блестят кресты. Серыми четырехугольниками длинно спускаются улицы к берегу, около которого бесчисленно толкуются суда, пароходы, лодки. Стоит тысячеголосый говор, шум. Как паутина, рисуются на синем небе такелажи, и синюю воду режут ялики.

Уже входят в бухту, и по обеим сторонам проплывает серый скалистый берег, на нем укрепления, и в амбразурах темно глядят длинными хоботами орудия, ходят маленькие человечки-часовые.

Укрепления остаются позади, и кругом шумный базар всевозможных судов, пароходов, лодок, яликов.

Как чудовище, среди них медленно проходит броненосец и останавливается в нескольких десятках саженей от берега, рядом с таким же, как он, грязно-серым гигантом. Нестерпимо гремит убегающая в воду якорная цепь.

На берегу шум, оживление. Плышет благовест. Несется треск извозчичьих пролетов.

Кот стоит на самом борту, наострив уши, с изумлением смотрит на здания, на лошадей, на улицы, на деревья, вдыхает неведомые запахи, слышит неслышанные, пестро волнующие звуки.

Он забыл обо всем и не отрываясь смотрит на невиданное сказочное царство.

В вельбот со смехом, говором, шутками спускаются по узловатому шкентелю матросы – первая команда, отпущенная на берег. Васька не отрываясь провожает их такими же изумленными глазами. Потом ложится на брюхо, ползет за ними и, цепляясь когтями за свисающую узловатую веревку, осторожно спускается и незаметно прыгает в вельбот. Матросы среди говора и усаживания не замечают его. Он забирается под лавочку и сидит,

чутко прислушиваясь, подымая то одну, то другую замоченную лапку.

Вельбот дернулся, плавно покачивается, скрипят уключины, говорливо бьется в носу вода, и весла мерно взрывают ее, скачками подавая вельбот, и перед Васькой в разных положениях много ног в начищенных сапогах.

Бот толкнулся, и все меньше и меньше остается внутри лодки сапог. Слышен дружный гул затихающих шагов. Смолкли голоса.

Васька осторожно выглядывает, показывая острые уши. Никого. Десятках в двух сажений лежит чудовищем на воде броненосец. Поодаль другой. Никогда кот не видел его со стороны и теперь долго и внимательно рассматривает.

Потом, озираясь, все так же внимательно наостривши уши, делает скачок, приседает, оглаживается, опять скачок, другой... Мимо проезжает, гремя, извозчик, и кот, прижав уши, распустив хвост по ветру, огромными скачками несется к зданиям, и сзади с извозчика доносится голос бородатого купца:

– Ах ты bestия!.. Кот дорогу перебежал, не

к добру...

А Васька, глубоко запуская когти в кору, несется вверх по дереву, как будто век свой занимался только тем, что лазил по деревьям, потом с ветки гибкими движениями перебрасывает все тело на головокружительной высоте на крышу.

Запахи тысячи кошачьих следов сладостно поражают вздрагивающие, ищущие ноздри. Начинается новая, яркая жизнь...

Давно ночь. Звезды. Смолк город, только голубое зарево электричества молчаливо стоит над ним. В сумраке летней ночи уродливо недвижимой громадой вырисовывается недалеко от берега броненосец; возле другой. Тихо и на них.

С бульвара, мягко исчезая, доносятся тающие в молчании и темноте звуки оркестра, и не разберешь: может быть, веселые, может быть, грустно-печальные.

Иногда из-за бухты с укрепления ослепительно ложится бесконечно-длинной голубоватой полосой луч прожектора.

Он движется, и, попадая в него, ярко выступают на секунду серебряная живая рябь

бухты, тяжелые башни, бока и орудия броненосца, песок и камни на берегу, деревья, белые стены домов, крыши... Тухнет, и снова ночь, и звезды, и молчаливая синеватая дымка над городом, и смутно проступающие силуэты темных броненосцев.

Давно воротились на броненосец матросы, веселые и довольные, и на песке остался лишь след от пристававшего вельбота.

Уже когда перевалило за полночь и из-за темных домов поднялись новые звезды, дремотно мерцая, точно слипающиеся глаза, по берегу, припадая, кралась тень.

Она подобралась к тому месту, где приставала шлюпка, с недоумением двигалась по берегу, точно ища чего-то и обнюхивая, и над водой раздалось жалобное, призывающее и беспомощное: «Мя-а-а-а-у!..» – и потерялось среди ночного молчания.

Никто не откликнулся. Смутно чернели броненосцы. Васька был в отчаянии. Он ходил взад и вперед, не обращая внимания, что промочил лапки, лишь стряхивая с них налипший мокрый песок, и плакал, и звал то тонким и жалобным голосом, то раздражен-

ным и негодующим ворчанием. Все ночь, все молчание.

Он дрожал от ночной свежести и волнения. Ухо было прокушено, спина ободрана, с хвоста свешивались, как на старой шубе, клочки меха. Ах, все бы ничего, только бы попасть домой к милым, ласковым, заботливым людям. И он опять звал, просил, плакал, негодовал, садился и слушал, наострив уши, и опять бегал взад и вперед по берегу, и опять просил, звал и плакал голосом, полным отчаяния и слез. Все ночь, все молчание и неподвижные темные силуэты.

Тогда, дрожа всем телом, он решился. Поставил лапку в воду и долго стоял, трясясь всем телом и глядя на темную громаду броненосца. Сделал еще шаг. Соленая вода больно разъедала раны. Хотел попятиться назад, но сорвался и поплыл.

Это было отчаянное, ни с чем несравненное чувство ужаса. У самых глаз, отступая, маленькая волна, дальше смутно поблескивала тяжелая холодная вода и виднелся темный силуэт.

Васька отчаянно работал лапами, и в голо-

ве мутнело от подступающего ощущения усталости. Темная громада все так же далеко подымается из воды. Васька закричал отчаянным, раздирающим голосом, то выскакивал из воды, точно собираясь прыгнуть, то порружался по самые уши. Никто не откликнулся.

Брызги, которые он подымал пеоедними болтающимися лапами, слепили глаза. Он переставал видеть громаду темного силуэта, перестал видеть воду и без направления, ничего не разбирая, болтался из последних сил, не в состоянии уже кричать от залившей воды.

Под лапами царапнулась мокрая стенка. Когти срывались, ни за что не мог уцепиться и, тряся головой, выплевывая воду, срывающимся, непохожим на свой крик воем стал кричать. В глазах стало темно. Гладкая влажная стенка скользила под когтями.

Откуда-то сверху раздался человеческий голос:

– Что за оказия, будто кошка.

«Я здесь... погибаю!» – еще отчаяннее закричал кот.

– И то кошка.

– Давно слышу.

– А ну-ка...

По стенке сверху скользнула полоса и забрезжила в заливаемых глазах Васьки.

– Так и есть. Валяй скорей конец!..

Что-то плюхнулось по голове кота, и он пошел ко дну, глотая соленую воду. Сделал отчаянное усилие и, перестав дышать, вынырнул. По-прежнему слепил сверху свет. Над водой свешивался растрепанный конец нетолстого каната.

Васька, болтаясь, уцепился одним когтем, приподнялся, не в состоянии кричать. Его стали подымать. Коготь разжался, и он снова сорвался, плюхнулся и пошел, как камень, в сомкнувшуюся над головой воду. Вынырнул и с вылезшими от отчаяния глазами запустил бешено когти в канат.

Снова стали подымать. Полоса света слепит. Звенит внизу стекающая вода.

Вот уже край. Яркий свет фонаря. Наклонившиеся лица. Его перебрасывают. Он падает на лапы, озираясь. Все знакомо: палуба, толстые якорные цепи и люди в черных штанах и белых рубахах. Только отчего голоса другие и запах от них другой, незнакомый.

Васька встряхнул мокрую шерсть и мокрый, жалкий, тонкий хвост, сел на задние лапы и чистоплотно стал вылизывать раны и всю шерсть. Потом вдруг поднялся и, глядя недоумевающими глазами на окружающих его, жалобно замаякал и опять стал вылизывать.

– Ок-казия!

Около него стояло несколько человек.

– Приплыл.

– Впервой слышу, чтоб коты плавали.

– Это, братцы, к добру.

– Напьешься, видно, скоро на берегу вдрызг.

– Не то на вахте без очереди стоять будешь.

Над городом потух дымчатый отсвет, а над морем стало светлеть небо.

– Ребята, куда это Васька делся? – говорил Грицко.

– А что?

– Да третий день не вижу.

– Где-нибудь забился, спит. Что ему сделается?

Но прошло еще три дня, кота не было. Ста-

ли искать, – нет, как провалился. Грицко обыскал все палубы, заглянул во все укромные уголки, спустился в машинное, к кочегарам, общарил кладовую, где лежала растрепанная пенька с канатов и где любил спать Васька, – нет. Тогда беспокойство пошло по всему броненосцу.

В ближайшее воскресенье команда, съездившая на берег, принесла известие: Васька нашелся, – он на соседнем броненосце; сами матросы говорили, ночью приплыл к ним.

Когда услышали, что Васька плыл, среди матросов поднялось волнение.

В свободную минуту толпой собрались на носу. Грицко взял в обе руки по флажку и стал сигнализировать на тот броненосец:

– Братцы, отдайте кота, он – наш.

Оттуда сигнализировали:

– К нам приплыл, стало – наш.

А Грицко опять:

– Мы выкормили, к нам привык, наш судовой кот.

А оттуда:

– Поглядите в трубу.

Грицко стал глядеть в бинокль – на том

броненосце протянулось штук двадцать за-
скоружлых, просмоленных, ядерных кукишей
и сигнализировали:

– На-кось, выкуси!..

Потом подняли кота, который, видимо, вы-
рывался, показали и опять спрятали.

Величайшее раздражение поднялось среди
матросов. Грозили кулаками, сигнализирова-
ли крепкие ругательства:

– Ах, анафемы!

– Братцы, Ваську достанем.

– Это грабеж! Судовое животное... Не име-
ют права...

– Мы вам покажем!.. Мы вам этого не спу-
стим!..

Разошлись, когда на палубе показался офи-
цер. Все время собирались кучки. Грицко,
бледный, с раздувающимися ноздрями, под-
ходил и говорил:

– Братцы, как же так!.. Скоро в плавание
пойдем, а Васьки не будет... Как же так, а?

Когда он думал, что уйдут в плавание, а
Васьки не будет, его всего переворачивало.
Этот серый кот, который иногда снисходи-
тельно терся о колени, был точно тоненькая

соломинка, протянувшаяся от него, Грицко, и к батьку Дніпрови, и к Горпининой хате, и к пыли, которая лениво виснет за стадом, и ко всей жизни, и ко всему рідному краю, что далеко и печально ждет его. И если не будет кота – не будет Дніпра, камышей, синего леса за Дніпром, потухнут дивчачьи очи, что ждут его на селе.

– Братцы, так не можно... Добудемте Ваську!

– Возвратим кота...

– Мы им покажем...

И все насупилось на броненосце, как вечерняя туча над полями. Как будто из огромной, но хорошо налаженной на полном ходу машины, где все части были пригнаны и мягко вертелись, вынули маленькое, незаметное колесико, и стало слышно, как шатались, скрипели и разбалтывались шатуны и подшипники.

Жизнь кота среди матросов, его привычки, повадки приобрели вдруг для них какое-то особенно большое значение, которое они прежде не умели ценить в полную меру. Пусто стало на точно обезлюдевшем броненос-

це.

В каждую свободную минуту, если не было офицеров, сигнализировали на другой броненосец самые отборные ругательства и угрозы. Оттуда отвечали тем же.

– Братцы, так нельзя, – говорил Грицко. Он за эти дни похудел.

В воскресенье свезли на берег команду человек двадцать, отпущенных погулять в город. С того броненосца тоже высадились команда в отпуск. Некоторое время слышно было, как отбивали шаг и те и другие.

Грицко вдруг остановился, губы у него вздрагивали:

– Братцы, вон они, наши супостаты!

Все остановились, как по команде.

– Неужели так и оставим?

И, не дожидаясь, повернулся и пошел к гулко отбивавшей шаг команде. Товарищи, повернувшись, плотной массой пошли за ним. Обе команды сошлись и тяжело стали друг против друга, бронзовые, сильные, с смелыми открытыми лицами.

– Вот что, братики, скажу вам, все товариство вы дуже обидели.

– Знамо дело, обидели... – густо загудели кругом.

– Неправильно...

– Потому должны понимать, животная свой дом имеет...

– Судовая животная...

– Плыл – стало, к себе домой хотел...

– Прошибся... разве на воде да ночью разберешь... человек и тот бы прошибся...

Но им так же густо и дружно, давая отпор, ответили:

– К нам приплыл, стало – наш...

– Не вытащили бы, все одно бы потоп.

– Что он у вас – клейменный?

– Проваливайте...

Тогда Грицко, повернувшись к своим, побагровел, крикнул голосом, как будто его ударили ножом:

– Братцы, не выдавай!.. Постоим за веру и отечество!..

И с размаху ляцкнул кулаком в лицо ближайшего врага. Лицо мгновенно окровавилось...

– А-а-а!.. – грозно пронеслось по берегу и отдалось за бухтой.

Грицко разом потонул среди поднявшихся кулаков.

– За веру!.. За отечество!..

Как хлынувшая с двух сторон вода, смешались обе команды. Окровавленные лица, мелькающие кулаки, хрип и стоны. Упавших топтали тяжелыми сапогами. Весь берег шевелился грудюю живых, тяжело ворочавшихся тел, точно кто-то высыпал на большом пространстве червей и они сплелись в живой, шевелящийся узел, и стояло густое, колебавшееся «га-га-га-га», в котором ничего не разберешь.

Враги, сцепившись, падали в воду, глотали, захлебывались, выплывали и, мокрые, ободранные, с подбитыми глазами, становились друг против друга, как два петуха:

– Ну что... хочешь еще?

– Отдавай кота!..

И, сцепившись, били друг друга как и куда попало.

На броненосце подняли тревогу, зазвонили телефоны. Спустили на шлюпках команды разнимать дерущихся, но матросы кидались в свалку и били врагов.

Офицеры тщетно кричали до потери голоса, стреляли в воздух из револьверов. Над кшевшей, тяжело ворочавшейся по берегу толпой стоял поглощающий все звуки рев. Дали знать в штаб.

Из города к пристаням бежали обыватели – мальчишки, торговцы, дамы. Бульвар почернел от запрудившего народа. На заборах, на деревьях, с лодок любители фотографы щелкали аппаратами. По бортам броненосцев стояли с револьверами офицеры, не позволяя матросам спускать шлюпки и присоединяться к своим.

Беглым шагом пришла вызванная рота. Отдана была команда сделать залп в воздух. С мгновенными белыми дымками рванули ружья. Тяжело перекатываясь, отозвался противоположный берег, стены зданий, но на берегу все так же ворочался живой клубок более чем двухсот тел, мелькали кулаки, разбитые, изуродованные лица, носились хриплые стоны, выкрики, ругательства.

Прискакала пожарная команда и стала из брандспойтов поливать свалку.

Вытребовали еще батальон. Солдатам при-

казано составить ружья в козлы и растаскивать дерущихся.

Солдаты по несколько человек хватали с краю матроса за ноги и тащили прочь, а он, хрипя иступленно, тащил за собою врага, и они, волочась по земле, вцепившись, душили друг друга.

– Отда-ва-ай к... кота!..

– В... врешь! В... ввыкуси...

Потребовалось несколько часов огромных усилий, чтоб очистить место свалки. На изрытом, истоптанном песке валялись матросские шапки, оторванные рукава, голенища, изорванные штанины и всюду пятна запекшейся крови.

Двадцать человек увезли в лазарет, а о двух говорили, что не выживут. Остальные – с фонарями и распухшими лицами. На броненосцах нависла угрюмая темная туча. Говорили, матросов отдадут под суд.

Старший офицер, ходя перед выстроившейся шеренгой, распекал долго и вразумительно. Матросы стояли, вытянувшись в струнку, не сморгнув глазом. Но когда командовали «вольно» и офицер стал распекать

по-отечески, матросы струдились около него, и черты упрямства и настойчивости лежали на бронзовых, в синяках, лицах...

– Да вы белены объелись, с ума спятили...

– Никак нет, вашскблагородие, главное – за правду стоим, за правильность.

– Черт знает, из-за кота... золото нашли...

– Дозвольте доложить, вашскблагородие, он, кот, все понимает, и не чтоб зря, а плыл на свой броненосец, а они перехватили. Не резон, и опять же правды нету. А мы свое возьмем, вашскблагородие, хоть перестреляют всех.

Офицер плюнул и ушел.

В тот же вечер в каюте старший офицер докладывал о происшествии воротившемуся из поездки командиру. Тот долго и молча, заложив руки за спину и глядя под ноги, ходил из угла в угол. Потом сердито остановился:

– Но ведь это неслыханная вещь!.. Ведь это же скандал!.. Добро бы из-за дела, а то из-за кота. Курам на смех. За границей от хохоту стон будет стоять и из карикатурных листков мы не вылезем.

– Должен доложить, настроение среди мат-

росов упрямо выжидательное. Боюсь предсказывать, но возможно столкновение с самыми тяжелыми последствиями.

Командир круто остановился.

– Но позвольте-с! Не под суд же мне отдавать девятьсот человек из-за кота. Это что же такое... Я понимаю, бывают всякие столкновения, но из-за кота – это из рук вон!

Он опять нервно прошелся и остановился перед офицером.

– А впрочем, позвольте, какое же они право имеют удерживать этого кота? Ведь необходимо считаться и с психологией матросов. Не из дерева они сделаны, не оловянные солдатики. Кот!.. Что такое кот? И в то же время я понимаю привязанность этих людей. Для них кот это – дом, это – семейный очаг, это – далекая родина. Вот что, Александр Иванович, распорядитесь, пожалуйста, чтобы составили отношение и отослали на имя командира того броненосца. Пусть немедленно возвратят по принадлежности кота. Не могу же из-за какого-то кота отдавать людей под суд.

В канцелярии, куда передал распоряжение командира старший офицер, долго ломали го-

лову, как составить необычное отношение. Писарь, вооружившись длинным, с изгрызанным кончиком пером, несколько раз писал, вымарывал, опять писал.

«Ввиду присвоения командой броненосца „Море“ казенного имущества броненосца „Край“, именуемого кот...»

– Степан Архипыч, ну, какое имущество кот?.. – взмолился писарь к делопроизводителю, отирая с лысины фуляровым платком проступивший пот. – Разве кот – имущество? Заставили писать, а что я буду писать... один срам...

– Ну, ну, пиши, – строго проговорил делопроизводитель.

«Ввиду присвоения казенного имущества, которое есть домашнее животное или обыкновенный кот, сего кота препроводить и сдать под расписку по принадлежности на броненосец „Край“».

Как и все бумаги, «отношение» сначала пошло в штаб, а оттуда уже на броненосец «Море».

Командир броненосца «Море» счел себя оскорбленным.

– Что за вздор в официальной бумаге. Какие-то коты! И в каком это инвентаре коты заносятся как казенное имущество! Этому место в «Стрекозе», а не в официальной бумаге. Просто распустили команду, никакой дисциплины, матросы производят форменные нападения, вот теперь и хотят вывернуться из этой грязной истории. Распорядитесь, чтобы послали отношение, что ни о каких котях я знать не хочу и что вообще странно получать подобного рода бумаги.

«Отношение», как и все казенные бумаги, пошло через штаб.

Командир «Края» почувствовал, как кровь бросилась ему в лицо.

– Извольте видеть, что поют. Нет-с, я с собой шутить и играть не позволю... Раз я пишу, значит: – это серьезно. Ему хочется, чтобы я отдал свою команду под суд. Извините, у меня есть сердце, и матросы – люди с своей собственной жизнью, с своим собственным горем и радостями. Человека разобьешь – не склеишь, а их девятьсот душ. Александр Иванович, распорядитесь, чтоб в штаб был послан рапорт с надлежащим освещением дела,

а я и сам съезжу и поговорю. Издеваться я над собой не позволю.

Писарь сидел, вытирая фуляровым платком взмокшую лысину, и писал изгрызанной ручкой:

«В подтверждение одного казенного имущества, которое домашнее животное кот, и хотя по реестру не числится, но принадлежит судовой команде...»

– Господи, что я буду писать? Опять этот проклятый кот, хоть бы баран, или хоть курица для офицерского стола, так от ней по крайней мере польза – суп, ну, а кот в каком смысле?

– Ну, ну, пиши! – строго проговорил делопроизводитель.

В штабе, где дал объяснение командир, голоса разделились: одни за то, чтобы воротить кота, другие, чтоб оставить это дело как есть. Но первое мнение восторжествовало, и на броненосец «Море» была послана бумага с распоряжением немедленно возвратить кота по принадлежности команде броненосца «Край».

На «Краю» было настроение, как под пас-

ху, – веселые лица, смех, говор. Синяки и опухоли еще не сошли, но побледнели и как-то тонули в лучах жизнерадостного веселья.

После обеда подошла шлюпка, и с нее подали на броненосец мешок, в котором что-то бунтовало и ворочалось. Принимавший матрос расписался в разносной книге в получении.

Матросы весело сгрудились кругом. Впереди всех был Грицко, у которого под обоими глазами синели громадные фонари, а когда говорил, под губой чернело пустое место выбитого зуба.

Вытряхнули мешок, и оттуда выпрыгнул, как балерина, изогнувши спину, кот. Все ахнули: он был куцый.

– Ах, анафемы! Отрубили...

– Супостаты!..

– Души в них нету, как животное изгадили.

– А хвост где? Эй, ты, хвост почему не доставили?

– На кой тебе хвост, приставить, что ли?

– А то нет. Вот нос даже, ежели сплывишь, пришьют, не токмо хвост.

– А как же, зараз молодую индюшку заре-

зять, кожу на шее содрать, приставить хвост да теплой кожечкой и обернуть. Через недельку как есть целый. У нас так-то в деревне мальчонки один другому палец на дровосеке отрубил. Зараз зарезали, приставили, прирос, глядь, ан задом наперед, впопыхах.

Кругом дружный смех.

– Братцы, – заговорил Грицко, – об чем толковать и что такое без хвоста. Скажем, я теперь без зуба, – что же, полинял али что? А Васька, сказать, за правду пострадал.

– Веррно!..

– Правильно!..

– И кабы медали котам были, так ему бы надо повесить.

Точно чувствуя, что о нем речь идет, кот выгнул спину и особенно грациозно прошелся и потерся о ногу одного, другого с таким видом и движением, как будто слегка и грациозно извивая хвост.

Грянул дружный хохот.

– Да он без хвоста, братцы, добрее стал.

Броненосец уходил в плавание.

На берегу стояла большая провожавшая толпа.

Угрюмое чудовище уходило все дальше и дальше, темнея башнями, орудиями. В утробе его лежала огромная сила разрушения, которая могла в полчаса превратить веселый городок в развалины. И на темных палубах, в бесчисленных отделениях, среди машин и орудий, среди все обнимавшего железа и стали текла своя, особенная жизнь с железной дисциплиной, с железным порядком и правильностью.

В номере

Глубоко внизу темнеет асфальт двора и ходят маленькие люди... Слева слепая, без окон, низкая стена конюшен.

Одиноко, странно искривленное, протянув голые черные сучья, среди асфальта, каменных стен бесплодно стоит чудом уцелевшее дерево, как призрак, как темное полузабытое воспоминание, неподвижное, безлистное, точно в отчаянии закрыв глаза.

У меня комод, стол, кровать, два стула, умывальник. Вдоль я могу сделать семь шагов, поперек только два, – номер длинный и узкий, как гроб. По вечерам под потолком

мертвенно-сине горит электрическая лампочка.

Я как в одиночном заключении. Кругом каменная пустыня, бесчисленно перегороженная на отдельные клетушки. До меня нет никому дела, и мне нет ни до кого дела.

Эти обои, эта обстановка, это окно, выходящее в тупик, стены – как в десятках таких же номеров.

Я ничего не замечаю, ни темноты, ни застоявшегося запаха в коридорах, который только бывает в гостиницах, ни безглазой стены, которая слепо, не отрываясь, всегда смотрит в мое окно. После беготни в шумном, кипящем сотнями тысяч людских жизней городе, усталый, добираюсь до номера, рад перевести дух и валюсь на кровать, не замечая ни стен, ни обоев, ни замкнутости моей одиночки.

Все поглощает людское текучее море на улицах: громады домов, из-за которых не видно ни неба, ни воздуха; дворцы, строго отражающиеся в величаво студеной реке темные крепостные стены, в молчании которых чудится замерший стон; студеные воды, сады и

парки, фабричные трубы, над которыми черный дым и вечная непроходящая мгла его над всем городом.

Все так огромно, так неизмеримо с интересами, с радостями, усталостью, горем отдельной жизни, что я тону, как в водовороте.

Тут уж не до обстановки.

Я приехал добывать счастье, удачу, улыбку жизни. В тощем чемодане у меня ни платья, ни белья, ни вещей, зато целая папка рукописей.

Знаю – тернист и тесен путь выходящего на заре жизни.

Что же – буду биться, буду добывать.

Меня, без имени, плохо одетого человека, встречают по редакциям холодно, молча, пренебрежительно и... и возвращают рукописи непрочитанными. Вдобавок еще лгут, – говорят, читали. Ничего, я буду биться, – тернист и тесен путь выходящего на утре своих дней.

Какое разнообразие в этом живом уличном водовороте! У каждого свои глаза, свои мысли, своя торопливость, своя походка. Как будто и одинаково, но каждый по-своему одет. И у каждого своя жизнь.

Отчего они все так торопятся? Впрочем, и я иду, торопливо помахивая руками, – в этом бешено несущемся потоке нельзя терять ни секунды.

Когда вечером вспыхнут бесконечными огнями улицы, магазины, беспредельно рассеянные в вышине окна, понесутся слепящие фонари карет, автомобилей, как светляки замелькают красные, зеленые, оранжевые глаза трамваев, – это волшебство.

Черно сверкает вода. Таинственны озаренные деревья. И неумирающий шорох сотен тысяч шагов висит над всем.

Точно огромный, неизмеримой силы змей кольчато ворочается по бесчисленным извилинам.

Он могуч, ибо в нем – знание, в нем – мысль, в нем – творчество, воображение, изумительная сила техники, изобретательность и неукротимая настойчивость. И я – затерянная крохотная частичка его кольца – иду радостно и победно, ибо и я – частичка этой неведомой, неизмеримой силы... Шорох сотен тысяч шагов!.. Но в нем же и торговля человеческим телом, и девочки-проститутки, и

омертвелые подвалы, гноящиеся нуждой, и озлобленные огоньки бледных лиц в тысячах фабрик и заводов, и в этом озлоблении революционность.

Бесконечными огнями уходя в сияющую мглу, бегут сияющие улицы, и безгранично ворочается извивами непреодолимая человеческая сила.

* * *

Я в своем номере, но я весь там с людьми, с их незасыпающей деятельностью, с их непадающей силой и напряжением. Я с ними, с безгранично разнообразными лицами.

По-прежнему стучусь в редакцию, и выходят холодно-спокойные люди и говорят, что мне там делать нечего. Ничего, труден и тесен начинающийся путь. Надо же и в их положение войти, — они задыхаются в море наплывающих отовсюду рукописей. Из ста рукописей в лучшем случае мало-мальски по-человечески написана одна, остальные девяносто девять — бред, белиберда, а прочитать-то нужно все сто.

Вот только я перестал обедать. Зато утром и вечером пью чай с колбасой и хлебом, и

каждый раз мне становится беспричинно весело.

Городской шум не достигает до меня: окно выходит во внутренний двор.

Я гляжу на одинокое дерево внизу, искривленно чернеющее среди асфальта, с застывшей болью в голых узловатых сучьях.

Добьюсь же я когда-нибудь своего? Или и я утону в этом человеческом море, безумно мятущемся море, утону без следа, как будто и не жил?

* * *

Я отнес в редакцию новый рассказ и жду.

Сегодня заплатил по счету за номер. Вначале мне представляли счет через каждые три дня – не доверяли, и это раздражало. Теперь представляют через неделю, даже через десять дней, – уверились, но зато сразу опустошают мой карман. Перестал за вечерним чаем есть колбасу, один хлеб. Все равно – ночью лежу, не двигаюсь, стало быть, не требуется больших затрат на поддержание сил. Зато утром наедаюсь.

Неужели и этот мой рассказ потонет во прахе? Не может же быть!.. Послушайте: в

нем плывут облака, в нем солнце, там моя родина, там загорелые степные лица, там сердце бьется...

И не коснется затаенных струн вашей души? И не задрожат сердца ваши навстречу трепещущему сердцу? Это чудовищно!..

Холодно спокойные люди сказали мне:

– Приходите через месяц!..

Но ведь их же маленькая кучка, а нас – бездны, тьмы. Ведь у них не хватит физической возможности каждого выслушать, каждого понять, каждого угадать, каждому заглянуть в душу.

Да, но я живой, мне больно, мне больно, я гибну!..

Почернелое, обнаженно искривленное дерево среди асфальта постоянно стоит перед глазами.

Я отдыхаю только в толпе. Я ухожу из номера и тону в этой чудесной людской толпе, такой неудержимо подвижной, полной непрерывно тратящейся жизненной энергии. Здесь миллионы смеха...

Они идут с серьезными лицами? Но разве каждый из них в отдельности не смеется за-

разительно и весело?

Здесь кипят благородные человеческие страсти и грязные звериные, здесь все – напряжение ума и воли или безудержно жадный размах наслаждения...

Они идут со сдержанными движениями и лицами.

Да, но каждый идет на свидание, и горячо бьется нетерпеливое сердце. Или идет со свиданья, утомленный, с изнеможенно разлитой по телу остывающей лаской. Или идет с напряжением неотступно преследующей его всюду мысли творчества. Или идет нести страшный рабий труд. Или идет, тайно преследуемый шпионами, на человеческую борьбу за тех, кого высасывает этот безумный труд.

Я люблю человеческую толпу, так безумно разнообразную в своем однообразии.

* * *

Попалась маленькая, на несколько рублей, работа, и я в первый раз за неделю пообедал.

В столовой много молодых, свежих лиц учащихся, студенты, студентки. Весело, оживленно колыхается говор. И никто из них не об-

ратится ко мне, не засмеется, не протянет руки: «Ба, да это вы!..» – как будто меня и нет здесь, как будто это и не я, приехавший искать жизни, улыбки ее, борьбы ее, а пустой стул. Чудаки!..

Впрочем, все равно. Удивительно примирение ко всему относишься, когда пообедаешь.

Выхожу. Что это? Не узнаю места, не узнаю домов, не узнаю шумной улицы.

Оборачиваюсь в одну сторону. Огромная, веселая, ослепительно залитая, она бесконечно уходит в сверкающую даль миллионами огней, празднично играя в сумерках еще не погасшего дня, и вся кипит живым движением.

Оборачиваюсь в другую сторону. Нет ни домов, ни улиц, ни деревьев, ни воды, ни огней. Все тонет в густой молчаливой дымчато-черной мгле тумана. Он скрадывает фронтоны, углы, лепные украшения, линии, краски, молча глотает звуки. Улица с домами и со всем, что в ней есть, точно провалилась в траурно-черный провал. Люди, лошади, извозчики, кареты бесконечно идут и едут туда и про-

падают, и опять идут и едут, и опять, не наполняя, пропадают в мглистой пустоте – без границ; без конца, не слышно их голосов, шороха шагов.

Оттуда, из этой ровной поглощающей черноты, веет холодом бесконечного равнодушия. Оттуда же совершенно неожиданно идут люди, идут нескончаемой живой вереницей. Внезапно выкатываются, мигнув красным глазом, трамваи, выбегают извозчики, и идут, идут люди.

Оттуда же зачинаются дома и плотно, плечо в плечо, тянутся и уходят в другую, яркую, озаренную живыми огнями сторону. Зачинаются и уходят вереницы огней, и говор и звон, краски и линии.

Все-таки так весело!

Сажусь в трамвай, и он, с все повышающимся, испуганно жалующимся гулом быстро побежал к траурной кайме тумана.

Огни кругом потухли. Ни освещенных домов, ни фонарей, ни движущейся толпы. В стекла вагона мрачно глядит мертвая мгла.

Вагон гремит, качается, как будто я одном месте, среди вечной, бескрайной ночи, и

отравно видеть внутри освещение, когда за черными стеклами иячего нет – один мрак без границ.

Пассажиры сидят, покачиваясь, строго – с неподвижными лицами.

Девушка – белая шея, светлые волосы, шляпа по-особенному, по-молодому. Тонкий румянец, тоже по-особенному, по-молодому...

Я не спускаю восхищенных глаз.

«Сердце бьется тревожно и страстно...»

Она смотрит перед собой. Предлинные черные изогнутые ресницы чуть подрагивают. Сколько чистоты в линиях чистого лба, чистоты наивной, милой, влекущей.

Милая!.. Боже мой, как безумно хочется любви, озаренной, ласковой, чистой...

Чуть приподнялись ресницы, глянули такие же чистые серые глаза. Не улыбка ли на не знающих поцелуя губах?

В стеклах неохватимая чернота, и гремит и качается, как будто на месте, вагон. Все не стирается странность того, что тут лица, потолок, пол ярко озарены электричеством, а за стеклами чернота.

Я ее не знаю. Не олицетворение ли это

любви, яркой и прекрасной своей неведомой чистотой, которая бывает только в юности? Отчего же так трепетно бьется сердце?

Она подымается и уходит, тонкая и стройная сзади девичьей стройностью.

Разом делается скучно и одиноко, хотя так же все внутри озарено и неизвестно, где гремит и качается вагон.

Кондуктор по неискоренимой даже в этих обстоятельствах привычке возглашает в дверях:

– Угол Большого и Кривой.

Я выхожу. Но откуда же он знает? Ни Большого, ни Кривой, ни домов, ни фонарей, ни освещения. Одна дымчатая мгла. Трамвай исчезает, и огни его, делаясь коричневыми, как в дыму, тают во мгле.

Куда же идти? Я делаю несколько шагов. Кругом потонул в дымной мгле целый город с многоэтажными домами, с невидимо освещенными окнами, с фонарями.

Не только туман, но и дым разостлался – першит в горле, ест глаза.

У самого моего лица вырисовывается тусклый абрис человека. Протягиваю руку – лоша-

динавая морда, горячие ноздри дышат прямо в лицо, звук копыт. Я отскакиваю в сторону.

Голос:

– Да куда ты везешь? Где мы?

– А кто же его знает... Я почему знаю... Разве тут разберешь?

Беспомощные мерные удаляющиеся звонки трамвая. Слышен треск, стоны, лошадиный храп.

– Ой-ой-ой... помогите!..

– Эй, вытаскивай... тащи его...

– Лошадь мешает... Оттаскивай ее...

Должно быть, пролетку раздробило.

Я блуждаю во мгле. Под ногами чувствую: мостовая. Хоть бы на панель попасть.

Иду с протянутыми во мгле руками. То справа, то слева голоса замирают. Осторожный стук копыт.

– Городовой!..

Но он теперь так же беспомощен, как и все.

Местами мгла чуть белеет светлеющими пятнами, точно невидимая луна с усилиями пробивается. Это несомненно фонарь. Он, наверное, надо мной, но я не найду столба.

– Мама!.. Мама!.. Мама!.. – беспомощно, тоненько, жалобно, как те котятка, которых выбрасывают под плетень умирать.

То справа, то слева. Но я ничего не могу поделать. Брожу куда попало и рад, когда натыкаюсь на стены.

А ведь это дома, огромные, сверху донизу наполненные людьми.

– Мама!.. Ма-ма!.. Ма-а-ма!.. – все тише, слабее, с звенящими потухающими слезами.

Я совершенно потерял направление. Должно быть, теперь иду по неизвестной улице. Не слышно трамвайных звонков. А может быть, прекратилось движение.

Иногда сталкиваемся с кем-нибудь живыми.

– Извините, пожалуйста.

– Да какие тут извинения!.. Не знаете, какая это улица?

– Не имею ни малейшего представления.

– Ведь это черт знает что! Вот уже два часа никак не могу попасть домой. Да уж хоть бы местность узнать.

Исчезает.

Мгла, то ровная, бесстрастная, то чуть свет-

леющая вверху, как туманность.

Того и гляди, попадешь в воду. Я слышу слабо – моет где-то у ног и веет сыростью.

Вот оно, непокрытое человеческое одиночество. Хоть кричи, хоть умирай, хоть тони среди сотни тысяч домов. Точно раскочились все связи.

Ага, это мост, под рукой ощупываются перила. Какой же?

Не слышно лошадиных копыт, звонков, замерло огромное движение, только такие одиночки, как я, то появляются, то исчезают в неподвижной густеющей мгле.

Судя по усталости, я брожу часа два-три. Теперь уже ночь, но ничто не изменилось, все та же нерасступающаяся густота с бледными туманностями фонарей наверху, которые сейчас же глотаются чернотой, как только делаешь шаг в сторону.

Милая девушка с белой шейкой и чистым, невинным лбом. Как я люблю ее!..

У меня от усталости ноги подгибаются. Теперь мой номер с искривленно исчахшим узловатым деревом внизу кажется раем. Если бы только добраться.

Случайно, доставая полотенце с гвоздя, глянул в потускневшее от времени, точно покрытое мелкой росой, исцарапанное надписями, засиженное мухами зеркало и остолбенел: на меня глянул бледный старик. Вялая кожа в складках, от носа и к углам опустившихся губ две глубокие борозды, землистые тени под лихорадочно воспаленными и глубоко ушедшими глазами. Неужели это я? Не может быть!

Впрочем, не удивительно, – я не вижу горячего уже месяц, не ем колбасы, питаюсь одним хлебом. Не всегда даже пью чай, потому что не каждый раз подают самовар, – задолжал.

Спокойно холодные люди сказали мне:
– Ваша рукопись еще не просмотрена.
– Вы же сами назначили срок месяц.
– Да, но вы не один же тут. У нас тысячи поступают рукописей, а читают только двое. Приходите через месяц. – И он поворачивается спиной, – ему ведь некогда.

Я шел по улице, стиснув зубы. Хорошо, еще месяц, еще месяц муки, терзаний, голода, ме-

сяц непрерывно сменяющихся отчаяния и надежды. Да и действительно ему некогда.

Я иду нахмурившись, с все так же стиснутыми зубами, глядя в землю. Город где-то далеко, огромным кольцом шумит и мелькает. Я один среди сотен тысяч домов, среди миллиона людей.

С некоторых пор они стали мне противны своим убийственным однообразием. Посмотрите на эти дома, одинаково громадные, одинаково безвкусные, одинаково примыкающие вплотную друг к другу нескончаемой лентой. И украшения, и подъезды, и окна – все одно и то же.

– А лица? Поглядите вы на них. Все идут и смотрят в одну сторону. И глаза одни и те же, и выражение, и походка, и платье – и все вышло из-под штамповального станка.

И жизнь у них страшная – все нивелирующим подобием: ночью одинаково предаются вожделениям, одинаково пьют, одинаково голодают, по-рабы работают, одинаково смеются, одинаково умирают. Страшно!..

Хотя бы улыбка, хотя бы звук, хотя бы носок сапога, хотя бы одно движение челове-

ской души не как у всех!

Страшный город, проклятый город!..

Светит ли солнце, идет ли дождь, белеют ли снега, все равно, день и ночь – ровная, слепая, одинаковая мгла. И в ней бродят люди, тысячи людей, бродят одинокие люди.

И я.

Из моря звуков, из неумирающего шума, движения, мелькания определяется, растет, ширится и покрывает победным гимном только одно:

– Победителей не судят!.. Не судят... не судят... не судят... не судят!..

– А-а, так не судят... да, да...

У меня кружится голова: не судят!

– Приходите через месяц.

Через месяц!..

Я до крови стиснул зубы. К вам поступают тысячи рукописей, а читают их только двое? Не имеете права на это ссылаться. Не имеете права. Трудно? Но вы пользуетесь за это почетом руководителей общественной мысли, общественных вкусов, общественного сознания. На вашу долю выпадает счастье работать не за страх, а за совесть. На вашу долю выпадает

счастье выискивать жемчужины творчества, жемчужины таланта, быть может, гения.

Только не забывайте, эти поиски вы совершаете среди живых, трепетно дымящихся сердец человеческих. Не кирпичи же вы перебираете!..

Я с секунду стоял перед ним, бледный, стиснув руки, с вздрагивающими губами, но пересилил и ушел, не сказав, – хочу испытать судьбу до конца. Ведь в ответ у них было бы одно: возвратить рукопись.

Оглядываюсь: оказывается, я стою на панели, рассуждаю вслух, размахиваю руками. Мимо проходят, оборачиваются на меня, улыбаются. Но мне все равно. Я ведь один среди тысяч зданий, среди миллионов людей.

Впрочем, я перестаю рассуждать вслух и сумрачно иду дальше, чтоб не собирать вокруг себя этих павианов.

Я не раз замечал, как среди грома, гула, говора, стука копыт, звонков трамвая – человек идет и сам с собой разговаривает.

Негоциант в цилиндре, в безукоризненном пальто вполголоса высчитывает барыши. Старушка в салопе идет мелким шажком и рас-

сказывает сама себе историю ссоры с дочерью. Маленький реалистик вслух переживает классное столкновение с учителем. Не одиночество ли это в море звуков и движения?

Как это я раньше не замечал?..

* * *

Я уже почти не выхожу на улицу – незачем.

Целыми часами лежу на кровати и смотрю. Месяц тянется ужасно медленно.

На улицах, на площадях все меня раздражает: вечный шум, вечное мелькание, пятна человеческих лиц, непрерывная, бесконечно уходящая стена домов, испещренная окнами, вывесками, магазинами, витринами.

А ночью эти огни! Эти миллионы бесчисленных огней, которыми буквально все залито. Местами они горят кучами, как над входами в кинематографы, и назойливо, нагло лезут в глаза, мигают, слепят. Лунный, тихий, призрачный и таинственный свет в лесу теперь кажется несбыточной мечтой.

...Победителей не судят!..

Я в первый раз вижу, как тесен, молчалив и угрюм мой номер и чужд мне...

Обои покрыты пятнами не то жира, не то пота и слез человеческих.

До меня здесь перебивали тысячи людей, и каждый смеялся, приходил в отчаяние, плакал или пьянствовал, развратничал, а иные стоваривались на грабеж и убийство.

В углу крепко и хмуро вырисовывается крюк. Может быть, не одного и не одну с него сняли.

...Победителей не судят... А сколько... побежденных прошло через этот маленький номер!

Может быть, так же изо дня в день лежал он на этой же кровати и глядел перед собой, и внизу было искривленное дерево.

Жизнь здесь идет по раз заведенному порядку.

Утром по коридору слышится топот. Торопливые мелкие шажки заведующего распределением номеров. Грузный топот носильщиков... тяжело дышат, должно быть, несут чемоданы. Усталые, мягкие шаги приехавших с утренними поездами.

Потом успокаивается. Только слышны в людской непрерывные звонки. По коридору

то и дело пробегают горничные, коридорные. Звенят посудой, разносят самовары, бегают за сайками, за колбасой, молоком, сыром; относят телеграммы, письма.

То и дело в углу коридора трещит телефонный звонок, и слышится охрипый, простуженный с дороги голос:

– Да это я, я, маточка... только что приехал... целую твои ножки... В номерах... Тридцать два с главного подъезда... Да уж так стосковался... Шутишь?! Маточка моя... ну-ну-ну, сейчас переоденусь, приеду... кофейку приготовь...

Или:

– Пробку по этой цене не отдадим... как хотите... рубль с четвертью... Какой брак?.. Ну, обрезаны концы... да что вы Лазаря поете...

Или:

– Только что приехали, позарез нужно двести... Да ведь не могу... поймите же... Ах, боже мой!.. Ну хорошо, вы мне пришлете полтораста... И слушать не хочу, нет, нет, нет... Вот вам мой последний сказ: пятерку пришлете – и квит!..

Наконец и телефон утомился.

По коридорам тихо. Бесчисленно глядят молчаливые закрытые двери. На них только номера. За ними ничего не слышно.

Большинство жильцов разошлось по городу.

Когда изредка кто-нибудь беззвучно проходит по белеющей в полумраке коридора дорожке, на лице тоже как будто только номер, и оно молчаливо замкнуто. Все чужие друг другу, и у всех на лицах одно: победителей не судят!

День тянется ровно, уныло, как этот бесконечный коридор, по бокам которого бесчисленные двери.

На улице еще светло, а в коридоре уже зажглись огни, принося особенное впечатление ночных теней.

А когда и на улицах вспыхнут фонари и по панелям лягут густые, резкие, с синевой тени электрического света, коридор снова оживает. В комнате для прислуги изнуряющие ее звонки, звенят посудой, проносят самовары. Трещит телефон, и хриплый голос:

— Двести семь ноль один. Да. Благодарю. Кто говорит?..

Коридор оживает. Бесчисленные двери так же смотрят номерами, но оттуда отрывисто доносится то смех, то громкий говор, то заглушённые фразы рояля, то причудливо переливающиеся рулады певицы.

Прислуга измученно бегаёт на звонки. Входят, уходят посетители.

К двенадцати часам коридорная жизнь начинает уставать, смолкать. Немо смотрят двери. Гаснут огни. Неподвижно и мертво в дальних углах горят одинокие оставшиеся лампочки. Всюду тени, полумрак.

Только внизу, в вестибюле, бодрствует швейцар.

Ночь.

* * *

Для меня ночь и день одно и то же. Иногда я совершенно забываю, что здесь есть люди, и хожу, не слыша ни голосов, ни разговора, ни звука шагов, как будто кругом пусто и молчаливо.

Не изменяет этого ощущения и прислуга, которая приносит самовар, входит убрать комнату. На её замкнутом лице то же, что и у всех: победителей не судят.

Даже у горничных, этих побежденных из побежденных, торгующих своим телом в этих подлых стенах, то же отвращение к побежденным.

...Еще целый месяц!..

Я долго не могу уснуть с вечера, лежу и думаю. О чем? Ни о чем. Ведь все передумано.

Не думаю, а прислушиваюсь к темному, свернувшемуся тяжелым комком чувству одиночества и ненависти. Я теперь понимаю ощущение гадливости, почти злобы, когда встречаешь на улице просящих, плохо одетых в рвань, с сквозящим грязным телом людей. На бледных лицах их выражение готовности на все – убийство, грабеж, издевательство над мертвыми. И от них всегда пахнет водкой.

Вот только бы подняться мне из побежденных в стан тех, кого не судят. Это – закон жизни в громадной проклятой каменной пустыне, которая бесплодно шумит вокруг.

Я берегу свою злобу, берегу свою ненависть, как присосавшихся к груди детей.

Стены моего номера очень тонки. Слышно, как там ходят, разговаривают, передвигают стулья, слышен малейший шорох.

Нет, я ничего не слышу, это я прежде слышал. Для меня немые эти тонкие перегородки, как будто это холодные стены в полтора аршина толщины. Я не знаю, кто там, чего им нужно, да и не интересуюсь... Еще целый месяц!

А я таки, верно, ослабел. Мне трудно встать с постели, да и лень, апатия, – не хочется подыматься. Уже не мучает чувство остроты голода. Как будто я давно раз навсегда пообедал, и теперь об этом не стоит заботиться и думать.

С вечера трудно уснуть, но когда усну, сон наваливается тяжело, темно и молчаливо, без сновидений. Стоит ровная, траурная мгла, бесконечно немая и пустынная.

Она, положим, стоит и днем, но, обманывая себя, в ней движутся, ходят, разговаривают люди, стоят дома, светит тусклое солнце. Ровная, черная молчащая мгла.

И вдруг среди ее немой черноты и пустоты холода голос:

– Слышишь?

Я вскочил с бьющимся сердцем, опираясь локтем о подушку, вслушиваюсь с расширен-

ными зрачками.

Окно, медленно и слабо играя фосфорическим отсветом, проступает в темноте переплетом. Загораживая, едва чудится, стоит стена. А там, внизу, я знаю, искривленное, с протянутыми узловыми сучьями дерево.

Но не это ударило по сердцу живой, неведомой, трепещущей болью, а заглушённые, подавляемые, должно быть, сквозь стиснутую в зубах подушку рыданья, женские рыданья за перегородкой.

Вероятно, до нее долетел шорох, когда я приподнялся, и там все смолкло.

Я затаил дыхание, не шевелюсь. Как будто теперь вопрос жизни – не подавать о себе признака.

Неловко, рука затекла, локоть онемел, но я все так же напряженно неподвижен, все так же не шевелюсь, удерживая дыхание.

Тишина. Медленно течет долгая ночь. За перегородкой затаились чьи-то подавленные рыдания.

Вероятно, там думают, что я уснул, и опять слабо, сквозь стиснутую подушку: ы... ы... ы...

Это невыносимо. Все так же не дыша, я

подымаюсь, без малейшего шороха крадусь, как вор, прикладываю ухо к перегородке. Я не знаю, кто там, знаю только, что чье-то разрывается сердце.

И вдруг осеняет воспоминание: серо-дымчатая мгла тумана, и в ней утонул город. Только внутри вагона ярко освещено: лица, двери, потолок и чистый девичий лоб, и белая шейка, и ясные глаза.

Да ведь это – она, это там заглушенно рыдает, она, покинутая, обобранная, с отнятой жизнью. Это она!

Я запускаю ногти и до боли прижимаю ухо к шершавым обоям.

Но что я могу сделать? Что я могу сказать ей? Как я могу помочь ей? Не предложить же стакан воды для успокоения.

Должно быть, у меня хрустнули пальцы – там опять все смолкло, и медлительно царит немая ночь с фосфорическим, отсвечивающим окном.

Я тихонько пробираюсь на кровать и, неглубоко дыша открытым ртом, прислушиваюсь. Теперь не уснешь. Буду ждать, пока посветлеет стена за окном, а в комнате просту-

пят из редующего мрака комод, стол, умывальник.

Опять. Боже мой, что же это!.. Так же заглушенно, так же душу разрывающе. Нет, это не девушка, это не такие слезы, Ведь у нее все-таки впереди жизнь, ведь можно залечить рану сердца, можно снова и полюбить, и дышать, и радоваться солнцу.

Нет, это не она. Это – и у меня мурашки холода ползут, – это – отнимающие всякую надежду старые материнские слезы.

И я опять крадусь, дрожа, и прикладываю ухо к жестким обоям.

Как я не угадал? Я ее никогда не видал и не увижу, но ведь она худенькая старушка, везде ходит в стареньком салопе, везде умоляет о сыне своем...

Я знаю, я знаю эти страшные слезы.

Так проходит ночь, и начинают проступать комод, стол, стулья... о сыне своем, приговоренном...

* * *

Дни идут. Я не знаю, кто мои соседи. Они меняются почти каждый день. Часто номера пустеют.

Я по-прежнему жду. Но клубок ненависти и ожесточения растаял в груди. Я опять хожу по улицам и смотрю на людей, и у каждого из них – свое лицо, свои думы, свое горе, свои слезы.

И еще я знаю, отчего можно жить в этом огромном каменном, раскинувшемся на громадное пространство городе: оттого, что люди связаны, кровно связаны друг с другом слезами, которые в тиши ночной просачиваются сквозь стены.

Счастливец*

Сквориков за всю свою жизнь был счастлив только несколько часов.

Это случилось так.

Он стоял перед приставом с готовностью, умилением и чуть нагнувшись. У пристава был большой живот, обвисшие щеки и красный нос.

Из соседней комнаты доносился скрип перьев. В табачном дыму синевато проступали нагнутые набок головы писцов, которые помогали себе, языком лоя ус. Помощник, в новеньком мундире, стоял лицом к стене, при-

жимая к уху телефонную трубку, и, не торопясь, с выражением на лице особенного значения того учреждения, где он служил, говорил с приостановками:

– Откуда говорят?.. Так-с... Хорошо... Да... да...

Пахло табаком, чернилами, бумагой и потными ногами.

Хриповатым на все присутствие басом пристав проговорил:

– Хорошо-с, молодой человек, хорошо-с, я вас беру. Помните, мне необходимы службисты, необходима аккуратность, исполнительность и чтоб – ни-ни!..

Он погрозил толстым пальцем, на котором старая кожа лежала вялыми складками.

Сквориков так же испуганно, стараясь в выражении готовности еще больше нагнуть-ся и в то же время держать по швам вылезавшие из коротких рукавов голые руки, с раздувавшимися от умиления ноздрями, хотел сказать: «Вы вместо мне родного отца», но побоялся и сказал:

– Рад стараться...

– Ни-ни-ни!..

И опять погрозил пальцем.

Относился ли этот жест к продымленным табаком и особенным духом стенам, в которых – полицейская тайна, или к взяткам, которые густо, как табачный дым, висели в самом воздухе, или к щекочущему водочному запаху, или просто был жест строгого, но справедливого отца, – Сквориков не знал и, истолковав скорее в последнем смысле, проговорил: «Никогда... в жизни моей... не то чтоб... совершенно...» – и замолчал с горлом, перехваченным благодарностью, затаенными слезами и готовностью на самопожертвование, вытягивая по швам вылезавшие голые руки.

– Сегодня у нас... – пристав поднял над обвислыми мешками глаза к потолку, – первое...

– Первое число, – торопливо подтвердил не осмелившийся упредить Сквориков.

– Десятого к девяти часам являйтесь на службу... Форму сшейте... Ну, с богом!

Сквориков попятился, поклонился, еще попятился, качнулся спиной в притолоку, поклонился, спиной протерся по притолоке к

двери и, осторожно повернувшись уже во второй комнате и мелко кланяясь на обе стороны писарям, которые почему-то весело в голубоватых слоях дыма, нагнув головы набок, ловили языком усы, пошел к выходу. В прихожей поклонился городовым и слегка тщедушному субъекту за деревянной решеткой.

Уличный шум и мелькание, гул и говор в легкой дымке радостного возбуждения и растерянности накатились и оплыли его, как набежавшие на одинокий камень волны.

– А? Что же это такое, господи!..

«А, и похож ты на пристава... а?.. И отчего ты на пристава похож?» – говорили ему, когда он был мальчишкой. И отец, бывало, когда напьется, распояшется, сидит красный перед самоваром и подраживает мать: «Мать, а мать... Пашка-то наш – вылитый пристав, а?..» А мать сердится и кричит.

Впрочем, все это давно и всплывает среди этой толчеи, шума, говора, мелькания – всплывает без связи, оторванно, ненужно, и тонет.

Он идет по панели, и кругом – громадные, теряющиеся верхушками дома, текучая, ни

на минуту не замирающая толпа, и нет ей конца, и нет ей начала; льется без умолку, выворачивается из других улиц, заворачивает и пропадает за углами. И он идет, крохотный, затерянный, ничтожный в этом водовороте.

Те, которые идут ему навстречу, каждый идет со своим лицом, со своим выражением, своей собственной походкой. Этот, вероятно, служит в банке, а этот, видно, приезжий, помещик. Идут студенты, гимназистки. На офицеров он не смел поднимать и глаз; они – как недоступные боги.

– А? Через десять дней... Господи!..

Город он знает как свои пять пальцев. Знает улицы, площади, даже отдельные дома, магазины, витрины.

Он – еще молодой, но жизнь позади – длинная, серая, из одних скучных, горьких неудач. Он не спрашивал почему, а каждый раз покорно, безответно нагибал голову под новый удар и вновь карабкался. Может быть, так же будет и в этот раз?

Нет, нет, не может быть!.. Ведь и форму велел сшить. Сегодня же закажет форму – и кончено.

Маленький человечек, меньше всех, кто был на улице, шел затерянный в толпе, то-ропливо давая дорогу.

Вот и женщины его не любят, как бы он хотел. Заходит к Любаше, и когда она одна с ним, еще и так и сяк, но чуть лишний посторонний человек, она становится невыносимой: издевается, хохочет над ним, мажет ему губы горчицей, в шапку наливает воды.

«И отчего ты на пристава похож?»

Встряхивает головой, стараясь отделаться от навязчивых мыслей.

Если сегодняшней день не считать, осталось девять дней. Девять дней и... счастье!..

Портной слишком быстро, точно это был не военный мундир, снял мерку, записал, попросил задаток и сказал, что будет готово через три дня.

Чтобы продлить это таинственное и важное событие – рождение новой, никогда не доступной ему дотеле формы, – он выискивал, что бы еще сказать.

– Под мышками, под мышками чтобы не жало...

– Знаю, знаю.

– И талия, пожалуйста, чтоб талия была, как следует, прислоненно.

– Да уж не беспокойтесь, все будет сделано.

– И чтоб рукав, уж будьте добры, чтоб рукав хорошо глядел...

– Говорю, не беспокойтесь: ученого учить – только портить...

Этот день медленно таял и не хотел уходить. Потом пришла такая же длинная-предлинная ночь, и он думал, что она никогда не кончится. А когда засерело в окнах, оставалось восемь дней.

А когда принесли сшитую форму, оставалось всего шесть дней.

Шесть дней! Это было невероятно.

Но еще невероятнее была эта аккуратно сложенная на стуле кучка темно-зеленого сукна с погонами, с крючками, со штрипками.

Портной, как заклинатель и чародей, взял мундир, осторожно встряхнул, чтобы расправить, и стал надевать на Павла Ивановича – сначала один рукав, потом другой. Провел рукой по спине и стал застегивать тугие крючки.

Высокий, твердый, негнувшийся воротник подпирал подбородок. Наваченная грудь поднималась горой. Руки, всегда вылезавшие из коротких рукавов пиджака, теперь солидно исчезали в широких обшлагах.

Павел Иванович поднял глаза к зеркалу и оторопел. Оттуда глядела солидная, важная, полная достоинства фигура в темно-зеленом сукне. Павел Иванович хотел спрятаться, так это было необычно и жутко, но в зеркале – все та же важность, значительность, независимо от его лица, от его желанья, робости и застенчивости.

Точно не просто портной надел на него новое сукно, а облачал таинственные покровы, отделившие его от всего, что было до сих пор, от всей его жизни, казалось, от его имени, привычек, особенностей.

Надо было расплачиваться, говорить обыкновенные слова, делать обыкновенные движения. Упираясь шеей и подбородком в несгибающийся воротник, не сгибая стянутую талию, он проговорил:

– Ну, спасибо... Ей-богу, благодарю... Хорошо...

Портной ушел.

Павел Иванович прошелся по комнате. Хотел было заложить руки назад, но раздумал, опустил их, поматывая и не сгибая.

В комнате были два Павла Ивановича: один – маленький, тщедушный – овечьими глазками глядел на другого Павла Ивановича – высокого, вытянутого в струнку, с крепко охваченной, несгибающейся талией, с крепко охваченной несгибающимся воротником шеи, мерно и стройно ходившего из угла в угол, помахивая несгибающимися руками.

Когда он проходил мимо зеркала, маленький Павел Иванович видел его с головы до пят. Когда шел дальше и поворачивался по углам, маленький Павел Иванович чувствовал и высокую наваченную грудь, и темную зелень сукна.

«Не пора ли снимать?» – проговорил маленький Павел Иванович.

Но большой, так же степенно и важно, не сгибая поматывающихся рук, проговорил:

«Зачем же? Снять успеем...»

«Как бы не помять», – заискивающе проговорил маленький.

«На фигуре не помнется, а на стул положить, складки на сукне сразу».

Тогда помолчали, и маленький Павел Иванович сказал:

«Так, может, вам бы пройтиться?»

«К Любаше разве?» – улыбнулся большой Павел Иванович.

Маленький захихикал.

Вышли. Но на улице, где сурово стояли огромные дома и небо лишь узкой полоской синело меж их верхушками, шли бесконечно люди и катился вечный грохот, оказался один Павел Иванович, маленький. Он мелко, со своим обычным, невысказанным испугом, засеменил, чувствуя себя потонувшим и ничтожным.

Публика торопливо шла туда и назад, не обращая на него внимания, но серый люд почтительно давал ему дорогу, расступаясь направо, налево. И понемногу вырос большой Павел Иванович. Он широко, неторопливо шагал, высоко держа подпираемую воротником голову, прямо, как корсетом, охваченную талию; наваченная грудь горой поднималась; сабля мерно и в такт шагу похлопывала по

ноге. Павел Иванович маленький подобострастно и умиленно заглядывал сбоку.

Когда пришли к Любаше, она всплеснула руками:

– Господи! А ведь я думала, настоящий околоточный!..

Маленький Павел Иванович мелко захихикал, но сейчас же стушевался, а большой проговорил:

– Околоточный и есть, – я поступил на службу.

И прошелся из угла в угол комнаты. Любаша восхищенно следила за ним, чувствуя, что какая-то черта значительности легла между ним и ею и что теперь нельзя налить ему в шапку воды или помазать горчицей губы.

– Вам, может, кофею?

Это было в первый раз, что она угощала его; но теперь, казалось, так и надо.

После кофе Любаша прыгнула к нему на колени.

– Помнешь.

Встал и ходил, а она смотрела на него, присмившаяся.

– Какой вы!.. Вас не узнаешь.

– Служу по полиции.

И ведь в сущности он действительно служит. Осталось шесть дней, – что из того?..

Когда вышел и снова оглушительно накатилась улица, на минутку показался было маленький Павел Иванович, суетливо дававший дорогу. На углу стоял городской, бравый, рослый, краснолицый. Он вытянулся и, глядя на Павла Ивановича, откозырял. Павел Иванович слегка взмахнул к фуражке белой перчаткой. Тогда маленький Павел Иванович окончательно исчез, и остался один, большой.

С этого времени все, естественно, приняло иные, соответственные размеры. Дома несколько подались, стали ниже, тротуары уширились, попросторнели. Люди, торопливо шедшие навстречу и обгонявшие, разом потеряли индивидуальность. Прежде каждое лицо он видел и отчетливо запоминал; теперь все они одинаково мелькали мимо, как желтые пятна. Не было ни гимназистов, ни помещиков, ни женщин, ни мужчин, ни детей. Точно зеленое сукно мундира на его плечах

стерло с них все отличия и на всех наложило печать однообразия и подчинения.

Он шел высокий, стройный, и по плитам тротуара ступали его лакированные сапоги. Городовые козыряли. И нес он священной тяжести, которую и сам не умел называть.

Встречавшиеся офицеры по-прежнему выделялись пятнами, но уже не казались недоступными богами, и он, прямо глядя им в лицо, козырял, и их глаза смотрели так же, как и его.

Зашел в ресторан, закусил и выпил. В голове шумело, шумели голоса, стоял смех, звон посуды, и движения его приобрели непринужденную беглость и легкость.

– Шестьдесят процентов скидки-с, – низко кланяясь, подал официант счет.

Расплатился и вышел, и раздражение все росло.

– Мне не скидка, не проценты нужны, – мне порядок нужен. Ага, ррракалии!.. В кухне небось грязь, прислуга неряшливая, торгуют вместо двух – до четырех... Я ввас!..

Он грозно поглядывал, и все крутом, каза-

лось, молча подчинялось. Все, что жило кругом, шумело, двигалось, говорило, – жило, шумело, двигалось, говорило только потому, что нуждалось, ждало, жаждало порядка, кричало о порядке.

– Осади назад!

Извозчик испуганно попятил лошадь.

– А ты что же это... на мостовой навоз?! – И он чувствовал, как белеют перчатки на руках и над самыми глазами – козырек.

Дворник испуганно схватил метлу и лопату:

– Зараз все вычищу, ваше благородие...

Этот испуг приятно шевельнулся в сердце чувством удовлетворения. Хотелось, чтобы этот испуг был разлит на лицах всех этих идущих людей.

Улицы раздвинулись широкой площадью, залитой народом. Из моря голов поднимались лари, палатки, торговки выкрикивали товар, приказчики хватали за полы покупателей, и в этом шуме, говоре и людском плеске, как корабли среди расходившихся волн, отчаянно и надрываясь звоня, медленно проплывали трамваи. А над смятением и ропотом люд-

ским поднималась с печатью минувших веков старинная башня, бесстрастно отмечая на огромном циферблате неумолимо утекающее время.

Павел Иванович в первую секунду почувствовал себя утонувшим и поглощенным этим неумолчным человеческим морем, которое жило своей собственной жизнью, независимо от него. Но когда огляделся, увидел городских, увидел, что все это множество жило, торговало, кричало только для порядка, только для того, чтобы легким движением руки в перчатке можно было разом остановить и крик, и говор, и движение, и самую клокочущую жизнь. Он разом почувствовал, что стоит на вершине и все это море клокочет у ног.

На минуту приостановился. Все лица поразительно были одинаковы: и одежда, и движения, и взмахи рукой, и голоса, точно не было ни пола, ни возраста, ни разницы в достатке. Только городские резко, пятнами выделялись.

– Ты что?!. Ну, ну, ну, отходи, отходи...

– Мы... ничего.

И субъект, торговавший старыми штана-

ми, с удивлением отошел к сторонке.

С отчаянным азартом торговались у ларей торговли мелочью.

– Эй вы, бабье!.. Что рот-то расстегнули... гам на всю площадь!

– Али молчком торговать?

– Молчком – не молчком, а чтобы по закону и... порядок...

И, чувствуя, как оставляет за собой след внимания, испуга и подчинения, шел дальше между ларями.

– А это что такое?!

Он подошел, дернул ларь, повернул его задом наперед, и товар мелким дождем посыпался на землю. Торговка пронзительно завизжала:

– Караул!.. Батюшки мои!.. Ой, разор!..

– А ты ставь правильно, в линию улицы и чтоб лицом к лицу, а не как попало...

Поднялся невообразимый шум. Торговки хватались за столы, лари, сундуки, а человек в мундире и белых перчатках сердито рвал их и поворачивал лицом в другую сторону. Подбежали городовые. Он приказал им повернуть все лари, столы, палатки.

«Эх, не догадался: надо завести серебряный свисток...»

– Осмелюсь доложить, всегда так стоят вольно, – козыряя, почтительно докладывает один из городских.

– Приказываю поставить в порядке!

Городовые смущенно и вяло стояли. Один торопливо куда-то побежал.

Павел Иванович надменно и с сознанием огромной ответственности стал собственноручно восстанавливать нарушенный порядок жизни.

Тут случилось нечто невообразимое и возмутительное: в него полетело гнилое яблоко.

– Мундир!.. А?.. Мундир!!

Он обнажил саблю. Толпа шарахнулась. Сквозь свист, вой, улюлюканье в него летели тухлые яйца, гнилые яблоки, комья грязи. Ребятишки орали и плясали кругом, а он стойко, не давая пятнышку упасть на мундир, фехтовал, ловко отбивал саблей плашмя летевшую гадость.

– А-а!.. Сопротивление!.. Я в-вас!..

Вдали сквозь толпу торопливо пробирался помощник пристава с околоточными и горо-

довыми.

Павел Иванович, маленький и незаметный, сидел за деревянной решеткой, за той самой, за которой сидел тщедушный субъект, которому он слегка поклонился в первый день. Мундир лежал кучкой на полу в углу, – ему приказали снять его, – и подтяжки сиротливо, узко и конфузливо проступали на плечах, прижимаясь к рубашке.

Городовые курили махорку и разговаривали про деревню. В полуотворенные двери видно было, как в голубоватых слоях дыма, нагнув головы набок, весело ловили языком усы писаря и неся скрип перьев. А из дальней комнаты, где был пристав, доносилось с перерывами:

– Откуда говорят?.. Да!.. да!.. Как?..

Должно быть, говорили по телефону.

Павел Иванович сидел маленький, ничтожный. Весь огромный мир шумел мимо него, сам по себе.

И уже на всю жизнь Павел Иванович остался маленьким, крохотным, затерянным в громаде шумевшего мира.

Нередко в старости вспоминал он, что раз

был счастливым в жизни, — раз, и то всего несколько часов.

Одинокий двор*

Это была обыкновенная жизнь среди паханных полей, среди быков, навоза, лошадей, среди не покладаящего рук труда.

Деревенская улица выходила прямо в степь.

А степь вся, до самых последних гребней, либо жарко желтела жнивьем, либо бесконечно лоснилась хлебами, либо уныло бурела сизым полынком, горьким и никому не нужным.

Скользили неведомо куда тени облаков. Медлительно плавали, распластавшись, коршуны.

Дворы, густо поросшие бурьяном, обставлены навесами. Оттуда глядят колеса, оглобли, сбруя, свежетесаные жерди, топор, воткнутый в дровосеку. Стоят сложенные в клетку, просыхающие кизяки для зимней топки, хлебный амбар. У жердевых ворот изба с обвисшей соломенной крышей.

Позади, закрывая полнеба, зеленеют ги-

гантские вербы левад, склоняя усталые от зной ветви над степной речушкой, незаметно пробирающейся то в неподвижных камышах, то в отлого топких глинистых берегах, то в беленьком песочке, намытом из глубоких оврагов.

Никого. Один дремотный зной над всей деревней. Раскаленно тянутся жгучие часы, и все та же молчаливая пустыня среди жилья. Степь высосала отсюда всю жизнь и разметала ее по бесконечно желтеющим, жадно просящим косьбы хлебам, – там и люди, там и животные.

Недвижная оцепенелость глядит из этих улиц, где – никого из этих дворов, где – никого.

Зной и сам изнемогает в неподвижности своей, и солнце, отяжелевшее, начинающее багроветь от усталости, понемногу сползает за вербы, дробясь сквозь ветви.

По дворам, по степи тянутся узкие, длинные тени и говорят о просыпающейся жизни.

Бродят и роются куры. Повыползли собаки, высунув языки, торопливо дыша, хватая с цоканьем проворно носящихся над ними мух.

В вечерующем воздухе уже звуки: на краю деревни кланяется над колодцем журавель, и доносится его скрипучий голос, и, скрипя, ползут отовсюду из степи арбы. Идет стадо в облаках все закутывающей пыли. И с другого конца улицы осиплый от зноя голос:

– Ванятка-а-а!.. Го-ни су-ды рыжего бы-ка-а-а!..

Голос смешивается со всеми просыпающимися от знойной дремоты звуками, с этой встающей из-под копыт идущего стада пылью, с солнцем, устало сквозящим в ветвях левады, с красно загорающимся закатом.

Жизнь Пименова двора была кусочком этой общей, оцепенелой за день, теперь просыпающейся к вечеру жизни.

К его двору, такому же просторному, поросшему бурьяном и колючкой, обставленному навесами и широко обнесенному плетнями, шли коровы.

Остановилась арба с свеженакошенной травой. Скатился мальчишка. Слез Пимен, запыленный, с сожженным солнцем и степным ветром лицом, отворил скрипучие, обвисшие

жердями ворота, и пузатый конь сам повез, поматывая головой, арбу во двор, – дескать, сам знаю, – и остановился у дальнего навеса.

Слезла и баба, – с лицом, по самые глаза обвязанным белым платком, – чтоб солнце кожу не портило.

Целый день залитый зноем, дремотно-пустой двор теперь ожил.

Мальчишка бегают взапуски, загоняя на баз телят, а они, задрав хвосты и брыкаясь, скачут по двору. Мемекая и подрыгивая хвостиками, без толку толкуются овцы с болтающей, присохшей на шерсти грязью. Бегут, повизгивая, ни на кого не обращая внимания, поросята, боясь опоздать к ужину. Раскачиваясь и повиливая гузном, идут с речки утки, и степенно, белыми пятнами, не прерывая начатого сдержанно гогочущего разговора, следуют друг за дружкой гуси.

А хозяйка под навесом, присев на корточки у равнодушно жующей коровы, уже брызжет в железно-звучащее ведро белыми жгутами дымящегося молока из туго оттягиваемых сосков.

– Телят не пуска-ай!.. Ах ты пострел!.. Куды

ты!..

– Иван Иваныч, здорово дневали...

– Наше вам.

– Ой, да-а, ма-а-ль-чи-и-шечка-а... да раз-не-е-сча-стный!..

– О-о, э-э... а-а... о-о-э-о... – несется из-за деревни с мало-помалу пустеющей степи, испещренной тенями, несется, сливаясь с этой бодрящей прохладой, с этим вечерним оживлением перед усталым ночным покоем.

Пимен выпряг коня, и конь сам пошел на баз, без сбруи, без уздечки, голый, одобрительно помахивая головой, знал – завтра воскресенье.

Уже торопливо всюду забиралась прозрачная, синеватая, сухая летняя мгла, и, ярко потрескивая и шевелясь вздрагивающей краснотой, горел огонек под навесом летней кухни, а хозяйка вместе с суетящейся около тенью возилась у кипящего котелка, роняя ложки ныряющие в клокочущую воду галушки.

Свидетельствуя, что уже наступила короткая, быстро убегающая ночь, зажглись звезды. Беззвучно темными тенями стали носить-

ся летучие мыши.

Обсели котелок тут же на траве под звездами, в виду неподвижно стоящих кругом тихими темными силуэтами сараев, избы, амбара и черной громадой возвышающейся левады, и стали носить ложками обжигающие галушки. Сидел мальчик, Пимен да хозяйка.

Собаки тоже сидели позади, умильно поглядывая, а кот терся о спины.

Этот тихий покойный ночной ужин во всей деревне, в каждом дворе – замирающий аккорд буйного зноем дня, мертво царствовавшего над деревней и бурно клокотавшего в огне палящего солнца неустанным трудом там, над полями.

И Пимен, крестясь на темный восток, откуда, весело играя и напоминая, что протекает короткая ночь, выползали все новые и новые звезды, проговорил:

– Спасибо, матка.

Проговорил осиплым от зноя, пыли и степного ветра мужичьим голосом, но с той особенной внутренней мягкостью поработавшего человека, который устал и перед которым заработанный отдых.

Там, в степи, среди жнивья, среди покосов, среди пашни под палящим огнем дня, не было у него семьи, не было жены, не было матери его детей, не было и детей, – были только работники.

Баба, обливаясь потом, попевала за ним, звеневшим косой, гребла сено. Семилетний мальчик, так же без отдыха, как взрослый, возил копны к стогам.

И Пимен широко, насколько только хватало дыхания и рук, взмахивал косой, ступая шаг за шагом, роняя с взмокшего лица пот, – и с звенящим звуком ложилась пластами трава.

Он не думал, трудно или нет, весь пожираемый напряжением труда, весь отдаваясь во власть неумолимого степного порядка.

Покос еще не отошел, а уже спеет зерно, уже зовет хлеб, день упустишь, весь урожай высыплется, – солнце делает свое дело, будешь косить пустую солому. А там спеша с молотью, а там хлеб возить, а там на ярмарку, а там пахота, – так до первого снега, пока побелеет усталая, примолкшая до весеннего солнца степь.

И, задыхаясь, словно подгоняемая по дороге почтовая лошадь, которой нет и не будет до поры отдыха, он хрипло, скверно кричит на замешкавшуюся со сбившимся платком и пылающим потным лицом бабу с ввалившимися от усталости глазами, а то и кулаком сунет.

Та и не гонится за тычком, ибо он прав, прав жестокой степной правдой.

И не раз как резаный кричал и бился в дюжих руках мальчишка, которого порол кнутом отец за то, что не поспекает возить копыны.

Да, это *там*, в неумолимом царстве всепожирающего, не знающего пощады труда.

А теперь – звезды над головой, и все больше их выбирается из-за темной и смутной степи; вздыхают быки, жует лошадь, и собака где-то на краю лает упорно, настойчиво, с усталым отчаянием. Помолчит, прислушается и опять лает одиноко, упорно, настойчиво, с особенным, ей одной понятным собачьим озлоблением. И этот лай сливается с тихой деревенской ночью, полной смутных силуэтов не то изб, деревьев, плетней, не то странных,

уродливо искривленных, непонятных в молчании чудовищ.

Пимен ложится с женой на разостланной белеющей посреди двора полсти, а мальчишка гомозится, как кура на насести, укладываясь на крыльце. Прикорнул и уже крепко спит.

С полсти доносится:

– Исажары высоко, поздно... а-а-х-х-а!..

И голос женщины:

– Пим, слышь, что сказывают: Калиниха, кубыть, под причастием закликала.

Молчание.

– И будто с того: мужа обманывала... слышь, с лавошником.

– Ну-ну... ишь опять овца кашляет, кабы не сдохла.

Из-за левады, из-за речки, из темноты тонкий жалобный крик, – должно быть, филин. Звезда скатилась.

– И, кубыть, лавошница-то мужу весь зад смолой сожгла горячей...

И помолчав:

– А нонче алафузовские приказчики опять приезжали.

– Ладно, спи.

На полсти смолкает. Смолкает и собачий лай. Только синяя мгла да звезды. И над деревней, над темными дворами снова пустыня, черная пустыня тихого, молчаливого, не шевелящегося сна.

Хотя и воскресенье, но Пимен проснулся рано, – побелевший восток глядел из-за плетней и разбудил.

Поднялся, почесал за ухом и спину, зевнул так, что воробьи поднялись из-за застрехи, покрестил рот, плеснул в нос и заросшие щеки воды из висевшего на веревочке кувшина, вытерся подолом рубахи и пошел убрать скотину.

А уже хозяйка подоила и несла в цибарке дымящееся молоко, и в церкви звонили, – по-рано управлялся.

Пимен по воскресеньям не ходил в церковь, а только по большим праздникам, двенадцатым. Но ему приятно слышать этот плывущий над избами, над улицей звон, хотя и надтреснутый, шамкающий и теряющийся где-то в левадах, бессильный, добратся до степи, все же кладущий определенную грани-

цу той жестокой и неотвратимой степной власти, перед которой он терял и себя, и жену, и детей, и перед которой все – ровня, все – безответные работнички.

Воскресенье проходило не то что без работы, но эта работа и в счет не шла с тем напряжением, которое пожирало в степи. Надо ось вытесать, хомут исправить, плетень заделать, чтобы свиньи не лазили.

После обеда выспятся, а к вечеру, когда свалит жар, все высыплют на улицу и сидят на завалинках. Лузгают семечки.

Девки в цветных ситцевых юбках и уродливых городских кофтах, как цветы по серой улице, поют песни, а то возьмутся за руки, заведут хоровод. Парни с ними балуются, либо у плетня пьют водку, и виснет ругань, либо крепкими, здоровыми молодыми голосами вольются в общий хор, и слушают старики на завалинках, и слушает вечеряющая степь, тихо улыбаясь.

А там и закат, и темь, и звезды, и молчаливый пустынный сон над деревней, а завтра в степь, и опять все своим круговым чередом.

Стояли осенние дожди. Дождь принимался по нескольку раз в день. Небо низкое и серое, и над почернелой пахотой ветром носило одно воронье.

Потом мороз связал комьями черную грязь и развороченные дорожные колеи, а длинные лужи забелели тонким ледком. А когда проснулись утром, снег замерзшей крупой хотя и скупю, но запорошил всю степь. Все бело, только на угорьях чернеют лысины да местами вывороченные замерзшие колеи.

Убрался Пимен со скотиной, наладил и сани, хотя на них пока и нельзя было ехать. Дня через два надо собираться на ярмарку.

Дни стали просторные – работы вчетверо убавилось.

Выйдет на крылечко; выкурит сигарку, глянет на опустелую леваду, на степь. Белая она, местами только сквозит пахота.

И вот раз видит: зачернелось что-то далеко. Ворона не ворона, комок не комок, – тихонько близится по белому снегу. Пригляделся, – идет человек. А когда подошел к деревне, увидел Пимен, что это – монашек в скуфейке, в наваченной ряске.

Увидал и Пимена монашек, подошел, пере-
крестился.

– Во имя отца, и сына, и святого духа...

Цыкнул Пимен на выскочивших собак.

– Ну что ж, заходи в горницу.

Велел бабе поставить самовар. Свечерело, и все обсели стол, а на столе кипел самовар, заполняя паром комнату. Запотели окна и темный низкий потолок. Баба возится с чаем, всем наливает, мальчонка положил локти на стол и не сводит глаз с монашка.

А он откусит кусочек сахара, забудет про чашку, ласково смотрит то на мальчонку, то на бабу и рассказывает. Снял скуфейку, волосы светлые рассыпались до плеч, на губе усы еще и не пробиваются, глаза серые и ласковые.

Много перевидал Пимен чернецов и черничек, много наслушался рассказов, а этот рассказывал особенно. Те – про святые места, про мощи, про неугасимый свет, – этот рассказывал обо всем, мерно, складно, ласково глядя в глаза. И чудится, будто вместе с ним едешь на пароходе, вверху бегут белые облака, внизу, в зеленой воде, играют морские

свиньи. Мимо проплывают горы, леса по горам, и на верхушках летом снег блестит. Плы- вут города, а в них без числа домов, и улиц, и золотых маковок. У берега, как лес, мачты и трубы кораблей и пароходов, и все застилает дым.

И живут там люди день и ночь, день и ночь стоит галдеж, шум, ходит народ, ездят на лошадях. В лавках понавезено со всего божьего света чего только душеньке угодно, и чуть не даром, по самой по дешевой цене, не то что в деревне – фунт сахару стоит двадцать пять копеек, а за шерстяной платок и цены не сложат.

Слушает Пимен, у самого глаза слипаются, а сам слушает и будто побывал и на Кавказе, в Одессе, и в Царьграде. Повидал и турок в фесках, и черных арапов, и верблюдов, и касаточек, которые летят через море и облепляют пароход.

Глянул – мальчонка давно спит, положив голову на стол, самовар потух, чернец все так же рассказывает, ласково поглядывая, а баба, навалившись грудью на стол, не спускает с него глаз, и глаза у нее блестят.

Пимен нахмурился.

– Ну, будя, ложиться надо.

Монашек послушно встал, долго крестился, потом низко поклонился хозяину и хозяйке.

Чернеца положили на скамейке, а хозяин с хозяйкой полезли на полати.

Долго, против обыкновения, не спал Пимен и ворочался. В избе было темно, смутно маячили окна, шуршали тараканы. И все хотел вспомнить что-то Пимен, не вспомнил.

Утром рано, еще не рассвело, ушел чернец.

– К заутрене пойду.

Вернулся от обедни.

– Церковка у вас махонькая, но лепая, а ба-
тюшка зело, видно, склонен к питию.

– Ты, мних, не осуждай.

– Не во осуждение.

Пимен не позволил бабе, которая совсем было собралась, ставить самовар. И она целый день ходила злая и все огрызалась.

Вечером Пимен сказал:

– Ну, чернец, загостевался ты, хочь бы в другую избу перешел.

Баба накинутаь:

– В церковь не ходим, лба не перекрестим, так и странного человека принять нельзя.

– Цыц!..

И уже спустя, когда чернец ушел, ударил ее кулаком по затылку и слегка потаскал за косу. А она выскочила и целую ночь просидела у соседей.

Удивился Пимен, – никогда так не огрызалась, и все никак не может вспомнить – вертится что-то в голове.

Все шло чередой, и степь всю покрыло снегом, и по угорьям, и по балкам, и по овражкам. Под солнцем она вся играла и сверкала, больно смотреть, а когда начинал тянуть ветер, зловеще дымилась холодным злым дымком, затягивая дорогу и следы, – тогда страшно было выезжать из деревни. По ночам, когда разыгрывался ветер и ночь делалась белесо-мутной и колеблющейся, звонили в колокол, и звон то уносило куда-то, и в крышах лишь визжал ветер, то разорванно и торопливо носило над деревней, и все казалось, что в мутной дали кого-то хоронят.

Пимен прислушивается, ворочается на по-

лациях и неодобрительно крякает:

– В экономии, сказывают, табун овец пропал, бураном загнало в балку, всех засыпало.

Матрена тоже не спит и думает, глядя в темноту, и говорит, отвечая на свои мысли:

– Как в экономии служила, по зимам, бывало, много народу съезжалось. Барыня мне сказывала: «Поступай, Матрена, ко мне горничной, на теплые воды поедем». Побоялась. Дура была, гляжу теперь.

Пимен поднялся на локоть.

– Все вы там, в экономии, – шлюхи!..

Баба злобно замолчала...

А он вспомнил то, что не давалось. Вспомнил ее лицо, когда она, навалившись крепкой грудью на стол, слушала чернеца, – смуглая, крепкая, и под черной бровью карие зовущие глаза. Что поразило, так это что лицо ее было две капли, как когда брал ее девкой из экономии, как будто не прошло семи лет.

Загуляла деревня. В высокаторжественный день земский отдал приказ праздновать, украсить флагами дворы и не производить работ.

Мужики беспробудно пили, не то веселясь,

не то удивляясь неожиданному поведению. Ставило начальство, ставили именитые люди, потом пропивали свое кровное.

День и ночь стояли пьяные песни и галдеж. А на третий день все, молчаливые, суровые и злые, возились по хозяйству.

Пимена эти дни не было дома, – гонял двух телок на ярмарку. Когда вернулся, над деревней еще стоял пьяный угар.

Подъехал Пимен к своему двору, стал отворять скрипуче волочившиеся по снегу жердевые ворота, и стукнуло ему в сердце. Все было обычно, как всегда, на своем месте, и что-то новое, затаенное, глядело на него с просторно белевшего снегом двора, из-под навеса, из-за опущенных плетней.

Сам распрягает, а сам шарит глазами по двору, боясь и торопясь открыть причину своего беспокойства.

Подтверждая тревогу, из избы доносились воющие, причитающие звуки, как по мертвому. Пимен положил хомут на сани, чтобы щенята не сгрызли, подобрал туда же шлею и пнул носком гнедого, который вздохнул и медленно и лениво, без уздечки, поплелся к

сену.

Не слухом, а чутьем догадался Пимен, что причитала жена. Стараясь угадать и в то же время сдерживаясь и не спеша, пошел к избе.

Вышел Ванятка и глядел на отца, глупо раскрыв рот.

– Ты чего?.. Чего мать воет?..

Мальчик отвернулся и стал глядеть за ворота.

Первое, что бросилось в глаза, когда Пимен вошел, была жена, сажавшая в печь хлебы. Бегло глянула на мужа и, не сказав ни слова, продолжала крепкими, сильными движениями ссовывать с лопаты хлебы в устье.

Пимен сел на лавку и стал переобуваться.

– Овца кашляет?

Она возилась со своим около печи и проговорила, не глядя:

– Вчерашний день натрескались, лезли в избу, полуношники окаянные, штоб им подохнуть... Насилу в окошко выскочила... Цельную ночь у соседей просидела.

Пимен опустил ногу с полуснятым сапогом, наступив на заломившееся голенище.

А она, не глядя, так же деловито возилась.

– Щеколду сломали да бочонок, который из-под огурцов, разбили.

– Чего выла?

Она молча продолжала возиться около печи.

– Ну!

Стало трудно и тесно дышать. С необыкновенной яркостью, с изумлением, как будто в первый раз, опять увидел ее смуглое зовущее лицо, карие глаза из-под черных бровей и крепкую грудь.

– Али язык отсох?

– Ну, чего еще! – и нагнулась к устью.

В этом движении ему показалась пренебрежительность.

У Пимена перекосило и уродливо повело побелевшее лицо и на сторону потянуло вздрагивающие губы, как будто он улыбался.

– Ы-ну-х-х!

Он тяжело выдохнул и со всего размаху ударил ее кулаком по лицу. Та мотнула головой и глухо стукнулась о стену. Он поймал за косу и стал бить.

Мальчишка отчаянно ревел, хватаясь за мать.

За окнами налипли ребятишки, в избу набились соседи и отняли женщину.

Пимен вышел все с таким же перекошенным на сторону ртом, постоял, посмотрел, не видя, на улицу, на базы и пошел к навесу, стараясь не шататься.

Гнедой мирно жевал сено. Пимен схватил его за челку, ударил снизу кулаком, и тот, взмахнув, высоко вздернул голову. Пимен повел к саням, запряг, а лошадь недоуменно стояла, заложив ухо назад, и покорно моргала.

Вывел за ворота, боком вскочил на сани, погнал, и позади – растворенные ворота и быстро лежащий за санями след. Гнедой, пробежав, было затрусил, но кнут с предупреждающим свистом больно ложился во всю длину. По бокам нескончаемо мелькал белый, нетронутый снег, а из-под саней так же бесконечно развертывался, убегая, след полозьев.

Уж давно не видать деревни, без конца несется навстречу белая степь, и с хриплым свистом вырывается лошадиное дыхание, а кнут так же беспощадно рвет кожу, кровавит падающую клочьями пену.

Раздувая кровавые ноздри, роняя пену,

остановился гнедой посреди дороги, качаясь на дрожащих ногах, тяжело нося боками, как будто говоря: «Хоть убей!»

Человек бешено соскочил. Гнедой, все так же нося боками и приложив ухо, медленно повернул голову и посмотрел. Пимен пришел в себя, полез в сани, нашел и надел шапку.

– Загнал скотину!..

Распустил супонь и чересседельник. Гнедой нагнулся, хватая мягкой доброй губой снег, и опять посмотрел на хозяина: «Видишь, что наделал...»

Пимен с недоумением оглянулся.

– Куда же это я?

Назад он ехал шагом и больше шел возле саней. Мороз покусывал раскрытую грудь. В голове без толку толклись ничем не связанные обрывки неустанной работы – покосы, молотба, пашни, скотина, день за днем, неделя за неделей; и в этой работе одинаковы и он, Пимен, и гнедой, и Ванятка, и баба; и не представлял он себе бабу иначе как согнувшуюся, под коромыслом с полными ведрами, как с лопатой, граблями, с мотыгой в руках. Но, нарушая все это, перед ним вставала кра-

сивая, румяная, кровь с молоком, такой, какой она была в девках, когда шла за него. Да, девкой – это другое дело, девка и должна быть такая, а бабе одно – хозяйство, хлебы, корова, огород.

– Ах ты зм-мея!.. Ну, ладно ж-ж...

И он повернул и опять бешено погнал лошадей.

Чувствовал, что произойдет что-то ужасное, но потерял над собою власть.

Первое, что мелькнуло в глаза, когда ввалился, – коптящая с почернелым разбитым стеклом лампочка, и возле наклоненная, обвязанная, безобразно обмотанная голова и взмахивающая, шьющая рука. Должно быть, выла, – он слышал со двора какой-то ноющий не то плач, не то причитания, но когда вошел, замолчала.

Выдохнул глубоким выдохом, кровь отхлынула от туго побагровевшего лица, и тяжело опустился на лавку, испытывая, сам не зная почему, непонятное облегчение. Ждал, – это подымало в нем звериную, – неподдаваемую ярость, – войдет он, и глянет на него из-под черной брови карий, дразнящий глаз со

смуглого лица, крепкий стан и вся крепкая, точно сбитая фигура.

– Ну, что же... любовнички были?

Она заголосила, уронив безобразную окутанную голову на стол.

– Да разнесчастная я... да куды же мне деваться?.. Господи!..

Ночью в избе слышался то его, то ее голос. Он расспрашивал, она рассказывала, как было, но не могла назвать, кто лез, было темно, а деревня пьяная, да и не было ничего, убежала.

Он слушал. Представлялось ее смуглое, чернобровое лицо, и снова подступала душившая звериная злоба. Но когда искоса взглядывал при неверном отсвете тускло глядевшего в зимние окна снега на обмотанную безобразную голову, темно глядевшую заплывшим глазом, злоба потухала и становилось жалко.

Все было по-прежнему. Так же закатывалось за степью в красном морозе солнце, так же вставало из-за степи и прогоняло предрасветные фиолетовые тени по снегу, так же шло хозяйство своим чередом.

Пимен все время вел розыски по деревне. Все качали головами, соболезнавали, ругали негодяев;

– Скажи на милость, а?..

Иные добродушно ухмылялись:

– Може, сама пустила?..

Старшина, умный мужик, когда опять пришел к нему Пимен, выслушал, погладил бороду, поглядел в землю.

– Ты вот что, – проговорил он, помолчав, – брось. Ничего не будет, только склока и начальству утруднение. Сам знаешь, не любят этого и нас загоняют. Что с воза упало – пропало, а объявляться, сделай милость, тникто не станет, – дескать, нате, берите меня, я сделал. А у тебя только в хозяйстве упущение. Говорю не для себя, а для тебя. Да и урону никакого не было, а на бабе следа не осталось.

Пимен криво усмехнулся.

– Все одно, говоришь? А ежели я красного петуха пуцу из конца в конец деревни, – чай, найдет виноватого?

Старшина спокойно погладил бороду.

– Вот. Виноваты будут те, а в Сибири будешь ты.

Пока жена ходила с обмотанной головой, вся в синяках, с заплывшими черными глазами и безобразно отвислыми раздувшимися губами, вся его злоба, вся жажда мести ползла к тем, кого он в конце концов, – он был глубоко убежден, – найдет. Он их перебьет, перебьет, и не просто, а замучит, колом выбьет руки, ноги, перебьет хребет, забьет им глотки.

Когда же она понемногу разматывала с головы тряпки, проходили синяки и на него опять из-под черных бровей взглядывал карий, со спрятавшейся где-то в зрачке искоркой глаз, снова поднималось необузданное, звериное, чему ни имени, ни слов, что загоразживало собой и обиду, и людей, и весь мир.

И он бил ее, жестоко бил, бил каждый раз, когда ворочался из волости, с ярмарки, из степи с сеном.

– На что ты мне опоганенная!

– Забьет бабу, – говорили соседи.

В хатенке Власихи, тайно торгующей вином, сидит Пимен, кум его и шерстобит.

На столе вареники, водка, чай. Власиха в углу, не глядя, торопливо мотает спицами.

Пимен сдержанно покачивается, плеская рюмкой.

– Кум... голубь!.. Душа у меня болит... болит душа... просится... Кум!..

Кум, весь осунувшись, стеклянно смотрит в истоптанный земляной пол, словно там мудрость, и, подумавши, отвечает:

– Кум, люблю тебя, как свою голову... нету у меня друга, как ты... а баба у тебя ой-ой-ой!..

Он сокрушенно крутит мокрой растрепанной головой и подымает высоко брови.

– Кум, я и говорю: баба у меня – ведьма.

– Ведьма! Ну и баба же, скажу тебе.

– Да и с хвостом.

– Не откажешься. Сыну родному не надо лучше.

– Опять же, кум, рассуди: чего требуется бабе?

– Твоей не требуется ничего, все бог дал,

– Постой, не прыгай, – блоха прыгает... Баба на хозяйство – по указу свыше. Что сказано Еве? Плодись и чтоб по хозяйству все в порядке.

Пимен косится, собирая брови.

– Первое – корова, раз!.. Второе – дети, об-

мыть, обшить, попестовать... Опять же хлебы, сварить, испечь. То же самое на поле, в огороде... Опять же муж, накорми, сорочку почини... А ты на нее глянь, разве это возможно? Рожа лопнуть хочет...

– Главное – утвердиться в мнении, – вступает шерстобит.

Он сидит на лавке, свесив необутые, в толстых шерстяных чулках, ноги, потягивая с блюдечка дымящийся чай, который чередует с водкой.

Окна по-прежнему темны и молчаливы, и шуршат за печкой тараканы.

– Опять же в каждом семействе муж и жена – одна сатана, – продолжает шерстобит, дуя и потягивая горячий чай, и капелька пота, свесившись, дрожит и колеблется на конце красного носа.

По избе ползают вздрагивающие уродливые тени.

– Что касаясь твоей жены, – продолжает шерстобит, двигая бровями от обжигающе-горячего чая, который он выливает в блюде из четырнадцатого стакана, – так завсегда надо помнить: не токмо она баба, но и женьщи-

на, – стало быть, так и понимай.

Пимен наеживается, как кот, увидавший собаку, и с ненавистью смотрит на распаренное, потное, в угрях, курносое лицо шерстобита, невинно тянущего оттопыренными губами дымящийся чай.

– Да-а, – вот такие шатущие... шерстобиты всякие... Ему, шерстобиту, что? Из избы в избу шатается, везде напакостит, везде в первую голову до бабы...

– Дсь? – недоумевающе поднимает брови шерстобит и дохлебывает остывающий остаток из блюдца.

– То!.. – И Пимен грузно опускает кулак на стол, посуда звенит и раскачивается. – Бить вас надо!..

Власиха кидается и виснет у него на рукаве:

– Ой, не дури!.. Наделаете крику, накроют меня с вином.

Морозный ветер в темноте обдувает Пимена, и он идет домой весь обмерзший, в сосульках. Над головой морозно мерцают и колеблются задуваемые ветром звезды. По бокам смутно принакрытые снегом избы, а в голове,

должно быть, от мороза – проясневшие мысли.

Точно молнией осветило все непонятное Пимену слово, сказанное этим угрястым, курносым чертом, шерстобитом.

«...Не токмо баба, но и женьщина...» «Я те дам женьщина, – думал, скрипя снегом, Пимен, – это что за новая мода?.. А?..»

Теперь для него все ясно: начинается с того вечера, когда сидел монах и рассказывал, и волновалось перед глазами море, и летели, и садились на мачты касаточки, и шумел город, и в красных фесках ходили турки, а за столом, навалившись грудью, сидела женщина и глядела в глаза монаху. И она же жалела, что не поехала на теплые воды. И ради нее никогда не проезжали мимо алафузовские приказчики, все остановятся и позубоскалят. И она же впустила к себе ночью парней. И надо, чтобы в ней, как и прежде, никто бы не замечал женщины, как и он не замечал, а все бы видели только работницу.

– Ну уж ладно!..

Скрипит снег. Туго стянут волосатый кулак, и впереди засветилось оконце.

Должно быть, отдохнула за зиму степь. Потягиваясь, шевельнулась; зачернели проснувшиеся проталины, и сладкой, полусонною улыбкой улыбнулось заголубевшее небо.

Птицы потянули.

Наверху растопилось золото целый день не покрываемого тучкой солнышка, а внизу вся степь почернела и развезло по ступицу, а перед пасхой выехали и пахать.

Сенокос в этом году был ранний.

Чуть зорька проглянула, – уж ехал Пимен, веселый и довольный, в степь, и весело позванивала и дребезжала увязанная в дрогах коса. Все больше светлело, и бархатом раскидывалась по обеим сторонам степь.

Широко взмахивает звенящей косой, валит густую, тяжелую траву, – напряжение работы поглощает все мысли. Но когда начинает отбивать косу, снова вспоминает, что все опять пошло как следует, точно выскочившее колесо снова вскочило в колею.

Когда полегла вся полоса, меж курганов глядело, как с натуги, красное, словно кумач, солнце. Синевшая степь чуть дышала предве-

черным паром.

Пимен наложил полную повозку свежескошенной, пряно пахнувшей к вечеру травы и поехал домой.

Потухли курганы. Чуть кровавилась узенькая полоска зари. Степь тонула. И не то звездочка, не то костер в поле мерцал. Где-то далеко, в той же стороне смутно и слабо песня подержалась, подержалась и погасла, – девки, должно быть, на поле пели.

А на самом краю, где стеной стояла ночь, слабо потухал отсвет далекого, невидимого пожара.

Потряхивают дроги, привалился на мягкой траве Пимен и думает. День за днем, месяц за месяцем, и опять все пошло по порядку. В доме рачительная, не покладающая рук работница. Точно кто-то пришел и стер румянец, бойкий глазок, черную бровь. Худая, жилистая, с ввалившимися щеками, она вся тянулась к работе. Точно молодая лошадь вырвалась из закутья и носилась по степи, раздув ноздри, глядя искрящимся, живым взглядом в далекую степь, посылая навстречу солнцу, навстречу степному простору, навстречу ласко-

вому ветерку, шевелящему травы, звонкий, как труба, молодой зовущий голос. И вот уже опять накинули хомут, и тянет спокойную, привычную лямку, и выступили под шершавой кожей ребра.

«Вот только злая стала», – думает Пимен. Дня три тому назад разбила ему бровь скалкой, чуть голову не своротила. Но с этим Пимен мирится, – в хозяйстве не без этого.

Скрипя, ходят колеса на осях, тарахтят дроги, и смутно и тихо над никогда не дремлющей степью стоит ночь. Только на темном горизонте слабо мерцает далекое зарево, – видно, горит где-то стог. Этот неведомо где мерцающий отсвет среди тихой, неподвижной, молчаливой ночи будит жуткое предчувствие, и Пимен поторапливает бегущего в темноте гнедого. «Не дай, господи, неосторожный случай, – сушь, – от деревни одни уголечки останутся».

И он тревожно посматривает вперед, но там так же молчаливо, неподвижно и покойно стоит черная стена ночи.

Когда Пимен въехал во двор, – поразила

странная пустота. Все было на своем месте. Под навесом скотина звучно жевала жвачку, кашляли овцы, возились на насести куры, темнел молчаливый силуэт избы, и в то же время стояла какая-то ненарушимая тишина пустоты.

Пимен вошел в избу и окликнул:

– Матрена!..

Было темно, и никто не отозвался.

– Ванятка!..

Все та же тишина и покой. Вздул огонь – никого.

– Чудно, куда делась?..

Пошел к соседям, никто не видал ни бабы, ни мальчика. Два дня бегал как угорелый по деревне Пимен, – нигде не было. Хозяйство стало, недоенные коровы мычали, ревели голодные телята, свиньи и овцы разбрелись. А Пимен таскался по городу среди громадных домов по шумным улицам и искал жену и сына. Над ним смеялись:

– Чудак, – тут человек, как иголочка: упустил – не сыщешь.

А в волости, где он заявил, чтобы жену доставили по этапу, сказали:

– Да ты укажи ее, где она. А то нам ее родить, что ли, тебе...

Снова Пимен принялся за работу, и день потянулся за днем. Что-то тяжелое, неподвижное, давящее и в то же время пустое налегло на его двор. Точно кто-то неподвижно, не спуская взгляда, глядел незрячими, пустыми очами на его пустой, нежилой двор.

Как-то воротился с поля Пимен, угрюмый, осунувшийся, заросший, и присел на крыльчке, отводя глаза от пустого двора и безнадежно глядя в степь, по которой тянулись косые вечерние тени.

И видит – зачернелось что-то по вечерней степи. Пригляделся – идет монашек.

Пимен пошатнулся, багровый туман все застлал. Схватил дубовый кол и бросился задами и левадой в обход.

В небольшой балочке, у самой деревни, настиг его.

Идет, не оглядываясь, на спине сумочка, в руке посошок, на голове скуфейка, и идет так, не спеша, как тогда, зимой. Пимен сзади спустил обеими руками тяжелый кол на затылок, и череп глухо: «Крак!» Монашек упал ли-

цом в дорожную пыль. Пимен стал переворачивать.

– А-а, сомутитель! Теперя не будешь сомущать молодых баб... Вот те пароходы, вот те моря...

Мертвец нехотя, смачивая кровью пыль, перевернулся навзничь, и Пимен отпрянул, дико трясясь: в небо глядела седоватая борода на посеревшем, морщинистом маленьком лице.

– Братцы!.. братцы!.. братцы!.. – дико доносилось, убегая в степь, все слабее и слабее....

Деревня загорелась ночью с краю, и ветер понес по соломенным крышам искры и головни. И всюду поползли кучерявые игривые дымные змейки. Потом замотались огромные красные языки и лизали сразу по десятку домов, через улицы и переулки. Стало светло.

Уже видна вся деревня, а над нею колокольня, сначала белая, а потом все краснее и краснее.

Буйно заиграл ветер, багрово струясь, и весь наполнился человеческими голосами, ревом скотины, треском и гулом. На улицы

вытаскивали скарб, мешки с хлебом, одежду, плуги, телеги.

Торопливо догоняющие, полные ужаса звуки набата, задыхаясь, едва поспевая, неслись с колокольни.

До самого горизонта открылась степь, судорожно шевелясь в багровых отсветах. Проступили небо и тучи, изрытые, тоже багровые, неподвижно и молча глядевшие вниз.

Носились розовые голуби.

Потом не стало видно ни изб, ни улиц, только пылало, струясь и волнуясь, огненное царство. Не стало слышно криков людей и животных, а все пожирая, в раскаленном треске царил огненный гул. Задыхаясь, едва поспевая в безумной торопливости, звучали удары набата с колокольни, из которой уже густо валил дым.

Безумно носились красные голуби.

Степь уже не шевелилась, а до самого края напряженно светилась вся до последней былинки.

Все смолкло. Не летают голуби. Только раскаленно струится огненное царство, до самого неба наполняя багровую ночь победными

голосами.

Ночной дождь*

Невидимый дождь сечет наискось с правой стороны, и кругом ни зги не видно.

Чмокают в темноте в грязи копыта, и лошадь, должно быть, мокрая, с прижатыми ушами, в мокрой сбруе, и вода бежит по спине, по шее, по мокро-свалявшейся гриве; но за тьмой, наполненной дождем, ничего не видно.

Смутно-тяжелым, черным, уродливо неправильным пятном проступает спина возницы, покачивается, то сливается краями с темнотой, то совсем тонет, и тогда слышно только, как сечет невидимый дождь невидимую грязь, лужи, повозку, дождевой дырявый плащ, пахнувший старой клеенкой.

Тот, что в телеге, привалился к задку и покачивается и переваливается вместе с телегой.

Кругом все заполнено влажным говором, бормотаньем, непрерывным бульканием и журчащим шепотом, всюду проникающим, беспокойным и хитрым; но для троих, кото-

рые уже давно в этом переполненном водой мраке, – глухо и мертво, и говор, и хитрое бормотанье не нарушают мертвой тишины и молчания, в которых нет человеческих голосов.

И как в этом шуме и говоре нет живого говора и шума, так нет в нем живой думающей мысли. Из троих же, медленно подвигающихся среди влажного царства темноты, грязи и непрерывно секущих звуков дождя, каждый думает по-своему.

Впереди, утопая выше щетки, нагнув голову, вытягиваясь и чмокая копытами, тянется в оглоблях старая кобыла. Она – неизвестной масти, но сколько ни присматривайся – теперь черная, как и эта черная ночь.

Мотается и шлепает отвислая губа; кобыла вся вытягивается в нитку, вытаскивая загружающиеся сзади колеса; с свистящим хрипом выворачиваются трепещущие ноздри.

Уже сколько часов все то же, и все те же мысли, простые и несложные, в форме проплывающих ощущений: медленно плывущая перед глазами темнота, мерный звук чмокающих копыт, от которого все чаще и чаще на-

чинают подгибаться узловатые колени, и жгучие, ложащиеся по коже полосы от кнута и поминутное ожидание их.

Среди ропота и шума дождя, поскрипывания осей во втулках она ясно каждый раз слышит предостерегающий свист кнута, судорожно на секунду выгибает спину, а когда ременная полоса жгуче въестся по всей длине в кожу, слегка делает попытку взмахнуть мокрым, неподвижно отяжелевшим хвостом, – дескать, и так знаю, больно... И выплывает сухой с мягким пахнувшим под ногами навозом сарай... сено в темноте колет мягкие губы... выдергивает и начинает жевать... опять темнота и секущий спину дождь, и больно въедающийся в подогнувшуюся на секунду спину ременный кнут.

Сколько помнит себя кобыла, это все одно и то же, все одно и то же – всю жизнь. Длинная, бесконечная дорога медленно пропадает сзади, длинная, бесконечная дорога выползает впереди...

Думает и тот, что качается темным пятном на передке телеги. Дождь сечет справа и спереди, стараясь пробраться в одежду, мочит

свалявшуюся бороду, обвисшие усы, моет заросшее лицо и сбегает густыми ручьями по стоящему колом клеенчатому плащу, предательски пробираясь в протертые в нем дыры.

И мысли плывут в темноте медленные и такие же простые и однообразные, как шум дождя, как невылазная грязь, в которой медленно ворочаются колеса и без конца чмокают копыта.

«Дождж!.. И все идет и идет, как подрядился... Но-о, милая! Чижало!.. А то не чижало?.. По ступицу!.. Темень, не видать... а то видать, что ли?.. Хочь глаз коли... Половину проехали... а може, не проехали, чижало, по ступицу... Верно, проехали. Когда выехали? Гляди, часа четыре тянем... а только навряд проехали, по ступицу... Кабы не стала... Но-о, милая, чего ей становиться? Корму вволю дал... Станет, как бог свят, станет, по ступицу, хоть на себе волоки... Осерчает, гляди... Спит, привалился, спит... Грех-то какой: цельную тройку угнали, долго ли... даром что богатый, а тоже, чай, кручинится. Как же можно... теперича на станции давно был бы, а то вот тянись... Но-о, милая!.. Должно, спит... пуццай спит, по край-

ности выпится, не так горько будет... Но-о, милая... кабы не стала лошадь... с чего ей стать? Кабы не кормил... Станет, беспрерменно станет... по самую по ступицу».

И тянутся эти мысли, тягучие, плоские, все одни и те же, и сечет дождь, и мокрая, наполненная непрерывным бормотанием дождя нерасступающаяся темнота.

Третий тоже думает.

В темноте и в темно проступающей телеге его почти не различишь. Привалился к задку и темно покачивается из стороны в сторону, когда телега попадает в размытые ухабы, и дождь так же наискось усердно сечет его, потоками сбегая по мягкому резиновому плащу. На коленях целая огромная лужа колышется и плескается, как в чашке, – лень вылить.

«И черт меня угораздил... Цыгане, разумеется, цыгане, кому же больше?.. Жаль коренника, – старый, а отлично бегал... Нет, не поспеем к поезду... разве тут поспеешь с этим дураком... Темень... Тянемся, как за душу тянут... Воду бы надо вылить, болтается на коленях, да черт с ней... Черно, как чернила... Теперь бы чистое белье, да чистую постель, да

Маню... Эх... Странно, даже когда обладаешь ею, ее глаза... в ее глазах что-то остается недо-ступное, и это раздражает...

Дождь падает, падает, падает уныло, одно-образно, и нет ему и не будет конца... Темно, а в темноте лежит степь, мокрая, молчаливая, и нет там никого, а мы без конца болтаемся по раскисшей дороге, и ничего не видно... Ой... вода за шею пробралась... Теперь не бу-ду ворочаться, пока не согреюсь... Хоть бы уснуть... Да... о чем это я думал? Маня... Она сложная, непонятная и загадочная... А хоро-шо бы... грудь... руки...»

Дождь сечет, сечет, сечет наискось, стара-ясь хорошенько мочить лицо, и ничего не видно – нерасступаящаяся тьма без конца и начала, и в ней только слышно: «Но-о, ми-лая...» – да удары кнута, да заглушённый скрип колес, да толчки переваливающейся телеги.

Проходит час, а может, два, а может, три, – все то же.

Лошадь уже не думает. Она шатается, сви-стит дыханье. Копыта редко, судорожно, с усилием выпрастываются из засасывающей

грязи, и все так же ничего не видно.

Не думает и мужик, только хлещет лошаадь в темноте, и темное смутное пятно его фигуры покачивается на передке.

Не думает и барин. Задремывает, и тогда телега, и возница, и лошаадь, и тьма, и дождь уплывают, и он мягко качается, и, не поражая необычностью, то ржет его тройка, распустив хвосты, подняв головы с раздувающимися ноздрями, бежит, гулко отбивая копытами, то цыгане молча сидят на корточках в кружок, в середине костер, ночь стоит... пляшет Маша... паркет блестит... огни... зеленые столы... кучки золота и...

Открывает глаза.

Шум дождя – ровный, монотонный, ненарушимый. Но не чмокают копыта, не качается телега, не поскрипывают колеса, и лужа на коленях недвижима, не болтается.

Впереди, перед глазами, не маячит уродливой чернотой спина возницы, а стоит ровная густота, как с боков, как сзади... Из темноты голос:

– Стала вот.

– Ах ты чертова телятина!.. Что же это ты

сделал?..

– Стала, – что ж с ей поделаешь?

Во влажной, шумящей дождем темноте хлюпающие по грязи, как будто равнодушные шаги, его шаги, – должно быть, около лошади ходит.

– Черт! Убить тебя мало...

– Стала... кабы не кормил... по ступицу... что с ей возьмешь... да и кормить-то... чем кормить?.. Сами голодные...

Пассажир все-таки не ворочает колен, чтобы не разлить лужу. В горле бешено застревают ругательства – и знает, что все равно не пособить, но надо освободить горло, и он разражается бранью:

– Телятина!.. Черти на твоей башке мало молотили... Болван!.. Ну, что теперь из твоей поганой хари вымесить можно?.. Взятся везти, а теперь стой на дороге... Мало вас, чертей, порют да гноят по тюрьмам... Сукин сын!..

А в ответ темень, невидимо хлещущий дождь и равнодушно-ленивые шаги в темноте по грязи и голос:

– Стала... Што ж с ей теперь сделать... По

ступицу...

Тянутся черные, мокрые, равнодушные часы, в которых потонуло и раздражение, и грубые окрики, и брань, и покорно равнодушные шаги, и голос из темноты.

Сидят. Лошадь невидимо жует, мужичонка надергал из повозки сена и навязал на оглоблю, сам смутно чернеет уродливым пятном у передка, к которому привалился.

Скучно. Тянется время, как эта бесконечная темнота. Недвижима лужа на коленях, и лень ее вылить.

Из темноты, заглушённые, придавленные, прорываются звуки, как будто старому волку зажали глотку, и глухо прорывается вой, похожий на икоту.

– Ты чего?

Он, должно быть, трясется, вздрагивает повозка, и лязгают зубы.

– Холодно, трясет, зуб на зуб не попаду... Мокрый весь...

– Да ведь у тебя плащ?

– Вишь, прохудилась клеенка, дождж в дырья хлещет, весь мокрый... аж нутро все трясет...

Опять тянутся скучные, мокрые, темные часы. Однотонный говор дождя. И под статью им тянутся мысли:

«Трясет его, повозку качает... Должно быть, нитки сухой нет... Неизвестно, сколько еще простоим. Чего доброго, горячку схватит... Да ведь не привыкать статью, и не в таких положениях бывал, не сахарный... Гляди – семья... Подохнет, – новый табунок нищих пойдет побираться... Э-э, вздор, рассентиментальничался. Э, трясет, как волк, зубами щелкает...»

– Ты бы укрылся.

– Вва... ва... вва... ва... и... нечем... войлоком бы, да вы сидите...

– Что же не скажешь!.. Кисейная дама... Жеманничает... Иди, ложись, что ли... Лужу-то вылить...

Он двигает затекшими коленями, лужа выливается. Подымают полсть, оба забираются под нее.

Слышно, как сверху немолчно и мягко сыплется дождь. Казалось, темнее стоявшей ночи ничего не могло быть, но под полстью непроницаемо густа чернота, и ничто в ней не маячит.

Лошадь жует, и тянутся мысли.

«Однако он сопит... Согрелся... Чистый тюлень... А вот не пожалей – пропал бы. Даром что привычный народ, а побудь-ка ночь под дождем мокрый – и пропал... Семья. Что ни говори, приятно спасти человека... Есть наслаждения не только в женщинах, не только эгоистические, но и в самопожертвовании и в экономии жизни это, быть может, уравновешивает... Что-то тело чесаться стало, как иголочками... Неврастения-то, нет-нет да и напомнит. Кто его знает, сколько тут простои́м. А пованивает!.. Тьфу... черт, дышать нечем!..»

– Ты! В баню-то небось и не заглядываешь...

В темноте вяло:

– Как не бывать, бываем. Обнакновенно под рождество паримся, опять же под пасху...

– То-то от тебя несет.

– Всякий человек свой дух имеет.

– Всякий человек!.. Скажи еще что-нибудь... От тебя как из помойной. Ты в десять лет раз помылся бы, – еще проще.

– Зачем? Каждый раз под рождество, опять же под пасху...

А дождь свое, мягко, вкрадчиво, надоедли-
во.

«Экая скотина!.. Ему хоть кол на голове те-
ши... Потовори с ним... Теперь бы чистое бе-
лье, постель... Эх!.. Как все складывается на-
выворот... Лежи с этим тюленем!.. Эка беда,
тело чешется. Всего проскребу себя. Да уж не
от него ли, от идола? Ей-богу, от него. Напол-
зут. Фу, мерзость!.. Черт с ним, с грязным идо-
лом... Вот положенье!..»

– Эй, ты, вылезай.

– А?

– Вылезай, тебе говорят, черт вонючий. С
тебя насекомые ползут.

– Зачем насекомая!.. Тоже давим.

– Тьфу, будь ты проклят... Вылезай, тебе го-
ворят.

– Ну что ж, вылезем.

Полсть отвернулась; пахнуло свежей сыро-
стью; торопливо стал мочить лицо косой
дождь. Мужичок вылез. В влажной темноте
мреют не дающиеся глазу призрачные силу-
эты. Лошадь жует.

Хотел было снова запахнуть на себя
полсть, но в темноте, мешаясь с дождем, го-

ЛОС:

– Слышишь, вылазь, барин.

– Что такое?

– Вылазь, сказываю.

– Да ты с ума спятил!

– Не, зачем, а только вылазь.

– Я тебе такого дам «вылазь», что своих не узнаешь.

– Ничаво, вылазь. Выкладывай денежки-то, чтоб не лазить по тебе.

Седок почувствовал, как сверху донизу прошел озноб и запрыгали зубы, мелко постукивая. И проговорил разом поласковевшим голосом:

– Ну, чудак... выдумал, пошутил и будет...

– Какие шутки...

– Будет. Теперь и шутить не позволяют... А то ведь за это, брат, тоже бывает... на каторгу, а то и хуже... Каждый вон день в газетах...

– Даром. Вылазь. Об чем толковать? Кокну – и все. Не на повозке ж тебя...

– Фу... чудак... ну что... ведь не скроешься... найдут, схватят... острог... виселица.

– Вылазь, вылазь, будет тебе зубы тачать... Оттяну от дороги в овражек... Дожджи, сля-

коть, всякой по дороге тянется... К весне волки растаскают... Одно слово, отъез на вокзал – и шабаш. Мое дело – сторона... Вылазь!

Спазма теснит горло. И не столько ужас в том, что смерть подошла, сколько в том, что пришла она со вшами, грязная, мокрая, вонючая, среди темноты и такая простая и ужасная в своей простоте.

– А-а-а-а...

И, как в сказке, заблестел, колеблясь и неровно мерцая, огонек, слышались сквозь дождь голоса и усталые шлепающие по грязи шаги.

Барин закричал тонким заячьим голосом:
– Спаси-и-те!.. Помогите!..

Но спокойно приближаются в темноте разрозненные шлепающие шаги, голоса и сквозь дождь прыгающий вверх и вниз, смутно блистающий огонек.

Потом огонек ложится, судорожно скользя, полосой по залитым водой колеям, по проступившим на секунду лужам, по которым вскакивают, золотясь и лопаясь, дождевые пузыри.

Из темноты выделилась конская голова,

смутный силуэт всадника и две пешие угрюмые фигуры; и у одной из них опущенный в руке фонарь. Стоят.

С лошади:

– Что за люди?

Барин кричит высоким, срывающимся голосом:

– Вот этот самый... Он!..

По странному побуждению, вместо ужаса, который только что пережил, кричит о другом:

– Не кормит скотину... стала... взялся везти, а теперь стоим посреди дороги...

С лошади повелительно:

– Посвети!..

Длинная полоса от фонаря скользнула по грязной дороге, по лужам, повозке, по кобыле, – кобыла оказалась пегая, – и, на секунду бросившись в степь и потонув в темноте, пробежала по усталым черномазым лицам пришедших, по фигуре всадника, на котором шинель, шапка и винтовка за плечами.

– Взялся везти, и вот стоим часов пять...

– Ты что же это?! – Стражник едко выругался.

– Стала... по ступицу... зарезалась скотина... вишь, дорога... – Голос у мужичонки был всегдашний.

– А-а, стала!.. Корми!.. Корми!.. Корми!.. Корми!..

А в такт окрикам свистящие удары плети по живому телу. Мужичонка корчится под ними на повозке.

– Побойся бога!.. За что... ой!..

«Ага-га-га, так его, так!..» Он радуется, что мужичонку порют. Необходимо пороть не только за то, что заставил пережить ужас смерти, но, главное, что от него воняет, что он грязен, вшив, мямлит, двух слов связать не умеет.

– Будьте покойны, ваше благородие, доведет. С Кривой горы будете? У вас, стало быть, тройку угнали?

– У меня. А это кого препровождаете?

– Цыгане. На цыган подозрение, и гоним их.

Цыгане заговорили глухо и беспокойно:

– Нас знает вся деревня, кузница своя, постоянно народ, видят... месяц никуда не отлучались...

– Кто ж их знает, для порядку доставляем...
Будьте спокойны, ваше благородие...

В темноте удаляющиеся шлепающие шаги, все слабее и слабее мерцающий огонек, пока не потух. Бормочет дождь. Из темноты добродушный голос:

– Просек клеенку, едят его мухи!..

Поскрипывают колеса, качается телега; слышно шлепанье кнута, и кто-то приговаривает:

– Но-о, милая!.. Долго...

.....

Как птица, открывает барин удивленные глаза и тревожно-испуганно говорит:

– Что это?.. Что это?..

В темноте рассыпаны, как булавоочные уколы, огни.

– Вокзал.

На коленях плескается лужа, ноги онемели.

«Откуда же лужа? Ведь я вылил ее? И отчего я не под полстью?.. Ведь мы стояли?.. Спросить разве: просечена клеенка?.. Э, да все равно...»

Колеса стучат по переезду. Вокзал освещен.

щен.

Холодная равнина*

Лежала неподвижно холодная снежная степь, и стояла над ней одинокая луна и робкие при луне, дрожащие звездочки. Чистое, без пятнышка, чуть голубоватое небо, казалось, снежно искрилось.

С той высоты, откуда холодно глядела луна, такая спокойная, открывалась вся безбрежная зимняя равнина, смутная и безгранично теряющаяся.

Мириадами голубоватых искорок играла она, мириадами переливающихся искорок первозданного холода. И не было на ней живого пятна, нигде не светился огонек человеческого жилища, не подымался незримым движением белый теплый дым, не скрипел снег под ногами.

Но откуда-то шла тонко-незримая волна потерявшейся среди первозданной ночи теплоты. Точно безгранично малый комочек незримо теплился, затерянный на необозримой морозно-играющей равнине.

И от этой неведомой, неуловимой теплоты

поколебались звезды и расплылась луна. А равнина стянулась небольшим снежным просторством, и зажглись окна человеческого жилища.

Это был просторный, вроде помещичьего, дом, сквозил по окнам тюль, ходили по освещенным комнатам люди.

И он подошел к ней, склонившейся обвитой черною косою головкой над освещенной из-под абажура книгой.

– Нравится?

– Знаешь, милый, произведение то достойно, если в нем есть закон жизни... то есть... ну, например... Видишь, если человек один и отдает себя другому, то это закон...

Он наклонил голову. Он понимал. Он понимал не эти не совсем складные слова, а понимал то, что всегда было: спокойствие, ровность, что оба они любят друг друга и что в соседней комнате, на кровати, разметался их крошка.

Это случилось так, как всегда случается: юноша и девушка встретились, полюбили друг друга, и теперь – семья. Каждый день уходил такой спокойный, наполненный, удо-

влетворенный.

Мальчик рос. Друзья, родные, окружающие люди несли им те человеческие отношения, которыми только и полна жизнь, которые только и дают ей смысл. А книги, а искусство, а мысль, как цветы, как благоухающие цветы, красивыми пятнами проступали по ней.

И они никогда себя не спрашивали, чего бы они хотели, потому что наполнен был их день.

Однажды не было мороза, не было спокойной, мертвой луны, а стоял летний день, жаркий летний день. Не шевелились сквозные узорчатые пятна по песку дорожек, потому что не шевелилась в дремотном зное листва. От крыльца, от дома лежала по земле короткая, обрезанная жаркая летняя тень.

А на крыльце шумел послеобеденный самовар, звенела посуда; в белой сквозящей кофточке, с головкой, обвитой черной косой, сидела жена, шуршал газетами он, и, зыбко становясь столбиком на голенькие ножки, с подоткнутой рубашонкой, с удивлением смотрел крохотный, пухленький и беленький

человечек на самовар, на посуду, на мать, на отца, на мгновенно влетающих под потолок черных ласточек, на жужжащую в паутине муху и говорил, заложив розовенький пальчик в полуоткрытый ротик: «Тце-тце...»

И все улыбались и кивали головами в знак того, что это полно особенного смысла, а дебая с перетянутой грудью няня смотрела важно и торжественно, как королева в своих владениях.

И закурилось далеко на дороге, переваливавшей через гребень. Смутно закурилось, и не разберешь – стадо ли идет, едет ли кто, или степной ветер закрутил и поднял придорожную солому и пыль.

Все посмотрели и отвели глаза, и стоял зной, который говорил, что жизнь медленна и хороша в своей медленности.

– Тце-тце...

А облачко пыли катится все ближе и ближе. Уже различишь колеблющуюся дугу, мерно потряхивающую в дуге лошадиную голову и в сером бегущем облаке – небольшой тарантас и смутно проступающая голова кучера и седока, которые временами совсем тонут, и

ничего не разберешь.

– Кто-то едет.

– Должно быть, со станции.

– В деревню.

– В деревню они давно бы уж свернули.

– Посмотри, да ведь к нам!.. На плотину сворачивают.

И через минуту смех, крики, суета. Из тарантасика слезает в сером от пыли парусиновом балахоне девушка. У нее серые смеющиеся глаза, серые волосы – нет, каштановые, это пыль надела.

– Ле-оля!.. Ты!.. Вот не ждали-то... – И черноволосая, обвив руками, страстно целует сестру.

Та тоже не оторвется и смеется, и слезы звенят.

– Господи, я уж думала, не увижу вас... Маруся, дорогая моя, отчего ты так редко писала?.. У нас лошадь дорогой распряглась, я чуть не побежала пешком... А если бы знали, сколько сусликов в степи...

Она крепко целует зятя и вбегает по ступенькам.

– Боже мой, да это Юрик!.. Да неужели он?..

Да неужели же такой большой?.. А ножки-то, ножки, голенькие... Миленький ты мой... славненький ты мой... ненаглядный...

А он так же важно, сосредоточенно и вдумчиво, держа палец во рту и делая круглые глаза:

– Тце-тце...

Та так и раскатилась заразительно и подмывающе:

– Да он говорит... Да он говорит, моя крошка!.. Да вы слышите?.. Слышите, господа?.. Няня, милая, слышали?

– Тце-тце...

Она схватывает его, тормошит, танцует с ним, покрывает его тепленькое тельце звонкими поцелуями.

Девственная радость и напряжение не испытанного еще материнства брызжут в ее искрящемся смехе, искрящихся глазах и разгоревшемся лице.

– Ну, повтори, повтори, мой милый, моя прелесть... повтори... скажи: «Те-ття!»

– Ты его затормошишь, Леля.

– Да сядь ты, пожалуйста. Пей чай и расскажи нам про столицы.

– Ну нет, надо сначала умыться и снять с себя пуды пыли. Посмотри, волосы какие-то серые. А у вас хорошо тут. Ужасно люблю этот неподвижный послеобеденный зной. Ну, бегу. Я у тебя, Маруся.

– Там все есть.

Слышно – из спальни доносится шум воды, плесканье, плещется как утка. Потом все трое сидят за самоваром, и она со своими влажными приглаженными волосами и с свежим, зарумянившимся лицом рассказывает о шумной столичной жизни, о литературных, политических новостях, в промежутках схватывая и целуя «Тце-тце».

– Я желаю эти два месяца отдыхать, ничего, ничего не делать, не читать...

– Не мыслить, не чувствовать, не быть, – подхватывает Николай Иванович, прихлебывая чай.

– Варенье будем с тобой варить, – говорит Маруся.

– Купаться, а главное, с «Тце-тце» гулять, бегать. Ну, отчего ты, как желе, весь трясешься? Побегать с тобой нельзя? Кто у вас бывает из соседей?

– Да вот Петр Иванович наезжает. А у Колосовых два студента. Вот тебе и весело будет.

– Ну, ни за что. Я от всего питерского хочу освободиться. Студенческую тужурку видеть не могу... Впрочем, пожалуй... Познакомиться... только познакомиться... А вы, Николай Иванович, точно выросли, больше стали... А загорел-то!..

– Походила бы ты так по жнивью в жару. Это тебе не Питер, не Невский.

...Жизнь потекла, как прежде. Тот же долгий летний день, те же желанные вечерние тени, те же чудесные звенящие ночи, то переполненные звездами, смутные и таинственные, то бесконечно посеребренные, – и тогда никто не хотел ложиться спать, и гуляли по степи, и за ними неотступно ходили лунные тени, или часами сидели на плотине и слушали, как звенят серебряно падающие капли и тихонько моет вода под неподвижно стоящими, черно-дремлющими колесами.

И казалось, так и надо было, чтобы приехала тройка и чтоб жизнь шла так же, как прежде, ничем не нарушаясь.

Раз набежала тучка, и посыпался дождь на

жадную землю. Тогда зажгли лампу, все усе-
лись за большим освещенным столом на тер-
расе, и с двух сторон черной непроглядной те-
нью стояла ночь, и в ней слышался невиди-
мый дождь.

Читали только что полученную книжку
журнала. Николай Иванович читал, покачи-
вая заложенной на ногу ногой и прикуривая
от времени до времени тухнущую папиросу.

«Когда на море стала ночь, во мраке где-то
бесконечно далеко загорелся тонкий зелено-
ватый огонек. Люди перегнулись через борт и
измученными глазами глядели не отрываясь,
одного бесконечно страшась, что он потух-
нет... Как густое черное масло, подымала и
опускала их во тьме волна...»

Он поднял глаза: два глаза, два серых глаза
пристально, не мигая, глядели на него. Он на
секунду опустил глаза на освещенную книгу,
поднял, опять опустил и стал спокойно чи-
тать.

«Так вот что!..»

Барабанил дождь. Спокойно, не наруша-
ясь, продолжалось чтение.

С тех пор началось... В сущности ничего не

произошло, ничего не изменилось. Так же начинался каждый день, так же стояло безоблачное небо, так же в горячей степи шли работы. Так же собирались за вечерним чаем, и за столом белели сквозящие кофточки, и одну голову облежала черная коса, а другую обрамляли каштановые волосы. Перебрасывались шуткой, смехом, играли с «Тце-тце», таким же серьезным и сосредоточенным и дрожащим на толстеньких ножках, как желе.

– На будущий год попробую искусственное бактериальное удобрение, уже списался с представителями в Германии. Леля, отчего ты не берешь иноходца? Ведь ты же так хотела ездить верхом. Я приказал Семену всегда держать наготове для тебя.

– Не хочется. Вот вы носитесь со всякими вашими удобрениями. Скучно. Люди должны научиться искусственно готовить пищу на фабриках, как готовят на фабриках платье, а поля, леса, луга оставить для красоты, для поэзии, для зверей, птиц – для людей, чтобы они с природой...

– Живет в Петербурге, в самом прозаическом каменном городе, а сама мечтательни-

ца.

Голос Маруси спокоен, ровен, как ровны спокойные, красивые, черно обрамленные карие глаза. И в этих приспущенных ресницах – медлительное и чуть ленивое, и полудетски обрисован подбородок.

– Везде кругом высокая, высокая трава, по оврагам, по балкам дремучий лес, звенят ручьи... Николай Иванович, вы в нынешнем году будете в Петербурге?

– Нет, мы эту зиму месяца на два в Киев. Маруся, вели подать масла.

Со степи неслась песня. Девки ворочались с работ и голосили, но расстояние, но молчаливо лежащая степь смягчали, и сюда доплывала мягко и грустно девичья печаль и тоска.

«Так вот что...»

Куда бы ни оборачивался, что бы ни делал, с кем бы ни говорил, два серых глаза немеркнущим представлением стояли перед ним.

Он утомлял себя, безумно много ходил по степи в жару, в палящий зной, но так же внимательно, не отрываясь, не потупляя взора, стояли два серые глаза.

И он стал защищаться.

«Но ведь я люблю Марусю. Она – чудесный человек».

Тогда молча, не приводя никаких доводов, проступали серые глаза. И то, что проступали без усилий и никаких не нужно было им доводов, было страшно.

Тогда он опять защищался. «Я люблю Марусю. У нее чудесная душа и полудетский подбородок. И что-то еще детское в ее лице, движениях. Бесконечно дорога ее милая, как вороновым крылом, повитая головка...»

«Ну, так что ж!..» «Но ведь они – погодки. В сущности Маруся почти девушка и по душевным своим движениям, и по внешнему своему облику».

Он ловил себя на этих мыслях и со страхом, ужасом и отчаянием мял их и давил себя работой и внешним напряжением.

Но несмотря ни на что, несмотря на то, что жизнь текла все в том же мирном и покойном, раз определившемся, ничем не нарушаемом порядке, подавляемые мысли воровски, неуловимо-извилисто, точно смеясь, втихомолку выползали и понемногу овладевали им.

Маруся для него была единственна. Весь мир распадался на нее и на всех остальных. А теперь рядом с ней неуклонно, спокойно и неустрашимо всегда появлялась другая фигура, чуть ниже ростом... каштановые волосы... серые, спокойные, внимательные глаза, и в них затаенность: не то искорки дрожащего смеха, не то непотухающей печали.

А раз она сказала:

– Боже мой, как время безумно летит, – скоро надо уезжать.

Он посмотрел на далекий изволок, по пыльному гребню которого, как игрушечные, длинной вереницей тянулись арбы, доверху нагруженные хлебом, на ток, где без усталости гудела паровая молотилка. И проговорил:

– Да, время уносится, и ни одной секунды не вернешь.

С этих пор он стал угрюм и молчалив. Точно все свое внешнее внимание он отдал всему, что совершалось кругом, но замкнулся и вечно прислушивался к тихой мелодичной печали, порою тоске, что, никогда не затихая, звучала в сердце, звучала небольшою фигуркой... каштановые волосы... серые глаза...

Вот пришел и последний день. У крыльца запряженные лошади. Последние поцелуи, блеснувшие слезинкой глаза, просьбы, наставления, последнее прости. Она схватила «Тце-тце», окрепшего за лето, уже не шатавшегося, как желе, покрыла безумными поцелуями, а он схватил ее ручонками, и облюнявил ее лицо, и проговорил: «Те-ття!..»

Порывисто обняла сестру, крепко, как брата, как родного, поцеловала Николая Ивановича и торопливо взобралась в экипаж. Лошади тронулись.

Все было, как всегда бывает при отъезде. Но в последний момент, в самый последний, она обернулась, и на секунду на нем остановились серые глаза... Что это? Не безграничная ли печаль в них?.. Не слезой ли тоски и отчаяния блеснули?..

Но уже далеко за экипажем катится клуб пыли... Все меньше и меньше... Покрутился на верхушке гребня и... пропал.

Пустая степь.

«Ага, так вот что!..»

Далекий звук лопнувшей струны, никогда, никогда не умирающий...

Все проходило законной чередой – пришла осень с черными дождями, пришла зима, и побелела степь, потом все растаяло, приходили и уходили заботы, огорчения, радости, пришли в мир новые дети, – но все тот же звучал отзвук, тихий и умирающий: «Никогда!», но все звучащий через всю жизнь.

И среди ночи, когда и дом, и сад, и степь спали в молчании, вдруг отчетливо и ясно глядели грустные, спокойные глаза, и острая тоска впивалась в сердце; он садился на постели и начинал бороться, ибо хотел жизни, а не тоски, и воспоминаний, и печали.

«Но если бы *она* была моей женой, а пришла бы Маруся-девушка, тогда что же? Повторилось бы наоборот? И Маруся имела бы какую-то особенную цену? Видишь, как это все нелепо, надуманно, искусственно. Нужно выбросить из головы и жить здоровой и нормальной жизнью, какой раньше жил...»

И это было так убедительно, просто, ясно и логически неотразимо, что он совершенно успокаивался.

Но, дав ему маленький промежуток, без всякого вызова и повода, отчетливо, до осяза-

тельности, вставала маленькая фигурка, личико, обрамленное каштановыми волосами, и смотрели ясные серые глаза. «Вот я!»

И это опрокидывало все его доводы, все логические построения. Ясные серые глаза, внимательно на него глядящие... А что, если любящие?!

Он одевался, бросался из дому и бродил по степи, покрытой молчаливой темнотой, пока бледно и безнадежно не начиналось утро.

Благоуханный белый цветок, унесенный вихрем годов. Тонкий, тихо-печальный музыкальный напев, незримо звучащий в сердце.

Уж виски у него белели. Уже морщины легли на чело его жены. Уже скоро...

.....

Неподвижно лежит холодная снежная равнина, и стоит над ней одинокая мертвая луна и робко дрожащие звезды. Чистое, без пятнышка, небо холодно искрится.

С той высоты, откуда глядит луна, такая спокойная, мертвая и белая, открывается вся снежная безбрежность, смутно и безгранично теряющаяся.

И нет живого пятна, нигде не светится ого-

нек человеческого жилища, не подымается
незримым движением белый теплый дым, не
скрипит снег под ногами.

Комментарии

В третий том вошли произведения Серафимовича 1906–1910 гг.

Это были годы, трудные для русской литературы. Революция шла на убыль. Царское правительство жестоко расправлялось с рабочими и крестьянами – участниками революционных событий. Кратковременные «свободы» были ликвидированы. В писательской среде царила растерянность. Иные литераторы, подхваченные в 1905 г. революционной волной, трусливо отошли в сторону и замкнулись в свою раковину, иные пытались в искусстве найти «ключи тайн», открывающие непознаваемое в человеке и обществе, иные злобно клеветали на революцию.

Серафимович не был в революции случайным спутником, ни тем более равнодушным наблюдателем. Революция пришла к нему, выстрадавшая всей его трудной жизнью, в грядущую победу революции продолжал он верить несмотря ни на что. Герои рассказов Серафимовича – рабочие, крестьяне, интеллигенты – несут частицы этой веры.

Где-то у обрыва на пустынном берегу реки скрещиваются жизненные судьбы рабочего-наборщика, бежавшего из города после разгрома восстания, старика крестьянина – сторожа при барже, и матерого «бородача» казака (рассказ «У обрыва»). Полны глубокого смысла и веры в народ, который «распрямляется, как притоптанная трава», речи старика. Богатырски «распрямляется» и сам старик: он вырывает из рук карателей наборщика и заставляет казака пережить ужас неминуемой смерти – справедливого возмездия за кровь революции.

До краев переполнен кипящей ненавистью к угнетателям рыбак-перевозчик Афиногеныч («Зарева») – неукротимый бунтарь, которого не сломила ни тюрьма, ни Сибирь. Увлекая за собой в могилу пятерых карателей, гибнет Афиногеныч, но уже дают всходы семена дерзкого, пока еще стихийного протеста, которые заронил он в души крестьянских парней. Полыхает монастырская экономия, и не одно еще зарево осветит темные воды реки, где нашел свою могилу старый перевозчик.

В некоторых рассказах Серафимович, не выдвигая на первый план идею протеста, как бы подводит к ней читателя самой логикой изображаемых событий. Человеческая драма, развертывающаяся на старой мельнице («Пески»), самоубийство матери, бросившейся под колеса поезда, чтобы ее единственная дочь получила премию по страховому полису («Дочь»), безрадостный закат жестокой жизни выбившегося в люди Никиты Сидоровича («Качающийся фонарь») – все это непреложный и неумолимый результат ядовитого и тлетворного влияния на членов общества института частной собственности.

Красной нитью через ряд рассказов («Стена», «У холодного моря», «Любовь») проходит тема осуждения слабых душой, уставших от революции и сложивших оружие. За годы своей долгой жизни Серафимович не раз сталкивался со старыми товарищами, в пору юности горевшими революционным огнем, а затем превратившимися в обывателей. Грустной истории двух таких людей посвящен рассказ «Любовь». За судьбой его героев скрываются подлинные судьбы двух реально суще-

ствовавших революционеров-народников (см. примечания, стр. 666–668).

В годы реакции в России резко усиливается цензурный гнет. За различные «нарушения» редакторы и издатели периодической печати привлекаются к суду. Поводом для одного из судебных дел послужил, в частности, рассказ Серафимовича «У обрыва» (см. примечания, стр. 651).

В этих условиях Серафимовичу становится все труднее и труднее «пристраивать» свои произведения, хотя имя писателя было широко известно всей читающей России. Многие прогрессивные издания, с которыми он был связан («Журнал для всех», «Народная весть»), закрываются, другие печатают «с оглядкой». Серафимович вынужден о многом говорить завуалированно, зачастую скрывая острую мысль под формой любопытного, но по сути дела далеко не смешного «анекдота».

Происшествие с обыкновенным котом, из-за которого подрались команды двух броненосцев («Морской кот»), дало возможность Серафимовичу на страницах аполитичных и развлекательных «Биржевых ведомостей» за-

душевно рассказать о тоске матроса, оторванного нелюбимой службой от дорогого сердцу «ридного края», и зло поиздеваться над характерной для бюрократической царской России перепиской о присвоении «казенного имущества, которое есть домашнее животное, или обыкновенный кот».

Еще острее иронический обличительный подтекст в рассказе «Счастливец», напечатанном в либеральных «Русских ведомостях». Незаметный, подобострастный Сквориков, облачившись в полицейский мундир, чувствует себя центром вселенной и снова превращается в ничто, когда ему приказывают мундир снять. В небольшом рассказе, построенном на «анекдоте», тема полицейского мундира приобретает символическое звучание.

В рассказе «Ночной дождь», напечатанном буржуазной газетой «Речь», Серафимович зло высмеивает фальшивый «демократизм» (кстати, присущий самой газете) либеральствующего господина, жалеющего мужичка до той поры, пока барское обоняние не тревожит запах мокрой овчины и мужичьего тела.

В эти годы резко обостряется идейная борьба вокруг творчества Серафимовича. Реакционная критика не жалеет бранных слов по адресу «тенденциозного» писателя. Так журнал символистов «Весы», после спада революции занявший воинствующую антидемократическую позицию, откликнулся на вышедший в издательстве «Знание» третий том Собрания сочинений Серафимовича злобной и развязной статьей.

«„Сволочь“ – любимое выражение г. Серафимовича, благодаря частому повторению ставшее характерной особенностью его стиля, – этим энергичным прозвищем г. Серафимович заклеил почти весь род человеческий. Исключение он допускает лишь для студентов, курсисток и мастеровых... Монахи у г. Серафимовича – все развратники, военные – все дураки, помещики и купцы – все плантаторы и буржуи» («Весы», 1909, № 2).

Не находил подлинной поддержки Серафимович и у критики либерально-доброжелательной. Рецензент журнала «Образование» (1907, № 4) П. Дмитриев, подробно и добросовестно пересказав содержание рассказа «У об-

рыва», сожалеет в заключение, что «художник не решился нарушить колорит своей картины иным возможным исходом людских столкновений; но жизнь упорно подсказывает другой конец драмы, и мысль не верит картине художника, написанной в тоне густой, прозрачно-синей дали, спокойно сливающейся с близкими тенями ночи».

Серафимович не боялся «нарушить колорит своей картины». Никогда не боялся писатель говорить своему читателю правду о самом страшном и жестоком. Но в драме, разыгравшейся на обрывистом берегу ночной реки, писатель увидел то, что не дано было видеть его критику, – увидел свет будущего. «Светает» – так назван автором рассказ «У обрыва» в одном из последующих изданий («Свобода и культура», 1917).

Не был понят критикой и один из сильнейших рассказов Серафимовича – «Пески», высоко оцененный Л. Н. Толстым (см. примечания, стр. 656–657).

В литературном обозрении «Вестника Европы» (1908, No I) рассказ критиковался за «нудный, однообразный тон», отмечалось,

впрочем, что в нем «чувствуется не литературный шаблон, а подлинная жизнь». М. Неведомский в журнале «Современный мир» (1908, № 2) увидел в рассказе тяготение писателя к страшным картинам и поставил «Пески» в один ряд с «Творимой легендой» Ф. Соллогуба.

Современная либеральная критика не почувствовала в рассказе главного, его существа – страстного протеста писателя против господства частной собственности в капиталистическом обществе, уродующей человеческие отношения, превращающей людей в зверей.

Размышляя о событиях и героях повести «У холодного моря», Серафимович сделал две характерные записи:

«Когда я думал о партийной работе, было как-то совестно, что я попал сюда за безделицу, ореол „политическа“ воровски присвоил, украл».

И вторая: «Что же толкало на работу партийную? тысячи причин, из которых каждая была ничтожна и которые в совокупности со-

здавали неотвратимую атмосферу, неизбежно меня заражавшую» (ЦГАЛИ, ф. № 457, ед. хр. № 4, бумажная папка с надписью рукою писателя: «„У холодного моря“, дальнейший материал»).

Из пухлого дела департамента полиции за № 533 «О сыне есаула Александре Серафимове Попове» мы узнаем, что арестован Серафимович был далеко не за безделицу, знаем, что и в последующие годы немало хлопот причинил он царской полиции. Но рядом с Серафимовичем в ссылке был Петр Моисеенко – рабочий-ткач, человек подлинно героической жизни, и собственная лепта в дело революции казалась писателю «безделицей».

Очень вероятно, что именно встреча с Моисеенко на литературном вечере в Ростове-на-Дону в мае 1908 года дала толчок к созданию повести «У холодного моря», опубликованной ровно год спустя. «Как мы обрадовались друг другу!» – пишет Серафимович жене, рассказывая о взволновавшей обоих друзей встрече.

Участие Серафимовича в литературном вечере в Ростове было одним из эпизодов по-

ездок писателя по городам юга России в 1908–1909 гг. с чтением своих рассказов и лекцией «Литература и литераторы». Поездки были вызваны двумя причинами. Об одной Серафимович говорит в письме к жене от 27 апреля 1908 г.: «Устал я страшно и больше писать не могу: это и заставило меня предпринять поездку». Но в письмах к своему товарищу, писателю И. Белоусову, Серафимович не однажды возвращается к другой и несомненно главной причине, побудившей его предпринять ряд публичных выступлений. Сообщая Белоусову программу своей лекции, Серафимович пишет: «Должен прибавить – к декадентам беспощаден. Но ведь не дело кружка распускать им фирмам. Здесь по крайней мере публика слушала меня с захватывающим интересом». Серафимович просит Белоусова организовать чтение его лекции в Москве в Литературно-художественном кружке. С этой же просьбой он обращается к Н. Д. Телешову.

«В Ростове читал; мне даже разрешили прения, – спустя полтора месяца сообщает он Белоусову. – Но все, кто говорил, соглашались со мной и жестоко ругали декадентов.

Жалко, что в Москве не придется читать, – наклал бы им, чертям».

Серафимовичу не удалось прочитать свою лекцию в московском Литературно-художественном кружке: идея эта не встретила поддержки ни у руководителей кружка, ни у товарищей Серафимовича по литературному объединению «Среда».

Большинство членов кружка неодобительно относились к декадентским тенденциям в современной литературе, но единой эстетической программы у «Среды» выработано не было. «Постепенно нарастающая волна модернизма заставила, однако, кружок так или иначе реагировать на это течение и посчитаться с ним, игнорировать его, как это делалось раньше, стало уже невозможным, – говорил в юбилейном докладе, посвященном десятилетию „Среды“, ее постоянный председатель, писатель Юлий Бунин. – Однако было бы ошибочно думать, что кружок вступил на путь систематической критики модернизма...» (ЦГАЛИ, ф. № 1292, оп. № 2, ед. хр. № 2).

Серафимович не мог согласиться с лояльным примиренческим отношением к эстети-

ке «нового искусства». Он «вступил на путь систематической критики модернизма» и, не встретив поддержки у организаторов «Среды», продолжал идти по этому пути самостоятельно.

Публичные выступления Серафимовича в эпоху реакции на литературные темы дополняют еще одним важным штрихом облик писателя-реалиста, в годы тяжелых испытаний для русского общества сохранившего неугасимую веру в торжество идей революции.

Стена*

Впервые напечатано в журнале «Современный мир», 1907, № 1, стр. 108–124, под названием «Живая тюрьма».

В письме к жене от 13 декабря 1906 г. Серафимович сообщает: «Неделю назад сдал рассказ „Живая тюрьма“ (переделал рассказ под названием „На Севере“). Рассказ под таким названием нам неизвестен, возможно он был напечатан в какой-нибудь газете, скорее же речь идет о переработке писателем своего чернового наброска. Обстановка тюрьмы и ссылки, изображенная в рассказе, воспроиз-

водит пережитое писателем в 1887–1890 гг.; в тексте встречаются прямые автобиографические куски («Лет семь мне, должно быть, было, с покойным отцом поехали в Ново-Александровскую станицу... Далеко за Медведицей синели прибрежные меловые горы...»). Последняя, шестая глава, действие которой разворачивается после манифеста 17 октября 1905 г. в приморском южном городе, дописана, очевидно, при переделке рассказа.

Центральное место шестой главы – речь Варукова на митинге. Автор, который на всем протяжении рассказа относится весьма критически к своему герою – человеку слова, а не дела, – вкладывает в его уста фразы революционного содержания. Речь Варукова вызвала возражения цензуры и подверглась резкому сокращению.

В примечаниях к Собранию сочинений (1947, т. III, стр. 405) Г. Нерадов пишет: «Автор, вечно переезжая с места на место, не мог сохранить первоначальных копий и цензурных выбросок не помнит. В конце рассказа, после фразы: „...с голодудохнем, мы, дети наши... и нету этому конца и краю нету!“ – автор при-

писал следующую концовку» (см. текст, стр. 47).

При разборе архива писателя в 1949 г. была обнаружена рукопись чернового варианта рассказа «Живая тюрьма» (ЦГАЛИ, ф. № 457, ед. хр. № 51). Приводим текст конца рассказа по черновой рукописи:

«— Я, братцы, десять лет в Сибири провел... в лесу среда зверей, без человеческого слова. Молодость, лучшая часть жизни, молчаливо погребена там, под холодными снегами.

Он помолчал, и у всех на минуту заслонилось синее море, ласковое солнце, сизые горы и печально-нежные кипарисы. И промелькнула в тумане неясно суровая, незнаемая, далекая страна, молчаливая и страшная своим напоминанием о том, что навсегда оторвано от жизни.

И что-то дрогнуло и побежало по толпе, то легкое содрогание, которое пробегает по лицу безнадежно больного, когда ему открывают рану.

— Десять лет!.. А вы? вы всю жизнь вашу, страшную жизнь, погребли у себя на родине, среди родных полей, среди родной пашни,

среди родных лесов, среди детей, среди могил отцов. И отцы отцов ваших так же молчаливо и темно влекли свою яремную жизнь, как теперь лежат в молчаливых и сырых могилках. И не у кого вам спросить, не у кого потребовать: отчего у вас не было иной жизни? Явятся другие люди, смелые и вольные – они уже среди вас, – и потребуют, и исторгнут этот ответ, и создадут иную жизнь, но вы... вы сойдете в могилу так же темно и слепо, как пришли.

Из угла губ тянулась тонкая красная ниточка, побежала и запеклась на отвороте пиджака. Он пошатнулся, и товарищи подхватили и, бережно опуская, приняли его на свои руки. И он улыбался им ясной последней улыбкой, улыбался синему небу, печальным кипарисам, сизой дымкой подернутым горам и этому... (последнее слово не разобрано)».

Как видим, в черновике нет прямого призыва Варукова к толпе, но мысль о торжестве новой жизни, которую создадут «люди смелые и вольные», выражена очень отчетливо.

Настоящая жизнь*

Впервые напечатано в журнале «Русская мысль», 1907, кн. 1, стр. 83-101.

«Я наблюдал много таких, особенно среди молодежи. Они чувствовали, что есть другая, „настоящая жизнь“, не такая скучная, серая, однообразная и томительная... Краешком уха в пивной, на гулянии они ловили иногда споры студентов на темы политические, общественные, о Марксе. Все это было занимательно, хотя они в существе спора не разбирались, а только понимали, – вернее, угадывали чутьем, – что тут интересы более глубокие и важные, чем те, которые царят в их маленькой, серой, забитой жизни» (А. Серафимович, Высказывания автора, Собр. соч., 1947, т. III, стр. 396–397)[7].

Вы-ыль-ээм мы-ы-ы // За то-оого-оо. – Студенты пели студенческую песню «Проведемте, друзья». Следующие неприведенные строки предлагают тост за Чернышевского:

*Кто «Что делать?» писал.
За идеи его, за его идеал.*

Оцененная голова*

Впервые напечатано в сборнике «Знание» за 1907 г., кн. 15, стр. 123–141, под заглавием «Он пришел».

Рассказ предназначался для журнала «Современный мир», но не был там опубликован. «Помню, с рассказом „Оцененная голова“ вышла такая история, – сообщает Серафимович. – В редакции журнала „Современный мир“, куда я хотел дать этот рассказ, Иорданская устроила читку. Собралось человек сто разношерстной публики. Преимущественно писатели и критики и разные ценители и любители литературы, – в общем, публика божественная – приклеилась к упадочной литературе, как мухи к сахару. Как кончил я читать, начали меня крыть, без зазрения совести, чудовищно крыли. Я прямо опешил, так накинулись. Критик такой был тогда, Петр Пильский – он меня пушил на все корки. „Вы, – все более повышал он голос, хватаясь за золотое пенсне, – давайте нам художественное произведение, а не тенденциозные вещи. Это никуда не годится“. Другие тоже рвали и метали как кто мог, – там адвокатишки какие-то с большими крахмальными вырезами. Совер-

шенно ошарашили. Куприн и Иорданская дипломатически молчали... Вскоре Горький в „Знании“ напечатал...» (т. III, стр. 389–390).

Печатный текст рассказа несколько отличается от сохранившейся рукописи (ЦГАЛИ, ф. № 457, ед. хр. № 52). В описании подпольщиков, приходивших по делам к Богуну, снята характерная для ряда предреволюционных произведений Серафимовича тема незаметной и трагической жертвы одиночек во имя будущего, которого им не суждено дожидаться. Строже и лаконичнее сделан финал. В рукописи он читается так:

«У кровати на коленях, уронив голову на руки, рыдала женщина. Возле стоял чернобородый мужчина и не отрываясь глядел на разметавшегося ребенка с огненно-пылающим личиком, с пересохшими полуоткрытыми губками и с выглядывающими из-за них плотно стиснутыми, подернутыми слизью зубами.

Горячими блестящими глазками девочка не узнавала своего папу, которого так долго ждала, не слышала его дрожавшего от волнения голоса.

И с удивлением видели люди, облепившие окно, с удивлением видели, как по железному лицу человека, брать которого собралось более сотни народу, медленно сползла одинокая слеза. С треском сорвались с петель двери...» (и далее без изменений по известной нам редакции). В последующих изданиях перепечатывался текст сборника «Знание».

Мертвые на улицах*

Впервые напечатано в журнале «Вестник жизни», 1907, № 3, стр. 1–8.

«Некоторые описанные здесь сцены относятся к моменту, когда семеновцы во главе с полковником Мином уже расправлялись со сдавшимися, безоружными рабочими Пресни... Я долгими часами ходил по улицам Москвы. Много видел и из своего наблюдательного пункта – из своей квартиры в Волковом переулке. На территорию Пресни нагнали тучу городских, жандармов, шпионов и черносотенцев, которые без суда и следствия жестоко расправлялись с рабочими: стегали плетьюми, избивали зверски, закалывали и расстреливали. Трупы вагонами вывозились

за город. Пока их подбирали ломовые и развозили по полицейским участкам, они часами лежали на улице, оставляя следы крови на снегу. Около трупов толпился народ, молча всматривались в застывшие черты борцов. В толпу вмешивался и я... Фигура старика не выдумана. Был такой старик маляр. После подавления восстания на Пресне приходит старик в наш дом, молча приступил к ремонту, злой и расстроенный. Оказалось, у старика единственного сына убили на Пресне. А отец хоть бы слезу проронил. Тверд и сух, как камень. Только огоньки в глазах бегают, злые, блестящие, и говорит он убежденно:

– Ладно, подождем... Еще будет дело... Поговорим... Отольется...» (т. III, стр. 386–387).

В редакции*

Впервые напечатано в журнале «Пробуждение», 1907, № 27, стр. 411–415. В Собрание сочинений включается впервые.

«В редакции» – одна из многочисленных зарисовок к не завершенной писателем большой повести «Около газеты». Печатается по журнальному тексту.

Пески*

Впервые напечатано в «Литературно-художественном альманахе» издательства «Шиповник», СПб. 1908, кн. 3, стр. 141–177.

Судя по письмам Серафимовича, он предполагал напечатать «Пески» в издательстве «Знание» («Сегодня отсылаю „Пески“, не знаю, возьмет ли „Знание“», – пишет он жене 27 августа 1907 г. из Пятигорска).

Рассказ произвел сильное впечатление на Л. Н. Толстого. «Мне попался рассказ Серафимовича „Пески“... Это такая прелесть! Это мне Чехова напоминает... Настоящий художник!» (Воспоминания доктора Маковицкого, рукопись. Музей Л. Толстого). На полях одной из страниц рассказа в издании «Шиповника» Толстой, который любил оценивать литературные произведения по пятибальной системе и не скупился на двойки, поставил пять с плюсом (см. Н. Н. Гусев, Летопись жизни и творчества Толстого, изд. «Academia», Л. 1936, стр. 708).

Лесная жизнь*

Впервые напечатано в журнале «Семья и школа», 1908, № 1, стр. 3-10, под заглавием «В лесу».

«Я отобразил в рассказе обстановку своей ссылки, – говорит Серафимович. – Дана природа нашего севера, – окрестности города Пинеги (бывшей Архангельской губернии). Тут много озер с лесистыми островами. Местность очень живописна, тогда она была почти дикая, нехоженная. Хотя ссыльным, под страхом строгой ответственности, не разрешалось охотиться, тем не менее я, бывало, прячу под шубу ружье и отправляюсь на охоту. Иногда уходил на далекое расстояние. Отправлялся обычно не один, а с кем-нибудь из местных крестьян, иногда с мальчиками, которые вполне заменяли взрослых. Они прекрасно ориентировались в лесной обстановке, подчас очень трудной. Приходилось попадать во время охоты в разные затруднительные положения, – мальчики умели быстро находить выход» (т. IV, стр. 471).

Дочь*

Впервые напечатано в сборнике «Земля»,

кн. I, 1908. Серафимович вспоминает, что случай, легший в основу рассказа, был описан в газетах. На газетное сообщение обратил внимание Серафимовича Леонид Андреев.

Писатель хорошо знал описываемую в рассказе среду. «Я до революции долго наблюдал эту категорию мелких служащих, мастериц и пр., служащих буржуазии. Они жили в неослабном напряжении мускулов и нервов, в непрестанной тревоге за завтрашний день: малейший каприз хозяина или его приближенных, и эти мастерицы стремглав вылетали на улицу и оставались без куска хлеба. И все-таки они служили буржуазии верой и правдой, не за страх, а за совесть. Почему? А потому, что каждый из них в тайниках души лелеял мысль самому стать хозяином или хозяйчиком» (т. IV, стр. 471).

Человек в скуфейке*

Первая публикация рассказа не установлена. Рассказ включен в Собр. соч., 1915, т. VIII. О времени написания можно говорить только предположительно; в предыдущих изданиях рассказ относили к 1914 г. Однако есть все ос-

нования предполагать, что он был написан в 1908 г.

В письмах Серафимовича 1908 г. несколько раз встречается упоминание о неизвестном нам рассказе «Чудо».

Двадцать восьмого февраля 1908 г. Серафимович сообщает жене: «В понедельник 3 февраля[8] будет „Среда“ у Белоусова и я буду читать свой рассказ „Чудо“. 8 апреля он пишет из Петербурга Белоусову: „Чудо“ Пятницкий послал Горькому».

Нам известно, что вскоре Горький возвращает Пятницкому какую-то рукопись Серафимовича с письмом (Архив А. М. Горького, т. IV, стр. 243–244). Письмо датировано редакцией: «9 или 22 апреля 1908 г.».

«Возвращаю рассказ Серафимовича. Очень плохо, небрежно и – шипит: все время слышишь „щихся“, „щийся“, „ший“, „щий“. Это – модернизм или размягчение мозга?

Так как рукопись получена мною без письма от автора, прилагаю записку, коя поможет вам, если захотите, отказаться от помещения рассказа в сборнике».

Текст записки следующий: «Сообщите

Александрю Серафимовичу, что его рассказ показался мне очень неудачным, модернизация, видимо, не удастся автору. Он теряет свой язык. На первых страницах сильно садится в уши обилие шипящих и свистящих созвучий. Тема, на мой взгляд, заслуживала бы более серьезного отношения. Полагаю, что этот рассказ не следует печатать в сборниках» (стр. 245).

В IV томе Архива к этому письму дано примечание: «Как видно из письма Серафимовича к Горькому от 17 марта 1908 г., речь идет о драматическом наброске „На мельнице“» (стр. 376).

Такое же примечание дано к т. 29 Собр. соч. А. М. Горького, 1955.

Действительно, существует письмо Серафимовича Горькому, посланное 17 марта 1908 г. из Петербурга, в котором Серафимович предлагает «Знанию» «драматические наброски „На мельнице“». Сохранились также и дошли до нас наброски и полный текст неопубликованной пьесы Серафимовича «На мельнице» (А. С. Серафимович, Сборник неопубликованных произведений и материа-

лов, М. 1958, стр. 99). Но об этой ли пьесе идет речь в письме Горького Пятницкому?

У исследователей творчества Серафимовича это утверждение всегда вызывало сомнения. Почему Горький в письме и записке четырежды назвал пьесу рассказом? Почему Горький критикует автора за обилие шипящих и свистящих, особенно на первых страницах, в то время как в пьесе «На мельнице» их как будто не так уж много? Наконец Горький упоминает, что рукопись от автора получена без письма, тогда как перед нами лежит сопроводительное письмо Серафимовича к драматическому наброску «На мельнице».

Возникло предположение, что Серафимович на основе пьесы «На мельнице» написал рассказ под тем же заглавием, обозначил его как «драматический набросок» и предложил «Знанию». Это предположение, не объясняя недоразумения с письмом, все же было довольно правдоподобно. Но обнаруженный Л. А. Гладковской в журнале «Современная жизнь» за май 1906 г. предшествовавший пьесе рассказ А. Серафимовича «На мельнице» полностью опроверг это предположение. Ис-

ключено и то, что Серафимович послал в «Знание» ранее опубликованный рассказ.

Таким образом, можно считать доказанным, что в письме Горького Пятницкому речь идет не о пьесе (или рассказе) «На мельнице», а о другом произведении. Этим произведением мог быть рассказ «Человек в скуфейке».

В основе «Человека в скуфейке» лежит «чудо», и название это как нельзя более к нему подходит. Значительно позднее, в двадцатых годах, Серафимович использовал это заглавие для маленького рассказа, напечатанного в журнале «Безбожник».

«Описанный случай произошел верстах в тридцати от станицы Аксай, недалеко от города Новочеркаска, – сообщает Серафимович в авторских высказываниях. – Рассказ на эту же тему был написан до революции (см. „Человек в скуфейке“), но из-за цензуры его пришлось тогда смягчить и завуалировать. А после революции я написал проще и яснее и напечатал в „Безбожнике“ (т. VIII, стр. 438).

Коротенький, на две с половиной странички, антирелигиозный рассказ „Чудо“ никак не может считаться переработкой или новой

редакцией „Человека в скуфейке“. Но из приведенных высказываний автора ясно одно: самого Серафимовича не удовлетворяла разработка темы „чуда“ в первом рассказе. Авторская позиция в известной степени совпала с критическим суждением Горького („Тема, на мой взгляд, заслуживала бы более серьезного отношения“).

Следует добавить, что первые страницы рассказа „Человек в скуфейке“ в самом деле грешат обилием шипящих и свистящих.

Очевидно, 17 марта 1908 г. Серафимович действительно послал Горькому пьесу „На мельнице“. Через неделю, 24 марта 1908 г., он пишет жене: „Послал Горькому одну вещь; если примет – у нас дело в шляпе, если не примет – придется мне в ниточку вытянуться“. И еще через четыре дня – 28 марта ей же: „Беда мне, да и только. Горький не отвечает...“ Если сопоставить эти письма с приведенным выше письмом к Белоусову, где десять дней спустя (8 апреля) Серафимович в спокойных тонах сообщает, что „Чудо“ Пятницкий послал Горькому» (Пятницкий, а не сам Серафимович!), станет очевидным, что примерно в од-

но время Горькому были направлены рассказ и пьеса Серафимовича. Дошла ли пьеса до Горького, нам неизвестно.

Колечко*

Впервые напечатано в газете «Русские ведомости», 1908, № 56, 7 марта, и № 59, 11 марта.

«Я почерпнул свою тему, – сообщает Серафимович, – у одной казачки, рассказавшей мне про молодайку, которая уронила на берегу Дона подаренное ей колечко и целых три дня искала его, пересыпая ведрами песок» (т. IV, стр. 471–472).

По следам*

Впервые напечатано в литературно-художественном альманахе «Сполохи», 1908, кн. III, под названием «На улице». По словам Г. Нерадова (А. Серафимович, Собр. соч., 1947, т. IV, стр. 489), автору помнилось, что рассказ был написан раньше, примерно в 1906 г., и перед опубликованием подвергся значительной цензурной правке, восстановить которую не удалось.

Как вешали*

Впервые напечатано в сборнике «Знание», 1908, кн. XXI, стр. 361–368, под заглавием «Как было».

В авторских высказываниях Серафимович сообщает: «Тема, – как по приговорам скороспелых царских судов вешали правых и виноватых, – взята мною из жизни. Эту историю мне подробно рассказал в 1905 году московский врач Голоушев. Он тогда служил полицейским санитарным врачом. Усмирители, подлецы, хотели его заставить, по обязанностям службы, присутствовать на казнях, которые совершались в так называемой „Хамовнической давилке“, устроенной в сарае Хамовнической пожарной команды. Доктор, конечно, немедленно подал в отставку. Ему подробно рассказали, что там по ночам делается, а он мне изложил. Я и написал „Как вешали“» (т. IV, стр. 472–473).

Отрезанный ломоть*

Впервые напечатано в журнале «Современный мир», 1908, № 6 (июнь), стр. 69–83, под

заглавием «Яшка Беспалов». В рукописи рассказ назывался «Слепой круг». Серафимович читал его несколько раз на литературных вечерах во время поездки по югу России в 1908–1909 гг.

Мишка-упырь*

Впервые напечатано в сборнике «Утро» (редактор И. Белоусов), М., 1909, с посвящением: «Толке и Игрушке» (Толка – старший сын Серафимовича Анатолий, Игрушка – младший Игорь). Рассказ писался летом 1908 г. в станице Мелиховской на Дону. «Бегут мимо пароходы, парусные лодки. Я живу в мезонине, гляжу на зеленый луговой простор, на синюю гладь старого Дона и пишу», – сообщает Серафимович Белоусову о работе над этим рассказом.

«За основу я взял, – говорит Серафимович в „Высказываниях автора“, – тогдашнюю Трехгорку. Действие происходит в районе Москвы-реки. „Каменная баба“ действительно сидел тогда в тулупе в проходе и сторожил „хозяйское добро“, как верный пес. Кое-что я прибавил из прежних наблюдений над ни-

цами, беспризорными детьми на юге – в Ростове-на-Дону, Мариуполе и др.» (т. IV, стр. 474).

В винограднике*

Впервые напечатано в журнале «Бодрое слово», 1908, № 3 (ноябрь), стр. 26–39.

Утро*

Автор относит рассказ к 1908–1909 гг. Вошло в Собр. соч. «Книгоиздательства писателей в Москве», 1918, т. X, «Галина».

Ясным утром*

Впервые напечатано в газете «Русские ведомости», 1909, № 100, от 3 мая, и в № 102, от 7 мая, под названием «За правдой», с подзаголовком «Эпизод из повести». В позднейших изданиях менялось название («На зеленом лугу», «Ясным утром»), текст же оставался неизменным.

Ветер*

Впервые напечатано в газете «Русские ведомости», 1909, № 177, от 2 августа, и № 180, от

6 августа.

Работал над рассказом Серафимович в мае – июне того же года. 1 июля он сообщает Белоусову: «Написал два рассказа – „Пимен Копылков“ и „Ветер“».

Сравнительно недолго (декабрь 1896 – январь 1898) жил Серафимович в Мариуполе – крупном по тому времени портовом городе на Азовском море, но впечатления этого года легли в основу многих произведений, в том числе написанных десять лет спустя. «Вся обстановка – море, буря, – это из моих мариупольских впечатлений, когда, вернувшись из ссылки, я стал мариупольским корреспондентом ростовской-на-Дону газеты „Приазовский край“. Нарисовал я тогда целую галерею бесстрашных и выносливых рыбаков, борющихся с морской стихией. Меня поражала сила и отвага этих бесстрашных людей» (т. IV, стр. 480).

Паровоз № 314-Б*

Впервые напечатано в литературном сборнике «Друкарь» под редакцией Н. Д. Телешова, 1910.

Тринадцатого марта 1909 г. Серафимович пишет Н. Д. Телешову: «Рассказ в сборник дам, если только вытанцуется, чтоб не уронить Вашего редакторского достоинства и „Среды“». В последующие месяцы писатель работает над рассказом «Пимен Копылков», который 1 июля и посылает Телешову. По каким-то причинам рассказ для сборника не подошел. 26 июля Серафимович обещает дать в сборник другой рассказ, а 15 сентября посылает «Паровоз № 314-Б».

В архиве Н. Д. Телешова сохранилась рукопись и авторская корректуру рассказа, по которым в настоящем томе восстановлен выброшенный из текста рассказа (несомненно по цензурным Соображениям) абзац от слов: «Под пеплом угрюмого, сосредоточенно-хмурого спокойствия...» – до слов: «Тесно, узко и душно...» (стр. 435).

– «Рассказ – из действительной жизни, – сообщал Серафимович в „Высказываниях автора“. – Тогда еще не было таких трубчатых котлов у паровозов, как сейчас. Нанимали обыкновенно беспризорных мальчиков специально для чистки котлов; те влезали в ко-

тел и – бывали случаи – погибали там. Но не это главное в рассказе. Моя задача была нарисовать, в каких каторжных условиях работали рабочие-железнодорожники, как подневольный и плохо оплачиваемый труд высасывал из них все соки, превращая в выжатый лимон. К сорока годам машинист становится уже полуинвалидом, похожим на старца» (т. IV, стр. 475).

На реке*

Впервые напечатано в газете «Русские ведомости», 1909, № 227, от 4 октября, стр. 4; № 231, от 9 октября, стр. 2, и в № 233, от 11 октября, стр. 2.

Старуха*

Впервые напечатано в «Новом журнале для всех», 1909, № 11, стр. 1-18.

Любовь*

Впервые напечатано в журнале «Бодрое слово», 1909, № 23, декабрь, стр. 1-20.

Сохранилась журнальная верстка (ЦГАЛИ, ф. № 475, ед. хр. № 58) с авторской правкой. Се-

рафимович значительно сократил начало рассказа с характеристикой бредущего в ночи путника («Преступник я большой и важный, хотя руки мои никогда не знали оружия, хотя на совести моей ни убийств, ни грабежей, ни поджогов, ни простой кражи...» и т. д.). Но, очевидно, текст рассказа подвергся и редакционной правке, о которой автор упоминает в письме к А. Кипену от 8 января 1910 г.: «Корректурой изуродовали мой рассказ „Любовь“».

В «Высказываниях автора» Серафимович вспоминает: «Описанная здесь парочка жила на другом берегу Дона, в трех километрах от станции Усть-Медведицкой. Оба они когда-то были активными революционерами-народниками. Он стоял близко к социалистам-революционерам. Жена в свое время тоже отдала дань революции. Будучи дочерью губернатора, бросила родной очаг, навсегда ушла от окружавшей ее с пеленок богатой среды, пожертвовав „благами жизни“. Долго скитались, живя по подложным паспортам. Познакомились, полюбили друг друга. Временно осели на берегу Дона, обрели „тихую при-

стань“» (т. IV, стр. 481).

Серафимович, точно указывая на прототипов своего рассказа, не сообщает обстоятельств, при которых произошла подлинная встреча с ними. Из полицейского «Дела о дочери полковника Клеопатре Бладзевич» нам известно, что в начале 1891 года близ станции Усть-Медведицкой обосновался арендатор водяной мельницы Алексей Георгиевич Знаменский со своей гражданской женой Екатериной Васильевной Колесовой. Ранее они арендовали мельницы в других местах. Через некоторое время полиция стала замечать, что новые арендаторы поддерживают связи с политическими поднадзорными, в частности, с гласным поднадзорным Александром Поповым.

Вследствие этого в ночь с 16 на 17 апреля 1891 года были Произведены два обыска. Обыск на квартире Серафимовича не дал никаких результатов, благополучно приближался к концу и обыск «в надворных постройках квартиры Знаменского, а также на арендуемой им мельнице», как вдруг жандармам попались на глаза несколько старых писем, ад-

ресованных Клеопатре Блавдзевич, революционерке-народнице, четырнадцать лет разыскиваемой департаментом полиции на территории Российской империи.

Стало ясно, что Колесова и Блавдзевич – одно лицо. Арестованную препроводили в Донское областное жандармское управление, откуда под усиленным конвоем отправили в Петербург.

Не вдаваясь в подробности романтически-яркого прошлого Клеопатры Блавдзевич, необходимо упомянуть о ее невероятно дерзкой попытке (в середине 70-х гг.) устроить побег из крепости своего жениха – политического заключенного Ковалика.

Екатерина Павловна из рассказа «Любовь» и внешне и внутренне очень близка к своему жизненному прототипу. Но Серафимович строит личную судьбу своей героини иначе, чем это было в жизни. Клеопатра Блавдзевич сильно и горячо любила Ковалика. Разлученная с ним навсегда, порвавшая с семьей одинокая женщина встречается со Знаменским, выхаживает его от тяжелой болезни и привязывается к этому в общем довольно ординар-

ному человеку. В образе Александра Егоровича Серафимович как бы слил черты двух реально существовавших людей. Молодой Александр Егорович, который «поражал... изумительным хладнокровием. На самое опасное дело шел, тихий, скромный, задумчивый...» – это Ковалик. Пожилой Александр Егорович – «небольшого роста, с желтыми волосами, с постоянной улыбкой – себе на уме» – это Знаменский.

Почему Серафимович изменил и даже, казалось бы, упростил подсказанную жизнью сюжетную схему? Писателя в материале рассказа, названного «Любовь», взволновала во все не история разлученных судьбой влюбленных, а тема измельченного, потерявшего свои яркие краски чувства и осуждение идеала «тихой пристани», который способен привести только к моральной и социальной деградации человека.

Напоминание*

Впервые напечатано в газете «Утро России», 1910, 10 января, № 77–44, стр. 3–4. В Собрание сочинений включается впервые. Пе-

чатается по газетному тексту.

На Белой горе*

Впервые напечатано в журнале «Семья и школа», 1910, январь, № 1, стр. 1-18.

В разные периоды своего творчества Серафимович неоднократно обращается к теме безрадостного голодного детства в капиталистическом обществе. «Таковыми рассказами, как „На белой горе“, – говорил автор, – я старался привлечь внимание читателя к судьбе детей нужды и горя, детей труда и лишений, т. е. детей пролетариата и беднейшего крестьянства. Я стремился показать, как самодержавно-капиталистический строй душил детей бедняков и был позорно равнодушен к их судьбе. Пусть нынешнее поколение видит, как росли и воспитывались его деды и отцы. И пусть почувствуют, какая разительная разница между днем вчерашним и днем сегодняшним!» (т. IV, стр. 482).

Вылечился*

Впервые напечатано в журнале «Юная Россия», 1910, январь, стр. 31–59. В 1899 г. Серафи-

мович поместил в «Донской речи» (№ 195) рассказ под названием «Вылечился» (подписанный псевдонимом «Случайный») о том, как злоключения с велосипедом счастливо излечили Бумагина (фамилия героя) от нервного расстройства.

Для «Юной России» рассказ был написан заново, но эпизод с велосипедом вошел в него почти целиком.

Старое*

Впервые напечатано в газете «Русские ведомости», 1910, 24 января, № 19.

В «Высказываниях автора» Серафимович вспоминал о жизненных впечатлениях, послуживших материалом для рассказа:

«Откуда я взял „модель“ старика? Когда я был в Мезени в ссылке, жил там старик 92 лет. А был ещё крепкий, еще хорошо ковал, – здоровый кузнец. Я решил учиться кузнечному делу и поступил к нему в кузницу. Мы договорились со стариком, что он будет меня учить, но только на моем железе и угле, потому что вначале я-де много буду зря портить материала. Пришлось согласиться. Купил я

материал и начал работать.

Долго изо дня в день загонял меня этот чертов старик. И все держал меня в роли молотобойца, ничему не учил, только эксплуатировал, не давал передышки...

Было старику 92 года, а жена у него была молодуха – 28 лет. Она вышла за него замуж 18-летней девчонкой-сиротой в надежде, что он скоро помрет и тогда ей в наследство достанется кузница да еще изба с огородом. Измытарилась она с ним.

Этот старик и послужил мне живой моделью. Я только перекроил его донским казаком, дал донскую обстановку, которую хорошо знал. Сердцевина же осталась мезенского кузнеца» (т. IV, стр. 483–484).

Морской кот*

Впервые напечатано в газете «Биржевые ведомости», СПб. 1910, от 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 марта (вечерние и утренние выпуски).

В авторских высказываниях Серафимович с сожалением отмечал, что по цензурным условиям вынужден был ограничиться по существу внешним изложением эпизода, дей-

ствительно имевшего место на одном из судов Черноморского флота. «Рассказана была мне история с морским котом в Ростове-на-Дону, Там вместе со мною в газете работал один старый революционер Панасенко. Ему пришлось по службе участвовать в какой-то специальной комиссии, ездившей в Севастополь для обследования корабля. При нем и разыгралась история с котом, послужившая поводом для драки двух почтенных адмиралов. Я добросовестно передал фэбулу, но не сумел дать на фоне повествования социальные корни морского быта.

И все-таки рассказ служит в известной мере документом из жизни дореволюционного военно-морского флота. Он должен навести нынешнего читателя, особенно военного, и особенно краснофлотца, на многие размышления и параллели» (т. V, стр. 347).

Счастливец*

Впервые напечатано в газете «Русские ведомости», 1910, № 196, от 26 августа, написано в июле того же года. 17 июля Серафимович сообщает Белоусову о работе над двумя расска-

зами: «Счастливец» и «Наследство», а 29 июля отсылает ему первый из них.

Одинокий двор*

Впервые напечатано в газете «Русское слово», 1910, 1 и 2 сентября, № 201, 202, под названием «В степи».

Над рассказом (в черновиках он назывался «Пимен Копылков»), предназначенным для сборника «Друкарь», Серафимович работал летом 1909 г. в Ставрополе Самарском (см. из письма к И. Белоусову на стр. 665). Сохранились (частично) черновые варианты рассказа «Одинокий двор» (ЦГАЛИ, ф. № 457, ед. хр. № 60), существенно отличающиеся от известной нам редакции. Строго говоря, черновой и напечатанный тексты – это два рассказа, написанные на одном материале, но на разные темы.

В центре рассказа «Одинокий двор» – конфликт Пимена и его жены, его «бабы», в которой он неожиданно увидел человека. Эти новые для Пимена ощущения возбуждают в нем незнакомое раньше чувство ревности. Бешено разрастаясь, оно приводит Пимена к ката-

строфе.

Ситуация «прозрения» Пимена есть и в черновиках, но она развита там с большей социальной остротой. История с женой – это лишь толчок, который заставил ворочаться неповоротливые мозги Копылкова. Серафимович раскрывает извилистые, иногда неожиданные ходы, какими чувства собственного достоинства в протеста возникают в сознании крестьянина.

В «Пимене Копылкове» очень отчетливо выражена характерная для многих произведений Серафимовича тема «поисков врага»

Рукопись одного варианта начинается с девятой страницы (нумерация автора) характеристикой священника, земского и управляющего экономией – людей, от которых зависела невеселая судьба Пимена. Пимен не питал к ним зла. Батюшку, как хорошего хозяина, он даже уважал.

«Знал поп, когда, что и где лучше посеять, вовремя снимал траву и хлеб, держал хорошую скотину и большой охотник был до лошадей.

Правда, во спасение души и храма для ра-

ди приходилось у попа косить даром или за самую ничтожную плату, но умел поп как-то так это сделать, что не очень это нарушало у мужиков их собственное хозяйство и их работу, и оттого не было так обидно».

Более сложные счета у мужиков были с земским.

«Несмотря на все, Пимен не держал зла на земского. Думал о нем и чувствовал, как думал и чувствовал засуху, которая стояла над хлебами и травами, которая была от бога, как чувствовал кузнеца краснокрылого, сусликов, которых хотя и можно было выливать водой, выкуривать дымом, но которые все равно опять множились и жили заодно со степью, с хлебами, с бездождем, со всем, что смыкалось вокруг крепким кольцом, нерушимой, от века налаженной жизнью.

Одно только: на кузнеца, на суслика, на засуху ходили с молебствиями, крестными ходами, с водосвятием, и в этом был великий смысл и значение, земского же покрывало всеобщее понятие „начальство“, покрывало и примиряло, молчаливо разумея, что его водосвятием не возьмешь. Начальство не только

было грозно, но неизбежно, как сухое, палящее небо над горячей степью, и хотя трудно, но жить с ними было можно, как жили до того поколения дедов и прадедов».

В любопытной жанровой сценке Серафимович воспроизводит разговор Пимена с либеральствующим земским о преимуществах культурного землепользования. Не очень понятно толковал земский, все сердился на темноту мужичью, но Пимену он не казался врагом.

Иначе складывались отношения с управляющим экономией, бритым, как актер, немцем Иваном Федоровичем.

«Тревожны были черные осенние ночи. То в одном, то в другом краю степи багровели ночные темные облака, и до утра стояло зарево – горели экономические скирды и стога. Но Иван Федорович не волновался, не обращался к властям, только вооружал всех приказчиков револьверами, и день и ночь экономию объезжали конные».

А затем Иван Федорович делал видимость уступки, ставил ведра водки, крестьяне успокаивались, и кончалась вражда. «Нет, не бы-

ло у Пимена врагов и некого было ненавидеть».

Будничная жизнь Пимена не нарушалась никакими событиями. Весь день он был занят по хозяйству – Копылковы были среднего достатка.

«Пимен не испытывал непроходящей нищеты, семья не голодала, но хозяйство всегда колебалось на той черте, за которой малейшая случайность, непредвиденное обстоятельство – уже разорение. Издох бык, заболела лошадь, проходила корова холостая или жена захворала, и уже цепко охватывает глубокими когтями голод и нищета.

Косил ли траву, вез ли хлеб на станцию, работал ли дома, спал ли, шел ли в церковь, все равно всюду таскал с собой ожидание: вот-вот оборвется, вот прахом пойдет все насквозь политое потом хозяйство...

...Пришла беда и во двор Пимена, но пришла совсем не с той стороны, откуда он всегда ждал.

В высокаторжественный день земский отдал приказание праздновать, по возможности украсить флагами дворы и отнюдь не про-

изводить никаких работ.

Мужички беспробудно пили три дня, не то веселясь, не то удивляясь неожиданному поводу к выпивке...

Пимена эти дни не было в деревне, гонял годовалую телку продавать на ярмарку. Когда вернулся, угар пьяный уже отнесло от деревни...»

Далее в черновом тексте известная нам (в несколько измененной редакции) сцена встречи Пимена с причитающей женой, метания Пимена по деревне, его попытки ответить на вопрос: «Кто виноват?» Другими глазами смотрит он на жену, по-новому видит окружающий мир.

«Точно бельма упали с глаз, и он увидел и земского, и старосту, и Ивана Федоровича, управляющего экономией, и все они точно были с серыми огромными волчьими зубами и жевали его, Пимена, и всю его жизнь. И он только удивлялся, как раньше оа этого не видел.

На сходах ли, в камере ли земского Пимен угрюмо слушал, глядя исподлобья, а когда начинал говорить, все его теперь слушали, по-

тому что в голосе дрожала, билась непотухающая ненависть и озлобление. Прежде терялся он в общем галдении, теперь же его корявые нескладные речи вызывали либо взрыв протестов, либо такой же всеобщий гул одобрения.

– Сказываю, не берите землю за эту цену, – говорит он, красный, со вздувающимися ноздрями, – не возьмете – немцу податься некуда, а други деревни не посмеют... а посмеют – в колья!..

– Не посмеют... разнесем, – стоном стояли мужичьи голоса.

И, сам того не подозревая, Пимен оказывался коноводом во всех мужичьих протестах, и за ним шли, как стадо за козлом.

То и дело земский отправлял его в холодную, но это только больше озлобляло. А Иван Федорович, против обыкновения, сообщил по начальству, что в деревне – вредный элемент в лице Котлякова, который необходимо устранить, иначе за деревню нельзя поручиться.

Тот дух протеста, что незаметно и необъяснимо вырос в Пимене, пропитывал понемногу и все отношения внутри семьи. Часто рев-

новал он жену, но она уже не давалась так покорно, как бывало, бить себя...»

По настоянию земского Пимена изгоняют из родной деревни.

«Сход, на котором решалась участь Пимена, был многолюден, как никогда. Голоса металась над мужичьими головами, как ветер в бору над качающимися вершинами.

– Пуцай остается! – добрый мужик... не за что ссылать... – взрывом подымалось над сходом, но отдельные голоса упорно излагали Пименовы вины и настаивали на исключении из общества.

Впрочем, участь Пимена была давно решена земским, который не терпел беспокойный элемент в своем участке, и сход в конце концов только оформил настояние земского. Единственное послабление для Пимена сделали – это заменили высылку по приговору общества добровольным переселением в Сибирь.

И когда за околицей Пимен, распродавши весь свой скарб и хозяйство, с ребяташками и выплакавшей все глаза женой, в последний раз обернулся на раскинувшуюся соломенны-

ми крышами деревню, на поникшие ветвями левады, на степи без конца, родные и в то же время чужие степи, до дна политые им горячим потом, он не знал, проклинать ему или благословить.

И, роняя слезы, он трижды поклонился до земли блестящему кресту и собрал в сумочку, привешенную на гайтане, горькой родной земли».

Под текстом рассказа подпись: «А. Серафимович» и адрес: «Ставрополь Самарский, дача Лобанова, 20. Александр Серафимович Попов».

От рукописи второго варианта до нас дошла только одна сцена (по авторской нумерации, почерку, формату бумаги можно с уверенностью сказать, что это отрывок из другой редакции рассказа, видимо промежуточной между первой и окончательной).

В этой сцене ревность просыпается у Пимена от мимолетного взгляда, брошенного его женой на пытавшегося ее облапить купчика.

«Грянула беда и над Пименом, только совсем не с той стороны, откуда он ее ждал.

Была ярмарка. Всякого народу понаехало. Говор, шум, смех. Как всегда на ярмарке.

Идет Пимен, обнявшись с другом своим, Козолупом, идут, чуть пошатываясь, и поют песни, как степь – такие же заунывные, такие же неразгаданные, как неразгаданная вольная, неведомо пропадающая степь. Идут они, поют, покачиваются и ни о чем не думают.

Впереди бабы, через всю улицу, в красных юбках, как маки по межам, идут, луцат подсолнухи, выдувая с губ шелуху, смеются, а то песню заведут, голосисто да звонко, – вся ярмарка и с деревней в ней тонет.

Навстречу купчики, с гармоникой, молодые все ребята, и на баб поглядывают. Сошлись, смех, визг, шлепки, притворно-сердитая брань. Смешались в пеструю живую толпу. Видал Пимен, как его Марью облапил какой-то молодец, а она, крепкая и сильная, вывернулась, как змея, и так его по спине благословила, что он даже выгнулся, почесал спину и покрутил головой.

И опять через всю улицу пестро-красной шеренгой идут бабы: звонко голоса, пошатываются, за ними Пимен с приятелями, а сзади,

удаляясь, весело, напевно, беззаботно наигрывает гармоника.

– Ты чего же не поешь, кум?

А Пимен озирается исподлобья, словно ищет что-то, тужится вспомнить.

И... вспомнил: живой, смеющийся, блеснувший из-под черной брови веселый глазок, сверкнувший лишь на одну секунду, когда она легким движением, вполоборота повернулась, ударив того.

Пимен опять запел и снова замолчал, хмуро и насупившись. Вот она идет впереди, и покачивается голова в белом платочке, и слышен сильный голосистый голос, и шелуха, видно, слетает, сверкая, с губ.

Он хочет понять что-то, разобраться, но ничего нет, только не тухнувший в памяти сверкнувший на секунду глазок.

– Эй, ты... слышь, ступай в хату.

Бабы остановились, как солдаты в шеренге, все повернувшись, и по-прежнему, белея, слетала с губ сплевываемая шелуха.

– Ты что? аль одурел?

– Ступ-пай!!.

Было в его лице что-то такое, что она, ни-

чего не понимая, отделилась от баб и пошла домой, луца подсолнухи.

– Сказидся человек!..

А бабы повернулись и, краснея пестрой линией, снова заголосили песни.

Когда Пимен подходил к хате, оттуда несся бабий голос, его бабы, в обычной заунывной песне, которую она привычно тянула за работой. И этот привычный, неуловимый, как серая дорога в степи без конца, мотив сразу успокоил его, и сразу обступило его домашнее: двор, плетни, сарай, хата.

Он шагнул, привычно нагнувшись под низенькой притолокой, в дверь. Жена сажала в печь хлеба. Крепким и сильным движением сунула хлеб в устье печи, поставила лопату в угол и повернулась к мужу, глянув на него чернобровым, смуглым лицом, крепкой высокой грудью.

– Из экономии-то на ярмарку сам Иван Хведрыч приезжал, – проговорила она весело, – вся сбруя в серебре...

Хмель от водки вышел из Пимена, но мутно, тяжело и страшно подымался другой хмель, которого он никогда не испытывал,

медленно заливая грудь, голову и тугую покрасневшую шею. И делая последнее усилие, чтоб справиться, он опустил глаза в пол, но не выдержал, глянул...» (Рукопись обрывается.)

Можно предположить, что Серафимович, потеряв надежду напечатать «Пимена Копылкова» (по всей вероятности, в редакции, близкой к имеющемуся в нашем распоряжении первому черновому варианту), коренным образом переработал рассказ, по существу заново написав его на другую тему.

Ночной дождь*

Впервые напечатано в газете «Речь», СПб. 1910, 31 октября, № 299. Вошло в литературно-художественный альманах современных писателей «Поток», М. 1911, стр. 117–126. В авторских высказываниях Серафимович подчеркивает основную мысль своего произведения: «...тогда, в дореволюционное время, когда рассказ „Ночной дождь“ писался, было очень важно показать трудовому массовому читателю, какие чувства и симпатии обуревают „либерального барина“, когда он остается

сам с собой и ему не нужно ни перед кем афишировать свой „демократизм“... Очень он любил тогу „друга народа“, так часто в нее рядился, что иногда и сам начинал верить в свои нежные чувства к „многострадальному народу“. А здесь, в рассказе, под ночным дождем парадные одежды сбрасываются, и обнажается подлинная, не подкрашенная фальшивыми румянами классовая природа либерального барина» (т. V, стр. 347).

Холодная равнина*

Впервые напечатано в газете «Речь», СПб. 1910, 12 декабря, № 341.

Примечания

1

Негодяй!.. Дикарь! (*франц.*).

[^^^]

Вор (*франц.*).

[^^^]

3

Очаровательная!.. (*франц.*).

[^^^]

Для народа!.. (франц.)

[^^^]

5

Это другое дело... Женщина – это не корова
(франц.).

[^^^]

6

Но женщина, когда она... (*франц.*).

[^^^]

В дальнейшем при ссылках на «Высказывания автора» будет указываться только том и страница Собрания сочинений 1940–1948 гг.

[^^^]

8

Описка. Должно быть 3 марта.

[^^^]